УТАЕННАЯ ЛЮБОВЬ ПУШКИНА



«ПУШКИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

К 200-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
А. С. ПУШКИНА



УТАЕННАЯ ЛЮБОВЬ ПУШКИНА



ГУМАНИТАРНОЕ АГЕНТСТВО
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
1997

Составление, подготовка текста
и примечания
Р. В.Иезуитовой
Я. Л Левкович

Редактор *Д. М.Климова*

ISBN 5-7331-0091-5

© Иезуитова Р. В., состав., статья, примечания, 1997
© Левкович Я. Л., состав., статья, примечания, 1997
© Александров Ю.С., оформление, 1997
© Гуманитарное агентство, "Академический проект", 1997

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга посвящена одной из загадок биографии Пушкина — пережитой им в молодые годы страстной и неразделенной любви к одной из его современниц, возможно, скрывающейся по литерами N.N. в так называемом "Донжуанском списке" Пушкина — перечне имен женщин, записанном в "Альбоме" Е.Н.Ушаковой, одной из московских приятельниц поэта. Свое сильное чувство и тесно связанную с ним сердечную тайну Пушкин тщательно оберегал, назвав его в черновиках «Посвящения» к «Полтаве» "утаенной любовью". Эта любовь нашла широкое отражение в интимной лирике поэта, в его письмах, в поэмах «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан». В предлагаемом вниманию читателей сборнике впервые собраны вместе работы целой плеяды блестящих пушкинистов, усилиями которых на протяжении многих десятков лет изучалась проблема "утаенной любви" Пушкина. В книгу включены увлекательно написанные статьи М.О.Гершензона, Ю.Н.Тынянова, Л.П.Гроссмана, Г.П.Макогоненко, а также фундаментальные исследования П.Е.Щеголева, Т.Г.Цявловской и Б.В.Томашевского, основанные на тщательном изучении рукописей Пушкина и других документальных источников. К сожалению, эти работы на долгие годы выпали из поля зрения биографов поэта, хотя в свое время они упоминались в положительном смысле в известной книге «Итоги и проблемы пушкиноведения» (Л., 1966). Настоящий сборник ставит целью познакомить нашего читателя с яркой, но незаслуженно забытой страницей отечественного пушкиноведения, напомнив о необходимости дальнейших исследований разных сторон творческой жизни Пушкина.

Специально для этого сборника написаны две вводные статьи: Р.В.Иезуитовой «"Утаенная любовь" в жизни и творчестве Пушкина» (с подробным анализом произведений поэта и других материалов, свя-

занных с этой темой) и Я.Л.Левкович о "Донжуанском списке" Пушкина (дающем документальную основу для разных версий "утаенной любви"). В книгу включены написанные составителями краткие биографические справки о взаимоотношениях Пушкина с теми из его современниц, с которыми авторы публикуемых статей связывали "утаенную любовь" (М.А.Голицына, М.Н.Раевская, Н.В.Кочубей, Е.А.Карамзина, Е.Н.Раевская, С.С.Киселева, Е.К.Воронцова, К.А.Собаньская). Эти справки размещены в корпусе издания в качестве небольших документальных приложений к соответствующим статьям для того, чтобы помочь читателю лучше ориентироваться в огромной массе материала, не всегда прямо увязанного с предметом исследования, но в целом полезного и интересного. Краткие комментарии составителей, уточняющие отдельные фактические сведения, приводимые в публикуемых статьях, отнесены в конец тома и отмечены в тексте цифрами в квадратных скобках. В том же, последнем разделе сборника наряду с комментариями приводится список принятых в книге сокращений.

Р.В.ИЕЗУИТОВА

"УТАЕННАЯ ЛЮБОВЬ" В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПУШКИНА

"Утаенная любовь" Пушкина принадлежит к числу величайших и все еще не разгаданных загадок пушкиноведения. Обращаясь к этому удивительному литературному феномену, мы вступаем в "тайное тайных", глубоко сокровенную жизнь Пушкина, касаемся тех ее сторон, которые помогают понять и осмыслить самые яркие и романтически возвышенные шедевры его поэзии.

Пушкин оставил немало лирических признаний о сильной и мучительной страсти, пережитой им в молодые годы, для которой нашел емкую поэтическую формулу: "Утаенная любовь". В черновиках «Посвящения» к «Полтаве», воскрешая в памяти прекрасный женский образ, вдохновлявший его в годы юности, Пушкин писал:

Иль — посвящение поэта
Как утаенная любовь —
Перед тобою <без привета ?>
Пройдет — непризнаннос вновь
(V, 322)

До сих пор остается неясным, кого же имел в виду Пушкин в этих, программных по своему характеру, стихах. Достаточно убедительные, казалось бы, аргументы П.Е.Щеголева, относящего их к Марии Раевской (Волконской), в течение многих десятилетий подвергались резкой критике со стороны таких известных пушкинистов, как П.К.Губер, Ю.Н.Тынянов, Л.П.Гроссман, Б.В.Томашевский. Вследствие этого, по мнению современного исследователя, "версия П.Е.Щеголева не только не может быть признана научно доказанной", но и не учитывает "целого ряда обстоятельств"[1], тесно увязывающих вопрос об адресате «Посвящения» к «Полтаве» с проблемой "утаенной любви" в целом. Споры об адресате этих поэтических строк продолжаются по сей день и не позволяют считать эту проблему, поставленную в пушки-

[1] *Есипов В.М.* Кому же посвящена пушкинская "Полтава" // Филологические науки. 1993. № 4. С. 31.

новедении более ста лет назад, полностью исчерпанной, потерявшей научный смысл и не заслуживающей внимания современного читателя.

Многочисленные биографы Пушкина, начиная с П.В.Анненкова и П.И.Бартенева, обратили внимание на устойчивый мотив лирики поэта, навеянной воспоминанием о прекрасном женском образе, оставившем незабываемый след в душе поэта. П.В.Анненков связывал появление этого образа в поэзии Пушкина с "частыми отлучками" из Кишинева, с общением во время этих поездок "с пестрым и разнохарактерным" обществом, в кругу которого он "встретил то загадочное для нас лицо или те загадочные лица, к которым в разные эпохи своей жизни обращал песни, исполненные нежного воспоминания, ослабевшего потом, но сохранившего способность восставать при случае с новой и большей силой".[2] К числу такого рода произведений Анненков относил стихотворения «Под небом голубым...», «Заклинание», «Для берегов отчизны дальной...», посвященные, как это было установлено позднее, Амалии Ризнич, однако самая мысль о "загадочном адресате" (или "адресатах") лирики Пушкина южного периода получила дальнейшее развитие у П.И.Бартенева, предложившего в сущности первую версию "утаенной любви" Пушкина как "южной любви": "К воспоминаниям о жизни в Гурзуфе несомненно относится тот женский образ, который беспрестанно является в стихах Пушкина, чуть только он вспомнит о Тавриде, который занимал его воображение три года сряду, преследовал его до самой Одессы и там только сменился другим. В этом нельзя не убедиться, внимательно следя за стихами того времени. Но то была святыня души его, которую он строго чтил и берег от чужих взоров и которая послужила внутреннею основою всех тогдашних созданий его гения." Бартенев отказывается от попытки разгадать сердечную тайну поэта, указывая однако, что "предмет" своей любви "он встретил в Крыму и что любил без взаимности."[3] Далее определяется (пока еще в самых общих чертах) круг произведений, так или иначе связанных с этой "южной любовью" Пушкина («Редеет облаков летучая гряда...», «О, дева-роза...», строфы из первой главы «Евгения Онегина» — «Я помню море пред грозою...» и т.д.); в дальнейшем они не без оснований связывались с именами сестер Раевских (Марией и Екатериной), что в свою очередь послужило поводом для появления новых версий "утаенной любви" Пушкина. Заслугой первых биографов поэта является постановка этой проблемы как биографически-творческой, с попыткой установить "репертуар" тех произведений Пушкина, в которых отразилось это чувство, хотя по этическим соображениям имя предполагаемой вдохновительницы (или вдохновительниц) поэта не называлось: поколение пушкинских сверстниц

[2] *Анненков П.В.* Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984. С. 98. Первое изд. книги вышло в 1855 г.

[3] *Бартенев П.И.* Пушкин в южной России. М., 1862. С. 42—43.

еще не ушло из жизни, для них еще не наступила история, и поиски предмета "утаенной любви" Пушкина не были продолжены.

Однако с развитием пушкиноведения как науки, с углубленным изучением его биографии и творчества возникли новые попытки разгадки феномена "утаенности" в любовной лирике Пушкина. В начале XX века эти искания уже не ограничивались кругом южных знакомств и общений поэта, а охватили и его ранние петербургские годы, дав начало версиям о "северной любви" Пушкина. Автором работы на эту тему стал М.О.Гершензон, напечатавший в «Вестнике Европы» (1908, № 1) статью об исключительной и тайной страсти поэта к одной из очаровательных петербургских аристократок. "Не подлежит никакому сомнению, — пишет он, — что Пушкин вывез из Петербурга любовь к какой-то женщине и что эта любовь жила в нем еще долго, во всяком случае — до Одессы. Он говорит о ней с ясностью, не оставляющей места никаким толкованиям". В подтверждение этой мысли Гершензон приводит строки из элегии «Погасло дневное светило...» (1820), видя в них отражение реально пережитых чувств:

Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман...
(II, 146)

Чувства эти, считает исследователь, вызвала у поэта внучка знаменитого Суворова, Мария Аркадьевна Голицына, с которой он не раз встречался в высшем петербургском свете после окончания Лицея. Об увлечении Пушкина М.А.Голицыной писал еще А.И.Незеленов в своей книге «Пушкин и его поэзия» (СПб., 1882), но именно Гершензон, отчетливо осознав самостоятельное значение проблемы "утаенной любви", рассмотрел взаимоотношения Пушкин и Голицыной в особых сюжетных рамках с широким использованием методики "медленного чтения" произведений Пушкина. Отдавая себе полный отчет в том, что документальных свидетельств об отношении Пушкина к Голицыной почти не сохранилось, Гершензон тем не менее "выстраивает" историю этой тайной любви поэта, питавшей, как он считает, его лирическое творчество в течение нескольких лет, в нем же находит подтверждение своей догадке о тщательно скрываемом чувстве к М.А.Голицыной. "В переписке Пушкина, — пишет он, — нет никакого намека на его отношение к ней или к ее семье, биографы Пушкина ничего не говорят о ней. Сведения, которые нам удалось собрать о ней, скудны". Вступая "в область предположений, очень соблазнительных, более или менее достоверных, но требующих во всяком случае еще всесторонней проверки", Гершензон, как показали дальнейшие исследования, такой "проверки" не произвел, что и послужило основанием для той острой критики, которой подверг версию "северной

любви" Пушкина П.Е.Щеголев, в своей фундаментальной работе «Утаенная любовь Пушкина», не ограничившийся полемикой с Гершензоном, но предложивший новую версию "южной любви" поэта.

Но прежде чем обратиться к более детальному рассмотрению различных версий "утаенной любви" Пушкина (а за многие десятилетия изучением этой проблемы занимались известные и уважаемые авторы), обозначим, хотя бы приблизительно и, разумеется, неполно, круг произведений Пушкина, которые в сознании исследователей связываются с "утаенной любовью" (ибо круг этот не только уточняется, расширяется, но и постоянно меняется). Мы ограничимся при этом лишь очевидными, бесспорными, сознательно ориентированными на некую любовную "тайну" и предполагающими широкое использование намеков, недосказанности, полупризнаний и других средств создания атмосферы суггестивности текстами.[4] Следует к тому же учитывать, что эпитет "тайный" в лирике Пушкина довольно часто сопровождает описание любовного переживания (такой была этика любовного чувства в его время), однако мы имеем в виду "тайну" совершенно особенного свойства. Так, в цитированной выше элегии «Погасло дневное светило...» — "изменницы младые", внушившие поэту поверхностные, мимолетные чувства, названы "подругами тайными", хотя поэт вовсе не скрывает этих чувств, а затем и отрекается от них. Иное дело та, единственная избранница, вызвавшая у поэта чувство глубокое и истинное. Не только облик ее, но и самое ее имя окутаны атмосферой таинственности. Посвященные ей поэтические строки по существу не несут никакой информации об этой женщине: на первый план выступают переживания самого поэта. Контраст "безумной любви" и легких мимолетных увлечений составляет стержень элегии 1820 г., на нем основана ее композиция. Подлинное чувство предстает в ней долговечным и неистребимым, мимолетные увлечения оцениваются как легковесные и даже порочные заблуждения:

И вы забыты мной, изменницы младые,
Подруги тайные моей весны златыя,
И вы забыты мной... Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви, ничто не излечило...
(II, 147)

Элегия «Погасло дневное светило...» дает законченный, классический пример лирической разработки темы "утаенной любви", которая начиная с 1820 г. становится одной из ведущих в поэзии Пушкина.

К числу произведений "утаенной любви", безусловно должно быть отнесено стихотворение «Война» (1821), навеянное известием о начале греческого восстания, в котором поэт намеревался принять участие.

[4] См. об этом: *Муравьева О.С.* Об особенностях поэтики пушкинской лирики // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1989. Т. XIII. С. 21.

Задуманное как отклик на это событие, стихотворение, однако, стало лирической исповедью поэта: встающие в его воображении военные сцены совершенно неожиданно сменяются элегическими сетованиями, в них снова возникает мотив неизлечимой безумной страсти, забвенья от которой поэт готов искать в гуще битвы и на поле смерти. Трагическая безысходность этого чувства ("злой отравы") духовно опустошает поэта:

Покой бежит меня, нет власти над собой,
И тягостная лень душою овладела...
Что ж медлит ужас боевой?
Что ж битва первая еще не закипела?
(II, 167)

В стихотворении «Друзьям» (1822) безудержное веселье дружеского пира не может заглушить "сердечной думы" о том, что на языке поэзии именуется "горем жизни скоротечной", т.е. о трагически окрашенном чувстве любви, которое живет в душе поэта. И лишь чаша с вином, наполненная до краев, дарует ему минутное забвенье. Показательно, что в стихотворении отсутствует реальный образ возлюбленной поэта, являющейся ему лишь в "снах любви". Этой емкой лирической формулой Пушкин подчеркивает иррациональность и хрупкость своего чувства.

В философских раздумьях лирического шедевра «Люблю ваш сумрак неизвестный...» (1822) Пушкин находит еще одну выразительную деталь для передачи сложного и противоречивого духовного состояния, вызванного муками неразделенной любви и мыслями о неизбежном конце:

Минутных жизни впечатлений
Не сохранит душа моя <...>
Тоску любви забуду я?..
(II, 255)

Общая особенность анализируемых поэтических текстов заключается в том, что воссозданное в них лирическое переживание является следствием пережитой в прошлом душевной драмы, подробности которой остаются за рамками текста, хотя и составляют его психологическую основу. Это не рассказ о любви, а воспоминание о ней, заключенное в новую лирическую ситуацию.

У этого состояния, остро и эмоционально пережитого поэтом, по всей видимости, была реальная биографическая основа, что, собственно, и направляло усилия пушкинистов на поиски неведомого им адресата стихов об "утаенной любви" и на выяснение связанных с нею обстоятельств. К сожалению, эти поиски не сопровождались углубленными биографическими разысканиями, а ограничивались анализом тех или иных реалий лирического текста.

Так, М.О.Гершензон для доказательства своей гипотезы, что северной ("утаенной") любвью Пушкина была М.А.Голицына, привлек две пушкинские элегии 1821 г. («Умолкну скоро я! Но если в день печали..» и «Мой друг, забыты мной следы минувших лет...»). Он отметил текстуальные переклички первой из элегий с адресованным Голицыной мадригалом «Давно об ней воспоминанье...». Элегия завершается близкими ему по смыслу строчками:

Когда меня навек обымет смертный сон,
Над урною моей промолви с умиленьем:
Он мною был любим, он мне был одолжен
И песен и любви последним вдохновеньем.
(II, 208)

Между тем исследователь совершенно обошел вниманием то обстоятельство, что мадригал был написан два года спустя после создания элегии «Умолкну скоро я! Но если в день печали...», а не наоборот, и, следовательно, Пушкин вполне мог воспользоваться строками из неопубликованной элегии для эффектной концовки своего мадригала-экспромта, обращенного к М. А. Голицыной. Текстуальные переклички в данном случае не могут служить аргументом в пользу версии М. О. Гершензона. Одни и те же строки вполне могли иметь в виду разных адресатов. Переадресовка не только отдельных поэтических строк, но и целых стихотворений не столь уж редка в поэтической практике Пушкина. Достаточно вспомнить историю создания мадригала «Вы избалованы природой...», в первой редакции обращенного к А. А. Олениной, в окончательной — к Елизавете Ушаковой.

Второе из стихотворений («Мой друг, забыты мной следы минувших лет») отнесено М. О. Гершензоном к М. А. Голицыной на том основании, что "оно хронологически тесно связано с первым", вследствие чего "их невозможно отнести к разным лицам: первое написано 23 августа, второе 24—25-го". Несостоятельность такого рода аргументации была раскрыта П. Е. Щеголевым, убедительно показавшим на основании скрупулезного анализа черновых и беловых редакций этих стихотворений, что стихи эти имеют в виду "крымское" увлечение поэта — юную Марию Раевскую, по мнению исследователя, и являющуюся "утаенной любвью" Пушкина. Не касаясь существа этой новой версии "утаенной любви" поэта, заметим, что оба исследователя (Гершензон и Щеголев) по существу оставили без комментария основное содержание и смысл стихотворений, послуживших главным материалом для выдвинутых ими версий. Между тем из текста как первой, так и второй элегии следует, что вопрос об их реальном адресате не имеет существенного значения для содержащегося в них мотива "утаенной любви". В элегии «Умолкну скоро я! Но если в день печали...» лирический сюжет строится на контрасте двух лирических тем: прежней, мучительной, неразделенной или несчастливой любви ("...юноши, вни-

мая молча мне, Дивились долгому любви моей мученью") и любви взаимной, счастливой, отнюдь не утаенной ("Позволь одушевить прощальной лиры звук Заветным именем любовницы прекрасной"). Еще отчетливее звучит эта мысль в элегии «Мой друг, забыты мной следы минувших лет». Здесь прежнее мятежное и страстное чувство, данное поэту "в печаль и наслажденье", противостоит невинной и чистой любви, счастливой и взаимной. Обращаясь к юной возлюбленной, поэт восклицает:

Но ты, невинная! ты рождена для счастья.
Беспечно верь ему, летучий миг лови:
Душа твоя жива для дружбы, для любви,
Для поцелуев сладострастья.
(II, 209)

Светлая, мажорная тональность стихотворения исключает самую возможность считать адресатом этих стихов женщину, которая внушила поэту мучительную страсть, духовно его опустошившую. Таким образом, в стихотворении два адресата — прямой, скорее всего указывающий (и в этом трудно не согласиться с П.Е.Щеголевым) на Марию Раевскую, и потаенный, зашифрованный, не только не раскрытый, но тщательно оберегаемый от какой бы то ни было огласки. Единственное, что можно извлечь из текста элегии, это то, что чувство поэта к этой женщине было глубоко несчастливым. Для воссоздания такого чувства в распоряжении Пушкина была богатейшая художественная палитра мировой поэзии, в особенности романтической, прежде всего Байрон, властитель дум всего пушкинского поколения, и, конечно же, Жуковский, "певец любви", "певец своей печали". Характерно, что романтические образы, навеянные эпитафией "певцу уединенному" из элегии «Сельское кладбище» и лирическими вариациями «Певца» Жуковского, оживают в пушкинском стихотворении «Гроб юноши», написанном почти одновременно с элегиями «Умолкну скоро я! Но если в день печали...» и «Мой друг, забыты мной следы минувших лет...». Этот поздний "рецидив" элегического романтизма проецируется в мир интимных переживаний и воспоминаний поэта и окрашивает их в меланхолические тона, овеянные скорбью о несостоявшемся счастье. Строки об "утаенной любви" не только в этом, но и в других произведениях Пушкина обычно соседствуют и корреспондируют с мотивами изгнания, страдания, непонимания, разлуки и даже смерти. Мотивы эти определяют собою весь эмоциональный строй стихов об "утаенной любви".

М. О. Гершензону принадлежит заслуга включения в исследование проблемы "утаенной любви" южных поэм Пушкина. Он подчеркивает, что и «Кавказский пленник» (1822), и «Бахчисарайский фонтан» (1824) внушены "северной любовью" поэта: "Чудным светом озаряется для нас его творчество — мы нисходим до таинственных источников вдох-

новенья". В сущности к такому же выводу пришел и П. Е. Щеголев, подчеркнувший, что герой элегий «Умолкну скоро я! Но если в день печали...» и «Мой друг, забыты мной следы минувших лет...» "весьма близок к романтическому герою", а героиня этих элегий — к женским образам южных поэм Пушкина. В них действительно отчетливо звучат те же элегические мотивы, оживают знакомые лирические образы. Пушкин, как известно, не отрицал автобиографических черт в характере Пленника. Соглашаясь с мнением одного из своих критиков, считавшего характер этого героя неудачным, Пушкин писал; "Доказывает это, что я не гожусь в герои романтического стихотворения" (XIII, 52). В числе прочих автобиографический реалий Пушкин передал герою «Кавказского планника» и "утаенную любовь". В первоначальном варианте (когда «Кавказский пленник» назвался еще поэмой «Кавказ») внутреннее состояние героя (а возможно, и автора) запечатлел напечатанный позднее как самостоятельное произведение элегический фрагмент «Я пережил свои желанья...» с его мотивами душевной опустошенности и сердечного страдания:

Под бурями судьбы жестокой
Увял цветущий мой венец —
Живу печальный, одинокой.
И жду: придет ли мой конец?
(II, 165)

В окончательном тексте поэмы эти настроения получают психологическую мотивировку:

Людей и свет изведал он
И знал неверной жизни цену.
В сердцах людей нашед измену,
В мечтах любви безумный сон.
(IV, 95)

Намеченная в этих строках тема "утаенной любви" внутренне сопрягается с элегией «Погасло дневное светило...» и в свою очередь находит дальнейшее развитие в элегиях 1821—1822 гг.

Душевная опустошенность Пленника, невозможность расстаться с прежним чувством, с пережитыми им в прошлом горькими разочарованиями делают его неспособным ответить на любовь юной черкешенки:

Когда так медленно, так нежно
Ты пьешь лобзания мои,
И для тебя часы любви
Проходят быстро, безмятежно;
Снедая слезы в тишине,

Тогда рассеянный, унылый
Перед собою, как во сне,
Я вижу образ вечно милый;
Его зову, к нему стремлюсь,
Молчу, не вижу, не внимаю;
Тебе в забвенье предаюсь
И тайный призрак обнимаю.
Об нем в пустыне слезы лью;
Повсюду он со мною бродит
И мрачную тоску наводит
На душу сирую мою.
(IV, 106)

В этом монологе присутствуют все основные мотивы, составляющие лирический комплекс "утаенной любви", ее признаки, сквозные темы, особые поэтические образы ("сон любви", "призрачное счастье", "тайные" страдания и т.п.) — одним словом, все то, что способствует поэтизации и романтизации этого чувства. И так же как в элегических сетованиях лирического героя, образ вдохновительницы этих строк заслоняется и в поэме страстной исповедальностью Пленника. В приведенном выше отрывке отчетливо видна литературная основа конфликта, определяющего взаимоотношения главных героев поэмы. Поэт не стремился к воссозданию реальной жизненной ситуации, но, отталкиваясь от нее, давал волю фантазии и воображению.

Нечто подобное произошло и с лирическим эпилогом «Бахчисарайского фонтана», в котором поэт за легкими тенями Марии и Заремы видит нежный образ все еще любимой им женщины:

Я помню столь же милый взгляд
И красоту еще земную,
Все думы сердца к ней летят,
Об ней в изгнании тоскую...
[Безумец!] полно! перестань,
Не оживляй тоски напрасной,
Мятежным снам любви несчастной
Заплачена тобою дань —
Опомнись; долго ль, узник томный,
Тебе оковы лобызать
И в свете лирою нескромной
Свое безумство разглашать?
(IV, 170—171)

Здесь впервые появляется (хотя и предельно лаконичная) "зарисовка" портрета любимой поэта, исполненная таинственности. Не совсем ясным представляется, например, выражение "И красоту еще земную", возможно указывающее на то, что красавица уже покинула этот мир, или же на "ангельские" черты ее внешности, постепенно засло-

няющие ее реальный облик. Трудно согласиться с П. Е. Щеголевым, считающим, что строки эти имеют в виду Марию Раевскую: "Эта дева, мелькавшая по дворцу летучей тенью перед поэтом, сердце которого не могла тронуть в то время и старина Бахчисарая, — образ реальный и не мечтательный. Она была тут во дворце в один час с поэтом, и сердце его было полно ею".[5] Скорее наоборот: образ мечтательный, поэтический (мелькнувший перед поэтом как милое наваждение, тень) заслоняет собою образ реальной вдохновительницы этих строк, если таковая и существовала в сознании поэта в момент работы над эпилогом поэмы. Разъяснение позиции Пушкина находим в его письме к брату из Одессы от 25 августа 1823 г.: "Здесь Туманский. Он добрый малой, да иногда врет — напр<имер>, он пишет в П.<етер>Б.<ург> письмо, где говорит, между прочим, обо мне: Пушкин открыл немедленно свое сердце и porte-feuille — любовь и пр... — фраза, достойная В. Козлова; дело в том, что я прочел ему отрывки из Бахчисарайского фонтана (новой моей поэмы), сказав, что я не желал бы ее напечатать, потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру. Туманский принял это за сердечную доверенность и посвящает меня в Шаликовы — помогите!" (XIII, 67). Как видим, поэт настаивает на реальности этого чувства, хотя и пишет о своей влюбленности как об имевшей место в прошлом. Он избегает какого-либо намека на имя этой женщины, ибо письмо адресовано брату, не отличавшемуся особой скромностью в отношении творческих занятий и личных обстоятельств жизни поэта. Письмо явно рассчитано на оглашение в среде петербургских знакомых и, видимо, должно предупредить нежелательные толки вокруг автора «Бахчисарайского фонтана». В сущности никаких прямых указаний на время и обстоятельства знакомства и общения с этой ("утаенной") возлюбленной поэта в письме не содержится, что заставляет усомниться в том, существовала ли она в действительности или же являлась автору поэмы лишь в чудесных грезах. Предположение это не кажется таким уж невероятным, если мы вдумаемся в заключительные строки процитированного нами письма: Пушкин в них весьма недвусмысленно напоминает, что темой его доверительного разговора с Туманским были вовсе не сердечные, а литературные дела. Он отрекается от роли Петрарки и боится показаться Шаликовым (т.е. смешно сентиментальным), предлагая и будущим читателям поэмы не искать в ней прямых аналогий с жизнью. И в самом тексте процитированного нами фрагмента эпилога система сопутствующих лирической героине оценок отсылает не к реальным событиям, а к игре воображения, к мечте ("думы сердца", "мятежные сны любви" и т.п.). Это погружает читателя в зыбкую атмосферу недо-

[5] Неубедительным, на наш взгляд, представляется и комментарий М. О. Гершензона, относящего выражение "еще земную" к живой женщине, "в противоположность теням Марии и Заремы."

сказанности, недоговоренности, полунамеков. Извлечь внятную информацию из этого лирического отрывка не представляется возможным: пушкинский текст не дает оснований для идентификации лирической героини эпилога с Марией Раевской, которая присутствует в поэме совсем в другом качестве. Она является "внешней моделью" для создания портрета Заремы (по собственному признанию М. Н. Раевской, к ней относятся поэтические строки: "Ее пленительные очи Яснее дня, темнее ночи"), и, кроме того, намек на сестер Раевских (в том числе и на Марию Раевскую) можно усмотреть в следующем лирическом отрывке из эпилога поэмы:

Младые девы в той стране
Преданье старины узнали,
И мрачный памятник оне
Фонтаном слез именовали.
(IV, 169)[6]

С обоснованием иной точки зрения на расшифровку этих строк выступил Л. П. Гроссман, давший в работе «У истоков Бахчисарайского фонтана» свою версию "утаенной любви" Пушкина и связанных с нею биографических реалий. Поставив под сомнение самую причастность не только Марии Раевской, но и ее сестер (и в первую очередь Екатерины Раевской, по мужу Орловой) к реалиям «Бахчисарайского фонтана», Гроссман попытался заново прочитать поэму в ином биографическом контексте. Он выдвинул на первый план проблему прототипа образа Марии, происходившей, по преданию, из рода Потоцких. Исследователь стремился увязать положенное в основу поэмы историческое предание с интересом Пушкина к одной из представительниц старинного аристократического рода Потоцких, с которой поэт познакомился в свои ранние петербургские годы.

Заявляя в самом начале статьи, что "объектом петербургской любви Пушкина ('северной любви', 'отверженной любви', 'безумной любви') следует признать Софью Станиславовну Потоцкую-Киселеву", Гроссман подробно характеризует свою героиню, ее мать, знаменитую красавицу-"фанариотку", Софью Константиновну Клавона, последним мужем которой стал граф Потоцкий. Увлекательно написанный, богато документированный очерк о родителях С. С. Потоцкой служит введением к истории ее отношений с Пушкиным, которая, несмотря на все усилия исследователя придать ей фактическую достоверность, выглядит надуманной и лишенной серьезной доументальной основы. Из приведенных Гроссманом материалов (переписки Вяземского с Пушкиным и А. И. Тургеневым) с несомненностью следует, что в Потоц-

[6] Заметим, однако, что поэт явно колебался в выборе рассказчика предания: в одном из вариантов он отводил эту роль Николаю Раевскому (младшему): "Ты мне поведал <...> сие печальное преданье" (IV, 394).

кую был влюблен Вяземский, а Пушкин сочувствовал увлечению друга, но не более того, ибо самый тон упоминаний Пушкина о Потоцкой (с некоторой долей фамильярности) не позволяет усмотреть в этих высказываниях никакого восторженного обожания, а главное, ее имя открыто называется в доверительно-дружеской переписке, что противоречит главному постулату "мифа" — утаенности имени женщины, в которую пламенно и безнадежно влюблен поэт. Между тем исследователь, приняв за исходное положение увлечение поэта юной Потоцкой, следующим образом характеризует "предысторию" "утаенной любви" Пушкина: "В зимний сезон 1818—1819 г. семнадцатилетняя Софья Станиславовна впервые стала выезжать на петербургские балы. Ее красота, сочетавшая яркую солнечность эллинского типа ее матери с утонченной задумчивостью славянского облика ее родственниц по отцу, вызвала всеобщее восхищение. Пушкин, всегда ценивший, по его собственному свидетельству, законченную красоту женских лиц, не мог пройти без внимания мимо молодой Потоцкой, уже вызвавшей поклонение его друга Вяземского". Этих не подкрепленных никакими свидетельствами ни самого поэта, ни близких ему лиц общих соображений оказывается достаточно, чтобы перейти уже в следующем абзаце статьи к столь же голословному и категорическому утверждению: "Мы не можем внести с календарной точностью в хронологическую канву жизни Пушкина дату того дня или вечера, когда Софья Потоцкая рассказала ему свою любимую крымскую легенду", т.е. легенду о любви крымского хана Керим Гирея к похищенной им польской красавице Потоцкой. Такая встреча, по мнению Гроссмана, состоялась еще в Петербурге. Исследователь не приводит никаких доказательств того, что крымская легенда была известна Потоцкой (об этом можно говорить лишь предположительно), что эта легенда была "любимой легендой" Потоцкой и, наконец, что именно она рассказала ее и Пушкину, и Вяземскому.[7] Тем не менее Гроссман не сомневается в том, что "в 1818—1819 годах между ними (т.е. между Пушкиным и Потоцкой. — *Р. И.*) происходила такая беседа, отметившая важную веху в литературной летописи поэта". Однако творческая история поэмы не дает оснований для подобной датировки замысла, как известно, уходящего

[7] Не следует пренебрегать прямыми отсылками Пушкина к "Путешествию по Тавриде" И. М. Муравьева-Апостола, выписки из которого, сделанные поэтом, содержат и рассказ о Керим Гирее и его любви к прекрасной "грузинке" с соответствующим комментарием автора: "Странно очень, что все здешние жители непременно хотят, чтобы эта красавица была не грузинка, а полячка, именно какая-то Потоцкая, будто бы похищенная Керим-Гиреем" (IV, 175). Это заявление, по-видимому, делает излишними ссылки на Потоцкую как на вдохновительницу "Бахчисарайского фонтана", ибо в данном случае мы имеем дело с мнением Пушкина, тогда как Л. П. Гроссман прибегает к догадкам и косвенным свидетельствам. Крымская легенда была широко известна в тех местах, по которым вместе с Раевским путешествовал Пушкин, и, видимо, не надо было быть Потоцкой, чтобы услышать и пересказать ее поэту.

своими корнями в крымское путешествие Пушкина 1820 г. Начатая весной 1821 г., поэма писалась в течение всего 1822 г. и лишь осенью 1823 г. была окончательно завершена. Гроссман же относит эту работу к более раннему времени, утверждая, что "взяться в 1818 г. за разработку поэмы" Пушкину мешало "отсутствие цельного душевного опыта для творческой разработки такой темы", а "возникшее чувство к Софье Потоцкой еще не развернулось и не завершило цикла своего драматического развития". Цикл этот, по мнению исследователя, и составляет биографическую основу "утаенной любви" Пушкина.[8]

Работа Гроссмана — один из наиболее показательных примеров того, как обширная эрудиция и блестящее литературное мастерство автора способны заставить читателя поверить самым, казалось бы, невероятным и неожиданным предположениям насчет предмета "утаенной любви" Пушкина. Вместе с тем эта же статья нагляднее всего раскрывает пути формирования пушкиноведческой легенды и создания легендарного образа возлюбленной поэта.

Подтвердим наш вывод еще одним фактом произвольного, с нашей точки зрения, толкования пушкинского текста. В так называемом «Отрывке из письма» поэт рассказывает: "В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слыхал о странном памятнике влюбленного хана. К** поэтически описывала мне его, называя *la fontaine des larmes*" (IV, 176). Правда, он замечает, что не вспоминал об этом памятнике (а следовательно, и о рассказе К**), "когда писал свою поэму" (IV, 176). Для исследователя, увлеченного своей версией "утаенной любви", этого оказывается достаточно, чтобы увидеть в К** Потоцкую-Киселеву, хотя пушкинский «Отрывок» не дает оснований для подобного категорического утверждения. Напротив, общий контекст «Отрывка» с прямым упоминанием Н. Н. Раевского при описании посещения Бахчисарая делает более убедительным мнение исследователей, считающих, что К** — это Екатерина (Катерина) Раевская, с которой, как известно, связано множество крымских впечатлений, отразившихся в лирике поэта. В «Отрывке» отчетливо просматривается стремление провести резкую грань между реальными событиями (знакомство с главной достопримечательностью Бахчисарая — ханским дворцом и фонтаном слез, поэтичный рассказ К** о фонтане слез) и литературой, которая, как подчеркивает поэт, подчиняется своим собственным законам и далеко не всегда управляема впечатлениями извне.

Стремлением резко отграничить "поэзию" от "правды" отмечена полемика Пушкина с А. Бестужевым в связи с публикацией элегии «Редеет облаков летучая гряда...» (1820) в альманахе «Поляр-

[8] Исследователь подкрепляет свою версию еще одним соображением хронологического свойства. Осенью 1823 г. у сестры Ольги Нарышкиной в Одессе гостили Киселевы: "В эти месяцы пишутся знаменитые строки (т.е. эпилог — *Р. И.*), которые сам поэт называл любовным бредом" (Там же. С. 64).

ная звезда». Посылая стихи издателю альманаха Бестужеву, Пушкин просил его не публиковать трех последних строк, содержащих намек на адресата:[9]

Когда на хижины сходила ночи тень —
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.
(II, 157)

Однако вопреки его просьбе стихотворение было напечатано полностью. Упрекая Бестужева в нарушении авторской воли, Пушкин требует от него неукоснительного соблюдения "тайны" адресата лирических стихов. В черновике письма Бестужеву от 12 января 1824 г., как справедливо отметила Я. Л. Левкович,[10] промелькнул образ женщины, которой посвящены стихи: "они [писаны] относятся к женщине — которая первая прочитала их, я просил!" (XIII, 386). Однако в окончательный текст письма строки эти не попали — с тем, однако, чтобы приобрести самостоятельное значение в одном из следующих писем Бестужеву (от 29 июня 1824 г.), в котором подробно разъясняется этическая сторона вопроса: "...приятельское ли дело вывешивать напоказ мокрые мои простыни? Бог тебя простит! но ты осрамил меня в нынешней Звезде (т.е. в «Полярной Звезде на 1824 г.» — *Р. И.*) — напечатав 3 последние стиха моей Элегии; черт дернул меня написать еще к стати о Бахч.<исарайском> фонт.<ане> какие-то чувствительные строчки и припомнить тут же мою элегическую красавицу" (XIII, 100). В черновике вместо "тут же" стояло "ту же" — поправка в беловике далеко не случайная, ибо в эпилоге поэмы не один, а два лирических адресата. Первый из них указывает на вполне реальное лицо (М. Н. Раевскую), второй имеет в виду "утаенную любвь" к не известной нам женщине ("элегической красавице").

Работа П. Е. Щеголева, надолго определившая направление и характер поисков "утаенной любви" Пушкина среди адресатов его южных элегий и поэм, вызвала и критические отклики, в свою очередь

[9] Этим лицом Б. В. Томашевский (в чем с ним трудно не согласиться) считает Екатерину Раевскую: "По-видимому, описанная картина: девушка, показывающая на определенную звезду и называющая ее своим именем, — заключала в себе известную близким отличительную примету одной из дочерей Раевского". Исследователь опирается на свидетельство М. Ф. Орлова, писавшего жене (Екатерине Раевской-Орловой): "...воображаю тебя близкой всякий раз, как вижу достопамятную звезду, которую ты мне указала" (*Томашевский Б. В.* Пушкин. 2-е изд. М., 1990. Т. 2. С. 107). Подробное обоснование "крымской" версии "утаенной любви" Пушкина, предметом которой, по его мнению, была Екатерина Раевская (Орлова), исследователь дал в статье "'Таврида' Пушкина".

[10] *Левкович Я. Л.* Автобиографическая проза и письма Пушкина. Л., 1988. С. 276.

давшие новые стимулы к исследованию этой проблемы. Упрекая П. Е. Щеголева в том, что, собрав воедино разрозненные и разновременные факты и свидетельства, он безоговорочно отнес их к М. Раевской[11], П.К.Губер предложил свой путь исследования, связанный с изучением так называемого "донжуанского" списка Пушкина — "перечня всех женщин, которыми он увлекался" в альбоме Ел. Н. Ушаковой (подробнее об этом важнейшем для нашей темы документе см. статью Я. Л. Левкович в наст. изд.). В своей монографии «Дон-жуанский список Пушкина» П. К. Губер дает расшифровку записей поэта, подробно характеризуя упомянутых в списке женщин, которыми поэт увлекался в разные годы своей жизни, что отразилось и в его поэзии. В предлагаемой автором концепции творческого развития Пушкина нельзя не увидеть некоторых особенностей философско-эстетического сознания 1920-х гг., когда в России получили популярность идеи З. Фрейда. Губер обращает особое внимание на изначально, по его мнению, свойственную пушкинской натуре "необыкновенную быструю чувственность и нервную возбудимость", на "повышенную эротическую чуткость и отзывчивость Пушкина". В "донжуанском списке" Губер видит "длинный список женщин",[12] вызвавших у поэта эмоции сугубо эротического свойства, с чем, конечно, трудно согласиться. Но исследователь не отказывает Пушкину и в способности к чувству возвышенному, духовному по самой своей сути, связывая это чувство с "утаенной любовью" к женщине, имя которого в "донжуанском списке" помечено латинскими литерами NN. В этой связи П. К. Губер замечает: "Совершенно несомненно, что эти буквы стоят среди имен петербургского, а не южного периода. Правда, хронологический порядок в списке не имеет абсолютной точности; правда также, что это альбомная шутка, а не серьезный документ. Поэтому решающего значения он иметь не может. Все же мы получаем право еще раз вглядеться в этот перечень". По мнению Губера, под зашифрованными литерами скрывается лицейская любовь поэта — Наталья Кочубей (в замужестве Строганова), которая и является предметом "утаенной любви" Пушкина.

Другую, также "лицейскую" версию выдвинул позднее и Ю. Н. Тынянов, считающий, что мотив "утаенной любви" впервые появляется в лицейской лирике Пушкина:

Счастлив, кто в страсти сам себе
Без ужаса признаться смеет,
Кого в неведомой судьбе
Надежда робкая лелеет...
(I, 208)

[11] П. К. Губер замечает, что "перед нами цепь уравнений: "элегическая красавица" = женщина, рассказавшая легенду о фонтане = героиня увлечения, пережитого в Крыму = особа, на которую намекает "Разговор книгопродавца с поэтом" и любовный бред крымской поэмы = предмет утаенной любви, засвидетельствованный посвящением "Полтавы" = Мария Раевская"

[12] *Губер П.К.* Дон-жуанский список Пушкина. Пг., 1923. С. 19—20.

Эти элегические строки содержат намек на сильную, но по неизвестным читателю причинам скрываемую от окружающих страсть, не оставляющую юному возлюбленному никаких надежд:

Но мне в унылой жизни нет
Отрады тайных наслаждений;
Увял надежды ранний цвет:
Цвет жизни сохнет от мучений!
(I, 208)

"Эту безнадежную страсть, в которой поэт не может сам себе признаться без ужаса, комментаторы по инерции приписывают все той же "литературной" героине лицейских элегий Е. П. Бакуниной", — замечает Ю.Н.Тынянов, считающий, что для этого нет достаточных оснований. Отказ рассматривать Е. П. Бакунину (сестру лицейского товарища Пушкина) в качестве адресата этих строк становится для исследователя отправной точкой в поисках "безымянной любви" Пушкина, которую он связывает с юношеской влюбленностью поэта в старшую по летам Е. А. Карамзину (жену писателя) — платоническую любовь к ней Пушкин, по мнению Тынянова, пронес через всю жизнь.

Проблема адресата — важнейшая для лирики Пушкина вообще и для любовной в особенности. Имеет она существенное значение и для нашей темы, хотя в данном случае, как мы могли убедиться, поэт сознательно отказывается от намеков на конкретное лицо. Видимо, эта последняя особенность некоторых произведений Пушкина позволила одному из исследователей пушкиноведческого мифа об "утаенной любви" прийти к следующим выводам: любовные стихи Пушкина, считает Г. П. Макогоненко, "можно разделить на две группы. В одну входят стихи, прямо или косвенно обращенные к какой-нибудь определенной, названной или откровенно подразумевающейся женщине, например, «К***» ("Я помню чудное мгновенье..."), лично переданное адресату — А. П. Керн, или «Что в имени тебе моем...», записанное в альбом К. Собаньской.

Ко второй группе принадлежат глубоко интимные любовные стихотворения, потрясающие искренностью выраженных в них чувств, но написанные с позиций, не допускающих какого-либо биографического комментария, поиска адресата: все, что нужно читателю авторского замысла, содержится в самом поэтическом строе стихотворения, в его образной структуре". Стихи об "утаенной любви", согласно этой классификации, принадлежат ко второй группе любовной лирики и не нуждаются ни в каком биографическом комментарии.

Несмотря на столь категорично выраженное мнение, исследователь

не избежал соблазна попытаться вполне конкретно охарактеризовать ту, которая была адресатом стихов об "утаенной любви", хотя и отказался от поисков "идеальной подруги гения" среди вполне реальных лиц.

***

Еще первыми исследователями, обратившимися к теме "утаенной любви", были определены строгие хронологические границы возникновения и функционирования в поэзии Пушкина особого комплекса лирических мотивов, образов и тем, охватывающих в своей совокупности широкий круг произведений преимущественно южного и отчасти одесского периода. Однако в работах последующего времени, в особенности в новейших, есть немало примеров произвольного толкования понятия "утаенности", стремления выйти за рамки данного периода жизни Пушкина и применить это понятие к произведениям более позднего времени, когда, на наш взгляд, тема "утаенной любви" утратила для Пушкина свое прежнее значение. Подобные расширительные тенденции можно наблюдать на примере работ, которые посвящены трем одесским увлечениям поэта, в разной степени соотносимых с "утаенной любовью". Первое из них, отразившееся в ряде лирических стихов осени 1823 — начала 1824 г., подробно охарактеризовано в статье П. Е. Щеголева «Амалия Ризнич в поэзии А. С. Пушкина». Здесь предпринята попытка установить круг произведений, относящихся к этой женщине.[13] Кратковременная, но бурная вспышка страсти к "негоцианткe молодой" оставила глубокий след в душе поэта. Ранняя смерть Амалии Ризнич придала этому чувству трагический оттенок, и лишь известие о казни декабристов, полученное одновременно с вестью о кончине Ризнич, на время отодвинуло этой чувство на второй план. Все это отразилось в истории создания элегии 1826 г. «Под небом голубым страны своей родной...». Однако уже в черновых строфах «Воспоминания» (1828) этот прекрасный женский образ оживает вновь:

Я слышу вновь друзей предательский привет
    На играх Вакха и Киприды,
Вновь сердцу наносит хладный свет
    [Неотразимые обиды] <...>
И нет отрады мне — и тихо предо мной
    Встают два призрака младые
Две тени милые — две данные судьбой

[13] См.: *Щеголев П.А.* Амалия Ризнич в поэзии А. С. Пушкина // Вестник Европы. 1904. № 1. С. 305-327. Статья вошла в книгу П. Е. Щеголева "Из жизни и творчества Пушкина", вышедшую тремя изданиями. Дополнения и уточнение цикла лирических стихов, посвященных А. Ризнич, дает Т. Г. Цявловская в статье "Храни меня, мой талисман".

Мне ангела во дни былые —
Но оба с крыльями и с пламенным мечом —
И стерегут — и мстят мне оба <...>
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах счастия и гроба
(III, 654—655)

Наблюдения П. Е. Щеголева, предположившего вслед за П. В. Анненковым, что под одной из "двух теней милых" следует подразумевать Амалию Ризнич, необходимо дополнить некоторыми предположениями насчет другого женского образа.

Нет ни малейшего сомнения в том, что "оба призрака" — реальные, а не вымышленные лица: это две умершие возлюбленные поэта. И если в отношении Амалии Ризнич вопрос может считаться окончательно решенным,[14] то о второй возлюбленной конкретных предположений высказано не было. Очевидно, ею могла быть молодая женщина или девушка, внушившая поэту страстное чувство и ко времени написания «Воспоминания» уже умершая. Полагаем, что поэт вспоминал о "гречанке" Калипсо Полихрони, романтическое увлечение которой он пережил в Кишиневе. Ей, как известно, адресованы стихотворение «Гречанке» ("Ты рождена воспламенять...") (1822), а также альбомный мадригал «Иностранке» (1822) (в черновом автографе тоже озаглавленный «Гречанке»). Мадригал этот был переписан Пушкиным из тетради ПД, № 834 в тетрадь ПД, № 833 под заглавием «В альбом иностранке». Содержание стихотворения не оставляет сомнения в том, что чувство поэта к экзотической красавице, которая, по воспоминаниям близко знавших Пушкина лиц, была возлюбленной Байрона, носило искренний и глубокий характер:

Мой друг, доколе не увяну,
В разлуке чувство погубя,
Боготворить не перестану
Тебя, мой друг, одну тебя.
(II, 271)

Имя Калипсо Полихрони находится и в "донжуанском списке" Пушкина, что также свидетельствует о пылком чувстве, надо полагать взаимном. В 1821 — 1822 гг., в период знакомства и общения Пушкина с Калипсо Полихрони, ей было 17 лет. В 1827 г. она скончалась. В одном из вариантов белового автографа стихотворения «Иностранке» (ПД, № 834, л. 1-1 об.) поэт обращается к возлюбленной:

Верь ангел сердцу моему
Как нынче веришь ты ему
(II, 786)

[14] См.: *Левкович Я.Л.* "Воспоминание" // Стихотворения Пушкина 1820—1830-х гг. Л., 1974. С. 115.

Это обращение ("ангел") несет в себе не только назывную, но и оценочную функцию, указывающую на целый комплекс возвышенных свойств женской натуры (ее "ангельские" черты).

Подобное восприятие облика адресата позволяет сравнить эти строки с соответствующими черновыми строфами «Воспоминания» и увидеть в одной из "теней милых" Калипсо Полихрони. Если наше предположение справедливо, то есть основания отнести к ней (а не к Амалии Ризнич) «Заклинание» — один из шедевров болдинского лирического цикла 1830 г. («Прощанье», «Заклинание» и «Для берегов отчизны дальной...»). В адресованном Полихрони стихотворении «Гречанке» ("Ты рождена воспламенять...") Пушкин прямо уподобляет красавицу-гречанку байроновской Леиле (героине «Гяура»), разъясняя в беловом тексте (ПД, № 50), как нужно правильно произносить название этой поэмы: "*Гяур* (а не *Джаур*, как пишут некоторые)" (II, 769). Видимо, далеко не случайно Леилой названа и героиня «Заклинания».

Этот довольно пространный экскурс понадобился нам для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что лирическая поэзия Пушкина скрывает множество тайн и загадок, но далеко не каждая из них связана с проблемой "утаенной любви". Ни Ризнич, ни Калипсо Полихрони, при всей значительности отношений с ними для творчества Пушкина, не соотносятся с теми лирическими контекстами, в которых выражает себя "утаенная любовь".

Лишь отчасти соприкасаются с ними и стихи "воронцовского цикла", анализу которых посвящена исчерпывающая по материалу статья Т. Г. Цявловской «Храни меня, мой талисман». Прослеживая свидетельства постепенного зарождения чувства Пушкина к Елизавете Ксаверьевне Воронцовой от первых набросков ее портретов в его рабочих тетрадях и отдельных стихотворных строк с полупризнаниями до драматически напряженных и страстных, трагически окрашенных лирических шедевров, Т. Г. Цявловская, не прибегая к термину "утаенная любовь", по существу анализирует историю этой любви как любви "утаенной". Разумеется, это чувство требовало соблюдения тайны, ибо возлюбленных разделяли семейное положение Елизаветы Ксаверьевны и ее положение в одесском свете. Однако в обращенных к ней стихах отчетливо звучат не только мотивы тайны, но и угасания, обреченности, даже смерти, в чем нельзя не усмотреть воздействия не столько жизненных, сколько литературных импульсов. Появление здесь лирических мотивов и тем, воссоздающих ситуацию вечной разлуки ("могильный сумрак", "овдовевшая супруга", "твой друг угас" — в «Прощанье»; неожиданные строки "Все в жертву памяти твоей..." в одноименном стихотворении), породило немало недоумений и попыток вывести эти стихи за пределы воронцовского цикла на том основании, что подобные строки не могли относиться к живой женщине. Между тем любовь запретная, скрываемая, безнадежно трагическая

требовала особых приемов и форм для своего выражения. В лирике предшествующих лет такие приемы были выработаны применительно к ситуации "утаенной любви". Отсюда и точки соприкосновения стихов воронцовского цикла с лирическими вариациями на тему "утаенной любви". Но не менее важно, что в этих же стихах ощутимо стремление перейти от условных, воображаемых переживаний к чувствам подлинным и глубоким. "Утаенная любовь" из области "предполагаемых чувств в предполагаемых обстоятельствах" становится живой реальностью. Такова логика творческого развития величайшего из русских лириков.

Т. Г. Цявловская "разгадала" еще одну сердечную тайну поэта, относящуюся к его одесской жизни. Героиней этого поистине "детективного" романа Пушкина стала Каролина Адамовна Собаньская, урожденная графиня Ржевусская (1794—1885). Первым исследователем, указавшим на нее как на адресата двух любовных писем Пушкина начала 1830 г., был одесский пушкинист А. М. Де-Рибас.[15] "Одна из самых блистательных красавиц польского общества русского юга", женщина со сложной судьбой и далеко не безупречной репутацией (почти официально находившаяся в любовной связи с известным генерал-лейтенантом, графом О. И. Виттом, приобщившим ее к политическому сыску, о чем, разумеется, Пушкин не мог знать), Каролина Собаньская познакомилась с Пушкиным, по собственному его признанию, 2 февраля 1821 г. (в день святого Валентина, день всех влюбленных). Однако настоящее знакомство, переросшее в постоянное общение, состоялось уже в Одессе и далеко не сразу перешло со стороны Пушкина в увлечение. По-видимому, на первых порах Пушкин встречался с Собаньской в кругу одесского светского общества (хотя пренебрегавшая светскими условностями Каролина была принята далеко не во всех аристократических домах Одессы). В откровенном письме к А. Н. Раевскому от 15—22 октября 1823 г. Пушкин пишет, что "страсть его очень уменьшилась", так как он "влюбился в другую", т.е. в Амалию Ризнич (XIII, 70). И только после разрыва с последней и отъезда ее на лечение за границу (где-то в начале мая 1824 г.) Пушкин снова обратился к Собаньской. Не о ней ли идет речь в датированной 18-19 мая 1824 г. загадочной помете "Veux tu m'aimer" под беловым автографом стихотворения «В альбом иностранке» в одной из рабочих тетрадей Пушкина (ПД № 833, л. 26)? В переводе помета гласит: "Хочешь ли ты любить меня?" — и содержит аббревиатуру "pl. v. D.".

Содержание стихотворения, о котором уже шла речь, и смысл пометы делают совершенно невероятным отнесение ее к Дегильи,[16] кишиневскому знакомому Пушкина, ссора с которым едва не дошла до дуэли. Нет ни малейшего сомнения в том, что помета имеет в виду

[15] См. об этом: Рукою П. С. 185.

[16] См.: *Анненков П. В.* А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874. С. 244. Ср.: Рукою П. С. 301.

женщину, к которой и обращен этот вопрос (а точнее, жалоба, сетование: plainte), по-видимому как-то увязанный со смыслом поэтического текста. Стихи, обращенные, как мы предполагаем, к Калипсо Полихрони в 1822 г., были переписаны в ПД № 833 в беловой редакции примерно тогда же. Запись же датирована маем 1824 г., когда отношения с прекрасной гречанкой стали уже прошлым, а самые стихи, адресованные «Иностранке», могли прозвучать как мадригал новому (уже "одесскому") увлечению поэта. Дата 18—19 мая полностью исключает Амалию Ризнич, к этому времени покинувшую Одессу, а также и Е. К. Воронцову (в эти дни отсутствовавшую в городе и никак не подходившую в качестве нового адресата стихотворения «Иностранке»). Полагаем, что помета имеет в виду Собаньскую, чистокровную полячку, а аббревиатура "v" и "D" может означать "виконтессе", т.е. графине, "Д.". "Д." — Джованна — имя, которым называла себя Собаньская (именно этими инициалами — точнее, "Д. Д." ("донна" вместо "виконтесса") — помечены посвященные ей сонеты А. Мицкевича из его книги «Крымских сонетов»). Видимо, посвящение Собаньской альбомного мадригала не состоялось, а развитие и углубление чувства к Воронцовой погасило начавшийся было "флирт" с Собаньской, весьма опасной кокеткой. Подробное описание отношений поэта с этой интереснейшей его современницей дает в своей статье М. И. Яшин, вернувшийся к версии "утаенной любви" Пушкина как любви к Собаньской. Увлеченный своей версией, автор собрал большой и разнообразный материал о Собаньской, дополнив некоторыми интересными документами ту сводку материалов о ней, которую дает Т. Г. Цявловская.[17] Но, оказавшись в плену своей версии, М. И. Яшин весьма некритически отнес к Собаньской почти всю любовную лирику одесского периода, отдав щедрую дань расширительному применению легенды об "утаенной любви" Пушкина в своей статье «Итак, я жил тогда в Одессе» (которая включена в настоящее издание). Несмотря на целый ряд натяжек, связанных с адресатами стихотворений (написанных Пушкиным в Одессе), автор статьи, используя архивные материалы и неизвестные ранее документальные свидетельства, а также суммируя различные сведения из печатных источников, воссоздает яркий и запоминающийся образ "демонической красавицы", ревностной польской патриотки, поставившей на службу политическим интересам свои разнообразные таланты и несомненное женское обаяние, воздействия которого не избежал и Пушкин. Однако нельзя не заметить, что по каким-то неизвестным нам причинам он не включил Каролину Собаньскую в свой "донжуанский список".

До сих пор остается открытым и вопрос о том, кто же скрывается под загадочными литерами NN в этом списке. Несмотря на целый ряд предложенных пушкинистами расшифровок[18], ни одна из них не пред-

[17] См.: Рукою П. С. 198—208.

[18] См. об этом статью и комментарий к "донжуанскому списку" Пушкина,

ставляется убедительной в полной мере. Имя этой таинственной женщины поэт не раскрыл ни своим московским приятельницам — сестрам Ушаковым, ни другим (возможным) читателям записей в этом альбоме. Очевидно лишь то, о чем в свое время писал еще Губер: положение этих литер в "донжуанском списке" Пушкина весьма наглядно свидетельствует в пользу "утаенной любви" и еще в большей степени — в пользу любви "северной", ибо список, начатый, по мнению большинства комментаторов, скорее всего именем Натальи Кочубей (будущей Строгановой) и завершающийся Натальей Николаевной Гончаровой, выстроен в хронологическом порядке. По мнению Т. Г. Цявловской, под литерами "NN" скрывается "неизвестная нам женщина", "предмет 'северной' мучительной любви, может быть, безответной, во всяком случае, как-то оборвавшейся". Исследовательница идет в своих предположениях дальше, заявляя: "...возможно, что она рано умерла, и ее могилу посетил Пушкин, вернувшись в Петербург в 1827 или 1829 году".[19] Впоследствии Т. Г. Цявловская увидит отражение любви поэта к этой неизвестной NN в черновых строфах «Воспоминания» и в «Заклинании».

Между тем очевидно, что загадочная женщина (если NN не мистификация со стороны поэта) встретилась ему сразу же после окончания Лицея, но еще до знакомства с Е. И. Голицыной, относящегося к ноябрю 1817 г. Такой вывод напрашивается из анализа первого списка. Тогда ею могла быть (утверждать этого категорически, разумеется, нельзя) героиня нашумевшей истории, случившейся в 1817 г. в Коломне, а именно семнадцатилетняя красавица Екатерина Буткевич, выданная замуж за семидесятилетнего богача, графа В. В. Стройновского. Работая над поэмой «Руслан и Людмила», считает новейший ее исследователь, поэт воспользовался некоторыми деталями истории замужества Екатерины Буткевич. В тексте поэмы он усмотрел множество намеков на отталкивающую личность престарелого жениха, а в похищении карлой Черномором юной Людмилы увидел отзвуки вполне реальных событий.[20] Позднее, в «Домике в Коломне» (1830), Пушкин вернется к своим юношеским переживаниям и создаст сцену посещения графиней Покрово-Коломенской церкви:

подробно обследованному Я. Л. Левкович. Исследовательница указывает, что список состоит из двух частей, из которых в первую (первый список) вошли те, кто внушил Пушкину глубокое и страстное чувство, во второй, составленный, по-видимому, позднее (уже осенью 1829), попали те, кто не оставил глубокого следа в душе поэта.

[19] См.: Рукою П. С. 631—632.

[20] См.: *Матвеевский Б.* Прообраз карлы Черномора // Пушкинский праздник. 1989. 22 мая — 7 июня. С. 11. Подробнее о дальнейшей судьбе Екатерины Стройновской см. очерк В. П. Старка в его книге "Портреты и лица" (СПб., 1995. С. 188—193).

Туда, я помню, ездила всегда
Графиня... (звали как, не помню, право).
Она была богата, молода;
Входила в церковь с шумом, величаво;
Молилась гордо (где была горда!)
Бывало, грешен, все гляжу направо,
Все на нее...
(V, 88)

Реплика автора «Домика в Коломне» — "(звали как, не помню, право)" — дает, полагаем, некоторые основания считать, что в момент составления списка, в 1829 г., Пушкин действительно не припомнил, а может быть, и не захотел назвать имени той женщины, "романтическое" чувство к которой возникло в ранней юности и стало одним из дорогих его сердцу петербургских воспоминаний, давших начало поэзии "утаенной любви". Остальное довершили воображение и фантазия, ибо, по нашему глубокому убеждению, "утаенная любовь" была не столько выражением реального чувства поэта к реальной женщине, единственной и глубокой его страсти, сколько художественным воссозданием определенного эмоционально-психологического состояния, которое он позднее в «Путешествии Онегина» емко и точно обозначит как "безымянные страданья" и теснейшим образом свяжет их с романтической порой своего творчества:

В те поры мне казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груды скал,
И гордой девы идеал.
И безымянные страданья...
(VI, 200)

Эти настроения выразились и в лирических фантазиях «Разговора книгопродавца с поэтом» (1824). Здесь мы находим наиболее целостное воплощение этого во многом воображаемого идеала, который вобрал в себя лучшие черты близких ему современниц, неуловимо присутствующие в каждой из них — и ни в ком полностью. "Утаенная любовь" — мечта поэта, то, что он искал в "подругах тайных" своей весны, чем очаровывался и из-за чего страдал. О ней, безымянной любви, вдохновенно мечтает поэт:

Она одна бы разумела
Стихи неясные мои;
Одна бы в сердце пламенела
Лампадой чистою любви!
(II, 328—329)

***

Л. П. Гроссман, подводя итоги изучения его предшественниками проблемы "утаенной любви" Пушкина, назвал восемь женских имен в качестве возможных вдохновительниц «Бахчисарайского фонтана» и "объектов любви его автора". "Это были, — писал он, — княгиня Мария Аркадьевна Голицына, рожденная Суворова-Рымникская, внучка генералиссимуса; Наталья Викторовна Кочубей, в замужестве графиня Строганова, дочь министра внутренних дел и предмет раннего увлечения Пушкина-лицеиста; четыре дочери знаменитого героя 1812 года генерала от кавалерии Николая Николаевича Раевского 1-го — Екатерина Николаевна, по мужу Орлова, Елена Николаевна, Мария Волконская и ее младшая сестра Софья; жена историка Екатерина Андреевна Карамзина и, наконец, пленная девушка-татарка, ставшая компаньонкой барышень Раевских, Анна Ивановна. Вот кого исследователи русской поэзии — А. И. Незеленов, М. О. Гершензон, П. Е. Щеголев, Ю. Н. Тынянов, П. К. Губер, Д. С. Дарский и др. собрали у входа в ханский дворец Бахчисарая".[21] Последовавшие за статьей Гроссмана «У истоков Бахчисарайского фонтана» разыскания Т. Г. Цявловской, М. И. Яшина и др. добавили к этому перечню еще несколько имен — К. А. Собаньскую, Е. К. Воронцову и даже "крепостную любовь" Пушкина — Ольгу Калашникову.[22]

В свое время, возражая Д. Дарскому, Б. В. Томашевский писал: "Недавно закончилась пора аристократических романов и началась полоса демократическая. В прошлом году в Москве открыли, что "утаенная любовь" Пушкина имела объектом некоторую татарку Анну Ивановну, компаньонку Раевских."[23] В наши дни — налицо все симптомы наступления полосы "монархической", когда объектом "утаенной люб-

[21] Следует отметить, что внятных сведений об увлечении Пушкина Еленой Раевской (с которой обычно связывают элегию "Увы, зачем она блистает...") и совсем юной Софьей, до нас не дошло. В специальном приложении к своей статье, озаглавленном "Раевские и «Бахчисарайский фонтан»", Гроссман отрицает причастность всех сестер Раевских к истории созданий пушкинской поэмы. Что же касается до татарки Анны Ивановны, то автором этой версии был Д. Дарский, работа которого "Три любви Пушкина" была в свое время прочитана в качестве доклада на заседании литературной секции Российской Академии Художеств. (см. в кн.: Пушкин: Сборник первый. М., 1924. С. 310—311), но не была опубликована. Имеются основания полагать, что рукопись этой статьи хранится ныне в РГАЛИ.

[22] Намеки на такое именно понимание взаимоотношений Пушкина с Ольгой Калашниковой содержатся в новелле С. С. Гейченко "Жизненок" (см.: *Гейченко С.С.* У лукоморья. Л., 1986. С. 64—74), которой, справедливости ради надо заметить, придана форма литературно-художественного повествования, допускающего вымысел и субъективную интерпретацию отдельных фактов и свидетельств.

[23] *Томашевский Б.В.* Владислав Ходасевич // Рус.современник, 1924, № 3, С. 262.

ви" Пушкина объявляются царствующие особы — жена Николая I — Александра Федоровна и, в особенности, Елизавета Алексеевна, супруга Александра I, к которой, по утверждению К. Викторовой, поэт питал единственное, пронесенное через всю жизнь чувство: "Пушкину, — заявляет автор статьи «Лампада чистая любви», — была послана судьбой ли, Богом, послана на всю жизнь как 'высшая награда' — это его слова — высокая любовь, ставшая его Музой, сделавшая его Поэтом. Это была женщина высшего порядка, а любовь к ней, утаенная любовь Пушкина, соединила в его сердце, в его душе две стихии — Землю и Вселенную, прошла через всю его жизнь. Встреча с нею произошла в Царском Селе. Ей посвящены лицейские элегии. Все события ее биографии, ее облик, вся ее жизнь и смерть отражены в главнейших произведениях Пушкина и оставили след во множестве стихов. И если соединить их вместе и прочесть с помощью кода, заключенного в рукописях Пушкина, то имя этой утаенной любви предстает совершенно однозначно".[24] Статья, которой придана форма интервью, представляет собою реализацию этого тезиса: итогом проделанной автором операции по расшифровке якобы заключенного в пушкинских текстах "особого" смысла с помощью модной ныне методики "тайнописи" явился демонстративный отказ от научно обоснованных представлений об отдельных его произведениях, творчестве в целом, да, пожалуй, о всей его жизни, которая рассматривается К. Викторовой как некое культовое по своим формам служение императрице Елизавете Алексеевне, возведенной в ранг святых, божественных и неземных существ. При полном уважении к личности этой, по-своему весьма незаурядной, женщины ее жизнь едва ли могла служить эталоном святости и безгрешности. Что же касается до обращенных к ней "хвалебных" по тону стихов Пушкина 1818 г., то они имеют отчетливо выраженную политическую окраску, отражающую репутацию Елизаветы в декабристски настроенных кругах петербургской молодежи, из числа сторонников ее возведения на престол. Впрочем, реальная Елизавета Алексеевна со всеми ее слабостями (достаточно напомнить о ее отношениях с полковником Алексеем Охотниковым) не находит себе места в специальном исследовании о ее особой роли в жизни Пушкина. В отношении же самого поэта "исследование" Викторовой буквально пестрит натяжками, домыслами, грубыми фактическими ошибками и весьма вольным обращением с датами.[25] Опубликованный в солидном

[24] *Викторова К.* "Лампада чистая любви" // Наука и религия. 1995. № 6. С. 48-53.

[25] У автора статьи своя особая текстология: не доверяя большому академическому собранию сочинений Пушкина, она цитирует пушкинские произведения "по автографам", которых в ряде случаев просто ныне не существует (т.н. "майковский" автограф "элегии 1827" — речь идет о стихотворном наброске "Весна, весна, пора любви..." — на самом деле копия утраченного автографа, а самый черновик начала наброска находится в рабочей тетради ПД № 836), как нет и Кишиневской тетради 1821 г. (известно, что "кишиневских тетрадей"

и уважаемом периодическом издании "опус" об "утаенной любви" поэта к монархине дезориентирует читателей, создает превратное представление как о самом Пушкине, так и о Елизавете Алексеевне, а главное — бросает тень на усилия пушкинистов серьезно разобраться в отношениях поэта с его современницами, по-разному влиявшими на его творчество.

Для широкого читателя, постепенно привыкающего к безудержному и ничем не ограниченному произволу в отношении Пушкина, будет, на наш взгляд, не бесполезно познакомиться с лучшими работами известных и уважаемых авторов, посвященными такой интересной, но одновремено и сложной теме как "утаенная любовь" поэта. Собранные в одной книге, они, как нам представляется, дают удивительную по динамике мысли и обилию вводимого в научный оборот материала картину борьбы мнений, концепций, настоящую полифонию голосов, столкновение разных точек зрения на один предмет, на разные пути решения одной общей проблемы. Представляя собою в ряде случаев классику отечественного пушкиноведения, эти работы знакомят с методами и приемами ведения научного спора, ибо все они тесно связаны между собой общностью цели и уважительным вниманием к своим оппонентам. Каждая из помещенных в сборнике статей появлялась как ответ на поставленную, но окончательно не решенную проблему: возражая Гершензону с его версией "северной люб-

— три, и все они заполнялись в течение многих лет). Автор пользуется собственными названиями произведений Пушкина: "19 декабря" (описка в одном из списков стихотворений) вместо известной лицейской годовщины 1825 года "19 октября", "Рыцарь бедный" — вместо пушкинского заглавия "Легенда", которую поэт называл и "Балладой о рыцаре, влюбленном в Деву". Кстати о "Деве" ("богоматери", "пречистой" и т.д.): адресованные ей эпитеты ("святая", "небесная", "Sancta Rosa" и др.) Викторова относит к императрице, как и шутливый мадригал "Ты богоматерь, нет сомненья...", тон которого не допускает обращения к "высочайшей особе", а тем более к женщине, к моменту написания стихотворения не имеющей детей (обе ее дочери от Александра I и от Охотникова умерли во младенчестве). К. Викторову совершенно не смущает то обстоятельство, что известный пушкинский "Акафист" вовсе не "приписан" Екатерине Николаевне Карамзиной биографами поэта, а озаглавлен ее инициалами собственноручно Пушкиным в тетради ПД, № 836. Нет необходимости подробно говорить о полной путанице в датах пушкинских произведений: если бы французские "Stances" Пушкина-лицеиста действительно были написаны в 1812 г., то это стало бы настоящей сенсацией, ибо первое из дошедших до нас пушкинских стихотворений было написано в 1813 г. Что же касается до вычитывания намеков и указаний на занятия и бытовые привычки императрицы из хрестоматийно известных произведений поэта ("Барышня-крестьянка", "Мадонна", "Евгений Онегин" и т.д.), то это напоминает разгадывание ребусов и кроссвордов, не имеющих ничего общего с серьезными литературными занятиями. Мы указали лишь на некоторые самые типичные приемы и методы интерпретации и "изучения" материала в статье К. Викторовой, на самом деле ошибок, искажений и грубых полемических выпадов в ней значительно больше.

ви" Пушкина, Щеголев подробно и основательно обосновал свою "крымскую" версию, попутно заполнив те "белые пятна" в истории взаимоотношений Пушкина с героиней статьи Гершензона, а тот, в свою очередь, познакомившись с работой Щеголева, отказался считать М. А. Голицыну "утаенной любовью" Пушкина и при последующей перепечатке своей статьи вовсе изъял из нее весь "голицынский" эпизод. Не соглашаясь со Щеголевым, Томашевский пишет о "таврической звезде" Пушкина — Екатерине Раевской, а Гроссман, возразив сторонникам "крымской версии", создал незабываемый образ С. С. Потоцкой, бывшей, по его убеждению, единственной "утаенной любовью" Пушкина. Уточняя наблюдения Щеголева над адресатами одесских стихов Пушкина, Т. Г. Цявловская посвятила свой очерк Е. К. Воронцовой, что почти немедленно вызвало полемическое выступление Г. П. Макогоненко, предложившего свое видение предмета "утаенной любви". Каждая из работ чем-то, а порою и весьма существенно, обогащала наш взгляд на Пушкина, вносила новые оттенки в понимание его произведений, уточняла даты их создания, раскрывала не известные ранее обстоятельства его жизни. И если справедливо старое изречение, что в спорах рождается истина, то совместные усилия авторов собранных в этой книге работ помогали ее рождению, хотя следует признать, что загадка пушкинской "утаенной любви" все еще остается не до конца разгаданной. В поисках ответа не только на этот, но и на другие заданные его творчеством вопросы мы постепенно приближаемся к постижению глубокого и многообразного по своим проявлениям мира высокой поэзии, неотделимой от жизни каждого подлинного художника (а Пушкина — в особенности), но он, опережая время не только свое, историческое, но и наше, сегодняшнее, всегда будет впереди нас, а постижение нами тайн его творческой жизни опять отодвинется в будущее, делая бесконечным самый процесс их познания.

Я. Л. ЛЕВКОВИЧ

"ДОНЖУАНСКИЙ СПИСОК" ПУШКИНА

Запись в альбоме Ел. Ушаковой

"Донжуанским списком" называют перечень женских имен, записанных Пушкиным в альбоме Елизаветы Николаевны Ушаковой.

Альбомы были непременной частью быта уездных и столичных барышень пушкинской поры. Вспомним строфы из четвертой главы «Евгения Онегина»:

XXVIII

Конечно вы не раз видали
Уездной барышни альбом,
Что все подружки измарали
С конца, с начала и кругом.
Сюда, назло правописанью,
Стихи без меры, по преданью,
В знак дружбы верной внесены,
Уменьшены, продолжены.
На первом листике встречаешь
Ou' écrirez-vous sur ces tablettes;
И подпись: t. a. v. Anette;[1]
А на последнем прочитаешь:
"Кто любит более тебя,
Пусть пишет далее меня".

XXIX

Тут непременно вы найдете
Два сердца, факел и цветки;
Тут верно клятвы вы прочтете
В любви до гробовой доски;
Какой-нибудь пиит армейский
Тут подмахнул стишок злодейский.
В такой альбом, мои друзья,

[1] Что вы напишете на этих листках?
В<ся> в<аша> Аннета *(франц.)*.

Признаться, рад писать и я,
Уверен будучи душою,
Что всякий мой усердный вздор
Заслужит благосклонный взор,
И что потом с улыбкой злою
Не станут верно разбирать,
Остро ль, иль нет, я мог соврать.

XXX

Но вы, разрозненные томы
Из библиотеки чертей,
Великолепные альбомы,
Мученье модных рифмачей,
Вы, украшенные проворно
Толстого кистью чудотворной,
Иль Баратынского пером,
Пускай сожжет вас Божий гром;
Когда блистательная дама
Мне свой in quarto поднесет,
И дрожь и злость меня берет,
И шевелится эпиграмма
Во глубине моей души,
А мадригалы ей пиши.
(VI, 85—86)

Такие "мадригалы" писал Пушкин в альбом своих тригорских приятельниц и других уездных барышень, в альбом женщин, в которых бывал влюблен, в альбом хозяек литературных салонов и светских дам. Но из всех дошедших до нас альбомных стихов поэта и альбомов с его стихами наиболее примечателен один — альбом Елизаветы Николаевны Ушаковой.

Сестры Ушаковы Елизавета (1810—1872) и Екатерина (1809—1872) — московские приятельницы Пушкина. В интеллигентной, музыкальной семье Ушаковых собирались известные музыканты, певцы, писатели. Часто (иногда по два-три раза в день) бывал там Пушкин во время своих наездов в Москву до женитьбы. Первое знакомство с сестрами относится к концу 1826 г., когда поэт вернулся из ссылки в Москву и до отъезда в Петербург стал постоянным посетителем ушаковского семейства. Обе сестры отличались приятной внешностью и между ними и поэтом установились весело-беззаботные отношения. Младшая сестра была невестой доброго приятеля Пушкина Сергея Дмитриевича Киселева (1793—1851), за старшей ухаживал Пушкин, и по Москве ходили слухи, что поэт был серьезно в нее влюблен. Е. С. Телепнева, посетившая семейство Ушаковых в Москве, записала в дневнике 22 июня 1827 г. о Пушкине и Екатерине Ушаковой: "На балах, на гуляньях он говорил только с нею", а в отсутствие ее "сидит

целый вечер в углу задумавшись, и ничего уже не в силах развлечь его"[2]. Екатерина Ушакова привлекала поэта своим острым умом, резвостью и шаловливостью. "Nec femina, nec puer"[3] написал Пушкин на поднесенном ей экземпляре своих "Стихотворений", вышедших в 1829 г., 3 апреля 1827 года датируются посвященные ей альбомные стихи, в которых проглядывает и облик адресатки, и чувство поэта к ней.

Когда бывало в старину
Являлся дух иль привиденье,
То прогоняло сатану
Простое это изреченье:
"Аминь, аминь, рассыпься!" В наши дни
Гораздо менее бесов и привидений
(Бог ведает, куда девалися они!).
Но ты, мой злой иль добрый гений
Когда я вижу пред собой
Твой профиль, и глаза, и кудри золотые,
Когда я слышу голос твой
И речи резвые, живые
Я очарован, я горю
И содрогаюсь пред тобою
И сердца пылкого мечтою
"Аминь, аминь, рассыпься" говорю.
(III, 53)

О возможной женитьбе Пушкина на Екатерине Ушаковой писали даже в марте 1830 года П. А. Вяземский жене, М. П. Погодин С. П. Шевыреву и В. А. Муханов брату[4]. И кто знает, не встреться Пушкин с Натальей Гончаровой или получи он решительный отказ от ее матери при втором сватовстве, может быть, жизнь и судьба поэта сложились иначе.

Конечно же, у сестер Ушаковых, как и у других московских барышень, были альбомы. Но из всех принадлежавших им альбомов до нас дошел только один — альбом Елизаветы Николаевны, который получил утвердившееся в пушкиноведении название "Ушаковский альбом". Теперь он хранится в Пушкинском доме (ПД—1723). Не дошел до нас альбом, куда в январе 1829 г. Пушкин записал стихотворение "Вы избалованы природой...", которое при публикации так и называлось: «Ел.Н.Ушаковой. В альбом». Нет альбома, где было записано приведенное выше послание к Екатерине Николаевне, и другое, тоже адресованное ей стихотворение "В отдалении от вас..." Уже после смерти Пушкина Екатерина вышла замуж за вдовца, коллежского советника Д. М. Наумова. По требованию мужа она уничтожила девичьи альбомы

[2] Пушкин и его современники. СПб., 1907. Т. 5. С. 120—121.

[3] Ни женщина, ни мальчик *(лат.)*

[4] См.: Лит. наследство. Т. 58. М.; Л., 1952. С. 211; Рус. архив, 1882. № 6. С. 161; Рус. архив, 1899. № 6. С. 356.

с рисунками и записями Пушкина. А перед смертью велела дочери сжечь письма Пушкина к ней, считая, что их переписка должна остаться тайной двух сердец.

В 1829 г. Пушкин был в Москве три раза: приехав из Малинников в первой декаде декабря 1828 г. он оставался в Москве до 7 января, затем был в Москве во второй половине марта—апреле перед поездкой в Арзрум и после возвращения из Арзрума с 20 сентября по 12 октября. И, наконец, частые посещения Ушаковых продолжались в марте—апреле 1830 г., когда Пушкин приехал в Москву улаживать личные дела и по делам «Литературной газеты». Его приходы всегда сопровождают шутки, веселые подтрунивания. Чувствуется атмосфера еще не угасшей влюбленности. Все это мы видим в Ушаковском альбоме. Это альбом с золотым обрезом и напечатанными на некоторых страницах красочными цветами. В нем встречаются стихи не известных в литературе авторов, стихи, переписанные самой Елизаветой Николаевной, и шутливые записи ее сестры. Много рисунков. Некоторые вклеены в альбом — возможно, они рисовались в других альбомах или на отдельных листах. Но в какое-то время альбом был предоставлен в распоряжение Пушкина и, как заметил Вересаев, он стал представлять "поле сражения, на котором Пушкин, с одной стороны, и сестры Ушаковы, с другой, шутливо пикировались, задирали и высмеивали друг друга"[5].

Летом 1828 г. Пушкин сватался к Анне Алексеевне Олениной и получил отказ. Сестры, конечно, знали об этом, и в альбоме появляются рисованные кем-то из сестер жанровые сценки на тему неудавшегося сватовства. На одном рисунке дама (Оленина) как бы отталкивает Пушкина, а под рисунком подпись:

Прочь, прочь отойди!
Какой беспокойный!
Прочь! Прочь! Отвяжись
Руки недостойный.

Другой рисунок изображает даму, стоящую с удочкой на берегу водоема, а в воде видно множество мужских голов, рядом стишок:

Как поймаю рыбочку
Я себе на удочку
То то буду рада
То то позабавлюсь
То то разгуляюсь.

"Оленинские" рисунки (к ним относятся и два портрета несостоявшегося тестя Пушкина президента Академии художеств и директора Публичной библиотеки Алексея Николаевича Оленина) были сдела-

[5] *Вересаев В.* Спутники Пушкина. М., 1937. Т. 2. С. 37.

ны скорее всего в первый приезд Пушкина в Москву после отказа Олениной.

Поездка в Арзрум и рассказы Пушкина о ней нашли отражение в его рисунках. Мы видим портрет брата, с которым он встречался в армии, видим восточный город с минаретами и плоскими крышами домов. Под рисунком подпись: "Арзрум, взятый мною, А. П. помощию Божией и молитвами Екатерины Николаевны 27 июня 1829 года о Р.Х." Рисунок предваряет позднейшее описание в «Путешествии в Арзрум»: "С высоты горы в лощине открывался взору Арзрум со своею цитаделью, с минаретами, с зелеными кровлями, наклеенными одна на другую" (VIII, 474). Тут же Пушкин рисует себя на коне, в бурке и с пикою в руке. Рисует и вражеского всадника. Позднее этот всадник возникнет в его стихотворении «Делибаш». В альбоме имеются зарисовки колоритных людей, которых он встретил во время поездки — офицера Первого конного мусульманского полка Фаргат-Бека (ему Пушкин посвятит стихи «Из Гафиза»), полковника мусульманского иррегулярного полка Фарджула-Бека и камергера двора Фатали-шаха. Рассказы о поездке не могли не коснуться и Грибоедова. Он нарисован в головном уборе, какой носили персидские чиновники. На губах выразительная усмешка — таким запомнился, очевидно, он Пушкину при последней встрече.

В рисунках фиксируются и разговоры об общих знакомых, и московские эпизоды. Один рисунок изображает Вяземского и Нащокина в церкви. Вяземский был церковным старостой в своем приходе и, подтрунивая над ним, Пушкин изобразил его в рясе и с косичкой — как подобало выглядеть младшим чинам церковного причта. В руках у него тарелка — в нее прихожане клали деньги во время богослужения. На одном из листов изображена воображаемая могила безутешно влюбленного в Елизавету Ушакову Александра Лаптева с якобы написанной им самим эпитафией:

Пленился он смазливой рожей,
Он умер, мы умрем
И вы умрете тоже
Лаптев

Ниже записано: "Et son amante ne vient pas!!!"[6] — это цитата из стихотворения Мильвуа.

Еще ниже, вероятно, рукой Елизаветы Николаевны[7] возражение: "Ce n'est vrai."[8]

Комментарий к этому рисунку находим в письме Лаптева к Пушкину от 29—30 апреля 1829 г. Наполняя письмо любовными излияния-

[6] А его возлюбленная не пришла *(франц.)*

[7] См.: Рукою П. С. 677.

[8] Это неправда *(франц.)*

ми, он рассказывает поэту о случайной встрече с Елизаветой Николаевной после запрета ее отца встречаться с ним и просит передать ей благодарность за "очаровательный знак сочувствия" (этот знак сочувствия, поданный неудачливому влюбленному, и вызвал реплику Пушкина, а затем и ответную реплику Елизаветы Николаевны к подписи Пушкина). Жалуясь на свое здоровье, которое настоятельно "требует повторения курса висбаденских вод", Лаптев сообщает о своем скором отъезде на воды и просит Пушкина передать Елизавете Николаевне свое желание тайно обручиться с ней, (см. XIII, 42, 392—393, подлинник по-французски).

У Елизаветы Николаевны уже был жених — Киселев, и знак "сочувствия", о котором пишет Лаптев, был, конечно, лукавым кокетством, а эпитафия Пушкина показывает, что в семействе Ушаковых над неуемной страстью Лаптева можно было подшучивать. Рисует Пушкин и неизвестную нам "Варвару-мученицу" (очевидно, горничную сестер). Около некоторых женских профилей проставлены номера: № 12 (л. 17 об.), № 130 (л. 36), № 29 (л. 38 об.), № 3 (л. 41 об.), № 4 (л. 42 об.), № 7 (л. 43 об.), № 43 (л. 46 об.), № 20 (л. 54 об.).

В альбоме есть и портреты самих сестер. Они тоже сопровождаются шуточными надписями. Под портретом Екатерины Пушкин записывает одну стихотворную строчку: "Трудясь над образом прелестной У.", добавляя "И проч. И проч. И проч." — поставленная дата "1 avril 1829" указывает на привычную для этого дня года игру в обманы. Стихотворение так и не было написано.

Елизавета Николаевна нарисована с кошкой на руках. Кошка — намек на фамилию ее жениха С. Д. Киселева, начинающуюся на звук "кис". Под портретом подпись: "Al. Pouch. pinxit[9] 5 окт. 1829". Это единственная дата в альбоме. Ниже подписи урна с горящим сердцем, а под ней сильно зачеркнутые слова: "Кошечка. Крошечка. Душечка <?>, Чушечка <?>"[10]. Очевидно, это ласковые обращения жениха Киселева к своей невесте. Опасаясь ревнивого отношения его к Пушкину, Елизавета Николаевна, наверное, постаралась, чтобы они не попались ему на глаза. И еще два раза Пушкин изображает ее в будущем, когда она станет женой Киселева. На одном рисунке она стоит на балконе, а внизу в дверь входит мужчина — муж. На другом — она в дамском чепце и в очках стоит перед пюпитром, собираясь петь. Кругом нее котята — будущие дети, а на пюпитре стоит кот — муж, который дирижирует лапкой. Под этим вторым рисунком подпись: "Елизавета Миколавна в день Ангела Д. Жуана". День ангела Пушкина приходился на 2 июня, и поэт конечно знал, что к этому времени Елизавета Ушакова станет Киселевой, и нарисованная им семейная идиллия будет осуществлена.

---

[9] Рисовал Ал.Пуш<кин> *(лат.)*

[10] Так они прочитаны в кн.: Рукою П. С. 678.

Пушкин еще не был женихом, но о его влюбленности в младшую Гончарову в Москве уже хорошо знали, да и сам он не скрывал этого в беседах с сестрами. Знали они и то, что в сватовстве Пушкину было отказано. И в альбоме поэт несколько раз рисует свою будущую невесту. Рисовали ее и сестры. Наталья Николаевна отличалась высоким ростом. Росту, очевидно, соответствовала не очень маленькая нога: сестры не упустили возможности посмеяться над этим. Один из рисунков изображает фигуру женщины в полный рост и в башмаках. Ниже нарисованы еще одни башмаки, а сверху листа надпись:

Как вы жестоки
Мне в едаких
башмаках нельзя
ходить, слишком узки —
Жмут ноги.
Мозоли будут

Под другим портретом женской рукой написано "Карс", еще под одним тоже женской рукой: "О горе мне! Карс, Карс! Прощай бел свет! Умру!".

Пушкин включается в затеянную сестрами графическую пикировку. Сделанные сестрами рисунки дополняет нарисованное Пушкиным лицо пожилой женщины сурового вида, в чепце. Под портретом крупными буквами одной из сестер старательно выведено: "Маминька Карса". Предание, сохраненное П. С. Киселевым, объясняет эти подписи: Карсом Пушкин называл Наталью Николаевну, казавшуюся ему в то время такой же неприступной, какой была турецкая крепость Карс. Но это шутливое прозвище заключало в себе и надежду. Крепость Карс несколько раз (последний — в 1828 году) бралась русскими войсками.

Слышали сестры Ушаковы и о прежних увлечениях поэта, и в шутливой дружеской перепалке, в стремлении угадать, в кого бывал влюблен Пушкин, появилось прозвище Дон-Жуан, которым подписался поэт под илиллически-шутливым изображением семейной жизни Елизаветы Николаевны. Сам Пушкин, отшучиваясь от нападок сестер, вспомнил старую маску смиренного отшельника-монаха, которая так часто встречается в его лицейских стихах, и нарисовал себя в монашеском клобуке. В лицо монаху смотрит хитрый бес, а под рисунком рукой Пушкина подпись: "Не искушай(сай) меня без нужды". Рисунок, выполненный пером, соседствует с записанным на одном развороте с ним карандашным списком женских имен. Здесь мы видим такие имена:

Наталья I
Катерина I
Катерина II
N.N.
Кн. Авдотья
Настасья

Катерина III
Аглая
Калипсо
Пульхерия
Амалия
Элиза
Евпраксия
Катерина IV
Анна
Наталья

На другом листе альбома еще один список:

Мария
Анна
Софья
Александра
Варвара
Вера
Анна
Анна
Анна
Варвара
Елизавета
Надежда
Аграфена
Любовь
Ольга
Евгения
Александра
Елена
Елена
Татьяна
Авдотья

Беседы о бывших и небывших похождениях холостого поэта, об адресатках его стихов, многие из которых были опубликованы, о неизвестных читателям "младых девах", рассказы которых побудили его написать «Бахчисарайский фонтан» (на это намекал поэт в тексте поэмы), а также о неизвестной женщине, которой он посвятил «Полтаву», как и волнующие воображение строфы о ножках в «Евгении Онегине» — все это вылилось в списки женских имен, записанных Пушкиным в альбоме.

Подпись под рисунком, где Пушкин признал себя Дон Жуаном, привела к тому, что записанные им перечни женских имен и стали называть его "Донжуанским списком". Название это стало известно также от сына Елизаветы Николаевны Павла Сергеевича Киселева. Впервые факсимильное воспроизведение этих списков напечатано в «Аль-

боме Пушкинской выставки 1880 года».[11] А. А. Винкстерн, автор приложенного к альбому «Биографического очерка», сообщает, что "по объяснению П. С. Киселева — это дон-жуанский список поэта, то есть перечень всех женщин, которыми он увлекался". В действительности это не один, а два списка, расположенные на разных листах альбома (л. 37 об. и 48 об.) и, судя по почерку, написанные в разное время.

Первый список (кроме четырех последних имен) составлен хронологически — увлечения лицейские, петербургские, периода южной ссылки, ссылки в Михайловское, потом в Москве. Заканчивается первый список именем "Наталья" — т.е. Натальи Николаевны Гончаровой. В первый список, по-видимому, включены серьезные увлечения Пушкина, во втором отмечены женщины, увлечения которыми были мимолетными или которые Пушкин хотел представить как мимолетные. Список носит шуточный характер, в нем упоминаются только имена "цариц" его сердца (Пушкин и "нумерует" их как цариц: "Екатерина I", "Екатерина II"), но не называет фамилии. Для современников они были более скрыты, чем для дотошных биографов. Об этом свидетельствуют и попытки сестер Ушаковых раскрыть их полные имена. В альбоме рядом с некоторыми именами женским почерком даны их расшифровки. Рядом с Натальей I тонким карандашом записано "лицейская", рядом с кн. Авдотьей — "princesse Nocturne" (т.е. Е. П. Голицына), рядом с именем Аглая синим карандашом "Давыдова в Каменке", рядом с Калипсо тем же самым карандашом записано и зачеркнуто "гречанка". Видно, что расшифровки делались не сразу и не в один день — можно предположить, что сестры расспрашивали знакомых Пушкина, которые могли бы помочь им раскрыть имена.

Многие из имен (кроме тех, которые указаны сестрами) угадываются без сомнений. Названы здесь и сестры Раевские (Мария, Екатерина и Елена), графиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова (Элиза), Амалия Ризнич, Екатерина Андреевна Карамзина, актриса Екатерина Семенова, графиня Наталья Викторовна Кочубей, дочери Прасковьи Александровны Осиповой Анна (Вульф) и Евпраксия, ее падчерица Александра (Беклешова) и племянница Анна Керн. Включена в список, вероятно, и "крепостная любовь" Пушкина Ольга Калашникова. Некоторые имена раскрываются исследователями предположительно (см. ниже).

Репликой сестер на "Донжуанский список" Пушкина очевидно было еще одно изображение Натальи Гончаровой в альбоме. Кто-то из сестер рисует стоящую спиной женскую фигурку в пестром платье, шляпке и с веером в руках. Рядом подпись: "Stabat mater dolorosa" — это начальные слова католической молитвы, обращенной к Богородице и повествующей о ее страданиях. Они никак не соответствуют изящному

[11] См.: Альбом Пушкинской выставки 1880 года. М., 1887. Табл. 4, 5, 6 после с. 116.

облику нарисованной барышни. Сестры конечно намекали на нелегкую участь, которая может ждать будущую жену Дон-Жуана.

В двух "Донжуанских" списках Пушкина всего 37 женских имен. Поэт уверял сестер, что списки содержат далеко не полный перечень его увлечений и побед. Образ покорителя женских сердец Пушкин поддерживал и в беседах с другими женщинами. Уже став женихом, в конце апреля 1830 г. он писал своей доверительной собеседнице В. Ф. Вяземской: "Первая любовь — всегда является делом чувствительности: чем она глупее, тем больше оставляет по себе сладостных воспоминаний. Вторая, видите ли, — дело чувственности. Параллель можно было бы провести гораздо дальше, но у меня на это совершенно нет времени. Моя женитьба на Натали (которая, замечу в скобках, моя сто тринадцатая любовь) решена" (XIV, 408).

Мы видели, что номера, поставленные рядом с некоторыми портретами, часто превышают число 37 и даже названное в письме к Вяземской число 113. Игру именами и числами подхватывали сестры. И наряду с любопытством (стремлением угадать, чьи имена внес поэт в свои списки) проявляется и свойственное барышням Ушаковым лукавство. Выше рисунка (на л. 54 об.), на котором повернутая спиной женщина (очевидно, это нарисованная кем-то из сестер Наталья Николаевна) уходит от протянутой руки с письмом, написан № 2 и к нему прибавлено семнадцать нулей и под ними еще целая полоса нулей — последняя любовь поэта нумеруется уже числом астрономическим. Тут же надпись: "Карс, Карс, брать Карс!" и возглас: "Как вы жестоки". Шутливые перепалки, искрометные разговоры о флирте, влюбленности, любви (первой и прочих) несомненно отвлекали поэта от грустных размышлений о своей личной неустроенности.

Сам Пушкин еще больше усложнял задачу разгадки имен списков, поставив на четвертое место в первом списке буквы "N.N." Эти буквы заставили задуматься не только сестер Ушаковых, но и биографов Пушкина. Вот что пишет по этому поводу в комментариях к списку Т. Г. Зенгер (Цявловская): "N.N. — имя, самое трудное для определения. Судя по тому, что первый список довольно точен в смысле хронологии, любовь к этой женщине должна относиться по времени до ссылки Пушкина на юг. Если Наталья I — актриса, то, может быть N.N. — Наталья II, то есть графиня Н. В. Кочубей. Но, возможно, — это и М. Н. Раевская (1805—1863), по мужу (с 1825 г.) княгиня Волконская. Вернее же всего — это не известная нам женщина, предмет "северной" мучительной любви Пушкина, может быть, безответной, во всяком случае, как-то оборвавшейся. Возможно, что она рано умерла, и ее могилу посетил Пушкин, вернувшись в Петербург в 1827 или 1829 г. (см.«Prologue»)".[12]

Известный пушкинский «Prologue» ("Я посетил твою могилу, Там

[12] Рукою П С. 631-632.

тесно...") относят теперь к Дельвигу, а мотив "северной" утаенной любви пополняется именами Е. Н. Карамзиной, М. А. Голицыной, наконец, именем известной красавицы Екатерины Буткевич (в замужестве Стройновской), о которой, не упоминая ее имени, вспомнит Пушкин в «Домике в Коломне» (см. об этом в статье Р. В. Иезуитовой).

Мы видели, как мало сумели разгадать сестры Ушаковы подлинных имен женщин, указанных в списках. Еще одна Мария, Наталья, Екатерина или даже редкое женское имя не уменьшили бы его загадочности. Романтические излияния о якобы пережитой им таинственной, скрываемой любви появились в южных стихах, поэмах и письмах Пушкина. Биографическую подлинность этого мотива Пушкин настойчиво внушал своим читателям. Узнав, что в элегии «Редеет облаков летучая гряда...» в «Полярной звезде» на 1824 г. напечатаны, вопреки его воле, три последние строчки, где упоминается женщина, называющая своей вечернюю звезду, он пишет возмущенное письмо А. Бестужеву. Пушкин убеждает Бестужева, что не хотел, чтобы "элегическая красавица" (кстати, не известная ни Бестужеву, ни читателям «Полярной звезды»), узнала себя в этом стихотворении. И в этом же письме связывает "чувствительные строки" в «Бахчисарайском фонтане» с упомянутой в стихотворении "элегической красавицей"[13]. Нагнетая таким образом таинственность, Пушкин пишет все это, отлично понимая, что письмо его может ходить по рукам и перечитываться друзьями. Дружеская переписка в начале 20-х гг. была фактом литературы, "почтовой прозой", как называл ее Пушкин. Нарочитая недосказанность мастерски сочетается с темой "безымянных страданий", о которых он позднее вспомнит в «Путешествии Онегина». Наконец, в черновиках «Посвящения», к »Полтаве» в 1828 г. появляется емкое определение "утаенная любовь", которое и стало предметом многих пушкиноведческих исследований. Из белового текста «Посвящения» Пушкин его убирает, отдавая последнюю дань "утаенной любви" в загадочных буквах "N.N." своего "Донжуанского списка".

[13] В черновых письмах к Бестужеву мотив "утаенной любви" проходил в двух разных письмах. Переписывая письма набело, Пушкин соединил в одном письме все, что относится к "элегической красавице". Мимолетные упоминания в двух разных письмах были недостаточными для внушения адресату связи лирических переживаний с творчеством (подробнее о теме "утаенной любви" в черновых и беловых письмах к Бестужеву см.: *Левкович Я.Л.* Автобиографическая проза и письма Пушкина. Л., 1988. С. 275-277).

ПЕРВЫЙ СПИСОК

Наталья I — Т. Г. Зенгер (Цявловская) и Б. В. Томашевский полагают, что Пушкин имел в виду либо крепостную актрису театра В. В. Толстого в Царском Селе (ей посвящены стихотворения Пушкина «К Наталье» — 1813 и «К молодой актрисе» — 1815), либо графиню Наталью Викторовну Кочубей (см.: Рукою Пушкина. С. 634; Акад. в 10 т. Т. 8. С. 371). Наиболее убедительным представляется имя Н. В. Кочубей. Оно встречается в той части программы записок Пушкина, которая посвящена лицейским годам.

Катерина I — Бакунина Екатерина Павловна (1795—1869), сестра лицейского товарища Пушкина. Чувство к Бакуниной отразилось в лицейском дневнике Пушкина и в ряде лицейских стихотворений: «Итак, я счастлив был...» (1815), «К живописцу» (1815), «Напрасно воспевать мне именины...» (1817—1819). С ее именем некоторые исследователи связывают цикл элегий 1816 г., посвященных безнадежной, неразделенной любви. Подробно см. об этом: *Пушкин А.С.* Стихотворения лицейских лет. 1813—1817. Л., 1994. С. 578—579.

Катерина II — вероятнее всего, Карамзина Екатерина Андреевна (см. о ней с. 208 наст. изд.). Б. В. Томашевский называет (предположительно) актрису Екатерину Семенову (см.: Акад. в 10 т. Т. 8. С. 371).

N.N. — по поводу этой записи существует много предположений. Называют Н. В. Кочубей (Т. Г. Цявловская, Б. В. Томашевский), М. Н. Раевскую (Т. Г. Цявловская), не известную нам "северную любовь" Пушкина (Т. Г. Цявловская) — см.: Рукою П. С. 631—632. Скорее всего, это намек на "утаенную любовь" — один из атрибутов романтического поэта.

Кн. Авдотья — княгиня Голицына Евдокия Ивановна, урожд. Измайлова (1780—1850), известная под именем "Princesse Nocturne". П. А. Вяземский писал о ней: "Пушкин, в медовые месяцы вступления своего в свет, был маленько приворожен ею. Надолго ли, неизвестно, но во всяком случае неправдоподобно. В сочинениях его встречаются стихи, на имя ее написанные, если не страстные, то довольно воодушевленные" (П. в восп. Т. 1. С. 158). Имеются в виду стихотворения «Краев чужих неопытный любитель...» (1817) и «Простой воспитанник природы...» (1817). Отметим, что это единственный случай в списках, когда Пушкин дает намек, позволяющий угадать названную женщину, приписывая к имени "Авдотья", титул "Кн."

Настасья — по-видимому, билетерша при зверинце, о которой Вяземский писал А. И. Тургеневу: "Его (Пушкина. - *Я.Л.*) мельком вижу, только в театре, куда он заглядывает в свободное от зверей время. Впрочем, и жизнь его проходит у

приема билетов, по которым пускают смотреть приведенных сюда зверей, между коими тигр есть самый смиренный Он влюбился в приемщицу билетов, сделался ее cavalier servant (поклонник. — *Я.Л.*); наблюдает между тем природу зверей и замечает оттенки от скотов, которых смотрит gratis (бесплатно. — *Я.Л.*)" (ОА. Т. 1 С. 350)

Катерина III — Раевская Екатерина Николаевна (1797—1885), вышла в мае 1821 г. замуж за М. Ф. Орлова. Какие-то черты ее характера вошли в образ Марины Мнишек в «Борисе Годунове» 13 сентября 1825 г Пушкин писал Вяземскому: "Моя Марина славная баба· настоящая Катерина Орлова! Знаешь ее? Не говори однако же этого никому" (XIII, 226) См. также в следующем письме от 7 ноября (XIII, 240).

Аглая — Давыдова Аглая Антоновна, урожд герцогиня де Граммон, с 1804 г жена А Л Давыдова, во втором браке за маршалом Себастиани Ей посвящено стихотворение «Кокетке» (1821), «A son amant » и «Оставя честь судьбе на произвол...» (1821), и др

Калипсо — Полихрони (1804—1827), гречанка, бежавшая с матерью из Константинополя в Кишинев. Ее Пушкин неоднократно рисовал в своих рабочих тетрадях. Ф. Ф Вигель рассказывает, что "любовный жар", которым горел к ней Пушкин, был недолог. Особенно привлекательным для поэта было ее пение "У нее был, — пишет Вигель, — голос нежный, увлекательный, не только тогда, когда она говорила, но даже когда с гитарой пела ужасные, мрачные турецкие песни Одну из них, с ее слов, Пушкин переложил на русский язык, под именем «Черной шали»" (П. в восп. Т. 1. С. 224).

Ее очевидно имеет в виду Пушкин, говоря о "двух тенях милых" в черновых строфах «Воспоминания» (1828) (подробнее см. наст. изд., с. 24).

Пульхерия — Варфоломей Пульхерия Егоровна (1802—1863), по мужу Вано, дочь богатого кишиневского "бояра". Ее холодность и равнодушие к замужеству поражали современников. А. Ф. Вельтман называет ее "механическим" существом и пишет, что "Пушкин особенно ценил ее простодушную красоту и безответное сердце, не ведавшее никогда ни желаний, ни зависти". Об увлечении Пушкина Пульхерией вспоминали и В. П. Горчаков, и И. П Липранди (см., П. в восп. По указ.). Ей посвящено стихотворение «Если с нежной красотой...» (1821).

Амалия — Ризнич Амалия, урожд Рипп (ок. 1803—1825), жена одного из директоров Одесского коммерческого банка и Одесского театра С весны 1823 г. жила с мужем в Одессе. Заболев чахоткой, в мае 1824 г. уехала в Италию, где вскоре умерла. Ее профилем заполнены рабочие тетради Пушкина. Ей посвящены стихотворения «Простишь ли мне ревнивые мечты...» (1823), «Под небом голубым страны своей родной...» (1826), «Для берегов отчизны дальной...» (1830). Она же — "негоцианка молодая" в «Евгении Онегине» О смерти Ризнич Пушкин узнал в Михайловском.

Элиза — Воронцова Елизавета Ксаверьевна, урожд. Браницкая (1792—1880), жена новороссийского генерал-губернатора М С Воронцова Об увлечении Пушкина ею см.: *Цявловская Т. Г.* «Храни меня, мой талисман...» Зарисовками ее также полны тетради Пушкина. Ей посвящены стихотворения: «Храни меня мой талисман...» (1825), «Сожженное письмо» (1825), «Желание славы» (1825),

«Все кончено, меж нами связи нет...» (1824), «Ненастный день потух...» (1824), «Талисман» и др. Отношения с Воронцовой были, очевидно, одной из причин, побудившей Воронцова хлопотать о высылке Пушкина из Одессы

Евпраксия — Вульф Евпраксия Николаевна (1809—1883), дочь тригорской соседки Пушкина П. А. Осиповой, вышедшая в 1831 г. замуж за барона Б. А. Вревского (1805—1888). Пушкин общался с ней во время ссылки, а также в последующие приезды в Михайловское и во время ее пребывания в Петербурге. Она была одной из двух женщин, которые знали о предстоящей дуэли Пушкина с Дантесом (См.: *Абрамович С.Л.* Пушкин в 1836 г. (предыстория последней дуэли). Л., 1989. С. 273). Ей посвящены стихотворения «Если жизнь тебя обманет...», «Вот, Зина, вам совет...» (1826). Под именем Зизи она упоминается в «Евгении Онегине».

Катерина IV — лицо неустановленное. Т. Г. Цявловская называет несколько "Катерин", которыми увлекался Пушкин: Екатерина Николаевна Карамзина (1809—1867), по мужу Мещерская, Екатерина Васильевна Вельяшева (1812—1865), по мужу Жандр, Екатерина Николаевна Ушакова (1809—1872), по мужу Наумова. Последнюю она отвергает на том основании, что запись Пушкин делал в альбоме ее сестры и что "это указывало бы на то, что чувство уже прошло". Нам представляется, что так как список составлен хронологически и фамилий дам своего сердца Пушкин не называл, то сестры Ушаковы вполне могли быть в этом списке.

Анна — Т. Г. Цявловская и Б. В. Томашевский называют двух женщин: 1) Анна Алексеевна Оленина (1808—1888), по мужу Андро. В 1828 г. Пушкин сватался к ней и получил отказ. Ей посвящены стихотворения 1828 г.: «Ты и вы», «Предчувствие», «Ее глаза», «Город пышный, город бедный...», «Увы, язык любви болтливый», «To Dawe Esq'»; 2) Анна Петровна Керн, которой Пушкин был увлечен в Михайловском и которой посвятил знаменитое стихотворение «Я помню чудное мгновенье...» (см.: Рукою П. С. 634; Акад. в 10 т. Т. 8. С. 371).

Если принять последнюю версию и считать, что в конце первого списка хронология нарушена, то имена могут группироваться по родству с П. А. Осиповой. Тогда Катерина IV не Ушакова, а Вельяшева, так как Вельяшева и Керн были племянницами П. А. Осиповой, но с одной Пушкин познакомился в 1825 г. в Тригорском, с другой — в 1828 г. в Старице.

Наталья — Гончарова Наталья Николаевна (1812—1863), в которую поэт был влюблен, когда делал свою запись.

ВТОРОЙ СПИСОК

Мария — лицо неустановленное. Известно несколько женщин с именем Мария, в которых бывал влюблен Пушкин. Т. Г. Цявловская (Рукою П. С. 635) называет Марию Николаевну Раевскую (1805 или 1807—1863); Марию Егоровну Эйхфельд (1798—1855), возлюбленную кишиневского приятеля Пушкина Н. С. Алексеева; Марию Васильевну Борисову (о ней Пушкин писал А. Н. Вульфу 27 октября 1833 г. из Малинников: "Мария Васильевна Борисова есть цветок в

пустыне, соловей в дичи лесной, перла в море и я намерен на днях в нее влюбиться" (XIV, 33). В одном из планов «Капитанской дочки» она под именем Марии Горисовой упомянута как прототип Маши Мироновой (VIII, 930)); княгиню Марию Аркадьевну Голицыну, урожд. княжну Суворову, (1802—1870), внучку полководца, которой посвящено стихотворение «Давно об ней воспоминанье ..» (1823). К этому списку можем прибавить графиню Марию Александровну Мусину-Пушкину , урожд. княжну Урусову (1801—1853). По словам Вяземского, Пушкин был в нее влюблен (см · *Барсуков Н П.* Князь Вяземский и Пушкин // Старина и новизна. М., 1904. С. 38). Последняя кандидатура кажется нам наиболее вероятной. Знакомство Пушкина с Мусиной-Пушкиной состоялось в 1827 г Ей посвящено стихотворение «Кто знает край, где небо блещет » (ноябрь 1827—март 1828). Подробнее о Мусиной-Пушкиной см. *Цявловский М. А.* К истории стихотворения «Кто знает край, где небо блещет...» (Пушкин и гр. М А Мусина-Пушкина) // Цявловский М А. Статьи о Пушкине М , 1962. С. 369—378

Анна — вероятнее всего, Оленина Анна Алексеевна.

Софья — Пушкина Софья Федоровна (1806—1862) — дальняя родственница Пушкина, к которой он сватался в 1826 г. по приезде из Михайловского в Москву и получил отказ. Ей посвящено стихотворение «Нет, не черкешенка она...» (1826)

Александра — Осипова Александра Ивановна (ок. 1805—1864), падчерица П. А. Осиповой, вышедшая в 1833 г. за П. Н Беклешова (ум. не ранее 1847 г.). Ей посвящено стихотворение «Признание» (1826).

Варвара — возможно, Черкашенинова Варвара Васильевна (1804—1869), близкая знакомая семьи Вульфов, жившая в селе Сверчково, в 16 верстах от Малинников. Оставила дневник с записями о встречах с Пушкиным, который был ее "поэтическим кумиром" (запись 28 ноября 1828 г.). Дневник этот хранился в Старицком краеведческом музее и утрачен, сохранились лишь отдельные выписки (см.: *Черейский А.М.* Пушкин и его окружение. Л., 1975. С. 462).

Вера — по предположению Т. Г. Цявловской, возможно, Вяземская Вера Федоровна (1790—1876). Пушкин познакомился с ней в Одессе, куда она приехала с двумя детьми 7 июня 1824 г. Она увлекалась Пушкиным (см. *Бартенев П.И.* Рассказы о Пушкине. М., 1925. С. 28, 78, 79) и вместе с гр. Е. К. Воронцовой подготовляла побег его за границу морем.

Анна — Вульф Анна Николаевна (1799—1857), старшая дочь П. А. Осиповой, соседка Пушкина по Михайловскому. Ей посвящены четыре стихотворения Пушкина 1825 г. («Я был свидетелем златой твоей весны. .», «Хотя стишки на именины ..», «Увы, напрасно деве гордой ..» и «Примите "Невский альманах"...»). Все эти стихи объединяет общий тон полушутливый, полувлюбленный. О характере отношений Пушкина и А. Н. Вульф в 1924—1825 гг. См.: *Старк В.П.* Несколько пояснений к стихотворению Пушкина «Н.Н » («Примите "Невский альманах" ..») // Временник Пушкинской комиссии. 1978. Л., 1981. С. 121—125.

Анна — Вульф Анна Ивановна (1799—1835), племянница П. А. Осиповой, с 1834 г. жена Василия Ивановича Трувеллера. 16 октября 1829 г. Пушкин писал А. Н. Вульфу "*Netty* нежная, томная, истерическая, *потолстевшая Netty* — здесь

<...>. Вот уже третий день как я в нее влюблен" (XIV, 50) Ей посвящено шутливое стихотворение Пушкина «За Netty сердцем я летаю...» (1828).

Анна — лицо неустановленное. Возможно, это одна из трех сестер Ермолаевых

Варвара — Т Г. Цявловская предполагает, что это может быть не известная нам Варвара, нарисованная Пушкиным на л 46 об альбома, с подписью "Варвара мученица" "Судя по одежде, — пишет Цявловская, — она могла быть горничной, и вероятнее всего, Ушаковых" (Рукою П С. 636). Однако, имя горничной не вписывается в общий контекст списка, где собраны дамы и девицы благородного происхождения Возможно, что идущие подряд три имени Анна, Елизавета и Варвара имеют в виду сестер Ермолаевых, дочерей старицкого помещика Дмитрия Ивановича Ермолаева По свидетельству их родственницы Е. Н. Вревской, Пушкин "не мог свести Лизу с ума, хотя и старался" (П. и совр. Вып. XXI—XXII, по указ.) Не исключено, что внимание поэта привлекли и младшие сестры Елизаветы — Варвара и Анна (род ок. 1812 г.).

Елизавета — Т. Г Цявловская и Б. В Томашевский считают, что это Хитрово Елизавета Михайловна (1783—1839). Но в таком случае список теряет свою смысловую доминанту — Е М. Хитрово была влюблена в Пушкина, но не пользовалась его взаимностью.

Надежда — возможно, Святополк-Четвертинская Надежда Борисовна (1812—1909), племянница В Ф. Вяземской. Она хорошо помнила свою молодость и рассказывала своему правнуку, как она танцевала с Пушкиным на балах и как он бывал у них в доме (см.: Звенья Кн. 3-4. С. 231; Кн. 9. С. 326).

Аграфена — Закревская Аграфена Федоровна, урожд. графиня Толстая (1799—1879). Ей посвящены три стихотворения 1829 г. «Портрет» ("С своей пылающей душой "), «Наперсник», «Счастлив, кто избран своенравно...». Существует предположение, что Закревская явилась прототипом Вольской в отрывке «Гости съезжались на дачу» (1828), и что ей адресовано стихотворение «Когда твои младые лета » (1829) (см.: *Бартенев П.И.* Рассказы о Пушкине. М., 1925. С. 29).

Любовь — лицо неустановленное.

Ольга — вероятно, Калашникова Ольга Михайловна (род. 1806), дочь М И. Калашникова, управлявшего Михайловским, а потом Болдиным; "крепостная любовь" Пушкина во время ссылки в Михайловское в 1824—1826 гг. (см. о ней: *Щеголев П.Е.* Пушкин и мужики. М., 1928. С. 7—58. Гл. «Крепостная любовь Пушкина»).

Евгения — лицо неизвестное Возможно, это мать драматической актрисы Александры Михайловны Колосовой Евгения Ивановна (1782—1869), танцовщица петербургского театра. По воспоминаниям дочери, Пушкин часто бывал в их доме в 1818—1819 гг. и пользовался расположением ее матери. Та в это время была еще достаточно молода и привлекательна (П. в восп. Т. 1. С. 199—200).

Александра — по-видимому, Римская-Корсакова Александра Александровна (1803—1860). По словам Вяземского, сестры Римские-Корсаковы отличались красотой, "особенно одна из них, намеками воспетая в «Онегине», была душою

и прелестью собраний в доме родителей" (Вяземский. Т 7. С. 170) Ей посвящены стихи LII строфы 7 главы «Евгения Онегина»: "Красавиц много на Москве..." и т.д. (1827—1828). Римскую-Корсакову Пушкин собирался вывести в незавершенном «Романе на Кавказских водах» (1831)

Елена — Т Г. Цявловская называет несколько женщин с именем Елена, которых мог иметь в виду Пушкин: Раевская Елена Николаевна (1803—1852), которой посвящено стихотворение «Увы, зачем она блистает .» (1820), княжна Горчакова Елена Михайловна (1794—1855) в замужестве Кантакузина, сестра лицейского товарища Пушкина, которой он посвятил стихотворение «Красавице, которая нюхала табак» (1814) и с которой позднее общался в Кишиневе, и, наконец, Соловкина Елена Федоровна (ум. не позже 1826 г.). По словам Липранди, Пушкин был увлечен Соловкиной и "иногда бредил" ею (П в восп. Т. 1. С. 294). К одной из двух последних Цявловская относит строки из написанной в пору знакомства с ними «Гавриилиады» — "Елену видел я".

Елена — с этим именем Б. В Томашевский связывает упомянутую выше Е. Ф. Соловкину (Акад в 10 т. Т. 8. С. 372). Цявловская полагает, что это может быть не известная нам Елена, которая упомянута в строках лишь начатого стихотворения 1829 г. «Зачем, Елена, так пугливо...» (Рукою П. С 637).

Татьяна — возможно, Демьянова Татьяна Дмитриевна (1810—1876), цыганка, певица московского цыганского хора. Накануне женитьбы Пушкина пела ему подблюдную песню «Ах матушка, что в поле так пыльно...» Ее рассказы о Пушкине записаны Б. М. Маркевичем (см.: *Пушкин А.С.* Письма М.; Л., 1931. Т 3. С. 136—142)

Авдотья — скорее всего, Овошникова Евдокия (Авдотья) Ивановна (1804—1845) — воспитанница Театрального училища (выпуска 1822). Петербургская знакомая Пушкина, дама сердца Н. В. Всеволожского. Она упоминается в послании к Всеволожскому «Прости, счастливый сын пиров...» (1819) и в программе романа «Русский Пелам».



М. О. Гершензон

Северная любовь Пушкина

В биографии Пушкина есть много темных мест, но нет ни одного, которое было бы менее освещено, чем тот эпизод, которому посвящены настоящие заметки. Я говорю о первой поездке Пушкина на Кавказ и в Крым в 1820 году. Правда, документальные сведения об этом периоде жизни Пушкина чрезвычайно скудны: два-три места в его письмах, несколько заметок в путевых записках Гераков, который путешествовал по Кавказу и Крыму в одно время с Пушкиным и несколько раз встретился с ним там, наконец, коротенький рассказ врача, сопровождавшего Раевских в этой поездке — Рудыковского, — вот и все, что у нас есть. Но и этими сведениями биографы Пушкина далеко не воспользовались вполне, а главное — они оставили без внимания весь тот обильный биографический материал, который заключен в самих стихах Пушкина. Пушкин необыкновенно правдив, в самом элементарном смысле этого слова; каждый его личный стих заключает в себе автобиографическое признание совершенно реального свойства, — надо только пристально читать эти стихи и верить Пушкину. Такой опыт "медленного чтения" и представляет наш очерк.

I

Как известно, в начале мая 1820 года Пушкин, высланный из Петербурга в распоряжение главного попечителя колонистов Южного края, ген. Инзова, отправился к месту назначения в Екатеринослав. Здесь он вскоре схватил жестокую лихорадку, выкупавшись в Днепре. Недели две по его приезде проезжал через Екатеринослав генерал Н. Н. Раевский, герой 12-го года, направлявшийся с частью своей семьи (сыном Николаем и дочерьми Марией и Софьей, в сопровождении врача, гувернантки и прислуги) на кавказские минеральные воды, где должен был уже застать старшего своего сына, Александра Николаевича, который его опередил. Н. Н. Раевский-сын был еще в Петербурге близок с Пушкиным. Найдя последнего больным в Екатеринославе, Раевские, с разрешения Инзова, взяли его с собою. С ними Пушкин прожил два месяца на минеральных водах, и с ними же в половине августа переехал в Крым, в Гурзуф, где находились остальные члены

семьи Раевского: его жена и другие две дочери — старшая Екатерина и Елена. В Гурзуфе Пушкин прожил три недели, после чего, расставшись с Раевскими, отправился на новое место своей службы — в Кишинев.

Такова общеизвестная история этой поездки. Начнем с внешних фактов и постараемся, прежде всего, установить возможно подробно "итинерарий" поэта.[1]

4 мая помечено письмо гр. Каподистрия к Инзову о переводе Пушкина к нему на службу[2] (это письмо должен был доставить Инзову сам Пушкин), а 7-го мая Екат. Ник. Раевская, посылая из Петербурга письмо брату Александру в Киев, поясняла, почему оно идет почтою: "мама забыла послать его с Пушкиным". Это показывает, что Пушкин выехал из Петербурга после 4-го и раньше 7-го, т.е. 5-го или 6-го мая[1]).[3] В те времена пользование "оказиями" для пересылки писем было, как известно, очень распространено. Раевские, конечно, знали Пушкина, хотя бы через Н. Н. Раевского младшего, с которым он был близок, знали и о его высылке; но ничто — и эта приписка в письме Екат. Ник. в том числе — не дает оснований думать, что он в Петербурге был вхож в это семейство. Напротив, все показывает, что только на юге он не только сблизился, но даже познакомился с Раевскими. Достаточно вспомнить, в каком тоне он рассказывает о них брату тотчас по приезде в Кишинев (в письме от 24 сентября).[4]

Несколько лет назад, в «Новом Времени» (№ 8285) было напечатано письмо в редакцию из Бахмута, оставшееся, к сожалению, незамеченным. Автору этого письма (он подписался: "бывший предводитель дворянства в одном из уездов Екатеринославской губернии") в 1820 году было десять лет, значит свои сведения о пребывании Пушкина в Екатеринославе он мог почерпнуть только из чужих рассказов или из какой-нибудь современной записи. Но сведения, заключающиеся в его письме, чрезвычайно любопытны. Вот оно.

"Пушкин проживал в Екатеринославе в 1820 году, с половины мая до начала июня, что длилось дней 18, до приезда в Екатеринослав генерала Раевского, который ехал со своим семейством на Кавказ из Петербурга и проездом остановился в Екатеринославе по просьбе своего сына, который ехал повидаться со своим приятелем Пушкиным, которого, по указанию генерала Инзова, нашли в доме, или скорее в домике на Мандрыковке. Когда генерал Раевский с сыном вошли в комнату, то глазам их представилось следующее: Александр Сергеевич лежал на дощатой скамейке или дощатом диване. Он был болен. На Раевских он произвел удручающее впечатление при этой обстановке. При виде Раевских у него от радости покатились слезы, Раевский выхлопотал ему отпуск, и четвертого или пятого июня он вместе с ними уехал на Кавказ"[5].

---

[1] "Он завтра отправляется курьером к Инзову", писал А. И. Тургенев 5-го мая. «Остаф. Арх.», II, 37.

В этом сообщении есть сведения, которыми мы раньше не располагали. Во всем, что было известно раньше, оно совершенно точно, и даже освещает кое-что, что было не совсем ясно; так, например, автор пишет, что навестить Пушкина отправился не только Раевский-сын, но и сам генерал, его отец, — и это подтверждается словами самого Пушкина в упомянутом уже письме к брату: "Генерал Раевский... нашел меня в жидовской хате", и т.д. Эта точность сообщения в его известной части внушает доверие и к новым сведениям, которые оно содержит: что Раевский заехал в Екатеринослав по просьбе сына, который хотел повидаться там с Пушкиным; что Пушкин был до слез обрадован их приездом, и что из Екатеринослава они выехали 4 или 5 июня[6].

Мы имеем теперь возможность с точностью установить дальнейший маршрут наших путешественников. В семейном архиве внуков М. Ф. Орлова, который, как известно, в начале двадцатых годов женился на старшей дочери ген. Раевского, Екатерине Николаевне, сохранились письма, писанные Раевским-отцом к этой самой дочери с кавказских минеральных вод в течение этого лета. В главной своей части они представляют как бы дорожный дневник. Имя Пушкина в этих письмах не упоминается ни разу — без сомнения потому, что, кроме самого Ник. Ник., писали Екатерине Николаевне с дороги и с места и брат Николай, и сестры, ехавшие с отцом: они, вероятно, и описали ей встречу с поэтом в Екатеринославе и дальнейшее совместное путешествие с ним. По той же причине старик не упоминает и о встрече с сыном Александром в Горячеводске, и вообще ничего не пишет о бывших с ним членах семьи. На всех его письмах — надпись: "Катеньке"; очевидно, полный адрес (и не на ее имя, а на имя матери, С. А.) писался на общем пакете, заключавшем и его письма к жене, и письма молодежи.

Эти письма Н. Н. Раевского читатель найдет в приложении к настоящей статье.[6a] Они любопытны, как итинерарий Пушкина и как живая речь его амфитриона. В них — точно движущаяся панорама тех мест, через которые проезжал поэт, и отзвук тех пояснений, которые, может быть, давал старик Раевский своим молодым спутникам.

Эти письма позволяют, прежде всего, устранить одно недоразумение, связанное со ссылкой Пушкина на юг. Опираясь на слова Карамзина в письме к кн.Вяземскому, что Пушкин "благополучно поехал в Крым", многие думают, что Пушкин еще в Петербурге знал о предстоящей ему поездке на Таврический полуостров. Эта догадка без сомнения ошибочна. Сам Пушкин, в упомянутом письме к брату, рассказав о своей встрече с Раевскими в Екатеринославе, пишет: "Сын его... предложил мне путешествие к Кавказским водам", т.е. предложил тут же, при встрече, следовательно, предварительного уговора не было. Что же касается Крыма, то, как показывают помещаемые ниже письма Раевского, последний и сам до конца лета не был

уверен, что попадет в Крым: его жена с двумя дочерьми оставались в Петербурге, и их приезд в Гурзуф, по-видимому, не был окончательно решен с весны. Выражение Карамзина объясняется, конечно, простой неточностью; он имел в виду больше служебное звание Инзова, к которому прикомандировывался Пушкин ("попечитель колоний южного края"), нежели точное обозначение места.

По этим письмам маршрут Раевских и Пушкина может быть определен довольно точно. В Екатеринослав Раевские приехали в десятом часу вечера, и еще в тот же вечер (как свидетельствует Рудыковский) старик с сыном разыскали Пушкина.[7] Любопытная черта для характеристики отца-Раевского: этот превосходный человек, сильный духом и вместе нежный, видно, с теплым участием отнесся к больному приятелю сына, если ночью, усталый с дороги, пошел вместе с сыном разыскивать его; неудивительно, что Пушкин был тронут.

Согласие Инзова на отпуск Пушкину было получено, конечно, без труда, и уже на другой день после завтрака путешественники выехали из Екатеринослава; по всей вероятности, это было именно 4-го июня.[8] От Екатеринослава ехали, как видно из нижеприводимых писем, весь остальной день и затем всю ночь. Утром 5-го июня приехали в Таганрог, провели здесь день и ночевали. 6-го утром выехали из Таганрога, проехали Ростов-на-Дону, и вечером того же дня приехали в Аксай; здесь переночевали, и следующий день провели в Новочеркасске. Утром 8-го числа выехали из Аксая; 9-го приехали в Ставрополь и, проехав далее, ночевали не доезжая Георгиевска; 10-го приехали в Георгиевск, здесь переночевали и, выехав утром 11-го, в тот же день прибыли на Горячие воды. С этим расчетом вполне согласуется то, что 13-го Раевский-отец принялся писать свое обстоятельное письмо дочери.

На Горячих водах Раевские с Пушкиным прожили, как показывают те же письма, несколько больше трех недель: 3-го июля они переехали в Железноводск, рассчитывая пробыть там две недели и затем перебраться в Кисловодск, тоже на две недели. Вероятно, около 1-го августа Раевские оставили Кисловодск и двинулись в обратный путь, опять через Горячие воды,[9] где, по-видимому, провели день или два; здесь Гераков, 2-го августа, виделся с Пушкиным («Путевые записки», 99—100).[10] По этим же запискам Геракова мы можем восстановить весь обратный маршрут Раевских с Кавказа в Крым: 8-го августа он встретился с ними в Темижбеке и потом в крепости Кавказской, 14-го — в Тамани, 15-го — в Керчи, 17-го — в Феодосии. Из письма Пушкина к брату видно, что ехали они до Тамани в каретах, отсюда до Керчи морем, затем опять в каретах до Феодосии. Если и допустить, что в Феодосии они несколько задержались (младший Раевский захворал в дороге), то все-таки морской переезд из Феодосии в Гурзуф они совершили, без сомнения, числа 18-го или 19-го. Во время этого ночного переезда, как известно, была написана Пушкиным элегия «Погасло дневное светило». Эту элегию Пушкин потом послал брату для

передачи Гречу, и вероятно уже брат выставил под нею ту ошибочную пометку: "Черное море, 1820, с е н т я б р ь", с которою она была напечатана в «Сыне Отечества» и печатается доныне.[11]

Итак, в Гурзуф Пушкин прибыл около 19-го августа. Здесь уже ждали их жена Раевского с остальными двумя дочерьми, Екатериной и Еленой, по которым старик так скучал на Кавказе. В письме к брату Пушкин говорит, что прожил в Гурзуфе три недели; значит, он должен был уехать оттуда, считая с 19-го августа, около 10-го сентября, и в Кишинев он прибыл, вероятно, около 15-го. И действительно, 24-го сентября он пишет из Кишинева брату неоднократно упомянутое нами письмо, которое по всему своему характеру заставляет думать, что он в Кишиневе уже по крайней мере несколько дней. Все эти даты почти абсолютно точны; но почему в черновых рукописях Пушкина д в а р а з а встречается пометка под стихами: "Юрзуф, 20-го сентября", мы не можем себе объяснить. Чтобы писать брату из Кишинева 24-го сентября, он должен был выехать из Гурзуфа во всяком случае раньше 20-го.[12]

Из Гурзуфа Раевские поехали, как известно, в Каменку. В Пушкинской литературе было много споров о том, сопровождал ли их туда и Пушкин, чтобы уже оттуда направиться в Кишинев. Но этот вопрос решается без труда. Исследователи упустили из виду, что у Геракова есть, кроме всем известных «Путевых записок», еще и «Продолжение путевых записок», изданное отдельной книгою в 1830 г. Здесь он рассказывает о своих встречах с Раевскими в Симферополе и Бахчисарае еще 19-го и 20-го сентября (стр. 24, 29), когда Пушкина уже несомненно не было в Крыму; значит, он не мог сопровождать Раевских в Каменку. Упустили из виду еще и то, что И. М. Муравьев-Апостол («Путешествие по Тавриде в 1820 г.», стр. 47—48) рассказывает о своей встрече с Раевскими в Саблях, у А. М. Бороздина (в пятнадцати верстах от Симферополя). Муравьев выехал из Одессы в Крым 11-го сентября, раза два останавливался на сутки в дороге, и, следовательно, не мог приехать в Сабли раньше 18-го — 20-го сентября; а он прожил в Саблях четверо суток и, уезжая, по-видимому, еще оставил там Раевских. Что с ними тогда уже не было Пушкина, видно из слов самого Пушкина, в письме к Дельвигу 1824 г.: "Я был на полуострове в тот же год и п о ч т и в то же время, как И. М. Очень жалею, что мы не встретились".

II

От этих внешних фактов перейдем к внутренней, к душевной жизни Пушкина в первые месяцы его ссылки.

Уже В. Д. Спасович обратил внимание на то, что в стихах Пушкина задолго до ссылки, едва ли не с 1817 года, временами сказывается неудовлетворенность рассеянной петербургской жизнью. Инстинктив-

но он, по-видимому, давно уже рвался вон из этой обстановки. К концу петербургского периода это чувство в нем крепнет, овладевает сознанием и обнаруживается с полной ясностью. Весь последний год перед ссылкою Пушкин уже сознательно стремится вон из Петербурга. Мы знаем, что в марте 1819-го года он собирался вступить в военную службу и уехать на Кавказ; потом, оставив это намерение под влиянием авторитетных советов, он решает удалиться в отцовскую деревню:

Смирив немирные желанья,
Без доломана, без усов,
Сокроюсь с т а й н о ю с в о б о д о й,
С цевницей, негой и природой
Под сенью дедовских лесов;
Над озером, в спокойной хате, и т.д.[13]

Летом этого же года, живя в деревне, он пишет:

Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льется дней моих невидимый поток
На лоне счастья и забвенья!
Я твой — я променял порочный двор Цирцей, и т.д.[14]

И здесь опять звучит тот же мотив — жажда свободы:

Я здесь, от суетных оков освобожденный,
Учуся в Истине блаженство находить...

Он впервые сблизился с Чаадаевым еще будучи в Лицее, и затем тесно подружился с ним уже в Петербурге, в 1818 — 1819 гг.; вот как он, в послании к Чаадаеву, характеризует эти два момента своей жизни:

Ты сердце знал мое во цвете юных дней;
Ты видел, как п о т о м в волнении страстей
Я т а й н о и з н ы в а л,
с т р а д а л е ц у т о м л е н н о й...[15]

Эта строка, в которой Пушкин изображает свое душевное состояние за время перед ссылкой, не оставляет ничего желать в смысле ясности: он "тайно изнывал" в "суетных оковах" — он жаждал "свободы".

И вот он покидает Петербург. Правда, он не сам расторгнул оковы, — он выброшен отсюда грубой рукой; но он так долго, так страстно рвался вон, что важность самого факта застилает для него причину: ему кажется, что он сам бежал, в поисках свободы и свежих впечатлений. В том же послании к Чаадаеву (апрель 1821 г.) он говорит:

И, сети разорвав, где бился я в плену,
Для сердца новую вкушаю тишину.[16]

Еще определеннее он говорит об этом в элегии, написанной на пути из Феодосии в Гурзуф:

Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отечески края,
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья.[17]

И еще долго спустя, в «Бахчисарайском фонтане», он упорно повторяет: "Покинув север наконец..."

Это — капитальный факт из внутренней биографии Пушкина. Мы увидим дальше, какую важную роль он сыграл в творчестве нашего поэта.

Итак, он на воле, он вырвался из душной атмосферы "света", он свободен от "стеснительных условий и оков". Как же он чувствует себя в первые месяцы ссылки? Счастлив ли он своей свободой? вбирает ли он жадно те новые впечатления, которых так искал? — Нет; в нем произошла какая-то глубокая перемена, которую он сам не в силах себе уяснить. На протяжении многих месяцев после приезда на юг его стихи и письма говорят об одном: о полной апатии, об омертвелости духа, о недоступности каким бы то ни было впечатлениям.

Это началось, по-видимому, тотчас по приезде. На Горячих водах он пишет эпилог к «Руслану и Людмиле» — здесь мы находим такие строки:

Забытый светом и молвою,
Далече от брегов Невы,
Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы.
Над их вершинами крутыми,
На скате каменных стремнин,
Питаюсь чувствами немыми
И чудной прелестью картин
Природы дикой и угрюмой;
Душа, как прежде, каждый час
Полна томительною думой —
Но огнь поэзии погас.
Ищу напрасно впечатлений:
Она прошла, пора стихов,
Пора любви, веселых снов,
Пора сердечных вдохновений![18]

Недолго спустя, на южном берегу Крыма, он в стихотворении «Чаадаеву» говорит о себе:

...в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина.[19]

И там же, в Гурзуфе, пишет он великолепное стихотворение «Мне вас не жаль», где перечислив без сожаления утехи своей бурной юности, говорит:

Но где же вы, [минуты] умиленья,
Младых надежд, сердечной тишины?
[Где прежний жар] и слезы вдохновенья?...
Придите вновь, года моей весны![20]

Его обычная впечатлительность как бы атрофирована. Несколько лет спустя, он так — сам удивляясь своей бесчувственности — рассказывал в письме к Дельвигу (черновом) о своем переезде с Кавказа в Крым. В Керчи он посетил гробницу Митридата. "Воображние мое спало; хоть бы одно чувство, нет — я сорвал цветок для памяти — и на другой день потерял его без всякого сожаления. Развалины Пантикапеи подействовали на мое воображение еще того менее". Ночью, плывя из Феодосии в Гурзуф, он не спал, но когда капитан указал ему вдали Чатырдаг, он не различил его, "да и не любопытствовал". И дальше, среди тех строк, где он описывает свою жизнь в Гурзуфе, есть неоконченная фраза: "Холодность моя посреди прелестей природы..."[21] Только на минуту, в ту бессонную ночь на корабле, ожила его душа при воспоминании о прошлом — и "в очах родились слезы в н о в ь".

Надо заметить, что это состояние бесчувственности, безочарованности, осложняясь и углубляясь, длилось у Пушкина затем еще очень долго, — но это для нас теперь не важно: мы изучаем только первое время его ссылки.

В эти первые месяцы бесчувственность сказывалась у него еще косвенно: временной утратой поэтического вдохновения. Ему самому казалось, что он утратил вдохновение навсегда. Мы уже видели в эпилоге к «Руслану и Людмиле»: "огнь поэзии погас" и т.д. Этот эпилог кончается такими строками:

Восторгов краткий день протек —
И скрылась от меня н а в е к
Богиня тихих песновений...[22]

И это сознание, опять-таки, еще долго звучит в его стихах

И ты, моя задумчивая лира...
Найдешь ли вновь у т р а ч е н н ы е звуки.[23]
("Желание", 1821 г.)

Предметы гордых песнопений

Разбудят мой у с н у в ш и й гений..,[124]
(«Война», 1821 г.)

и еще в первой песни «Онегина»:

Адриатические волны!
О, Брента! нет, увижу вас,
И, в д о х н о в е н ь я с н о в а п о л н ы й,
Услышу ваш волшебный глас![125]

Пушкин, разумеется, старался дать себе отчет — откуда эта мертвенность его духа, и ответ напрашивался сам собою: бурные страсти опустошили его душу:

...рано в б у р я х о т ц в е л а
Моя потерянная младость,[126]

говорит он в элегии "Погасло дневное светило" и повторяет это потом многократно: "в волнении страстей я тайно изнывал" и т.д. Но к этому мы еще вернемся.

III

Надо ясно представить себе душевное состояние Пушкина в эти первые месяцы ссылки, чтобы не исказить перспективу его настроений. Эту самую мертвенность духа надо понимать условно. Пушкин писал потом о своей жизни в Крыму, что это были "счастливейшие минуты его жизни", что он "наслаждался" южной природой. Но это было наслаждение пассивное: он сам прибавляет, что сразу привык к южной природе "и ни на минуту ей не удивлялся". Его душа была закрыта для очарований, но красоты природы, мир, счастливый круг семьи, в которую он вошел, — все это действовало на него благотворно.

А в глубине души он в эти самые дни внешней бесчувственности свято лелеял какое-то живое и сильное чувство.

Не подлежит сомнению, что Пушкин вывез из Петербурга любовь к какой-то женщине, и что эта любовь жила в нем на юге еще долго, во всяком случае — до Одессы. Он говорит о ней с ясностью, не оставляющей места никаким толкованиям. Почему он не спал в ту ночь на военном бриге, везшем его и Раевских в Гурзуф? Он плыл в виду полуденных берегов — но Чатырдаг оставляет его равнодушным: "в о с п о м и н а н ь е м у п о е н н ы й", он думает о своей любви — он "вспомнил прежних лет безумную любовь", и это-то воспоминание вызвало слезу на его глаза. Он говорит о том, что бежал от минут-

ных друзей юности, бежал из отеческого края, —

Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви,
ничто не излечило.[27]

В посвящении к "Кавказскому Пленнику" он говорит Раевскому-сыну, вспоминая свою ссылку и время, проведенное им на Кавказе и в Крыму:

Когда кинжал измены хладной,
Когда любви тяжелый сон
Меня терзали и мертвили —
Я близ тебя еще спокойство находил;[28]

и образ этой же женщины "преследовал" его тогда, когда он стоял перед фонтаном слез в Бахчисарае, и о ней он говорит в заключительных строках «Бахчисарайского фонтана» (1822 г.):

Я помню столь же милый взгляд
И красоту еще земную[2];
Все думы сердца в ней летят;
Об ней в изгнании тоскую...[29]

Эти намеки слишком содержательны и слишком тождественны, чтобы можно было ими пренебречь. Эти сейчас приведенные стихи ("любовный бред", как назвал их Пушкин в одном письме) он выключил при первом издании поэмы — как делал всегда со стихами, содержавшими личный намек. Что женщина, которую он любил, жила на севере, показывает стих:

Об ней в изгнании тоскую.

Кто была эта женщина? Биографы не знают за Пушкиным никакой северной любви на юге. Напротив, они утверждают, что Пушкин в Крыму влюбился в Екатерину Николаевну Раевскую (другие думают, что в Елену), и к ней относят все эротические места в стихах Пушкина за 1820—1821 гг.[30] Мы сейчас видели, что это была старая любовь, что воспоминание о ней преследовало Пушкина и на Кавказе, и на пути в Крым, т.е. до встречи с Екатериной и Еленой Раевскими, наконец, что любимая им женщина несомненно жила далеко ("в изгнании тоскую"). Но и помимо этих прямых указаний, все говорит против преположения о любви Пушкина к какой-либо из Раевских. Единственное стихотворение, которое с некоторым правом можно

[2] "Еще земную" — в противоположность теням Марии и Заремы.

отнести к одной из Раевских — «Увы, зачем она блистает», — не содержит ни малейшего намека на любовь.[31] Уже позднее, в Каменке, Пушкин написал элегию: «Редеет облаков летучая гряда», полную воспоминаний о Крыме. Разрешая Бестужеву напечатать эту элегию, он потребовал, чтобы последние три стиха были выпущены, — и очень рассердился, когда увидел их в печати. Вот эти три стиха:

...Когда на хижины сходила ночи тень —
И дева юная во мгле тебя (звезду) искала
И именем своим подругам называла.[32]

Это был конкретный намек, возможно — на одну из Раевских (и тогда — на Елену: "дева ю н а я "). Но и в этих трех стихах нет намека на любовь; напротив, весь характер воспоминания исключает мысль о каком-либо о с т р о м чувстве: "Над морем я влачил задумчивую лень", говорит Пушкин о себе. В ближайшие месяцы после Гурзуфа Пушкин раза два ездил из Кишинева к Раевским в Киев, но и тут ни одним стихом не обмолвился о своей любви. Наконец, его дальнейшие отношения к Екатерине Николаевне уже совершенно исключают мысль о любви к ней. Через несколько месяцев после Гурзуфа она вышла замуж за М. Ф. Орлова и с тех пор жила в Кишиневе, Пушкин был ежедневным гостем в их доме и очень дружен с мужем, но ни из чего не видно, чтобы он страдал, ревновал и т.п.[3].

Главным основанием легенды о любви Пушкина к Екатерине Николаевне Раевской служат те строки в его стихах и письмах, где он говорит о женщине, впервые рассказавшей ему историю Бахчисарайского фонтана. Теперь даже трудно доискаться, кто первый пустил в ход этот аргумент. Все дело заключается в следующем. 8-го февраля 1824 года Пушкин писал Бестужеву: "Радуюсь, что мой Фонтан шумит. Недостаток плана не моя вина. Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины

Aux douces loix des vers je pliais les accents
De sa bouche aimable et naïve." [33]

Эти строки из пушкинского письма неизвестно каким путем попали к Булгарину, который и напечатал их в своем журнале[34] с пояснением: "П. писал к одному из своих приятелей в Петербурге: Недостаток плана..." и т.д. Когда Пушкин узнал об этом, его бешенству не было предела, и 29-го июня он пишет Бестужеву (выговаривая и за другую нескромность — за напечатание тех трех заключительных стихов): "Черт дернул меня написать еще кстати о Бахчисарайском фонтане какие-то чувствительные строчки, и припомнить тут же элегиче-

[3] См. нашу «Историю Молодой России», М., 1908, стр. 26—28.

скую мою красавицу. Вообрази мое отчаяние, когда увидел их напечатанными — журнал может попасть в ее руки. Что ж она подумает, видя, с какой охотою беседую об ней с одним из петербургских моих приятелей <...> Признаюсь, одной мыслию этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики. Голова у меня закружилась". [35]

И вот, биографы Пушкина, сопоставляя эти строки с его словами в письме к Дельвигу, что о фонтане слез он впервые услыхал от какой-то К**, решили, что это и была Екатерина Николаевна Раевская, и что следовательно в последнюю и был влюблен тогда Пушкин.

Между тем о Бахчисарайском фонтане Пушкин впервые услыхал несомненно в Петербурге. Об этом с полной ясностью свидетельствует черновой набросок начала «Бахчисарайского фонтана».

Давно, когда мне в первый раз
Любви поведали преданье —
Я в шуме радостном уныл
И на минуту позабыл
Роскошных оргий ликованье.
Но быстрой, быстрой чередой
Тогда сменялись впечатленья, и т.д. [36]

Здесь так ясно обрисована петербургская жизнь Пушкина, что сомнений быть не может. В письме к Дельвигу Пушкин говорит, что К** поэтически описывала ему фонтан, называя его "la fontaine des larmes", а в самой поэме он говорит об этом:

Младыя девы в той стране
Преданье старины узнали,
И мрачный памятник оне
Фонтаном слез именовали. [37]

Эти выдержки, думается, решают вопрос. Да и как можно было относить этот эпизод к Екатерине Николаевне, которую мы хорошо знаем за натуру холодную, положительную, строгую, когда сам Пушкин ту женщину, которая рассказывала ему о Бахчисарайском фонтане, характеризует выражениями: "поэтическое воображение К**", "элегическая моя красавица", и применяет к ней стих "bouche aimable et naïve"? Какою представлялась ему Екатерина Николаевна, можно судить по тому, что он писал кн. Вяземскому по поводу «Бориса Годунова»: "Моя Марина славная баба: настоящая Катерина Орлова". [38]

Итак, кто же был предметом этой северной любви Пушкина на юге? Если до сих пор мы стояли на почве несомненных фактов и категорических показаний самого Пушкина, то теперь мы вступаем в область предположений, очень соблазнительных, более или менее досто-

верных, но требующих во всяком случае еще всесторонней проверки.

Мы решаемся думать, что этой женщиной была княгиня Мария Аркадьевна Голицына, урожденная Суворова-Рымникская, внучка генералиссимуса. В переписке Пушкина нет никакого намека на его отношения к ней или к ее семье, биографы Пушкина ничего не говорят о ней. Сведения, которые нам удалось собрать о ней, скудны. Она родилась 26 февраля 1802 г., значит, в момент ссылки Пушкина ей было 18 лет. Она вышла замуж 9 мая 1820 г., т.е. дня через три после высылки Пушкина, за кн. Мих. Мих. Голицына, и умерла она в 1870 году.[4] Вот все, что мы о ней знаем. Но среди стихотворений, написанных Пушкиным на юге, есть три, несомненно относящиеся к ней. Приводим здесь же эти три стихотворения, так как нам придется в дальнейшем не раз ссылаться на них.

I

Умолкну скоро я!... Но если в день печали
Задумчивой игрой мне струны отвечали;
Но если юноши, внимая молча мне,
Дивились долгому любви моей мученью;
Но если ты сама, предавшись умиленью,
Печальные стихи твердила в тишине
И сердца моего язык любила страстной...
Но если я любим... позволь, о милый друг,
Позволь одушевить прощальный лиры звук
Заветным именем любовницы прекрасной!...
Когда меня навек обымет смертный сон,
Над урною моей промолви с умиленьем:
"Он мною был любим; он мне был одолжен
И песен, и любви последним вдохновеньем".
23 авг. 1821.[39]

II

Мой друг, забыты мной следы минувших лет
И младости моей мятежное теченье.
Не спрашивай меня о том, чего уж нет,
Что было мне давно в печаль и в наслажденье,
Что я любил, что изменило мне.
Пускай я радости вкушаю не вполне;
Но ты, невинная! ты рождена для счастья.
Беспечно верь ему, летучий миг лови:
Душа твоя жива для дружбы, для любви
Для поцелуев сладострастья;

[4] *В. Саитов.* Петербургский Некрополь. М. 1883, стр. 36. — Кн. Н. Н. Голицын, "Материалы для полной родословной росписи кн. Голицыных", Киев, 1880, стр. 31. Эту Голицыну не надо смешивать с другою — кн. Евд. Ив. Голицыной, которою Пушкин увлекался в 1817 году.

Душа твоя чиста: унынье чуждо ей;
Светла, как ясный день, младенческая совесть.
К чему тебе внимать безумства и страстей
Незанимательную повесть?
Она твой тихий ум невольно возмутит;
Ты слезы будешь лить, ты сердцем содрогнешься;
Доверчивой души беспечность улетит,
И ты моей любви... быть может, ужаснешься.
Быть может, навсегда... Нет, милая моя,
Лишиться я боюсь последних наслаждений.
Не требуй от меня опасных откровений:
Сегодня я люблю, сегодня счастлив я.

24—25 авг. 1821 г., в ночь.[140]

III

Давно об ней воспоминанье
Ношу в сердечной глубине;
Ее минутное вниманье
Отрадой долго было мне.
Твердил я стих обвороженный,
Мой стих, унынья звук живой,
Так мило ею повторенный,
Замеченный ее душой
Вновь лире слез и тайной муки
Она с участием вняла —
И ныне ей передала
Свои пленительные звуки...
Довольно! в гордости моей
Я мыслить буду с умиленьем:
Я славой был обязан ей —
А может быть, и вдохновеньем.

Одесса, 1823 г.[141]

Из этих трех стихотворений только последнее отмечено самим Пушкиным, как посвященное кн. М. А. Голицыной; первые два отнесены к ней уже позднейшими издателями сочинений Пушкина по соображениям, убедительность которых, кажется, не может быть оспариваема.[142] В самом деле, конец I и III тождественны; далее, в I есть ясный намек на то, что данная женщина была очарована какими-то печальными стихами Пушкина, — и этот самый случай вспоминает Пушкин и в III, несомненно посвященном Голицыной. Что же касается II, т.е. среднего стихотворения, то оно хронологически так тесно связано с первым, что их невозможно отнести к разным лицам: первое написано 23 авг., второе 24—25-го. Притом, их нераздельность удостоверяется еще следующим обстоятельством: в черновом наброске первая пьеса начиналась так: "Нет, поздно, милый друг, узнал я наслажденье" — и о наслажденьи же говорит и вторая пьеса: "Лишиться я боюсь послед-

них наслаждений" (слово "наслажденье" и там, и здесь употреблено не в чувственном смысле, а в значении радости, счастья). Итак, есть все основания относить эти три стихотворения к кн. М. А. Голицыной, как это и делают П. А. Ефремов и П. О. Морозов.[143]

По этим трем пьесам мы можем, не прибегая к натяжкам, до некоторой степени уяснить себе и личность женщины, которую любил Пушкин, и характер самой его любви. Это была очень молодая женщина, еще полу-ребенок, с ясным духом, с тихим умом, нежная и полная участья, неопытная в страстях и зле. Пушкин давно ее любил ("дивились *долгому* любви моей мученью"). Любила ли она его? Он этого долго не знал. Была только одна минута, когда ему показалось, что он любим: он узнал, от нее самой или через другое лицо, что ей понравились какие-то (определенные) его стихи, и что она твердила их про себя. В августе 1821 года случилось что-то, что *почти* уверило его в ее взаимности; возможно, что это был именно тот случай с его стихами. Как бы то ни было, 23-го августа он пишет первую элегию: он слишком поздно узнал о ее любви, он мертв духом, жизнь кончена для него. Вторую пьесу он пишет через два дня: она просила его рассказать ей о его бурной молодости, о том, сколько раз и в кого он был влюблен до нее; нет, он не расскажет ей этого; его рассказ омрачил бы ее светлый дух, ее испугала бы его любовь, в которой — его последнее наслажденье. Но о *ее* любви к нему он все время, и в I, и во II, говорит неуверенно: в I — "*если* я любим", а во II — ни разу о *ее* любви, все только о *своей*. "*моей любви*, быть может, ужаснешься", "сегодня *я люблю*"...

Эти два стихотворения составляют, очевидно, один этюд.

Они написаны в Кишиневе, — как уже сказано, 23—25 августа 1821 г.; и они свидетельствуют, что предмет его любви был тут же, — в этом не может быть никакого сомнения. Пушкин слишком правдив и слишком конкретен в своем творчестве, чтобы выдумывать сюжеты для своих стихотворений. Но у нас нет никаких сведений о том, была ли М. А. Голицына в Кишиневе в августе 1821 г.[144] Мы знаем только, что ее семья имела близкие отношения к югу, к Одессе и Крыму. Ее мать — во втором браке тоже Голицына — по крайней мере в 30-х годах жила в Одессе, и там же умерли и она, и ее муж[5]. Сестра Марии Аркадьевны, по мужу Башмакова, уже в 1823 г. жила с мужем в Одессе[6]; один из братьев некоторое время был адъютантом Воронцова[7], с которым они были в довольно близком родстве.

Мы видели, что о Бахчисарайском фонтане впервые рассказали Пушкину в Петербурге; женщиной, от которой он услыхал эту легенду, мы и считаем М. А. Голицыну; это о ней он писал: "поэтическое воображение", "sa bouche aimable et naïve", ее назвал: "элегическая моя красавица". И не о ней ли он говорит («Желание», 1821),[145] вспоминая

[5] «Русская Старина» 1878, дек., 749. Н.Н.Голицын "Материалы", 78.

[6] *Вигель*, нов. изд., ч. VI, стр. 188—189.

[7] «Русская Старина» 1894, март, 70.

Крым: "Златой предел, *любимый край Эльвины*", и не к ней ли относится стих (в этом же стихотворении):.. "Где я любил, изгнанник неизвестный"? Эти слова: "изгнанник неизвестный" указывают, может быть, на то, что *в то время* (когда он жил в Крыму) она еще не знала о его ссылке.

Нам остается сказать два слова о третьем из стихотворений, посвященных кн. М. А. Голицыной. Оно написано почти через два года после первых пьес. Чувство Пушкина уже остыло. Он вспоминает тот давний, памятный ему случай, когда он узнал, что его стихи ее очаровали; теперь случилось нечто другое — об этом втором случае Пушкин говорит неясно. Возможно, что она через сестру Башмакову, с которой Пушкин встречался у Воронцовых, прислала ему какие-нибудь свои, вероятно французские, стихи в ответ на его поэтические песни:

Вновь лире слез и тайной муки
Она с участием вняла —
И ныне ей передала
Свои пленительные звуки.

Это последнее стихотворение он, конечно, через Башмакову, переслал Голицыной. [146] По крайне мере, в 1825 году, готовя издание своих стихотворений, он поручает брату взять эту пьесу у Голицыной.

IV

Теперь, зная настроения Пушкина в первый период ссылки, зная и его омертвелость, и его северную любовь, мы глубже и вернее поймем его «Кавказского Пленника», написанного непосредственно после поездки на Кавказ и в Крым (начат еще в Гурзуфе).

Если бы нужны были еще доказательства поразительной, щепетильной, почти педантической правдивости Пушкина, лучшим из них могла бы служить эта поэма. Она верна действительности до мелочей. Пушкин сам, в письме к Гнедичу, указал на одну такую черту: как ни соблазнительно было избрать местом действия горы и ущелья Кавказа, — он "поставил своего героя в однообразных равнинах, где сам прожил два месяца". И подобных черт много. Например, действие поэмы происходит летом, в период гроз, косьбы (может быть, второй) — когда и Пушкин был на Кавказе. Он описывает Байрам — и от Геракова мы знаем («Пут. зап.», 153), что в тот год Байрам начался 5-го или 6-го сентября, и, следовательно, Пушкин мог его видеть у крымских татар.

Пушкин неоднократно признавался, что в лице Пленника изобразил самого себя. Соглашаясь с мнением Горчакова, что характер Пленника неудачен, он замечает; "Это доказывает, что я не гожусь в герои романтического стихотворения", и посвящая поэму младшему Раевскому, он говорит:

Ты здесь найдешь...
Мечты з н а к о м ы е, з н а к о м ы е страданья
И тайный глас души м о е й.[147]

Мы видели, каково было душевное состояние Пушкина на Кавказе и в Крыму — и каким оно представлялось ему самому. Три чувства преобладали в нем: 1) он чувствовал себя на свободе, и был интимно уверен, что с а м бежал от "стеснительных условий и оков"; 2) он чувствовал себя нравственно мертвым, недоступным никакому очарованью, никакой радости; 3) наконец, он лелеял какую-то давнюю, неразделенную любовь. Этими тремя элементами всецело исчерпывается психологический сюжет «Кавказского Пленника». Больше в нем нет ничего. Замечательно, что в своей бессознательной правдивости Пушкин и Пленника сделал поэтом, каким был сам: "Охолодев к местам и л и р е", говорит он о Пленнике.

В стихотворениях, написанных Пушкиным за это первое время его ссылки, можно подобрать ряд признаний, почти буквально совпадающих с характеристикой, которую он дает своему Пленнику. И Пленник, как сам Пушкин, "бежал" с севера — и по той же причине:

Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы.

И то, что дальше говорится о Пленнике:

Свобода! он о д н о й т е б я
Еще искал в пустынном мире, —[148]

это самое Пушкин, в 1821 г., писал Дельвигу о себе:

К неверной Славе я хладею...
О д н а с в о б о д а мой кумир.[149]

Общему с Пленником и "души печальный хлад". Как в нем самом, это — самая резкая черта в душевном состоянии Пленника: она проходит красной нитью через всю поэму. В ответ на любовь черкешенки Пленник говорит:

Но поздно: умер я для счастья,
Надежды призрак отлетел;
Твой друг отвык от сладострастья,
Для нежных чувств окаменел.[150]

В августе 1821 г. Пушкин то же самое отвечает о т с е б я жен-

щине, которая, как ему показалось, готова его полюбить («Умолкну скоро я...», черновая):

Нет, поздно, милый друг, узнал я наслажденье:
Ничто души моей уже не воскресит;
Ей чуждо страсти упоенье
И счастье тихое меня не веселит.[151]

И он объясняет эту душевную мертвенность Пленника так же, как собственную разочарованность: действием страстей, рано опустошивших душу:

Без упоенья, без желаний,
Я вяну ж е р т в о ю с т р а с т е й,

или:

С т р а с т я м и сердце погубя..

или:

Где б у р н о й ж и з н ь ю погубил
Надежду, радость и желанье... и т.д.

Но, как и он, Пленник унес с собою из родного края долгую, мучительную страсть — и так же без взаимности, как Пушкин. То, что Пушкин говорит о себе в элегии «Погасло дневное светило», — то самое он почти буквально говорит и о Пленнике:

В нем теснились
Воспоминанья прошлых дней...
Лежала в сердце, как свинец,
Тоска любви без упованья.[152]

Даже романтическую фабулу своей поэмы (которую надо отличать от психологического сюжета) Пушкин не выдумал, а взял, по-видимому, из собственного опыта. В объятиях женщины думать о д р у г о й — такова эта фабула:

Как тяжко мертвыми устами
Живым лобзаньям отвечать
И очи, полные слезами,
Улыбкой хладною встречать!
Измучась ревностью напрасной,
Уснув бесчувственной душой,
В объятиях подруги страстной
Как тяжко мыслить о другой!..

Вся эта фабула in nuce заключена в стихотворении «Дорида», которое было написано Пушкиным еще в Петербурге, за несколько месяцев до ссылки: в объятиях Дориды ему "другие милые... виделись черты" и "имя чуждое" уста его шептали.

Надо обратить внимание на те два стиха о Пленнике:

Измучась ревностью н а п р а с н о й,
Уснув бесчувственной душой...

В них вся история "северной" любви Пленника — и Пушкина.

V

Этой северной любовью вдохновлялась поэзия Пушкина на юге целых два года, ею внушен был не только «Кавказский пленник», но и «Бахчисарайский фонтан». Чудным светом озаряется для нас его творчество — мы нисходим до таинственных источников вдохновения.

Но их даже не надо искать, их показывает нам сам Пушкин. Он увез на юг только смутный облик любимой женщины, не настоящую страсть, а глубокое томление, сладкое очарованье недостижимой, нежной, кроткой красоты. И, может быть, именно этой безбурной полнотой волшебного очарованья, этой туманностью чарующего образа и питалось больше всего вдохновение поэта. Реальная страсть узка, нетерпима, в ней нет такой дали. В черкешенке и в Марии Потоцкой Пушкин возвел в "перл создания" женщину своей северной любви.

Он сам говорит это. Стоя перед фонтаном в Бахчисарае, он равнодушно смотрел кругом:

...не тем
В то время сердце полно было.

Ему чудилась тень девы:

Чью тень, о други, видел я?
Скажите мне: чей образ нежный
Тогда преследовал меня,
Неотразимый, неизбежный?

То были не Мария и Зарема, — то был образ другой, живой женщины:

Я помню столь же милый взгляд
И красоту еще земную,
Все думы сердца к ней летят,
Об ней в изгнании тоскую —
[Безумец!] полно, перестань,

Не растравляй тоски напрасной,
Мятежным снам любви несчастной
Заплачена тобою дань —
Опомнись: долго ль, узник томной,
Тебе оковы лобызать
И в свете лирою нескромной
Свое безумство разглашать? [54]

Это — та любовь, о которой он говорит в стихотворении «Умолкну скоро я...» (авг. 1821 г.):

Но если юноши, внимая молча мне,
Дивились долгому любви моей мученью... [55]

Пушкин сам рассказывает (1823 г.), что прочитав Туманскому отрывки из своего «Бахчисарайского Фонтана», он сказал ему, что не желал бы напечатать эту поэму, "потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру". [56] То самое, что он говорит в заключительных стихах поэмы, он повторил и в стихотворении «Фонтану Бахчисарайского дворца»:

Или Мария и Зарема
Одне счастливые мечты?

Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья,
Души неясный идеал? [57]

В черновом было: "Л ю б в и б е з у м н о й идеал".

И уже позднее, в «Онегине», вспоминая обе свои поэмы — и «Пленника», и «Фонтан», — он писал:

Замечу кстати: все поэты —
Любви мечтательной друзья.
Бывало, милые предметы
Мне снились, и душа моя
Их образ тайный сохранила;
Их после Муза оживила:
Так я: беспечен, воспевал
И деву гор, м о й и д е а л,
И пленниц берегов Салгира. [58]

На юге Пушкин, как известно, впервые узнал Байрона, и отсюда начинается "байронический" период его творчества. Вопрос о байро-

низме у Пушкина требует коренного пересмотра. Нельзя — как это большею частью делалось до сих пор — говорить о влиянии, не изучив предварительно ту психическую почву, на которую легло это влияние; чтобы выделить байронические элементы в поэзии Пушкина, надо знать, чем был Пушкин в момент своего ознакомления с Байроном. Этот вопрос требует специального исследования, но основные линии уже теперь ясны. Мы видели, как много "байронических" элементов было в душе Пушкина уже в 1819 г. и начале 1820 г., т.е. прежде, чем Раевские познакомили его с поэзией Байрона; и с другой стороны, легко заметить, что одна из основных черт байроновского настроения осталась чужда ему и после этого знакомства: бурный протест, мятеж против социального насилия. Высылка Пушкина из Петербурга была соединена с ужасными оскорблениями, доводившими его до мыслей о самоубийстве или убийстве, да и, помимо этого, самая ссылка была насилием. Пять лет спустя, Пушкин заговорит о мести и назовет ее: "бурная мечта ожесточенного страданья". Но на первых порах, на Кавказе и в Крыму, у него не только не вырывается ни одной ноты возмущения, протеста, но, как мы видели, он игнорирует даже самый факт ссылки, и чтение Байрона в этом отношении нимало не влияет на него; по его стихам никто не догадался бы, что он — жертва грубого произвола. Таким образом, мы думаем, что влияние Байрона не внесло в психику Пушкина ни одного нового элемента; оно только помогло ему яснее осознать его собственное душевное состояние, в каком он был тотчас по приезде на юг.

ГОЛИЦЫНА Мария Аркадьевна (1902—1870), урожд. княжна Суворова-Голицына, внучка знаменитого полководца, воспитывалась в Смольном Институте, закончив его в 1818 г. Тогда же была принята фрейлиной ко двору императрицы Елизаветы Алексеевны, в начале мая 1820 г вышла замуж за князя М М Голицына, своего однофамильца Талантливая певица-любительница, сочетавшая высокую артистичность с женским очарованием, обратила на себя внимание Пушкина, однако, прямых документальных данных об обстоятельствах их знакомства и общения в ранние петербургские годы Пушкина (1818 — первые месяцы 1820 г.) не сохранилось Возможно, однако, что посредником в их знакомстве стал В. А. Жуковский, в эти годы исполнявший должность придворного чтеца вдовствующей императрицы Марии Федоровны и учителя русского языка великой княгини Александры Федоровны (жены будущего императора Николая I). Близко стоявший к царскому семейству Жуковский постоянно общался с фрейлинами обеих императриц, а впоследствии постоянно встречался с Голицыной в Петербурге и за границей, о чем свидетельствуют многочисленные упоминания ее имени в дневниках Жуковского. В 1820-е годы (до своего отъезда в Одессу, а затем за границу) М. А. Голицына активно участвует в культурной жизни Петербурга, дружит не только с Жуковским, но с А Тургеневым, И Козловым (посвятившим ей ряд стихотворений, таких как «Княгине М. А Голицыной», 1825 и др.) Тонкая ценительница искусства, Голицына интересовалась и поэзией Пушкина, о чем в сущности говорит и сам поэт в единственном посвященном ей стихотворном мадригале «Кн. М. А. Голицыной», в котором прямо названа адресатка поэта, а следовательно, поэт "не утаивал" имя женщины, вдохновившей его музу Смысл обращенных к ней поэтических строк — в осознании глубинной связи искусства с миром интимных переживаний художника Обращаясь к М. А Голицыной, Пушкин писал: "Давно об ней воспоминанье Ношу в сердечной глубине, Ее минутное вниманье Отрадой долго было мне" (II, 303). Стихотворение «Кн М А Голицыной» (в одном из списков стихотворений, предназначенных для печати, названное «К Сув<оровой>-Гол<ицыной>») было создано в 1823 г., когда судьба свела поэта и его адресатку в Одессе, где они активно общались во второй половине 1823 — до конца июля 1824 гг. Как явствует из приведенных выше строк, одесские встречи были не началом, а продолжением знакомства. Иначе самый мотив воспоминания, отсылающий к прошлому (что усилено эпитетом "давно"), потерял бы всякий смысл в лирическом сюжете пушкинского мадригала. Поэт вспоминает о какой-то имевшей место в прошлом встрече, оставившей незабываемый след в его "сердечной глубине", о тех стихах, которые были замечены и восприняты "ее душой": "Мой стих, унынья звук живой, так мило ею повто-

ренный" (II. 303). Иными словами, "минутное внимание" певицы к поэту, ставшее для него отрадным воспоминанием, вызвано одной из петербургских встреч Дальнейшая история взаимоотношений Пушкина и М А Голицыной связана с публикацией посвященного ей стихотворения, которое он намеревался включить в готовившийся к печати поэтический сборник. 27 марта 1825 года Пушкин писал брату: "Тиснуть еще стихи к.<нягине> Голиц <ыной>-Суворовой, возьми их от нее" (XIII, 158) Видимо, получить их обратно Л. С. Пушкину не удалось, и стихотворение было опубликовано несколько лет спустя (в «Карманной книжке любителей русской старины и словесности на 1830 год»), когда возобновилось личное общение Пушкина и Голицыной, вернувшейся в Петербург в 1828 г. До этого времени она находилась за границей, где постоянно встречалась с Жуковским и А. Тургеневым, ближайшими друзьями поэта (см.: Дневники В А. Жуковского СПб , 1903 С. 184—187; ОА Т. III. С. 159). Сведений о новых встречах Голицыной с Пушкиным сохранилось немного: дважды они встречались весной 1828 г. у В П. Голицына на музыкальном вечере, и у Лавалей на чтении «Бориса Годунова».

Этим, разумеется, не исчерпываются контакты Пушкина с М А. Голицыной, проходившие в кругу образованного петербургского общества. К последним годам пребывания ее на родине, которую она покинула в 1830-е годы, относится сделанная Пушкиным запись в ее альбоме восьми первых строк обращенного к ней мадригала (ныне ПД, № 57). Лирический сюжет стихотворения в альбомном автографе ограничен лишь петербургским эпизодом общения Пушкина с Голицыной, "одесский" эпизод поэт сознательно опускает (строки 9—16), как бы ставя последнюю точку в истории своих взаимоотношений с талантливой светской певицей, внучкой Суворова, в свою очередь оценившей поэзию своего великого современника

Дальнейшая жизнь Голицыной прошла за границей, где она вошла в число русских аристократов, не "приткнувшихся", по выражению ее биографа П. Е. Щеголева, "у себя на родине" и осевших "на западной почве", по-своему содействуя "прививке западного миросозерцания и европейской психики к русскому уму и сердцу" (*Щеголев П.Е.* Из разысканий в области биографии и текста Пушкина. С. 5). Что же касается до стихотворения «Кн М. А. Голицыной», то Щеголев рассматривает его не как выражение "утаенной любви" Пушкина к блистательной и одаренной современнице, но "как дань признания и благодарности художника слова, который услышал свои стихи в чарующем исполнении художника пения" (Там же. С. 45).



П. Е. Щеголев

Утаенная любовь Пушкина

I[1]

В 1908 году появилась небольшая статья М. О. Гершензона о северной любви Пушкина[2]. Вопросы, им поднятые, важны и любопытны для ученого, занимающегося Пушкиным, и если бы выводы и предположения Гершензона оказались справедливми, то в истории жизни и творчества Пушкина прибавилась бы новая страница.

Вот положения Гершензона в сжатом виде и в собственных его выражениях. Еще до невольной высылки из Петербурга в мае 1820 года Пушкин томился светской, столичной жизнью, тайно изнывал в "суетных оковах" — он жаждал свободы. И несмотря на то, что из Петербурга он удален принудительным образом, ему кажется, что он с а м бежал в поисках свободы и свежих впечатлений. Но вырвавшись на свободу хотя бы и таким образом, он испытывал полную апатию, был недоступен каким бы то ни было впечатлениям. Бесчувственность, омертвелость духа в первое время его ссылки сказывалась и временной утратой поэтического вдохновения. В глубине же души он в эти самые дни лелеял какое-то живое и сильное чувство. Пушкин вывез из Петербурга любовь к какой-то женщине, и эта любовь жила в нем на юге еще долго, во всяком случае до Одессы. Предметом этой северной любви Пушкина на юге, по предположению Гершензона, была княгиня Марья Аркадьевна Голицына, урожденная Суворова-Рымнинская, внучка генералиссимуса. "В переписке Пушкина — говорит Гершензон — нет никакого намека на его отношения к ней или к ее семье, биогра-

[1] Напечатано впервые в 1911 году в издании «Пушкин и его современники» вып. XIV. (Были и отдельные оттиски.) — Все ссылки на рукописи Пушкина и заключения, на них опирающиеся, сделаны в этой статье на основании непосредственного изучения рукописей Источники сведений о рукописях, мне недоступных, всякий раз точно указываются. Я имел возможность изучать рукописи, хранящиеся в Московском Румянцевском Музее (ныне Всесоюзная библиотека имени В. И. Ленина) по прекрасным фотографиям, принадлежавшим С. А. Венгерову (ныне в Пушкинском Дома). Ссылки на старинные журналы и альманахи, в коих впервые появились стихотворения Пушкина, а также на различные издания его сочинений, делаются по подлинникам.

[2] Вестник Европы 1908, январь, стр. 275—302. За краткостью статьи отдельных ссылок на страницы не привожу. В 1912 году статья Гершензона была напечатана в его киге «Образы прошлого» М., стр. 3—32, и в 1919 году в его же книге «Мудрость Пушкина», стр. 155—185. Об изменениях, вызванных моей работой, в тексте статьи Гершензона, будет сказано дальше.

фы Пушкина ничего не говорят о ней. Сведения, которые нам удалось собрать о ней, скудны. Она родилась 26 февраля 1802 года: значит, в момент ссылки Пушкина ей было 18 лет. Она вышла замуж 9 мая 1820 года, т.е. дня через три после высылки Пушкина, за князя Мих. Мих. Голицына, и умерла она в 1870 году. Вот все, что мы о ней знаем". Считая несомненно относящимися к ней три стихотворения Пушкина («Умолкну скоро я...» 1821 года; «Мой друг забыты мной...» 1821 г.; «Давно о ней воспоминанье...» 1823 г.), Гершензон пользуется ими для уяснения личности женщины, которую любил Пушкин, и характера самой его любви. Прилагая добытые им выводы о душевном состоянии Пушкина в первое время ссылки на Кавказе и в Крыму к «Кавказскому Пленнику», Гершензон находит, что весь психологический сюжет этой поэмы исчерпывается теми тремя элементами, которые преобладали в эту пору в самом Пушкине. Это: 1) чувство свободы и уверенность, что он сам бежал от стеснительных условий и оков; 2) нравственная омертвелость, невосприимчивость к радостному чувству; 3) нега и тоска по давней и неразделенной любви. Этой северной любовью вдохновлялась поэзия Пушкина на юге целых два года, ею внушен был не только «Кавказский пленник», но и «Бахчисарайский фонтан». "Чудным светом — пишет Гершензон — озаряется для нас творчество поэта — мы нисходим до таинственных источников вдохновения".

Из этого коротенького изложения взглядов Гершензона видна их первостепенная важность для истории жизни и творчества поэта, и это обстоятельство обязывает с тем большим вниманием и осторожностью проверить факты, наблюдения и рассуждения Гершензона. Пушкиноведение давно ощущает потребность в синтезе; навстречу этой потребности идет попытка Гершензона. Но другая, столь же необходимая задача пушкинских изучений — критическое рассмотрение уже вошедшего в обиход материала, критическое выяснение происхождения тех или иных утверждений, обычно повторяющихся в изданиях сочинений поэта, и в исследованиях о нем. Так называемая Пушкинская литература довольно велика и обильна, но дух критицизма, отличающий научный характер работ, чужд ей: исключения крайне малочисленны. Мы должны отдать отчет в наших знаниях о жизни и творчестве поэта и разжаловать многие биографические, текстуальные и историко-литературные утверждения из их догматического сана; само собой понятно, осложнение старых легенд и предположений новыми, собственного изобретения, только задерживает научное изучение Пушкина. Но не будет ли синтез Гершензона новой легендой?

II

Работая над биографией Пушкина, я уже давно обратил внимание на эпизод отношений Пушкина к княгине М. А. Голицыной и на стихотворения, связываемые с ее именем. Теория о тайной и исключитель-

ной любви поэта именно к ней была выдвинута еще в 1882 году покойным А. И. Незеленовым в его книге о Пушкине[3]. По существу о взглядах Незеленова нам придется еще сказать при разборе расуждений Гершензона. Естественно было, конечно, обратиться за разрешением вопроса или, по крайней мере, хоть за его освещением к биографическим данным об этой женщине. Биографы и издатели Пушкина, действительно, ограничиваются сообщениями тех дат, которые суммировал Гершензон, но все же в печатной литературе найдется несколько сведений о ней, не привлекавших до сей поры внимания исследователей. Эти данные немногочисленны, но любопытны настолько, что заставляют жалеть о их скудости. Личность княгини Голицыной оказывается интересной в историко-культурном и историко-психологическом отношениях; она, по-видимому, из того слоя русских людей, которого еще никто не вводил в историю нашей культуры, но которому со временем будет отведена в ней своя страничка. Это — русские люди, мужчины и, главным образом, женщины, которые, принадлежа к богатым и родовитым фамилиям, жили почти всю свою жизнь за границей, вращались в западном обществе, были в общении со многими западными знаменитостями, принимали нередко иностранное исповедание, вступали в родство с иностранцами, открывали свои салоны и т. д. Стоит вспомнить о роли, которую играли салоны m-me Свечиной, княгини Багратион, графини Ливен, m-me Сиркур (урожд. Хлюстиной). Эти люди, не приткнувшиеся у себя на родине и оседавшие на западной почве, по-своему содействовали прививке западного миросозерцания и европейской психики к русскому уму и сердцу и имеют право быть занесенными в историю развития русского интеллигентного (в широком смысле слова) чувства. С точки зрения такой истории приобретает интерес и изучение обстоятельств жизни княгини М. А. Голицыной и собирание сведений о ней. Предлагаем собранные нами данные с подробностями, быть может, кое-где и докучными, в надежде, что та или иная дата, тот или иной факт, быть может, наведет на открытие и опубликование документов, писем и воспоминаний о княгине М. А. Голицыной.

Сначала — данные внешние, даты генеалогические и хронологические.[4]

Сын знаменитого Суворова, светлейший князь Аркадий Александрович (род. 1780) сочетался 13 июля 1800 года браком с Еленой Александровной Нарышкиной (род. 1785). От этого брака родилась 26 февраля 1802 года княжна Мария Аркадьевна. В 1811 году ее отец утонул в реке Рымнике. Мать долго жила за границей, покоряла и очаровывала

[3] *А. И. Незеленов.* А.С.Пушкин в его поэзии (1799—1826). Ист.-лит. исслед. Переиздано в 1903 году в «Собрании сочинений». Том I.

[4] См. книги кн. Н. Н. Голицына: 1) Материалы для полной родословной росписи кн. Голицыных. Киев, 1880, корректурное издание. 2) Род князей Голицыных. Том I, СПб. 1892. Указания этих книг не всегда верны.

современников на Веронском конгрессе и вышла во второй раз в Берлине в 1823 году за князя Василия Сергеевича Голицына. Дочь была фрейлиной высочайшего двора и 9 мая 1820 года была выдана за князя Михаила Михайловича Голицына (род. 4 февр. 1793 года), прямого потомка петровского М. М. Голицына. За свое искусство муж М. А. Голицыной получил прозвище Вестриса, но он был не только танцор, а по своему времени незаурядный человек[5]. Первоначальное воспитание он получил в пансионе известного Николя, потом учился в Венской инженерной академии и завершил образование в Парижской политехнической школе. Вернувшись в Россию в 1811 году, он вступил на службу по квартирмейстерской части колонновожатым и после блестящего экзамена произведен в офицеры. Состоя при 4-м корпусе, Голицын принимал участие в сражениях 1812 года и под Бородиным был ранен. Еще не оправившись совершенно от ран, в 1813 году опять вступил в строй, в корпус графа Сен-При. За участие в Лейпцигской битве был награжден чином подпоручика. В 1814 году он участвовал в штурме Реймса; здесь на его руках скончался граф Сен-При, которому оторвало плечо. По возвращении в Россию, Голицын состоял при начальнике главного штаба князе Волконском; при нем он находился и во время вторичного занятия русскими Парижа. Между прочим, он был назначен встретить и проводить в Париж графа д'Артуа. Последний, став Карлом X, вспомнил о Голицыне и дал ему офицерский крест Почетного Легиона. В 1816 году Голицын был зачислен в формировавшийся тогда гвардейский генеральный штаб, где оставался до получения полковничьего чина. "Будучи назначен, — читаем в некрологе, — обер-квартирмейстером резервного гвардейского кавалерийского корпуса, он всегда отличался своими математическими познаниями и своим беспристрастием особенно при испытании молодых людей, поступавших в гвардию, за что и награжден имп. Александром орденом св. Анны 2 степени".

<...>

В 1829 году "по домашним обстоятельствам" (слова некролога) князь М. М. Голицын был вынужден оставить военную службу и на другой день после отставки был принят ко двору камергером и произведен в действительные статские советники. В 1833 году он был назначен для особых поручений к Новороссийскому генерал-губернатору графу М. С. Воронцову, но вскоре опять перешел в военную службу по квартир-

[5] Данные о личности и служебной деятельности М. М. Голицына извлечены из некрологических статей — русской в Северной Пчеле 1856 года, № 162 от 20 июля, стр.830 и французской — в Le Nord № 186 от 4 Juillet 1856 (Correspondance, particuliere, S.-Pétersbourg 10/22 Juin). Почти полное совпадение обеих статей указывает на одного автора. Н. Н. Голицын в «Материалах» называет автором французской статьи брата М. М. князя Андрея Михайловича Голицына, бывшего витебским, могилевским и смоленским генерал-губернатором при Николае I (1792—1863).

мейстерской же части. Скончался он 21 мая 1856 года в чине генерал-майора, оставив после себя "много замечательных сочинений".

Княгиня Мария Аркадьевна пережила своего мужа и скончалась в Веве 16 (28) февраля 1870 года. И она, и ее муж похоронены на кладбище Александро-Невской лавры[6].

<...>

III

От дат чисто внешнего, справочного характера переходим к свидетельствам, дающим некоторое освещение личности М. А. Голицыной:

Княгиня Голицына занимает известное место в жизни и поэзии Ивана Ивановича Козлова, известного слепца-поэта. Известно, что в 1818 году его постигла тяжелая болезнь; после первого удара паралича он лишился ног, и затем постепенно потерял зрение вплоть до полной его утраты. Несчастие разбудило его духовные силы, он начал писать стихи, и его поэзия находила у современнико высокое одобрение. В 1825 году друзья и покровители Козлова выдали в свет его «Чернеца, киевскую повесть». В предисловии, написанном В. А. Жуковским[7], читаем: "В молодых летах, проведенных в рассеянности большого света, он (Козлов) не знал того, что таилось в его душе, созданной понимать высокое и прекрасное — несчастие открыло ему эту тайну: похитив у него лучшие блага жизни, оно даровало ему поэзию. Вот уже пятый год, как он без ног и слеп; существенный мир исчез для него навсегда; но мир души, мир поэтических мыслей, высших надежд и веры открылся ему о всей красоте своей: он живет в нем и в нем забывает свои страдания, часто несносные. Мы не входим в подробности — пускай он сам будет своим историком: прилагаем здесь его послание к другу (написанное в 1822 году), в котором с величайшею верностию изобразил он настоящую судьбу свою; оно есть не произведение поэта, а искренняя, трогательная исповедь страдальца..." В этом послании "к другу В. А. Ж.", т.е. Жуковскому, Козлов поминает признательным словом тех, чья поддержка могущественно помогла ему: верного своего друга Жуковского, свою жену, А. А. Воейкову и М. А. Голицыну. Обе эти женщины являлись в самый тяжелый час его жизни со словами сердечного утешения.

Тогда в священной красоте
Внезапно дружба мне предстала:
Она так радостно сияла!
В ее нашел я чистоте

---

[6] Неверная дата смерти М. А. Голицыной, приведенная в «Роде кн. Голицыных» (стр. 167 и 516), исправляется указанием В. И. Саитова в «Петербургском Некрополе». М. 1883, стр. 36. Ср.: в кн. Николай Михайлович, «Петербургский Некрополь», т. I, стр. 626.

[7] О том, что предисловие писано В. А. Жуковским, узнаем из сообщения А. И. Тургенева в письме к кн. П. А. Вяземскому. «Остафьевский Архив князей Вяземских», т. III, СПб. 1899, стр. 114.

Утеху, нежность, сожаленье,
И ею жизнь озарена...

А. А. Воейкова в этом послании названа Светланой; княгиня М. А. Голицына не указана именем и скрыта под местоимением О н а. Что Козлов говорит именно о М. А. Голицыной, видно из письма А. И. Тургенева к князю П. А. Вяземскому от 15 апр. 1825 года. Посылая только что изданного «Чернеца», Тургенев писал: "О н а — после Светланы — княгиня Голицына, урожденная Суворова, которая певала и утешала певца некогда, когда еще он был в моде только у Жуковского и у меня"[8].

Вот отрывок послания, относящийся до княгини М. А. Голицыной:

А там с улыбкой прилетел
И новый Ангел-утешитель,
И сердца милый ободритель,
Прекрасный друг тоски моей:
Небесной кротостью своей
И силой нежных увещаний
Она мне сладость в душу льет,
Ласкает, радует, поет,
И рой моих воспоминаний
С цветами жизни молодой,
Как в блеске радужных сияний,
Летает снова надо мной[9].

И. И. Козлов, помимо этого упоминания, выразил свои чувства и в особом послании «К княгине М. А. Голицыной», напечатанном в «Северных Цветах» на 1825 год. Вот оно:

Ты видала, как играет
Солнце раннею порой,
И лилея расцветает,
Окропленная росой;
Ты слыхала, как весною
Соловей в ночи поет,
Как с бесценною тоскою
Он раздумье в душу льет;
Под черемухой душистой,
Часто взор пленялся твой
Блеском радуги огнистой
Над прозрачною рекой.

[8] Остафьевский Архив, т. III, стр. 114.

[9] Предисловие к «Чернецу» и послание к другу В. А. Ж. цитирую по изданию 1825 года. В новейшем "исправленном и дополненном" Арс. Ив. Введенским издании (СПб. 1892, изд. А. Ф. Маркса) предисловия совсем нет, а текст послания напечатан с грубыми ошибками: так, напр., вместо "летает снова надо мной" читаем "летает слава надо мною"!

Так твое воспоминанье,
Твой пленительный привет,
Для сердец очарованье
И прекрасного завет,
Но с увядшею душою,
Между радостных друзей,
Как предстану пред тобою
С лирой томною моей?
Хоть порой с мечтами младость
И блестит в моих очах;
И поется мною радость
На задумчивых струнах:
Так цветок в полях мелькает
Вместе с кошенной травой,
Так свет лунный озаряет
Хладный камень гробовой!
Лишь желать, молить я смею:
Да надежд прелестных рой
Вьется вечно над твоею
Светло-русой головой.
В свете гостья молодая,
Жизнью весело играй;
Бурям издали внимая,
Обо мне воспоминай[10].

Немного, конечно, можно извлечт из поэтических признаний И. И. Козлова для характеристики княгини М. А. Суворовой, но и это немногое рисует ее тихий и кроткий образ. Запоминается еще одна внешняя подробность — искусство пения, которым она, повидимому, обладала в высокой степени, так как и в остальных свидетельствах, к которым мы сейчас перейдем, мы встретим не раз указания на пение княгини Суворовой-Голицыной. Вряд ли далеким от истины будет предположение, что внимание молодой девушки на пораженного недугом поэта обратил Жуковский. Давний приятель И. И. Козлова еще с Москвы, он как раз в это время (в конце 10-х и в начале 20-х годов) был учителем вел. кн. Александры Феодоровны, был принят в придворный круг, был баловнем фрейлин, а к одной из них, графине Самойловой, даже питал нежное чувство. В этом круге, по всей вероятности, он и встретился с княжной Суворовой и заинтересовал ее участью своего друга[11].И впоследствии Жуковский не раз упоминает о ней в письмах своих к И. И. Козлову; эти упоминания немного пополняют наши фак-

[10] Текст — по альманаху в переиздании Русского Архива, М., 1881, стр. 329-331.

[11] Не Жуковский ли познакомил Пушкина с княжной Суворовой? Ночью с 16 на 17 августа 1819 года А. И. Тургенев привез Пушкина из Царского Села в Павловск к Жуковскому. "Дорогой — сообщает Тургенев князю П. А. Вяземскому — писал он послание о Жуковском к павловским фрейлинам, но еще не кончил" (Ост. Арх., т. I, стр. 296). Это послание не дошло до нас.

тические сведения о ней. Должно быть, к ней относятся слова из французской записочки Жуковского к Козлову: "Мой дорогой, я сейчас отправляюсь; обнимаю вас. Я ничего не слышал о свадьбе княжны Суворовой", и, следовательно, эту записочку надо датировать временем около 9 мая 1820 года[12]. В 1826 году Жуковский встретил княгиню Голицыну в Эмсе, и 3/15 июля[13] писал И. И. Козлову: "Здравствуй из Эмса, мой милый Иван Иванович... В Эмсе довольно скучно; но жизнь идет однообразно, что мне не неприятно. Здесь между прочими русская княгиня Голицына-Суворова. Я ее вижу довольно часто и слушаю с большим удовольствием ее милое пение. Она чрезвычайно поправилась; но ей запрещено возвращаться в Россию, и мы ее долго не увидим. Наш климат ей не по натуре. Она тебя помнит и любит и всегда говорит о тебе, да и собирается сама к тебе писать. Вот все, что для тебя интересно". А 23 июля (4 августа) того же года Жуковский, прилагая письмо Голицыной, писал И. И. Козлову: "прилагаю письмо от княгини Голицыной, которая пробудет в Эмсе еще несколько дней. Ее здоровье весьма поправилось. Она очень любезна и добра. Я бывал довольно часто у нее и всякий раз пленялся ее милым пением"[14]. Действительно в дневниках Жуковского за 1826 год находятся краткие пометы о княгине Голицыной и встречах с нею под 19 июня (1 июля); 23 июня (5 июля) (обед у княгини Голицыной, пение); 3 (15) июля (смешной разговор с Голицыной) и 21 авг. (2 сент.)[15].

Новый ряд известий идет из переписки А. И. Тургенева с князем П.А.Вяземским, сохранившейся как в Остафьевском Архиве (напечатанной в известном издании под редакцией В. И. Саитова), так и в Тургеневском Архиве (напечатанной в издании Академии Наук «Архив братьев Тургеневых», вып. 6, 1921. Ред. Н.К.Кульмана[16]). Так 7 мая

[12] Записочка на франц. языке без даты напечатана К. Я. Гротом в его брошюре «К биографии И. И. Козлова», СПб. 1904 (отд. отт. из «Изв. Отд. Русск. яз. и слов. И. А. Н.», т. IX, 1904, кн.2), стр. 12. Тут же напечатана (стр. 14) другая записка, без даты, при которой Жуковский "посылал письмо княжны Суворовой с посылкой". Но так как она написана после въезда в Россию принцессы Шарлотты (вел. кн. Елены Павловны), состоявшегося 23 ноября 1823 года, а в это время княжна Суворова была уже княгиней Голицыной, вряд ли тут идет речь об интересующем нас лице. Может быть, в дневниках И. И. Козлова, сохранившихся, между прочим, от 1818, 19 и 20 годов и принадлежащих ныне К. Я. Гроту, найдутся упоминания о княжне М. А. Суворовой. К сожалению, Грот напечатал только выборки, по своему вкусу, из дневников Козлова («Старина и Новизна», книга XI, СПб. 1906, стр. 34 и след. и отд.: «Дневники И. И. Козлова», СПб. 1906).

[13] Это письмо напечатано в Русск. Арх. 1867, стр. 825—826 и в «Сочинениях В. А. Жуковского». Изд. 7-е. Том 6, СПб. 1878, стр. 464, с неверной датой 3 (15) июня, исправленной И. А. Бычковым в примечании к «Дневникам В. А. Жуковского», П., 1903, стр. 185.

[14] Русск. Арх. 1867, ст. 828 и Соч. Жук., указ. изд. и том, стр. 464.

[15] Дневники В. А. Жуковского с прим. И. А. Бычкова, П. 1903, стр. 184—187.

[16] При работе над «Разысканиями» я пользовался корректурными листами этого издания.

1827 года Тургенев из Лейпцига сообщал Вяземскому: "Сегодня сюда приезжают русские: граф Головкин, княгиня Голицына (Суворова), которая все просит тебе о чем-то напомнить"[17]. Особенно часты упоминания о Голицыной в письмах Тургенева к Вяземскому за 1833 года (Тургеневский Архив). В это время Тургенев жил в Женеве, а княгиня Голицына на даче под Женевой, в Версуа. Как раз в это лето здесь проживала и известная Марья Антоновна Нарышкина, и графиня Е. К. Воронцова. С ними Голицына была в приятельских отношениях. Тургенев встречал Голицыну на общественных праздниках: то на праздниках в Веве в августе, то "на одной из вечеринок, коими женевские аристократы угощают теперь 75-летнюю парижанку графиню Румфорд..., вдову славного Лавуазье, за коего вышла тому 60 лет". Не раз Тургенев бывал и у нее. 1 сентября он сообщал Вяземскому о встрече с известным Декандолем и писал: "после завтра провожу с ним вечер в Версуа, у княгини (Мери) Голицыной, которая велела тебе сказать, что она нарочно приедет в П-бург для того, чтобы ты проводил ее до Кронштадта так, как провожал ты нас, Резеду, Салтыковых и проч., о чем мною ей объявлено в свое время, а я слышал об этих проводах от того, кто был тут же и с кем ты собирался писать мне, но предался очарованию отъезжавших... Скажи Жуковскому, что и ему она кланяется". А 6 сентября Тургенев писал: "Был я в проливной дождь в Versoix на бале у княгини Голицыной, где заставляли меня вальсировать. Красавицы С а л а д е н ь, здешняя аристократическая фамилия богатая дачами и красавицами, дети Шуваловой-Полье, которая накануне приехала, были для меня новые лица". <...> 30 сентября Тургенев "был на Австрийско-Женевской вечеринке, которую давали в честь нашей княгини Голицыной-Суворовой, отъезжающей во Флоренск", т.е. Флоренцию.

Все эти сведения рисуют круг заграничной жизни княгини Голицыной; в переписке Тургенева с Вяземским сохранились еще очень любопытные указания на переписку Шатобриана с нашей Голицыной. В письме Вяземского к Тургеневу от 25 марта 1833 года читаем: "Шатобриан не силен в географии. Я читал письмо его к Мери Голицыной, в котором, жалея, что она не в Париже, говорит ей: "Au reste, étant à Mittau, vous etes encore parmi nous, car les polonais et les français ont toujours eté compatriotes". [18] [11] Тургеневу Голицына подарила в сентябре 1833 года "два письмеца Шатобриана с прелестными фразами".<...>

Где в настоящее время находятся письма Шатобриана к Голицыной, появились ли они во французской печати, упоминает ли об этих отношениях Шатобриана специальная о нем биографическая литература, — на все эти интересные вопросы я, к сожалению, лишен возможности ответить, не имея под рукой, в петербургских библиоте-

[17] Ост. Арх., т. III, стр. 159.

[18] Ост. Арх., т. III, стр. 229. Между прочим, 19 июля 1833 года Вяземский в ответ на сообщение Тургенева просил передать усердный поклон Голицыной и спрашивал: "что пение ее"? (там же, стр. 254).

ках, биографических работ и материалов о Шатобриане.

В конце 1836 и в начале 1837 года княгиня М. А. Голицына жила во Флоренции. Здесь в это время было довольно много знатных русских, а среди них — немало окатоличившихся и обытальянившихся. Такова была, например, фамилия Бутурлиных. Один из ее членов, сохранивший, впрочем, свою национальность и веру, граф М. Д. Бутурлин в своих воспоминаниях[19] рисует яркую картину флорентинского света, в котором не последнюю роль играли и наши соотечественники. Несколько занимательных строк находим у него и о княгине М. А. Голицыной. Бутурлин прибыл во Флоренцию осенью 1836 года с беременной женой и, не желая пускаться в свет без нее, возобновил знакомство только с Григорием Федоровичем Орловым и с "временно проживавшей во Флоренции княгинею Мариею Аркадьевной Голицыной, урожденной княжною Суворовой". В салоне ее он видел скульпторшу де Фово, — из ярых французских аристократических легитимисток, и знаменитого историка Сисмонди. "Княгиня М. А. Голицына, — рассказывает граф Бутурлин, — в то время или немного позднее предалась, как слышно было, особому мистицизму, кончившемуся будто бы переходом в протестантство. Из Италии она переехала на жительство в Швейцарию"[20]. Бутурлин рассказывает еще, что княгиней увлекался в это время маркиз Чезаре Бочелла, "литератор и меломан, бывший чем-то при дворе миниатюрного герцога Луккского"[21]. Он был довольно умный и начитанный человек (ученостью же не отличалась вообще тогда итальянская аристократия), но воспламенялся (всегда, впрочем, платонически) то к одной, то к другой женщине, идеализируя ее каким-то сверхъестественным в психологическом отношении созданием из всех Евиных дщерей. Таковою представлялась ему некогда княгиня М. А. Голицына (рожд. княжна Суворова), завлекшая его в туманный мистицизм, который у него дошел до полупротестантизма, а у княгини, если верить молве, до перехода в это исповедание"[22].

[19] Русск. Арх. 1897, 1898, 1901 годы.

[20] Русск. Арх. 1897, кн. III (№ 9), стр. 49.

[21] Там же, стр. 91 и 92.

[22] Там же, 1901, кн. III (№ 10), стр. 217. Не этот ли маркиз Bocella перевел на итальянский язык поэмы Пушкина? Вот заглавие перевода: "I quattro poemi maggiori di Alessandro Pouschkine, tradotti da Cesare Bocella", Pisa, co' carotteri di Didot. 1841 (16), XXII, 134 p. Геннади пишет об этом переводе: "Это едва ли не лучший италианский перевод" из сочинений Пушкина — известного италианского писателя Бочелла: он передал нашего поэта белыми стихами, следуя буквальному переводу, сделанному для него, как для незнакомого с русским языком. Содержание книги: предисловие, очерк жизни Пушкина и его поэмы — Бахчисарайский Фонтан, Пленник, Цыганы и Братья Разбойники" (Переводы сочинений Пушкина. М. 1859. Стр. 14—15. Отд. отт. из «Библиографических Записок» 1859 года, тоже повторено Геннади в «Приложениях к сочинениям А. С. Пушкина, изданным Я. А. Исаковым», СПб, 1860, стр. 45). <...> Этому же Бочелла принадлежит изданный в Пизе перевод поэмы Козлова «Чернец» (Il monaco,

Молва о лютеранстве княгини нашла место и в переписке П. А. Плетнева с Я. К. Гротом. 11 ноября 1843 года Плетнев писал из Петербурга в Гельсингфорс Гроту: "На чай отправился к Суворовым, здесь поселившимся. Муж (князь Константин Аркадьевич) отправился ко двору датскому для негоциаций о свадьбе в. к. Александры Николаевны с принцем Гессенским. У жены нашел двух больших княжен Голицыных, родных племянниц этого князя Суворова. Они выросли и воспитались в Париже, почему и смешно еще говорят по-русски: мать их урожденная княжна Суворова, даже приняла лютеранскую веру"[23].

Точные и обстоятельные сведения об отпадении княгини М. А. Голицыной от православия находим в очень редком и совершенно не известном в русской литературе труде известного диакона Вильяма Пальмера, которому довелось играть немалую роль в истории религиозной жизни княгини. Пользуясь этой книгой, я ограничусь здесь только кратким сообщением о ее религиозном кризисе.

Отпадение княгини от православия случилось в конце 1839 или в начале 1840 года, когда она вместе с дочерьми после продолжительного пребывания в Италии перебралась на жительство в Женеву. Любопытно, что, живя в общении с католическим миром, она вынесла отрицательное впечатление о "суеверии" католической религии. Неизвестно, под каким влиянием Голицыны восприняли протестантскую точку зрения на руководственное значение св. писания. Но, читая св. писание, они пришли к заключению о решительном несоответствии св. писанию учения и обрядов православной церкви и, наоборот, знакомство с английской «Книгой общих молитв» (Common Prayer-Book) внушило им мнение о полном согласии с св. писанием гимнов, молитв и наставлений этой книги. Отсюда возник интерес к англиканству. Сначала старшая дочь, а потом мать и средняя дочь начали посещать английскую церковь в Женеве и принимать участие в общении св. таинств. Случайно бывший в Женеве ирландский декан (Lord Edward Chichester) принял их в лоно англиканской церкви. О своем отпадении и переходе они написали в Петербург князю М. М. Голицыну, а княгиня М. А. — самому Николаю Павловичу, который выразил свое крайнее неудовольствие по этому поводу. Сам М. М. Голицын был в отчаянии: он неясно представлял себе сущность англиканства и сам признавался, что ему меньше было бы горя слышать о переходе своей семьи в католичество. Были приняты официальные меры к возвращению Голицыных в православие: священнику нашей бернской миссии

poema di Kozloff, tradotto dal Russo in Italiano. Pisa. MDCCCXXXV). Этот перевод был в библиотеке А. С. Пушкина (см. Б. Л. Модзалевский. Библиотека А. С. Пушкина. П., 1910, стр. 263) и в библиотеке В. А. Жуковского, входящей ныне в состав Онегинского музея (см. Описание Б. Л. Модзалевского в XII вып. сборн. «Пушкин и его современники», стр. 46).

[23] Переписка П. А. Плетнева с Я. К. Гротом, т. II, стр. 151.

было поручено увещевать отпавших, но первые его попытки были бесплодны и, если дальнейшие увенчались успехом, хотя только в отношении к дочери, то, главным образом, благодаря вмешательству в этот религиозный инцидент семьи Голицыных известного диакона Вильяма Пальмера, который в сороковых годах упорно, но тщетно хлопотал о соединении церквей англиканской и православной и совершил с этою целью ряд поездок в Россию[24]. Обращение Голицыной сыграло большую роль в истории возбужденного Пальмером вопроса о соединении церквей, — роль совершенно не освещенную ни в нашей богословской, ни в нашей исторической литературе. Чтобы понять значение инцидента Голицыной для дела самого Пальмера, надо сказать, что он вначале считал англиканскую и православную церковь ветвями единой католической церкви и на этом основании добивался от нашего Синода разрешения допустить его, как члена истинной церкви, к принятию св. тайн. Такое допущение в общение в таинствах, по мысли Пальмера, и должно было послужить началом соединения церквей. Принятие же Голицыной в лоно англиканской церкви противоречило такой точке зрения Пальмера, ибо ясно, что англиканская церковь не имеет права принимать православных, как обращенных, раз не усматривается существенных различий между православием и англиканством. Поэтому, когда в первую поездку свою в Россию в 1840—1841 годах[25] Пальмер услышал от князя Голицына об обращении его жены, то он сразу заявил, что это очевидное недоразумение, и что православный человек не может быть "обращен", а может принимать участие в англиканском богослужении, оставаясь членом православной церкви. М. М. Голицын заинтересовался словами Пальмера и просил его изложить свои взгляды с тем, чтобы он мог послать в Женеву его письмо. Пальмер согласился, написал одно, потом другое письмо М. М. Голицыну, а затем вступил в непосредственную переписку с его дочерью. Когда в 1841 году князь Голицын уезжал в Женеву, он даже взял с Пальмера слово приехать, если нужно, в Женеву. Письма ли Пальмера подействовали, или убеждения отца, но старшая дочь вернулась в православие и вместе с отцом возвратилась в этом году в Россию, а М. А. Голицына переехала в Париж. М. М. Голицын написал Пальмеру отчаянное письмо с просьбой приехать в Париж и убедить его жену. Пальмер весьма тщательно и настойчиво позаботился о выполнении этой просьбы. Он доказывал княгине, что она неправильно считает себя "обращенной", так как, с одной стороны, при сходстве

[24] Большою известностью у нас в России пользовалась его переписка с А.С.Хомяковым в VIII томе «Сочинений» последнего и по-английски в книге Birkbeck W.J., Russia and the English Church during the last fifty yers. Volume I, London. 1895.

[25] Об этой поездке см. дневник, очень любопытный, Пальмера: Palmer W. A., Visit to the Russian Church 1840—1841. Edited by Cardinal Newman, London 1882; тут есть некоторые подробности и о Голицыных.

исповеданий нет надобности в обращении, а с другой стороны для действительного "обращения" недостаточно было принять участие в богослужении и принимать св. тайны по обряду англиканскому, а надо быть принятым, после отречения от старой веры с соблюдением формальностей и с надлежащего разрешения. Все эти условия не были соблюдены, но княгиня Голицына, осуждая православие, твердо считала себя членом англиканской церкви, и в то же время отказывалась от исполнения каких-либо условий. "Все попытки вернуть меня к православию, — писала она Пальмеру, — будут тщетны. Я н е и щ у, я о б р е л а... Помимо всего, мы исходим из совершенно различных принципов. Вы делаете из религии общение душ, религиозную дисциплину. Для меня религия — вопль потерпевшего крушение к Спасителю, ответ Спасителя и благодать" . В январе 1842 года Пальмер лично познакомился с княгиней и имел с ней беседы. Так как княгиня Голицына желала участвовать в англиканском богослужении не как член православной и близкой, по взгляду, религии, а как член англиканской, — для чего она не хотела представить оснований, то Пальмер, найдя единомышленника в шотландском архиепископе в Париже Матвее Лескомб (Mathew Luscombe), добился того, что Голицыной было отказано в допущении к англиканской евхаристии. Но это не изменило ее взглядов, и она отправилась в Лондон и там продолжала посещать английские церкви. Частный случай дал Пальмеру повод поставить общий вопрос, на каких же условиях должно совершаться принятие православных в англиканскую церковь. Этот же вопрос приводил к постановке еще более общего вопроса — о возможности церковного общения и единения, если разница между православием и англиканством несущественна. Эти вопросы послужили предметом апелляции, с которою Пальмер и сочувствующие ему духовные лица обратились к синодам шотландской церкви. Как материал для суждения, была составлена огромнейшая книга, содержащая подробнейшее и документированное изложение всей истории Голицыной и пальмеровских попыток обращения к русскому Синоду[26]. Но еще до апелляции, составленной в 1848 году, Пальмеру было не мало дела с Голицыной. Когда она на короткое время приезжала в Россию, здесь как раз был Пальмер, который и тут воспрепятствовал ей участвовать в богослужении в английской церкви. Но, несмотря на все это, княгиня везде, где только могла, посещала английские церкви и продолжала считать себя членом англиканской церкви. Так было в момент составления апелляции в 1848—1849 году. Любопытно, что в 1844 году притеснения и пресле-

[26] Эта книга была отпечатана не для продажи и является очень редкой. Ее заглавие: «An Appeal to the scottish Bischops and Clergy and generally to the Church of their Communion». Edinburg. MDCCCXLIX. Стр. XVIII + CCXL + 464. Сообщаемые нами данные извлечены из этой именно книги. Голицына не названа по фамилии, а упоминается под Madame A.

дования за веру русской княгини стали предметом многочисленных статей и памфлетов в западной прессе, доставивших немало огорчения княгине.

Нельзя не отметить любопытной особенности религиозного обращения княгини Голицыной. Она жила, по-видимому, в католической атмосфере; ее современники и современницы из высшего света изменили своей вере ради католичества. Естественнее было бы ожидать и от нее перехода в это исповедание, но ее пленил мистицизм протестантский. Таким образом ее религиозные переживания трудно считать шаблонными, и если в обращениях русской знати к католичеству, которые одно время были почти эпидемическими, можно указать немало случаев — результатов нерассуждающего подражания, моды и других чисто внешних влияний, то на протестантский пиэтизм моды не было, и обращения в лютеранство были редки...[27]

Нежное участие к больному поэту, доступность высоким наслаждениям искусства, общение с выдающимися людьми Запада (Шатобриан, Сисмонди), наконец своеобразный религиозный опыт, завершившийся обращением к протестантской мистике — все это указывает на натуру недюжинную и может послужить к оправданию нашего намерения привлечь внимание к этой княгине лютеранке.

IV

Но существовавший интерес к личности княгини М. А. Голицыной создан не изложенными данными о ней, впервые нами собранными, а некоторыми отношениями ее к жизни и поэзии Пушкина. Она — "северная любовь" Пушкина! Переходя к разбору гипотезы о северной любви, выдвинутой Гершензоном, не лишнее заметить, что его мнение, насколько мне известно, до сих пор оспаривал в печати один Н. О. Лернер[28]. Поэтому в дальнейшем мы должны считаться и с рассуждениями Лернера. Гершензон пришел к своим выводам с помощью метода психологического: он пристально читал стихи Пушкина и верил им, и наблюдения его лишь результат "медленного чтения". Сущность той работы, которую проделал Гершензон в своем опыте "медленного чтения", заключается в том, что несвязанные высказывания в поэтических произведениях Пушкина он освоил современным, личным сознанием и заполнил, таким образом, пробелы в доступной нам истории переживаний поэта. Такого освоения не следует, конечно, бояться, но только в том случае, если в нашем распоряжении фактов настолько достаточно, что сила их действия на наше сознание в свое

[27] Очевидно, под влиянием уверенности в силе шаблона, и Н. Н. Голицын отметил в числе совратившихся в католичество членов рода Голицыных и княгиню М. А. Голицыну, которая, по его сообщению, состояла в католичестве "временно за границей около 1841 года" (Род кн. Голицыных, стр. 347).

[28] В примечаниях ко 2-му тому соч. Пушкина под ред. Венгерова. СПб. 1908.

время скажется и заявит противодействие субъективизму исследователя. А как раз при изучении Пушкина нас подавляет скудность фактов и, что еще важнее, скудность фактических обобщений; ведь в сущности изучение Пушкина только теперь еле-еле становится научным. Но Гершензон в "медленном чтении" основывался на следующем утверждении: "биографы поэта оставили без внимания весь тот биографический материал, который заключен в самых стихах Пушкина. Пушкин необыкновенно правдив, в самом элементарном смысле этого слова; каждый его личный стих заключает в себе автобиографическое признание совершенно реального свойства". Это положение — для Гершензона аксиома, с которой начинается изучение Пушкина, но оно в действительности могло бы быть принято, если бы только явилось результатом предварительного тщательного сравнительного изучения истории его жизни и творчества, но никто еще не произвел научным образом всей той фактической работы, из которой с логической неизбежностью вытекало бы то или иное решение этого положения. Пока оно только — впечатление исследователя ad hoc[2]. Гершензон не снабдил разъяснениями своей аксиомы. Что такое реальная элементарность правдивости Пушкина в его поэзии? Если она означает, что переживание, выражение которого находим в поэзии, было в душе поэта, то такое мнение, конечно, можно принять, но какое же остается за ним руководственное значение для биографов? Их задачей являются разыскания в области фактической жизни поэта, которые должны выяснить удельный вес всякого переживания в ряду других. Вот тут и начинаются долгие споры, при которых придется привлекать фактические данные.

Оппонент Гершензона Лернер работает при помощи других методов: он держится в области фактов, разыскивает их, рассматривает и сопоставляет. В его работах научное изучение Пушкина найдет для себя немало полезных материалов. Недостатки метода Лернера — односторонность, к которой приводит исследователя отсутствие перспектив; кроме того, применение такого метода требует большой осторожности и сдержанности. Как раз последних свойств не хватает Лернеру. Подобно всякому фактическому исследователю, Лернер нередко бывает однокрылым и забывает о должной осторожности. Мы не раз будем иметь случай отмечать своеобразные промахи Гершензона и Лернера, вытекающие из их приемов работы.

Гершензон рассказал историю любви Пушкина к княгине М. А. Голицыной, выяснил характер этой привязанности поэта и даже нарисовал образ этой женщины — и все это он сделал исключительно на основании трех стихотворений Пушкина, ею вызванных. Нам необходимо сосредоточить внимание на этих произведениях, и поэтому представляется неизбежным привести текст (в той редакции, в какой она появилась при жизни поэта) и сообщить их "послужной список". В целях краткости в дальнейшем изложении, элегия «Умолкну скоро я...»

обозначается цифрой I, элегия «Мой друг забыты мной...» — цифрой II, и послание «Давно о ней воспоминанье...» — цифрой III.

В отношении к сохранившимся рукописям история I и II одинакова. Возникли оба стихотворения почти одновременно: I — 23 августа 1821 года, II — в ночь с 24 на 25 августа. Рядом (II сейчас же за I) записаны они в черновой кишиневской тетради (ныне Всесоюзная библиотека имени В. И. Ленина, № 2365)[3]. Здесь их первоначальная, соответствующая моменту возникновения элегий, редакция. Черновой набросок I — не всего стихотворения, а только части (последней) — занимает правую сторону тетради или, иными словами, переднюю страницу 47 листа. Заглавия нет, а внизу страницы помета 23 авг. 1821 года; видно, что цифра 3 исправлена из 4. Сейчас же вслед за этим идет черновик II, занимающий оборот 47 и лицо 48 листа. На 47 об. вверху слева помета "24 Авг. в ночь". Из рукописи видно, что текст I заносился в тетрадь именно 23 августа, а текст II — ночью 24 августа.

Изучение рукописей поэта дает возможность установить обычный у него прием двукратной обработки темы. Первая обработка свидетельствует о муках творчества и бросается в глаза исчерканностью и обилием поправок; видно, что поправки являются сейчас же вслед за возникновением каждого стиха или даже слова. Во второй обработке — пьеса вносится начисто без поправок и затем уже подвергается исправлениям, но их уж не так много, как в первой редакции. Наконец, посылая пьесу в печать, Пушкин переписывал ее из тетради набело. Этих положений нельзя, конечно, прилагать ко всем пьесам; исключений немало, но обычно ход работы именно таков. Он хорошо иллюстрируется черновиками поэм, хотя бы «Цыган», «Онегина»; нередко за исчерканной первой редакцией строфы сейчас же, непосредственно идет вторая редакция, с немногими уже исправлениями. Хороший пример дают и занимающие нас тексты I и II.

Вторую обработку I и II находим в тетради N 2367.[4] Здесь перед нами оба стихотворения с исправлениями, сделанными по переписке, в сравнительно законченном, но все же еще не завершенном виде. I занимает здесь л. 10 и 10 об. и имеет заглавие «Элегия», а под заглавием помету "1821 Авг. 23", а II — находится на л. 11 и 11 об. с заглавием: «Элегия» и с пометой под последним стихом "25 авг. 1821". Так как по занесении элегий в тетрадь оставалось на об. 10 и на об. 11 листов свободное место, то Пушкин воспользовался им, вписав свои мелочи — на об. 10 — «Лиде страшно полюбить...» и на об. 11 — «Эпиграмму» — "У Кларисы денег мало..." с пометой под ней "1822 Генв."

Наконец, в окончательной редакции, приготовленной для отсылки в печать, читаем I и II в тетради П. И. Капниста, <...>[5]: I — на об. листа 18 с пометой: "Элегия XI (1821)", и II — на л. 16 — 16 об. с пометой "Элегия VIII (1821)".

Именно этот текст I и II появился в печати в «Стихотворениях Александра Пушкина», СПб. 1826. I занимает здесь на 15-й странице

9-е место в отделе "Элегий", а II — 4-е место в том же отделе на 8-й странице. До выхода в свет собрания стихотворений II было напечатано в 11-й книжке «Новостей литературы, изданных А.Воейковым» (март 1825) под заглавием «К***» с подписью "А.Пушкин". Этот текст представляет несколько отличий от текста тетради Капниста и «Стихотворений» 1826 года, находящих свое оправдание в истории текста, как она рисуется по черновым тетрадям. При жизни Пушкина, I и II были напечатаны еще раз в первой части «Стихотворений Александра Пушкина». СПб. 1829. Здесь они помещены в отделе произведений 1821 года, I на 4-м месте (стр. 108) и II на 1-м месте (стр. 103—104). Текст изданий 1826 и 1829 года совершенно одинаков, и разница только в пунктуации, причем в этом отношении надо предпочесть издание 1826 года, по которому мы и даем текст, в скобках сообщая пунктуации 1829 года.

I

Умолкну скоро я. Но если в день печали
Задумчивой игрой мне струны отвечали;
Но если юноши, внимая молча мне,
Дивились долгому любви моей мученью;
Но если ты сама, предавшись умиленью,
Печальные стихи твердила в тишине
И сердца моего язык любила страстной;
Но если я любим: позволь, о милый друг,
Позволь одушевить прощальный лиры звук
Заветным именем любовницы прекрасной! (.)
Когда меня навек обымет смертный сон;
Над урною моей промолви с умиленьем:
Он мною был любим, он мне был одолжен
И песень и любви последним вдохновеньем! (.)

II

Мой друг! (,) Забыты мной следы минувших лет
И младости моей мятежное теченье.
Не спрашивай меня о том, чего уж нет,
Что было мне дано в печаль и в наслажденье,
Что я любил, что изменило мне! (.)
Пускай я радости вкушаю невполне! (;)
Но ты, невинная, ты рождена для щастья.
Беспечно верь ему, летучий миг лови! (:)
Душа твоя жива для дружбы, для любви,
Для поцелуев сладострастья;
Душа твоя чиста: унынье чуждо ей;
Светла, как ясный день, младенческая совесть.
К чему тебе внимать безумства и страстей
Незанимательную повесть?
Она твой тихий ум невольно возмутит;
Ты слезы будешь лить, ты сердцем содрогнешься;

Доверчивой души беспечность улетит,
И ты моей любви, быть может, ужаснешься.
Быть может, навсегда... Нет, милая моя,
Лишиться я боюсь последних наслаждений: (.)
Не требуй от меня опасных откровений! (:)
Сегодня я люблю, сегодня щастлив я! (.)

Третье стихотворение, связываемое с Голицыной, известно нам по автографу на обороте листа 44-го той черновой тетради (№ 2369),[6] которою Пушкин пользовался в 1822, 1823 и 1824 годах и в которой мы находим начало «Онегина». Набросок начинается с самого верха страницы, так что хронологической связи с предшествующими страницами, при пушкинском беспорядке в пользовании тетрадями, устанавливать не приходится.<...>По своей внешности стихотворение на л. 44 об. представляет редакцию, уже выработанную с некоторыми поправками в отдельных стихах и совершенно не напоминает тех черновиков, которые современны моменту возникновения самого произведения. Стихи имеют заглавие К. М. А. Г. Надпись эта, как нам кажется, сделана не в одно время с текстом и, быть может, не рукою Пушкина. Но Анненков, упоминая об одном, сделанном Пушкиным списке стихотворений до 1826 года включительно, говорит, что в нем обозначена словами: "К кн. Гол." известная его пьеса «Давно о ней воспоминанье...»[29].

Наконец, после Революции отыскались остатки альбома княгини М. А. Голицыной, ныне находящиеся в Пушкинском Доме. Здесь нашлось и начало послания Пушкина к этой княгине, к сожалению, только начало, только первые восемь стихов. Текст их дает разночтения и должен быть предпочтен известному нам тексту, поэтому мы даем впервые воспроизведение этих восьми строк.

Давно об ней воспоминанье
Храню в сердечной глубине
Ея минутное вниманье
Отрадой долго было мне.
Твержу я стих обвороженной
Мой стих, унынья звук живой
Так мило ею повторенной
Замеченной ея душой.

Пушкин не поместил III в собрании своих стихотворений ни в 1826, ни в 1829 годах, но при жизни его оно появилось в изданном В. Н. Олиным альманахе «Карманная книжка для любителей русской старины» на 1830 год (стр. 30—31) с следующим заглавием: «Кн. Голицыной, урожденной Суворовой» и с пометой под стихотворением "1823. Одесса".

[29] Анненков. Материалы, стр. 145 и Пушкин-Анненков. т. I, стр. 152.

Вот текст III:

Давно о ней воспоминанье
Ношу в сердечной глубине;
Ее минутное вниманье
Отрадой долго было мне.
Твердил я стих обвороженный,
Мой стих, унынья звук живой,
Так мило ею повторенный,
Замеченный ее душой.
Вновь лире слез и хладной скуки
Она с участием вняла —
И нынс ей передала
Свои пленительные звуки...
Довольно! в гордости моей
Я мыслить буду с умиленьем:
Я славой был обязан ей,
А, может быть, и вдохновеньем.

Первый и важнейший вопрос — на каком основании относит Гершензон все три стихотворения к княгине М. А. Голицыной? Но оснований Гершензон не разыскивал, а положился на авторитет издателей. Правда, он бросил несколько слов о некотором тождестве содержания I и III и о хронологической нераздельности I и II, но не потратил времени на развитие этих соображений. Нам придется коснуться их при анализе содержания этих трех пьес. Сейчас же мы останавливаемся исключительно на объективных фактических основаниях для приурочения всех трех пьес к княгине Голицыной. Мы вправе обратиться за ними к Лернеру. Во 2-м издании «Трудов и дней Пушкина» (стр. 69) он относит I и II к княгине Голицыной на том основании, что... их относит к ней Морозов в своем издании. А у Морозова находим категорическое указание на то, что I и II писаны к Голицыной, без всяких дальнейших разъяснений. В новейшей своей работе — в примечаниях к сочинениям Пушкина в редакции Венгерова — Лернер выдвигает приурочение I и II к Голицыной, как собственное мнение, и обставляет его аргументами.

Из приведенных выше данных о рукописях и изданиях I-II-III видно, что бесспорно усвоение княгине Голицыной одного III. И при жизни Пушкина оно было напечатано с полной фамилией, и в черновой тетради имеет в заглавии инициалы "М. А. Г.", и в собственноручном перечне Пушкина оно помечено "К кн. Гол.". Сомнений тут не может быть, и вопрос идет только о I и II. Но для приурочения I и II к княгине Голицыной мы не находим решительно никаких данных ни в истории их рукописного и печатного текста, ни в истории традиции, ибо они не были относимы к ней ни в издании сочинений, выпущенном наследниками или, вернее, опекой, ни в последовавшем за ними издании Анненкова, ни во всех изданиях Геннади. <...> [7]

V

Остановимся на содержании «Стихов княгине Голицыной-Суворовой» (III). Поступить так мы имеем тем более оснований, что для комментаторов поэта понимание этого стихотворения представляло затруднения, и содержание его казалось темным. Так, проф. Незеленов, приведя последние четыре строки стихотворения, пишет: "сердечность тона всего произведения, сдержанного, но далеко не холодного, показывает, что слова эти сказаны не на ветер, не в виде простой любезности, мадригала. Но они не совсем понятны, потому что т е м н о (и д о л ж н о б ы т ь, П у ш к и н с д е л а л э т о с н а м е р е н и е м) т е м н о в ы р а ж е н и е

Вновь лире слез и тайной муки
Она с участием вняла
И н ы н е е й п е р е д а л а
С в о и п л е н и т е л ь н ы е з в у к и"[30].

А Гершензон поясняет послание следующим образом. "Пушкин вспоминает тот давний, памятный ему случай, когда он узнал, что его стихи ее очаровали; теперь случилось нечто другое — об этом втором случае Пушкин говорит неясно. Возможно, что она через сестру Башмакову[31], с которой Пушкин встречался у Воронцовых, прислала ему какие-нибудь свои, вероятно, французские, стихи в ответ на его поэтические песни:

Вновь лире слез и тайной муки
Она с участием вняла —
И ныне ей передала
Свои пленительные звуки."

Итак, в увлечении загадкой, Незеленов свое непонимание приписал намеренному со стороны поэта затемнению смысла, а Гершензон, ничего не зная о княгине Голицыной, заставил ее писать французские стихи. Дело же обстоит гораздо проще. В приведенных выше данных имеются превосходные реалии к этому стихотворению. Мы знаем, что Голицына не только пела, но и занималась пением. Надо думать, ее искусство было выше обычного дилетантского уровня: об этом можно заключать из частых упоминаний именно об ее пении; стоит только

[30] *А.И.Незеленов.* Собрание сочинений. Т. I. А. С. Пушкин в его поэзии. СПб. 1903, стр. 177. Выделения в стихах принадлежит Незеленову, в словах самого Незеленова — нам.

[31] Ее сестра Варвара Аркадьевна, по мужу Башмакова, действительно жила в эти времена в Одессе и Крыму. О ней см.: «Остафьевский Архив», т. III, стр. 391, и «Архив Раевских», т. II, СПб. 1909.

А. И. Тургеневу, князю Вяземскому, Жуковскому заговорить в письме о княгине Голицыной, как сейчас же под перо подвертываются эпитеты и отзывы об ее пении. Слепой Козлов утешался ее пением; Жуковский, тонко чувствовавший искусство, наслаждался ее милым пением. Быть может (это только предположение!) она сама создавала музыку к нравившимся ей стихам. Если мы вспомним все эти данные, то содержание послания станет для нас совершенно ясным: это дань признания и благодарности художника слова, который услышал свои стихи в чарующем исполнении художника пения. Когда-то давно, задолго до написания послания (оно написано в 1823 году), княгиня оказала м и н у т н о е внимание поэту, мило повторив или попросту спев его стихи[32]. Стих поэта был зачарован, был обворожен для него звуками ее голоса. Теперь (в 1823 году) она снова подарила вниманием его лиру и передала ей свои пленительные звуки, т.е. опять спела его стихи. И в первый раз м и н у т н о е внимание княгини было долго отрадой поэту, и он повторял свой стих, услышанный из ее уст. А теперь он будет горд и станет считать себя обязанным ей за свою славу, а быть может, и за вдохновение, если оно придет. Вот и все, что Пушкин сказал в этом послании. Смущавшее Незеленова и Гершензона четверостишие теряет свой недоуменный характер.

Но и без всех этих реалий смысл стихов

Вновь лире слез и тайной муки
Она с участием вняла —
И н ы н е е й п е р е д а л а
С в о и п л е н и т е л ь н ы е з в у к и...

можно было бы уяснить, сопоставив их с следующими стихами из стихотворения 1817 года «К ней»:

На лире счастливой я тихо воспевал
Волнение любви, уныние разлуки —
И г у л д у б р а в г о р а м п е р е д а в а л
М о и з а д у м ч и в ы е з в у к и.

И в 1823, и в 1817 году поэт стремился выразить природу одного и того же явления: там голос женщины, поющей стихи поэта, передает свои звуки лире, здесь гул дубрав передает их горам. Некоторая неясность выражения, создававшая затруднение для комментаторов, объясняется, как мне кажется, его нерусским происхождением. <...>.[8]

После представленных соображений послание Голицыной «Давно о ней воспоминанье...» становится совершенно ясным. В нем нет решительно ни одного слова, которое свидетельствовало бы о каком-либо,

[32] Скорее всего можно предполагать, что впервые это было еще в Петербурге, а второй раз в Одессе в 1823 году.

даже самом легком увлечении поэта певицей, — не говорю уже — о какой-либо любви или страсти. Правда, это не обычный мадригал, не завзятая надпись в дамский альбом. Поэт, действительно, сердечно тронут таким вниманием художника голоса и искренне благодарит певицу. Послание, быть может, выросло не только из чисто внешнего желания отдарить княгиню М. А. Голицыну, а, возможно, и из внутренних побуждений: поэта могла заинтересовать связь двух искусств в одной теме; его поэтическое воображение должно быть затронуто наблюдением, как его звуки — плоды его творчества — оживают новой жизнью в музыке голоса. Давая распоряжение тиснуть это послание в издании 1826 года,[19] Пушкин, надо думать, выделял его, как имеющее объективную ценность, не считал его случайным, подобным многим своим, написанным по просьбе почитательниц и почитателей его таланта произведениям, которые он не удостаивал печати. Набрасывая перечень своих стихотворений, он не забыл вписать в него и это стихотворение, написанное для Голицыной.

Значение поэтического отзыва Пушкина о пении княгини Голицыной обрисуется еще ярче, если мы напомним общее суждение Пушкина об эстетическом вкусе русских женщин: "Жалуются на равнодушие русских женщин к нашей поэзии, полагая тому причиною незнание отечественного языка; но какая же дама не поймет стихов Жуковского, Вяземского или Баратынского? Дело в том, что женщины везде те же. Природа, оделив их тонким умом и чувствительностью самою раздражительною, едва ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, не досягая души; они бесчувственны к ее гармонии; примечайте, как оне поют модные романсы, как искажают стихи самые естественные, расстраивают меру, уничтожают рифму. Вслушивайтесь в их литературные суждения, и вы удивитесь кривизне и даже грубости их понятий... Исключения редки"[33]. Должно быть, одним из таких исключений была княгиня Голицына, если только... Пушкин был искренен в своем послании.

I и II писаны не Голицыной, III писано ей, но в нем нет решительно никакого намека на какое-либо нежное чувство поэта к княгине Голицыной. Но ведь Голицына — "северная любовь" Пушкина, которую он увозил из Петербурга в изгнание и которою он жил в 1820 — 1823 годах: где же искать историю этой таинственной любви? Во всяком случае послание 1823 года не дает не только материалов для такой истории, но даже и оснований предполагать такую любовь. Вывод, конечно, единственный и ясный, как день: эта северная любовь к Голицыной создана воображением Гершензона и Незеленова; в действи-

[33] Эту заметку Пушкин выбрал вместе с другими из своих черновых тетрадей и напечатал в «Северных Цветах» на 1828 год под заглавием: «Отрывки из писем, мысли и замечания (извлечено из неизданных записок)».

тельности же ее никогда и не существовало.

Можно еще привести одно соображение, специально для Гершензона: на самом деле, если вместе с ним видеть в I — II отражение н а ч а л ь н о й, а в III — з а к л ю ч и т е л ь н о й стадии этой привязанности поэта, то при выясненном и совершенно определенном смысле и значении III не почувствуется ли психологическая невозможность связывать такой конец сердечной истории с таким началом? И, несомненно, те отношения, которые запечатлены в III, без нарушения психологической правды нельзя вывести из отношений, предполагаемых I — II.

Нельзя не сказать несколько слов об упомянутой нами усмотренной не только Гершензоном, но и некоторыми издателями, связи I и III по содержанию и даже отдельным стихам. Нам говорит Гершензон: "конец I и III тождественны; далее в I есть ясный намек на то, что данная женщина была очарована какими-то печальными стихами Пушкина — и этот случай вспоминает поэт в III". Но тут "медленное чтение" Гершензона изменило ему, не принесло добрых плодов или, быть может, не было все же достаточно вдумчивым. В действительности только при невнимательном чтении можно усмотреть в этих стихах какое-либо тождество.

Вот "тождественные" концы.

I — 1821 г.

Когда меня навек обымет хладный сон,
Над урною моей промолви с умиленьем:
Он мною был любим; он мне был одолжен
И песен, и любви последним вдохновеньем.

II — 1823 г.

Довольно! в гордости моей
Я мыслить буду с умиленьем:
Я славой был обязан ей,
А, может быть, и вдохновеньем.

Но где же тождество? Неужели для признания его достаточно двух одинаковых рифм: умиленье и вдохновенье, повторяющихся и здесь, и там? В III поэт, совсем не представляющий себя обреченным на скорую смерть, думает с гордостью о славе, которой он обязан женщине, и о вдохновенье, на которое она его, быть может, вызовет; в I поэт, представляющий себя подводящим счеты с жизнью и расстающийся прощальною песнью с любовью, накануне могилы просит любимую им женщину не забыть о нем и сказать после его смерти: "я его любила, он мне был обязан последним вдохновеньем и любви, и песен". Но

докучны и излишни дальнейшие комментарии, ибо уже из одного параллельного обозрения концов I и II ясно отсутствие тождества.

Столь же мнимо и другое тождество, указанное Гершензоном. В I читаем:

...ты сама, предавшись умиленью,
Печальные стихи твердила в тишине
И сердца моего язык любила страстный,

а в III — поэт твердит свой стих,

Так мило ею повторенный.

Гершензон видит в I и II единство факта. Но если уж и допустить в комментарий к лирике такой буквализм и протоколизм, то, раз мы знаем, что в III идет речь о пропетом стихотворении Пушкина, различие факта в III и в совершенно ясных словах I вполне очевидно. Но Гершензон не обратил внимания на первоначальную редакцию I: она, быть может, заставила бы его отказаться от установления тождества. Свой окончательный вид эти стихи получили только в тетради Капниста, т.е. вероятнее всего в 1825 году и во всяком случае позже возникновения III. В черновой же (№ 2367) мы находим:

И девы, [нежному] томному предавшись умиленью,
Печальные стихи [твердили] читали в тишине
И сердца моего язык любили страстной.

И даже в тетради Капниста до исправления эти стихи все еще читались так:

И девы, нежному предавшись умиленью,
Печальные стихи твердили в тишине
И сердца моего язык любили страстный[34].

Значит, в момент создания I, поэт и не думал о том факте, тождественный которому находится в III. Да, наконец, мы имеем дело не столько с фактом, сколько с элегической поэтикой.

Невозможность настаивать на каком-либо тождестве еще раз уяснится перед нами при изучении истории возникновения I пьесы и раскрытии ее автобиографического смысла. Эту историю мы должны будем извлечь из анализа группы I—II; пока только заметим, что в основе III лежит определенный реальный факт, в основе II — находим определенное свидетельство об отношениях, действительно существовавших, а I есть чисто литературное, сделанное во вкусе эпохи произведение.

[34] Майков, Материалы, стр. 125, 126.

Таким образом падают не только далеко идущие предположения Незеленова и Гершензона об исключительном значении Голицыной в жизни Пушкина, но и оказываются лишенными всяких оснований и более скромные догадки Ефремова, Лернера и других, отводящие М. А. Голицыной место в длинном ряду женщин, которыми увлекался поэт. Правда, в так называемых дон-жуанских списках поэта, оставленных им на страницах альбома Ушаковой[35], встречается имя Мария, но нужно быть уж чересчур поверхностным исследователем, чтобы решиться без всяких оснований отожествлять эту Марию с М. А. Голицыной. В самом деле, где же основание? Произведения поэта не дают, как мы видели, положительно никакого материала для разрешения вопроса, существовало ли сообще в действительности увлечение поэта княгиней М. А. Голицыной. Друзья поэта и его современники, родные и близкие Голицыной не обмолвились ни одним словом, которое позволило бы нам выставить хоть только предположение о возможности увлечения. В бумагах поэта, в его черновых тетрадях, в его письмах мы опять-таки не найдем решительно ни одного указания на существование каких-либо интимных отношений к М. А. Голицыной.

Упоминание, приведенное нами, о Голицыной в письме к брату, отметка в перечне стихотворений фамилии Голицыной против заглавия пьесы III тоже, конечно, не дают никаких оснований, подкрепляющих мнение Гершензона, Незеленова, Ефремова, Лернера и других. Все названные исследователи могли бы впрочем, в подтверждение своего мнения, сослаться на одно упоминание в пушкинских тетрадях, если бы оно не ускользнуло с поля их зрения. Обычно, в изданиях сочинений поэта в отделе примечаний к маленькому стихотворению 1828 года «Ты и вы»

Пустое в ы сердечным т ы
Она, обмолвясь, заменила,
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила и т. д.

указывается, что в рукописи это стихотворение сопровождается тремя пометами: "18 мая у княгини Голицыной etc.", "20 мая 1828" и, в конце стихотворения, — "23 мая". Так в издании Морозова, так у Ефремова, так у Лернера, который в «Трудах и днях Пушкина» отводит 18, 20 и 23 мая на создание маленького стихотворения. Все названные исследователи берут это сведение, конечно, из описания Якушкина[36]. Стоило только исследователям обратить внимание на эти пометы и на

[35] Воспроизведены в «Альбоме Московской Пушкинской выставки». М. 1882.

[36] Пушкин — Морозов — Просвещение, II, стр. 435; Пушкин — Ефремов — Суворин, VIII, стр. 284; Лернер, 2-е изд., 172; Якушкин, Описание, июль, 40.

связь первой из них именно с стихотворением «Ты и вы», и они непременно дополнили бы историю любви Пушкина к Голицыной указанием на эпизод, рассказанный в стихотворении. Но тут в сущности полное недоразумение, ибо описание Якушкина в данном случае и не полно и не точно.

Лист 14 об. тетради № 2371, на котором находятся эти пометы, заполнен не вдоль сверху вниз, а поперек страницы. Справа идет конец пьесы «Воспоминание», начатой на 13 об. и занимающей 13 об. и 14 листы. Последний стих на 14 об. написан так:

О тайнах [вечности] щастия и гроба[37].

18 мая у княгини Голицыной etc.

19 мая.

По положению помет можно думать, что краткая помета "19 мая" есть дата окончания пьесы «Воспоминание», а другая помета, быть может, не имеет прямого отношения к стихам поэта и сделана им с другими целями или просто для памяти.

С левой стороны страницы, опять же поперек тетради и, по отношению к концу «Воспоминания», в обратном положении, т.е. вверх низом, идет черновик стихотворения «Ты и вы». В конце его обычный пушкинский заключительный знак и помета "23 мая", а на правом, оставшемся свободным поле против первых стихов новая помета "20 мая 1828 [нрзб. сл.]" [110] 23 мая — несомненно дата стихотворения «Ты и вы», а "20 мая 1828", быть может, также помета с особыми целями. Значение ее, может быть, и выяснилось бы, если бы удалось разобрать приписанное рядом слово. Из этого описания ясно видно, что пьесу «Ты и вы» никоим образом не должно связывать с пометой "18 мая у княгини Голицыной etc." Пьеса «Ты и вы» — сама по себе, а помета — сама по себе. Взятая вне связи со стихотворениями Пушкина, она, конечно, тоже не дает никакого материала для заключения о характере отношения поэта к Голицыной.

Но у какой же княгини Голицыной был Пушкин 18 мая 1828 года? Мы знаем еще одну княгиню Голицыну — Евдокию Ивановну (Princesse Nocturne), которою Пушкин увлекался еще в годы своей первой молодости, между Лицеем и ссылкой. Вполне допустимо, что помета указывает именно Е. И. Голицыну. Княгиня в это время жила в Петербурге, собираясь отправиться "в чужие краи... дописывать свое сочинение". Об этом мы узнаем из письма князя Вяземского А. И. Тургеневу из Петербурга от 18 апреля 1828 года.[38] Но правдоподобно и то, что это

[37] В рукописи совершенно явственно зачеркнуто слово "вечности" и написано "щастия". Эта строфа «Воспоминания» при жизни Пушкина не появилась в печати. Теперь же во всех изданиях печатается именно "вечности".

[38] Архив братьев Тургеневых в. 6, П. 1921, стр. 69.

была как раз княгиня М. А. Голицына, если только правильно истолкование известия в письме опять же князя Вяземского к Тургеневу от 17 мая того же года. "Вчера (т.е. 16 мая) — писал Вяземский — Пушкин читал свою трагедию у Лаваль: в слушателях были две княгини Michel, Одоевская-Ланская, Грибоедов, Мицкевич, юноши, Балк, который слушал трагически. Кажется, все были довольны, сколько можно быть довольным, мало понимая... А старуха Michel бесподобна: мало знает по русски, вовсе не знает русской истории, а слушала, как умница". Это письмо не вошло в изданные томы «Остафьевского Архива»; его нет и в «Архиве бр. Тургеневых». Известно же оно только по отрывку, приведенному в воспоминаниях князем П. П. Вяземским[39]. В сноске П. П. Вяземский поясняет прозвище: старуха Michel — княгиня Голицына. В таком случае две княгини Michel должны означать жену князя Михаила Михайловича Голицына, — княгиню Марью Аркадьевну, и его мать, Прасковью Андреевну, рожденную Шувалову (род. 19 декабря 1767, ум. 11 декабря 1828 года). П. А. Голицына известна, между прочим, как писательница, но писала она по-французски: к ней подходит и сделанная князем П. А. Вяземским характеристика. Любопытный рассказ о ней находим в статье князя П. А. Вяземского «Мицкевич о Пушкине». "Одна умная женщина, княгиня Голицына, урожд. графиня Шувалова, известная, в конце минувшего столетия, своею любезностью и французскими стихотворениями, царствовавшая в петербургских и заграничных салонах, сердечно привязалась к Татьяне. Однажды спросила она Пушкина: "Что думаете вы сделать с Татьяной? Умоляю Вас, устройте хорошенько участь ее". — "Будьте покойны, княгиня", — отвечал он, смеясь: "выдам ее замуж за генерал-адъютанта". — "Вот и прекрасно" — сказала княгиня — благодарю"[40]. Но если княгиня М. А. Голицына 16 мая 1828 года была в Петербурге, Пушкин мог отметить свой визит именно ей, а не Е. И. Голицыной.

Отметим еще тоже ничего не говорящую отметку "К Гол.-Сув.", сделанную Пушкиным на 1-й странице тетрадочки с «Графом Нулиным»[41].

Вот, кажется, все упоминания о Голицыной, какие только можно

---

[39] См. Собрание сочинений кн. П. П. Вяземского. Изд. гр. С. Д. Шереметева, СПб. 1893, стр. 516—517. Также в изд. П. И. Бартенева: «А. С. Пушкин. Новонайденные его сочинения» etc. Вып. II. М. 1885, стр. 39.

[40] Полн. собр. соч. князя П. А. Вяземского, т. VII. СПб, 1882, стр. 319. О княгине Голицыной см. в «Словаре русских писательниц» Н. Н. Голицына (также первоначально в «Русск. Арх.» 1864, ст. 1412). Ее воспитывала Stewens, мать жены М. М. Сперанского. См. «Воспоминания Фаддея Булгарина» в «Библиотеке для Чтения», т. LXXXVIII, стр. 190 (и отд. изд. ч. 5-я, стр. 324).

[41] В собрании А. Ф. Онегина. См. описание Б. Л. Модзалевского в: «Пушкин и его современники». Вып. XII. СПб. 1909, стр. 24, а также «Неизданный Пушкин. Собрание А. Ф. Онегина». П. 1922, стр. XXIV.

отыскать в бумагах Пушкина[42].

Заключим наши наблюдения еще раз утверждением, что М. А. Голицына в истории увлечений поэта не занимает никакого места или, по крайней мере, нет решительно никаких данных, которые позволяли хотя бы только предполагать увлечение поэта княгиней М. А. Голицыной.

VII

Предлагаем несколько замечаний к истолкованию двух элегий Пушкина «Умолкну скоро я...» (I) и «Мой друг, забыты мной...» (II).

Пьеса I написана 23 августа, а пьеса II — в ночь на 25 августа 1821 года. Такая близость моментов возникновения обеих пьес необходимо предполагает единство настроения и чувства, владевших в эти дни Пушкиным. Это обстоятельство отметил еще Анненков. Но действительная биографическая ценность I и II различна. Руководящее указание для оценки стихотворений с такой точки зрения дает нам сам Пушкин. Обе эти пьесы для самого поэта были "элегиями". Набрасывая в черновой тетради перечень произведений, написанных в 1821 году, Пушкин указывает "три элегии", конечно, имея в виду I и II; переписывая их для печати, он заносит их в отдел элегий. Но для II пьесы у Пушкина нашлось и другое название «К ***», с которым она и появилась впервые в печати (до выхода в свет собрания 1826 года). Эта пьеса обращена к определенному, скрытому под звездочками лицу и по своему содержанию предполагает обстановку реальную, отношения, в действительности существовавшие.

Много писали о тех литературных влияниях, которыми отмечено творчество Пушкина в первые годы его ссылки. По указанию исследователей, произведения Шатобриана и Байрона дали Пушкину краски для изображения того героя, которого наш поэт выводил в ряде своих произведений, открывающемся «Кавказским пленником». Чисто литературные разыскания и сравнение недостаточны для разрешения вопроса о формах и степени этих литературных влияний: необходимы и чисто биографические изучения. Герои чужеземные влияли не на изображения лиц в поэмах Пушкина, не на литературу, а на жизнь; прежде всего они были образцами для жизни. Каким был Пушкин действительный в первое время ссылки?[43] В те годы, когда возникли влияния Шатобриана и Байрона, Пушкин еще не отдавал себе отчета в том, что было сущностью его духовной личности. Он самому себе казался

[42] Я не мог определить, о какой княгине Голицыной идет речь в письмах Пушкина к невесте из Болдина осенью 1830 года.[111] Также неудачны были розыски Б. Л. Модзалевского, см.: Пушкин. Письма, т. II, М.; Л. 1928, стр. 481.

[43] Не следует предполагать какого-то переворота: точно Пушкин был одним до ссылки и стал другим после нее. Уже в Петербурге развитие Пушкина направилось по тому пути, по какому оно продолжалось и завершилось на Кавказе, в Крыму и в Кишиневе.

романтическим героем; находя некоторые соответствия в своей жизни с теми обстоятельствами, которые характерны и для властителей его дум, и для их героев, Пушкин искренне думал, что он им подобен, и должен осуществить ту жизнь, какой жили его воображаемые и жившие герои и какая казалось столь безумно очаровательной со страниц их произведений. Таким образом, литература, создавая героев, прежде всего влияла на жизнь, вызывая подражание в фактической жизни. И когда Пушкин переходил от повседневной жизни к творчеству, ему не нужно было прибегать к внешним заимствованиям для изображения своего героя. Он был искренен и оригинален, черпая материал для характеристики в самом себе и считая созданное им представление о самом себе тождественным тому внутреннему существу своему, которое было тогда закрыто для него. В это время в его жизни было много игры, свободной игры его духовных сил; по мере сил своих и своей пылкости Пушкин осуществлял в 1820—1823 годах любезный ему романтический идеал. Мы можем судить о том, каков был или, вернее, каким казался тогда Пушкин, по его признаниям. Из собственного его признания мы, например, знаем, что в «Кавказском пленнике» он изображал себя или того Пушкина, за какого он стремился себя выдать. Но оставляя в стороне автобиографические указания поэмы, мы можем указать и на свидетельства объективные. Вспомним наивное, указывающее романтическую настроенность, признание в письме к брату от 24 сентября 1820 года. Говоря о той страже, какая охраняла Раевских во время путешествия на Кавказе, Пушкин добавляет: "Ты понимаешь, как эта тень опасности нравится мечтательному воображению". В кишиневском дневнике Пушкин, получив письмо от Чаадаева, помечает: "твоя дружба мне заменила счастье — одного тебя может любить холодная душа моя"[44]. Но вот свидетельство женщины, которая могла хорошо узнать поэта во время путешествия, Екатерины Николаевны Раевской (с 15 мая 1821 года Орловой). 12 ноября 1821 года она пишет брату Александру: "Пушкин больше не корчит из себя ж е с т о к о г о, он очень часто приходит к нам и т. д."[45] Сопоставим с этим свидетельством холодность и жестокость Кавказского пленника. Когда Пушкин стал разбираться в самом себе, то он нашел, что он не годится в романтические герои, и добродушно признал свою игру в жестокость. 30 ноября 1825 года из Михайловского он писал А. А. Бестужеву: "Кстати; кто писал о горцах в Пчеле? Вот поэзия! Не Якубович ли, герой моего воображения? [NB. А. И. Якубович славный в свое время бреттер, дуэлист, отчаянный человек, пошедший за 14 декабря в каторгу]. Когда я вру с женщинами, я их уверяю, что я с ним разбойничал на Кавказе, простреливал Грибоедова, хоронил Шереметева etc. — В нем много, в самом деле, романтизма. Жаль, что я с ним не встретился в Кабарде — поэма моя была бы лучше."

[44] Пушкин — Морозов — Просвещение, IV, стр. 453.

[45] *М. О. Гершензон.* История Молодой России, М. 1908, стр. 27.

Какие же автобиографические признания находим мы в пьесе «Мой друг, забытый мной...»? Чтобы ответить на этот вопрос, мы ни на одну минуту не должны упускать из внимания того угла зрения, под которым смотрел на себя в это время и под которым показывал себя другим Пушкин.

Эта «Элегия» кажется отрывком, выхваченным из романтической поэмы. На разнообразных путях души показывал Пушкин своего героя; один из путей запечатлен и в этом стихотворении. Тема элегии — противоположение двух образов, двух характеров. Кто такое "он" элегии? Этот "он" пережил мятежное течение молодости, измены и любовь. Его прошлая жизнь — повесть безумства и страстей, таящая опасные откровения; его любовь — такова, что ей можно ужаснуться. Самый рассказ о сердечной жизни возмутит тихий ум, заставит проливать слезы, содрогаться сердцем. Женский образ, вдохновлявший поэта в этой пьесе, проступает ярко из легких очертаний, набросанных элегией, и из скрытого, но чувствуемого противоположения этого образа только что очерченному образу героя. "Она" — невинная, рожденная для счастья, с душой чистой, живой для дружбы, свободной от унынья; она — с младенческой совестью, светлой, как ясный день; с беспечной доверчивостью. Но, вскрывая сущность элегии, мы видим, что ее герой весьма близок к романтическому герою поэмы, а героиня — к женскому образу «Кавказского пленника» и к Марии в «Бахчисарайском фонтане». Элегия застигает героя в таком положении, изображения которому мы не находим в поэмах. Весьма любопытна постепенность, с какой развивается история сердца в «Пленнике», в элегии и в «Фонтане». В первой поэме герой после бурно прожитой жизни, пресыщенный и носящий неведомые раны, не в состоянии даже просто вдохновиться искренним и сильным чувством:

Не мог он сердцем отвечать
Любви младенческой, открытой

Поздно пришла к нему любовь черкешенки: он без упованья, без желаний увядал жертвою страстей, он умер для счастья. В элегии положение меняется. Герой смягчается; он готов вкусить, хоть и не вполне, радости (в варианте: счастье). Но между ним и невинным, непорочным существом — его прошлое с безумством и страстями. Возможность соединения сомнительна, так как допустима только при том условии, если она не узнает о прошлом. Наконец в «Бахчисарайском фонтане» невозможность соединения обнаруживается со всей яркостью. Герой страстно жаждет разделенной любви, но Марии непонятен язык мучительных страстей. Герой отвергнут.

Но не чувствуется ли в этой романтической истории чувства бытовая основа, — столкновение очень молодого человека, богатого опытами чувственной жизни, уже довольно послужившего Афродите зем-

ной, знакомого с ласками не только любовного увлечения, но и оплаченного любовного искусства, с девушкой, чуждой еще всяким опытам любви, но духовно сильной в своей чистоте и невинности? Такое столкновение происходило в 1820 и следующих годах в жизни Пушкина. Мы знаем, что столкновение Гирея с Марией кончилось высоким торжеством женского начала, но эту победу Пушкин изобразил уже в конце своей сердечной истории. Но он не сразу пришел к такому исходу; в этот период противоборства страстей (1820—1823) поэт прошел стадию чисто циинического отношения. Вспомним признания поэта:

Мои слова, мои напевы,
Коварной силой иногда
Смирять умели в сердце девы
Волненье страха и стыда.

Переходя к пьесе «Умолкну скоро я...» (I), написанной за сутки до только что разобранной элегии, мы должны, прежде всего, отметить, что если бы исследователи не имели хронологического указания, заставляющего связывать настроение II с настроением I, они и не подумали бы искать в I указаний на конкретные факты. Вряд ли и Гершензон, который, конечно, не верил в реальное пользование лирой в 20-х годах прошлого века, стал бы допускать реальное бытие юношей, которые дивились долгому мученью любви поэта. На самом деле, не нужно производить специальные историко-литературные сравнения и разыскания, чтобы видеть, что пьеса I в известной нам редакции обработана Пушкиным вполне в том условно-элегическом роде, в котором Пушкин писал в годы лицейской юности и петербургской молодости по образцам французской, д о - р о м а н т и ч е с к о й элегии, представленной в лирике Парни, Лебрена, Бертена, Мильвуа. В I налицо все те общие места, детали и мотивы, которые в обилии можно указать, в тех или иных соединениях, в элегиях названных поэтов и в произведениях самого Пушкина. Тут и лира, отвечающая страданиям поэта[46]; юноши, внимающие его песням или (в варианте) девы, читающие его стихи[47] или она, твердящая эти стихи[48], посмертная урна и утешение, что она вспомнит над этой урной о любви поэта[49]. Целый ряд условностей, далеких от конкретных указаний на факты[50].

[46] Ср. воззвание к лире "О верная, грусти, грусти со мной" («Уныние» 1816). Пушк. — Акад. I, стр. 209.

[47] Ср. там же продолжение "Пускай твои небрежные напевы Изобразят уныние любви, И слушая бряцания твои, Пускай вздохнут задумчивые девы".

[48] Ср. в «Разговоре книгопродавца с поэтом»: "Глаза прелестные читали Меня с улыбкою любви, Уста волшебные шептали Мне звуки сладкие мои!"

[49] Ср. черновую редакцию элегии «Я видел смерть...»: "И может быть, об участи моей Она вздохнет над урной гробовою". Пушк. — Акад. I, прим., стр. 311.

[50] Мы не приводим французских параллелей (ср. напр. 2-ю элегию 1-й книги Лебрена); для изучения влияний французской эротической поэтики на Пушкина кое-что сделано, но итоги далеко не подведены.

Но если мы обратимся к черновым рукописям Пушкина, то увидим, что условно-элегический характер пьеса I получила только в окончательной редакции. У поэта было немало колебаний при обработке этой пьесы. Если бы мы, подобно тому, как сделали раньше при анализе II, попытались обрисовать два образа — мужской и женский — этой пьесы I, то мы не ощутили бы препятствий к сближению женского образа I с героиней II и, наоборот, с полной определенностью должны были бы признать невозможность сближения героя пьесы I и героем пьесы II. С психологической точки зрения разность двух типов совершенно очевидна. Несомненно, язык страсти во II пьесе только под стать тому герою, который после ряда творческих попыток нашел окончательное изображение в Онегине; но ясно, что изъясняться в любви стилем I пьесы, конечно, необыкновенно пристало бы Ленскому. Отметим, что блистательную разработку темы элегии мы найдем именно в полных "любовной чепухи" предсмертных стихах Ленского:

Но ты
Придешь ли, дева красоты,
Слезу пролить над ранней урной
И думать: он меня любил,
Он мне единой посвятил
Рассвет печальный жизни бурной!..

Столь коренная противоположность двух образов бросается в глаза лишь в окончательной редакции; в момент же возникновения, который для обеих пьес почти совпадал (23—25 августа 1821 года), столь ясно выраженное противоречие без психологической несообразности не могло бы быть допустимо. Его и не было в действительности. В первоначальной редакции[51] Элегия I начиналась так:

Нет! поздно, милый друг, узнал я наслажденье
Ничто души моей уже не воскресит
[Мне] [сердцу] Ей чуждо [сердца] страсти упоенье
[Твой взор, твой нежный взор] И щастье, тихое меня не веселит
[Увял я в цвете лет] Умолкну скоро я... но если в день печали...

Но те черты, которые придает себе поэт в этих стихах, напоминают характеристику романтического героя в стадии «Кавказского пленника». Совпадают даже отдельные выражения

Но поздно: умер я для счастья...
Для нежных чувств окаменел...
Без упоенья, без желаний
Я вяну жертвою страстей...

[51] В тетради № 2367. В первоначальном наброске не сохранилось первой половины стихотворения.

Но не только это начало выбросил Пушкин из окончательной редакции. После стиха "щастливым именем любовницы прекрасной" в черновике следовало:

Не бойся ветреных невежд
Не бойся клеветы ревнивой...
Не обмани моих надежд
Своею скромностью пугливой.

В первом наброске этот мотив должен был быть развит еще полнее[52]:

Не бойся ветрен[ых невежд]ой молвы
Не бойся клеветы ревнивой
Не обмани [моих надежд] моих надежд

[Переживи меня] [Не разрушай(?)] И скромностью [нрзб.]
[Переживи меня] [моих надежд]
стыдливой
[Скажи] [Скажи] [нрзб.]
[Скажи без робкой]
Он
Он мною был любим, мне был одолжен
и
[Последний] [их нрзб]
[Последним щастием] последней поздней отрадой]
[Славою нрзб.]
Последней радостью, последним вдохновеньем
Переживи

[Когда нрзб.] [Когда меня]
Переживи меня и некогда [не будет]
[нрзб.] быть может
И скоро [ль] милая [когда] меня не будет
Но сердце чье нибудь поэта не забудет
[Скажи] [нрзб.] меня навек обымет [нрзб.]
хладный
Когда [но] [покроешь] [веч] [вечный] сон
[Когда]
[И урну] [м] [переживи меня и молви с умиленьем]

В окончательной редакции исчезли все следы этого мотива. Конечно, для того условно-элегического рода, в котором Пушкин отделал

[52] В тетради № 2365. Майков в «Материалах» указал варианты только тетради № 2367, оставив без внимания приводимую нами редакцию.

пьесу I, были не у места ни начало, рисующее романтического героя, который уж верно не удовлетворился бы посмертными о нем воспоминаниями "прекрасной любовницы", ни этот мотив, своим живым и бытовым содержанием врезающийся в тихую мелодию элегии.

Об условной манере стихотворения свидетельствует и первоначальная переделка последних четырех стихов пьесы, которую поэт чуть было не оставил в последней редакции. Во 2-м наброске эти стихи были написаны так:

Когда меня навек обымет хладный сон,
Над урною моей промолви с умиленьем
Он мною был любим, он мне был одолжен
Последней радостью, последним вдохновеньем.

Пушкин исправил их так[53]:

Когда меня навек обымет хладный сон,
Над ранней урною пусть молвят с умиленьем
Он Лидой был любим, он мне (sic! конечно, ей) был одолжен
Последней радостью, последним вдохновеньем.

Эта Лида, конечно, вводит нас в мир поэзии XVIII века; она — олицетворение условности. Но в кишиневские годы своей жизни Пушкин уже тяготился подобными условностями, и в окончательной редакции, которая пошла от поэта в печать, он уничтожил эту Лиду и установил известное нам чтение.

Так в процессе обработки исчезли все субъективные элементы, и в конце концов, тогда как элегия II, сохранявшая живое воспоминание о действительном моменте, являлась для Пушкина посланием «К***», элегия I в окончательной отделке потеряла память о своей близости к II пьесе. В тетради Капниста, в собрании стихотворений 1826 года (в отделе элегий) и в собрании 1829 года (в отделе произведений 1821 года) элегии были размещены не рядом одна с другой, а разделены другими стихотворениями.

Но нельзя отрицать все же, что элегии I и II и в момент возникновения уже имеют и в самом тоне стихов, и в содержании лирической психологии некоторую противоположность. И в первый момент "Я" I элегии в некоторых отношениях кажется противоречащим "Я" II элегии. Но такое противоречие, не допускаемое хронологическим тожеством обоих "Я", легко объяснимо. Ведь романтическим героем Пушкин только старался представиться, но его душа была много сложнее казавшейся сложной души романтического героя, и те элементы в душе его, которых он будто не замечал в своей игре, вели глухую и неустанную борьбу против склонностей и особенностей, которые Пушкин

[53] Майков, Материалы стр. 126.

старался привить к себе. И если, создавая «Онегина», он воплощал самого себя и в Ленском, и в Онегине одновременно, то и в августе 1821 года жившая в его душе, не замиренная и даже несознанная в то время противоположность между Ленским и Онегиным отразилась в элегиях «Умолкну скоро я...» и «Мой друг, забыты мной...».

VIII

Гершензон связывает происхождение «Бахчисарайского фонтана» с увлечением Пушкина княгинею М. А. Голицыной. По его предположению, она была той женщиной, поэтический рассказ которой Пушкин суеверно перекладывал в стихи поэмы; откликом любви к ней явилась сама поэма. На этом предположении надо остановиться. Правда, оно выставлено в сущности без малейших фактических оснований и с явным пренебрежением к тем данным из переписки поэта, которые обычно ex officio приводятся комментаторами и биографами. Мы должны будем еще раз перебрать все эти данные и для того, чтобы отвергнуть предположения Гершензона, и для того, чтобы извлечь отсюда окончательные и бесспорные выводы.

В своей переписке Пушкин обычно сообщал своим друзьям о своих поэтических замыслах, о ходе своих работ, но как раз о «Бахчисарайском фонтане» мы имеем весьма недостаточные и немногочисленные упоминания. Вряд ли случайно это отсутствие сведений, и вряд ли оно может быть объяснено только ссылкой на то, что не вся переписка дошла до нас. Скорее всего надо объяснять эту скудость чрезмерной интимностью происхождения этой поэмы: душевные глубины были взволнованы сильным и ярким чувством, и это волнение, как бы застывшее в поэме, до сих пор сохраняет неувядаемую прелесть этого "любовного бреда". Такое название дал Пушкин поэме, когда закончил ее: создание поэмы означало и освобождение от раздражающей силы чувства.

У нас нет т о ч н ы х данных о том, когда Пушкин задумал поэму и когда начал ее писать. «Кавказский пленник» был закончен вчерне в начале 1821 года, а уже 23 марта этого года Пушкин, извещая Дельвига об окончании «Пленника», писал: "Еще скажу тебе, что у меня в голове бродят еще поэмы — но что теперь ничего не пишу — я п е р е в а р и в а ю в о с п о м и н а н и я и надеюсь набрать вскоре новые"[54]. А в письме к Гнедичу, помеченному 24 марта того же года, Пушкин "молит Феба и казанскую богоматерь, чтобы возвратиться ему в Петербург с молодостью, воспоминаниями и еще новой поэмой". Надо думать, Пушкин имеет в виду именно «Бахчисарайский фонтан». Не для подготовительных ли работ понадобились Пушкину и книги: «Таврида» Боброва, которую он 27 июня 1821 года просит при-

[54] Это свидетельство очень ценно при разрешении вопроса о степени подражательности поэм Пушкина.

слать ему и которой, как известно, он и воспользовался в «Фонтане», и «Histoire de Crimée», о возвращении которой он просит в записке к В. Ф. Раевскому, датируемой 1821 годом или во всяком случае не позднее 6 февраля 1822 года? Черновые тетради сохранили незначительное количество первоначальных записей «Фонтана» и не дают возможности точно датировать начало творческой работы поэта. По-видимому, в тетради № 2365 на лист. 48 об., 49 об., и 50 находим п е р в о н а ч а л ь н ы й набросок к началу поэмы (ст. 1 –13)[55];

в [задумчивый] [в унынии]
нрзб. нрзб.
Там некогда [мечтаньем упоенный]
(1) [Бахчи Сарай] [обитель гордых ханов]
дворец [Бахчи Сарая]
(2) Я посетил [пустынный твой дворец]
уединенный.

(Сейчас же вслед за этими фразами идет набросок «Дионеи».)

как раз перед л. 48 об. идут стихотворения, внесенные в тетрадь в августе 1821 года но, как известно, при пушкинском пользовании рукописями, подобное сближение не дает твердой опоры для хронологических выводов. Все же совокупность всех приведенных нами предположительных указаний приводит нас к убеждению, что начало осуществления поэтического замысла «Бахчисарайского фонтана» надо относить к 1821 году[56] [12]. Но в какой мере подвигалось вперед исполнение замысла, мы не знаем. Те отрывки поэмы, что сохранились в тетради № 2366, с к о р е е в с е г о писаны в 1822 году. Преимущественно занимался Пушкин поэмой в 1822 году, а в следующем он

[55] В этой же тетради на л. 39 об находится отрывок, имеющий отношение к поэме. В виду того, что исследователи не связывали его с поэмой, привожу транскрипцию.

[56] В труде Лернера «Труды и дни Пушкина» 2-е изд., стр. 81 находим решительное утверждение, что «Фонтан» начат летом 1822 года; но как это нередко бывает с решительными утверждениями этого исследователя, оно при ближайшем рассмотрении теряет не только в решительности, но и в правильности. Лернер ссылается на П. И. Бартенева в Русск. Арх. 1866, столб. 1179. Во-первых, мнение Бартенева вовсе не есть фактическое основание, а во-вторых, ссылка на него вовсе не оправдывает утверждения Лернера, ибо Бартенев говорит в цитируемом месте только о том, что летом 1822 года Пушкин писал «Фонтан» (а не начал его писать). Относясь без критики к мнениям и воспоминаниям, можно было бы, напр., отнести поэму к 1820 году, сославшись на другого Бартенева — Ю. Н., передающего вздорный рассказ доктора Ланга о знакомстве с Пушкиным и о происхождении «Фонтана» (Русск. Арх. 1899 г., т. II (август), стр. 576). Нельзя, конечно, верить и рассказу (из вторых рук) графа Капниста о том, что Пушкин писал свой «Фонтан» в Г у р з у ф е во время пребывания у Раевских (Русск. Стар., 1899 г., т. XCVII, май 242).

закончил ее.

Первоначально он хотел назвать поэму «Гаремом». Об этом мы знаем из позднейшей его заметки. Можем еще привести свидетельство из письма князя Вяземского А. И. Тургеневу от 30 апреля 1823 года: "На днях получил я письмо от Беса-Арабского Пушкина. Он скучает своим безнадежным положением, но, по словам проезжего, пишет новую поэму Г а р е м, о Потоцкой, похищенной которым-то ханом, событие историческое; а что еще лучше, сказывают, что он остепенился и становится рассудителен"[57].

Первое известие о «Бахчисарайском фонтане» находим в письме к брату от 25 августа 1823 года из Одессы. Назвав «Бахчисарайский фонтан», Пушкин в скобках поясняет: "новая моя поэма". Надо думать, Лев Сергеевич и сам впервые из этого письма узнал о поэме. Но слухи о поэме быстро распространились, дошли до Петербурга и отсюда вернулись к самому поэту. В распространении слухов оказался повинен Вас. Ив. Туманский, восторженный и доверчивый поэт. Пушкин и Туманский появились в Одессе приблизительно в одно время, летом 1823 года: Туманский — из Петербурга, вступив на службу к графу Воронцову, Пушкин — из Кишинева. В помянутом письме Пушкин писал брату: "Здесь Туманский. Он добрый малый, да иногда врет, напр., он пишет в Пб. письмо, где говорит, между прочим, обо мне: Пушкин открыл мне немедленно свое сердце и porte-feuille, любовь и пр... Фраза, достойная В. Козлова; дело в том, что я прочел ему отрывки из «Бахчисарайского фонтана» (новой моей поэмы), сказав, что я не желал бы ее напечатать, потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру. Туманский принял это за сердечную доверенность и посвящает меня в Шаликовы — помогите!" Письмо заканчивается припиской: "Так и быть, я Вяземскому пришлю Фонтан, выпустив любовный бред, — а жаль!" Можно думать, что в не дошедшем до нас письме князь Вяземский писал о «Фонтане» и просил рукописи. Не он ли сообщил Пушкину и о содержании слухов?[58] А 14 октября того же года, очевидно, на запрос Вяземского, до нас не дошедший, Пушкин писал ему: "Бахчисарайский Фонтан, между нами, дрянь, но эпиграф его прелесть". В черновике этого письма можно еще прочесть "Бахч. Фон. дрянь [но эпиграф его преле.] — не говори это однако никому я скоро пришлю тебе соч. — эпигра. его прел."[59] — 4 ноября Пушкин, посылая поэму, писал: "Вот тебе, милый и почтенный

[57] Архив бр. Тургеневых, в. 6, П. 1921, стр. 16.

[58] А Вяземскому мог сообщить об этом Тургенев, знавшийся с издателями «Полярной Звезды» Бестужевым и Рылеевым, с которыми переписывался из Одессы Туманский. Тургенев 26 сентября 1823 года («Ост. Арх.» т. II, стр. 352) сообщал, что он достал два отрывка (стихов тридцать) из Пушкина «Бахчисарайского ключа» и две пиески, присланные им для «Полярной Звезды».

[59] Письма, т. I, стр. 55.

Асмодей, последняя моя поэма. Я выбросил то что Цензура выбросила б и без меня, и то что не хотел выставить перед публикою. Если эти бессвязные отрывки покажутся тебе достойными тиснения, то напечатай..." К 18 ноября поэма была в руках Вяземского, — именно 18-го он писал о ее получении А. И. Тургеневу[60]. Прочитав поэму, он отправил Пушкину письмо, не дошедшее до нас, с изложением своего мнения и с требованием перемен. Сохранился зато ответ Пушкина[61].

На основании петербургских слухов и Дельвиг обратился к Пушкину с просьбой о присылке ему поэмы. 16 ноября Пушкин писал ему: "Ты просишь Бахчисарайского Фонтана — он на днях отослан к Вяземскому. Это бессвязные отрывки, за которые ты меня пожуришь, а все-таки похвалишь". В Петербурге ждали Фонтана с большим нетерпением. Уже 1 ноября 1823 года в заседании С.-Петербургского вольного общества любителей наук и художеств Рылеев прочел отрывок из новой поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан»[62]. 29 ноября, 14 и 18 декабря А. И. Тургенев настойчиво требует от Вяземского прислать ему список поэмы. А. Бестужев свой «Взгляд на Русскую словесность в течение 1823 года», которым открывается «Полярная Звезда» на 1824 год, заключил следующим оповещением: "Еще спешим обрадовать любителей поэзии. Маленькая и, как слышно и как несомненно, прекрасная поэма А. Пушкина: «Бахчисарайский Фонтан», уже печатается в Москве".

«Полярная Звезда» вышла в самом конце 1823 г.[63], и Бестужев тотчас же отправил ее в Одессу Пушкину с письмом, до нас не дошедшим. Пушкину альманах принес большое огорчение. В нем было напечатано несколько стихотворений[64], и среди них — с заглавием «Элегия» — стихотворение «Редеет облаков летучая гряда...» (стр. 198). Бестужев получил эту элегию от какого-то не известного нам лица, а не

---

[60] Ост. Арх., т. II, стр. 367.

[61] Этот ответ напечатан в «Переписке» (т. I, стр. 84—86) и датирован "между 4 и 11 ноября", очевидно на основании свидетельства следующего письма от 11 ноября. Но тут какое-то недоразумение, ибо в промежуток между 4 и 11 ноября в то время не мог быть совершен обмен письмами между Москвой и Одессой. Б. Л. Модзалевский также датировал письмо "около 11 ноября" (см. Письма, т. I, стр. 60), но на самом деле оно написано после 1 декабря 1823 года.

[62] Русск. Стар., т. XCVIII, 1899, май, стр. 473, в статье И. А. Кубасова «А. С. Пушкин — член СПб. вольного общества».

[63] «Полярная Звезда. Карманная книжка на 1824 год». Изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. СПб., стр. 18.

[64] С подписью — «Друзьям» (стр. 24—25), «Нереида» (29), «В Альбом малютке» (т.е. Адели, 60), «К Морфею» (91), «Элегия» (Редеет облаков..., 198), «Отрывок из послания В. Л. П—ну», (237), «Домовому» (318), и без подписи (с звездочкой): — «Элегия», вызванная любовью к А.Ризнич (314), «Надпись к портрету» (Вяземского — 319).

от Пушкина[65], поэт разрешил ему напечатать ее с исключением трех последних стихов, но Бестужев не исполнил воли поэта и тиснул элегию целиком. Вот в каком виде она появилась в «Полярной Звезде»:

Редеет облаков летучая гряда
Звезда печальная, вечерняя звезда!
Твой луч осеребрил увядшие равнины,
И дремлющий залив и черных скал вершины.
Люблю твой слабый свет в небесной вышине,
Он думы разбудил уснувшие во мне.
Я помню твой восход знакомое светило,
Над мирною страной где все для взоров мило;
Где стройны тополи в долинах вознеслись
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны.
Там некогда в горах сердечной неги полный,
Над морем я влачил задумчивую лень,
Когда на хижины сходила ночи тень,
И дева юная во мгле тебя искала,
И именем своим подругам называла[66].

Последних трех стихов Пушкин не хотел видеть в печати; увидев же их напечатанными, он 12 января 1824 года писал Бестужеву: "Конечно, я на тебя сердит и готов, с твоего позволения, браниться хоть до завтра. Ты напечатал именно те стихи, об которых именно я просил тебя: ты не знаешь, до какой степени это мне досадно. Ты пишешь, что без трех последних стихов Элегия не имела бы смысла. Велика важность! А какой же смысл имеет

Как ясной влагою Полубогиня грудь
— — — — — — — — — — вздымала[67]

или

С болезнью и тоской
Твои глаза и проч.?[68]

Я давно уже не сержусь за опечатки, но в старину мне случалось забалтываться стихами, и мне грустно видеть, что со мною поступают как с умершим, не уважая ни моей воли, ни бедной собственности".

---

[65] Гершензон допускает ошибку, говоря, что послал элегию Пушкин.

[66] В Пушк. — Акад. II дан снимок с рукописи; под Элегией видим подпись "Каменка".

[67] Так Бестужев напечатал «Нереиду», заменив черточками слова "младую, белую, как лебедь, (воздымала)". Любопытно, что в иных экземплярах «Полярной Звезды» (как, напр., в принадлежащем библиотеке Л. Университета) этих черточек нет, и стих напечатан без пропуска.

[68] В элегии «Простишь ли мне ревнивые мечты...» — вместо: "с боязнью и мольбой".

В сохранившемся черновике этого письма находим выпущенную в беловом подробность: "Ты напечатал [ту Элегию] те стихи о [б] которых имянно просил тебя не выдавать [в] их в п. Ты не знаешь до какой степени это мне досадно [А] и [сколько я желал не выдавать в публику] [первая про] — [Оне писаны относятся к женщине которая читала их] [я просил]".

Комментируя эллегию и три стиха, заветных для Пушкина, Гершензон пишет: "Это был конкретный намек, возможно — на одну из Раевских (и тогда — на Елену: 'дева ю н а я'). Но и в этих трех стихах нет намека на любовь; напротив, весь характер воспоминания исключает мысль о каком-либо остром чувстве: 'Над морем я влачил задумчивую лень', говорит Пушкин о себе". Такой комментарий, как сейчас увидим, неприемлем, ибо Гершензон совершенно не принял во внимание ясных свидетельств самого поэта[69].

Письмо Пушкина разошлось с письмом Бестужева, в котором он сообщал об успехе «Бахчисарайского фонтана»[70] и требовал от Пушкина для будущей книжки десятка пьес. Пушкин ответил на это не дошедшее до нас письмо 8 февраля 1824 года. "Ты не получил видно письма моего, — писал Пушкин. — Не стану повторять то, чего довольно и на один раз." Тут же переходя к поэме, он не удержался от столь часто цитируемого признания о ее происхождении: "Радуюсь, что мой Фонтан шумит. Недостаток плана не моя вина. Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины.

Aux douces lois des vers je pliais les accents
De sa bouche aimable et naïve.[71][13]

Впрочем я писал его единственно для себя, а печатаю потому что деньги были нужны". Но это признание заставило Пушкина испытать еще пущее огорчение. Письмо, адресованное Бестужеву, попало в руки Ф. Булгарину, он распечатал его и как раз приведенные только что строки напечатал в «Литературных Листках» в заметке о скором появлении в свет поэмы Пушкина[72]. Такая бесцеремонность крайне раздражила и обидела поэта, необыкновенно чутко относившегося к оглашению интимных подробностей своего чувства и творчества. "Булга-

[69] Пушкин печатал Элегию в изданиях стихотворений 1826 и 1829 года, опуская эти три стиха.

[70] В это время «Фонтан» еще не появился в печати, но в Петербурге он широко распространился в рукописях и списках. Пушкин весьма негодовал на друзей своей славы, распускавших его стихи до появления их в печати и тем подрывавших, по его мнению, распространение книги.

[71] Это стихи А.Шенье из «La jeune captive».

[72] 1824 год, февраль, № 4: «Литературные новости». Стр. 147. Перепечатана в сборнике В. Зелинского «Русская критическая литература о произведениях А. С. Пушкина». Ч. I. Изд. 3-е, М. 1903, стр. 126.

рин хуже Воейкова — пишет он брату 1 апреля — как можно печатать партикулярные письма? Мало ли что приходит на ум в дружеской переписке, а им бы все печатать — это разбой". Очевидно, на это же обстоятельство указывал он в письме к Вяземскому в начале апреля: "Каков Булгарин и вся братия. Это не соловьи-разбойники, а грачи разбойники".

Бестужеву Пушкин после этого не писал. И сам Бестужев мог догадаться о неприятности, которую доставило печатное разглашение частного письма, да и слухи о раздражении Пушкина могли дойти до него. Поэтому молчание Пушкина он истолковал как знак гнева и раздражения. Это он высказал в не дошедшем до нас письме, на которое Пушкин отвечал 29 июня 1824 года из Одессы. На этом письме надо остановиться, так как оно важно для разрешения нашего вопроса и так как Гершензон не оказал ему всего того внимания, какого оно заслуживает. К этому времени раздражение поэта уже улеглось, и он сравнительно добродушно выговаривает свои обиды на Бестужева и заодно на Булгарина и, очевидно, считая свое письмо от 12 января 1824 не дошедшим до Бестужева, повторяет содержание своих упреков. "Милый Бестужев, ты ошибся, думая что я сердит на тебя — лень одна мне помешала отвечать на последнее твое письмо (другова я не получал). Булгарин другое дело. С этим человеком опасно переписываться. Гораздо веселее его читать. Посуди сам: мне случилось когда-то быть влюблену без памяти. Я обыкновенно в [это время] таком случае пишу элегии как другой. — Но приятельское ли дело вывешивать на показ мокрые мои простыни? Бог тебя простит! но ты острамил меня в нынешней Звезде — напечатав 3 последние стиха моей элегии". [114] Прерывая цитату, вспомним комментарий Гершензона о нелюбовном характере элегии «Редеет облаков...», вспомним, чтобы зачеркнуть его в наших соображениях. "Чорт дернул меня написать еще к стати о Бахч. Фонт. какие-то чувствительные строки и припомнить тут же элегическую мою красавицу". Эпитет элегической имеет в виду указание не на свойство ее характера, а на то, что женщина, рассказу которой обязана своим возникновением поэма, кроме того и внушительница элегии. Это ясно из следующих слов Пушкина: "Вообрази мое отчаяние когда увидел их напечатанными. — Журнал может попасть в ее руки. — Чтож она подумает видя с какой охотою беседую об ней с одним из П. Б. моих приятелей.[73] Обязана-ли она знать, что она мною не названа, что письмо распечатано и напечатано Булгариным — что проклятая Элегия доставлена чорт знает кем — и что никто не виноват. Признаюсь, одной мыслию этой женщины дорожу я более чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики. Голова у меня закружилась..."

Итак, с полною достоверностью можно отожествить деву юную,

[73] Слова подчеркнуты Пушкиным. Булгарин, печатая отрывок, предпослал ему фразу: "Автор сей поэмы писал к одному из своих приятелей в Петербурге".

искавшую во мгле вечерней звезды, с той женщиной, рассказ которой суеверно перелагал в стихи Пушкин. Но все содержание, вся обстановка в элегии, писанной в 1820 году в Каменке, приводит нас в Крым в период кратковременного пребывания там Пушкина, и еще определеннее — в семью Раевских, в которой жил Пушкин. У нас нет ни одной данной за то, что Пушкин в эти три гурзуфских недели встречался и общался с какими-либо не принадлежащими к семье Раевского юными девами и молодыми женщинами. В биографиях Пушкина, не столько на основании критически проверенных указаний, сколько по смутной традиции, давно стало общим местом говорить о любви Пушкина к одной из Раевских. Их было четыре сестры — Екатерина, Елена, София и Мария, и ни одна из них не ускользнула от любопытных поисков Пушкинских биографов и от зачисления в ряды вдохновительниц любви и творчества поэта. Мы уже видели, каково было огорчение и раздражение Пушкина при вести о невольном разглашении истории происхождения поэмы. И не только надо принимать во внимание обычную щепетильность поэта в делах интимных, но еще надо и вспомнить его связи со всеми членами семьи Раевских, надо думать о том, сколь дороги для него были общение и близость с этой семьею; тогда мы поймем, с какой заботливостью он должен был охранять от чужих взоров тайну своей любви к сестре того Николая Раевского, который и в годы зрелости поэта был для него старшим, того Александра Николаевича Раевского, который был "демоном" Пушкина. Да кроме того, "одной мыслию этой женщины Пушкин дорожил более, чем мнениями всех журналов на свете и всей публики". Эти соображения необходимо взять в расчет при оценке еще одного идущего от самого Пушкина известия о происхождении поэмы, находящегося в «Отрывке из письма А. С. Пушкина к Д.». «Отрывок» напечатан, конечно, с ведома и согласия автора в альманахе Дельвига «Северные Цветы на 1826 год», вышедшем в свет в апреле 1826 года.[74] Пушкин досадовал на Бестужева и Булгарина за разглашение нескольких строк его письма, которое в связи с известными слухами могло открыть женщину, ему дорогую. Напечатанный Булгариным отрывок мог быть еще в памяти. Несомненно, Пушкин взвешивал все это, когда позволил Дельвигу напечатать следующие строки: "В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слыхал о странном памятнике влюбленного хана. К** поэтически описывала мне его, называя la fontaine des larmes" (стр. 105). [15] Совершенно ясен тот смысл, который поэт влагал в это известие для читателей, для знакомых и друзей. Раньше по слухам и по публикации Булгарина мысль любопытного могла бы обратиться на одну из сестер Раевских. Но теперь сам Пушкин обозначил фамилию этой женщины неожиданной буквой К (а не Р), да, кроме того, прибавил, что рассказ о Фонтане он слышал раньше посещения Бахчисарая или Крыма. Упомянем, что самое письмо к Дельвигу писалось в середине декабря

[74] Стр. 101—106.

1824 года в Михайловском. Сохранились два черновых наброска, и в обоих совершенно явственно стоит буква К, но зато из одного черновика видно, что Пушкин, если не предназначал его для печати, то все же имел в виду оглашение среди друзей.

Кажется, ясно, что Пушкин, делая новое признание о происхождении «Бахчисарайского фонтана», именно хотел устранить неприятные для него толкования прежнего признания — и отдалить тот смысл, который находят в цитате из письма к Дельвигу биографы и комментаторы. Известны многообразные ухищрения объяснить эту литеру К. В современных изданиях (не стоит делать точные ссылки!) и даже в академическом[75], без всякого, хотя бы малейшего, основания буква К просто приравнивается к Екатерине Николаевне Раевской (с 1821 года уже Орловой); кое-где, впрочем, поясняется, что К начальная буква имени Катерина. Невозможная грубость именно такого упоминания ("Катерина поэтически описывала" и т. д.) обходится ссылкой на то, что Пушкин, конечно, ставил тут уменьшительное имя[76]. Выходит так, что Пушкин, столь щекотливый в делах интимных, Пушкин, раньше горько досадовавший на разглашение интимного признания, не содержавшего намека на имя, теперь совершенно бесцеремонно поставил первую букву имени женщины, мнение которой — это известно биографам — он так высоко ставил, и с мужем которой был в дружеских отношениях. Явная несуразность! Отрывок из письма к Дельвигу о «Бахчисарайском фонтане» может быть комментирован только так, как мы указывали. Пушкин хотел отвести любопытствующих с того пути, по которому можно было бы добраться до его вдохновительницы. Следовательно, для разрешения вопроса о ней отрывок не может принести никаких данных.

Гершензон, отметив, что для отожествления К. с Е. Н. Орловой не имеется в сущности объективных оснований, приводит еще и доказательства невозможности отожествления[77]. Не останавливаясь на них,

---

[75] Пушкин — Акад. II, стр. 346.

[76] Проф. Лобода предлагает даже примерные уменьшительные имена Китти, Катя (Пушкин — Венгеров, II стр. 107).

[77] У Гершензона два доказательства. 1) Пушкин узнал легенду о фонтане еще в Петербурге, еще до посещения Бахчисарая, а с женской половиной семьи Раевских он познакомился только на юге. Мы еще будем говорить об отрывке, на который ссылается Гершензон в подтверждение своего мнения, а тут отметим, что "если ничто не дает оснований думать, что Пушкин в Петербурге был вхож в это семейство", то с другой стороны ничто не препятствует держаться мнения противоположного. 2) Несовместимость в характеристике одного лица таких черт, как "Элегическая красота, bouche aimable et naïve"[116] и... "славная баба, похожая на Марину Мнишек в «Борисе Годунове»" (так называл Е. Н. Орлову Пушкин в письме к Вяземскому в 1826 году). Такое психологическое соображение на самом деле ничего не доказывает: стоит напомнить, как Пушкин совместил в характеристике одной и той же женщины "гения чистой красоты" с "вавилон-

переходим к разбору выставленного Гершензоном предположения о том, что этой элегической красавицей, в которую Пушкин был влюблен без памяти, была его северная любовь — княгиня М. А. Голицына. Гершензон совершенно не посчитался (даже не обмолвился о них!) с рядом поэтических свидетельств о любви Пушкина, в обстановке Тавриды не только развивавшейся, но и зародившейся. Он оставил без внимания важные сведения о тожестве лица, о котором поэт вспоминает в элегии «Редеет облаков...», с той женщиной, из уст которой Пушкин услышал легенду о Фонтане. Раз для Гершензона именно М. А. Голицына является повествовательницей этой легенды, то он неизбежно должен допустить пребывание княгини М. А. Голицыной в Крыму в августе 1820 года, а главное признать, что она-то и есть "юная дева" элегии, Не знаем, была ли она в Крыму в это время, но достоверно знаем, что 9 мая 1820 года она вышла замуж.

Но Гершензон, пытаясь обосновать свое мнение о том, что легенду о Фонтане Пушкин услышал еще в Петербурге, привлекает к делу один любопытный отрывок. "Важно и вполне несомненно то, что о «Бахчисарайском Фонтане» Пушкин впервые услышал в Петербурге от женщины, побывавшей в Крыму. Об этом с ясностью свидетельствует черновой набросок начала «Бахчисарайского фонтана»

Давно, когда мне в первый раз
Любви поведали преданье,
Я в шуме радостном уныл
И на минуту позабыл
Роскошных оргий ликованье.
Но быстрой, быстрой чередой
Тогда сменялись впечатленья, и т. д.

Здесь так ясно обрисована петербургская жизнь Пушкина, что сомнений быть не может". В письме к Дельвигу Пушкин говорит, что К** поэтически описывала ему фонтан, называя его "la fontaine des larmes", а в самой поэме он говорит об этом:

Младые девы в той стране
Преданье старины узнали,
И мрачный памятник оне
Фонтаном слез именовали.

ской блудницей". Поистине, у Пушкина было всему свое время. Есть одно современное свидетельство о предмете страсти Пушкина, ускользнувшее от Гершензона. 23 февраля 1821 года А. И. Тургенев из Петербурга сообщал князю П. А. Вяземскому: "Михайло Орлов женится на дочери генерала Раевского, по которой вздыхал Пушкин" («Ост. Арх.», т. II, стр. 168). Но это свидетельство в сущности недостаточно для утверждения, что предметом страсти была Е. Н Раевская, ибо, во-первых, Тургенев писал по слухам и, во-вторых, имя дочери Раевского не было названо.

О возможности ссылаться на письмо к Дельвигу мы уже говорили. Интереснее указание Гершензона на отрывок, который он считает наброском начала поэмы. Так как в Пушкинской литературе он является, как увидим, в некоторой мере загадочным и в последнее время заподозрена его ближайшая связь с «Бахчисарайским фонтаном», то мы считаем нужным остановиться на нем подробно. А пока теперь же согласимся с Гершензоном, что Пушкин слышал легенду о Фонтане еще в Петербурге; но, перечитывая отрывок, недоумеваем, как можно отожествить это петербургское сообщение, оставленное без внимания поэтом и оставшееся вне области поэтического зрения Пушкина, не произведшее никакого впечатления на его душу, как можно отожествлять это сообщение с тем рассказом, который передавали ему милые и наивные уста, который был зачарован звуками милого голоса и коснулся сокровенных глубин творческой организации поэта? С решительностью можно утверждать, что в этом отрывке и в свидетельстве письма к Бестужеву о происхождении поэм имеются в виду обстоятельства совершенно различные.

IX

История отрывка представляется в следующих чертах. Впервые он был напечатан Анненковым в «Материалах для биографии Пушкина»[78]. "В бумагах Пушкина — читаем у Анненкова — есть не изданное стихотворение, которое сперва назначено было служить вступлением к поэме. Откинутое при окончательной переправке и совсем забытое впоследствии, оно подтверждает свидетельство письма (к Дельвигу) о происхождении поэмы.

Печален будет мой рассказ!
Давно, когда мне в первый раз
Любви поведали преданье,
Я в шуме радостном уныл —
И на минуту позабыл
Роскошных оргий ликованье.
Но быстрой, быстрой чередой
Тогда сменялись впечатленья!
Веселье — тихою тоской,
Печаль — восторгом упоенья.

Поэтическая передача рассказа должна была, как легко понять, успустить из вида действие драмы и только сохранить тон и живость впечатления, которыми поражен был сам поэт-слушатель".

В 1903 году проф. И. А. Шляпкин напечатал текст этого отрывка по копии в тетради Пушкинских произведений, приготовленной для себя

[78] Отд. изд. СПб. 1873, стр. 98 и 99 и Пушкин — Анненков, I, 1855, стр. 104.

Анненковым[79]. Текст этот совершенно сходен с напечатанным; отличия только в пунктуации. В копии, по сообщению Шляпкина, зачеркнуто заглавие: «Эпилог» (вступление).

В последнее время нашелся и оригинал этого отрывка в Майковской коллекции, хранящейся в Академии наук. Это листок, на одной стороне которого находится беловой список стихов из конца «Бахчисарайского фонтана» (нач. "Покинув север наконец", конч. "Сии надгробные столбы" с немногими поправками), а на другой — интересующий нас отрывок[80]. Текст его — тоже беловой, не первоначальный, а заглавие верно передано в копии Анненкова: зачеркнуто "эпилог" и написано "вступление". Первоначальную, черновую редакцию этого отрывка находим в черновой тетради № 2369 на обороте 1 листа. По этой тетради напечатал его Якушкин в своем Описании. Он "привел по возможности последнюю редакцию, далеко, конечно, не оконченную":

Исполню я твое желанье
Начну обещанный рассказ.
Давно, когда мне в первый раз
Поведали сие преданье,
Тогда я грустью омрачился,
Но не надолго юный ум,
Забыв веселых оргий шум,
В унынье, в думы углубился.
Какою быстрой чередой
Тогда сменялись впечатленья,
Восторги — тихою тоской,
Печаль — порывом упоенья...

"Далее, — сообщает Якушкин — идут еще несколько строк, представляющих варианты того же:

Мне стало грустно; (резвый) ум
Минутной думой омрачился,
Но скоро пылких оргий шум...

и еще:

Мне стало грустно; на мгновенье
Забыл я [пылких] оргий шум...

Вслед затем вырвано не менее 18 листов"[81].

Текст, напечатанный Якушкиным, перепечатывался всеми позд-

[79] И. А. Шляпкин. Из неизданных бумаг Пушкина, II. 1903, стр. 66.

[80] См. Описание В. И. Срезневского в сборнике «Пушкин и его современники», вып. IV, стр. 4. Этот текст воспроизведен в 1912 году в IV томе «Сочинений Пушкина. Изд. Академии Наук», стр. 278.

[81] Русск. Стар., 1884 г., июнь, стр. 551.

нейшими изданиями, обыкновенно, в примечаниях к «Бахчисарайскому Фонтану». Никто не входил в ближайшее рассмотрение отрывка, но и не отрицал связи его с поэмой.

Впервые Н. О. Лернер выразил сомнение в том, действительно ли он имеет какое-либо отношение к поэме; считая установленную Анненковым связь отрывка с поэмой лишь предположением исследователя, Лернер ответил отрицательно на этот вопрос. Так вышел он из того затруднения, в которое ставила его необходимость признать указанное Гершензоном петербургское происхождение вдохновившего Пушкина рассказа. "Из того, что эти стихи находятся на одном листке с отрывками поэмы, — говорит Лернер, — Анненков сделал вывод, что они должны были служить вступлением (или эпилогом) к «Бахчисарайскому фонтану». Между тем, слова Пушкина: 'Я прежде слыхал и т. д.' не дают нам никаких существенных подробностей, и нет решительно ни малейших оснований связывать поэтический рассказ К" о памятнике с тем 'преданьем любви', о котором так неясно и глухо говорится в предполагаемом вступлении; последнее, быть может, имело свое особое значение, ныне едва ли и могущее быть выясненным. В «Бахчисарайском фонтане» рассказано 'любви преданье', но нет оснований категорически утверждать, что именно об этом предании говорится в приведенных стихах. Но предположение Анненкова, как и многие догадки этого талантливого биографа, никогда никем не было подвергнуто сомнению... Гершензон счел незыблемо установленным и неопровержимым то, что можно рассматривать лишь как более или менее вероятное предположение Анненкова"[82].

Так как "никто и никогда" и т. д., то Лернер, наконец, подверг сомнению утверждение Анненкова. Критицизм похвален и необходим. Отчего не критиковать и Анненкова, но надо делать это с большой осторожностью, — и каждый занимающийся Пушкиным должен помнить, что Анненков знал о Пушкине многое, чего он не огласил и чего мы не знаем; что он имел перед своими глазами такие рукописи и бумаги Пушкина, которых у нас нет и которых мы не можем доискаться. Исследователи-текстологи в будущем произведут, конечно, точное выяснение, какими именно источниками располагал Анненков. Слабые места работ Анненкова — его суждения и оценки событий и действий Пушкина, и к ним всегда должно относиться критически, имея в виду, что эти суждения проходили сквозь призму его морального сознания. Опровергать же его фактические данные можно только с доказательствами в руках. В данном случае Лернер как раз проявил критицизм решительно без всяких оснований. На самом деле, почему он, например, думает, что Анненков счел этот отрывок принадлежащим к поэме только потому, что на другой стороне листка оказались стихи из «Бахчисарайского фонтана»? Предположение Лернера является совер-

[82] Пушкин — Венгеров, II, стр. 617.

шенно ненужным, лишним, таким, какого мы не имеем права учинять, не зная существующей, но недоступной рукописи, не проделав работы по изучению черновых. Непременное обращение к рукописям — это для пушкиноведения вопрос метода изучения, и на нем надо настаивать с особой силой: иначе изучение жизни и творчества Пушкина не станет научным, работа не станет планомерной и останется в пределах любительского любопытства.

В какой мере указанное предположение Лернера действительно оказывается излишним, покажет изучение чернового текста, который мы привели выше в транскрипции Якушкина.

Он находится, как сказано, в тетради № 2369. На внутренней стороне передней доски переплета этой тетради с росчерками, завитушками написано "27 мая 1822 Кишинев Pouschkin, Alexeef, Пушкин". (Нам представляется правдоподобным принять это число, как дату дня, в который была заведена эта тетрадь для черновых записей Пушкина.)[17] На лицевой стороне 1-го листа довольно тщательно в два столбца переписан «Отрывок» ("Ты сердцу непонятный мрак"), а на оставшемся свободном местечке в конце второго столбца уписаны стихи 1—8 стихотворения «Иностранке». На обороте этого 1-го листа находится интересующий нас отрывок и конец стихов «Иностранке». Давать исчерпывающую транскрипцию всего написанного на 1-й странице не входит в нашу задачу; для нашей цели достаточно точного ее описания. Страница эта сильно исчеркана. С самого верха, после тщательно зачеркнутого заглавия, идет основной текст, состоящий из 12 стихов с немалочисленными поправками и уже приведенный нами в транскрипции Якушкина. За этими стихами обычный пушкинский заключительный знак.

После черты с правой стороны страницы идут перечеркнутые стихи, представляющие развитие той же темы и тоже приведенные нами. А слева, в тесной близости к этим стихам, Пушкин набросал программу «Бахчисарайского фонтана». Этой программы Якушкин не заметил или не отметил, и она по сие время остается не известной исследователям. Программа набросана в шести строчках. Все они зачеркнуты, кроме последней, 6-й; 2-й и 3-й я не смог разобрать. Вот они:

[Гарем]
[.....]
[.....]
[Монах. Зарема и Мария]
[Ревность. Смерть М. и З.]
Бахчисарай Р.[18]

В последней строке букву Р можно принять и за Ф. Сбоку, наискось написан стих

Улыбка уст, улыбка взоров.

Есть еще рисунки: один, полустертый, трудно разобрать; остальные три — женские ножки в стремени.

Но, читая эту программу «Бахчисарайского фонтана», находящуюся на одной странице с отрывком, в непосредственном соединении с ним, мы не можем сомневаться в том, что отрывок этот принадлежит, конечно, к составу поэмы. Следовательно, и утверждение Анненкова — не личное его предположение, и сомнения Лернера являются досадно излишними.

<...> Данный отрывок не трудно восстановить; но не легко было уловить под густой краской чернил заглавие отрывка; однако, все-таки удалось разоблачить и тайну зачеркнутого заглавия; оно оказалось таково:

Н. Н. Р.

— литеры, хорошо знакомые и сопровождающие не одно произведение Пушкина; они означают, конечно: "Николаю Николаевичу Раевскому". А самый текст до того, как Пушкин начал его править, читался так:

Н. Н. Р.

Исполню я твое желанье,
Начну обещанный рассказ.
Давно печальное преданье
Поведали мне в первый раз.
Тогда я в думы углубился;
Но не надолго резвый ум
Забыв веселых оргий шум
Невольно грустью омрачился. —
Какою быстрой чередой
Тогда сменялись впечатленья:
Веселье — тихою тоской,
Печаль — восторгом наслажденья!

Отметим и один вариант. Стихи 3 — 4 не сразу приняли ту редакцию, в которой они напечатаны Якушкиным; они испытали еще и такую промежуточную редакцию:

Давно печальное преданье
Ты мне поведал в первый раз.

Этот вариант решает вопрос о том, от кого поэт услышал, еще будучи в Петербурге, легенду о Бахчисарайском Фонтане. Конечно, от Николая Николаевича Раевского. Обнаруживающийся теперь факт — намерение Пушкина посвятить ему и вторую свою южную поэму — лишний раз подтверждает то великое значение, какое имел этот замечательный человек в жизни и творчестве Пушкина.

Итак, нам теперь совершенно ясно фактическое указание, заключающееся в отрывке, и следовательно, теряет всякое фактическое основание выставленное Гершензоном предположение о том, что ту версию легенды, которая вызвала появление самой поэмы, слышал Пушкин в Петербурге от М. А. Голицыной (тогда еще княжны Суворовой). Но свидетельство отрывка опять приводит нас в семью Раевских. Легенда, рассказанная Н. Н. Раевским Пушкину, конечно, была известна всей семье Раевских и, следовательно, всем сестрам. О них, разумеется, вспоминает Пушкин:

Младые девы в той стране
Преданье старины узнали,
И мрачный памятник оне
Ф о н т а н о м с л е з именовали.

В письме к Дельвигу Пушкин как раз и приводит это название по-французски: "la fontaine des larmes".

Какое же место занимал этот отрывок в поэме Пушкина? В той редакции, в какой он нам ныне известен, он должен был начинать поэму. "Начну обещанный рассказ", "Печален будет мой рассказ" — эти выражения указывают на вступление. В теперешнем виде отрывок явно не закончен. Ход мысли поэта можно восстановить приблизительно так: легенда о Фонтане, услышанная им среди светского шума, оставила в поэте лишь мимолетное впечатленье и не дала возбуждения его поэтическому воображенью. — Об этом говорят известные нам стихи, а дальше Пушкин должен был бы продолжать: нужно было придти иному времени и нужны были иные возбуждения, чтобы заставить работать его поэтическую фантазию.

Где же искать продолжения отрывка? Вспомним, что в рукописи, хранящейся в Майковской коллекции, отрывок писан на одной стороне листка, а на другой идут стихи поэмы (ст. 505—525): начинается

Покинув север наконец
Пиры надолго забывая,
Я посетил Бахчисарая
В забвенье дремлющий дворец.

и так далее; последний стих, записанный на этой странице

Сии надгробные столбы

не имеет рифмы. Следовательно, продолжение следовало на других, пока неизвестных нам, листках.

Одних внешних данных достаточно для того, чтобы считать лицевой стороной листка ту, на которой набросан отрывок, а оборотной, продолжающей текст, — ту, на которой — стихи из конца поэмы. Но если мы вникнем в содержание стихов и той, и другой страниц, то станет совершенно очевидно, что стихи, находящиеся ныне в составе поэмы, развивают без всякого логического перерыва мысль отрывка, и являются непосредственным его продолжением. С другой стороны, если мы посмотрим на то, в каком логическом отношении стоит та часть поэмы, которая начинается стихом 505-м: "Покинув север наконец", к той части, что находится непосредственно перед этим стихом, мы сразу констатируем непоследовательность и отсутствие какой-либо связи. Предшествующие 505-му стихи, несомненно, представляют окончание целого — части или главы. Но в таком случае перед нами стоит уже новый вопрос, чем был в поэме этот кусок, начинающийся словами: "Печален будет мой рассказ" и включающий часть поэмы со стиха "Покинув север наконец"? По первоначальному замыслу поэта, весь этот кусок был эпилогом поэмы. И в этом листке мы находим зачеркнутое название «Эпилог», а соответственно сему и первый стих первоначально читался так:

Печален верный мой рассказ.

Затем поэт решил этим отрывком начать поэму, зачеркнул слово эпилог и вместо него написал вступленье, а вместо "верный" поставил слово "будет".

Где же должно было по новому плану поэта окончиться вступление, решить невозможно. Во всяком случае, за последним стихом листка из Майковской коллекции текст, надо думать, продолжался тождественно печатному, ибо тем (525-м) стихом еще не завершилось фактическое описание посещения Бахчисарайского дворца. Заключив описание стихами:

Где скрылись ханы? Где гарем?
Кругом все тихо, все уныло,
Все изменилось...

поэт возвращается к прерванной личной теме вступленья (или эпилога). Были оргии, были пиры, когда в первый раз поэт услышал преданье любви...; теперь все забыто, теперь иная жизнь, иные возбуждения. Не размышлениями о погибшем величии ханов было полно сердце:

Дыханье роз, фонтанов шум
Влекли к невольному забвенью;
Невольно предавался ум
Неизъяснимому волненью,
И по дворцу летучей тенью
Мелькала дева предо мной!...

После этого стиха в первом издании поэмы 1824 года шла строка тире и точек; а в изданиях 1827 и 1830 года был оставлен пробел. Всеми этими внешними знаками поэт имел в виду указать некий пропуск. Вероятно, и здесь был тот любовный бред, который Пушкин с сожалением, но все же выбросил, отправляя поэму в печать.

Эта дева, мелькавшая по дворцу летучей тенью перед поэтом, сердце которого не могла тронуть в то время и старина Бахчисарая, — образ реальный и не мечтательный. Она была тут во дворце в один час с поэтом, и сердце его было полно ею.

После пробела, указанного тире и точками, в известном нам тексте следует вопрос, которому (он не совсем ясен для нас) как будто назначено отклонить мысль читателя от реальных образов и ввести его в мир фантастический.

Чью тень, о други, видел я?
Скажите мне: чей образ нежный
Тогда преследовал меня
Неотразимый, неизбежный?
Марии ль чистая душа
Явилась мне, или Зарема
Носилась, ревностью дыша
Средь опустелого гарема.
Я помню столь же милый взгляд
И красоту еще земную...

Дальше в изданиях поэмы, вышедших при жизни поэта, опять следовали внешние знаки (в изд. 1824 года полторы строки тире и точек, а в издании 1827 и 1830 годов пробел), обозначавшие пропуск "любовного бреда". Этот пропуск восстановлен только Анненковым по рукописи, которая нам уже неизвестна:

Все думы сердца к ней летят;
Об ней в изгнании тоскую...
Безумец! полно, перестань,
Не растравляй тоски напрасной!
Мятежным снам любви несчастной
Заплачена тобою дань —
Опомнись! долго ль, узник томный,
Тебе оковы лобызать,

И в свете лирою нескромной
558 Свое безумство разглашать?[83]

Рукопись, по которой Анненков напечатал эти стихи, мы не решаемся отожествить с текстом на об. 3 листа в тетради № 2369, несколько расходящимся с чтением Анненкова[84].

X

Остановимся на черновых набросках «Бахчисарайского фонтана», сохранившихся в тетради № 2366.[191] Как это ни странно, но до сих пор ни один исследователь, ни один издатель не обратил на них своего внимания. Эти черновики пренебрежены до такой степени, что решительно нигде не найти указания, каким же стихам поэмы они соответствуют. А изучение их, между тем, могло бы сохранить энергию исследователей, избавив их от многих излишних рассуждений. В них мы найдем подтверждение нашим наблюдениям над связью интересующего нас отрывка с поэмой и даже откроем несколько стихов того "любовного бреда", который Пушкин так ревностно вытравлял из поэмы, отсылая ее в печать. Эти черновики дадут нам некоторый достоверный материал для характеристики чувства поэта к той, которая вдохновила его на создание самой поэмы.

---

[83] Пушкин — Анненков, том VII, стр. 68. Анненков замечает: "Последние два стиха ('И в свете' и т. д.) имеют соотношение с тремя стихами элегии 1820 г. «Редеет облаков летучая гряда...», опубликованием которых Пушкин был, как известно, весьма недоволен". Это указание Анненкова неверно фактически (рукопись «Фонтана» была отослана Вяземскому для печати в начале ноября 1823 года, а разглашение элегии имело место в январе 1824), но свидетельствует о том, что Анненкову были известны все фактические обстоятельства, в среде которых возникла поэма. Разглашение же безумства, конечно, общее место: всякое стихотворение, навеянное любовью, есть уже и ее разглашение.

[84] На л.3 об. № 2369 читается конец поэмы: стихи 546—578. Привожу все первоначальные чтения, здесь же исправленные, и исправления, которых мы не находим в печатном тексте.

550 [Ее зову] об ней в изгнании тоскую
551 [Мятеж] — [Ужели] [Безумец] [Ужели]! полно! перестань
552 [Не растравляй] Не оживляй тоски напрасной
553 [Любви] [слепой] [пустой] мятежным снам любви нещастной
561 [О] Я скоро [ль] вас увижу вновь
568 Все [живо там] [те же вы] живо там: холмы, леса
571 И [волн] струй и тополей прохлада
572 Все [взоры] чувства путника [влечет] [манит] живит
575 Привычный конь его [несет] бежит
576 [И волн лазоревая] [когда лазоревая] И зеленеющая влага
577 [Пред ним] и блещет [зеленеет] сверкает и [бежит]шумит.

Из указанных разночтений любопытно изменение вопроса (О скоро ль вас увижу) на утверждение (Я скоро вас увижу).

Черновики поэмы занимают в тетради № 2366 листы 20—29, но видно, что немало листов было вырвано, а именно между 21 и 22, между 22 и 23, между 23 и 24, между 27 и 28 листами[85].

На листах 20 и 21 находятся черновые к стихам: 31—42; 43—58; 59—65, 80—86; 68—79. Тут листы вырваны, и дальше идут стихи 166—180 и опять листы вырваны. На листе $23_{1\,и\,2}$ находим развитие темы "положение Марии в гареме хана" приблизительно в рамках стихов 211—232: точного соответствия печатному тексту нет. Затем вновь пропуск, и с оборота 24 листа идут черновики к последней части поэмы; хан, возвратясь с набега, воздвигнул фонтан и т. д. (ст. 482 и след.). На об. 24 листа — перечеркнутые наброски к стихам 485—494, на л. 25_1 продолжение 495—504. Стихов 499—500, содержащих сравнение слез фонтана со слезами матери, нет. После 504 стиха:

И мрачный памятник оне
Фонтаном слез [уже] [его] его назвали

пушкинский заключительный знак. Тут, очевидно, и в этой первоначальной редакции заканчивалась чисто повествовательная, историческая часть поэмы[86]. Что же следовало дальше? На об. 25 листа находим новую редакцию стихов 482—492, уже набросанных, как мы видели, на об. 24 листа, а на л. 26 Пушкин продолжал поэму. Сообщив на л. 25, что преданье старины узнали младые девы, поэт в последующем хотел сказать, как дошло до него это преданье. На л. 26_1 читаем следующие з а ч е р к н у т ы е строки и слова —

Когда оне поведали

Я видел памятник печальной
давно минувшее преданье Ког рассказали мне
давно Когда мне поведали
плачевное

Мне стало грустно ум
сердцем
Я тогда я — п р и у н ы л
И н а м и н у т у п о з а б ы л
б е з у м н ы х пиров и дружбы о р г и и л и к о в а н ь е.

Не зачеркнуты в этом наброске только выделенные слова. Среди этих вариантов обращает внимание: "они (т.е. младые девы) поведали, рассказали преданье". Но тут же Пушкин дает набросок в исправленной версии и отчасти с новым содержанием:

[85] Якушин, Описание, май, 333.

[86] После этого заключительного знака на этой странице записаны отдельные стихи к предыдущему: между прочими 468—469, 486—487.

Мой друг я кончил свой рассказ (1)
Он кончен верный мой рассказ (2)
Исполнил я [твое] друзей желанье
[Ты мне поведал] давно я слышал в I раз
Сие печальное преданье.

Мы видим, что именно эту версию, предназначенную сначала для эпилога, Пушкин развивал в отрывке, получившем впоследствии значение вступления[87]. Здесь в тетради 2366 не получил развития намек на обстоятельства шумной петербургской жизни, и поэт продолжал на об. 26 листа:

Но бросив наконец
Надолго север покидая
Я посетил Бахчисарая
[Забытый славою]
[забвенью преданный]
В забвеньи дремлющий дворец
В забвеньи [тлеющий] дворец.

Черновик на листе 26_2 захватывает ст. 505—515, а лист 27_1 — ст. 516—526, наконец, и лист 27 об. — ст. 527—530. Стихи 531—532 набросаны дважды. В первый раз —

Но [нрзб.] — не тем
в то время сердце полно было...
[Я вкруг себя смотрел] [бродил уныло]

а второй раз в таком виде —

[Все изменилось] Но н
[В то]
я думал о другом
[Другие] [занимали]
Иные думы волновали
[Лишь мне известные] мечты
[Меня глубоко занимали —]

Таким образом, стихи 531—532 получали развитие, следов которого печатный текст не сохранил, но, к сожалению, черновая рукопись не сохранила продолжения, ибо как раз следующий за 27-м лист вырван. Об этом красноречиво свидетельствует оставшийся у корешка тетради кусочек листа. Тут, очевидно, шел "любовный бред"; идущий за клочком оборванного листа нынешний 28-й лист сохранил его продолжение в следующем виде. Даем полную транскрипцию:

[87] Я не даю полной транскрипции, не нужной для целей нашего исследования.

л. 28_1

Или — но кто поймет меня
[Надежд] Печали [Мечтанья] желанья
[страданья]
И безнадежные страданья
[пленительный]
[Или таинственный] предмет
[Или] [Но] [полно] — их ужь нет
Во глубине души остылой
[иль нрзб. нрзб. нрзб].
[любви] [унылой]
Иль только сладостный предмет
Любви таинственной унылой —
[нрзб.] Тогда... но полно! вас уж
[нрзб.] Мечты [нрзб.] [безумный]
[Мечты безумн] [юных]
[нрзб.]
Во глубине души остылой
[Не тлеет ваш] [безумный]
[след]

л. 28 об.

Мечтатель! полно! перестань
[Забудь] [Забыть] [мук] напрасной
[Пора] [Тебя никто не понимает]
Не пробуждай тоски
[Забу]
[Иль мало ты]
[мечтам] [тоске]
[Принес] [любви] [пр] [о]
[Слепой] [любви], [т] нещастной
[Платил безумства] [дань]
[безумных] — [мечте] [безумной] любви
[слез]
Заплачена тобою дань
слепой
[Тебя никто не понимает]
[доволен будь] —
раб послушный
[нрзб.] поэту
[малодушной]
Опомнись! — долго л[и]ь [в упоен]
[в унынь] [Неволи]
Тебе цепь лобзать
[в свете] с [музою]
[И в мире] [И] [лирой] [послушной] —
[в унынье робком]
[по све] в свете

И [Свой стыд] лирою по свету
[праздной]
[лирою]
Свое безумство разглашать
[Тебя никто] не понимает —
два сердца в мире может быть

л. 29

Кому понятн[еи]ы буд[е]ут

Забудь
[Или] мучительный предмет
[Любви отверженной и вечной]
[Невозвратимых заблуждений]
[Забудь] [Чего ты жаждешь —] [наслаждений]
[Забудь] [нрзб.]
[Чего ты] [Забудь] — ранних
[И слабость] [отроческих] лет
Ты возмужал средь испытаний
[Забудь] Загладь проступки ранних лет
2) Забудь мучительный предмет
[воспоминаний]
1) Постыдных слез, [немых желаний]
[Уединен]
[Уединенных] И безотрадных ожиданий.

На этом 29$_1$ листе кончаются черновики поэмы, на об. 29 л. написано только одно слово "Теперь", на л. 30 набросано загадочное французское письмо к не известной нам женщине любовного содержания, напечатанное в 1-м томе "Писем" под № 47.

Эти незаконченные и неотделанные наброски дают нам несколько фактических указаний о любви Пушкина. Предмет ее — мучительный, таинственный. Самое чувство — любовь унылая, таинственная с безнадежными страданиями. Она вызывала в поэте постыдные слезы, немые желания; ей сопутствовали уединенные и безотрадные ожидания. Чувство поэта осталось не разделенным, не нашло ответа, но все же у поэта нашлись эпитеты для этой любви — "любви отверженной и в е ч н о й". И несмотря на то, что чувство поэта оказалось отверженным, он все верит, что если кто и может понять его и его безнадежные страданья, так это только одно сердце, бьющееся в груди мучительного "предмета".

В этих перечеркнутых строчках можно уловить две темы: 1) увещание к самому себе прекратить безумства страсти и не растравлять старой тоски: поэт старается уверить себя, что его чувство прошло и душа уже остыла; 2) кто поймет страданья поэта? Его никто не понимает, и только два сердца поймут эти страданья (два сердца — его и ее?). Пер-

вая тема обработана, как мы видели, на л. 3 об. тетради 2369 и появилась в поэме в ст. 551—558. Но эти стихи самим Пушкиным не печатались и впервые сообщены Анненковым[88]. Вторая же тема нашла развитие в ответе поэта на вопрос книгопродавца в «Разговоре...»: ужели ни одна не стоит вдохновенья, ни страстей поэта? (ст. 137—175)[89]. "Я всем чужой... Слова мои поймет одно сердце"... отвечает поэт и вспоминает свою неразделенную любовь — тяжкий сердца стон — и ту, кто отвергла заклинанья, мольбы и тоску его души. Несомненно, это — та самая отверженная и вечная любовь, о которой мы читаем в набросках «Фонтана». Стихи из «Разговора...» обыкновенно цитируются, когда говорят об исключительной любви Пушкина:

156 С кем поделюсь я вдохновеньем?
Одна была — пред ней одной
Дышал я чистым упоеньем
Любви поэзии святой.
Там, там, где тень, где лист чудесный,
Где льются вечные струи,
Я находил огонь небесный
Сгорая жаждою любви[90].

Итак пред нами следующие достоверные выводы. Легенда о Бахчисарайском фонтане была хорошо известна членам семьи Раевских. Рассказ о нем Пушкин впервые услыхал, еще будучи в Петербурге, от Н. Н.

[88] Обычно эти 551—558 стихи поэмы сопоставляются со стихами 125—128 «Разговора книгопродавца с поэтом». Такое сопоставление законно, если оно нейдет дальше указания чисто внешнего сходства, ибо сходное по форме обращение к лире, разглашающей безумства любви, делается, в том и другом случае, при обстоятельствах, далеко не сходных.

[89] «Разговор книгопродавца с поэтом» находится в тетради 2370 л. 13 об. — 17, и под последним стихом имеет помету 25 сент. 1824 года. Чернила этой рукописи указывают на разновременность внесения в тетрадь текста и поправок. 4 декабря 1824 года поэт писал брату: "нельзя ли еще под разговором поставить число *1823 год?*" Эти слова позволяют сделать заключение, что «Разговор» был написан в 1823 году, а дата в тетради означает не момент создания, а только момент внесения его в тетрадь. Отметим также и то, что в тетради это стихотворение отнюдь не носит тех внешних указаний, которые в Пушкинских рукописях позволяют утверждать, что произведение вписывалось в тетрадь в моменты, соответствующие его возникновению, а не позже.

[90] В черновой несколько иначе (№ 2370 л. 16):

С кем поделюсь я вдохновеньем?
Объятый грустным упоеньем
С неизъяснимою тоской
Там, там, где тень, где шум чудесный,
Где льются вечные струи
Я находил язык небесный.
Одна была... пред ней одной

Раевского, и тогда этот рассказ не оставил впечатления. Мы знаем, что Пушкин собирался посвятить свою поэму Н. Н. Раевскому, но не исполнил своего намерения. Не потому ли, что не рассказ Раевского дал краски поэме, установил тон чувства? Разсказывали старинное преданье и младые девы, и в устах одной из них легенда привела в необыкновенное возбуждение поэтический дар поэта, и, перелагая в стихи ее повесть, поэт создал поэму и излил в ней свое сердце, полное любви к этой "младой деве", отринувшей тем не менее все мольбы поэта. Но какая же из четырех сестер возбудила столь сильное и мучительное чувство и наполнила его ум неизъяснимым волнением?

XI

Два современника Пушкина, оба его хорошие знакомые, назвали нам имя той Раевской, которой был писан «Бахчисарайский фонтан». Кажется, оба эти свидетельства не обратили внимания исследователей и в Пушкинской литературе не поминались при разрешении вопроса о поэме.

Одно принадлежит графу Густаву Олизару, другое — Василию Ивановичу Туманскому.

Олизар в своих «Воспоминаниях» прямо говорит, что "Пушкин написал свою прелестную поэму для Марии Раевской"[91]. А он мог иметь точные сведения об этом обстоятельстве: он был в очень близких отношениях ко всей семье Раевских. Когда Раевские в конце 2-го и начале 3-го десятилетия XIX века жили в Киеве, Олизар был предводителем дворянства в Киевской губернии и в это время завязал с ними знакомство, продолжавшееся очень долго. О близости знакомства свидетельствует, например, и тот факт, что когда Раевские в 1821 году отправились в гости в Кишинев к Орловым, с ними был и Олизар[92]. В начале знакомства Олизара с Раевскими Мария Николаевна представлялась ему "мало интересным смуглым подростком". На его глазах Мария Раевская из ребенка с неразвитыми формами превратилась в "стройную красавицу", смуглый цвет лица которой "находил оправдание в черных кудрях густых волос и пронизывающих, полных огня очах"[93]. Олизар увлекся Марией Раевской и был сильно и долго в нее влюблен. Но любовь осталась "отверженной". В 1823 году он сделал ей предложение и получил отказ. В письме отца М. Н., приведенном в «Воспоминаниях» Олизара, мотивом отказа было выставлено различие религии и народности. Олизар был убит отказом; он уединился с своей сердечной грустью в купленное им в Крыму поместье, которое он окрестил

[91] См. Pamiętniki (1798–1865) Gustawa Olizara z predm. J. Leszcyca, Lwów, 1892, стр. 174. Эти воспоминания изложены и отчасти переведены А. Ф. Копыловым, в Руск. Вестн. в статье «Мемуары графа Олизара», 1893 г., авг. и сентябрь.

[92] Русск. Арх. 1866: столб. 1258 (Воспом. И. П. Липранди).

[93] Русск. Вестн. 1893 г., сент., стр. 102.

греческим именем «Карди Ятрикон» (лекарство сердца). Здесь он тосковал и писал сонеты о своей безнадежной любви. О его безнадежной и отвергнутой любви упоминает Мицкевич в одном из своих крымских стихотворений. Он сохранил светлую память о Марии Раевской. "Нельзя не сознаться, — пишет он в записках, — что если во мне пробудились высшие, благородные, оживленные сердечным чувством стремления, то ими во многом я был обязан любви, внушенной мне Марией Раевской. Она была для меня той Беатриче, которой было посвящено поэтическое настроение, и, благодаря Марии и моему к ней влечению, я приобрел участие к себе первого русского поэта и приязнь нашего знаменитого Адама"[94]. По всей вероятности, через Раевских Олизар вошел в знакомство с Пушкиным: об его участливом отношении к своей сердечной истории он вспоминал, когда писал свои «Воспоминания». В черновой тетради (№ 2370) [120] сохранился исчерканный набросок послания Пушкина к нему. Пушкин касается в нем и горького сердцу Олизара отказа, полученного им от Раевских, и дает нечто вроде его истолкования. "Русская дева", по словам Пушкина,

Привлекши сердце поляка,
Не примет гордою душою
Любовь народного врага.

Все эти данные показывают, что Олизар имел полную возможность знать историю возникновения «Бахчисарайского фонтана», и позволяют с решительным доверием отнестись к его свидетельству о Марии Раевской, как той, к кому писана поэма.

Мы уже знаем, что Василию Ивановичу Туманскому Пушкин прочел «Бахчисарайский фонтан» летом 1823 года и не скрыл от него интимного происхождения поэмы. Был ли назван по имени "мучительный и таинственный предмет"? В 1891 году были напечатаны родственные и совершенно откровенные письма Туманского к его двоюродной сестре Софье Григорьевне Туманской. В одном из его писем, от 5 декабря 1823 года из Одессы, находим следующую любопытную характеристику семьи Раевских: "У нас гостят теперь Раевские и нас к себе приглашают. Вся эта фамилия примечательна по редкой любезности и по оригинальности ума. Елена сильно нездорова; она страдает грудью и хотя несколько поправилась теперь, но все еще похожа на умирающую. Она никогда не танцует, но любит присутствовать на балах, которые некогда украшала. М а р и я идеал Пушкинской Черкешенки (собственное выражение поэта) дурна собой, но очень привлекательна остротою разговоров и нежностью обращения"[95]. Это свидетельство Туманского о Марии допускает два толкования, и примем ли мы то

[94] Там же, стр. 104.

[95] Письма Вас. Ив. Туманского и неизданные его стихотворения. Черниров, 1891, стр. 54.

или иное толкование, его биографическая важность не уменьшится. Для нас не совсем ясно, кого имел в виду указать Туманский: черкешенку ли, героиню «Кавказского пленника», или грузинку поэмы, слышанной им в чтении самого автора, ошибочно в последнем случае назвав ее черкешенкой. Ошибка вполне возможная. Если верно первое, то мы имеем любопытную и ценную подробность к истории создания первой южной поэмы и к истории возникновения сердечного чувства Пушкина. Но если бы верно было второе предположение об ошибке в названии, тогда мы имели бы не менее ценное свидетельство к истории создания «Бахчисарайского фонтана»: правда, с первого взгляда несколько неожиданным показалось бы отожествление Марии Раевской не с кротким образом Марии, а с страстным — Заремы.

Называю отожествление неожиданным, ибо против него обычное представление о Марии Раевской, как о женщине великого самоотвержения, преданности и долга. Но еще очень спорный вопрос, соответствует ли действительности обычное представление. Ведь Мария Раевская в сущности нам неизвестна, мы знаем только княгиню Волконскую, а образ Волконской в нашем воображении создан не непосредственным знакомством и изучением объективных данных, а в известной мере мелодраматическим изображением в поэме Некрасова. В конце концов нам неясны даже те внутренние мотивы, которые подвигнули ее к прославившему ее героическому действию. Сам Сергей Григорьевич Волконский бесконечно ниже своей жены и по уму, и по характеру, и по духовной организации. Среди декабристов он был даже и не крупный человек, а просто мелкий, и уж ни в каком случае не соответствует тому высокому представлению, которое имеет о нем наша читающая публика. Во время следствия и суда в 1826 году его мелкая психика сказалась очень ярко. Когда знакомишься с его следственным делом, хранившимся в Государственном Архиве, и с некоторыми подробностями, заключающимися в других делах, выносишь тяжелое впечатление: охватывает сильно и глубоко чувство грусти от созерцания раскрывающегося противоречия между ранее существовавшим представлением и действительно бывшим. Вот уж, поистине, именно Волконский не тот человек, который может сам себя или которого могут другие представлять героем! Своей жене он был чужой человек. Предложение его было принято по настоянию старика Раевского, который при всех своих отменных достоинствах был большим деспотом в семье; Мария Николаевна выходила замуж не по своей воле, не по личной страсти. Об этом упоминает даже Розен[96]. Сама М. Н. в своих «Записках» говорит, конечно, очень глухо об этом. "Я вышла замуж в 1825 году за князя С. Г. Волконского, достойнейшего и благороднейшего из людей; мои родители думали, что обеспечили мне блестящую, по светским воззрениям, будущность. Мне было грустно с ними рас-

[96] А. Е. Розен, Записки декабриста, стр. 129

ставаться: словно, сквозь подвенечный вуаль, мне смутно виднелась ожидавшая нас судьба"[97]. До свадьбы, пишет сама Волконская, она почти не знала мужа; духовная близость не могла возникнуть между ними и в первый брачный год жизни. В этот год она провела с мужем только три месяца. В это время энергичной работы по тайному обществу жена была так далека, так чужда С. Г. Волконскому, что он не поделился с ней своими опасениями, своими переживаниями. Грустно звучит объяснение, которое дает М. Н. Волконская его скрытности. "Он был старше меня лет на двадцать и потому не мог иметь ко мне доверия в столь важном деле". Мы знаем о жестокой и непосильной борьбе с отцом и братьями, которую выдержала М. Н. Волконская для того, чтобы осуществить свое намерение последовать в Сибирь, на каторгу за своим мужем. Она последовала за мужем в Сибирь, но кто была она — женщина ли великого самоотвержения, или великих страстей, мы не можем сказать с положительностью. Во всяком случае, ее внутренняя природа слишком сложна для того, чтобы можно было определить ее в одном слове.

Не можем мы также сказать с достоверностью, дала ли она Пушкину материал для изображения Марии в «Бахчисарайском фонтане», или для изображения Заремы.

Какой она представлялась Пушкину? Пушкин знал ее, наблюдал, изучал и любил не один месяц и, кажется, уловил ее образ не сразу. С развитием чувства шло попутно и постижение ее образа. Для самого Пушкина был неясен его идеал.

Чью тень, о други, видел я?
Скажите мне: чей образ нежный
Тогда преследовал меня
Неотразимый, неизбежный?
Марии ль чистая душа
Явилась мне, или Зарема
Носилась, ревностью дыша,
Средь опустелого гарема.

Нельзя не указать и на то, что, набрасывая для детей, в конце 50-х годов, свои записки и перебирая в памяти стихи, написанные для нее Пушкиным, Волконская приводит и стихи из поэмы: "Позже в «Бахчисарайском фонтане» Пушкин сказал

ее очи
Яснее дня,
Темнее ночи"[98].

[97] Записки кн. Марии Николаевны Волконской. 2-е изд., СПб. 1906, стр. 4
[98] «Записки», стр. 24.

Но ведь эти стихи как раз из характеристики грузинки. О ней говорит поэт:

Твои пленительные очи
Яснее дня, чернее ночи.
Чей голос выразит сильней
Порывы пламенных желаний? и т. д.

Все эти соображения позволяют нам предполагать в письме Туманского ошибочность упоминания о черкешенке вместо грузинки и, следовательно, допускать, что именно Мария Раевская была идеалом Пушкина во время создания поэмы. Но наличность бытовых черт в образе Заремы очень поучительна, ибо критики как раз настаивают на байроничности Заремы в поэме Пушкина.

Наконец, приведем еще свидетельство графа П. И. Капниста, который мог быть хорошо осведомлен в обстоятельствах жизни Пушкина на юге из хорошо сохраненной традиции. "Я слышал, — говорит он, — что Пушкин был влюблен в одну из дочерей генерала Раевского и провел несколько времени с его семейством в Крыму, в Гурзуфе, когда писал свой «Бахчисарайский фонтан». Мне говорили, что впоследствии, создавая «Евгения Онегина», Пушкин вдохновился этой любовью, которой он пламенел в виду моря, лобзающего прелестные берега Тавриды, и что к предмету именно этой любви относится художественная строфа, начинающаяся стихами: "Я помню море пред грозою..." etc."[99] Но кн. Волконская в «Записках», а до их появления в печати Некрасов в «Русских женщинах» рассказали те обстоятельства, при которых были созданы эти стихи, вызванные именно М. Н. Раевской.

XII

Современники, близкие поэту люди, говорят, что Пушкин был влюблен и писал поэму для М. Н. Раевской. Но Раевская оставила свои «Записки», нам известные. В них она упоминает о Пушкине. Не найдем ли мы здесь определенного свидетельства о чувстве Пушкина? Но мы не должны забывать, что М. Н. Волконская писала свои записки для своих детей, уже в конце 50-х годов, на склоне дней, после жизни, столь тяжелой, сложной и богатой событиями. М. Н. Волконская хотела рассказать своим детям историю своих страданий и намеренно опустила "рассказы о счастливом времени, проведенном ею под родительским кровом". И как, действительно, далеки от нее были в это время и путешествие 1820 года по Кавказу и Крыму, жизнь в Гурзуфе, Каменке, Киеве, поездки в Кишинев! Сквозь призму грустных лет и чувства, завоеванного столь тяжкой ценой, прошли и ее воспоминания о поэте. Последний раз она видела Пушкина в Москве 27 декабря 1826 года на

[99] Русск. Стар. 1899 г., май, стр. 242.

вечере, устроенном для нее княгиней Зинаидой Волконской. Описывая этот вечер в «Записках», она присоединяет и несколько строк о Пушкине. Вот они: "Тут (на вечере) был и Пушкин, наш великий поэт; я его давно знала; мой отец приютил его в то время, когда он был преследуем имп. Александром I за стихотворения, считавшиеся революционными. Отец принял участие в бедном молодом человеке, одаренном таким громадным талантом, и взял его с собою на Кавказские воды, так как здоровье его было сильно расшатано. Пушкин этого никогда не забыл; он был связан дружбою с моими братьями и ко всем нам питал чувство глубокой преданности. В качестве поэта, он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, которых встречал. Я помню, как во время этого путешествия, недалеко от Таганрога, я ехала в карете с Софьей (это — сестра М. Н. — *Л. Щ.*), нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Увидя море, мы приказали остановиться, и вся наша ватага, выйдя из кареты, бросилась к морю любоваться им. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала, для забавы, бегать за волной и вновь убегать от нее, когда она меня настигала; под конец у меня вымокли ноги; я это, конечно, скрыла и вернулась в карету. Пушкин нашел эту картину такой красивой, что воспел ее в прелестных стихах, поэтизируя детскую шалость; мне было только 15 лет.

Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!

Позже в «Бахчисарайском фонтане» он сказал:

ее очи
Яснее дня,
Темнее ночи.

В сущности, он любил лишь свою музу и облекал в поэзию все, что видел. Но во время добровольного изгнания в Сибирь жен декабристов он был полон искреннего восторга; он хотел поручить мне свое «Послание к узникам», но я уехала в ту же ночь, и он его передал Александре Муравьевой... Пушкин мне говорил: "Я намерен написать книгу о Пугачеве. Я поеду на место, перееду через Урал, поеду дальше и явлюсь к вам просить пристанища в Нерчинских рудниках". Он написал свое великолепное сочинение, всеми восхваляемое, но до нас не доехал"[100].

[100] Записки, стр. 22, 24, 26.

Вот и все, что М. Н. Волконская нашла возможным сообщить об отношениях Пушкина к ней. Трудно отсюда извлечь какие-либо данные к истории и характеристике чувства Пушкина, но содержание сообщения не дает оснований отрицать самое существование привязанности поэта к М. Н. Раевской. Она в сущности не отрицает того, что поэт был влюблен и в нее, но не придает никакого значения любви Пушкина: ведь он "в качестве поэта считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек". Нельзя не отметить сходства этих слов с заметкой о себе самого поэта: "Plus ou moins j'ai été amoureux de toutes les jolies femmes que j'ai connues; toutes se sont pas ablement moquées de moi, — toutes, à l'exception d'une seule, ont fait avec moi les coquettes".[21] Волконская послужила любви деятельной, а не мечтательной, и с высоты выстраданной ею страсти отнеслась с пренебрежением к увлечению поэта, столь же легкому (казалось ей), как и остальные его увлечения. Не без иронии говорит она об обещании Пушкина приехать в Нерчинск: "сочинение он написал, но до нас не доехал!" Но не слышатся ли в этом позднем рассказе кн.Волконской отзвуки того отношения, которым в действительности ответила она на любовь поэта?

Она отвергла заклинанья
Мольбы, т о с к у д у ш и моей!

М. Н. Волконская рассказывает детскую шалость, опоэтизированную Пушкиным в XXXIII строфе 1-й главы «Онегина». Вот полностью эта строфа:

Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!
Нет, никогда средь пылких дней
Кипящей младости моей
Я не желал с таким мученьем
Лобзать уста младых Армид,
Иль розы пламенных ланит,
Иль перси, полные томленьем;
Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей!

Эта 33-я строфа 1-й главы была камнем преткновения для исследователей. В набросанной на листке хронологии создания «Онегина» Пуш-

кин точно указал дату начала романа: Кишинев 1823 года 9 мая. Дату окончания 1-й главы (Octobre 22, 1923, Odessa) он записал под черновым наброском последней строфы 1-й главы. Между тем, под черновым наброском 33-й строфы, находящимся в тетради 2366 л. 13 об., сделана совершенно четкая пометка "16 августа 1822 года". Эта дата осложнила вопрос о хронологии «Онегина» и даже заставила исследователей отнестись с подозрением к точности собственноручных указаний поэта. Так, Якушкин, принимая дату под XXXIII строфой и опираясь на то, что даты в черновой тетради перед первой строфой первой главы содержали только указание месяцев без обозначения года (Якушкин читал их 28 мая и 9 июня), нашел возможным исправить дату начала и отнести ее на 28 мая 1822 года[101]. Такое исправление может быть оправдано только очень серьезными основаниями, а в данном случае все основания, кажется, исчерпываются желанием Якушкина принять дату XXXIII строфы 1-й главы. Якушкин не хотел поверить указанию листка с хронологией, не хотел верить и заявлению, сделанному в 1827 году в издании 3-й главы «Онегина» о том, что "первая глава Евгения Онегина написана в 1823 году". Такие сомнения, конечно, не должны иметь места, ибо они только задерживают плодотворное изучение.

Л. И. Поливанов по поводу исправления Якушкина доказал лишний раз, что «Онегин» начат в 1823 году, и что черновые наброски 1-й главы в тетради 2369 писаны именно в 1823 году. Недоумение, вызываемое в таком случае пометой под 33-й строфой 1-й главы, Поливанов разрешил утверждением, что Пушкин сделал в рукописи описку в годе: "вместо 16 авг. 1823 года, когда он действительно занес в тетрадь эту 33-ю строфу, он по ошибке написал 1822 год". Поливанов, исходя из наблюдения, что в черновых набросках 1-й главы, идущих почти подряд в тетради 2369, как раз не имеется 33-й строфы, предполагал, что, дописав в тетради 2369 строфу 32-ю, Пушкин взял тетрадь 2366 и набросал в ней непосредственное продолжение — строфу 33-ю.[102] <...> Прием, недопстимый для точной фактической работы![103]

И Якушкин, и Поливанов обратились к совершенно искусственным предположениям и прошли мимо самого естественного. Не надо измышлять описки у Пушкина, и должно принять, что стихи, занесенные в тетради 2366 на л. 13 об., вписаны туда действительно 16 августа 1822 года, значит, — до обращения Пушкина к работе над «Онегиным» и, может быть, задолго до возникновения самого замысла ро-

[101] «Евгений Онегин. Роман в стихах А. С. Пушкина. Изд. Общ. любит. Российск. словесн. при имп. Моск. унив., под ред. В. Якушкина», М. 1887, стр. 305—306.

[102] Пушкин — Поливанов, том 4-й, 2-е изд. М. 1895, стр. 177—179.

[103] При обращении к тетради в 1930 году я прихожу к заключению, что пометку следует читать 16 апреля, а не 16 августа. Хронологию года поддерживаю во всей силе.

мана и, следовательно, не имея никакого отношения к «Онегину», представляют произведение самостоятельное, из цикла посвященных таврической любви. А когда Пушкин писал 1-ю главу «Онегина», он воспользовался этими стихами и внес их в свой роман. Вот самое естественное предположение. Но оно приобретает полное фактическое основание, если мы обратимся к изучению черновиков. В данном случае пренебрежение исследователей к черновикам является весьма непонятным, так как они сравнительно полно исчерпаны Якушкиным в издании «Онегина». Черновики того, что исследователям угодно звать 33-й строфой, находятся на об. лист. 13 и на об. лист. 17. Пресловутая помета находится на лист. 13 об., но исследователи впали в странную и смешную ошибку, утверждая, что те стихи, что датированы здесь 16 августа 1822 года, являются 33-й строфой 1-й главы «Онегина». На самом деле прошу вспомнить приведенный выше текст этой строфы и сравнить с ним следующие наброски.

За нею по наклону гор
Я шел дорогой неизвестной
И примечал мой робкий взор
Следы ноги ее прелестной —
Зачем не смел ее следов
Коснуться жаркими устами.
.....
Нет никогда средь бурных дней
Мятежной юности моей
Я не желал с таким волненьем
Лобзать уста младых Цирцей[104]
И перси полные томленьем
[Как]
[Как я желал]
[Сей милый след]

Если мы хотим быть точны, то можем только сказать, что Пушкин для 33-й строфы воспользовался несколькими стихами из этого наброска. В этом наброске и в строфе 33-й Пушкин вспоминает о разных фактических событиях: в первом поэтическое воспоминание о том, как он, влюбленный, шел по горам за нею, во втором — о том, как на морском берегу волны прибегали и убегали от "ее" ног. Очевидно, конечно, что мы имеем дело с самостоятельным замыслом.

Мотив, разработанный в 33-й строфе, мы находим в черновике на л. 17 об., но тут нет никаких дат. Подробности черновой редакции таковы, что не дают возможности говорить о ней, как о наброске именно

[104] К слову "Цирцей" Пушкин сделал следующее примечание: "Цирцей, замечание Алексеева". В печатном тексте Цирцеи заменены Армидами. Правдоподобнее допустить, что замечание по поводу Цирцей сделано тогда, когда писались эти стихи, т.е. 16 авг. 1822 в Кишиневе, где жили тогда Пушкин и Алексеев, а не 16 авг. 1823 в Одессе, где в это время жил Пушкин.

33-й строфы, а, наоборот, подтверждают значение ее, как самостоятельного замысла. Пушкин предполагал сначала форму обращения к ней: поэтому мы читаем ты, твой. Такая форма была бы не последовательна, если бы от 32-й строфы в тетради 2369 Пушкин действительно перешел к строфе 33-й в тетради № 2366. Затем самое построение стихотворения в зачеркнутых деталях также заставляет думать о самостоятельном замысле. Привожу черновик, предупреждая, что не отмечаю, что зачеркнуто и что оставлено, так как для нас это обстоятельство не имеет значения, да, кроме того, можно сказать, что набросок почти весь перечеркнут.

Ты помнишь море пред грозою
У моря ты Близь моря
Могу ли вспомнить равнодушный
Она Я помню берег Она Над морем ты
Мне памятно А ты кого назвать не смею
Она Стояла над волнами под скалой
Как я завидовал волнам —
Бурными рядами чередою
Бегущим из дали послушно
С любовью пасть к твоим ногам
Как я желал
И целовать . . . . . .
И, о как я желал с волнами
Хоть милый след
Коснуться ног твоих ее устами и т. д.

Можно, кажется, после всех выставленных соображений считать доказанным, что помета 16 августа 1822 года не есть описка, и что для 33-й строфы Пушкин воспользовался набросками, которые свидетельствуют о каком-то самостоятельном замысле. Замысел этот, конечно, вызван любовными воспоминаниями о М. Н. Раевской. Черновик на л. 17 прибавляет одну маленькую, но яркую подробность к характеристике чувства поэта. Как он обращается к ней в своей черновой тетради, которая, казалось бы, недоступна для посторонних взоров? Он не имеет смелости назвать ее:

"О ты кого назвать не смею"

гласит зачеркнутая строка.

XIII

Все наши наблюдения приводят нас к заключению, что мучительным и таинственным предметом любви Пушкина на юге в 1820 и следующих годах была М. Н. Раевская, но при всей их доказательности

должно признать, что они все же нуждаются в фактическом подкреплении, которое возвело бы предположения и догадки на степень достоверных утверждений. Мы можем указать такое подкрепление.

Пушкин оставил поэтическое свидетельство, которое не только удостоверяет нас в том, что поэт любил именно Марию Раевскую, но и указывает на глубину и серьезность чувства поэта и набрасывает в тонких очертаниях характеристику этой страсти. Это поэтическое свидетельство — посвящение к «Полтаве»; напомним его.

Посвящение.

Тебе — но голос музы темной
Коснется ль уха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?
Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь,
Перед тобою без ответа
Пройдет, непризнанное вновь?
Узнай, по крайней мере, звуки,
Бывало, милые тебе —
И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная пустыня,
Последний звук твоих речей
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей[105].

Пушкин хранил такое глубокое молчание о том лице, кому посвящена «Полтава», что ни в переписке, ни в воспоминаниях его друзей и близких не сохранилось даже намеков, позволяющих делать более или менее правдоподобные догадки. Даже Лернер, питающий особое пристрастие к построению, рядом с существующими в пушкиноведении предположениями и е щ е о д н о г о, с о б с т в е н н о г о, даже этот исследователь безнадежно опустил руки перед тайной Пушкина. "Кому посвящена П о л т а в а — неизвестно, и нет возможности установить имя той, воспоминание о которой было 'сокровище, святыня, любовь души' поэта. Посвящению «Полтавы» суждено остаться одним из таинственных, 'недоуменных мест в биографии Пушкина'". Так пишет Лернер[106]. Но зачем такая безнадежность и такой догматизм мнения? Надо искать возможности установить желанное имя, а для этого надо обратиться прежде всего к изучению черновиков поэта. В пушкиноведении изучение чернового рукописного текста становится вопросом метода, и в сущности ни одно исследование, биогра-

[105] Пушкин — Венгеров, т. III, стр. 31.
[106] Лернер. Труды и дни А. С. Пушкина, 2-е изд., стр. 179.

фическое и критическое, не может быть оправдано, если оно оставило без внимания соответствующие теме черновики. Можно утверждать, что ежели бы с самого начала была выполнена задача исчерпывающего изучения рукописей поэта, то история жизни и творчества Пушкина была бы свободна от массы догадок, предположений, рассуждений, а критики и биографы сохранили бы свою энергию и духовные свои сил, которые пошли на всевозможные измышления и толкования в области пушкиноведения.

«Посвящение» поэмы написано по окончании поэмы в "Малинниках 27 окт. 1828 года". Такова помета под черновым его наброском, который находим в тетради 2371, на листах 69 об. и 70 пр. Здесь две редакции: первоначальная, соответствующая моменту возникновения, и другая, окончательная, предсталяющая все же варианты, не лишенные интереса[107]. Остановимся на последней редакции. Пушкин написал заголовок «Посвящение»; потом зачеркнул его и надписал вверху "Тебе". Даже черновой тетради поэт не доверил этого имени, лелеемого его памятью, и только непосредственно перед заголовком, вроде эпиграфа, записал: "I love this sweet name" (Я люблю это нежное имя). Самый текст до последних исправлений читался так,

Тебе... но голос Музы темной
Коснется ль слуха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего,
Иль посвящение поэта
Как утаенная любовь
Перед тобою без привета
Пройдет непризнанное вновь?..
Но если ты узнала звуки
Души приверженной тебе,
О думай, что во дни разлуки
В моей изменчивой сульбе
Твоя печальная пустыня,
Твой образ, звук твоих речей
Одно сокровище, святыня
Для сумрачной души моей...

В этом тексте Пушкин сделал поправки, после которых стихи 6, 14, 16 получили тот вид, который они имеют в печати; стихи 2 и 7, отличные от печатнго текста, поправкам в этой рукописи не подверглись, в 1-м стихе поэт переставил было "Но музы голос", но тут же отменил свою перестановку. Стихи 9 и 11 подверглись ряду изменений, но все же не получили окончательной редакции. Вот последовательные редакции рукописи:

[107] Варианты беловой редакции отмечены далеко не полно в: Пушкин — Морозов. — Просвещение т. III, стр. 644.

9 О если примешь эти звуки (1)
О если примешь тайны звуки (2)
10 Цевницы преданной тебе (1)
Глас музы преданной тебе (2)
Цевницы преданной тебе (3) — незачеркн.
Мечтой преданные тебе (4) — незачеркн.
11 Верь, Ангел что во дни разлуки (1).

Наконец, в 12 стихе Пушкин думал над эпитетом пустыни. Написав сначала "печальная", он зачеркнул это слово и надписал "далекая". В печатном тексте видим возвращение к первоначальной редакции.

Надо отметить последнее колебание между эпитетами: печальная и далекая. Последний эпитет мог указывать на реальную действительность, и потому Пушкин от него отказался. Но кто же в это время из известных нам лиц и близких к Пушкину находился в далекой или печальной пустыне? Да Мария Николаевна Волконская, последовавшая в Сибирь за осужденным в каторгу мужем, а в 1828 году, когда писалось посвящение, проживающая под Читинским острогом, где сидел ее муж. Нам пришлось упоминать, что Пушкин последний раз видел Волконскую и слушал последний звук ее речей на вечере у княгини З. А. Волконской в декабре 1826 года, когда М. Н. была в Москве по пути в Сибирь. Известны описания этого вечера в прозе Д. В. Веневитинова и в стихах З. А. Волконской[108]. Приведу несколько строк из письма князя Вяземского А. И. Тургеневу от 6 января 1827: "На днях видели мы здесь проезжающих далее Муравьеву-Чернышеву и Волконскую-Раевскую. Что за трогательное и возвышенное обречение. Спасибо женщинам: они дадут несколько прекрасных строк нашей истории. В них, точно, была видна не экзальтация фанатизма, а какая-то чистая, безмятежная покорность мученичества, которое не думает о Славе, а увлекается, поглощается одним чувством тихим, но всеобъемлющим, всеодолевающим. Тут ничего нет для Галлереи: да и где у нас Галлерея? Где публичная оценка деяний?"[109]

Вариант "далекая пустыня" находится во второй редакции стихотворения, на листе 70, о которой мы до сих пор и вели речь. Но на 69 об. и 70 листах есть еще, как мы упоминали, и первоначальная редакция. Пушкин набрасывал эту редакцию в момент рождения самого замысла и, следовательно, не думал о том, какой вид получат стихи в печати. И вот тут мы видим уже совершенно определенный эпитет:

Сибири хладная пустыня.

[108] У Лернера («Труды и дни Пушкина», стр. 146) свидание его датировано концом года со ссылкой на «Записки кн. Волконской», но его можно датировать точно 27 декабря на основании письма Веневитинова, перепечатанного в этих же записках.

[109] «Архив бр. Тургеневых», в. 6, П. 1921, стр. 56.

Этот зачеркнутый вариант решает вопрос.

Эта первоначальная редакция, до сих пор не привлекавшая внимания издателей, конечно, найдет исчерпывающую транскрипцию в академическом издании[110]. Из других вариантов укажем на целый ряд перечеркнутых стихов, в которых Пушкин старался написать посвящение так, чтобы оно, став ясным для нее, оставалось непонятным для других:

Поймешь ли ты кому желаю
Их посвятить
Пред кем хочу,
Поймешь ли![111]

XIV

Таков реальный биографический факт. Любовь Пушкина к Марии Николаевне Раевской, после произведенных наблюдений, — не та темная и смутная традиция, о которой старые биографы, знавшие по слуху об этой истории поэта, могли говорить только намеками, нерешительными утверждениями; любовь Пушкина к Раевской — не та романическая история, о которой новые биографы, лишенные и слухов, пытались рассказывать на основании поэтических признаний поэта, подобранных без критики и вполне произвольно[112]. Теперь мы можем не только считать это чувство достоверно бывшим, но и набросать, правда неполную, но зато фактическую, действительную историю и даже выяснить индивидуальные особенности этой привязанности поэта. С этими данными мы должны вдвинуть этот эпизод в историю жизни и творчества, определить и анализировать цикл произведений, вызванных отношениями поэта к М. Н. Раевской, и наконец раскрыть это

[110] Эту транскрипцию я даю в дополнительной, XV главе «Разысканий».

[111] Отмечу еще зачеркнутое "единый свет души моей" и "твоей младенческой души". Последние слова напоминают "младенческую совесть" в элегии «Мой друг, забыты мной...» 1821 года.

[112] В Пушкинской литературе г. Н. Кузмин с настойчивостью показывал, что Пушкин был увлечен именно М. Н. Раевской, и излагал историю этого чувства по стихотворениям Пушкина. Мы намеренно не упоминали до сих пор об его статье: «Первая любовь Пушкина. Поэтическая (!) монография из жизни Пушкина». Приложение к газете «Заря» в марте 1905 года. В этой статье повторены с дополнениями статьи того же автора: «Кольца Пушкина» (Ежемесячные сочинения, 1901 г. март, 239—244) и «О «Талисмане» Пушкина. Заметка» (там же, 1901, май, 61—62). В этой "поэтической" монографии Кузмин не приводит решительно никаких фактических данных, ибо самым серьезным для него доказательством существования любви Пушкина именно к М. Н. Раевской является... рассказ Некрасова в «Русских женщинах». А в применении к эпизоду этой любви стихотворных признаний и других свидетельств Пушкина Кузмин не опирается решительно ни на какие другие критерии, кроме собственного усмотрения. За "поэтической" монографией Кузмина нельзя признать никакого научного значения.

действительное влияние, которое имело в процессе душевного развития и в художественном миросозерцании Пушкина это чувство. А что влияние было весьма значительным, об этом можно судить уже по внешним признакам: по хронологическим рамкам для этого чувства (1820—1823—1828) и по обилию художественных произведений, им вызванных или хранящих его отражение. Ведь помимо небольших лирических произведений и незаконченных набросков две поэмы: «Кавказский пленник», писавшийся в то время, когда Пушкин был поглощен этим чувством, и «Бахчисарайский фонтан» в их психологической части основаны исключительно именно на этом любовном опыте; «Цыганы» и «Онегин» заключают немало отголосков и отражений этой сердечной истории. Излишне, конечно, говорить, как важно полное уяснение ее для постижения исторического, реального Пушкина. Чем дольше вдумываешься в эту историю, тем глубже раскрываются глубины души и сердца поэта. Судите сами! Какой удивительный просвет открывают нам даже те немногие подробности, разъяснению достоверности которых мы посвятили столько страниц! Кишиневский бреттер и гроза молдаванских бояр до смешного робок в своих любовных искательствах; молодой человек, отведавший через меру физической любви, циник, отчитывающий такую кокетку, как Аглая Давыдова, обладающий уменьем склонять стыдливую красоту на ложе нег, скрывает в себе задатки сентименталиста старой школы, питает поистине нежнейшее, тончайшее чувство, таит запас такой стыдливости и щепетильности, какие и подозревать-то было бы трудно; романтический герой, гордящийся своей неприступностью, своим иммунитетом, пылает и страдает, молит (в черновых тетрадях) о встречах и взглядах. Победитель и знаток женских сердец, эпикуреец любви, рассуждения которого выслушивал Лев Пушкин в письмах своего брата, а мы читаем в признаниях «Онегина», оказывался просто "глупым" пред этим чувством. Писатель, который нанес столь яростное оскорбление любви в «Гавриилиаде», ибо «Гавриилиада» оскорбляет не столько чувство религии, но чувство любви, возносит тайные мольбы своему божеству и полон благоговейного обожания. Но не нужно объяснять этих черт двойственностью психики! помимо того, что представление о двойственности несет какой-то привкус лицемерия, тут не идущий к делу, двойственность столь же мало объясняет душу Пушкина, как и выдвигаемое иными единство. Душа Пушкина, как и всякого человека, живущего внутренней жизнью, сложнее и простоты, и двойственности.

Весь эпизод отношений Пушкина к Раевской очень интересен и для чисто литературных исследований, ибо играл большую роль в той борьбе, которую вел в то время Пушкин, борьбе литературы с жизнью. Так сквозь вычитанное и надуманное, сквозь навеянное и воображаемое пробивались ростки действительной, своей жизни и распускались красивыми цветами "нового вида".

———

Дух и творчество Пушкина питались этим чувством несколько лет. Остается открытым вопрос, были ли вхож Пушкин в семью Раевских еще в Петербурге и не познакомился ли он с Марией Раевской еще до своей высылки. Когда генерал Н. Н. Раевский подобрал Пушкина больного, в Екатеринославе, с ним из 4 его дочерей в это время ехали Мария и София, а Екатерина и Елена оставались еще в Петербурге с матерью и выехали позже прямо в Крым. Чувство Пушкина могло зародиться еще на Кавказе во время совместного путешествия, облегчающего возможность сближения. Вся семья Раевских соединилась в Гурзуфе в двадцатых числах августа 1820 года[113]. Здесь Пушкин провел "счастливейшие минуты своей жизни". Его пребывание в Гурзуфе продолжалось "три недели" и здесь расцвело и захватило его душу чувство к М. Н. Раевской, тщательно укрываемое. Мы знаем, что с отъездом Пушкина из Крыма не прекратились его встречи с семьей Раевского, и следовательно Марию Николаевну Пушкин мог встречать и во время своих частых посещений Каменки, Киева, Одессы, и во время наездов Раевских в Кишинев к Екатерине Николаевне, жившей тут со своим мужем Орловым. Но чувство Пушкина не встретило ответа в душе Марии Николаевны, и любовь поэта осталась неразделенной. Рассказ кн. Волконской в «Записках» хранит отголосок действительно бывших отношений, и надо думать, что для Марии Раевской, не выделявшей привязанности к ней Пушкина из среды его рядовых, известных, конечно, ей увлечений, остались скрытыми и глубина чувства поэта, и его возвышенность. А поэт, который даже в своих черновых тетрадях был крайне робок и застенчив и не осмеливался написать ее имя, и в жизни непривычно стеснялся и, по всей вероятности, таился и не высказывал своих чувств. В 1828 году, вспоминая в Посвящении к «Полтаве» прошлое, поэт признавался, что его "утаенная любовь не была признана и прошла без привета". Этих слов слишком недостаточно, чтобы определить конкретную действительность, о которой они говорят. В августе 1823 года (в начале одесского периода своей жизни) в письме к брату Пушкин поминал об этой любви, как о прошлом, но это было прошлое свежее и недавнее, а воспоминания были остры и болезненны. В это время он только что закончил или заканчивал свою поэму о Фонтане, и ее окончание в душевной жизни поэта вело за собой и некоторое освобождение из-под тягостной власти неразделенного чувства. Надо думать, что к этому времени он окончательно убедился, что взаимность чувства в этой его любовной истории не станет его уделом. Зная страстность природы Пушкина, можно догадываться, что ему не легко далось такое убеждение. Тайная грусть слышна в часто звучащих теперь и иногда насмешливых припевах его поэзии — обращениях к самому себе: полно воспевать надменных, не стоящих этого;

[113] По Гершензону, это было 18—19 августа, по Лернеру (стр. 484) — около 26 августа или в конце августа.

довольно платить дань безумствам и т. д. А уже в октябре, заканчивая (22 октября) 1-ю главу «Онегина», поэт писал:

Любви безумную тревогу
Я безотрадно испытал.
Блажен, кто с нею сочетал
Горячку рифм: он тем удвоил
Поэзии священный бред,
Петрарке шествуя во-след,
А муки сердца успокоил,
Поймал и славу между тем,
Но я, любя, был глуп и нем.
Прошла любовь явилась муза,
И прояснился темный ум.
Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум;
Пишу, и сердце не тоскует;
Перо, забывшись, не рисует
Близ неоконченных стихов
Ни женских ножек, ни голов;
Погасший пепел уж не вспыхнет,
Я все грущу, но слез уж нет
И скоро, скоро бури след
В душе моей совсем утихнет...

Но своей высоты примирительное настроение поэта достигает в «Цыганах». Любовь поэта была не признана, отвергнута. Почему случилось так, где законы этого своеволия чувства? Ответ на этот вопрос дан в «Цыганах». Освобожденная от уз закона стихийность чувства признана в речах старого цыгана.

Кто сердцу юной девы скажет
Люби одно, не изменись!
.....
Волнее птицы младость?
Кто в силах удержать любовь?

Пред стихийностью чувства, которое не могло отвечать ему, должен был преклониться и поэт. Но сознание необходимости погасить свое чувство, сознание, вызванное горькой уверенностью в безнадежности его, не связывалось у Пушкина с потемнением любимого образа. И в июне 1824 года, когда Пушкину пришлось коснуться своего чувства в письме к Бестужеву, "мнением этой женщины он дорожил более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики".

Но неразделенная любовь бывает подобна степным цветам и долго хранит аромат чувства. Сладкая мучительность замирает и сменяется тихими и светлыми воспоминаниями: идеализация образа становится устойчивой, а не возмущенная реализмом чистота общения содейст-

вует возникновению мистического отношения к прошлому. Исключительные обстоятельства — великие духовные страдания и героическое решение идти в Сибирь за любимым человеком — с новой силой привлекли внимание поэта к этой женщине, едва ли не самой замечательной из всех, что появились в России в ту пору, и образ ее не только не потускнел, но и заблистал с новой силой и в новом блеске.

Решившись в середине 1823 года бросить свой петраркизм, поэт отдался на волю своих похотей и страстей и жил разнообразной и широкой чувственной жизнью. Осенью 1823 года вместе с Амалией Ризнич он пережил все стадии бурной и разделенной страсти и испытал долго памятные ему мучения ревности. После нее было новое увлечение (в Одессе), история которого пока совсем еще темна для нас. Потом последовали увлечения не долгие и качественно различные. Тут были и тригорские барышни, и А. П. Керн, и крепостная "девка", и С. Ф. Пушкина и, может быть, другие московские девицы. В 1828 году, когда Пушкин обдумывал и писал свою «Полтаву», он кружился в петербургском свете, присматриваясь к нему. Результаты наблюдений мы находим в «Онегине». В этом 1828 году он сильно увлекался А. А. Олениной и А. Ф. Закревской. И подобно тому, как в черновых тетрадях южных он беспрестанно рисовал женские ножки в стременах и без стремян, так в той тетради, которой он пользовался в 1828 году, он беспрестанно чертил анаграмму имени и фамилии Олениной. Наивностью веет от этих Aninelo, Etenna, Aninelo, которые рассыпаны в тетради. На одной странице нам попалась даже тщательно зачеркнутая, но все же поддающаяся разбору запись Annette Pouschkine. А по поводу Закревской Вяземский писал 15 октября 1828 года А. И. Тургеневу: "Целое лето Пушкин крутился в вихре петербургской жизни, воспевал Закревскую"[114]. Известны стихи Пушкина, посвященные этой увлекательной и эксцентричной женщине. Ее попытался изобразить Пушкин в этом же 1828 году, по свежим следам, в неоконченном наброске «Гости съезжались на дачу» в героине Зинаиде Вольской. Друзьям казалось, что рассеянная жизнь, бурные увлечения могут погубить поэта[115], но за этим бросавшимся в глаза шумом и разгулом совершалась не заметная для других работа совести и сознания[116]. Достаточно сказать, что в мае этого года был написан покаянный псалом Пушкина «Вос-

[114] «Остафьевский Архив», т. III, стр. 179.

[115] Вот отрывок из письма Вяземского к А.И.Тургеневу от 18 апреля 1828 года: "Пушкин просился следовать за главною квартирою, и ему позволили, только неизвестно еще в каком виде (это сообщение Вяземского было преждевременным и неверным)... Здесь (в СПб.) ведет он жизнь самую рассеянную, и Петербург мог бы погубить его. Ратная жизнь переварит его и напитает воображенье существенностью. До сей поры главная его поэзия заключалась в нем самом". («Архив бр. Тургеневых», в. 6, стр. 65).

[116] Любопытно, что как раз в этот год самоанализа и расскаяний Пушкин разоблачил Онегина: в это время написаны строфы, описывающие, как Татьяна нашла разгадку Онегина.

поминание» и набросаны первые, тоже "покаянные" строфы «Воспоминания в Царском Селе». В этом году Пушкин очень остро переживал свои воспоминания и давал тяжкий отчет своей совести. Его состояние тягостно осложнилось еще разыгравшимся осенью этого года расследованием о «Гавриилиаде». Пушкина могла постигнуть тяжелая кара, быть может, ссылка —

Прямо, прямо на восток.

Уверенность поэта в себе, в собственной твердости в это время подверглась большим испытаниям. Ожидая грозы, он писал:

Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль на встречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

Среди таких тяжелых обстоятельств явился Пушкину образ Марии Волконской, женщины великого и непреклонного духа; затихшее чувство снова взволновалось, и чистый аромат неразделенной любви стал острым и сильным. Все увлечения поэта побледнели, подобно свечам, бледнеющим перед лучами дня. Пустыня света обнажилась. В эти минуты у поэта было одно сокровище, одна святыня — образ М. Н. Волконской, последний звук ее речей[117].

В самой «Полтаве», которую Пушкин так трогательно и таинственно посвятил М. Н. Волконской, мы находим историю неразделенной любви. Пушкин, конечно, воспользовался своим опытом и вложил в описание этой любви (в сущности, для поэмы не нужное) много черточек субъективных. И с какой любовью, с каким тщанием он выписывал образ своего романтического казака! Этот казак был тоже в числе многих, презренных Марией Кочубей. Он любил ее с младенческих лет любовью страстной.

Вечерней, утренней порой,
На берегу реки родной,
В тени украинских черешен,
Бывало он Марию ждал
И ожиданием страдал,
И краткой встречей был утешен.
Он без надежд ее любил,
Не докучал он ей мольбою:
Отказ бы он не пережил.
Когда наехали толпою

[117] Нам известна еще эпитафия Пушкина на смерть сына М. Н. Волконской («Арх. Раевских», т. I, стр. 266) и записочка, в которой Волконская благодарит поэта за стихотворение. Этот обмен относится к 1828—1829 годам.

К ней женихи, — из их рядов
Уныл и сир он удалился...

Не собственную ли свою историю рассказывает в этих стихах Пушкин? Читая повесть сердечных страданий казака, М. Н. Волконская должна была узнать "звуки приверженной ей души", "глас преданной ей музы".

Задача наших разысканий представляется нам выполненной. Легенде, столь красиво рассказанной Гершензоном, не место в биографии Пушкина, но об истории "утаенной" любви, любви "отверженной и вечной", о которой мы знали по неясной традиции, мы можем теперь говорить с совершенной уверенностью. Наши наблюдения над текстом и биографические справки позволяют составить довольно определенное и достоверное представление об этом эпизоде из истории сердца Пушкина.[122]

<...>

РАЕВСКАЯ Мария Николаевна (1805 или 1807 — 1863), в январе 1825 года вышла замуж за декабриста С. Н Волконского, без любви, по желанию отца. После суда над Волконским вопреки воле родителей поехала за мужем в Сибирь

Пушкин познакомился с семейством Раевских в Петербурге через брата Марии Николая, который служил в Царском Селе в лейб-гвардии Гусарском полку Особенно сблизился он с семейством Раевских на юге, почти сразу после своего приезда из Петербурга в Екатеринослав, где в это время была резиденция И. И Инзова — главного попечителя и председателя Комитета об иностранных поселенцах южного края России, к канцелярии которого был приписан сосланный Пушкин. Вот как сам Пушкин вспоминает о встрече и путешествии с семьей Раевского в письме к брату от 24 сентября 1820 г.: "Генерал Раевский, который ехал на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, нашел меня в жидовской хате, в бреду, без лекаря, за кружкою оледенелого лимонада. Сын его <...> предложил мне путешествие к Кавказским водам, лекарь, который с ним ехал обещал меня в дороге не уморить, Инзов благословил меня на счастливый путь <...> Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12 года; человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества <...> Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался <...> любимая моя надежда увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского" (XIII, 17, 19). С Марией Николаевной Пушкин встречался позднее в Кишиневе (июнь 1821) и Одессе (октябрь—декабрь 1822). М. Волконская — автор «Записок» о декабристской каторге, в которых несколько страниц уделено Пушкину. Отец, умирая, назвал ее самой удивительной женщиной.

Современники оставили противоречивые суждения о ее внешности. Граф Олизар называет ее "стройной красавицей, смуглый цвет лица которой находил оправдание в черных кудрях густых волос и пронизывающих, полных огня очах". (Pamietniki (1798—1865) Gustawa Olizara z predm. S. Leszcyca. Lwów. 1892. S. 174) Иной представлялась она В. И. Туманскому. 5 декабря 1824 г. он писал сестре Софье, что Мария, "идеал Пушкинской Черкешенки (собственное выражение поэта), дурна собой, но очень привлекательна остротою разговора и

нежностью обращения" (*Туманский В.И.* Стихотворения и письма. СПб, 1912. С. 272). Олизар увлекся Марией Николаевной и в 1823 году сделал ей предложение, но получил отказ, мотивом которого было выставлено различие религий и народности. Узнав об этом эпизоде, Пушкин, хорошо знавший Олизара и хорошо к нему расположенный, в 1824 г. начал писать послание к нему, где есть такая строфа:

И тот не наш, кто с девой вашей
Кольцом заветным сопряжен;
Не выпьем мы заветной чашей
Здоровье красных ваших жен;
И наша дева молодая,
Привлекши сердце поляка,
Отвергнет, гордостью пылая,
Любовь народного врага

Олизар, убитый отказом Раевской, уединился в купленном им (в Крыму) поместье, которое назвал греческим именем «Карди Ятрикон» (лекарство сердца). О его отвергнутой любви упоминает и Мицкевич в одном из своих крымских сонетов.

Мария Раевская была одной из двух сестер, с которыми Пушкин путешествовал по Кавказу и Крыму. Одному из эпизодов этой поездки посвящена XXXIII строфа первой главы «Евгения Онегина»:

Как я завидовал волнам,
Бегущим бурною чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!

Сама М. Раевская вспоминала об этом так: "Завидев море, мы приказали остановиться, вышли из кареты и всей гурьбой бросились любоваться морем. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала забавляться тем, что бегала за волной, а когда она настигала меня, я убегала от нее; кончилось тем, что я промочила ноги <...> Пушкин нашел, что эта картинка очень грациозна, и, поэтизируя детскую шалость, написал прелестные стихи; мне было тогда лишь 15 лет". (П. в восп. Т. 1. С. 214—215).

Уже эта строфа и комментирующие ее «Записки» мемуаристки давали основание П. Е. Щеголеву видеть в Марии Николаевне предмет "утаенной любви" Пушкина. Потом это мнение подкрепилось замеченной Щеголевым в вариантах «Посвящения» «Полтавы» строкой: "Сибири хладная пустыня". Сама она не отрицает влюбленности поэта, осторожно замечая, что "как поэт, он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, с которыми он встречался", а "в сущности, он обожал только свою музу и поэтизировал все, что видел". (Там же. С. 214, 215).

Еще раз Пушкин встретился с М. Раевской 26 декабря 1826 года в Москве,

у ее дальней родственницы Зинаиды Волконской С ней он хотел послать сосланным декабристам свое «Послание узникам» (так она называет пушкинское послание «Во глубине сибирских руд. .»), но не успел и послание передал с уезжавшей позднее Александрой Муравьевой По дороге "в каторжные норы" к мужу, в Чите М Волконскую догнало известие о смерти ее двухлетнего сына.

На смерть ее первенца Пушкин прислал в Сибирь эпитафию:

В сиянье, в радостном покое,
У трона Вечного Отца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное
Благословляет мать и молит за отца.

Мнение Щеголева о М. Раевской-Волконской как предмете "утаенной любви" Пушкина настолько утвердилось в пушкиноведении, что с ее именем связывали не только «Посвящение» «Полтавы», но и такие стихотворения, как «Редеет облаков летучая гряда...» (1820), «Таврида» (1822), «Ненастный день потух...» (1824), «Буря» (1825), «Не пой красавица при мне.. » (1828), «На холмах Грузии...» (1829). Из всех этих стихотворений только «На холмах Грузии...» можно с полной уверенностью отнести к Марии Раевской. Оно записано в тетради, которую вел поэт во время поездки в Арзрум Приближение к Кавказу погрузило поэта в мир романтических чувств, пережитых ранее. Образ "светлой печали", которая определяет эмоциональную окраску первой строфы — это концентрация душевного состояния, вызванного воспомнанием о прошлом и размышлением о настоящем. Не случайно метафора "твоя печальная пустыня" возникает в вариантах «Посвящения» «Полтавы». И в тетради, рядом со стихотворением, Пушкин рисует профиль Марии Раевской.



П. К. Губер

Дон-Жуанский список Пушкина

6 Зак. 603

III

Теория Щеголева покоится на целом ряде отдельных свидетельств, из коих каждое устанавливает определенный факт или, по крайней мере, позволяет верить в его возможность. Так, не подлежит сомнению, что Пушкин увлекался одною из сестер Раевских, будучи в Крыму, что он слышал впервые легенду о бахчисарайском фонтане из уст молодой женщины (которую, впрочем, сам обозначал буквою К.),[1] что поэма наполнена воспоминаниями о неудачной любви, что он сердился на Бестужева за напечатание последних строк его элегии, посвященных одной из Раевских, и говорил, что дорожит ее мнением больше, чем мнением журналов и публики; наконец, несомненно, что слово *Сибирь* встречается в посвящении «Полтавы».

Сверх того весьма вероятно, чтобы образы Черкешенки и Заремы созданы под воспоминанием о Марии Раевской.

Особенность теории Щеголева состоит в том, что она эти разрозненные указания собирает воедино. Таким образом, перед нами цепь уравнений: "элегическая красавица" = женщина, рассказавшая легенду о фонтане = героиня увлечения, пережитого в Крыму = особа, на которую намекает «Разговор книгопродавца с поэтом» и *любовный бред* крымской поэмы = предмет утаенной любви, засвидетельствованной посвящением «Полтавы» = Мария Раевская.[2]

Невозможно не заметить, что далеко не все звенья этой цепи достаточно прочно спаяны между собой: в двух случаях скрепой служат вымаранные строчки черновиков, один раз Щеголеву приходится допустить, что Пушкин умышленно поставил одну начальную букву имени вместо другой, и один раз он основывается на словах влюбленного и далекого от всякой объективности графа Олизара.

Впрочем, все это еще сравнительно неважно. Строки в письме Пушкина к Бестужеву являются довольно веским доводом и позволяют забыть об относительной слабости остальных, с ним смежных. Гораздо хуже то, что вне поля зрения исследователя остаются и надлежащего объяснения не получают некоторые другие факты, тоже частью несомненные, а частью весьма вероятные.

Таково прежде всего свидетельство стихов о неудачной любви и творческом бесплодии ("а я, любя, был глуп и нем"),[3] начавшемся

еще до поездки на юг и прекратившемся в первую же ночь по приезде в Крым, на корабле, в виду Гурзуфа, где, по предположению Щеголева, Пушкин окончательно влюбился в Марию Раевскую. В своей критике положений Гершензона Щеголев как-то обходит этот вопрос и только упрекает своего оппонента в незнакомстве с черновыми рукописями или в неумении пользоваться ими.

На втором месте следует напомнить положение букв N.N. в Дон-Жуанском списке. Совершенно несомненно, что эти буквы стоят среди имен петербургского, а не южного периода. Правда, хронологический порядок в списке не имеет абсолютной точности; правда так же, что это альбомная шутка, а не серьезный документ. Поэтому решающего значения он иметь не может. Все же мы получаем право еще раз вглядеться в этот перечень: быть может, нам удастся заметить какие-нибудь особенности, которые раньше ускользнули от нашего взора.

И действительно, при внимательном рассмотрении мы одну такую особенность замечаем:

Имена Катерины и Наталии повторяются в списке: первое — четыре, а второе — два раза. Чтобы не сбиться в счете, Пушкин с юмористической важностью ставил против этих имен римские цифры, словно то были имена королев. Так, мы имеем Катерину I, затем — II, III и IV-ю. Против имени первой Наталии также красуется единица. Но вторая Наталья — Н. Н. Гончарова — не имеет около себя никакой цифры. Если перед нами не простой недосмотр, если пропуск сделан сознательно, то он может иметь только одно объяснение: Н. Н. Гончарову нельзя было поименовать, как Наталью II, ибо Наталья II была указана выше, хотя и скрытым образом в виде букв N.N.; нельзя было назвать последнюю Натальею и Натальей III, ибо тогда раскрылась бы тайна пропущенного имени. И потому Пушкин вовсе пропустил цифру.

Само собой разумеется, это еще не решающий довод, это только намек, только беглое указание, которому мы, однако, должны последовать.

Где под пером Пушкина встречается имя Натальи? Лицейские стихи к Наталье, молодой актрисе, — сюда очевидно не относятся, равно как и письма и другие обращения к жене. Но уже то обстоятельство, что в черновиках «Полтавы» Мария Кочубей первоначально называлась Натальей, должно заставить нас призадуматься. "Я люблю это нежное имя" — гласит английский эпиграф, замененный в печатном издании цитатой из байроновского «Мазепы».[14] Какое имя? Наталья или Мария? Весы как будто колеблются.

Но продолжим наши поиски.

Как уже было сказано, Н. Н. Раевский младший, по-видимому был (и притом едва ли не он один) посвящен в секрет утаенной любви Пушкина. В мае 1825 г. он писал поэту из Белой Церкви: "Отец и мать вашей графини Наталии Кагульской уже неделю, как находятся здесь.

Я им читал публично вашего Онегина; они в восхищении"[1].[5]

Л. Н. Майков, впервые опубликовавший это письмо, с недоумением замечает, что никаких графов Кагульских ему не удалось обнаружить в России в первой четверти XIX века.[6] Но, конечно, комментатор шел неправильным путем: здесь не фамилия, но прозвище, понятное двум друзьям. И прозвище это немедленно приводит на память два стихотворных отрывка, из коих первый относится к 1819, а второй к 1821—1823 г.г.[7]

I

Воспоминаньем упоенный,
С благоговеньем и тоской,
Объемлю грозный мрамор твой,
Кагула памятник надменный!
Не смелый подвиг Россиян,
Не слава, дар Екатерине,
Не задунайский Великан
Меня воспламеняют ныне...
30 марта 1819 г.

II

Чугун Кагульский, ты священ
Для Русского, для друга славы,
Ты средь торжественных знамен
Упал, горящий и кровавый,
Героев Севера губя,
Но...

П. В. Анненков, комментируя первую пьесу, заметил, что она содержит "намек на одну из любовных шашней, которыми был так богат первоначальный Лицей". Указание не совсем точное, поскольку в 1819 году Пушкин уже давно не был лицеистом. Однако, любовный характер стихов, вопреки мнению академического редактора, не подлежит спору. Поэт приближается к памятнику, воздвигнутому в Царском Селе в честь победы Румянцева над турками при Кагуле — "воспоминаньем упоенный". Очевидно он вспоминает о каком-то событии из собственной жизни, связанном с этим памятником, о какой-то встрече, имевшей место вблизи него, и воспоминанье это вызывает в нем благоговение и тоску.

Второе стихотворение, обращенное к осколку турецкой бомбы,

[1] В оригинале: "Le père et la mère de votre Comtesse Natalie de Cagoul sont ici depuis une semaine. Je leur ai lu en séance public votre *Онегин*; ils en sont enchantés". Переписка Пушкина. Акад. Изд., т. I, стр. 212.

подобранному на кагульском поле, не содержит, в отличие от первого определенно выраженных любовных элементов. Перед нами только первая часть антитезы: образы битвы и военной славы. Однако, аналогия с отрывком 1819 г. и многозначительная частица *но*, начинающая последнюю написанную строку, позволяет угадать дальнейшее развитие поэтической темы: кагульский чугун, священный для сердца каждого русского, вследствие воспоминаний о кровопролитной битве, приводит на ум поэта другие, более мирные картины. Торжественная ода должна была перейти в унылую элегию.

Итак, мы имеем три указания, тесно примыкающие одно к другому: в 1819 г. Пушкин при взгляде на кагульский памятник вспоминал и, притом с чрезвычайным лирическим подъемом, какую-то любовную сцену, связанную с царскосельским парком; в 1821 году или немного позднее, эти воспоминания вновь пробудились, лишь только он увидел осколок кагульского ядра; наконец, в 1825 г. Н. Н. Раевский, знавший, конечно, что сообщение это способно заинтересовать Пушкина, писал о своем свидании с родителями графини Натальи Кагульской, прозванной так, надо полагать, в честь кагульского памятника, бывшего свидетелем ее встречи с поэтом. Встреча, происшедшая не позднее 30 марта 1819 г., очевидно оставила весьма глубокое впечатление, если друг не счел неуместным напомнить о ней шесть с лишним лет спустя.

Но какое фамильное имя носила таинственная графиня Наталья?

Об этом можно узнать от того же Раевского. Его письмо к Пушкину датировано 10 мая 1825 г. А за девять дней перед тем он писал из Тульчина (в окрестностях Каменки) брату Александру: "Вы не сообщаете мне никаких новостей с тех пор, как находитесь в Белой Церкви. Вот что я могу сказать вам наиболее интересного: я представлялся Кочубеям, проезжая здесь, и только что вернулся из паломничества в Антоновку[2].

1 мая, 1825 г. Тульчин".

Это письмо дает искомое решение задачи. Пушкинская графиня Наталья была не кто иная, как Наталья Викторовна Кочубей, дочь графа Виктора Павловича, министра внутренних дел, путешествовавшего, как известно, в 1825 г. по югу России.

Имя Натальи Кочубей не является вполне незнакомым исследователям и комментаторам Пушкина. Но они не отводят ей в биографии поэта того видного места, на которое, по нашему предположению, она имеет право.

О ней обычно упоминают, комментируя лицейское стихотворение

[2] Vous ne me donnez aucune nouvelle depuis que vous êtes à Biela tserkof. Voici ce que je puis vous dire de plus interessant. Je me suis présenté chez Kotchubey à mon passage par ici et je reviens d'un pèlerinage à Antonowka". Архив Раевских, т. I, стр. 253.

«Измены» — одно из самых ранних, отнесенное первыми издателями к 1812 г., но в действительности написанное, по-видимому, в 1815 г., а также послания 1816 г. «К Наташе» (предположение А. А. Блока см. в собр. соч. Пушкина под редакцией С. А. Венгерова, т. I, стр. 358),[8] и, наконец, уже совершенно ошибочно, стихи, сопровождавшие оду «Вольность» ("Простой воспитанник природы" и т.д.) и печатавшиеся прежде в числе пьес 1827 г., но академическим изданием правильно отнесенные к 1819 г.[9] и связанные с именем княгини Е. И. Голицыной. Мимоходом называет Наталию Викторовну Кочубей граф М. А. Корф, по словам которого она была первым лицейским увлечением Пушкина.[10] Из указания Корфа можно заключить, что после 1812 г. семья Кочубеев жила в Царском Селе и что Наталия Викторовна посещала лицей. Наконец, сам Пушкин говорил П. А. Плетневу, что именно она описана в XIV строфе восьмой главы «Онегина»:

К хозяйке дама приближалась,
За нею — важный генерал... и пр.[11]

Последнее указание весьма знаменательно, ибо эти строки относятся к Татьяне, которую Онегин впервые видит на великосветском рауте. Это значит, что Пушкин думал о Н. В. Кочубей еще во второй половине двадцатых годов и, быть может, встречался с нею в свете. Но на этом кончаются все наши положительные сведения об отношении поэта к графине. Впрочем и о ней самой мы знаем очень немного. Она родилась в 1800 году. Ее отец был в числе ближайших сотрудников императора Александра I, да и при Николае занимал исключительно высокие посты, до председательствования в государственном совете и в совете министров включительно. Императрица Александра Федоровна, жена Николая I, в своих мемуарах рассказывает: "Теперь приспело время поговорить о семье Кочубеев. Они находились в отсутствии в течении нескольких лет и лишь в 1818 г. граф, графиня и их красивая дочь Натали были мне представлены в Павловске" [3]

Вскоре после этого представления Наталия Викторовна вышла замуж за графа Александра Григорьевича Строганова. О муже ее мы знаем несколько больше, нежели о ней. Представитель одной из богатейших фамилий в империи, он получил образование в корпусе инженеров путей сообщенья, по окончании курса в котором определился в лейб-гвардии артиллерийскую бригаду, участвовал в войнах против Наполеона, начиная с 1812 г., отличился под Дрезденом, Кульмом и Лейпцигом и был свидетелем первой капитуляции Парижа. В 1831 г. он еще находился на действительной военной службе и усмирял польских повстанцев, но в 1834 г. перешел в министерство внутренних дел и был сразу назначен товарищем министра; затем последовательно был

[3] «Русская Старина» 1896 г. октябрь, стр. 47.

черниговским, полтавским и харьковским генерал-губернатором, управлял министерством внутренних дел (с 1839 по 1841 г.), состоял членом государственного совета, был петербургским военным губернатором (в 1854 г., во время Крымской кампании) и, наконец, в течение девяти лет занимал должность новороссийского и бессарабского генерал-губернатора. Жена его скончалась 22 января 1855 г., но сам он намного пережил ее и умер только в 1891 г., не дотянув лишь четырех лет до сотого дня своего рождения. Весьма возможно, что это исключительное долголетие повлекло за собою одно последствие, которое нам на всякий случай нужно иметь в виду. Все упоминания о графе А. Г. Строганове, а также о жене его, в многочисленных мемуарах, принадлежащих разным лицам и изданных при его жизни, очень сдержанны и скупы на подробности. Поэтому отношения Пушкина к графине неизбежно должны были остаться в тени, если б даже кто-нибудь из друзей поэта о них и догадывался.

IV

Теперь сопоставим скудные данные, сохранившиеся о графине Н. В. Кочубей, со всем тем, что нам известно об утаенной любви Пушкина.

Оба стихотворения кагульскому памятнику несомненно навеяны воспоминанием о графине Наталии Кагульской, т.е. Н. В. Кочубей. Но обратим внимание на дату первого стихотворения — "30 марта 1819 г.". Само стихотворение сохранилось в двух вариантах, несколько отличающихся один от другого. В одном, по-видимому позднейшем, варианте дата стоит под стихами. В другом, раннем, и во всяком случае менее обработанном, она входит в состав заглавия: «Кагульскому памятнику, 1819 г., 30 марта». Пушкин часто датировал свои стихи не днем их фактического написания, но днем того события, к которому они относились. Так, стихотворение «Герой» датировано днем приезда Николая I в объятую холерой Москву. То же могло повториться и в данном случае, на что по-видимому указывает присоединение даты к заглавию и, сверх того, настойчивое повторение датировки в обоих незаконченных вариантах. Если эта догадка справедлива, то отсюда следует, что Пушкин либо встретился с графиней Н. В. Кочубей 30 марта 1819 г. вблизи Кагульского памятника, либо, что гораздо вероятнее, один навестил этот памятник и при этом вспомнил встречу с графиней, совершившуюся на этом месте когда-либо раньше.

Из заметки М. А. Корфа мы знаем, что Пушкин впервые познакомился с графиней около 1812 г. В это время и она, и будущий поэт были еще детьми. Любовь в собственном смысле слова вряд ли могла при таких обстоятельствах зародиться, но легко представить себе случайную встречу на прогулке в виду памятника, встречу, прочно сохранившуюся в памяти Пушкина. Затем, в течение нескольких лет Кочубеи находились в отсутствии. Их представление великой княгине (по-

зднее императрице) Александре Федоровне последовало в 1818 г. Немедленно после этого "красивая Натали" конечно начала выезжать и, вероятно, встречалась с Пушкиным в обществе. Можно думать, что он влюбился в нее в начале 1819 года, что подтверждается между прочим положением букв N.N. в Дон-Жуанском списке. Дата 30 марта 1819 г. отметила кульминационный пункт этой любви, отвергнутой и неразделенной.

В «Разговоре книгопродавца с поэтом», желая обрисовать (умышленно неясными чертами) места, с которыми было связано самое значительное из любовных увлечений его жизни, Пушкин говорит: "Там, там, где тень, где лист чудесный, где льются вечные струи".

Характерно, что комментаторы видели в этих строках ясное указание на Крым, тогда как тени и листьев сколько угодно в Павловском и Царскосельском парках, а выражение "вечные струи" больше подходят к струям дворцовых фонтанов, нежели к волнам Черного моря или даже к Бахчисарайскому фонтану, вода из которого льется не струею, но каплями, похожими на слезы.

Ранее знакомство Пушкина с Н. В. Кочубей позволяет, с известной долей вероятия, отнести к ней еще один черновой набросок 1819 г.

...она при мне
Красою нежной расцветала
В уединенной тишине...
В тени пленительных дубрав
Я был свидетель умиленный
Ее младенческих забав.
Она цвела передо мною,
Ее чудесной красоты
Уже угадывал мечтою
Ее неясные черты.
И мысль об ней одушевила
Моей цевницы первый звук...[12]

Стихи, послужившие впоследствии прообразом той строфы «Онегина», в которой описываются отношения Ленского к Ольге Лариной, были набросаны в незаконченном виде летом 1819 года, во время пребывания поэта в отпуску в Михайловском. Осенью он вернулся в Петербург, а зимою в его творчестве вдруг наступила полоса упадка, длившаяся несколько месяцев и закончившаяся только в Крыму:

А я, любя, был глуп и нем.

Все же, кроме нескольких необработанных отрывков и эпиграмм, он успел создать за эти месяцы два совершенно законченных стихотворения — и по заглавию, и по содержанию тесно примыкающие одно к другому. Оба они написаны в чисто антологическом роде, но в

свете уже известных нам данных в них можно усмотреть кое-какие автобиографические намеки.

I

ДОРИДЕ

Я верю: я любим; для сердца нужно верить.
Нет, милая моя не может лицемерить;
Все непритворно в ней: желаний томный жар,
Стыдливость робкая, Харит бесценный дар,
Нарядов и речей приятная небрежность
И ласковых имен младенческая нежность.
(январь).

II

ДОРИДА

В Дориде нравятся и локоны златые,
И бледное лицо, и очи голубые.
Вчера, друзей моих оставя пир ночной,
В ее объятиях я негу пил душой;
Восторги быстрые восторгами сменялись,
Желанья гасли вдруг и снова разгорались;
Я таял: но среди неверной темноты
Другие милые мне виделись черты,
И весь я полон был таинственной печали,
И имя чуждое уста мои шептали.

В предварительном наброске "милые черты" обрисованы несколько рельефнее:

[Другой мне чудились]
И кудри черные, и черные ресницы.[13]

Итак, у поэта есть возлюбленная по имени Дорида. Она принадлежит к числу "харит", т.е. тех женщин, у которых "стыдливость робкая" является бесценным и редким даром, ибо в подавляющем большинстве своем они лишены этого дара. Они легко доступны. Нет ничего проще, как, оставя "пир ночной" с приятелями, отправиться к ним, чтобы "пить негу". Но и в объятиях хариты поэта преследует воспоминание *о другой*, которую одну он любит подлинной, неискоренимой любовью. К несчастью, эта другая

Отвергла заклинанья,
Мольбу, тоску души...

Она, словно божество, не нуждается в излиянии земных восторгов и предстоит поэту лишь как бесплотная мечта.

Наше изъяснение стихов, обращенных к Дориде, могло бы показаться искусственным и натянутым, если б его нельзя было подкрепить ссылкой на прозаический отрывок, относящийся к тому же 1819 г. Здесь узнаем мы настоящее имя и совершенно недвусмысленно общественное положение хариты с золотыми локонами, которую по паспорту звали не Дорида, а Надежда, в просторечии Надинька.

"У гусара Ю. было дружеское собрание. Несколько молодых людей — по большей части военные — весело проигрывали свое именье поляку Ясунскому, который держал маленький банк для препровождения времени и важно передергивал по две карты. Тройки, разорванные короли, загнутые валеты сыпались на пол и пыль.

— Неужто два часа ночи? Боже мой, как мы засиделись. Не пора ли оставить игру? — сказал Виктор N молодым своим товарищам. Все бросили карты и встали из-за стола... Всякий, докуривая трубку, стал считать свой или чужой выигрыш, и облака стираемого мела смешались с дымом турецкого табаку. Поспорили и разъехались.

— Поедем вместе, не хочешь ли вместе отужинать? — сказал Виктору ветренный Вельверов: — я без ужина никак не могу обходиться, а ужинать могу лишь в кровати. Познакомлю тебя с очень милой девчонкой. Ты будешь меня благодарить. Виктор одобрил эту похвальную привычку. Оба сели в дрожки и полетели по улицам Петербурга".

На этом заканчивается отрывок, носящий заглавие «Надинька». Сюжетное сродство его со стихотворением «Дориде» более чем вероятно. Рассказ должен был продолжаться по схеме, намеченной в этих стихах. Виктор N, оставшийся наедине с Надинькой, вспомнил бы "другие, милые черты" и т.д. Но мы не будем задаваться здесь целью воссоздать во всех подробностях прозаическую повесть Пушкина, едва начатую и оставленную на первой странице (ибо нельзя, как делают некоторые комментаторы, видеть в отрывке первый приступ к много позднейшей «Пиковой даме»), а остановимся лишь на заглавии. Это последнее интересно в том отношении, что рядом с именем Надиньки стоит другое зачеркнутое имя — *Эльвина*, которое в данном контексте дает возможность построить ряд новых предположений.

Нет спора, что Эльвина, наряду с Делией, Хлоей, Темирой, Лидией и пр. принадлежит к числу условных, почти нарицательных имен элегической поэзии начала XIX века. Пушкин не раз пользовался им в своих ранних стихотворениях. Но несколько лет спустя, с совершенно иной, усиленно подчеркнутой интонацией, он сказал о Крыме:

Златой предел... *Любимый край Эльвины.*
Туда летят желания мои...[14]

Посещала ли Н. В. Кочубей южный берег Крыма и Бахчисарай до 1819 г.? Мы не в состоянии с уверенностью ответить на этот вопрос, но, конечно, в факте подобного рода нет ничего невероятного. А допустив предположительно этот факт, мы получаем право вновь вернуться к известному уже рассказу Пушкина о создании поэмы о фонтане. "К. описывала мне..." и т.д. Мы видели, как споткнулся об эту букву П. Е. Щеголев, как для спасения своей теории он был вынужден подозревать Пушкина в намеренной мистификации и предполагать, что поэт, писавший эти строки в 1824 г., предвидел, что в 1826 г. они будут опубликованы в «Северных Цветах». Нам нет нужды прибегать к столь искусственным объяснениям. Фамилия Н. В. Кочубей начинается как раз этой буквой. Сопоставляя стихи о Дориде с отрывком, сохранившим имена Надиньки и Эльвины, мы шли ощупью в потемках. Выдержка из Пушкинского письма, естественным образом оказавшаяся в конце пути, подтверждает, что мы все-таки не заблудились.

Любовь Пушкина в Н. В. Кочубей не встретила отклика. Он уехал на юг, унеся с собой бремя мучительных воспоминаний. "Сон любви забытой" тревожил его несколько лет кряду. Особенно живы и остры казались воспоминания, когда он жил в Крыму, где все напоминало об Эльвине. Но вместе с тем здесь подстерегало его новое чувство, менее глубокое, но зато доставившее больше счастливых минут. И однако, летучая тень графини Натальи носилась перед его умственным взором по опустевшему ханскому дворцу Бахчисарая. Душа его раздваивалась. И «Пленник», и «Фонтан» хранят следы этой двойственности.

В «Кавказском пленнике», в сущности, две героини: одна присутствующая — черкешенка, другая — отсутствующая, никак не названная и не получившая никакой определенной характеристики, — неизвестная красавица, оставшаяся в России, предмет *северной* любви Пленника. В «Бахчисарайском фонтане» образ черкешенки несколько изменился: вместо юной, невинной девы горы перед нами грузинка Зарема, более страстная, более ревнивая, более опытная в чисто женском смысле, несомненно *старшая годами.* Последняя деталь, быть может, объясняется тем, что "натуршицей" для создания типа Заремы послужила уже не Мария Раевская или, во всяком случае, не она одна, а которая-либо из ее сестер — Екатерина или Елена. Но и характер безымянной, отсутствующей красавицы из первой южной поэмы претерпел во второй поэме значительную эволюцию. Она, правда, как и прежде, не стоит на первом плане, проводит все время в особом, замкнутом для всех гаремном притворе, опять-таки *отсутствует* в большинстве сцен. Но она уже получила имя и характеризуется вполне конкретными чертами. Конечно, она, а не Зарема, стоит в центре поэмы. *Любовный бред* должен был быть связан с нею. Ее *летучая* тень носилась перед мысленным взором Пушкина, когда он прогуливался по Бахчисарайскому дворцу в обществе отнюдь не призрачной Марии Раевской.

Когда Пушкин в 1923 году говорил Туманскому, что многие места в поэме о фонтане относятся к женщине, в которую он был долго и глупо влюблен[115], он имел в виду Н. В. Кочубей. Она послужила в конечном счете оригиналом для создания образа пленной княжны и, что еще важнее, именно от нее он слышал впервые крымскую легенду. Немного времени спустя после этого в печати появилась элегия, посвященная одной из Раевских.[116] Пушкин рассердился на напечатание трех последних строк ее, и горько пенял за это Бестужеву. Очевидно по опыту он уже знал, как мнительны и обидчивы девицы Раевские, и боялся возбудить их гнев. В письме этом, датированном 12 января 1824 года, речь идет только об элегии «Редеет облаков летучая гряда...» и других лирических пьесах, напечатанных в «Полярной Звезде», но нет еще ни слова о «Фонтане». Об этом последнем заговаривает Пушкин лишь в письме от 8-го февраля того же года, где, напротив, совсем не упомянута элегия и "дева юная", в ней выведенная. Сообщая, что недостаток плана не его вина и что он суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины, Пушкин опять-таки подразумевал гр. Н. В. Кочубей-Строганову. Но вот эти строки, имевшие вполне доверительный характер, угодили в руки Булгарина, а оттуда в печать.[117] Пушкин испугался и рассердился еще больше. Ему угрожала опасность двоякого рода: во-первых, «Литературные Листки» с заметкой Булгарина могли попасться на глаза Наталье Викторовне, которая справедливо отнесла бы их на свой счет; во-вторых, барышни Раевские ошибочно, хотя и с известным основанием, должны были сделать подобное же предположение. Ведь они, конечно, беседовали с Пушкиным о Бахчисарайском фонтане слез, они флиртовали с ним в Крыму, они знали, что кой-какие намеки, к ним относящиеся, содержатся в поэме, и что огненные черные глаза Марии Николаевны там увековечены. Пушкин дорожил мнением Раевских больше, чем мнением всех журналов и всей публики. Он ни за что не хотел показаться перед ними нескромным и неделикатным. Но объясниться с ними начистоту он не имел возможности, не разоблачая того, что почитал в то время святынею своего сердца. Еще труднее было говорить об этом предмете в письме к Бестужеву. Издатель «Полярной Звезды» принадлежал к числу исключительно литературных знакомых Пушкина. Даже *на ты* они сошлись заочно, по переписке. Говорить с Бестужевым совершенно откровенно, посвятить его со всеми подробностями во всю сложную ситуацию, предшествовавшую созданию «Бахчисарайского фонтана», казалось совершенно немыслимым. Обстоятельства дела повелительно требовали какой-либо ловкой дипломатической отговорки, которая, положив конец инциденту, помешала бы редакционной компании «Полярной Звезды» совершать и впредь нескромные разоблачения в печати.

Такой дипломатической отговоркой и явилось письмо Пушкина от 29 июня 1824 года, в которой искусно смешана "элегическая красави-

ца", назвавшая Вечернюю звезду своим именем, с вдохновительницей «Бахчисарайского фонтана». Пушкинская дипломатия имела такой успех, что не только современники, но и позднейшие исследователи, Щеголев первый, были сбиты с толку и даже отказались верить самому поэту, когда, всего несколько месяцев спустя, он совершенно правильно обозначил имя вдохновительницы «Бахчисарайского фонтана» буквою К.

Напомним еще раз: эта буква встречается в письме к Дельвигу, человеку, несравненно более близкому Пушкину, нежели Бестужев. Предположение Щеголева, будто Пушкин сознательно поставил неверную букву, предвидя, что написанные им строки будут отданы Дельвигом в печать, притянуто, так говорится за уши для спасения щеголевской гипотезы, и объективных оснований не имеет. Пушкин мог беседовать с Дельвигом гораздо свободнее, чем с Бестужевым. Нескромность Булгарина прошла незамеченной, не возбудив гнева сестер Раевских, и Пушкин давно успокоился. А буква К. не грозила послужить ключом к загадке, способной занять чье-либо досужее любопытство. Наталья Викторовна была в это время уже замужем за Строгановым, и внимание любителей чужих тайн вряд ли могло обратиться в ее сторону. Но, быть может, Пушкину, когда отрывок из его письма действительно появился в «Северных Цветах»,[118] было приятно довести этим способом до сведения графини, что он помнит ее и благодарен за сообщение сюжета для поэмы.

Понемногу, в течение ряда лет, любовь ослабела, воспоминания изглаживались. Пушкин в своих стихах не платил больше дани безумству, по крайней мере безумству, связанному с предметом его петербургской, северной страсти. Но в 1828 г. в эпоху создания «Полтавы», воспоминания внезапно воскресли вновь. Что способствовало их пробуждению, мы не знаем. Быть может, случайная встреча в свете с графиней Н. В. Строгановой, а быть может только имя героини поэмы. Но не имя Марии, а имя *Кочубей*. Было так естественно рассказ о Марии Кочубей посвятить Наталии Кочубей.

Известно, что самому себе и своей утаенной любви Пушкин отвел место не только в посвящении, но и в самой фабуле своей стихотворной повести. Он поступил по примеру тех художников, которые рисуют иногда собственный портрет на заднем плане большой картины, вмещающей много фигур. Так и здесь влюбленный в Марию молодой казак, в первоначальных набросках носивший историческое имя Чуйкевича, но ставший безымянным в окончательной редакции, — есть не что иное, как силуэт самого влюбленного Пушкина. И это сходство, ясное и несомненное для той, которая должна была "узнать звуки", ей прежде милые, неизбежно наталкивало ее на другие сближения. Если б «Полтава» была действительно написана для Марии Раевской, то старого Кочубея пришлось бы отождествить с генералом Раевским, Петра Великого с Николаем I (подобное сближение в других

случаях не раз допускалось самим Пушкиным, видевшим даже *семейное сходство* между двумя государями),[119] заговор Мазепы оказался бы прообразом заговора декабристов, а роль мятежного гетмана совершенно естественно досталась бы князю С. Г. Волконсому. И следовательно, к нему надобно было бы отнести стихи:

Немногим, может быть, известно,
Что дух его неукротим,
Что рад и честно, и бесчестно
Вредить он недругам своим;
Что ни единой он обиды,
С тех пор, как жив, не забывал;
Что далеко преступны виды
Старик надменный простирал;
Что он не ведает святыни,
Что он не помнит благостыни,
Что он не любит ничего,
Что кровь готов он лить, как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него.

С психологической точки зрения очень трудно и даже почти невозможно допустить, чтобы Пушкин написал такие строки о человеке, который в это время находился на каторге в числе других *друзей, товарищей и братьев* поэта.[120] Трудность только возрастет, если мы вспомним, что князь Волконский был гораздо старше своей юной жены, так что в отношении ее действительно мог казаться почти стариком, и что его поведение во время суда над декабристами было не особенно благовидно, почему его, казалось, легко обвинить в том, что он не ведает святыни и не помнит благостыни.

Из своего сибирского острога декабристы внимательно следили за новинками тогдашней русской литературы, в частности за всем, что выходило из-под пера Пушкина. Княгиня М. Н. Волконская несомненно читала «Полтаву». Она не могла не понять личных намеков, содержащихся в этой поэме, если б они относились к ней, и с полным основанием жестоко вознегодовала бы на поэта.

А какую роль назначал себе Пушкин! Ведь это себя изобразил он в лице молодого казака, который, пускаясь в путь на север, как известно, больше всего дорожил своею шапкой —

Затем, что в ней донос зашит,
Донос на гетмана злодея
Царю Петру...

Связывать «Полтаву» с личностью Марии Раевской это значит предполагать, что Пушкин готов был позавидовать лаврам Шервурда-Верного, выдавшего декабристов. Право, одного этого соображения до-

статочно, чтобы поколебать теорию Щеголева, если б даже она не имела никаких других уязвимых мест[4].

Применительно к Н. В. Кочубей всевозможные сближения действующих лиц поэмы с живыми, реально существовавшими людьми теряют свою остроту. Муж Наталии Викторовны — граф А. Г. Строганов — был всего на пять лет ее старше, и уже это одно исключало всякую опасность отожествления его с Мазепой. Он не устраивал никаких заговоров, а, напротив, делал блестящую карьеру. Для его жены, которая тоже, само собою разумеется, читала «Полтаву», это была не ее собственная жизненная история, нелепым образом искаженная, но история ее предков. Непосредственно к себе, если не считать посвящения, она могла отнести только одну строчку эпилога. Там, после упоминания о могилах Искры и Кочубея в Киево-Печерской Лавре, описывается наследственный парк Кочубеев:

[4] Глава эта была уже написана, когда мне попалась книжка Бориса Соколова «Кн. Мария Раевская и Пушкин» (Москва. 1922 г. изд. «Задруга»). Борис Соколов — усердный, но совершенно некритический последователь Щеголева — с полнейшей добросовестностью проделывает все отождествления и уподобления, о которых шла речь выше. Лишь темы о доносе он почему-то не коснулся в своем обзоре Очень жаль! Во имя последовательности и логики следовало бы приписать Пушкину *поэтическое* намерение донести на декабристов. Донос есть во всяком случае более конкретная историческая черта, нежели рост, походка и фигура кн. М. Н. Волконской, по поводу которых г. Соколов цитирует пушкинские стихи:

Как тополь киевских высот,
Она стройна Ее движенья
То лебедя пустынных вод
Напоминают плавный ход,
То лани быстрые стремленья и т. д.

Замечательно, что, говоря о литературных источниках «Полтавы», г. Соколов приводит выдержку из поэмы Рылеева «Войнаровский», где говорится о юной казачке, последовавшей в Сибирь, за своим возлюбленным:

Она с улыбкою приветной
Увяла в цвете юных лет
Безвременно, *в Сибири хладной*,
Как на иссохшем стебле цвет
В теплице душной, безотрадной.

Курсив в приведенных строках принадлежит самому Борису Соколову. Право, если б мы не знали доподлинно, что Рылеев повешен 13 июля 1826 года, то, пожалуй, нашелся бы какой-нибудь исследователь, который и в тексте «Войнаровского» отыскал бы прямые намеки на судьбу кн. Волконской. Но теперь цитата из Рылеева лишь доказывает лишний раз, что не всякое упоминание о Сибири должно быть непременно связываемо с женами декабристов.

Цветет в Диканьке древний ряд
Дубов, друзьями насажденных;
Они о праотцах казненных
Доныне *внукам* говорят.

Поэма должна так же была говорить о казненном пращуре внукам и в частности внучке.

Такова наша гипотеза об утаенной любви Пушкина и посвящении «Полтавы». В отличие от П. Е. Щеголева, мы не считаем своего мнения безусловно и неопровержимо доказанным. Это только догадка, наиболее правдоподная из всех, какие можно построить на основании материалов современного пушкиноведения. Слишком многое остается еще неустановленным и неразъясненным. Так, мы не имеем подробных биографических сведений о Наталии Викторовне Кочубей, в частности не знаем, посещала ли она Крым ранее 1820 г., и где была осенью 1828 г., когда Пушкин писал посвящение поэмы. Лишь с крайней осторожностью можно высказать предположение, что она находилась в это время в одном из старинных строгановских поместий на Урале, у сибирской границы. В последнем случае понятно было бы упоминание о Сибири в зачеркнутом варианте, составляющем краеугольный камень всей теории Щеголева. Но весьма возможно, что вопрос этот навсегда останется открытым.

Если объектом утаенной любви Пушкина в самом деле была графиня Н. В. Кочубей, то к каким замечаниям общего характера уполномачивает нас подобное допущение? Какое действие оказала эта любовь на судьбу и поэзию Пушкина?

Вопрос этот следует расчленить. Что касается внешних событий, из которых слагалась жизнь поэта, то доля влияния, принадлежавшая Н. В. Кочубей, была совершенно ничтожна. Юная графиня не явилась косвенной виновницей изгнания поэта, как Е. К. Воронцова, или смертельной дуэли, как Н. Н. Пушкина, или хотя бы ссоры с другой близкой женщиной, как А. П. Керн, возбудившая ревность П. А. Осиповой. Наталья Викторовна внушила Пушкину сильную, болезненно напряженную любовь, но сама осталась холодна и равнодушна. Она даже не была кокеткой в отношении его. Она просто отвергла его заклинанья и мольбы.

Зато действие, произведенное на душевную жизнь поэта и на его творчество, было огромно. После кратковременного упадка творческих сил, совпавшего с тем временем, когда любовь была особенно интенсивна, Пушкин нашел в своем чувстве к Н. В. Кочубей-Строгановой новый, обильный источник поэтического возбуждения, не иссякавший до 1828 г. С воспоминаниями о Наталии Викторовне, кроме «Полтавы», можно связать «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», «Разговор книгопродавца с поэтом», некоторые лирические строфы «Евгения Онегина» и, наконец, по собственному признанию Пуш-

кина, кое-какие штрихи в характере Татьяны. Несчастная любовь всегда и во все времена была наиболее плодовитой и удачливой музой. Подобно своему сверстнику Гейне, подобно своему младшему современнику Лермонтову, и не говоря уже о более старых примерах Данте и Петрарки, Пушкин обязан неразделенной страсти лучшими минутами своего вдохновения.

Но при всем том не следует упускать из виду одно обстоятельство: всякая поэзия есть утверждение иллюзии в ущерб действительности. Поэзия окутывает лицо мира своим блистательным, многоцветным покровом, делает жизнь менее несносной, но зато скрывает и преображает истинные ее черты. Образ Н. В. Кочубей, влиявший на поэзию Пушкина, имел по всем вероятиям немного общего с тем житейским образом ее, который, быть может, удастся восстановить когда-либо, помощью историко-биографических изучений. Юноша Пушкин полюбил девушку, которую звали Наталья Викторовна и которая была дочерью министра графа Кочубея, а впоследствии сделалась женою генерал-адъютанта А. Г. Строганова. Но позднее, в течение долгих лет, поэт любил уже не эту девушку, не эту реальную женщину, а свою любовь к ней, задушевное порождение своей фантазии. И своим острым, проницательным умом он, конечно, понимал это. Такого рода замечание необходимо сделать, дабы предохранить себя от ложной, романтической идеализации, в которую так легко впасть, рассуждая о сердечной жизни Пушкина.

А между тем такая идеализация была бы здесь неуместна. В своей поэзии Пушкин заплатил богатую дань литературному романтизму, особенно в первой половине двадцатых годов. Но в нем самом крепко сидел человек XVIII столетия — чувственный и вместе с тем рассудочный, способный порою увлекаться почти до безумия, но никогда не отдававший себя целиком. Мы имеем право сделать этот вывод, ибо из всех многочисленных любовных увлечений, нами рассмотренных, нельзя указать ни одного, которое подчинило себе вполне душу Пушкина. Кровь бурлила; воображение строило один пленительный обман за другим. Но в глубине своего существа поэта оставался "тверд, спокоен и угрюм".[21] Он признавался в любви многим, но в действительности, как правильно указала княгиня Н. М. Волконская, любил по-настоящему только свою музу.

КОЧУБЕЙ Наталья Викторовна (1800—1854), дочь министра внутренних дел графа Виктора Павловича Кочубея, в сентябре 1820 года вышла замуж за барона (потом графа) Александра Григорьевича Строганова (1795—1891). Вместе с родителями в 1813-1815 годах проводила лето в Царском Селе, где с ней и познакомился Пушкин. По словам М. А. Корфа, Строганова была "первым предметом любви Пушкина". (ПиС. Вып. 8. С. 25. Ср.: *Грот Л.* Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Изд. 2. СПб., 1899. С. 202). Это подтверждается "Программой Записок" Пушкина (1832) и его "Донжуанским списком" в альбоме сестер Ушаковых, где Н. В. Кочубей записана, вероятно, под именем "Наталья I". Чувство трогательного благоговения к ней Пушкин сохранил до конца своих дней. "Она одно из его отношений", "притом рабское", -- писала С. Н. Карамзина брату Андрею незадолго до смерти Пушкина (П. в письмах Карамзиных. С. 109). Пушкин встречался с нею в великосветском Петербурге и, наиболее часто, в доме Карамзиных. Вот как описывает появление Строгановой, "постоянной посетительницы" их дома Александр Николаевич Карамзин тому же брату Андрею: ". . . она входит блестящая, красивая, в каком-то дьявольском платье, с дьявольским шарфом и множеством других штук, также дьявольски сверкающих". (Там же. С. 97). По собственному признанию П. А. Плетневу, в образе замужней Татьяны на балу (в строфах XIV—XVI восьмой главы «Евгения Онегина») Пушкин описал Строганову. (Рассказы о Пушкине, записанные . П. И. Бартеневым. Л., 1925. С. 32). Н. В. Кочубей-Строгановой посвящены стихотворения «Измены» (1814—1815) и «Дубравы, где в тиши свободы...» (1818) с эпиграфом из Виланда: "O Zauberei der ersten Liebe" ("Часы первой любви" (нем.).)

Отношение Пушкина к личности Строгановой показывает анализ его "Программы записок". Под датой "1814" Пушкин сперва записывает "Первая любовь", потом зачеркивает этот пункт, а под датой "1813", после слов "Государыня в С<арском> С.<еле>" над строкой вписывает "Гр. Кочубей". При этом, нам кажется, изменяется функция этого образа в будущих Записках Пушкина. Как предмет своего увлечения он вводит ее в программу под 1814 годом. Затем "Первая любовь" заменяется просто именем. Позднее Пушкин напишет, что в его Записках будут собраны "лица, достойные замечания" (XII, 310). В "программе" перед нами проходит галерея таких лиц: А. И. Тургенев, В. Л. Пушкин, И. И. Дмитриев, Д. В. Дашков, Д. Н. Блудов, Александр I, В. Ф. Малиновский, А. П. Куницын, Аракчеев, императрица Елизавета Алексеевна, Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин, М. Ф. Орлов, И. П. Липранди и др. К "лицам, достойным замечания" относилась, по-видимому, и Н. В. Кочубей. Место "первой любви" занимает знакомство с девочкой, неординарный характер которой будет привлекать Пушкина всю жизнь.

Личность Н. В. Кочубей была настолько яркой и впечатляющей, что Пушкин собирался сделать ее одной из героинь задуманного им в 1834—1835 гг. романа «Русский Пелам». Имя ее (измененное на Чоколей) встречаем в трех планах романа. Черты ее намечены только пунктирно, но общий колорит характера проступает отчетливо. Она поддерживает героя романа Пелымова в самые драматические минуты его жизни, идя наперекор родительской воле. Мы не знаем обстоятельств жизни графини Кочубей-Строгановой, которые давали бы Пушкину живой, конкретный материал для развития сюжетной линии романа, скорее всего не обстоятельства, а черты характера позволили ввести ее в круг прототипов романа, наряду с братьями Орловыми, Грибоедовым, Якубовичем и другими яркими людьми, с которыми Пушкин был знаком и которые были достойны внимания Пушкина-романиста, задумавшего эпопею русской жизни первой трети XIX века.

После смерти Пушкина Н. В. Строганова решительно стала на защиту его в общественном мнении столицы: "Ты не должен, однако же думать, — писала С. Н. Карамзина Андрею, — что все общество было против Пушкина после его смерти: нет, это только кружок Нессельрод и еще кое-кто. Наоборот другие, как например, графиня Нат.<алья> Строганова и госпожа Нарышкина(Мар <ия> Яков.<левна>) с большим жаром говорили в его пользу, что даже вызвало несколько ссор. Большинство же ничего не сказало, так им и подобает" (П. в письмах Карамзиных. С. 194).



Ю. Н. Тынянов

Безыменная любовь

I

В жизни Пушкина была любовь, необычайная по силе, длительности, влиянию на всю жизнь и им самим никогда не названная, "утаенная". Следы ее впервые подметил на основании анализа пушкинских элегий М.Гершензон[1].

Любовные элегии Пушкина послелицейского периода — проявление непосредственного поэтического реализма, и в этом смысле и значение их для всего творчества Пушкина и их конкретная, фактическая основа — вне сомнений. Не только закрепление внешних фактов и обстоятельств, но и прежде всего внутренних отношений доведено здесь до такой поэтической точности, поэзия до того конкретна и освобождена от общих мест, что можно с уверенностью говорить о конкретных жизненных обстоятельствах и лицах элегий.

Здесь Пушкин нашел прямые поэтические средства для закрепления реальной, непосредственной правды.

Элегии наряду с посланиями явились у Пушкина жанром, уже не противоречащим большим задачам и большим жанрам литературы, эпосу и драме, как то было в поэзии непосредственно предшествовавшего периода, когда элегии с изображениями общих чувств и условных героинь превратились в мелочный жанр, жанр мелочей. Напротив, лирика стала у Пушкина как бы средством овладения действительностью в ее конкретных чертах и первым, главным путем к эпосу и драме. Поэтому самая фактическая, биографическая основа лирики Пушкина и имеет такое значение для изучения его поэзии.

Наблюдения Гершензона наметили целый круг стихотворений, так или иначе отражающих "северную любовь", т.е. какую-то любовь Пушкина до 1820 г., года высылки на юг, любовь, воспоминания о которой продолжались на юге, в годы его южной ссылки.

Путем различных сопоставлений он пришел к выводу, что не названная нигде Пушкиным героиня этих элегий — кн. Мария Аркадьевна Голицына. Этим устанавливался крайне важный факт биографии Пушкина.

---

[1] См. *М. Гершензон.* Северная любовь А.С.Пушкина. «Вестник Европы», 1908, январь; также: в книге М.Гершензона «Образы прошлого». М., 1912; *П. Е. Щеголев.* «Из разысканий в области биографии и текста Пушкина». В кн.: «Пушкин и его современники», вып.XIV. СПб., 1911; также: в книге П.Е.Щеголева «Очерки» («Утаенная любовь А.С.Пушкина»); *М. Гершензон.* В ответ П.Е.Щеголеву; *П. Щеголев.* Дополнения к «Разысканиям в области биографии и текста Пушкина».

В полемике, тут же возникшей по этому поводу между Щеголевым и Гершензоном, проявились комические черты тогдашнего пушкиноведения; полемика о биографическом вопросе, по самому характеру требовавшем какой-то сдержанности, вскоре приняла бранный тон.

Щеголеву, впрочем, удалось совершенно убедительно доказать, что одно из стихотворений, включенных Гершензоном в круг лирики, отражающей "утаенную любовь", заведомо относящееся к М.Арк.Голицыной, на самом деле никакого отношения ни к другим элегиям цикла, ни к "утаенной любви" не имеет.

Имя М.Арк.Голицыной как женщины, возбудившей самую длительную, самую сильную любовь Пушкина, им почему-то от всех "утаенную", таким образом окончательно отпало. Сам же Щеголев путем тщательного изучения рукописей и в силу различных соображений пришел к выводу, что героиней этого чувства Пушкина, которое ему удалось утаить в течение всей его жизни от постороннего внимания, была пятнадцатилетняя Мария Николаевна Раевская (1805—1863), знаменитая впоследствии жена декабриста С.Волконского.

Оба исследователя обнаружили полнейшее равнодушие к главному вопросу: к вопросу о том, почему и зачем, собственно говоря, понадобилось Пушкину так мучительно и тщательно утаивать любовь, во-первых, к блестящей светской певице М.Арк.Голицыной, приятельнице поэта Козлова и Шатобриана, проводившей большую часть времени за границей, и, во-вторых, утаивать ее по отношению к молоденькой, почти подростку, М.Раевской, сестре Н.Раевского, с которым он был в приятельских, дружеских отношениях еще с 1816 г., и А.Раевского, с которым сблизился в 1820 г.

Этого вопроса биографы даже не коснулись.

2

Прежде всего отметим, что об "утаенной любви" дело идет у Пушкина не только в элегиях и поэмах, отмеченных Гершензоном и Щеголевым и датирующихся годами 1920 и более поздними.

Первый, кто ясно говорит о том, что он скрывает и должен скрывать от всех какую-то безнадежную любовь, — сам Пушкин, задолго до цикла элегий и элегических отступлений в поэмах, намеченного биографами.

Это еще элегия лицейского периода, относящаяся к 1816 г.

Ввиду ее важности и полной до сих пор необъясненности, привожу ее.

ЭЛЕГИЯ

Счастлив, кто в страсти сам себе
Без ужаса признаться смеет;
Кого в неведомой судьбе

Надежда робкая лелеет;
Кому луны туманный луч
В полночи светит сладострастной;
Кому тихонько верный ключ
Отворит дверь его прекрасной!

Но мне в унылой жизни нет
Отрады тайных наслаждений;
Увял надежды ранний цвет:
Цвет жизни сохнет от мучений!
Печально младость улетит,
Услышу старости угрозы,
Но я, любовью позабыт,
Моей любви забуду ль слезы!

Поэтический реализм еще не наступил для Пушкина. Картина счастливой любви дает пересчет обычных для лицейской лирики *общих* поэтических черт пейзажа и жанра: "луны туманный луч", "дверь прекрасной", отворяемая ключом, и т.д. Но любовь несчастливая, вызвавшая стихотворение, удивительна реалистическими, ясными, даже резкими, и притом не общими, а конкретными чертами, даваемыми в первой строфе:

Счастлив, кто в страсти сам себе
Без ужаса признаться смеет;
Кого в неведомой судьбе
Надежда робкая лелеет.

Не забудем и последнего стиха: о его с л е з а х , слезах его любви. Эту безнадежную страсть, в которой поэт не может сам себе признаться б е з у ж а с а , комментаторы по инерции приписывают все той же "литературной" героине лицейских элегий Е.П.Бакуниной, благо ни она, ни отношения Пушкина к ней, ни даже самое знакомство его с нею сколько-нибудь определенно ближайшим образом не засвидетельствованы [1].

Никому не пришлось задуматься над тем, что признаться себе в страсти к молоденькой, красивой царскосельской фрейлине, сестре лицейского товарища, Пушкин мог без всякого ужаса, более того, если не страсть, то легкая полувымышленная влюбленность в нее не только Пушкина, но и одновременно двух его других товарищей, Пущина и Илличевского, была совершенно и заведомо известна, так что Пущин упоминает о ней в своих записках [2], а сам Пушкин в 1825 г. в вариантах стихотворения «19 октября» [3]. Это юношеское, скоропреходящее увлечение, как бы имевшее главным образом цель доставить пищу для элегий, до того мало задело Пушкина, что за всю жизнь он не нашел случая заинтересоваться ни героиней этих элегий, ни ее

жизнью. Она очень мало нам известна. Лицейские "отшельники" ловили всякий мелькавший мимо женский образ, и образ Бакуниной, можно смело сказать, скользнул мимо Пушкина совершенно бесследно.

В какой же страсти Пушкин-лицеист не мог б е з у ж а с а признаться сам себе, каких слез не мог забыть? Такая любовь была, и у него действительно были самые глубокие причины ее скрывать.

25 мая 1816 г. приехали в Царское Село Карамзины. Сразу же Пушкин их посетил и стал бывать очень часто, почти ежедневно. Этой — на сей раз по вполне понятным причинам — "утаенною любовью" и была жена Н.М.Карамзина, самого большого для Пушкина литературного авторитета его молодости, — Екатерина Андреевна Карамзина. Об этой самим Пушкиным утаенной любви известно, конечно, немного. Но все же кое-что известно.

В рассказах о Пушкине, записанных со слов его друзей П.И.Бартеневым, говорится:[2] "Покойница Екатерина Афанасьевна Протасова (мать Воейковой) рассказала (как говорил мне Н.А.Елагин), что Пушкину вдруг задумалось приволокнуться за женой Карамзина. Он даже написал ей любовную записку. Екатерина Андреевна, разумеется, показала ее мужу. Оба расхохотались и, призвавши Пушкина, стали делать ему серьезные наставления. Все это было так смешно и дало Пушкину такой удобный случай ближе узнать Карамзиных, что с тех пор их полюбил, и они сблизились". Этот рассказ, конечно, следует освободить от сентиментальных черт старинного рассказа о легкой шалости, приданных ему старушкой Протасовой. Запомним, впрочем, что над Пушкиным, над его письмом смеялись.

Другой рассказ, записанный Бартеневым, дает совершенно иные черты. "Покойный гр.Д.Н.Блудов передавал нам, — пишет Бартенев, — что Карамзин показывал ему место в своем кабинете, облитое слезами Пушкина. Головомойка Карамзина могла быть вызвана и случайностью: предание уверяет, что по ошибке разносчика любовная записочка Пушкина к одной даме с назначением свидания попала к Екатерине Андреевне Карамзиной (в то время еще красавице)"[3].

В другой раз Бартенев повторил тот же рассказ: "Покойный гр.Д.Н.Блудов любил вспоминать, что Карамзин показывал ему в царскосельском китайском доме место, облитое слезами Пушкина"[4].

Это упорное воспоминание интересно тем, что оно принадлежит гр.Блудову; этот вельможа был очень далек от Пушкина, имел причины враждебно к нему относиться и постарался запомнить "место, облитое слезами Пушкина".

Оставим в стороне вероятность передаваемого Бартеневым анекдота о письме, попавшем не по адресу: он более вероятен, чем кажется.

[2] Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П.И.Бартеневым в 1851—1860гг., под ред. М.А.Цявловского. М., 1925, стр.53.

[3] «Русский архив», 1897, №7, стр. 493.

[4] Там же. 1907, №1.

Даже дама, к которой могла быть обращена записка, могла бы быть названа; это, вероятно, "молодая вдова" одного его послания, родственница лицейского директора Энгельгардта [14]. Нас интересует другое. Слезы Пушкина, о которых рассказывал Карамзин, с л е з ы , о которых писал Пушкин в элегии, — реальная черта рассказа, которая совершенно меняет стиль и значение легкого анекдота, рассказанного Протасовой.

Известны осложнения в отношениях Пушкина и Карамзина, ссора между ними [15].

Вопрос об отношениях Пушкина и Карамзина требует особого рассмотрения. Высокий литературный авторитет вождя старшего поколения вовсе не заслонял его роли реакционного идеолога. Конечно, уже к 1816—1817 гг. — годам лицейского вольномыслия, близости с Чаадаевым, с гусарами, участниками войны 1812 г., относится начало критики идеологических основ «Истории государства Российского», в скором времени давшей знаменитые эпиграммы Пушкина [16].

К концу лицейского периода, в постоянном личном общении становилась все более очевидной фиктивность роли Карамзина как просвещенного советника царя (на деле Александр I почти не принимал его).

Следует отметить, что отношения с Карамзиным чем далее, тем более становятся холодны и чужды.

Насколько в 20-х годах Карамзин был литературно чужд Пушкину, следует хотя бы из его отзыва о «Цыганах» в письме от 2 декабря 1824 г. к Вяземскому: "Вчера маленький Пушкин (Лев Сергеевич. — *Ю. Т.*) читал нам наизусть *цыганскую* поэмку брата и нечто из Онегина; живо, остроумно, но не совсем зрело. От Пушкина к Байрону: его Дон-Жуан выпал у меня из рук. Что за мерзость! И даже сколько глупостей!"

Разумеется, расхождения между ними были глубокие.

Это нисколько не исключает и личных мотивов ссоры. Несмотря на эти отношения, Карамзин принял самое деятельное участие в смягчении участи Пушкина, которому в 1820 г. угрожали Соловки или Сибирь. Несомненно, что на участие, которое он принял в судьбе Пушкина, повлияла именно Екатерина Андреевна.

Итак, перед нами эпизод подлинной личной драмы.

Отметим, что воспоминание Блудова о том, что Карамзина была еще в 1816 г. красавицей, подтверждается и другими воспоминаниями. "Карамзина была в молодости необыкновенно красива и следы этой красоты остались у нее в старости", — пишет биограф Карамзина.[5] Биография Екатерины Андреевны Карамзиной несколько необычна. Известно, что она — сестра по отцу П.А.Вяземского; ее внебрачное происхождение лишило ее отцовского княжеского титула и фамилии: она была Колыванова, по имени города Ревеля (Колывани), где роди-

[5] *А. В. Старчевский.* «Исторический вестник», 1888, №10, стр.126.

лась. Просвещенная и умная, она помогала Карамзину в его занятиях: известно, что она держала вместе с ним все корректуры «Истории государства Российского».

Вместе с тем она вовсе не была холодной, безупречной и ровной по характеру. В молодости у нее были увлечения. У нее были неровные отношения с падчерицей. П.А.Вяземский называл ее характер "ужасным"[6]. Перед нами вовсе не "холод стройный олигархических бесед", а "страсти" [7].

Этот образ характеризуют письма к П.А.Вяземскому. Стилистически безупречные, слегка холодноватые французские письма и рядом — ее русские приписки к письмам мужа, с наивным просторечием, с близостью к народным оборотам речи, с вольностями, грамматическими ошибками, которые любил в женской речи Пушкин:

Неправильный, небрежный лепет,
Неточный выговор речей и т.д.
«Евгений Онегин»,
гл. III, строфа XXIX

Ср., например, ее письмо от 12 марта 1811 г.: "Цалую вас маи милые д е т и о н к и Сонюшку, Катиньку и Андрюшу... Прощайте маи друзья, нежно вас обнимаю и посылаю вам свое б л а г о с л о в л е н и е "; или от 17 марта того же года: "Ведите себя харашенько, Сонюшка и Катинька, учитесь также очень хорошо, чтоб мне весело было, как к вам приеду. Пиши мне много, Сонюшка, об себе и об милой Катиньке и Андрюше. Нежно, нежно вас обнимаю и цалую маих ангелов. Христос с вами, маи душиньки"[7].

Знакомство с Карамзиной продолжалось у Пушкина в Петербурге после окончания лицея.

Карамзина пишет Вяземскому с ласковой иронией о бурной жизни Пушкина 23 марта 1820 г. (уже незадолго до его высылки): "Пушкин всякий день имеет дуэли: благодаря бога, они не смертоносны, бойцы всегда остаются невредимы"[8].

Карамзина, судя по письмам Пушкина, вовсе не растворилась в личности своего знаменитого мужа, занимает свое, самостоятельное место. В стихотворной записке к Жуковскому, 1819 г., он пишет:

Скажи — не будешь ли сегодня
С Карамзиным, с Карамзиной?

Нужно знать пушкинские интонации, чтобы быть уверенным, что здесь не простое и бессодержательное повторение и не безвкусная за-

[6] Сообщено М.С.Боровкиной-Майковой.

[7] «Старина и новизна», 1897, кн.1, стр.5, 7.

[8] *П. П. Вяземский.* Полное собрание сочинений, стр.476.

мена простого выражения "Карамзины", а именно значительное подчеркивание женского имени.

Трижды на юге Пушкин вспоминает имя Карамзиной рядом с именем другого его петербургского увлечения — знаменитой Авдотьей Голицыной. Он пишет А.И.Тургеневу 7 мая 1821 г. из Кишинева:

"Без Карамзиных, без вас двух, да еще без некоторых избранных соскучишься и не в Кишиневе, а вдали от камина княгини Голицыной замерзнешь и под небом Италии"; к тому же А.И.Тургеневу 1 декабря 1823 г. из Одессы: "Благодарю вас за то, что вы успокоили меня насчет Николая Михайловича и Катерины Андреевны Карамзиных — но что делает поэтическая незабвенная, конституциональная, антипольская, небесная княгиня Голицына?" 14 июля 1824 г. в письме к нему же он снова соединяет оба имени: "Целую руку К.А.Карамзиной и княгине Голицыной constitutionnelle ou anti-constitutionnelle, mais toujours adorable comme la liberté"[8].

20 декабря 1824 г. он просит брата: "Напиши мне нечто о Карамзине, ой, ых". И снова это, конечно, скрытая просьба написать именно о Карамзиной.

Так, он привычно соединяет ее имя в пересчете с Голицыной или с мужем и семьей. И хотя первое характеризует самую окраску мысли, но все же пересчет привычно скрывает совершенно особое значение для Пушкина одного этого имени.

Перечисляя отдельно имена Карамзина и Карамзиной, Пушкин никогда не сливал их в один образ.

Даже то немногое, что мы знаем о Карамзиной, отчетливо показывает ее самостоятельность. Это сказывается, например, в письме ее к А.И.Тургеневу из Ревеля от 11 августа 1826 г., после смерти Карамзина: "Как мы страдали, узнав об ужасных арестах виновных, вы и г-жи Муравьевы[9] омрачили самым печальным образом наше воображение, вы, по крайней мере, имеете в настоящее время еще некоторую отсрочку [9], но ее состояние ужасно". И она желает ему "мужества, необходимого для того, чтобы ждать лучшего будущего". Это отношение к судьбе декабристов в корне отличается от отношения самого Карамзина.

Позднее наблюдательная Смирнова распознала особое значение, особое отношение Пушкина к уже стареющей Карамзиной:

"Я наблюдала также за его обращением с г-жей Карамзиной: это не только простая почтительность по отношению к женщине уже старой, — это нечто более ласковое. Он чрезвычайно дружески почтителен с княгиней Вяземской, m-me Хитрово, но его обращение с Карамзиной совсем не то" [10]. А ведь за В.Ф.Вяземской Пушкин когда-то "ухаживал", а ведь слепо влюбленная в него Хитрово была с ним в близости.

[9] А.И.Тургенев — брат декабриста Н.И.Тургенева. Муравьевы — мать и жена декабриста Н.М.Муравьева.

Пушкин женится, и первое имя, которое возникает у него здесь — Карамзина. Его живо интересует ее отношение к этому шагу, он как бы просит совета, участия, хочет знать ее слова.

Он пишет 2 мая 1830 г. из Москвы Вяземскому: "Сказывал ты Катерине Андреевне о моей помолвке? я уверен в ее участии, но передай мне ее слова — они нужны моему сердцу, и теперь не совсем счастливому".

После женитьбы он с женою написал ей. Карамзина ответила ему и Наталье Николаевне.

Ее письмо к нему — это вовсе не простая любезность, сама собою разумеющаяся. Она пишет ему (от 3 марта 1831 г., письмо французское): "Я очень признательна, что вы думали обо мне в первые мгновения вашего счастья, это истинное доказательство вашей дружбы". Она надеется, что теперь его жизнь станет так тиха и спокойна, как была бурна и мрачна до сих пор. Она желает ему, чтобы его сердце, всегда такое доброе, очистилось рядом с молодой женой. Она радуется, что является свидетельницей его спокойных чистых радостей. И совсем по-иному звучат тут же ее слова, обращенные к Наталье Николаевне. Прежде всего она отвечает на ее "любезные строки" не личным письмом, а просит Пушкина быть истолкователем ее перед супругою:

"Я вас уполномачиваю быть моим толмачем перед госпожой Пушкиной, выразить ей мою благодарность за ее любезные строки и сказать ей, что я принимаю с чувствительностью ее юную дружбу, уверить ее, что, несмотря на мою суровую и холодную внешность, она найдет во мне сердце, готовое любить ее всегда, в особенности, если она ручается за счастье своего мужа".

Екатерина Андреевна требовала от жены его счастья.

Как она была близка Пушкину-поэту, его творчеству, видно из записок дочери Натальи Николаевны — А.П.Араповой, писавшей о своей матери по ее личным воспоминаниям и рассказам: "Преклоняясь перед авторитетом Карамзиной, Жуковского или Вяземского, она не пыталась удерживать Пушкина, когда знала, что он рвется к ним за советом..." [111].

Эти отношения характеризует хотя бы тот факт, что 22 июля 1833 г. Пушкин просил позволения об отпуске в Дерпт для посещения Е.А.Карамзиной, перед тем как ехать в Казань и Оренбург. (Посещение не состоялось.)

Одну из очень немногих, Пушкин посвятил Карамзину в свою семейную драму, использованную врагами для его гибели. Перед смертью он хотел ее видеть.

Жуковский передает в записях:

"Карамзина? тут ли Карамзина? — спросил он спустя немного. Ее не было; за нею немедленно послали и она скоро приехала. Свидание их продолжалось только минуту, но, когда Катерина Андреевна отошла от постели, он кликнул ее и сказал: "Перекрестите меня!" Потом

поцеловал у нее руку" [12].

Вяземский пишет об этом свидании, по-видимому, более точно, дословно передавая слова Пушкина (это единственная русская фраза во французском тексте его письма к Е.Н.Орловой от 6 февраля 1837 г.).[10] "Когда пришел черед госпожи (Карамзиной), она, прощаясь с ним, издали перекрестила его.

— Подойдите ближе, сказал он, и перекрестите хорошенько".

Тургенев передает: "Она зарыдала и вышла" [13].

Прекрасно осведомленная сестра Стурдзы Эдлинг писала об этом предсмертном свидании поэту В. Г.Теплякову 17 марта 1837 г.: "Меня очень тронуло известие, что первая особа, о которой после катастрофы спросил Пушкин, была Карамзина, предмет его первой и благородной привязанности".[11]

Первая любовь Пушкина, о которой знали только люди, знавшие все, о которой он вспомнил, умирая, — вот характер отношений Пушкина и Карамзиной.

Не было никаких оснований т а и т ь любовь ни к М.Арк.Голицыной, ни к М.Раевской.

Были все основания скрывать всю жизнь любовь и страсть к Карамзиной. Старше его почти на 20 лет (как и Авдотья Голицына), жена великого писателя, авторитета и руководителя не только литературных вкусов его молодости, но и всего старшего поколения, от отца Сергея Львовича, дяди Василия Львовича до П.А.Вяземского, она было неприкосновенна, самое имя ее в этом контексте — запретно.

3

Главною по значению элегией цикла "утаенной любви", неоднократно упоминаемой и цитируемой Гершензоном, является прежде всего элегия «Погасло дневное светило».

До сих пор было неизвестно, воспоминание о ком явилось главным сюжетом величайшей элегии Пушкина. Обстоятельства и дата ее написания известны. 24 сентября 1820 г. Пушкин писал брату из Кишинева: "Морем отправились мы мимо полуденных берегов Тавриды в *Юрзуф*, где находилось семейство Раевского. Ночью на корабле написал я Элегию, которую тебе присылаю; отошли ее *Гречу* без подписи" [14].

Таким образом, элегия была написана в конце августа 1820 г. на борту военного брига, который был предоставлен генералу Раевскому для проезда из Феодосии в Гурзуф. В элегии, написанной в 20-м году, дважды (в начале и конце) говорится о любви п р е ж н и х лет:

[10] «Новый мир», 1931, 12, стр.191.

[11] «Русская старина», 1896, август, стр.417.

Я вспомнил прежних лет безумную любовь...
....
... Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви, ничто не излечило...

Выражение "п р е ж н и е л е т а " в 1820 г. могло относиться только к годам, отделенным временем и пространством от непосредственно предшествующих петербургских лет; таков 1816 г., год первого знакомства с Карамзиной, к которому относится элегия «Счастлив, кто в страсти сам себе...»

Комментаторами было отмечено в элегии любопытное, с трудом поддающееся объяснению противоречие: говоря о местах, которые он в п е р в ы е видит, мимо которых впервые проезжает, Пушкин говорит о своих воспоминаниях, связанных с э т и м и м е с т а м и , о воспоминаниях любви:

Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаньем упоенный...
Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило.

Л.Поливанов попытался объяснить это место общими соображениями: "С этим краем у него соединяются дорогие воспоминания, они напоминают ему любовь прежних лет. Элегия не представляет автобиографической точности, так как она сочинена при первом приближении к южному берегу Крыма и, следовательно, не могла выражать каких-либо действительных чувств, с этими местами связанных, но она есть поэтическое представление всей полноты чувств человека" [15] и т.д.

Все это мало убедительно.

Отличительная черта пушкинских элегий как раз в том, что в них выражаются действительные и притом конкретные чувства.

Предполагать, что в стихах присочинена глубокая поэтическая связь между впервые увиденным местом и воспоминаниями прежней любви, — связь, которая является самой основою элегии, у нас нет ни права, ни оснований.

Имя Карамзиной все объясняет.

Известна роль Карамзина в смягчении участи Пушкина, в назначении Крыма местом высылки.

17 мая 1820 г. Карамзин пишет Вяземскому: "Между тем Пушкин, быв несколько дней совсем не в пиитическом страхе от своих стихов на свободу и некоторых эпиграмм, дал мне слово уняться и благополучно поехал в Крым месяцев на пять. Ему дали рублей 1000 на дорогу.

Он был, кажется, тронут великодушием государя, действительно трогательным. Долго описывать подробности; но если Пушкин и теперь не исправится, то будет чертом еще до отбытия своего в ад. Увидим, какой эпилог напишет он к своей поэмке!" [116]

Письмо любопытно плохо еще сглаженным раздражением против Пушкина, почти бранным тоном: быть может, Карамзин рассчитывал, что в эпилоге к «Руслану и Людмиле», которую он полупрезрительно называл "поэмкой", Пушкин поместит слова благодарности по отношению к "великодушию государя".

Если это было так, то Пушкин обманул его ожидания, прославив в эпилоге вовсе не великодушие Александра, а друзей, спасших его от гибели.

Я погибал... Святой хранитель
Первоначальных, бурных дней,
О дружба, нежный утешитель
Болезненной души моей!
Ты умолила непогоду...

Дружба — это был сомкнувшийся фронт передового общества, спасшего Пушкина, начиная с Чаадаева [117]. Но, несомненно, в эпитете "нежный утешитель" сказывается еще особое упоминание о Карамзиной.

Роль Екатерины Андреевны как примирительницы или даже просительницы перед мужем за Пушкина очевидна. Вряд ли без этого, только по одному обращению Чаадаева раздраженный даже после высылки Пушкина Карамзин стал бы за него хлопотать.

П.П.Вяземский вспоминал, что позже Карамзин сожалел о своем заступничестве: "Карамзин должен был быть раздражен на Пушкина за то, что он скомпрометировал его заступничество в двадцатом году, хотя сам Карамзин пишет, что Пушкин ему тогда дал обещание вести себя хорошо в течение двух лет".[12]

Переиздавая в 1828 г. поэму «Руслан и Людмила», Пушкин отчетливо подчеркнул значение э п и л о г а и сузил конкретное содержание здесь слова "дружба": в предисловии к поэме он вспомнил о враждебном отношении к поэме Карамзина и Дмитриева. Между тем стихи:

...дружба, нежный утешитель
Болезненной души моей

— относились не столько к Чаадаеву или Раевскому, сколько именно к Карамзиной.

[12] *П. П. Вяземский.* А.С.Пушкин (1816—1837). По документам Остафьевского архива и личным воспоминаниям. В кн.: *П. И. Бартенев.* К биографии Пушкина, вып. 2-й. М., 1885, стр.29.

В письме Карамзина засвидетельствовано посещение Пушкиным Карамзиных после известия о Крыме как месте его ссылки. Конечно, при этом посещении (быть может, не единственном) и произошел глубоко значительный разговор с ним Карамзина. Вполне естественно предположить, что в это последнее свидание разговоры шли именно о той стране, куда уезжал Пушкин, стране еще новой, мало известной, возбуждавшей общий интерес.

Интерес Карамзина к Крыму, Тавриде засвидетельствован именно для этого времени. 25 февраля 1820 г., прося Вяземского сообщить одному лицу [18], что в изданной им «Истории» помещено все известное ему о евреях в древней России, он пишет: "С десятого века видим их в Тавриде, на Кавказе, в Киеве".[13]

Екатерина Андреевна была литературно и исторически образованной женщиной, помогавшей мужу в его трудах, и разговоры Пушкина с нею о Крыме во время последнего свидания могут сполна объяснить совершенно непонятную до сих пор причину, по которой берега Крыма, в п е р в ы е видимые Пушкиным, вызвали глубокое, непосредственное в о с п о м и н а н и е о его любви.

Это свидание и этот разговор объясняют также многое непонятное нам до сих пор в вопросе об источниках замысла «Бахчисарайского фонтана». Гершензон прав, когда говорит, что "образ этой же женщины 'преследовал' его тогда, когда он стоял перед фонтаном слез в Бахчисарае, и о ней он говорит в заключительных строках «Бахчисарайского фонтана»" [19].

Весь черновой набросок эпилога поэмы «Бахчисарайский фонтан» говорит о той же скрытой любви, что и элегия «Погасло дневное светило», и при этом в чертах еще более конкретных.

Лишь мне известные мечты
Меня глубоко занимали.

*

Иль только сладостный предмет
Любви таинственной, унылой —
Тогда... Но полно! вас уж нет,
Мечты невозвратимых лет,
Во глубине души остылой
Не тлеет ваш безумный след.

*

Мечтатель! полно! перестань!
Не пробуждай тоски напрасной,
Слепой любви, любви несчастной
Заплачена тобою дань...
Опомнись! — долго ль, раб послушный,

[13] «Старина и новизна», 1897, кн.I, стр.96.

Тебе неволи цепь лобзать
И в свете лирой малодушной
Свое безумство разглашать.

*

Забудь мучительный предмет
Невозвратимых заблуждений.

*

Чего ты жаждешь, посмеяний?

*

Забудь
И слабость отроческих лет.

*

Ты возмужал средь испытаний,
Забыл проступки ранних лет,
Постыдных слез, воспоминаний
И безотрадных ожиданий
Забудь мучительный предмет.

Здесь замечательны самые определения: это любовь слепая, несчастная, безумная, но прежде всего — т а и н с т в е н н а я . Однако же молчание о ней не распространяется на поэзию: поэт разглашает в свете свое безумство лирой.

В чистовом виде это место получило следующий вид:

Я помню столь же милый взгляд
И красоту еще земную,
Все думы сердца к ней летят,
Об ней в изгнании тоскую...
Безумец! полно! перестань,
Не оживляй тоски напрасной,
Мятежным снам любви несчастной
Заплачена тобою дань —
Опомнись; долго ль, узник томный,
Тебе оковы лобызать
И в свете лирою нескромной
Свое безумство разглашать?

Здесь в особенности интересны стихи:

Я помню столь же милый взгляд
И к р а с о т у е щ е з е м н у ю .

Это могло относиться только к стареющей Карамзиной. В чистовике уже, однако, стерты главные конкретные черты черновика. В первом

издании поэмы, в 1824 г., Пушкин откинул еще 10 стихов, начиная со стиха:

Все думы сердца к ней летят.

Между тем черновой набросок — это как бы непосредственная запись, поэтический дневник с автобиографическими чертами. "Безумная любовь" элегии «Погасло дневное светило» точно здесь отнесена к отроческим летам и вызывает воспоминание о посмеяниях, о поступках ранних лет и "постыдных слезах".

Это поэтический двойник рассказов Блудова о том, как смеялись Карамзины над любовным письмом Пушкина, о месте в их царскосельском китайском доме, облитом слезами Пушкина.

Нет, не петербургское увлечение светской певицей, не мимолетная южная любовь к молоденькой девушке, а страсть ранних лицейских лет, "невозвратимые заблуждения" отроческих лет.

4

Самое создание «Бахчисарайского фонтана» связано с воспоминанием о Карамзиной, с ее рассказом.

25 августа 1823 г. Пушкин писал брату из Одессы: "Здесь Туманский. Он добрый малой, да иногда врет — напр., он пишет в П.Б. письмо, где говорит между прочим обо мне: Пушкин открыл мне немедленно свое сердце и porte-feuille, — любовь и пр... дело в том, что я прочел ему отрывки из «Бахчисарайского фонтана» (новой моей поэмы), сказав, что я не желал бы ее напечатать потому, что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и что роль Петрарки [20] мне не по нутру. Туманский принял это за сердечную доверенность и посвящает меня в Шаликовы [21] — помогите!"

Таково письмо к брату.

Как эти чувства, воспоминания и мысли близки его поэзии, в какой мере это поэтические мысли, мы узнаем из конца первой главы «Евгения Онегина», законченной в октябре 1823 г., т.е. через два месяца после письма брату:

Любви б е з у м н у ю тревогу
Я б е з о т р а д н о испытал.
Блажен, кто с нею сочетал
Горячку рифм: он тем удвоил
Поэзии священный бред,
Петрарке шествуя вослед,
А муки сердца успокоил,
Поймал и славу между тем,
Но я, любя, был глуп и нем.

... Погасший пепел уж не вспыхнет,
Я все грущу, но слез уж нет,
И скоро, скоро бури след
В душе моей совсем утихнет.

Петрарка (и в письме к брату и в «Евгении Онегине») — точный поэтический термин у Пушкина: это поэт любви платонической. Строки:

Любви безумную тревогу
Я безотрадно испытал.

— повторяют элегию, где выражение "Любви безумной, безотрадной" — это неизменное точное определение этой юношеской, ранней, "утаенной" любви.

Боязнь огласки личного тайного смысла поэмы «Бахчисарайский фонтан» не может Пушкину помешать говорить о нем. 8 февраля 1824 г. он пишет из Одессы Бестужеву: "Радуюсь, что мой фонтан шумит. Недостаток плана не моя вина. Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины.

Aux douces lois des vers je pliais les accents
De sa bouche aimable et naïve" [22]

Жажда высказаться здесь необыкновенна, а фраза о молодой женщине (что не подходит к годам Карамзиной) вовсе не маскировка, а власть образа, переведенное начало цитаты из Андре Шенье «La jeune captive» — «Молодая узница». Привожу ее:

Ainsi triste et captif, ma lyre toutefois
S'évaillait, écoutant ces plaintes, cette voix,
Ces voeux d'une jeune captive;
Et secouant le joug de mes jours languissants.
Aux douces lois des vers je pliais les accents
De sa bouche aimable et naïve. [23]

Как часто у Пушкина цитата, быть может, имеет расширительное значение. Образ "молодой узницы", так же как собственных томительных дней (mes jours languissants) — быть может, воспоминание образов собственного лицейского "заточения" и царскосельского одиночества красавицы Карамзиной.

Эта творческая нескромность была сразу же подхвачена. Булгарин перехватил письмо и напечатал его в «Литературных листках» (1824, ч.1, №4) в виде отрывка: «Недостает плана» и т.д. [24]

Пушкин пугается, что это любезное, почти любовное в о с п о м и н а н и е, доказывающее нескромность, попадется на глаза любимой женщины. Он пишет 29 июня 1824 г.: "... черт дернул меня написать еще кстати о Бахчисарайском фонтане какие-то чувствительные строчки и припомнить тут же элегическую мою красавицу. — Вообрази мое отчаяние, когда увидел их напечатанными. — Журнал может попасть в ее руки. Что ж она подумает, видя, с какой охотою беседую об ней с одним из петербургских моих приятелей. Обязана ли она знать, что она мною не названа, что письмо распечатано и напечатано Булгариным... Признаюсь, одной мыслию этой женщины дорожу я более, чем мнением всех журналов на свете и всей нашей публики. Голова у меня закружилась".[14] [25]

Это удивительная черта Пушкина: он должен скрывать, таить от всех свою любовь, имя женщины, а жажда высказаться, назвать ее до такой степени его мучит, что он то и дело проговаривается. В «Отрывках из Путешествия Онегина» (1827) Пушкин вспомнил о своих крымских впечатлениях и чувствах:

В ту пору мне казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груды скал,
И гордой девы идеал,
И б е з ы м е н н ы е с т р а д а н ь я ...

"Гордой девы идеал" — в черновом варианте читается:

И между ими идеал
К а к о й - н и б у д ь надменной девы.

Это характеризует не чувство, а "высокопарные мечтанья" той поры.

Но строка о "безыменных страданьях", которою обрываются эти воспоминания (вариант: безнадежные страданья), — неподвижное, повторяющееся в его поэзии обозначение все той же любви, которую он не мог назвать и тяготился этим, любви "таинственной", "ужасной", "безыменной".

В «Путешествии Онегина» эта безыменность уже не кажется нужной.

Быть может, она не казалась столь нужной и в 1824 г.

Во всяком случае, он не мог одолеть этого желания назвать имя безыменной любви и назвал любимую женщину, ясно обозначив начальную букву ее фамилии.

В декабре 1824 г. он пишет автобиографический очерк, рассказ о

[14] "Элегическая красавица" — здесь, может быть, не только обозначает: "красавица, рассказывающая элегии", но и "красавица, которой посвящены элегии, героиня элегий".

своем путешествии, в котором подводит итог своему крымскому пребыванию. Этот обширный очерк написан в форме письма к другу Дельвигу, почему-то до последнего времени помещался в собрании писем Пушкина как письмо к Дельвигу из Михайловского [126].

Тщательность, с которой письмо переделывалось и переписывалось, показывает его значение.

В первой редакции он стал обозначать начальными буквами все фамилии. "Путешествие М. оживило во мне много воспоминаний..." — пишет он о «Путешествии по Тавриде в 1820 годе» Муравьева-Апостола [127]. Вслед за этим: "Я думал стихами о Ч. — вот они" — это о «Послании к Чаадаеву» [128]. Вслед за этим он не удержался и написал первую букву фамилии любимой женщины: "Я [слышал об фонтане Керим-Герея] [слыхал о странном памятнике] влюбленного хана. [Поэтическое воображение К* назвало] К* поэтически описала мне его и [называла] называя [его] la fontaine des larmes"[129].

Переписывая дважды письмо и исправляя его, он трижды написал эту начальную букву ее фамилии.

И конец письма показывает, как глубоко были связаны эти мечты с воспоминаниями, не крымскими, а теми, которые он в Крыму переживал, которые вызвали элегию «Погасло дневное светило» и поэму «Бахчисарайский фонтан»: "Растолкуй мне теперь: почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием? Или воспоминание самая сильная способность души нашей и им очаровано все, что подвластно ему?"

Крым, который он покидал с таким равнодушием, был для него местом, в котором он испытал воспоминания.

Итак, Карамзина была почти названа.

Это ее петербургский рассказ о "фонтане слез" был первоисточником поэмы, в которой отразились воспоминания этой мучительной любви.

Именно она, бывшая в курсе всех исторических интересов, могла знать старое предание о "фонтане слез" в Бахчисарае.

«Письмо к Дельвигу» было напечатано в «Северных цветах» на 1826 г. под названием: «Отрывок из письма А.С.Пушкина к Д.».

Можно думать, что этим "письмом" Пушкин хочет покончить с так тщательно хранимым молчанием, назвать оберегаемое до сих пор имя женщины, с воспоминанием о которой были связаны эпилог «Бахчисарайского фонтана» и его элегии.

Вместе с тем это было как бы неофициальным посвящением поэмы, негласным указанием на то, что замысел поэмы связан с именем Карамзиной.

Вероятно, этим желанием "посвящения" и был вызван самый отрывок «Письма». Если вспомнить, что главным образом Карамзиной посвящена поэма «Руслан и Людмила», — станет ясно, что негласным

осталось не только имя, но и само посвящение "элегической красавице".

Совершенно лаконично и бездоказательно примечание в томе II старого академического издания Пушкина [30] о том, что К*** — это Екатерина Николаевна Раевская (т.II, 1905, стр.346). К букве К*** комментатор просто сделал сноску: "Катерина Николаевна Раевская, вскоре вышедшая за М.Ф.Орлова" [31].

Не говоря уже о том, что прописная буква с тремя звездочками (К***) никогда у Пушкина не означает имени, а всегда фамилию, Пушкин нигде в письмах не называл Екатерину Николаевну Раевскую так запросто, по имени: Катерина (или Катя). Отношения были вовсе не таковы. Кроме того, он оставил ее характеристику. Работая над «Борисом Годуновым», он вспомнил Катерину Орлову: ее черты отразились в образе Марины.

"Моя Марина славная баба: настоящая Катерина Орлова!" (письмо к Вяземскому из Михайловского от 13 сентября 1825 г.). И уж совсем бесцеремонно: "На Марину у тебя ... ибо она полька и собою преизрядна (вроде Катерины Орловой, сказывал это я тебе?)" (Письмо к Вяземскому от 7 ноября 1825 г.).

Эта женщина с авантюристическими чертами не напоминает "элегическую красавицу".

Щеголев, настаивавший на том, что "утаенная любовь" Пушкина — другая сестра, Мария Раевская, ввел утверждение, державшееся до сих пор: "Ясно, что Пушкин, делая новое признание о происхождении «Бахчисарайского фонтана» именно хотел устранить неприятные для него толкования прежнего признания" и т.д. Таким образом, литера К*** — простая выдумка, чтобы сбить с толку Дельвига и др. Непонятно, как Пушкин, трижды переписывая и изменяя текст письма, ни разу не поколебался и хоть раз не написал другой буквы. Или, может быть, Пушкин выдумал для замены, подстановки какую-то определенную женщину? Никаких подтверждений таким фактам в биографии Пушкина нет.

К*** не может быть Екатериной Николаевной Раевскою. К*** это не выдумка Пушкина, а с трудом давшееся ему признание.

Утаенная по глубоким и веским причинам на всю жизнь безыменная любовь — это не Мария Волконская, не Мария Голицына.

Это Екатерина Андреевна Карамзина.

Утаенная до сих пор любовь Пушкина — один из важнейших фактов его биографии.

5

Щеголев совершенно правильно отнес к "утаенной любви" загадочное посвящение «Полтавы», но на столь же недостаточных основаниях отнес его к М.Волконской.

"Пушкин хранил такое глубокое молчание о том лице, кому посвящена «Полтава», что ни в переписке, ни в воспоминаниях его друзей и близких не сохранилось даже намеков, позволяющих делать более или менее правдоподобные догадки»[15].

«Посвящение» написано 27 октября 1828 г.

Тебе. но голос Музы темной
Коснется ль слуха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего,
Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь,
Перед тобою без привета
Пройдет, не признанное вновь?..
Но если ты узнала звуки
Души приверженной тебе,
О думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе
Твоя печальная пустыня,
Твой образ, звук твоих речей
Одно сокровище, святыня
Для сумрачной души моей...

Щеголев в полемике с Гершензоном детально разработал черновики «Посвящения». Щеголев доказывает, что поэма посвящена М.Волконской.

Попробуем разобраться в «Посвящении», а также его вариантах.

Во-первых, стихотворение начинается с краткой, прерванной фразы:

Тебе .. но голос Музы темной
Коснется ль слуха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего...

Поэт обращается к женщине, но боится, что она не поймет того, что именно к ней эти стихи относятся, что поэма посвящена ей.

Надо сказать, что выражение "голос Музы темной" не может быть понято как "голос неизвестной музы".

"Темный" — у Пушкина значит чаще всего скрытый, непонятный, тайный.

В таком смысле это слово употреблено в варианте Жуковского к «Стихам, сочиненным ночью, во время бессонницы»:

[15] *П.Е.Щеголев.* Пушкин. Очерки, изд. 2-е, стр. 165.

Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу.

У Жуковского:

Темный твой язык учу [32].

Ср. послание «Козлову»:

Недаром темною стезей
Я проходил пустыню мира.

И дальше в «Посвящении» сразу же идет подтверждение этого смысла — сомнение:

Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего...

Затем следует строфа, полностью объясняющая, в чем здесь сомнения:

Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь
[вариант: Как утаенная любовь],
Перед тобою без привета
Пройдет, не признанное вновь?..

Здесь дело идет прежде всего о том, что некогда любовь поэта была утаенная, непризнанная, при этом, может быть, не столько просто не узнана, сколько не понята, не принята, не распознано ее значение, она оставлена без привета.

Но речь идет здесь не только о непризнанной, оставшейся без привета л ю б в и .

Речь идет, быть может, и о том, что прошли непризнанными, без привета, быть может, из-за "темноты", остались непонятыми какие-то поэтические посвящения.

Иль посвящение поэта
[Не будет признано тобою]
Пройдет, не признанное вновь?..

Такими посвящениями могли быть только посвящения с не совсем прямыми обращениями, не совсем явные.

Мы ничего не знаем ни о таких, ни о каких-либо других посвящениях Раевской — М.Волконской.

Такими посвящениями были, как мы видели, посвящения Карам-

зиной в «Руслане и Людмиле» и «Бахчисарайском фонтане», — видимо, прошедшие не замеченными той, к которой были обращены.

Особенное внимание исследователей привлекли строки:

И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе
Твоя печальная пустыня,
Твой образ, звук твоих речей
Одно сокровище, святыня
Одна любовь души моей.

Предположение, что эти стихи были обращены к М.Волконской, стало для П.Е.Щеголева уверенностью, когда он обнаружил в черновиках вариант:

Сибири хладная пустыня.

Однако именно этот вариант убеждает, что это не так. В черновом варианте, по расшифровке Щеголева, у Пушкина написано:[16]

Что без тебя [свет.] <?> [мiр]
Сибири хладная пустыня.

Таким образом, не для той, которой посвящены стихи, а напротив, для поэта без нее мир — "Сибири хладная пустыня". Здесь совершенно ясное воспоминание о том, кто и когда был защитницей поэта, когда ему грозила Сибирь, без кого мир был бы для него "Сибири хладною пустыней".

Мысль о декабристах здесь, в этом варианте, может быть, и остается; только это не любовное посвящение жене декабриста. Без Е.А.Карамзиной, отстоявшей, спасшей Пушкина в 1820 г. от Сибири, он был бы в "хладной пустыне Сибири", как теперь декабристы, — таков внутренний смысл этого поэтического образа.

Остается выражение окончательного текста: "Твоя печальная пустыня".

Вскоре после смерти Карамзина, 13 июня 1826 г., семья его в сопровождении Вяземского отправилась в Ревель, где и прожила до весны 1828 г.

Применимо ли выражение "пустыня" к Ревелю?

Это, конечно, могло и не быть буквальным обозначением места, а поэтическим образом.

Но вот перед нами письма из Ревеля дочери Карамзина, Екатерины Николаевны, а затем и самой Екатерины Андреевны к Тургеневу от 11 августа 1826 г.[17]

---

[16] *П. Е. Щеголев.* Пушкин, стр.188.

[17] Архив бр. Тургеневых, вып.6. Пг., 1921, стр.39.

Е.Н.Карамзина пишет: "Наше существование всегда одно и то же, очень уединенное, очень одинокое, очень печальное... Хотя мы всегда довольны своим обиталищем, но оно, однако, иногда причиняет нам немного беспокойства, неизбежного при очень дикой природе. Мы осаждены змеями: они ползают по нашему двору, в нашем саду и недавно еще они задали нам тревогу".

Сама Екатерина Андреевна писала: "Через несколько дней наше общество подвергнется несчастным переменам, причиной которых отъезд дорогого П[етра]. Тогда мы останемся совсем покинутыми (dans un abandon absolu), ни одна новость не будет доходить до нас... И это состояние оторванности (d'isolation), неизвестности, заброшенности больше подходит к моей душе, чем всякое другое" [33].

Конечно, это ревельское пребывание могло быть названо "печальною пустынею" и даже далекою от жизни и друзей.

Эти же письма объясняют и вариант: "в глуши".

Это письмо могло быть известно Пушкину; более того, мы можем предположить, что до написания «Полтавы» и посвящения к ней он виделся с Екатериною Андреевной. Лето 1828 г., начиная с апреля, она прожила в том же старом "китайском доме", который Пушкин посещал лицеистом.

Между тем у нас имеется сведение, что Пушкин весною 1828 г., вернее летом, посетил Царскосельский лицей [34].

Трудно предположить, чтобы, посетив лицей, Пушкин не посетил Карамзину, жившую в Царском Селе, в том же "китайском доме", так хорошо ему знакомом.

Тогда строки:

Твоя печальная пустыня,
Твой образ, звук твоих речей
[вариант: Последний звук твоих речей]

— представляют единое воспоминание. Это печальная пустыня ее двухлетней ревельской жизни, рассказ о ней во время последнего свидания.

Надо принять во внимание, что свидание, по-видимому, состоялось непосредственно после приезда Карамзиных и было еще полно впечатлениями их ревельской жизни.

Таким образом, "последний звук твоих речей" в стихотворении, написанном в октябре 1828 г., — еще недавнее, нестершееся воспоминание, что и вполне естественно. И, наконец, объясняется один интереснейший вариант «Посвящения» — строка, не вошедшая в его текст:

Воспоминаньем упоенный.

Это — самоповторение из элегии «Погасло дневное светило», связанной с теми же воспоминаниями о той же любви, о той же женщине.

Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаньем упоенный.

А вариант 6-й строки «Посвящения»: К а к у т а е н н а я л ю б о в ь — признание, которое, как и выражение «Отрывков из Путешествия Онегина»: "безыменные страданья", является точным обозначением этого, только теперь выясняющегося, факта пушкинской биографии.

6

Одна из величайших элегий Пушкина: «На холмах Грузии лежит ночная тьма» (1829) до недавнего времени связывалась с именем Н.Н.Гончаровой.

Действительно, было естественно предполагать, что элегия, написанная после сватовства к ней, была обращена именно к ней.

С.М.Бонди впервые прочитал первоначальную редакцию элегии, и вопрос о ней совершенно изменился[18].

Приводим ее.

Все тихо. На Кавказ идет ночная мгла.
Мерцают звезды предо мною,
Мне грустно и легко, печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою.
Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь
И без надежд и без желаний,
Как пламень жертвенный, чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний.

С.М. Бонди говорит о причинах, почему Пушкин не печатал окончания стихотворения:

"Только что добившемуся руки Натальи Николаевны жениху-Пушкину, вероятно, не хотелось опубликовывать стихи, написанные в разгар его сватовства — и говорящие о любви к какой-то другой женщине ("Я твой п о - п р е ж н е м у , тебя люблю я в н о в ь "). В напечатанных же первых двух строфах этот мотив — новое возвращение прежнего чувства — настолько незаметен, что комментаторы, не знавшие "продолжения отрывка", нередко относили эти стихи к самой Гончаровой"[135].

Итак, здесь не образ новой любви, а образ прежней. Вспомним, с

[18] *С. Бонди.* Новые страницы Пушкина. Изд-во «Мир», 1931, стр.9—29.

какой тревогой и жадностью просил Пушкин уже после помолвки передать ему отклик на нее Карамзиной, ее точные слова. "Они нужны моему сердцу, и теперь еще не совсем счастливому".

Вспомним, что Карамзина благодарила его за то, что он д у м а л о н е й в п е р в ы е м г н о в е н и я с в о е г о с ч а с т ь я.

Воспоминание об этой любви вытеснило все другие. Третья строфа черновика элегии была следующая:

Прошли за днями дни. Сокрылось много лет.
Где вы, бесценные созданья?
Иные далеко, иных уж в мире нет —
Со мной одни воспоминанья.

Эта строфа была вычеркнута Пушкиным, осталась четвертая:

Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь.

Это было очень ясное воспоминание.
Таков вариант:

Я снова юн и твой, и сердца моего
Ничто чужое [ничто иное] не тревожит.
В нем образ твой горит[19].

Юн — говорится о р а н н е й молодости; в черновике эпилога к «Бахчисарайскому фонтану» было воспоминанье о той же женщине; и в стихах говорилось о р а н н и х , даже отроческих летах.

Элегия говорит о той, к которой обращено и посвящение к «Полтаве»:

Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.

Эта "святыня" в словах:

Как пламень жертвенный, чиста моя любовь...

А о том, что здесь любовь не только прежняя, но и р а н н я я , сказано в последнем стихе:

И нежность девственных мечтаний.

[19] См. *Бонди.* Новые страницы Пушкина, стр.20.

Становится ясным, как ложно долго державшееся, одно время даже ставшее ходячим представление о Пушкине как о ветреном, л е г к о м ы с л е н н о м, беспрестанно и беспечно меняющем свои привязанности человеке: мучительная и страстная любовь семнадцатилетнего "лицейского" заставила его в последний час прежде всего позвать Карамзину. Эта "утаенная", "безыменная" любовь прошла через всю его жизнь.

КАРАМЗИНА Екатерина Андреевна (1780—1850) — побочная дочь князя Андрея Ивановича Вяземского, единокровная сестра П А Вяземского; до замужества носила фамилию Колыванова по месту рождения в Ревеле (Колывани) В 1804 г. стала второй женой Н. М. Карамзина Одна из самых выдающихся женщин Петербургского общества. Была хорошо образована, живо интересовалась вопросами литературы, истории, европейской политики Авторитет имени Карамзина сыграл роль в сохранении литературного салона, который процветал при его жизни. Несомненная заслуга в этом принадлежала его жене и старшей дочери Софье Николаевне. Они заботливо сохраняли связи со старыми друзьями историографа (В. А. Жуковским, П. А Вяземским, М Ю Виельгорским) и привлекли постоянных посетителей их дома — друзей старших детей На вечерах у Карамзиных постоянно бывают Н. М. и А. О. Смирновы, А О и К О Россеты, начинающий писатель В Л Соллогуб; сюда с удовольствием заезжают люди большого света — признанная красавица А. К. Шернваль (осенью 1836 года она вышла замуж за известного богача П. Н. Демидова), семья государственного канцлера В П Кочубея По словам будущего славянофила А. И. Кошелева, "в доме Е. А. Карамзиной собирались литераторы и умные люди разных направлений.< . > Вечера начинались в 10 и длились до 1 или 2 часов ночи; разговор редко умолкал... Эти вечера были единственные в Петербурге, где не играли в карты и где говорили по-русски". (*Кошелев А.И.* Записки. Берлин 1884 С. 30). 28 ноября 1836 года Софья Николаевна пишет брату Андрею, который находится за границей, о своем дне рождения: "Что касается меня, то я налила 138 чашек чаю и мне чуть-чуть не стало дурно .." (П в письмах Карамзиных. С. 194)

Пушкин познакомился с Екатериной Андреевной в 1816 году в Царском Селе, где Карамзины прожили 4 месяца летом, и проводил у них "свободное время свое все лето" (Лицейские письма А. М. Горчакова. 1814—1819// Красный архив, 1936. Т. 6. С. 194) В это время Екатерина Андреевна стала предметом юношеской влюбленности поэта. В его "дон-жуанском" списке она значится под именем "Катерины II" Это и дало основание Ю. Н Тынянову считать ее 'безымянной" любовью поэта Точка зрения Тынянова не разделяется другими исследователями. Теплое отношение к поэту Екатерина Андреевна сохраняла на протяжении всего их знакомства до самой смерти поэта. Известно, что когда в тревожные апрельские дни 1820 года Пушкину грозила ссылка, за него перед Александром I хлопотал Н. М Карамзин. По мнению Н В Измайлова, "жена Карамзина сыграла немалую, быть может, побудительную и главную роль в заступничестве мужа за Пушкина" (П. в письмах Карамзиных С. 88).

В письмах поэта из ссылки и позднее имя Екатерины Андреевны упоминается всегда с теплотой и глубоким уважением. Во все серьезные моменты своей жизни он вспоминал о ней. В 1830, собираясь жениться, он писал Вяземскому: "Сказывал ты Катерине Андр.<еевне> о моей помолвке? Я уверен в ее участии — но передай мне ее слова — они нужны моему сердцу, и теперь не совсем счастливому" (XIV, 88); ей первой он сообщил о своей состоявшейся свадьбе. Его письмо об этом не сохранилось, но ее ответное письмо наполнено материнской тревогой за будущее поэта (XIV, 155—156).

После возвращения из ссылки Пушкин (сперва один, потом с женой) был постоянным посетителем салона Карамзиных и близким другом дома. Также постоянно бывал по вечерам у Карамзиных и Дантес, сумевший вызвать симпатию у всех молодых членов семьи. Наверное, с тревогой смотрела на развивающуюся драму Екатерина Андреевна. Во всяком случае в письмах к сыну она, в противоположность Софье Николаевне, обходит эту тему. Раненый Пушкин на другой день после дуэли 28 января выразил желание проститься с Екатериной Андреевной. Об этом свидании сохранились записи Жуковского и других современников. Сама Екатерина Андеевна рассказала о нем в письме к сыну Андрею. Приводим это удивительное по искренности и глубине чувства письмо: "Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестию; закатилась звезда светлая, Россия потеряла Пушкина! Он дрался в середу на дуэли с Дантезом и он прострелил его насквозь; Пушкин бессмертный жил два дни, а вчерась, в пятницу отлетел от нас; я имела горькую сладость проститься с ним в четверг; он сам этого пожелал. Ты можешь вообразить мои чувства в эту минуту, особливо, когда узнаешь, что Арнд с первой минуты сказал, что никакой надежды нет! Он протянул мне руку, я ее пожала, и он мне также, и потом махнул, чтобы я вышла. Я уходя, осенила его издали крестом, он опять протянул мне руку и сказал тихо: "перекрестите еще", тогда я опять, пожавши еще раз его руку, я уже его перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке: он ее тихонько поцеловал и опять махнул. Он был бледен как полотно, но очень хорош; спокойствие выражалось на его прекрасном лице. Других подробностей не хочу писать, отчего и почему это великое нещастие случилось: они мне противны; Сонюшка тебе их опишет. А мне жаль тебя; я знаю и чувствую, сколько тебя эта весть огорчит; потеря для России, но еще особенно наша; он был жаркий почитатель твоего отца и наш неизменный друг двадцать лет" (П. в письмах Карамзиных. С. 166).



Б. В. Томашевский

„Таврида“ Пушкина

Романтические произведения Пушкина, писанные им в первые годы ссылки на юг (1820—1823), характеризуются постановкой новых проблем, вызывающих новые лирические темы, отсутствовавшие как в лирике лицейских лет, так и в лирике петербургского периода 1817—1820 годов.

Эти новые темы объединены общей проблемой романтической эпохи: проблемой личности в ее отношении к обществу. Психологический портрет современника — основное задание южных поэм. Впервые он дан в «Кавказском пленнике», в завершенной форме — в «Цыганах». Самая критика современного общества дается сквозь изображение романтического героя. Он является носителем противоречий, характерных для современного общества: основной характеристической чертой романтического героя является испытание страстей, ведущих к трагическим конфликтам.

Особенностью романтического творчества Пушкина является лирическая трактовка тем. Поэмы сопровождаются лирическими циклами, развивающими характеристику героев, данную в поэмах, и рисующими те же противоречия страстей и те же психологические конфликты, какие присутствуют и в поэмах.

В лирике, как и в поэмах, трагическим страстям противопоставлен гармонический идеал. С представлением о гармонии связываются, с одной стороны, картины природы (преимущественно южной природы Кавказа и Крыма) и идеальный образ девушки. Однако для романтического героя, пережившего трагическое испытание страстей, встреча с романтической героиней является источником новых страданий и новых противоречий.

Таковы типические темы и настроения, одинаково характерные как для поэм, так и для лирики южного периода творчества Пушкина.

С этим кругом тем и настроений связано и одно, доныне еще не вполне разгаданное произведение южного периода — «Таврида».

Как показывает самое название (данное ему самим Пушкиным), произведение это связано с трехнедельным пребыванием Пушкина в Крыму, в Гурзуфе.

Впечатления, вынесенные Пушкиным из его посещения Гурзуфа, относятся к самым сильным, какие он испытал. "Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался; счастливое

полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение, — горы, сады, море; друг мой, любимая моя надежда — увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского" (письмо брату 24 сентября 1820 г.).

Пушкин прибыл в Крым после трехмесячного пребывания на Кавказских водах. Вместе с генералом Раевским, его сыном Николаем и двумя младшими дочерьми, Марией и Софьей, он проехал вдоль Кавказской линии по Кубани, переправился через Керченский пролив из Тамани в Керчь, отсюда лошадьми доехал до Феодосии. Здесь его ждали новые впечатления: предстоял морской переезд в Гурзуф, и с корабля перед Пушкиным открылись полуденные берега Тавриды. В Гурзуф прибыли на рассвете 18 августа. Здесь ждали прибывших жена генерала и две старшие дочери, Екатерина и Елена. "В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом" («Письмо к Д.»). Уже 5 сентября, сопровождая генерала Раевского и его сына, Пушкин отправился из Гурзуфа верхом через Георгиевский монастырь и Бахчисарай на Симферополь, чтобы через несколько дней навсегда оставить Крым и направиться по месту службы в Кишинев к Инзову.

Гурзуфские впечатления занимают значительное место в творчестве Пушкина. О них мы читаем в отступлениях «Бахчисарайского фонтана»; через десять лет он возвращается к ним в строфах «Путешествия Онегина». Им же посвящено немало лирических стихотворений. Среди них имеется и неразгаданный замысел под названием «Таврида».

Стихи о Гурзуфе Пушкин писал и в самом Гурзуфе, и скоро после отъезда, и неоднократно возвращался к этой теме в ближайшие годы, вплоть до переезда из Одессы в Михайловское.

Чтобы разгадать замысел «Тавриды», необходимо не только обратиться непосредственно к черновым рукописям Пушкина; надо их осмыслить в связи с другими произведениями на близкую тему.

За три недели, проведенные Пушкиным в Гурзуфе, им написано сравнительно немного. Здесь, по-видимому, он преимущественно был занят замыслом «Кавказского пленника». К числу стихотворений, созданных непосредственно в Гурзуфе, с большей или меньшей уверенностью можно отнести следующие:

1) *«Погасло дневное светило...»*. Стихотворение это, по собственному свидетельству Пушкина, писано на корабле, во время переезда из Феодосии в Гурзуф. С ним, обычно, связывают воспоминания Марии Раевской-Волконской, записанные П. И. Бартеневым: "В ночь перед Гурзуфом Пушкин расхаживал по палубе в задумчивости и что-то бормоча про себя".

2) *«Увы, зачем она блистает...»*. Повидимому, для прикрытия реальных поводов создания этой элегии Пушкин печатал ее с датой 1819 г. Однако в автографе она датирована: "1820. Юрзуф".

3) *«Мне вас не жаль, года весны моей...»* Стихи, оставшиеся в рукописи, где они датированы: "1820. Юрзуф. 20 сентября". В этой дате есть противоречия, так как Пушкин уехал из Гурзуфа 5 сентября. Однако дата места внушает более доверия, чем дата времени, где возможна описка.

4) *«Зачем безвременную скуку...»*. Датировать это стихотворение труднее. Пушкин отнес его к 1821 г., может быть из тех же соображений, из которых он скрыл дату элегии «Увы, зачем она блистает...». Наличие рукописи 1826 г. породило некоторые недоразумения в интерпретации этого стихотворения. Однако черновые наброски, находившиеся среди гурзуфских записей, дают основание с некоторой вероятностью отнести эти стихи хотя бы в первоначальном замысле именно к Гурзуфу.

Кроме этих четырех стихотворений, Пушкин написал ряд элегий, отражающих его крымские впечатления, в ближайшие месяцы, еще в пределах 1820 г. Таковы «Нереида», «Редеет облаков летучая гряда...» (это стихотворение написано в Каменке) и незаконченный набросок «Там на брегу, где дремлет лес священный...».

В самом содержании этих стихов мы видим прямое упоминание Тавриды (в первом: "Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду...", во втором, в рукописной редакции: "И сладостно шумят таврические волны...", в третьем: "сященный лес...", — несомненно, оливковая роща, расположенная на берегу у дачи Ришелье).

Все эти стихотворения отражают непосредственные лирические впечатления от дней, проведенных в Гурзуфе.

В этих элегиях разработаны характерные темы. В первой из них Пушкин прощается со своей петербургской жизнью, с теми испытаниями страстей, которым он подвергся на севере и которые, в какой-то мере, перекликаются с переживаниями героя «Кавказского пленника».

Той же теме посвящена и черновая строфа стихотворения «Мне вас не жаль, года весны моей...». И здесь говорится про "венки пиров и чаши круговые" и про "младых изменниц" (ср. "питомцы наслаждений, минутной младости минутные друзья", "наперсницы порочных заблуждений"). Это — своеобразный плач о потерянной юности, в которой, впрочем, поэту дороги "минуты умиленья" "младых надежд, сердечной тишины". Именно их зовет к себе Пушкин:

Придите вновь, года моей весны!

Он ждет снова "неги вдохновенья", чтоб искупить напрасно растраченные годы ранней молодости.

Видимо, в это время он подыскал эпиграф к «Кавказскому пленнику», отброшенный им в печати (из пролога к «Фаусту»): Gib meine Jugend mir zurück! [11]

Остальные элегии посвящены теме новой любви. Во всех элегиях

появляется образ "милой девы":

Смотрю на все ее движенья,
Внимаю каждый звук речей,
И миг единый разлученья
Ужасен для души моей.

В ожидании разлуки Пушкин восклицает:

Тогда изгнаньем и могилой,
Несчастный, будешь ты готов
Купить хоть слово девы милой,
Хоть легкий шум ее шагов.

Другие стихотворения дают ряд реальных подробностей. Поэт бродит один по оливковой роще, повторяя имя милой, и ждет встречи, по-видимому, нечаянной. То эта дева облекается в мифологический образ Нереиды, замеченной им сквозь листву олив (в печати локализующее слово "меж олив" заменено безразличным "меж дерев"), то, обращаясь к знакомой звезде, он вспоминает, как в Гурзуфе в вечерние сумерки:

... дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.

Впоследствии Пушкин расширил круг крымских стихотворений. Руководствуясь тематическими соображениями, он в своем сборнике отнес к 1820 г. и написанные позднее, в 1824 г., стихи, связанные с воспоминанием о Крыме. Это стихотворения «Фонтану Бахчисарайского дворца», «Виноград», «О дева роза, я в оковах...» и «Чаадаеву» ("К чему холодные сомненья?..").

Характерно, что эти четыре стихотворения написаны не как воспоминания о Крыме, а как непосредственные крымские впечатления. Пушкин изображает себя в Крыму, что и дало ему основание напечатать все четыре под 1820 годом. Что же касается, в частности, послания Чаадаеву, то оно послужило предметом некоторой мистификации: Пушкин включил его в свое описание поездки в Крым («Отрывок из письма к Д.» 1824 г.), как стихотворение, написанное у Георгиевского монастыря, на развалинах храма Дианы. Правда, и в нем, как и в стихотворении «Фонтану Бахчисарайского дворца», он допустил при этом явный анахроизм: "Холодные сомненья" — это рассуждения Муравьева в книге, вышедшей в свет только в 1823 г.,[12] в другом стихотворении — имена Марии и Заремы, приналежащие поэме, задуманной и осуществленной позднее 1820 г.

Во всяком случае такое воображаемое переселение в Крым, выразившееся в четырех крымских стихотворениях, писанных в Михайлов-

ском, в ноябре 1824 г., знаменательно.

Однако в наибольшей степени гурзуфские впечатления отразились в произведениях, посвященных воспоминанию о Крыме. Так, Крыму отведено несколько строк в «Путешествии Онегина». Здесь, вслед за описанием крымского южного берега, Пушкин пишет:

А там, меж хижинок татар...
Какой во мне проснулся жар!
Какой волшебною тоскою
Стеснилась пламенная грудь!
Но, муза! прошлое забудь.

Той же теме гурзуфской любви и гурзуфского пейзажа посвящены заключительные строки «Бахчисарайского фонтана». Это тот самый "любовный бред", о котором Пушкин писал Вяземскому: [3]

Я помню столь же милый взгляд
И красоту еще земную...
Все думы сердца к ней летят,
Об ней в изгнании тоскую...

За этими стихами следует описание Гурзуфа:

Приду на склон приморских гор,
Воспоминаний тайных полный,
И вновь таврические волны
Обрадуют мой жадный взор.

Именно эта таврическая любовь была предметом беспокойства Пушкина в его письмах 1824 г. по поводу «Бахчисарайского фонтана» и напечатания Бестужевым последних строк элегии «Редеет облаков летучая гряда...». В письме 29 июня 1824 г. Пушкин указывает, что "рассказ молодой женщины", послуживший сюжетом поэме, принадлежит той же, о которой говорится в элегии ("элегическая моя красавица"). Именно о ней он пишет: "Одной мыслью этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики". Это — та самая "одна", о которой говорится в пропущенных стихах из «Разговора книгопродавца с поэтом», где мотив безымянной любви соединен с памятным гурзуфским пейзажем:

С кем поделюсь я вдохновеньем?
Одна была — пред ней одной
Дышал я чистым упоеньем
Любви поэзии святой.
Там, там, где тень, где лист чудесный,
Где льются вечные струи,
Я находил огонь небесный,

Все это показывает, как тесно в сознании Пушкина соединялись темы гурзуфского пейзажа и безымянной любви.

В круге произведений, связанных с Крымом, первое, наиболее значительное, стихотворение писано в октавах. Оно относится к последним числам апреля 1821 г. Впервые оно было опубликовано в посмертном издании под названием «Желание» по неизвестной нам рукописи. Это стихотворение дошло до нас в трех автографах разного состава и разных редакций. Видимо, Пушкин неоднократно обращался к нему. Вот как читается первая строфа по одной из рукописей (Собрание Пушкинского дома, № 37):

Кто видел край, где роскошью природы
Оживлены дубравы и луга,
Где, весело синея, блещут воды
И пышные ласкают берега,
Где на холмы под лавровые своды
Не смеют лечь угрюмые снега?
Скажите мне: кто видел край прелестный,
Где я любил, изгнанник неизвестный?

Некоторыми мотивами этого стихотворения Пушкин воспользовался для описания Италии в стиховорении 1828 г.:

Кто знает край, где небо блещет
Неизъяснимой синевой,
Где море теплою волной
Вокруг развалин тихо плещет,
Где вечный лавр и кипарис
На воле гордо разрослись.

Октавы «Желания» теперь принято считать за предполагаемое введение в крымскую поэму (вероятно, «Бахчисарайский фонтан»).

Это введение к поэме Пушкин не печатал.

Ровно через год, 16 апреля 1822 г., Пушкин приступил к осуществлению нового замысла о Крыме [4]

<...>

Прежде всего, мы видим, что в этих набросках совершенно отсутствует эпический сюжет. Но в то же время, присутствие в них сюжета лирического не дает возможности предположить, что это — введение в эпическую поэму. Пристроить всю довольно сложную конструкцию лирических излияний к предполагаемому эпическому сюжету невозможно. Эти отрывки замкнуты в себе и могли развиваться только в пределах уже намеченной темы.

Поэтому следует решительно отказаться от термина "поэма" по отношению к «Тавриде» Пушкина. Это, конечно, элегия, но развернутая до не совсем обычных размеров. Сохранившиеся фрагменты дают нам 94 стиха. Можно думать, что в законченном виде это стихотворение могло достигать размеров стихов полтораста. Это, конечно, большой размер, но если вспомнить, что элегическое послание к Овидию насчитывает 104 александрийских стиха, а «Разговор книгопродавца с поэтом» — 194 стиха, то размеры «Тавриды» не покажутся нарушающими возможный предел элегии.

Термин "элегия" в эти годы был многозначным. Во избежание неправильного понимания необходимо его уточнить. В своем известном выступлении В. Кюхельбекер в 1824 г. объявил войну элегическому жанру, имея в виду модную в начале 20-х годов "унылую элегию" с ограниченным кругом тем и построения [5]. К этому же времени и Пушкин, и Баратынский, крупнейшие элегики, уже осознали ограниченность модного жанра. Однако иначе обстояло в 1822 г. Элегия еще оставалась господствующей формой лирической поэзии, но Пушкин, явно не удовлетворенный традиционными темами элегии, искал выхода, обращаясь к синтетическим элегическим сюжетам, в которых отразились сложные и богатые переживания поэта, и личная тема связывалась с широкими темами философского и иного характера. Первым наиболее значительным произведением такого рода было послание «К Овидию», где личная тема (изгнание) соединена с темами природы, истории, политической обстановки. К такой же синтетической форме обширного лирического размышления следует отнести и замысел «Тавриды».

Это — характерная синтетическая элегия романтического периода, в которой Пушкин хотел связать воедино магистральные лирические темы 1822 г. — темы природы, любви, ценности человеческой жизни, оценки своего прошлого, своей "утраченной молодости". Именно как замысел такого синтетического порядка «Таврида» и должна привлечь наше внимание.

Наша реконструкция не обогащает пушкинского наследия новыми стихами, но из старых стихов перед нами возникает новое произведение Пушкина.

Какова же была судьба этого незаконченного текста?

Через месяц Пушкин сделал попытку обработать его и привести в оконченный вид. В тетради 2369 [6] мы находим эту попытку. Но едва он дошел до стихов, где упоминаются места, с которыми связан замысел, он остановился и в заголовке переписанного текста поставил "Отрывок". Быть может его остановило то чувство, которое продиктовало ему стихи «Бахчисарайского фонтана»:

Опомнись! Долго-ль, узник томный,
Тебе оковы лобызать —

И в свете лирою нескромной
Свое безумство разглашать?

В самом деле, следующие стихи придавали всему написанному глубоко интимный характер. Крымская любовь, послужившая темой ряда стихотворений и лирических отступлений в поэмах, тщательно охранялись Пушкиным: он не печатал ничего, что заключало бы в себе указание на реальные биографические данные, на то, что могло быть узнано героиней его лирики или близкими людьми.

Впоследствии Пушкин говорил об этой любви, как о необходимом элементе романтического канона:

В ту пору мне казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груды скал,
И гордой девы идеал,
И безыменные страданья... [7]

Однако не следует упускать из виду и реальный контекст темы "безыменной" любви: для Пушкина эта любовь имела определенное имя, это имя нам интересно хотя бы потому, что оно поможет нам в установлении и анализе лирического цикла, связанного с этой темой. Я уже не говорю о биографическом значении данного вопроса. Однако в биографическом плане эта тема нас сейчас не интересует: нам в настоящее время не важно, кем увлекался Пушкин в эти годы; нам важно, кого он имел в виду в своих лирических формулах. Этот вопрос остается по природе биографическим, но мы остановимся только на литературных последствиях нашей загадки.

Хорошо известно из переписки Пушкина с Бестужевым в 1824 г., что лирический цикл Пушкина был связан с той женщиной или девушкой, от которой он слышал легенду о Марии Потоцкой, послужившую сюжетом «Бахчисарайского фонтана»; из той же переписки мы знаем, что именно о ней говорится в последних строках стихотворения. «Редеет облаков летучая гряда...». При этом именно в последних стихах Пушкин видел особенно конкретный интимный намек на его героиню: видимо, только одна из гурзуфских девушек имела обыкновение указывать на "свою" звезду, восходившую в сумерках над Гурзуфом в августе.

Разъясняет этот вопрос следующий документ. В письме Михаила Федоровича Орлова к жене Екатерине Николаевне, старшей дочери генерала Раевского, 3 июля 1823 г. мы читаем следующие строки: "Среди стольких дел, одно другого скучнее, я вижу твой образ, как образ милого друга, и приближаюсь к тебе или воображаю тебя близкой всякий раз, как я вижу памятную Звезду (fameuse Etoile), которую ты мне указала. Будь уверена, что едва она восходит над горизонтом, я ловлю

ее появление с моего балкона".[1]

Этот документ положительно разъясняет вопрос о том, кого именно разумел Пушкин в последних строках стихотворения «Редеет облаков летучая гряда..». Вместе с тем он бросает свет и на вопрос о предмете "утаенной любви", чему посвящено так много внимания и труда исследователями биографии Пушкина. Противоречивые данные, на которых основывали выводы эти исследователи, имеют косвенный, наводящий характер и пополняются догадками, а иногда и просто творческой фантазией: природа их — различные слухи, передавшиеся людьми, недостаточно осведомленными; мемуарные и очень близкие показания, явно не точные (вроде воспоминаний Марии Волконской); наконец, сопоставление с лирическими свидетельствами Пушкина фактов его личной биографии, летописи его сердечных увлечений. Ясно, что все эти документы, в зависимости от личных симпатий исследователя, приводили к разным результатам. Долгое время именно Екатерину Орлову называли в качестве героини любви, но в последнее время под влиянием разысканий П. Е. Щеголева преимущественно указывали на Марию Николаевну Раевскую-Волконскую.

Между тем, истинное имя героини позволяет нам точнее определить лирический цикл посвященных ей стихов. Так, в частности, за пределы цикла выводилось стихотворение «Увы, зачем она блистает...». Основанием служило то, что из дочерей Раевского болезненностью отличалась Елена; ей категорически приписывали эту тему данного стихотворения. Однако в равней мере эти стихи можно отнести и к Екатерине. В 1820 г. она была больна. Об этом мы знаем, например, из письма Н. Н. Раевского младшего к матери 6 июня; советуя тщательно обдумать, в какое именно место Крыма направиться, он добавляет: "Не следует предпринимать такое дальнее путешествие бесполезно, особенно в настоящем состоянии Катеньки. Вы ведь знаете, что чуть не решили предписать ей поездку в Италию". Одновременно и отец писал Екатерине Николаевне: "Где ты, милая дочь моя Катенька? Каково твое здоровье и здоровье сестры твоей Аленушки? Вот единственная мысль, которая и во сне меня не оставляет". И далее: "Железные воды делают чудеса во всяком роде расслабления, как и в том случае, в каком ты, мой друг, находишься"[2].

Пушкин, не скрывая факта романтической любви, тщательно скрывал не только имя своей героини, но и такие обстоятельства, которые могли подсказать это имя. «Таврида» с точной локализацией и деталями романтического эпизода, не могла подлежать обнародованию[3].

[1] Письмо на французском языке из Киева в Одессу. За сообщение этого письма приношу благодарность Т. Г. Зенгер-Цявловской. Оригиналы писем М. Ф. Орлова к жене находятся в Государственном Литературном Архиве (из собраний Литературного музея).

[2] Архив Раевских, т. I, СПб., 1908, стр. 220—221, 516—517 и 524.

[3] Вот данные о встречах Пушкина с Ек. Н. Раевской-Орловой: Пушкин был знаком с семьей Раевских еще в Петербурге до ссылки; здесь он услышал легенду

И, таким образом, стихи оставались в резерве. Он стал к ним обращаться лишь позднее. В 1824 г. в Михайловском он переделал отрывок «За нею по наклону гор...» в XXXIII строфу 1-й части «Евгения Онегина». При этом он сильно изменил содержание. Вместо "наклона гор" он вспомнил морские волны:

Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!
Нет, никогда средь пылких дней
Кипящей младости моей
Я не желал с таким мученьем
Лобзать уста младых Армид,
Иль розы пламенных ланит,
Иль перси, полные томленьем;
Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей!

Самая идея мысленного возврата в Гурзуф в сжатой формулировке вошла в эпилог «Бахчисарайского фонтана», куда включены и стихи, рисующие пейзаж Гурзуфа.

Наконец, в конце 1825 г. пишется элегия «Люблю ваш сумрак неизвестный». Но, как уже говорилось, Пушкин недаром начал со стихов, коорыми оканчивался отрывок «Ты, сердцу непонятный мрак». Он придал стихотворению смысл, противоположный первоначальному, и соответственно перестроил его. Это уже новые настроения. Это почти уверенность в забвении прошлого: "Тоску любви забуду я..." [8]

Именно здесь, в Михайловском, определилось новое направление поэзии Пушкина, осознанное им позднее в строфах «Евгения Онегина»:

Другие дни, другие сны;
Смирились вы, моей весны
Высокопарные мечтанья...

о Марии Потоцкой, послужившую сюжетом для «Бахчисарайского фонтана». Затем он увидел Екатерину Николаевну в Гурзуфе, где прожил в семье Раевских три недели; вероятно, видел ее в Симферополе. В конце 1820 г. и начале 1821 г. встречался с нею в Каменке и в Киеве. В 1821 г. она вышла замуж за М. Ф. Орлова. В июне она приехала в Кишинев на неделю и оттуда уехала на лето в Одессу. Вернулась она в Кишинев в октябре и прожила здесь до 8 января 1822 г., а затем уехала в Киев. В том же 1822 г., в июне, Ек. Н. Орлова едет через Одессу в Крым и проводит здесь все лето до октября. Возможно, что в апреле Пушкин уже знал о предполагавшейся поездке Орловых в Крым. Видел Пушкин Орлову и после возвращения из ссылки в Москву.

Пушкину уже невозможно было вернуться к романтическим настроениям 1822 г. Кончилась, по-видимому, и самая любовь. По крайней мере, к этой теме о безымянной любви он уже не возвращается:

Прошла любовь, явилась муза,
И прояснился темный ум.

В дальнейшем Пушкин говорит о гурзуфской любви, как о далеком прошлом.

Любопытна и судьба самой темы «Тавриды».

Уже в 1823 г. (около 2 ноября 1823 г.) Пушкин снова разрабатывает эту тему в элегии «Надеждой сладостной младенчески дыша». Эта элегия находится среди черновиков второй главы «Онегина», и Анненков, исходя, впрочем, из цензурных соображений, выдавал ее за "элегию Ленского"[4]. Допустил он подобное истолкование, вероятно, потому, что элегия набросана среди черновиков «Онегина», характеризующих Ленского. Эта элегия — следующий этап в развитии романтической темы посмертного небытия:

Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа,
От тленья убежав, уносит мысли вечны,
И память и любовь в пучины бесконечны,
Клянусь! давно бы я оставил этот мир.
.....
Ничтожество меня за гробом ожидает...
Как, ничего! Ни мысль, ни первая любовь!
Мне страшно!.. И на жизнь гляжу печален вновь,
И долго жить хочу, чтоб долго образ милый
Таился и пылал в душе моей унылой.

Но окончательно развенчивается эта тема позднее. К февралю 1828 г. относятся строфы, посвященные могиле Ленского. Эти строфы представляют собой последовательное разоблачение романтического канона. Не мог обойти Пушкин и своей собственной романтической темы. Вот как звучит она в первом (рукописном) варианте строфы XI седьмой главы романа:

Мой бедный Ленский! — За могилой
В пределах вечности глухой
Услышал ли твой дух унылый
Обет изменницы земной,
Или за Летой усыпленный
Поэт, забвением блаженный,
Уж не смущается ничем,

[4] Этому вопросу посвящена статья Ю. Г. Оксмана «Легенда о стихах Ленского» («Пушкин и его современники», вып. 37, 1928, стр. 42—67).

И мир ему закрыт и нем.
По крайней мере, из могилы
Не вышла в сей печальный день
Его ревнующая тень,
И в поздний час, Гимену милый,
Не испугали молодых
Следы явлений гробовых.

РАЕВСКАЯ Екатерина Николаевна (1797—1885) — старшая из дочерей генерала Н. Н Раевского В письме к брату от 24 сентября 1820 г. Пушкин назвал ее "женщиной необыкновенной" Как и с другими членами семьи Раевского, Пушкин познакомился с ней в Петербурге после выхода из Лицея; затем встретился с ней в Крыму, где пробыл с конца августа до начала сентября 1820 года П И Бартенев записал со слов М. Н Волконской, что в Крыму поэт "особенно любезничал с Екатериной", "спорил с ней о литературе и пр " (П в восп Т I С 219) Существует мнение, что с помощью сестер Раевских и прежде всего Екатерины Николаевны, Пушкин учил английский язык. Рассказывая Я К. Гроту о своем знакомстве с Пушкиным, она решительно отвергает это утверждение с позиций "приличия" "Ей было тогда 23 года, — пишет Грот, а Пушкину 21, и один этот возраст, по тогдашним строгим понятиям о приличии, мог служить достаточным препятствием к такому сближению По ее замечанию, все дело могло состоять только в том, что Пушкин с помощью Н Н Раевского в Юрзуфе читал Байрона и что когда они не понимали какого-нибудь слова, посылали наверх к Катерине Николаевне за лексиконом" (Там же. С. 220).

15 мая 1821 г Екатерина Раевская вышла замуж за командира 16-й пехотной дивизии в Кишиневе, члена Союза Благоденствия Михаила Федоровича Орлова А И. Тургенев, сообщая Вяземскому об этой свадьбе, уточняет, что имеется в виду та дочь генерала Раевского, по которой "вздыхал поэт Пушкин" (ОА Т 2 С 168) Пушкин стал постоянным посетителем дома Орловых. Хозяйка дома была умна, прекрасно образована, любила литературу и следила за ее новинками Своим твердым, прямым характером "умела покорять людей", как писал о ней П В. Анненков. За твердый характер и независимость суждений ее называли "Марфой Посадницей" (*Анненков П.В.* А. С. Пушкин в Александровскую эпоху 1799—1826. СПб., 1874. С. 151), сравнивая с известной в истории вольного Новгорода предводительницей мятежных бояр. Создавая образ Марины Мнишек в «Борисе Годунове» Пушкин вспоминал Екатерину Орлову: "Моя Марина славная баба, — писал он Вяземскому, — настоящая Катерина Орлова! Знаешь ее? Не говори однакож этого никому" и еще раз повторял тому же Вяземскому, что его Марина "полька, и собою преизрядна — (в роде К. Орловой..)" (письма от 13—15 сентября и конца октября — начала ноября 1825 г. (XIII, 226, 240).

Как относилась сама Екатерина Николаевна к поэту? Из писем ее к братьям Александру и Николаю видно, что в отношении ее к личности поэта иногда проглядывает ирония, и что к творчеству его она относилась неоднозначно. 12 ноября она пишет Александру, что Пушкин очень часто приходит к ним "курить

свою трубку и рассуждает или болтает очень приятно" и тут же замечает, что он "больше не корчит из себя жестокого" (т е романтического персонажа в духе Байрона). Она рассказывает тому же Александру об участии поэта в шумных спорах — философских, политических, литературных, которые постоянно велись в доме Орловых. Излагает одну из тем этих споров — идею "вечного мира" аббата Сен-Пьера (*Гершензон М.О.* История молодой России Т 3 С 27, 28, 34) Этой идеей увлекался Пушкин, и сохранился листок, на котором Пушкин записал те мысли, которые он развивал в доме Орловых (об этом см *Томашевский Б.В* Пушкин. кн. 1 М ; Л 1956 С 535—537). Запись сделана по-французски, вероятно, потому, что споры в доме Орловых всегда велись на этом языке С этим, очевидно, связана и просьба Пушкина в письме к брату 27 июля 1821 года: "... пиши мне по-русски, потому что, слава Богу, с моими конституционными друзьями я скоро позабуду русскую азбуку" Из ее отзывов о творчестве Пушкина мы знаем, что оду «Наполеон» она приняла хорошо, а «Братья разбойнки» убедили ее в том, что Пушкин подражает Байрону Вот два ее отзыва в письмах к Александру Раевскому. Об оде «Наполеон»: "Он только что кончил оду на Наполеона, которая, по моему скромному мнению, хороша, сколько я могу судить, слышав ее частью один раз" (письмо от 23 ноября 1821 г.); о «Братьях разбойниках»: "Пушкин послал Николаю отрывок поэмы, которую он не думает ни печатать, ни кончать. Это странный замысел, отзывающийся, как мне кажется, чтением Байрона" (письмо от 8 декабря 1821 года) (там же). Правда, со временем ее взгляды на творчество Пушкина определились. 11 октября 1826 г она с радостью сообщает брату Николаю о возвращении Пушкина из ссылки, о его встрече с государем и передает отголоски московских литературных новостей Главная новость — трагедия «Борис Годунов», которую Пушкин уже читал в литературных салонах. "... говорят, что это прекраснейшее поэтическое произведение" — пишет она (Прометей. Кн. 10. М. 1974. С. 238).

После возвращения Пушкина из ссылки Орловы часто бывали в Москве, пути их пересекались с Пушкиным, но теплоты прежних отношений не было. 11 октября 1832 г. Екатерина Николаевна пишет тому же Николаю Раевскому из Москвы в Курск: "Пушкин провел здесь две недели, я его не видела, он был у нас только один раз утром и больше не появлялся, он казался недовольным и словно избегал нас..." (Там же. С. 239).

Конечно, Екатерина Николаевна, как и другие мыслящие люди пушкинской поры, была потрясена смертью Пушкина, поэтому она стала адресатом одного из писем Вяземского, в котором тот рассказывал о дуэли и смерти Пушкина

С Ек. Раевской-Орловой исследователи связывают такие стихотворения Пушкина как «К ***» ("Зачем безвременную скуку...") (1820) и «Красавица перед зеркалом...» (1821). Последние три строчки элегии «Редеет облаков летучая гряда.. » позволили Б. В. Томашевскому связать с ее именем "утаенную любовь" Пушкина Вероятно, под именем "Катерина III" она внесена в так называемый "Донжуанский список" Пушкина.



Л. П. Гроссман

У истоков „Бахчисарайского фонтана“

Творческая история «Бахчисарайского фонтана» полна неразрешимых загадок. Кто сообщил Пушкину драматическую легенду о безутешном хане, воздвигнувшем необычайный памятник из мрамора и струй пленной польской княжне, погибшей в гареме? Имеет ли это поэтическое сказание какие-либо исторические основы? Почему Пушкин заявлял, что писал эту поэму только для самого себя, и долго отказывался публиковать ее, следя с ревнивой бдительностью за попытками друзей провести хотя бы самые беглые сведения о ней в печать? Кому посвящены здесь отрывки страстных признаний автора, свидетельствующие о несомненном наличии в его ранней биографии какой-то "утаенной любви", доныне не раскрытой неопровержимо его исследователями? Какой ответ дают источники пушкинских текстов на взволнованные расспросы самого поэта о его воображаемой спутнице по опустелым залам Бахчисарайского дворца:

Чью тень, о други, видел я?
Скажите мне: чей образ нежный
Тогда преследовал меня
Неотразимый, неизбежный?
(IV, 170)[1].

Не следует ли наново поставить эти вопросы, решение которых одинаково важно для истолкования творчества и для истории жизни великого певца Бахчисарая?

Попытаемся это сделать.

Возникновение замысла знаменитой "татарской поэмы" поддается датировке, хотя и несколько обобщенной. Легенда о Гирее и Марии дошла впервые до Пушкина в Петербурге, в эпоху "пылких оргий", т.е. в трехлетье между лицеем и ссылкой. Он услышал это сказание от одной из своих знакомых, что и определило план, идею и стиль поэмы: "Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины", — писал поэт 8 февраля 1824 года А.А.Бестужеву; "К" поэтически описывала мне его (т.е. "странный памятник влюбленного хана", — *Л.Г.*)", называя этот восточный водомет *la fontaine des larmes*", — писал он в декабре 1824 года Дельвигу (XIII, 88, 252).

[1] Здесь и в дальнейшем цитируется по изданию: *Пушкин.* Полное собрание сочинений. Тт. I—XVI. Изд. Академии наук СССР, 1937—1949.

Из другого письма Пушкина от 29 июня того же года к Бестужеву явствует, что именно эту рассказчицу крымского предания слушатель-поэт полюбил тогда "без памяти" (XIII, 100). Но чувство его не встретило ответа, и он решил скрыть от всех имя этой ранней посетительницы Тавриды, вдохновившей его на прелестнейшую стихотворную новеллу и внушившей ему чувство, которое сам он называл "безумной любовью", "глубокими ранами сердца", "тяжелым сном" своей молодости

Уже первые исследователи Пушкина обратили внимание на ряд его ранних лирических стихотворений, охваченных глубоким и горестным чувством к одной неизвестной женщине. П. И. Бартенев в своей монографии 1861 года «Пушкин в южной России» впервые указал, что "к воспоминаниям о жизни в Гурзуфе несомненно относится тот женский образ, который беспрестанно является в стихах Пушкина, чуть только он вспомнит о Тавриде, который занимал его воображение три года сряду, преследовал его до самой Одессы, и там только сменился другим. В этом нельзя не убедиться, внимательно следя за стихами того времени. Но то была святыня души его, которую он строго чтил и берег от чужих взоров и которая послужила внутреннею основою всех тогдашних созданий его гения".[2]

Не пытаясь разгадать имя этой женщины, которая могла еще находиться среди живых, Бартенев отмечал посвященные ей, по его мнению, стихи: «Я помню море пред грозою...», «Редеет облаков летучая гряда...», «Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду...» и «О дева-роза, я в оковах...». Так впервые был поставлен вопрос о безымянной любви Пушкина и сделана попытка установить репертуар относящихся к ней лирических строф.

Позднейшие пушкиноведы много сделали для расшифровки имени этой незнакомки. Они назвали восемь современниц поэта в качестве возможных вдохновительниц «Бахчисарайского фонтана» и объектов любви его автора. Это были: княгиня Мария Аркадьевна Голицына, рожденная Суворова-Рымникская, внучка генералиссимуса; Наталья Викторовна Кочубей, в замужестве графиня Строганова, дочь министра внутренних дел и предмет раннего увлечения Пушкина-лицеиста; четыре дочери знаменитого героя 1812 года генерала от кавалерии Николая Николаевича Раевского 1-го — Екатерина Николаевна, по мужу Орлова, Елена Николаевна, Мария Волконская и ее младшая сестра Софья; жена историка Екатерина Андреевна Карамзина и, наконец, пленная девушка-татарка, ставшая компаньонкой барышень Раевских, Анна Ивановна. Вот кого исследователи русской поэзии — А. И. Незеленов, М. О. Гершензон, П. Е. Щеголев, Ю. Н. Тынянов,

[2] *П. И. Бартенев.* Пушкин в южной России. Русская речь. 1861. № 85 и сл.; отдельное издание — М., 1862. Цитируем по изданию «Русского архива», М., 1914. С. 40—41.

П. К. Губер, Д. С. Дарский и др. — собрали у входа в ханский дворец Бахчисарая.

Из всего этого разнообразного женского круга в биографию Пушкина вошла твердой поступью только Мария Николаевна Раевская. Обобщая наметившуюся в научной критике тенденцию, П. Е. Щеголев признал именно эту девушку предметом таинственной любви Пушкина, который якобы услышал от нее в Петербурге в 1817—1820 годах предание о Бахчисарайском фонтане. Оно было почему-то любимейшим поверьем всего молодого поколения семьи Раевских, т.е. трех прочих сестер и их брата Николая. Все они, согласно этой версии, совместно "вдохновляли" Пушкина на его знаменитую поэму.

Как ни странно было бы такое коллективное воздействие целой семьи на зарождение одной лирической поэмы, концепция Щеголева была широко принята и до сих пор господствует в пушкинской литературе. Между тем ряд ее положений явно ошибочен. Мы даем в приложении их детальный анализ и ограничиваемся здесь общей характеристикой взаимоотношений поэта с выдающейся "русской женщиной". Это послужит нам необходимым введением в изучение всей проблемы.

Пушкин несомненно питал к М. Н. Раевской-Волконской глубокую и долголетнюю приязнь. Но его чувство к ней не имело ничего общего с той пылкой, бурной и мучительной страстью, о которой он так настойчиво говорит в своих южных стихах, письмах и поэмах. Отношение его к Марии Николаевне было совершенно иным — не "безумным" и не "тяжелым". Оно было свободно от всякой чувственности, отличалось ясностью и напоминало самому поэту "лампаду чистую любви". Оно не захватывало его целиком и не препятствовало другим его увлечениям и связям, часто опасным и мучительным (Ризнич, Воронцова, Закревская).

В изучении этого вопроса исследователи не считались с характером такого "идеального" чувства и относили к нему все, что Пушкин высказывал в стихах того времени о своей мучительной страсти к другой женщине.

Лучше всех ученых сама М. Н. Волконская определила характер чувства к ней Пушкина. Она начинает историю их дружбы лишь с 1820 года. Это подтверждает, что в Петербурге они не могли встречаться,что никакого творческого воздействия на поэта она не могла тогда оказывать и никакой любви к ней, тем более всепоглощающей и безысходной, поэт оттуда не вывозил.

В месяцы совместного путешествия по югу возникли весьма дальние и все же поэтические и дружеские отношения. В них сказалось обычное для Пушкина поклонение каждому проявлению пленительной женственности. "В качестве поэта, он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, которых встречал", — замечает Волконская. Но по существу, продолжает

мемуаристка, "он любил лишь свою музу и облекал в поэзию все, что видел".[3]

Таким, чисто поэтическим и было его душевное увлечение смуглым подростком во время южного путешествия. Оно было искренне и эстетично, но при этом сдержанно и мечтательно.

> Замечу кстати, все поэты —
> Любви мечтательной друзья, —
> (VI, 29)

писал Пушкин в 1823 году. Именно таким было его чувство к Раевской. Оно могло навевать задумчивые стихи, но не бурные страдания.

Это была в начале не столько любовь, сколько, скорее, любование, созерцание художника, "сердечная дума", по его собственному глубокому выражению в стихотворении «Таврическая звезда» ("Редеет облаков летучая гряда...").

Для верного понимания сердца поэта в момент этого творческого цветения можно вспомнить строфу Александра Блока из его «Итальянских стихов»:

> Счастья не требую. Ласки не надо,
> Лаской ли грубой тебя оскорблю?
> Лишь, как художник, смотрю на ограду,
> Где ты срываешь цветы, — и люблю! [4]

Кажется, именно так любил Пушкин Марию Раевскую. Созерцательно, артистически, лирично, самоотверженно. Как мастер элегий и творец романтических поэм. В этом была своя условность, но и своя высокая словесная ценность, соответствующая чистоте и возвышенности переживания. Но это не был "порыв страстей", о котором поэт вспоминал в других стихах этого времени. Должны были пройти года и возникнуть огромные исторические события, чтобы Пушкин испытал сильное чувство к Марии Николаевне — глубокое "гражданское" восхищение ее подвигом. Это произошло в 1826 году. "Во время добровольного изгнания в Сибирь жен декабристов он был полон искреннего восторга", — сообщает в своих «Записках» Волконская.[5]

Это и был момент зарождения подлинной духовной любви Пушкина к юной приятельнице его странствий — поклонение певца свободы жертвенной и героической натуре, поднятой временем на историческую высоту. С этого момента она и становится "святыней" его души.

Поэта увлек тот высокий строй идей, который характеризовал всю семью Раевских. Мария Николаевна, как и ее братья и сестры, жила идеалами чести и долга, которые рано внушил ей отец. Патриотизм и

[3] *М. Н. Волконская.* Записки. СПб., 1904. С. 22, 24.

[4] *А. Блок.* Собрание сочинений. Т. III. Л., 1932. С. 77.

[5] *М. Н. Волконская.* Записки. С. 24.

героика, отречение и подвиг — вот что уводило молодых Раевских от фривольной культуры XVIII века и обращало к культу общественной и моральной доблести. Марии Николаевне уже в молодости была присуща серьезность и вдумчивость. Олизар называет ее "юной смуглянкой с серьезным выражением лица". Никто бы не решился обратить к ней нечистые помыслы или легкомысленные признания. Она неизменно внушала окружающим глубокие и возвышенные чувства. "Если во мне, — писал Олизар, — пробудились высшие, благородные, оживленные сердечным чувством стремления, то ими во многом я был обязан любви, внушенной мне Марией Раевской. Она была для меня той Беатриче, которой посвящено было мое поэтическое настроение, до которого я мог подняться, и благодаря Марии и моему к ней влечению я приобрел участие к себе первого русского поэта и приязнь нашего знаменитого Адама".[6]

Таковы были и сердечные влечения к этой девушке "первого русского поэта", близкие к "языку Петрарки" и свободные от всякой эротики. Ни один сладострастный стих Пушкина не обращен к ней, и наличие таких изъявлений в какой-либо строфе уже неопровержимо доказывает, что эта строфа не относится к Марии Раевской. От поэтизации к высшей героизации — таков был весь путь этого чувства, в котором первоначальное восхищение шалостями девочки на фоне южного пейзажа сменилось преклонением перед подвигом одной необычайной женщины в страшную эпоху "мятежей и казней". Это дало русской литературе ряд незабываемых строф. Но настоящая северная любовь Пушкина была иной.

Для решения этой проблемы исследователи изучили целый круг современниц поэта. Они проявили при этом немало находчивости, остроумия и трудолюбия. Но был допущен один недосмотр: они не обратили внимания на показания самого поэта, с которых необходимо было начать анкету по одному из труднейших вопросов его литературной и личной биографии. Документальными свидетельствами, исходящими от главного героя этого неразгаданного романа, мы и начнем наше рассмотрение тайны Пушкина.

Глава первая[7]

I

Сам Пушкин полностью назвал вдохновительницу своей южной поэмы. Назовем ее и мы. Это — Софья Станиславовна Потоцкая, вышедшая в 1821 году за начальника штаба второй армии генерала Павла

[6] Русский вестник. 1893. № 9. С. 102, 104.

[7] Краткое изложение разделов 1—5 этой главы приведено в моей книге «Пушкин» (М., 1958. С. 229—232).

Дмитриевича Киселева и рассказавшая поэту еще в 1818—1819 годах легенду о старинной красавице Марии Потоцкой, печально завоевавшей любовь одного из последних Гиреев.

Известную запись Пушкина о зашифрованной рассказчице бахчисарайской легенды К** и следует читать: "Киселева поэтически описывала мне его" (IV, 176; см. также: VIII, 1, 438; XIII, 252).

Пушкин прямо называл имя этой девушки в связи с «Бахчисарайским фонтаном». 4 ноября 1823 года он писал из Одессы П. А. Вяземскому: "Вот тебе, милый и почтенный Асмодей, последняя моя поэма... Если эти бессвязные отрывки покажутся тебе достойными тиснения, то напечатай... Припиши к Бахчисараю маленькое предисловие или послесловие — если не для меня, так для Софьи Киселевой" (XIII, 380, черновое). Приведем и примечательный вариант белового текста: "...еще просьба: припиши к Бахчисараю предисловие или послесловие, если не ради меня, то ради твоей похотливой Минервы, Софьи Киселевой" (XIII, 73).

В одном из следующих писем к Вяземскому из Одессы от 20 декабря 1823 года Пушкин, между прочим, спрашивал: "Ты, кажется, собираешься сделать заочное описание Бахчисарая? брось это. Мадригалы Софье Потоцкой, это дело другое" (XIII, 83).

В первом сообщении Пушкин ставит себя как автора «Бахчисарайского фонтана» рядом с Софьей Киселевой-Потоцкой, очевидно как вдохновительницей поэмы; иначе понять это сообщение нельзя: почему бы предисловие к «Бахчисарайскому фонтану» нужно было писать для Софьи Киселевой, если бы она не имела никакого отношения к замыслу этой поэмы? Во втором письме Пушкин отговаривает Вяземского описывать заочно, т.е. только со слов Софьи Потоцкой, Бахчисарайский дворец с его преданиями, лучше писать в честь самой рассказчицы мадригалы (в чем уже преуспел Вяземский).[8] И здесь снова имя Потоцкой связывается с описанием Бахчисарая. Это как бы ее тема. Она сообщает поэтам старинные предания Крыма и свои личные впечатления о далеком и сказочном Востоке.

При опубликовании поэмы Пушкин нашел особый способ незаметно назвать свою вдохновительницу и в печати. В приложении к «Бахчисарайскому фонтану». он поместил «Выписку из путешествия по Тавриде» И. М. Муравьева-Апостола, которая заканчивалась указанием

[8] В Академическом издании "Софья Потоцкая" в письме к Вяземскому от 20 декабря 1823 года толкуется как Потоцкая-мать, т.е. Софья Константиновна ("гречанка") (XIII, 603). Это несомненно ошибка: Софьи Константиновны уже более года не было в живых (она умерла 24 ноября 1822 года), и писать ей мадригалы было невозможно. К тому же четверостишие Вяземского "К двум красавицам — матери и дочери" было обращено, как правильно указал Б. Л. Модзалевский, к Софье Станиславовне Киселевой, рожденной графине Потоцкой, которою Вяземский был тогда увлечен ("Мать несравненная! А дочь Сравнялась с матерью одною") (*Пушкин.* Письма. Т. I. ГИЗ. М.—Л., 1926. С. 297).

на "принятое и справедливое мнение, что красота женская есть, так сказать, принадлежность рода Потоцких" (IV, 175). Это была явная похвала двум сестрам из этой фамилии — Софье и Ольге, блиставшим в 1818—1819 годах в петербургском свете и при дворе. Сенатор и член Российской академии И. М. Муравьев-Апостол, лично близкий к Александру I, несомненно знал статс-даму С. К. Потоцкую и ее знаменитых красавиц-дочерей. Искушенному читателю намек Муравьева был ясен. Приводя цитату из его «Путешествия», Пушкин не разглашал никакой сердечной тайны, никого не компрометировал и все же приносил вдохновительнице поэмы дань своего сердечного поклонения и авторской благодарности. Это и могло служить некоторым послесловием в честь Софьи Киселевой, которое Пушкин так настоятельно просил у Вяземского.

Это заветное имя Пушкин называл и позже с такой же осторожностью и некоторой неясностью, допускающей различные восприятия и понимания. Так, отсутствующее в первых изданиях поэмы указание на К** — рассказчицу сюжета — появилось лишь в 1830 году в третьем издании «Бахчисарайского фонтана», в авторском письме-комментарии, напечатанном до того отдельно от поэмы, в «Северных цветах на 1826 год».

В том же 1830 году в «Путешествии Онегина» через десять-двенадцать лет после возникновения замысла поэмы «Гарем», Пушкин как бы подтверждает, что "воспевал... деву польскую" (VI, 256) не только понаслышке, не в одном только историческом аспекте или легендарном воплощении, а по своим непосредственным жизненным впечатлениям. Обращение к "фонтану Бахчисарая" в черновиках «Евгения Онегина» указывает на близость старинной любовной драмы к личной биографии автора:

Такие ль мысли мне на ум
Навел твой бесконечный шум,
Когда безмолвно пред тобою
Потоцкую воспоминал...
(VI, 489).

В окончательном тексте: "Зарему я воображал" (VI, 201). Героиню поэмы Пушкин воображает; вспоминает же он реальное лицо — Потоцкую; вместо возможного стиха "Потоцкую воображал" ставится "воспоминал", что может относиться не к легендарной Марии, а к живой и реальной Софье, т.е. рассказчице предания о фонтане слез, которую Пушкин и вспоминает перед этим памятником безнадежной любви.

Для вдохновительницы поэмы был ясен смысл этих строк. Исследователи и читатели могли воспринимать их как свидетельство о поэтической Марии. Так они и воспринимаются уже в течение почти ста

тридцати лет. Не пора ли восстановить их подлинный смысл?

О том, что Пушкин в петербургское трехлетье действительно встречался с Софьей Станиславовной Потоцкой, свидетельствует замечание Вяземского в письме к А. И. Тургеневу 6 февраля 1820 года о стихотворении Пушкина «Платоническая любовь»: "Стихи Пушкина — прелесть! Не моей ли Минерве похотливой он их написал?".[9]

Вяземский был влюблен в Софью Потоцкую, а смелый эпитет, им допущенный, выражал лишь его восхищение внешностью девушки.

"Еще несколько дней погостит с нами Потоцкая с Софьею, которая хороша, как Минерва в час похоти", — писал он А. И. Тургеневу 11 октября 1819 года.[10] Богиня мудрости в порыве страсти — такой представлялась Вяземскому Софья Потоцкая. "Всем нашим поклон, — пишет Вяземский ему же 25 октября 1819 года, — да если увидишь и коротко ее знаешь, — владычице моего воображения, Минерве в час похоти, в которой все не здешнее, кроме взгляда, в котором горит искра земных желаний. Счастлив тот, который эту искру раздует: в ней тлеет пожар поэзии".[11]

В ответном письме (от 10 декабря 1819 года) А. И. Тургенев подчеркивает тему неприступной красавицы, связанную с личностью Потоцкой: "Как блекнут розы Софии оттого, что она не позволяет никому рвать их".[12]

В стихотворении «Платоническая любовь» Пушкин, как полагал Вяземский, описывал эту красавицу, отмечая некоторую истому или усталость ее внешности от бесплодных мечтаний любви:

Я понял слабый жар очей,
Я понял взор полузакрытый,
И побледневшие ланиты,
И томность поступи твоей.
(II, 1, 106)

"Ужель мольба моя напрасна?" — спрашивает в заключении стихотворения Пушкин, выражая свое восхищение этой отступницей от Амура и Гименея. Важен был не легкомысленный эпитет, оброненный Вяземским, а наименование девушки Минервой, олицетворением мышления и творчества, покровительницей поэтов и художников, которую Пушкин воспринимал как "суровую" богиню.[13] Все это проливает свет на известное заявление поэта в письме к брату Льву Сергеевичу от 25 августа 1823 года о вдохновительнице «Бахчисарайского фонтана», как о женщине, в которую он был "очень долго и очень

[9] Остафьевский архив. Т. II. СПб., 1899. С. 14; см. также: Т. I. 1899. С. 371, 377.
[10] Там же. Т. I. С. 326.
[11] Там же. Т. I. С. 338.
[12] Там же. Т. I. С. 371.
[13] "Воспитанный суровою Минервой" («19 октября», 1825; II, 2, 969).

глупо влюблен" (XIII, 67), т.е. любил без взаимности и без надежд.

Вяземский сразу почувствовал сходство героини «Платонической любви» с Софьей Потоцкой и тотчас же запросил об этом А. И. Тургенева. И действительно, пушкинская характеристика "бедной Лиды" поразительно сходится с отзывами Вяземского о его Минерве, сочетающей девственную чистоту с глубоко затаенным огнем страсти; в ней "все не здешнее", т.е. неземное, райское, небесное, и лишь взгляд ее обнаруживает искру чувственности, способную разгореться в пожар поэзии и любви. Но дева горда и неприступна: в своем томлении она остается одинокой.

Так описывает Вяземский пленившую его красавицу-девушку. Такой же предстает и пушкинская героиня, которой доступны лишь "сны воображенья", "неясные мечты", бледное отражение "нежных восторгов", к которым она втайне влечется; Пушкину вторит и общий друг его с Вяземским — А. И. Тургенев: "побледневшие ланиты" у Пушкина напоминают слова Тургенева: "как блекнут розы Софии".[14] Таким образом, на вопрос этого почитателя Потоцкой, не к ней ли обращено стихотворение «Платоническая любовь», можно ответить утвердительно. Это один и тот же тип любви, и речь идет, очевидно, об одной и той же девушке, с которой в то время встречались оба поэта.

Таково было и мнение авторитетнейших комментаторов Пушкина. В издании С. А. Венгерова, в котором стихотворения 1819 года редактировались П. О. Морозовым, Б. Л. Модзалевским и Н. О. Лернером, о «Платонической любви» сказано: "Речь идет о графине Софье Потоцкой". Там же указано, что стихотворение печаталось по беловому автографу, который был получен Вяземским от Пушкина и сохранялся в Остафьевском архиве. Это подтверждает посвящение «Платонизма» Софье Потоцкой.[15]

Таким образом, объектом петербургской любви Пушкина ("северной любви", "отверженной любви", "безумной любви"), как и вдохновительницей «Бахчисарайского фонтана», следует признать Софью Станиславовну Потоцкую-Киселеву.

В биографии Пушкина, как и в истории его творчества, она заслуживает хотя бы беглого очерка, который до сих пор не был посвящен ей. Восполним этот пробел.

2

Софья Станиславовна Потоцкая унаследовала замечательную красоту своей матери — гречанки Софьи Константиновны Клавона (Clavona), женщины с необычайной судьбой.

По свидетельству Ф. Ф. Вигеля, хорошо осведомленного в биогра-

[14] Остафьевский архив. Т. I. С. 371.

[15] *Пушкин.* Под редакцией С. А. Венгерова. Т. I. СПб., 1907. С. 560 (комментарий П. О. Морозова); ср.: *Пушкин*, II, 2, 1061—1062.

фиях и делах своих современников, эта будущая львица александровского Петербурга была на пороге жизни служанкой в константинопольском трактире, где обратила на себя внимание секретаря польского посольства, а затем и самого посланника при Оттоманской Порте Деболи, который и увез ее с Босфора на Вислу.[16]

По другой версии, посол в Турции Боскамп Лясопольский, проезжая по улицам Константинополя, заметил бедную тринадцатилетнюю девочку-гречанку, которая была им приобретена у матери за 1500 пиастров. По пути в Польшу посланник остановился в Каменце, где в его юную спутницу влюбился сын коменданта крепости майор Иосиф Витт, которому удалось тайно обвенчаться с прекрасной фанариоткой и вскоре увезти ее во Францию. Имеется также вариант о французском после в Стамбуле, доставившем девочку в Париж.[17]

Все это окутано налетом легенды, но зато совершенно достоверно, что в начале 80-х годов XVIII века знаменитая французская художница Виже-Лебрен (как она рассказывает в своих воспоминаниях) видела в Париже чрезвычайно юную мадам де Витт, прекраснее которой ничего нельзя было себе представить.[18]

Оказавшись в Польше, Софья Витт находит путь в русские лагери, стоявшие в то время на границе Речи Посполитой. Екатерининские генералы славились своими празднествами и щедростью. На красавицу обратил внимание сам фельдмаршал Потемкин. Вскоре он доставил Витту генеральский чин русской армии и графский титул Российской империи взамен исключительного права иметь повсеместно своей спутницей его жену. Софья Витт жила в ставке главнокомандующего, а в 1787 году была представлена в Крыму Екатерине II. Завоеватель Таврида щеголял своей фавориткой как небывалым трофеем, она же гордилась своей властью над повелителем всей России.

Упомянутая французская портретистка Виже-Лебрен, прожившая несколько лет в России, посетила лагерь Потемкина и была поражена щедростью его подношений своим возлюбленным: "Ему все было нипочем, лишь бы удовлетворить желанию, капризу обожаемой им женщины". Влюбленный в госпожу де Витт, он "расточал перед нею самые изысканные любезности. Так, однажды, желая подарить ей кашемировую шаль безумно высокой цены, он дал праздник, на котором было до двухсот дам, а после обеда устроил лотерею, но так, что каждой досталось по шали, а лучшая из шалей выпала на долю самой прекрасной из дам" (т.е. госпожи де Витт).[19]

---

[16] См.: *Ф.Ф.Вигель.* Записки. Т. II. Изд. «Круг», М., 1928. С. 219—222.

[17] См.: *Ян Дуклан Охотский.* Рассказы о польской старине. Записки XVIII века. Т. II. СПб., 1874. С. 282—284; Судьба красавицы (София Глявоне-Витт-Потоцкая). Перевод с польского. Из исторических рассказов д-ра Антония И. Киевская старина. 1887. № 1. С. 99—138.

[18] *L.-E.Vigée-Lebrun.* Souvenirs, t. II. Paris, 1835. P. 285.

[19] Древняя и новая Россия, 1876. Т. III. № 10. С. 192, 193.

Об этих празднествах "князя Тавриды", где неизменно царила прекрасная гречанка, имеется ряд характерных свидетельств в воспоминаниях современников.

В «Записках Александра Михайловича Тургенева» сообщается, что во время осады Очакова, когда "войско умирало от холода, голода и житья в землянках", князь Потемкин в главной квартире своей, в лагере "давал балы, пиры, жег фейерверки..., куртизанил с... бывшею прачкою в Константинополе, потом польской службы генерала графа Витта женою, потом купленною у Витта в жены себе графом Потоцким и, наконец, видевшею у ног своих обожателями" министров и королей; "будучи уже в преклонных летах, графиня София Потоцкая была предметом внимания даже Александра Павловича".[20]

Понемногу она сумела вступить и в политические комбинации своего всевластного покровителя. Это было время, когда Потемкин приступил к осуществлению своего грандиозного "греческого проекта", т.е. восстановления на территории низложенной Турции византийского царства с императором из дома Романовых. Софья Витт была по происхождению фанариоткой. Так назывались потомки знатных греческих фамилий, избежавшие истребления при завоевании турками Константинополя и поселившиеся в предместье Фанаре[21] на берегу Золотого Рога. Известные своими знаниями, энергией и изворотливостью, фанариоты были вскоре привлечены оттоманским правительством на государственную службу, где занимали посты драгоманов Порты и господарей дунайских княжеств. Новая подруга Потемкина могла служить ему и для осуществления замысла его политической деятельности. Вскоре она стала исполнительницей его тайных политических поручений и по другому важнейшему заданию тогдашней российской государственности — переустройству распадавшейся Польши. В момент, когда русское правительство было заинтересовано в привлечении на свою сторону одного из крупнейших деятелей Речи Посполитой — магната и коронного гетмана Станислава-Феликса Потоцкого-Щенсного, к нему была направлена в Варшаву на сейм 1788 года Софья Витт.

С первой же встречи этот претендент на польский престол оказался одновременно у ее ног и в русле петербургской политики. После Тарговицкой конфедерации и третьего раздела Польши Потоцкий-Щенсный был вынужден во время восстания Костюшко оставить родину. Зато он получил от царизма чин генерал-аншефа русской службы. После долголетнего матримониального торга он выкупил у Иосифа Вит-

[20] Русская старина. 1886. № 11. С. 259—260.

[21] Теофиль Готье в своей книге «Константинополь» так описывает предместье Фанар: "Сюда удалилась древняя Византия, здесь скрываются в полумраке потомки Комненов и Палеологов, князья без княжеств, но чьи предки носили порфиру... Фанариоты долго славились своим дипломатическим искуством: в свое время они распоряжались всеми международными делами Порты" (*Théophile Gautier*: Constantinople. Paris, 1853. P. 234, 235).

та его жену за два миллиона польских злотых.[22]

Но обвенчаться с нею Потоцкий все же не мог, так как его законная жена Жозефина-Амалия Мнишек-Потоцкая, известная художница итальянской школы, не давала мужу развода. Только в начале 1798 года она скончалась. А уже в апреле Софья Витт была обвенчана со своим долголетним возлюбленным. Уличная девочка стамбульских окраин стала обладательницей несметных богатств знаменитого польского рода.

Вигель в своих записках называет фамилию Станислава-Феликса Потоцкого-Щенсного "семейством польских Атридов", не менее преступных, чем их античные прообразы. Он вспоминает по этому поводу историю семьи Борджиа, нравы которой были обычны и в Польше эпохи ее распада, во многом близкой к средневековой Италии с ее вожделениями и злодеяниями. Он называет третью жену Станислава-Феликса, т.е. Софью Витт "новой Федрой", затмившей страстью к своему красавцу-пасынку Юрию Потоцкому знаменитую героиню Эврипида и Расина.[23]

По свидетельствам польских биографов Софьи Витт-Потоцкой, ее связь с пасынком не могла оставаться долго тайной для мужа. После политической трагедии 1795 года он вынужден был пережить на склоне лет страшную личную и семейную драму. В аналогичном случае герой Байрона феррарский герцог Эсте казнил свою молодую супругу Паризину Малатеста и своего побочного сына Гуго за их любовную связь (таков был подлинный случай, найденный поэтом в итальянской хронике XV века). Станислав-Феликс Потоцкий-Щенсный избрал другой путь. Он уединился, предался мистицизму, подпал под влияние польских "иллюминатов" и вскоре скончался.

"С этого момента началась сумасшедшая жизнь в Тульчине. Мачеха в объятиях пасынка была царицей в толпе шулеров и сорви-голов, стекавшихся сюда чуть ли не из целой Европы".[24]

Юрий Потоцкий проводил дни и ночи за фараоном и, наконец, позабыл о своей страсти к мачехе. Впервые неотразимая красавица уви-

[22] Приведем сведения о нем из наиболее авторитетного источника — «Генеалогии родов польских» Дунина-Борковского: Станислав-Феликс Потоцкий-Щенсный родился в 1752 году, умер в Тульчине 14 марта 1805 года; владелец Тульчина, Браилова, Могилева на Днестре и многих других населенных мест, автор политических трактатов, ромистр кавалерии в 1764 году, генерал-поручик в 1784, восвода русский в 1782—1791, генерал от артиллерии в 1789—1792, маршалок Тарговицкой конфедерации в 1792, генерал-аншеф русской армии в 1797, кавалер ордена белого орла; женат третьим браком на гречанке Софье Клавона, умершей 24 ноября 1822 года в Берлине (J.S.Dunin-Borkowski. Genealogie zyjacych utytulowanych rodów polskich. Lwów, 1895. P. 487, 488). Обычное начертание фамилии его третьей жены Глявонэ неправильно.

[23] *Ф.Ф.Вигель.* Записки. Т. II. С. 220.

[24] Киевская старина. 1887. № 1. С. 126.

дела себя брошенной. Она рассталась с пасынком, обеспечив ему роскошное существование в Париже, где он вскоре и скончался.

С 1810 года Софья Потоцкая вступает в последний период своей жизни и "нравственно хорошеет". Она все более озабочена искуплением грехов, благотворительной деятельностью, воспитанием детей. Бурная жизнь, полная увлечений и приключений, отходит в прошлое. "Баядерка от рождения", она становится под старость добродетельной "матроной", старается забыть прежнюю жизнь и сохраняет преданную память только к Потемкину, которого до конца "жалела, как родного брата".

На мрачном фоне таких семейных хроник нередко выступают противоположные натуры. Так, в рядах младшего поколения Потоцких в начале XIX века росла девушка совершенно иных стремлений и запросов, которая осталась одинокой среди распущенных нравов своей семьи, подготовивших ей личную драму и трагическую судьбу. Это была Софья Станиславовна Потоцкая, которая встречалась в Петербурге с Пушкиным незадолго до его ссылки на юг и которой он посвятил свое стихотворение 1819 года «Платоническая любовь».

Она родилась в Тульчине в 1801 году. Через год в семье Потоцких появилась другая дочь — красавица Ольга (впоследствии Нарышкина), тоже ставшая одной из знакомых Пушкина по Петербургу и Одессе.

Девочки росли в юго-западных владениях Потоцких — в Тульчине, где находились два дворца их владетельного рода, и в Умани, где в честь их матери был разбит в 1793—1796 годах знаменитный сад Софиевка; часть года семья проводила в Крыму, где еще Потемкин подарил своей прекрасной гречанке большое греческое селение Массандру,[25] которое тянулось от хребта Яйлы до моря, охватывая площадь свыше 800 десятин. В горной части это огромное имение заключало строевые леса, в долинной были вскоре разведены виноградники тончайших французских лоз, а на обрыве над морем разбит роскошный парк с редкими тропическими растениями.[26] Владелица Тульчина, Умани, Могилева и многих других населенных мест на Украине, Софья Потоцкая составляла грандиозные проекты о своем южном поместье, мечтая основать здесь новый приморский город Потоцких.

Крымские владения знаменитой фамилии этим далеко не ограничивались. В Симеизе путешественники по молодой Тавриде отмечали "еще одно имение графини Потоцкой" с прекрасным парком и виноградниками; в парке "множество редких южных растений", лесные и

[25] "Массандра, деревня, принадлежавшая г-же Киселевой, урожденной гр. Потоцкой" (*П. Свиньин.* Знакомства и встречи на южном берегу Тавриды. // Отечественные записки. 1825. Ч. 24. С. 127); см. также: Новый энциклопедический словарь. Т. XXV, стлб. 882.

[26] См.: Краткое обозрение южного берега и горной полосы Крыма // Памятная книга Таврической губернии, вып. 1. Симферополь, 1867. С. 46.

лиственные деревья, питомники и оранжереи.[27] Из этих южных имений посылались для Царскосельского парка редкие экземпляры итальянских тополей.

После смерти С. К. Потоцкой Массандра перешла к ее старшей дочери Софье Станиславовне Киселевой. Сестре ее О. С. Нарышкиной принадлежал Мисхор, а в долине Салгира недалеко от Симферополя она имела "прелестную дачу".[28] Сын С. К. Потоцкой от первого брака граф И. О. Витт владел в 30-х годах частью Орианды — верхней, или "малой".[29]

Так разрешается один из важнейших вопросов нашей проблемы. Как указывали исследователи, для определения неизвестной вдохновительницы Пушкина необходимо доказать, что до рассказа ему бахчисарайской легенды она была в Крыму. Это оставалось недоказуемым в отношении Голицыной, Волконской, Кочубей, Карамзиной, Раевских и др.[11]

Только для Софьи Потоцкой это является неопровержимым биографическим фактом. В детстве и юности она проводила ежегодно по несколько месяцев на берегу Крыма в имении, принадлежавшем ее матери еще с середины 80-х годов XVIII века. Обе девушки рано полюбили солнечный полуостров с его польскими виллами и памятниками ханской Тавриды. Старшая отличалась, по словам Пушкина, "поэтическим воображением"[12] (VIII, 2, 1000), и легенды Крыма живо воспринимались ею, как, вероятно, и ее младшей сестрой. Столица Гиреев Бахчисарай с его дворцом и садами должна была особенно привлечь их внимание, тем более, что живописной местности и историческому городу вполне соответствовала услышанная ими здесь прелестная легенда об одной из представительниц их прославленного рода — Марии Потоцкой, пережившей беспримерную трагедию в гареме крымских повелителей[13]. Эти именно польские девушки окрестили мемориальный водомет, призванный символически выражать скорбь безутешного Керима; они назвали его "фонтаном слез", т.е. создали образ, увековеченный в русской поэзии Пушкиным. Этих юных мечтательниц он и имеет в виду, воздавая хвалу ранним посетительницам Бахчисарая, растроганным необычайной судьбой их праматери и живым памятником скорби, воздвигнутым ей:

Младые девы в той стране
Преданье старины узнали

---

[27] *Ф.Домбровский.* Обозрение южного берега Крыма (Пособие для путешествующих) // Новороссийский календарь на 1851 год, издаваемый от Ришельевского лицея. Одесса, 1850. С. 368.

[28] *Н.Сементовский.* Путешественник (Южный берег Крыма). СПб., 1846. С. 18.

[29] Барон *А.Корф.* Пребывание в Крыму. // Сын отечества и северный архив. 1834. Т. XLI. № 4. С. 256; *Ю.Н.Бартенев.* Жизнь в Крыму. //Русский архив. 1899. Кн. III. № 8. С. 549.

И мрачный памятник оне
Фонтаном слез именовали.
(IV, 169)

Стихи эти могли относиться только к сестрам Потоцким. Софья Станиславовна гордилась своим историческим родом и чтила его предания. Война, наука и поэзия были отличительными признаками знаменитой фамилии. Участники героических битв, ученые, поэты и публицисты, они внушали восхищение и гордость своей одаренной и смелой правнучке. Интересно ее письмо, написанное в 1845 году великому князю Михаилу Павловичу с просьбой исходатайствовать у Николая I облегчение участи ее арестованного брата — Мечислава Потоцкого. Культом великих предков и вызовом современным властителям звучит конец этого необычайного прошения:

"Этот человек носит историческое имя и принадлежит к роду, члены которого гордятся этим именем. Я заявляю это Вам, князь, ибо не умею скрывать своих чувств. Ваше императорское высочество может считать меня чересчур смелой, но оно не откажет мне в обладании духом моей семьи в высочайшей степени".[30]

Дух семьи — это означало для нее героизм ратных подвигов и величие духовных деяний.

Вот почему идеальная душевная чистота Марии Потоцкой представлялась ей великой эпической темой, драгоценной для подлинного поэта, которому она и мечтала сообщить ее.

Вскоре он появился на ее пути — двадцатилетний юноша, вчерашний лицеист, но уже первый среди русских поэтов.

3

В зимний сезон 1818—1819 года семнадцатилетняя Софья Станиславовна впервые стала выезжать на петербургские балы. Ее красота, сочетавшая яркую солнечность эллинского типа ее матери с утонченной задумчивостью славянского облика ее родственниц по отцу, вызвала всеобщее восхищение. Пушкин, всегда ценивший, по его собственному свидетельству, законченную красоту женских лиц, не мог пройти без внимания мимо молодой Потоцкой, уже вызвавшей поклонение его друга Вяземского. Девушка с поэтическим воображением и вольнолюбивой душой должна была заинтересоваться автором «Вольности», «Руслана...», «Любви, надежды, тихой славы...».

Мы не можем внести с календарной точностью в хронологическую канву жизни Пушкина дату того дня или вечера, когда Софья Потоцкая рассказала ему свою любимую крымскую легенду. Но факты твор-

[30] Прошение С. С. Киселевой на имя великого князя Михаила Павловича от 1 сентября 1845 года. Государственная библиотека имени В.И.Ленина. Ф. 129. К. 13, № 25. Оригинал на французском языке.

ческой истории «Бахчисарайского фонтана» не оставляют сомнений, что в 1818—1819 годах между ними происходила такая беседа, отметившая важную веху в литературной летописи поэта.

Несмотря на сильное впечатление Пушкина от этого "предания любви", он еще не был готов к его воплощению. Он только высоко оценил его драматизм и неизгладимо запечатлел его образы в своей творческой памяти. Это вызвало и новое отношение к даровитой девушке, плененной западно-восточной легендой и ее преданиями католической Польши и мусульманского Крыма. Вместе с прелестным замыслом возникло и важнейшее событие его душевной жизни.

Пушкин назвал свою петербургскую любовь "отверженной". Это обращает нас к внутренней биографии Софьи Потоцкой на исходе ее юности.

С 1817 года в их доме постоянно бывает один из самых блестящих молодых представителей гвардии — Павел Дмитриевич Киселев. Ему еще не было тридцати лет, но он уже прожил блестящую молодость. Служа в кавалергардском полку, он участвовал в прусской кампании 1807 года, сражался в 1812 году под Смоленском и Бородиным, был адъютантом Милорадовича и прошел путь до Парижа. В 1814 году Александр I назначил его своим флигель-адъютантом и взял в свою свиту на Венский конгресс. В 1817 году он был произведен в генералы, а в 1819 году назначен начальником штаба второй армии.

Выходец из высшего московского общества, он знал с детства Карамзина и Дмитриева, был другом Вяземского, Михаила Орлова, Дениса Давыдова, Александра Тургенева, Сергея Волконского. По позднейшим сообщениям его сослуживцев и товарищей, это был выдающийся представитель своего замечательного поколения. Он отличался живостью своих черных глаз и властью над умами, свидетельствуют современники. "С прекрасною наружностию он соединяет светское обхождение". У него "речь ясная и точная, иногда пылкая и увлекательная... Он горд, честолюбив, нетерпелив, жив и страстен".[31] "Он баловень дам, самый любимый, самый модный гость между всеми нашими вельможами".[32]

В обществе он оказывал особое внимание Софье Станиславовне Потоцкой. Не удивительно, что девушка полюбила его сильно и горячо. Ни о каком другом чувстве не могло быть и речи. Горячие жалобы «Платонической любви» Пушкина, как, вероятно, и аналогичные устные признания ее автора, не могли найти ни ответа, ни отзвука. Любовь поэта осталась неразделенной.[14]

В апреле 1821 года Софья Потоцкая была объявлена невестой Павла

[31] Из записок генерала Левенштерна, находившегося при Киселеве в Дунайских княжествах // *А.П.Заблоцкий-Десятовский.* Граф П. Д. Киселев и его время. Т. III. СПб., 1882. С. 426.

[32] Из записок М.А.Корфа // *А.П.Заблоцкий-Десятовский.* Граф П. Д. Киселев и его время. Т. III. С. 427.

Дмитриевича Киселева. Жених извещает об этом императора, который в ответном письме с Лайбахского конгресса выражает ему свои лучшие пожелания и просит передать свои поздравления "a la belle comtesse Sophie".[33] 25 августа 1821 года состоялось в Одессе бракосочетание Софьи Потоцкой и П. Д. Киселева при свидетелях градоначальнике графе А. Ф. Ланжероне и генерал-майоре Михаиле Орлове.[34]

Софья Станиславовна Потоцкая отличалась выдающимся умом, независимостью убеждений, художественной фантазией и патриотическими идеалами. В ней таился целый "пожар поэзии", по выражению Вяземского.[35] Для нее уже в молодости были характерны "возвышенность души и принципов" (как писал в 1829 году П.Д.Киселев)[36] — черты, которые внушили ему "доверие и привязанность" к ней.

Письма Софьи Станиславовны к жениху и мужу в начале 20-х годов свидетельствуют о живости мысли, богатстве впечатлений, искренности и непосредственности ее эпистолярного стиля. Она не позирует, не приукрашивает себя, не претендует на изящество и блеск, напротив — она откровенна и прямодушна. В этом чувствуется своеобразная человеческая одаренность, быть может, именно потому, что здесь не ощущается никакого стремления к позе и фразе. Между тем она любит книги, интересуется отвлеченными вопросами, читает мемуары знаменитых деятелей, основательно знакомится с Вольтером. Сквозь сообщения о личной жизни и семейном быте ощущается серьезная умственная заинтересованность в духовных проблемах вместе с культурным складом утонченного характера и поэтичность души. Не случайно ее биография переплетается с именами поэтов — Вяземского, Пушкина, Мицкевича. Декабрист Н. В. Басаргин, адъютант ее мужа и завсегдатай в их доме, писал, что "супруга Киселева, Софья, была олицетворенная доброта, очень умна, веселого, открытого характера, но с тем вместе неимоверно рассеяна и не обращала внимания ни на какие светские условия".[37]

Это ценное свидетельство. Пренебрежение к чопорным регламентам великосветского круга свидетельствовало в то время о вольнолюбивости натуры. Молодая Потоцкая открыто пренебрегала уставами и предрассудками петербургских салонов. Вращаясь в мире официальных властей и сил, она выступала защитницей несправедливо гонимых.

П. А. Вяземский рассказывает о своем друге Александре Тургеневе, известном заступнике всех обездоленных: "Помню, как за обедом у

[33] *А.П.Заблоцкий-Десятовский.* Граф П. Д. Киселев и его время. Т. IV, СПб., 1882. С. 16.

[34] Венчальный обряд совершался дважды — в лагере близ города и в городском костеле (см.: Метрическое свидетельство на русском языке и матримониальный акт на латинском. Государственная библиотека СССР имени В.И.Ленина. Ф. 129. К. 4. № 15).

[35] Остафьевский архив. Т. I. С. 338.

[36] *А.П.Заблоцкий-Десятовский.* Граф П. Д. Киселев и его время. Т. III. С. 435.

[37] *Н.В.Басаргин.* Записки. Изд. «Огни», Пг., 1917. С. 23.

графини Потоцкой живо схватился он с гр. Милорадовичем, бывшим тогда с.-петербургским военным генерал-губернатором, и упрекал его за нерасположение к одному из чиновников, при нем служивших... Милорадович оправдывался, как мог и как умел; многочисленные гости за столом в молчании и с удивлением присутствовали при этой тяжелой распре. Правда, что Тургенев, как ловкий военачальник, призвал в союзницы себе двух красавиц-дочерей хозяйки, и победа осталась за ним".[38]

Очевидно, Софья Потоцкая, как старшая и наиболее одаренная из сестер, и выступила в благородной роли заступницы маленького человека, оказав, быть может, благотворное воздействие на всю его судьбу.

В духе таких передовых воззрений рано сказывается в письмах этой девушки-аристократки ее неожиданная приверженность к национально-освободительному движению в мировой политике. Весьма показательны в этом отношении ее письма из Одессы весной 1821 года об отзвуках греческого восстания в южнорусском городе. Они как бы перекликаются с известным кишиневским письмом Пушкина в марте 1821 года о событиях в Греции, в котором описано и одесское возбуждение соотечественников Ипсиланти.

Такие черты натуры заметно выделяли независимую и смелую девушку в кругу ее "верноподданных" подруг, как и она, фрейлин императорского двора и невест флигель-адъютантов Александра I. Ум и вольнолюбивый характер Софьи Потоцкой усиливали ее внешнее очарование в глазах талантливых и прогрессивных деятелей молодого поколения в эпоху становления первых тайных обществ в России. Умный Киселев, как мы видели, ценил возвышенные воззрения и этические идеалы своей жены. Все, казалось, обещало одесским новобрачным 1821 года прочное и длительное счастье. На самом деле оно оказалось хрупким и кратковременным.

Молодые поселились в Тульчине, городке Потоцких, где находилась и главная квартира, или штаб второй армии. В 1822 году скончалась в Берлине Софья Константиновна Потоцкая, поручив младшую дочь Ольгу попечению Киселевых. Девушка, по словам Басаргина, отличалась более положительным характером, чем ее старшая сестра, и, как и та, "славилась своею красотою".[39]

Красота младшей Потоцкой в сочетании с ее практицизмом сыграла печальную роль в жизни ее сестры. В глазах генерала Киселева Ольга вскоре затмила очарование его молодой жены, и возникший роман шурина со свояченицей превратился в прочную пожизненную связь, разбившую счастье Софьи Станиславовны. В условиях быта маленького городка это не могло долго оставаться тайной, и враги Киселева вскоре воспользовались компрометирующими его слухами для осуществ-

[38] *П. Вяземский.* Старая записная книжка. Л., 1929. С. 181.

[39] *Н. В. Басаргин.* Записки. С. 23.

ления своих жестоких интриг, угрожавших самой жизни их ненавистного начальника.

Как сообщает его биограф, "Киселев имел во 2-й армии тайных врагов, которые распускали про него сплетни, запутывая в них, между прочим, имя графини Ольги Потоцкой, сестры жены Киселева; сплетни эти доходили до Петербурга, а стало быть и до двора. Не довольствуясь этим, враги искали случая устроить скандал, который, компрометируя Павла Дмитриевича, заставил бы его удалиться из армии".[40]

Случай вскоре представился. Против командира Одесского пехотного полка подполковника Ярошевицкого, человека грубого и злого, составился заговор офицеров. По выпавшему жребию штабс-капитан Рубановский на инспекторском смотру в присутствии начальника дивизии генерал-лейтенанта Корнилова намеренно вызвал к себе резкие замечания Ярошевицкого и в ответ на них стащил его с лошади и избил до крови. Рубановский был разжалован и сослан на каторгу. Следствие обнаружило при этом неправильные действия бригадного командира генерал-майора Мордвинова, который знал о заговоре офицеров Одесского полка, но не принял никаких мер к его пресечению. Киселев удалил Мордвинова с его поста. Этим воспользовались враги начальника штаба, которые убедили отстраненного генерала потребовать сатисфакции от Киселева. Тот принял вызов, и дуэль состоялась 24 июня 1823 года в местечке Ладыжине в 40 верстах от Тульчина, на восьми шагах расстояния. Мордвинов был ранен в живот и к утру скончался. Пуля его пролетела у самого виска Киселева, не задев его.

Это событие раскрывает нам и отношение молодой Киселевой к мужу в первые годы их брака. В день дуэли, отговорившись неотложной служебной поездкой, Киселев нежно простился с женой, ни о чем не подозревавшей.

"Наступил вечер, собрались гости, загремела музыка и начались танцы, — рассказывает в своих воспоминаниях Басаргин. — Мне грустно, больно было смотреть на веселившихся и особенно на молодую его супругу, которая так горячо его любила и которая, ничего не зная, так беззаботно веселилась". Но в полночь поднялась тревога. "Подъезжая с Киселевым к Тульчину, мы встретили жену в дрожках, растрепанную и совершенно потерянную. Излишним нахожу описывать сцену свидания ее с мужем".[41]

1 ноября 1823 года Ольга Потоцкая обвенчалась со Львом Александровичем Нарышкиным, кузеном М. С. Воронцова; она поселилась в Одессе. В ноябре — декабре этого года у нее гостят Киселевы. Как раз в это время, осенью 1823 года, Пушкин заканчивает в Одессе «Бахчисарайский фонтан».[42] В эти месяцы пишутся знаменитые строки, кото-

[40] *А. П. Заблоцкий-Десятовский.* Граф П. Д. Киселев и его время. Т. I, СПб., 1882. С. 174.

[41] *Н. В. Басаргин.* Записки. С. 20, 22.

[42] К сентябрю—ноябрю 1823 года относится окончательная отделка поэмы.

рые сам поэт называл "любовным бредом".

Пушкин с весны 1819 года стремится из Петербурга в Тульчин[151], а в свои южные годы посещает дважды этот дальний украинский городок. Согласно новейшим разысканиям, он был здесь в начале 1821 года, на что есть указание в записках Басаргина ("В Одессе <в 1823 году> встретил я также нашего знаменитого поэта Пушкина... Я еще прежде этого имел случай видеть его в Тульчине у Киселева"),[43] и, видимо, в ноябре 1822 года, на что указывал уже П. И. Бартенев в работе «Пушкин в южной России».[161] Автор новейшей статьи на эту тему Т. П. Ден объясняет это влечение поэта в Тульчин намерениями его: 1) поговорить с Киселевым об устройстве на военную службу брата Льва, 2) побеседовать с начальником штаба об арестованном Владимире Раевском, 3) попрощаться с уезжающим за границу Киселевым, 4) встретиться с К. А. Охотниковым.[44] Все это не более как гипотезы чересчур гадательные и малоубедительные. Слишком предположительны и заключения: "Пушкин должен был хотеть видеть (!) и Пестеля и Киселева. Видел ли он их — мы не знаем" и т.д.[45]

Но есть реальные факты, проливающие свет на этот эпизод южной биографии Пушкина. Тульчин был родным городом Софьи Потоцкой и владением ее родителей: здесь находились два знаменитых замка Потоцкого-Щенсного, напоминавших королевские дворцы, какими мог похвастать не каждый немецкий владетельный герцог. Это была главная резиденция семьи Потоцких, откуда члены ее лишь на время выезжали в Петербург и другие места России. Это было основное место жительства Софьи Станиславовны Потоцкой, которая с лета 1821 года поселилась в нем уже как жена начальника штаба второй армии, чья главная квартира находилась в ее родном укрепленном бурге, где в польскую войну 1794 года стоял с войсками Суворов.

Киселева жила в этом историческом городке, среди ласковой украинской природы:

> ... там, где ранее весна
> Блестит над Каменкой тенистой
> И над холмами Тульчина —

как вспоминает в своей политической хронике автор десятой главы «Евгения Онегина» (VI, 525). Можно быть уверенным, что его влекли сюда не хлопоты о военной карьере Льва Сергеевича и не потребность

---

4 ноября Пушкин посылает «Бахчисарайский фонтан» Вяземскому (см.: *М.А.Цявловский.* Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. I. М., 1951. С. 407, 414).

[43] *Н.В.Басаргин.* Записки. С. 24-25; см. также «Летопись» М. А. Цявловского. С. 277—278, 758—759.

[44] *Т.П.Ден.* Пушкин в Тульчине // Пушкин. Исследования и материалы. Т. I. М.—Л., 1956. С. 225.

[45] Там же. С. 228.

проститься перед долгой разлукой с Киселевым, которого он терпеть не мог. Их личные отношения были сдержанно неприязненны. Уже в 1819 году Пушкин пишет в послании к одному из лучших друзей Киселева Михаилу Орлову по поводу своих стремлений на военную службу:

На генерала Киселева
Не положу своих надежд...

Поэт признает его прогрессивный образ мыслей и ораторский дар,

Но он придворный: обещанья
Его не стоят ничего.
(II, 1, 85)

Киселев в свою очередь не переносит Пушкина. Начальник штаба второй армии мог считать автора ноэлей и «Вольности» неподходящим кандидатов в вверенные ему войска и не собирался осуществлять великосветских вежливостей, вероятно оброненных на запросы поэта.

Но это была не единственная причина вражды Пушкина к блестящему фавориту фортуны на всех поприщах жизни. В 1823 году "дуэль Киселева с Мордвиновым очень занимала его, — рассказывает И. П. Липранди, — в продолжение нескольких и многих дней он ни о чем другом не говорил, выпытывая мнения других, что на чьей стороне более чести, кто оказал более самоотвержения и т.п.? Он предпочитал поступок И. Н. Мордвинова, как бригадного командира, вызвавшего лицо выше себя по службе". Липранди и кишиневский приятель Пушкина Н. С. Алексеев высказывались за Киселева, но не могли переубедить поэта. "Пушкин не переносил, как он говорил, 'оскорбительной любезности временщика, для которого нет ничего священного'".[46] Это предвешает отчасти отношение Пушкина к М. С. Воронову, о котором он отзывался через год в сходных выражениях.

Но в феодальных замках Тульчина Пушкин имел и дружескую душу. Упоминания его имени в письмах Киселевой немногочисленны, но всегда значительны. Они свидетельствуют о симпатии и уважении. Так, в письме к мужу в Петербург от 21 марта 1827 года Софья Станиславовна сообщает о своих чтениях и просит доставить ей ряд интересующих ее книг: "Apporte aussi les deux nouveaux romans de Walter Scott et quelques Poésies russe de Pouchkin comme par exemple le Bakchisaraiski fontan — Onéguin — sa nouvelle Tragédie et si vous le voyez dites-lui que j'apprends le russe pour lire ses vers".[47] Последняя фраза — чрезвычайно

[46] *И. П. Липранди.* Из дневника и воспоминаний. Русский архив. 1866. № 10. Стлб. 1454.

[47] "Привези также оба новых романа Вальтера Скотта и несколько русских стихотворений Пушкина, как например «Бахчисарайский фонтан», «Онегина», новую его трагедию; а если увидишь его, передай ему, что я учусь русскому

лестный привет поэту.

Весьма знаменательно, что список творений Пушкина здесь возглавляет «Бахчисарайский фонтан», очевидно особенно интересующий корреспондентку. Другие южные поэмы даже не упомянуты, заглавие «Евгения Онегина» дано в сокращении, титул "трагедии" и вовсе не приводится. Но поэма о Марии Потоцкой названа полностью в ее точном русском заглавии и лишь в его латинской транскрипции. Не дозволительно ли видеть здесь подтверждение того, что было нам и раньше известно со слов самого Пушкина (необходимость предисловия к поэме в честь Софьи Киселевой), т.е. участие этой девушки в создании знаменитой "крымской поэмы", которая поэтому особенно и влечет ее к себе.

Следующее упоминание о Пушкине в этих письмах относится к лету 1828 года, когда уже идет турецкая война. Короткий вопрос корреспондентки полон тревоги и поистине мог бы порадовать ее тайного поклонника: "Odessa, le 22 juin 1828. Dis moi si Pouchkin est effectivement à l'armée, comme on le disait".[48]

Отношение Киселевой к Пушкину было, видимо, иным, чем предполагал сам поэт, которому оставались неизвестны эти явные знаки искреннего сочувствия и душевного внимания к его личности и творчеству.

Несколько позже она выказала и свое верное понимание трагической судьбы русского поэта. Когда в 1845 году был арестован и сослан брат Киселевой Мечислав Потоцкий, она самовольно приехала в Россию хлопотать о его освобождении, но была выслана за свои известные выступления против петербургских властей и за связи с революционной Польшей. Возмущенная действиями III Отделения и беззаконными методами николаевского правительства, она пишет мужу о своем душевном потрясении и вспоминает по этому поводу стихи Пушкина: "Je me sens toute brisée, rompue... je ne respire plus librement, mon

---

языку, чтоб читать его стихи" *(франц.)* (Государственная библиотека СССР имени В.И.Ленина. Ф. 129. К. 1. № 49). Краткое изложение содержание писем С. С. Киселевой к П. Д. Киселеву содержится в статье Ю. И. Герасимовой «Архив Киселевых» в «Записках Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР имени В.И.Ленина» (вып. 19, М., 1957. С. 65—68). Укажем публикации Пушкина, которые могли быть известны С. С. Киселевой в момент написания ее письма: «Бахчисарайский фонтан» вышел первым изданием в 1824 году, речь в письме могла идти только о первом издании (так как второе вышло в самом конце 1827 года); «Евгений Онегин» был к тому времени опубликован лишь двумя главами: первая вышла 18 февраля 1825 года, вторая — в октябре 1826 года; «Борис Годунов» был издан полностью лишь в 1830 году, отрывками же в 1827 и сл., но осенью 1826 года Пушкин читал свою трагедию у Веневитиновых, Дельвигов и др.

[48] "Сообщи мне, действительно ли Пушкин находится в действующей армии, как говорили здесь" *(франц.)* (Государственная библиотека СССР имени В.И.Ленина. Ф. 129. К. 12. № 50).

someil est un cochemar continuel et je pense souvent... aux vers de Pouchkin qui étouffe et qui demande à respirer l'air des bois".[49]

4

Семейная жизнь Киселевых слагалась неудачно. В 1822 году у них родился сын Владимир, скончавшийся в двухлетнем возрасте. Других детей они не имели. Расхождение супругов в области их политических симпатий и убеждений не переставало углубляться. Канун 14 декабря неуклонно и остро ставил ряд важнейших общественных и государственных вопросов, разводивших близких людей в противоположные стороны. Супруги Киселевы не находили общих путей в напряженной атмосфере последних лет царствования Александра I. Это вносило все большее охлаждение в их личные отношения.

Тульчин был центром южного декабризма. При штабе Киселева, в руководимой им армии служили виднейшие из деятелей движения — П. И. Пестель, С. П. Трубецкой, С. Г. Волконский и менее известные — И. Г. Бурцев, Н. В. Басаргин, А. П. Юшневский. Из таких культурных представителей военной молодежи составлялось общество Киселевых. Интересно свидетельство одного из этой славной плеяды — Сергея Григорьевича Волконского, который зимой 1819 года на киевских контрактах познакомился "с семейством графини Потоцкой-Тульчинской". "Я был приглашен, как и многие другие, посетить Тульчин во время обычного туда съезда на маслянице, — вспоминает он в своих записках. — Это пребывание в Тульчине ввело меня в круг людей, мыслящих и мечтавших о преобразовании политического внутреннего быта в России. Эти мечты нашли теплый отголосок и в моих чувствах и думах".[50] Волконский вступает в Союз благоденствия.

По-иному относился к оппозиции и революции Киселев. Чуждый всякого радикализма, верный слуга царизма, он был лишь противником эксцессов реакции — "аракчеевщины", но оставался несомненным консерватором с претензией на некоторый западноевропейский либеральный оттенок своей охранительной программы. Характерно его письмо Михаилу Орлову о бесплодности народных движений: ведь французская революция привела к тирании Наполеона, ведь мятежи ведут лишь к усилению самовластия. "Оставь шайку крикунов и устреми отличные качества свои на пользу общую", т.е. на государственную службу. Один намек в этом письме явно метит в поэта-вольнодумца Пушкина:

[49] "Я чувствую себя совершенно разбитой и сломленной... Я более не дышу свободно, мой сон — непрерывный кошмар, и я часто... вспоминаю стихи Пушкина, который задыхается и стремится дохнуть воздуха лесов" *(франц.)* (там же, к. 13. № 20; стих из «Братьев разбойников» — "Мне душно здесь, я в лес хочу").

[50] *С.Г.Волконский.* Записки. СПб., 1902. С. 403.

"Я знаю, что мысли мои с духом времени не сходны..., что ряд пылких учеников *лицея* и громада тунеядцев московских провозгласят <меня> недостойным гасителем; другие назовут рабом власти, но я суждения их презираю и мыслей своих не переменю".[51]

Следует все же отметить, что Киселев проводил в армии передовые мероприятия — отмену телесных наказаний, повышение грамотности. Он был противником крепостного права как института, порочащего честь российской государственности и накопляющего порох для народной революции, но считал, что оно подлежит отмене лишь путем медленной правительственной реформы, прежде всего в интересах власти и дворянства.[52]

В совершенно других направлениях развивалась мысль Софьи Станиславовны. Ее с юных лет интересовали поэты — Вяземский, Пушкин, несколько позже Мицкевич. Как польская патриотка, она не питала никакой "верноподданности" к русскому самодержавию. У нее вырабатывалось свое отношение к освободительному движению в среде молодых военных ее круга.

В тульчинской библиотеке П. Д. Киселева наряду с научными сочинениями имелись и передовые мыслители-художники и великие писатели: Плутарх и Ювенал, Рабле, Вольтер и Руссо, Вальтер Скотт и Байрон, Шатобриан и Бенжамен Констан.[53] Полагаем, что этим разделом домашнего книгохранилища пользовалась и владелица замка и что многие из этих знаменитых авторов поддерживали и воспитывали в ней идеи справедливости и свободы, которые ощущаются и в ее поздней биографии.

Декабрьское восстание углубило политические разногласия супругов. Оно застало Киселева на высших командных позициях. Полагают, что он не подозревал о существовании тайного общества, но этому трудно поверить: осведомленность начальника штаба армии исключает возможность такого неведения важнейших событий, происходящих в ее рядах и угрожающих государственному строю. Естественнее предположить, что он до времени молчал, как это делала и петербургская власть. Активность в этой сфере вызвали, как известно, только декабрьские события 1825 года.

---

[51] Русская старина. 1887. № 7. С. 233, 232.

[52] Уже в 1816 году молодой Киселев подает Александру I записку под характерным заглавием "О постепенном уничтожении рабства в России", в которой призывает правительство приступить к немедленному освобождению крепостных в целях предупреждения крестьянских требований, "которым отказать будет уже трудно или невозможно", как это доказывает "кровью обагренная французская революция" (*А. П. Заблоцкий-Десятовский.* Граф П. Д. Киселев и его время. Т. IV. С. 197—198).

[53] Сохранившиеся каталоги библиотки Киселева описаны в исследовании Н. М. Дружинина «Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева» (Т. I. М.—Л., 1946. С. 262—263).

Адъютант Киселева, декабрист Басаргин, возвратился из отпуска на место службы в Тульчин 27 декабря 1825 года. По пути он узнал в Москве о смерти Александра I, а в Могилеве — о восстании в Петербурге. В Бердичеве Басаргин встретился с арестованным Пестелем. Явившись к Киселеву, он услышал: "Вы принадлежите к тайному обществу... Правительству все известно". "В гостиной, — продолжает мемуарист, — я застал одну его супругу". Киселевой уже была указана мужем ее позиция в развертывающихся важнейших событиях. "Господин Басаргин, — взволнованно сказала она, — вам хорошо известна моя симпатия к вам; итак, вам необходимо принять решение о вашей участи. Я присутствовала при всех объяснениях мужа с генералом Чернышевым; и я могу уверить вас, что все желающие для себя спасения должны только броситься к ногам императора и открыто признаться в своей принадлежности к тайному обществу. — 'Сударыня, — отвечал я, — вы мне советуете сделать то, что противоречит моей совести и что я считаю низостью'. — 'Я ожидала такого ответа от вас, — сказала она, — вы погибнете, но погибнете, как человек чести и, поверьте, мое уважение к вам только возрастет от этого'".[54]

Связь южных декабристов с польскими тайными обществами вызывала к их деятельности симпатию таких патриотов Польши, как Софья Киселева (о чем имеется ряд свидетельств в ее письмах). Отсюда углубление ее политических разногласий с мужем. Русский генерал не мог снести, чтоб его жена общалась с польскими инсургентами. "Я не создан, чтобы... в моей домашней жизни препираться о политических мнениях", — писал он в начале 30-х годов. С. С. Киселева объясняла причины своего политического настроения тем, что "она полька и забыть этого не может".[55]

Но на разрыв с мужем она все же не хочет идти и, видимо, всячески стремится спасти их отношения. Характерен и полон драматизма документ, выданный ею мужу 20 ноября 1834 года: это — обязательство С. С. Киселевой предоставить Павлу Дмитриевичу полную свободу, если в течение двух лет не состоится их примирение. Позиция мужа непоколебима, но жена продолжает надеяться.

Ни одной из ее иллюзий не суждено сбыться. Все они разбиваются о суровый характер ее мужа. М. А. Корф (товарищ Пушкина по лицею), признававший большие государственные дарования П. Д. Киселева, отказывал ему в общечеловеческой способности к простым и добрым чувствам. В его характеристике Киселев — человек бессердечный, не способный кого-либо любить. Мозг заменяет ему сердце. Единственные пружины его деятельности — "ум, честолюбие и расчет".[56]

Это сказалось полностью в его отношениях к жене. Временные раз-

---

[54] *Н. В. Басаргин.* Записки. С. 38, 39—40 (в подлиннике разговор по-французски).

[55] *А. П. Заблоцкий-Десятовский.* Граф П. Д. Киселев и его время. Т. III. С. 435).

[56] Там же. С. 428.

луки сменяются полным разрывом. Софья Станиславовна покидает Россию и поселяется навсегда за границей.

В эти годы Киселев делает блестящую государственную карьеру. В 1837 году он назначен министром государственных имуществ и приступает к реформе состояния казенных крестьян, подготовляя отмену крепостного права.[57]

В 1832 году с Киселевой встречается в Мариенбаде Александра Осиповна Смирнова-Россет, т.е. пушкинская "черноокая Россети" (III, 1, 225). В своих воспоминаниях она рассказывает: "Киселева была давнишней приятельницей моей матери. Она меня очень полюбила и поведала мне все свои горести".[58] Разрыв с мужем она объясняла его неверностью. Некоторые сообщения старинной приятельницы Пушкина представляют интерес и для его биографии. Так, она пишет по поводу П. Д. Киселева и его жены: "Я была хорошо осведомлена об этой замечательной семье. Я знала от Пушкина, что у него <П. Д. Киселева> был брат, по имени Сергей, который был женат на хорошенькой барышне из Москвы, по фамилии Ушакова. Они жили на Арбате... Я не знала, что у Киселевых был еще третий брат и что от этого брата будет зависеть моя судьба".[59]

В то время московская приятельница Пушкина Елизавета Николаевна Ушакова была невестой второго брата П. Д. Киселева — Сергея Дмитриевича, за которого вскоре и вышла замуж. Она была обладательницей альбома, в который Пушкин в 1829 году внес перечень имен девушек и женщин, которыми увлекался. Отметим, что в списке имеется и имя Софья. Эту запись относили к Софье Пушкиной, но полагаем, без достаточного основания и едва ли не потому, что Софья Киселева по явному недосмотру не входила в кругозор биогрфов Пушкина.[71]

В начале 30-х годов разрыв Киселева с женой становится окончательным. С. С. Киселева живет в Париже, бывает в Гамбурге, Баден-Бадене, Мариенбаде, Риме, Вене, Ницце, совершает поездку в Палестину, иногда приезжает в Россию, навещает родные юго-западные поместья, бывает и в любимом Крыму (например, в августе 1846 года).

[57] По заключению советского историка Н. М. Дружинина, реформа Киселева охватывала многообразные прослойки великорусского крестьянства единым упорядоченным управлением с тенденциями к большей законности. Но это прогрессивное антифеодальное направление не было выражено с достаточной последовательностью и фактически закрепляло систему "государственного феодализма": земля есть собственность казны, крестьянин остается во власти самодержавия (*Н. М. Дружинин.* Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева. Т. I. С. 628 и сл.).

[58] *А. О. Смирнова-Россет.* Автобиография. Изд. «Мир», М., 1931. С. 128.

[59] Там же. С. 129. "Третий брат" — Николай Дмитриевич Киселев (1800—1869), дипломат, занимавший видные посты в Париже, Лондоне и Риме, знакомый Пушкина, вероятно, по семье Ушаковых. В 1828 году поэт посвятил ему четверостишие «Ищи в чужом краю здоровья и свободы...».

Ее путешествия по столицам мира и модным курортам Европы кажутся метаниями тоскующей души, нигде не находящей себе места.

Отношений с О. С. Нарышкиной Софья Киселева не прекратила. По свидетельству А. О. Смирновой-Россет, они продолжали встречаться. Глубокую рану, нанесенную ей сестрой, Киселева стремилась простить, ценя желания Нарышкиной загладить свою вину. "Ольга поднесет вам яду и сама же будет бегать за противоядием", — говорила она Смирновой.[60]

По письмам Александра Тургенева и другим свидетельствам современников мы знаем, что С. С. Киселева живо интересовалась общественной и культурной жизнью Парижа. Она следила за крупными процессами и "целые дни и ночи просиживала в Palais de Justice".[61] Она знакомится с знаменитостями Франции, и в частности с Бенжаменом Констаном, которым интересовалась в молодости. Через французского посла в России барона Баранта она посылает Вяземскому сборник стихотворений Виктора Гюго «Les Crépuscules».

Основным духовным содержанием жизни Киселевой остается любовь к Польше и мечта о ее освобождении. "Перейдя границу, — писал Герцен, — поляки, вопреки Дантону, взяли с собой свою родину и, не склоняя головы, гордо и угрюмо пронесли ее по свету".[62] Софья Киселева в меру сил участвовала в этом движении. Величайший среди изгнанников Мицкевич бывает у этой энтузиастки польского возрождения. Брат П. Д. Киселева, Николай Дмитриевич, служивший в 30—40-е годы в русском посольстве в Париже, говорил Смирновой-Россет: "Мицкевич теперь в Париже, и мы можем его встретить у Софьи Станиславовны. У нее собирается вся польская эмиграция".[63]

Но около 1846 года происходит размежевание внутрених сил зарубежной Польши, и Киселева отходит от группы политических изгнанников, объединившихся вокруг Мицкевича и Товянского. Когда же началось польское восстание 1863 года, Софья Станиславовна, которой шел уже седьмой десяток, собралась ехать в Краков, чтоб принять участие в происходивших событиях.

Так же сочувствует она и проявлениям национального освободительного движения в других странах. Она восторженно встречает июльскую революцию и с восхищением пишет в своих письмах из Парижа о баррикадных боях 1830 года. Воцарившийся "король-буржуа" Луи-Филипп и все его правительство вызывают ее резкие оценки.

Личная жизнь Киселевой остается безотрадной и одинокой. Разрыв с мужем растет и углубляется, несмотря на ее неизменную предан-

---

[60] *А. О. Смирнова.* Записки, дневник, воспоминания, письма. Изд. «Федерация», М., 1929. С. 262.

[61] Остафьевский архив. Т. III, 1899. С. 199.

[62] *А. И. Герцен.* Собрание сочинений. Т. XI. Изд. Академии наук СССР. М., 1957. С. 126.

[63] *А. О. Смирнова-Россет.* Автобиография. С. 175.

ность любимому человеку. Яркий эпизод, характеризующий верность Киселевой своему чувству, произошел уже после многих лет ее разлуки с П. Д. Киселевым. 16 мая 1846 года он получил пакет с кредитными билетами на сумму 138 996 руб. и с анонимной запиской, в которой эта сумма называлась возвращением долга. Автор в свое время якобы помешал Александру I наградить Киселева и стремится через двадцать пять лет искупить свою вину возмещением ему отнятой когда-то суммы.

Начальник III Отделения А. Ф. Орлов, как и сам адресат этой наградной грамоты, пришли к заключению, что деньги посланы Киселеву его женой, которая избрала такой тонкий способ, чтобы отблагодарить мужа за бескорыстие, какое он проявил к ней в момент их разрыва.[64] Анонимный дар политического врага выражал на самом деле благодарность неизменно преданной женщины.

5

1 июля 1856 года граф Киселев (получивший этот титул в 1839 году) был назначен послом в Париж. В разговоре с Александром II он, между прочим, сообщил, что считает свое семейное положение и отношение к жене несогласными с высоким званием представителя великой державы.[65] 16 июля он писал своему брату Николаю Дмитриевичу: "Одно из самых щекотливых затруднений для меня это пребывание в Париже Софьи, с ее надменным и иногда отважным характером; я опасаюсь столкновений, которые, при моем официальном положении, могут быть более чем неприятны. После 25 лет разлучения всякое сближение между нами невозможно и я решительно его не хочу". Киселев поручил передать своей жене: "...всякий шум с ее стороны не по времени..., если она не хочет сообразоваться с моими мнениями, я буду обязан предоставить правительству принять меры, которые мне были предложены (отказ в паспорте для пребывания ее во Франции)".[66] Отношения, как видим, настолько обострились, что Киселев не гнушается угрожать жене административной высылкой за пределы Франции.

В 1860 году она написала и собиралась публиковать во французской печати резкий политический памфлет, направленный против царского правительства по поводу ссылки ее брата Мечислава Потоцкого.[67] Узнав об этом, Киселев составляет целый меморандум, протестуя про-

[64] См.: *А. П. Заблоцкий-Десятовский.* Граф П. Д. Киселев и его время. Т. IV. С. 348—352).

[65] Там же. Т. III. С. 6.

[66] Там же. С. 7—8.

[67] Запись устного сообщения П. Д. Киселева, сделанная графиней Ал. Вас. Браницкой для передачи С. С. Киселевой, о недопустимости опубликования ею антиправительственного памфлета (Париж, 9 мая 1860). Государственная библиотека СССР имени В.И.Ленина. Ф. 129. К. 4. № 18.

тив такого выступления своей бывшей жены, компрометирующей его как представителя Российской империи во Франции.

Мы приблизились к эпилогу жизни сестер Потоцких и любимого ими человека.

Ольга Нарышкина овдовела в 1846 году. Она поселилась в семье своей единственной дочери — графини Софьи Львовны Шуваловой. В конце 50-х годов Нарышкина уехала за границу, очевидно для последней встречи с П. Д. Киселевым. Она умерла в Париже 7 октября 1861 года. По свидетельству А. П. Заблоцкого-Десятовского, "граф Киселев... был очень опечален кончиною Ольги Станиславовны Нарышкиной, с которою он был в самых дружеских отношениях около 40 лет. Когда она приехала из Гейдельберга в Париж, Павел Дмитриевич посещал ее каждый день. Он был у ней за час до ее кончины, и последние обращенные к нему слова ее... долго не могли изгладиться из его памяти. Кончина эта очень расстроила графа".[68]

Чувствуя свои силы подкошенными и расходясь в своих франкофильских воззрениях с Александром II и новым вице-канцлером Горчаковым, сторонниками прусской ориентации, Киселев в 1862 году подает в отставку. Он решает не возвращаться в Россию и поселяется навсегда в Париже.

В последнее деятилетие своей жизни он живет на покое, встречаясь со своим стариннейшим знакомцем по родной Москве Николаем Тургеневым, следя издалека за проведением крестьянской реформы, к участию в которой он не был призван, хотя считал себя до конца ее провозвестником и первым деятелем.

П. Д. Киселев умер 14 ноября 1872 года в возрасте восьмидесяти четырех лет. На отпевание его собралась вся парижская колония русских аристократов и несколько знаменитостей французского политического мира. Тело его погребено в Москве.

Его жена, до конца сохранявшая свое супружеское звание, несмотря на сорокалетний разрыв с мужем, скончалась 2 сентября 1875 года в Париже в своей квартире (улица Прессбурга, 1) в возрасте семидесяти четырех лет, видимо, в полном одиночестве. Свидетельство о смерти Софьи Станиславовны Киселевой не называет никого из ее родственников, кроме давно скончавшейся матери.[69]

Такова была эта долгая, незаметная и горестная жизнь. Она была бы забыта навсегда, если бы ее не озаряла ранняя встреча Софьи Потоцкой с Пушкиным, посвятившим ей одну из своих самых оригинальных элегий, в которой прорывается сквозь улыбчивую интонацию интимной беседы мучительная мольба поэта, вскоре прозвучавшая со всей силой в его третьей южной поэме.

---

[68] *А. П. Заблоцкий-Десятовский.* Граф П. Д. Киселев и его время. Т. III. С. 263).

[69] Extrait des actes de décès du XLI-e arrondissement de Paris, année 1875, Préfecture du Département de la Seine. Государственная библиотека СССР имени В.И.Ленина. Ф. 126. К. 4. № 17.

Это дает нам основание пересмотреть и наново поставить вопрос об источниках «Бахчисарайского фонтана» и его затаенном автобиографическом смысле.

Глава вторая

Какое же "преданье старины", связанное с "фонтаном слез", узнали "младые девы в той стране", сестры Потоцкие, в столице ханского Крыма, притом не позже лета 1817 года, т.е. перед наступлением того петербургского трехлетья Пушкина, когда он сам услышал от одной из них эту поэтическую быль?

Таков вопрос о первоисточнике «Бахчисарайского фонтана», подлежащий нашему рассмотрению.

1

Когда вскоре после падения татарского ханства в Крым приехала одна английская путешественница, некая миледи Крэвен, она посетила столицу низложенных Гиреев и остановилась в их дворце.

"Я увидела из моих окон здание вроде часовни, вызвавшее мое любопытство, — сообщала она в своем письме из Бахчисарая 8 апреля 1786 года, — мне объяснили, что это был памятник, воздвигнутый ханом своей супруге-христианке, которую он любил так нежно, что был безутешен, потеряв ее; он поместил здесь ее гробницу, чтобы чаще видеть место, в котором были заключены эти дорогие для него останки. Я вывела отсюда заключение, что этот татарский хан обладал сердцем, достойным любви".[70]

Так впервые зазвучала тема, которая через четыре десятилетия воплотится в великую лирическую поэму Пушкина.

Ученые муллы и грамотеи-татары, разъяснявшие почетным посетителям хан-сарая его исторические реликвии и арабские надписи, называли и имя того мусульманского повелителя и воинствующего провозвестника ислама, который воспылал страстью к "гяурке" и возвел эту "нечестивую" в ранг своих жен.

Это был один из последних крымских ханов, которого хорошо помнили его недавние верноподданные — проводники по дворцу. Звали его Керим-Гиреем. Пушкин несомненно знал его бурную и трагическую биографию.

В 1758 году этот молодой султан был впервые опоясан ханским мечом. По рассказу французского посланника при крымском дворе барона Ф. Тотта, Керим-Гирей любил искусство и науки. Большой оркестр и целая труппа комедиантов с танцовщицами разнообразили по вече-

[70] *Milady Craven*. Voyage en Crimée et à Constantinople en 1786. Londres, 1789. P. 246-247.

рам его развлечения. Он интересовался Мольером и расспрашивал о нем Тотта, охотно беседовал на философские темы. "Я должен признать дарования и ум этого правителя, — замечает французский посол, — ибо я не раз слышал его рассуждения о действиях различных климатов на человека, о злоупотреблениях свободой, но и о преимуществах ее, о принципах чести, о государственных законах и девизах — и все это в той манере, которая оказала бы честь самому Монтескье".[71] По свидетельству историка Таврии С. Сестренцевича-Богуша, хан имел познания в астрономии, физике и фортификации. Он любил роскошь и проявлял щедрость.[72] Хвалебные надписи на карнизах золотого кабинета прославляют его за восстановление ханского дворца и обогащение города новыми водными притоками. По разысканиям русского ориенталиста 40-х годов Ф. М. Домбровского, Керим-Гирей готовился к освобождению полуострова из-под власти Оттоманской Порты. За это он был лишен стамбульским диваном ханского престола в 1764 году и сослан на остров Родос. Война Турции с Россией освободила его из заточения. Как отличный полководец, он снова возводится на крымский престол в 1768 году. Он одерживает ряд побед, опустошает Новую Сербию и сжигает крепость св. Елизаветы. Но Оттоманская Порта продолжает опасаться хана, мечтавшего о независимости Крыма. К нему был подослан в Бендеры в 1769 году врач, политический агент валашского князя, грек Сирополь, который под видом лечения отравил "великого хана".[73]

Этот идеализированный образ не во всем соответствовал действительности. По известному исследованию Сестренцевича, Керим-Гирей был вспыльчив, гневен и мстителен. Он вел жестокие войны. Как сообщал 7 октября 1764 года московскому правительству российский резидент при крымском дворе Никифоров, хан производил для себя строительные работы руками своих подданных, которым "ни единой аспры" за то ни платил, захватывал силой рабов и невольниц, от Польской республики угрозами и вымогательством получал многие тысячи.

Драматичной была и личная жизнь этого знаменитого стратега и дипломата. Обычно романическая биография повелителей Тавриды исчерпывалась их гаремом. Но Керим-Гирей испытал великую и печальную любовь. В свое первое ханство между 1758 и 1764 годами он полюбил пленницу своего гарема — девушку-христианку. Устные предания называют различно ее национальность — то как грузинку, то как польку. Ученые склоняются к первому свидетельству, поэты — ко

[71] Mémoires du baron de Tott sur les turcs et les tartares, t. II. A Amsterdam, 1785. P. 113—114, 115—116, 133—134.

[72] *S.Siestrzencewicz de Bohusz.* Histoire du royaume de la Chersonèse Tauruque. Изд. 2, СПб., 1824. С. 409—416.

[73] *Ф.Домбровский.* Дворец крымских ханов в Бахчисарае // Современник. 1849. Т. XV. № 6, отд. V. С. 21—22.

второму. Как записал в 1820 году в своих путевых письмах И. М. Муравьев-Апостол, "новая Заира, силою прелестей своих, она повелевала тому, кому все здесь повиновалось; но не долго: увял райский цвет в самое утро жизни своей, и безотрадный Керим соорудил *любезной* памятник сей, дабы ежедневно входить в оный и утешаться слезами над прахом незабвенной".[74]

Предание и гробница неизменно привлекали внимание путешественников и археологов с конца XVIII века. Знаменитый Паллас описал нарядный мавзолей со сводом в форме купола, увенчанного золотым шаром, воздвигнутый "доблестным ханом" в память своей супруги. Паллас называет ее грузинкой.[75]

Имя ее было начертано в мемориальной надписи этой "ротонды", или "тюрбе": "Молитву за упокой души усопшей Дилары-бикечь". Это было восточное наименование. По-турецки — Дилара — услаждающая душу, бикечь — княжна (от бек — князь). Но это обозначение могло идти от завоевателей-татар и заменять ее настоящее польское имя; титул же, видимо, верно передавал ее подлинное звание. Пушкин называет ее "польской княжной".

Путешествовавший почти одновременно с нашим поэтом по Крыму И. М. Муравьев-Апостол записал показания ученых мулл, но прислушался и к народной молве о любви хана к его погибшей супруге. "Странно очень, — писал он в своем «Путешествии», — что все здешние жители непременно хотят, чтобы эта красавица была не грузинка, а полячка, именно какая-то Потоцкая, будто бы похищенная Керим-Гиреем. Сколько я ни спорил с ними, сколько ни уверял их, что предание сие не имеет никакого исторического основания и что во второй половине XVIII века не так легко было татарам похищать полячек, все доводы мои остались бесполезными: они стоят в одном: красавица была Потоцкая".[76]

Так официальной версии противостояла народная молва; свиде-

---

[74] *И. М. Муравьев-Апостол.* Путешествие по Тавриде в 1820 году. СПб., 1823. С. 118; *Пушкин*, IV, 174.

[75] Second voyage de Pallas ou voyages entrepris dans les gouvernements méridionaux de l'Empire de Russe pendant les années 1793 et 1794 par m. le professeur Pallas, t. III. Paris, 1811. P. 36.

[76] *И. М. Муравьев-Апостол.* Путешествие по Тавриде в 1820 году. стр. 118—119; Пушкин, IV, 175. Отметим, что первое упоминание о "польской княжне" связано с ханствованием Фетх-Гирея I, правившего Крымом в XVII веке. Этому хану досталась в подарок пленная дочь польского шляхтича, в которой исследователи предполагают прославленную в народной молве и поэзии Марию Потоцкую (см.: *В. Д. Смирнов.* Крымское ханство под верховенством Отоманской Порты до начала XVIII века. СПб., 1887. С. 499—501). Никакого отношения к "фонтану слез", воздвигнутому в 1763 году, эта героиня, конечно, не имеет. Но примечательно отнесение преданием события к XVII веку, столь богатому польско-татарскими войнами.

тельство надписей опровергалось фольклором. В историю династии проникала народная легенда, имеющая свои права на существование, свое углубленное внутреннее значение и художественную красоту.

Муравьеву-Апостолу возражал Мицкевич: "Не знаем, на чем он основывает свое мнение, — писал он в примечании к своему сонету «Могила Потоцкой», — ибо утверждение его, что татарам в половине XVIII столетия не легко было бы захватить невольницу из рода Потоцких, неубедительно. Известны последние волнения казаков на Украине, когда немалое число народа было уведено и продано соседним татарам. В Польше много шляхетских семейств, носящих фамилию Потоцких, и невольница могла и не принадлежать к знаменитому роду владетелей Умани, который был менее доступен для татар и казаков".[77]

У гробницы Дилары был воздвигнут по мусульманскому обычаю памятный фонтан. "Владыки Крыма и по смерти хотели у гробов своих иметь журчащую воду", — сообщает исследователь таврических древностей.[78] Источник струился и бил здесь двадцать пять лет. Но с иссяканием питавшего его горного ручья его мраморная облицовка с надписями была перенесена в 1787 году, т.е. перед самым приездом Екатерины, в маленькую аванзалу дворца и вделана в новое основание. Это и был фонтан, прославивший Бахчисарай. Он был построен в 1176 году геджры, т. е. в 1763 году. Надписи в кабинете хана и на фонтане прославляли Керим-Гирея за его дворцовое строительство и гидротехническое искусство:

"Смотри! этот увеселительный дворец, созданный великим умом хана, оправдывает мою хвалебную песнь.

Это здание, подобно солнечному сиянию, озарило Бахчисарай...

Окрест дворца свежие лилии, розы, гиацинты. Сад, разумно расположенный, словно изъясняется живой речью. Новая мысль эта расцвела в цветнике души Крым-Гирея...

Его заботами открыт этот прозрачный источник вод. Видели мы Дамаск и Багдад, но нигде не встретили подобного фонтана".[79]

[77] *Адам Мицкевич.* Собрание сочинений. Т. I, Гослитиздат, М., 1948. С. 490.

[78] *Н. Мурзакевич.* Поездка в Крым в 1836 году // Журнал Министерства народного просвещения. 1837. Ч. XIII. № 3. С. 635.

[79] Бахчисарайские арабские и турецкие надписи // Записки Одесского общества истории и древностей. Т. II, 1848. С. 496, 493—494. (Перевод, опубликованный в 1848 году, в настоящее время во многом устарел. Мы пользовались позднейшими версиями, например, приведенными в исследовании В. Гернгросса «Ханский дворец в Бахчисарае» (СПб., 1912. С. 3) и в книге Ф. Домбровского «Дворец крымских ханов в Бахчисарае». (Симферополь, 1863. С. 40, 23, 24), допуская в некоторых случаях незначительные стилистические варианты). Статья анонимная, но в начале ее указано, что переводы надписей были выполнены переводчиком восточных языков А. А. Борзенко и одобрены в 1842 году "старейшиной русских ориенталистов" академиком Х. Д. Френом. Большое количество надписей дополнительно было переведено востоковедами Ф. М. Домбровским и А. Ф. Негри и приготовлено к печати профессором восточных языков при Ришельевском

С первого взгляда этот памятник любви мог смутить юных зрительниц из рядов нового романтического поколения.

Это не был сноп струй, устремленный ввысь и рассыпающийся брызгами над широким бассейном. Приземистое и грузное сооружение, напоминающее камин, было вделано в стену полутемного крытого дворика, как небольшая молельня или усыпальница. Оно было сложено из простого камня и окрашено в темную краску. Но спереди этот странный монумент включал в свой мраморный фасад целую систему миниатюрных консолей, по которым из-под каменной розы тонкими струйками стекала вода на низлежащие выступы, образуя бесконечную водяную вязь и вызывая образ вечного плача. Символ неиссякающей любви возвещал своим кристальным узором о безвыходности человеческой тоски по утраченному любимому существу. Таков был этот мавзолей, носивший попеременно несколько наименований: Сельсебийль, или райский источник, фонтан слез и водомет Марии Потоцкой.

Пушкин называл его фонтаном уединенным, фонтаном печальным, даже "мрачным памятником", но в то же время и фонтаном любви и ключом отрадным, журчащим поэту свою таинственную быль.

О чем же поведал певцу «Руслана...» этот живой мемориал Гиреевой скорби?

2

"Предание, известное в Крыму и поныне, служит основанием поэме, — писал в 1823 году Вяземский, несомненно услышавший крымскую легенду, как и сам Пушкин, от Софьи Киселевой. — Рассказывают, что хан Керим Гирей похитил красавицу Потоцкую и содержал ее в Бахчисарайском гареме; полагают даже, что он был обвенчан с нею".[80]

Из известного рассказа Пушкина явствует, что Потоцкая сообщила ему и окончание легенды — о гибели героини и об отчаянии ее супруга, который "в память горестной Марии Воздвигнул мраморный фонтан В углу дворца уединенный" (IV, 169).[81]

Этот уникальный памятник с его необычайным устройством и аллегорическим смыслом был описан Софьей Потоцкой друзьям-поэтам — Пушкину, Вяземскому, Мицкевичу.[81] Она называла его "источни-

---

лицее В. Н. Кузьминым. Это ценный труд, положивший начало филологическому изучению поэмы Пушкина. Надписи о Кериме сочинены "на изысканном литературном турецком языке (фарси) в стихах, где турецкие слова и фразы пересыпаны множеством арабских и персидских слов" (*Ф.Домбровский.* Дворец крымских ханов в Бахчисарае. 1863. С. 39).

[80] *П.А.Вяземский.* Разговор между издателем и классиком // *А.Пушкин.* Бахчисарайский фонтан. М., 1824. С. XIII.

[81] Мицкевич познакомился с С. С. Киселевой в Одессе в 1825 году у ее сестры О.С. Нарышкиной.

ком слез". Начало поэмы Пушкина (влюбленность хана в польскую пленницу) и финал драмы (смерть Марии, в память которой был сооружен мавзолей из горных вод) соответствуют рассказу девушки. "Как бы то ни было, сие предание есть достояние поэзии..., — продолжает Вяземский, — и наш поэт очень хорошо сделал, присвоив поэзии бахчисарайское предание и обогатив его правдоподобными вымыслами".[82]

Таков был первоисточник поэмы, зарождение «Бахчисарайского фонтана», момент переключения народного сказания в новое искусство лиро-эпического повествования.[91] Но это произошло не сразу и потребовало для своего завершения нескольких лет. В первый же момент Пушкин был глубоко взволнован этим преданием о любви и смерти:

Мне стало грустно, пылкий ум
Был омрачен невольной думой,
Но скоро пылких оргий шум
[Развеселил мой сон] угрюмый...

*

О возраст ранний и живой,
Как быстро легкой чередой
Тогда сменялись впечатленья:
Восторги — [тихою] тоской,
Печаль — порывом упоенья!
(IV, 401—402).

Но не ликование пиршеств и не вихрь сменяющихся впечатлений помешали Пушкину взяться в 1818 году за разработку поэмы. Ему мешало другое: отсутствие цельного душевного опыта для творческой разработки такой темы и незнакомство с верным жанровым ключом для ее поэтического оформления. Возникшее чувство к Софье Потоцкой еще не развернулось и не завершило цикла своего драматического развития. Работа над «Русланом и Людмилой» еще ограничивала понимание жанра поэмы традиционными законами ариостовой эпопеи или вольтеровой сатиры, совмещавших "достоинство" и "шутливость", великолепное и забавное.

Но пройдет всего год или два, и эта стадия его внутреннего роста сменится другой. Любовь его станет "отверженной и вечной", вынужденная разлука оборвет личные отношения или же сделает их случайными и редкими, обручение и замужество героини закроет все перспективы и убьет последние надежды.

Одновременно в творческой эволюции поэта произойдет глубокий кризис. Летом 1820 года он прочтет на Кавказе с Николаем Раевским «Чайльд-Гарольда», а в Крыму в обществе его сестер — ряд других

[82] *П.А.Вяземский.* Разговор между издателем и классиком // *А.Пушкин.* Бахчисарайский фонтан. С. XIV.

поэм Байрона — «Корсара», «Гяура», «Абидосскую невесту», «Осаду Коринфа», «Лару», «Шильонского узника», «Паризину», «Мазепу». Это и вызовет целый переворот в его мировоззрении, поэтике и творчестве. Байрон окажется таким же событием этого памятного лета, как Эльбрус и Черное море.

Новейшая короткая трагическая поэма о страсти и смерти, о гибели героини и отчаянии героя, о могучей, всепобеждающей силе любви откроет неведомые горизонты. Пушкин говорил впоследствии Мицкевичу, что, прочитав «Корсара», он стал поэтом. Байроническая повесть обращала от нескончаемой цепи приключений к сосредоточенной внутренней драме. Трагический фрагмент о душевном взрыве был целым откровением для выученика классицистов с их планомерной и расчисленной поэтикой. Вековые навыки и каноны смещались и рушились. Баронизм был величайшим землетрясением в поэтическом сознании человечества. Байрон с его «преувеличенной экспрессивностью в описаниях» стремится, по словам В. М. Жирмунского, и в изображении душевных состояний "к лирической эмфазе и гиперболе". "Если изображается любовь, поэт настаивает на том, что это любовь всепоглощающая, бесконечно страстная, единственная; если ненависть, то — непримиримая и губительная".[83]

Это особенно сказалось на тех поэмах, которыми Пушкин увлекся летом 1820 года. «Корсар» — история исключительной любви Конрада к Медоре и бурной страсти Гюльнары к самому пирату. «Гяур» — повесть о безудержном увлечении Лейлы чужеземцем и о мести ее оскорбленного мужа, погибшего в борьбе с соперником. «Абидосская невеста» — рассказ о несчастной влюбленности турецкой девушки Зюлейки в юношу Селима, которого она ошибочно считает своим братом. Но страсть к нему бурно перерастает нежность сестры и ведет к гибели обоих. Трагизм «Лары» — в таинственной вине героя перед женщиной, которую он любил высочайшей любовью, доступной лишь избранникам, но за которую его возлюбленной пришлось уплатить жизнью. Наконец, «Паризина» воссоздает фрагмент из итальянской хроники XV века о связи молодой супруги старого феррарского герцога с его побочным сыном, за что по приказу оскорбленного мужа оба любовника были обезглавлены. В поэме звучит апология могучего чувства, осужденного лицемерной моралью за его "преступность":

И что для них весь мир вокруг
Со сменой снов, минут и мук?
Их вздох таит такую страсть,
Что, если б длилась без конца, —
Безумного восторга власть
Сожгла б счастливые сердца.

[83] *В.Жирмунский.* Байрон и Пушкин. Из истории романтической поэмы. Изд. «Academia», Л., 1924. С. 138.

Что им опасность, что вина
В смятеньи сладостного сна?[84]

Так раскрывался новый тип поэмы — сжатая повесть о всепоглощающей страсти в ее неисследимых психологических глубинах и предельной словесной напряженности.

Жанр замечательно отвечал внутренней настроенности и творческим поискам Пушкина. Не удивительно, что он с таким восхищением писал о "пламенном изображении страстей" в «Гяуре», о "трогательном развитии сердца" в «Осаде Коринфа» и «Шильонском узнике», о "трагической силе" «Паризины», которую он ставил выше расиновой «Федры» по непосредственному выражению могучей силы чувств (XI, 64). В пору своей душевной драмы — "Любви таинственной, унылой" (IV, 398), Пушкин высоко оценил ведущую тему байронической поэмы — безграничную и безысходную любовь, полную бунтарства и неуклонно устремляющую судьбы героев к финальной катастрофе.

На этой основе, столь соответствующей новым духовным запросам поэта в начале 20-х годов, он и строил свои южные поэмы: в центре их — гибель влюбленной черкешенки, убийство страстной Земфиры, трагедия двух любовниц атамана (по плану «Братьев разбойников»). Но с наибольшей силой эта тема была им воплощена в «Бахчисарайском фонтане».

3

Пушкин впервые увидел источник Марии Потоцкой 7 сентября 1820 года.

В помещение главного дворцового корпуса вел внутренний дворик, или "фонтанная". Здесь были помещены два водомета с небольшими бассейнами: один — "золотой", названный так по яркой металлической окраске своих плит, другой — "фонтан слез", о котором Пушкин слышал еще в Петербурге как о символическом и легендарном памятнике одной безнадежной любви.[10]

Фонтан был испорчен, но в таком виде он наиболее оправдывал свое наименование: вода по капле сочилась и медленно скатывалась с его мраморных уступов, осененная арабскими и турецкими литерами архаических изречений:

Есть надпись: едкими годами
Еще не сгладилась она.
За чуждыми ее чертами
Журчит во мраморе вода
И каплет хладными слезами,
Не умолкая никогда.
(IV, 169).

[84] *Д. Байрон.* Поэмы. Перевод Г. Шенгели. Т. II. Гослитиздат, М., 1940. С. 8.

Пушкин любил воспринимать источники задуманных поэм отчетливо и с исчерпывающей полнотой. Он хотел знать смысл непонятных эпитафий, иссеченных на фронтоне мавзолея. Не в них ли разгадка легенды о Марии Потоцкой, оплаканной безутешным ханом? В своем обходе дворца и кладбища поэт несомненно пользовался услугами проводников. Об этом свидетельствует его позднейшая строфа:

Фонтан любви, фонтан печальный!
И я твой мрамор вопрошал:
Хвалу стране прочел я дальной;
Но о Марии ты молчал...
(II, 1, 343).

Вопрошать мрамор Пушкин мог только через своего путеводителя-татарина; прочесть хвалу дальной стране, т.е. Дамаску и Багдаду, поэт мог лишь в устном переводе своего ученого спутника; только от него автор «Бахчисарайского фонтана» мог узнать, чтот этот ханский памятник польской княжне не называет ее имени. Это была тоже утаенная любовь.

Разгадку предстояло искать дальше. Среди чертогов дворца выделялся своей роскошью "Золотой кабинет", или "Зала Совета", где происходили совещания дивана, приемы послов, аудиенции ханов. Здесь по темному фону карниза змеилась золотящимися турецкими литерами хвала Керим-Гирею, чья "звезда взошла на горизонте славы и осветила целый мир".[85] Потолок зала был покрыт вызолоченной решеткой на лаковом грунте густого красного цвета. Вокруг стен были протянуты диваны из шелковых подушек. Именно здесь, по рассказу Пушкина, "Гирей сидел, потупя взор", окруженный своим "раболепным двором" (IV, 155).

За анфиладой палат следовал ряд небольших помещений, получивших впоследствии название "комнат Марии Потоцкой". Они были тенисты и прохладны. Над камином был нарисован крест — вероятно, позднейшее украшение.[86] "В горницах было не очень светло, — описывает один из свиты Екатерины II в 1787 году, — так как стекла окон были цветные; но и когда их отворяли, солнце с трудом пробивалось сквозь многочисленные ветви розовых, лавровых, жасминовых, гранатных и апельсиновых деревьев, которые, заменяя жалюзи, обволакивали окна своей листвой".[87]

---

[85] Записки Одесского общества истории и древностей. Т. II, 1848. С. 496.

[86] См.: *Ф.Домбровский.* Обозрение южного берега Крыма (Пособие для путешествующих) // Новороссийский календарь на 1851 год, издаваемый от Ришельевского лицея. С. 376.

[87] Comte de Ségur. Mémoires, t. III. Paris, 1827. P. 150.

Еще поныне дышит нега
В пустых покоях и садах;
Играют воды, рдеют розы,
И вьются виноградны лозы,
И злато блещет на стенах.[88]
(IV, 169)

Особенно могла интересовать Пушкина женская темница ханского дворца, где томилась в заточении Мария Потоцкая, — гарем, средоточие бесчисленных и безвестных драм. По мемуарам, путешествиям и исследованиям было известно, что крымские властители "никогда не обременяли себя законными женами, а набирали себе по желанию грузинок и черкешенок..., от которых прижитые сыновья и дочери пользовались титулами султанов и султанш". Многочисленны были здесь и девочки-подростки, не знавшие "ни слова по-татарски".[89] Грузинское происхождение Заремы, как видим, исторически достоверная черта, как и затворничество среди одалисок юной польской девушки: "...восточные жители с жадностью ищут себе в жены <славянских> пленниц..., через этот женский элемент мусульманство количественно и качественно усиливалось".[90]

В сентябре 1820 года по только что прочитанным ранним поэмам Байрона Пушкин почувствовал, какое огромное значение может иметь драматический быт сераля для психологической и сюжетной композиции новейшей повести в стихах. "Показательно, что гарем является местом действия в «Гяуре», «Корсаре» и «Абидосской невесте», причем первые две поэмы изображают трагедию гаремной пленницы (Лейла, Гюльнара)".[91] В этом смысле характерны "сильные страсти Заремы на ярком фоне ханского Крыма",[92] как и гибель обеих героинь в финале пушкинской поэмы.

Жилой корпус, предназначенный для ханских наложниц, состоял при последних Гиреях из семидесяти комнат. Но ко времени посещения дворца Пушкиным он был почти весь в развалинах. "Время сокрушило узилище", — писал И. М. Муравьев-Апостол.[93] От роскошного гинекея остался лишь один маленький домик с семью покоями и воздушный стеклянный киоск с неумолчно журчащим фонтаном. Помещение гарема находилось в дальнем дворе, обнесенном со всех сторон

---

[88] "Вьющиеся по стенам и колоннам виноградные ветви, при прохладе и журчании вод в знойное время, представляют роскошное убежище и негу" (*Н. Мурзакевич.* Поездка в Крым в 1836 году // Журнал Министерства народного провсещения. 1837. Ч. XIII. № 3. С. 633).

[89] *В.Х. Кондраки.* Универсальное описание Крыма. Ч. X. СПб., 1875. С. 39, 58.

[90] *М.Н. Бережкова.* Русские пленники и невольники в Крыму // Труды VI археологического съезда в Одессе (1884 г.). Т. II. Одесса, 1888. С. 362.

[91] *В.А. Мануйлов.* «Бахчисарайский фонтан» Пушкина. Л., 1937. С. 45.

[92] Там же.

[93] *И.М. Муравьев-Апостол.* Путешествие по Тавриде в 1820 году. С. 114.

высочайшей стеною. "Судя по этому зданию, должно думать, несчастные затворницы пользовались не слишком просторным помещением и не большим раздольем для прогулок".[94] Из этих скудных остатков мрачного "памятника невольничества" предстояло воображению поэта реконструировать "заветную обитель" жен, "где бич народов... В роскошной лени утопал" (IV, 169).

Одним из драгоценнейших памятников татарского Крыма считалось ханское кладбище. Гробницы Гиреев были украшены поэтическими эпитафиями и скульптурными орнаментами. Плиты мужских гробниц венчались изваянной чалмою, женских — клобуком. И здесь, как во всем дворце, древневосточный стиль сочетается с пластическими началами итальянского ренессанса, а кое-где и элементами рококо. Иссеченные надписи представляли высокие образцы народной поэзии в прославлении воителей и владык, в афоризмах житейской мудрости, в элегических образах восточной фантазии.[95]

Имелась надпись и на памятнике таврического повелителя, чье имя связывалось преданием с судьбой Марии Потоцкой: "Аллах всегда жив, вечен. Война была ремеслом знаменитого Крым-Гирей-Хана; глаза голубого неба не видали ему р вного... Я, Эдиб (имя поэта), с молитвою написал перл его хронограммы: да царствуешь ты, Крым-Гирей, в вечности. 1183 г." (1769).[96]

Во многих эпитафиях, как и в этой, называлось имя поэта-автора. На мраморных плитах развертывалась целая антология татарской поэзии с отголосками других национальных мотивов Востока. Не приходится сомневаться, что ученые муллы, сопровождавшие в обиходе хансарая знаменитого русского генерала с его молодыми любознательными спутниками, переводили и толковали им эти восхваления и раздумья — "Прозрачной лести ожерелья И четки мудрости златой", — как скажет Пушкин в стихотворении 1828 года (III, 1, 129).

В поэме имеется свидетельство об интересе поэта к поэтическим эпитафиям:

Я видел ханское кладбище,
Владык последнее жилище.
Сии надгробные столбы,
Венчанны мраморной чалмою,
Казалось мне, завет судьбы
Гласили внятною молвою.
(IV, 170)

---

[94] *Н. Мурзакевич.* Поездка в Крым в 1836 году // Журнал Министерства народного просвещения. 1837. Т. XIII. № 3. С. 634.

[95] См.: *В. Гернгросс.* Ханский дворец в Бахчисарае. С. 22—23; Бахчисарайские, арабские и турецкие надписи // Записки Одесского общества истории и древностей. Т. II, 1848. С. 499 и сл.

[96] *В. Гернгросс.* Ханский дворец в Бахчисарае. С. 23

Пушкину раскрылся в этой внятной каменной молве особый мир высших художественных ценностей — искусство ритмической речи татарских поэтов в их перекличке с знаменитыми лириками Персии, Индии, Аравии.

Любили Крым сыны Саади,
Порой восточный краснобай
Здесь развивал свои тетради
И удивлял Бахчисарай.

Его рассказы расстилались,
Как эриванские ковры,
И ими ярко украшались
Гиреев ханские пиры.
(III, 1, 129)

Это был поздний отголосок художественных восприятий поэта в день 7 сентября 1820 года, запечатленных в поэме о Марии Потоцкой, в посвящении «Фонтану бахчисарайского дворца» и, наконец, в наброске 1828 года о сладкозвучном восточном песнопевце, удивлявшем Бахчисарай «Стихов гремучим жемчугом...» (III, 1, 129).

"Дворец в садах" запомнился Пушкину и отразился в полихромной живописи его поэзии. Но так же, как фонтан слез, он молчал о Марии. Только в домашней ханской мечети сохранился, как на фронтоне Сельсебийля, крест над двурогой луною. Это был смутный намек на драму заточенной христианки. Он не разъяснял и не иллюстрировал ее печальную судьбу. Но весь сложный, пестрый и нарядный стиль своеобразного палаццо ханов с его залом правосудия и корпусом бесправья, золотым кабинетом и темницей жен раскрывал Пушкину широкие просветы в сущность загадочного предания, рассказанного ему в Петербурге.

4

Чтоб понять значительность этой устной легенды, необходима была не только чуткость к поэзии и влечение к романтическому стилю, нужна была и жизненная подготовка к углубленному восприятию темы Востока и Запада, Польши и Крыма, креста и полумесяца. Предполагаемая нами слушательница и рассказчица бахчисарайского сказания была по национальности полупольска-полугречанка и лучше других могла понять антитезу двух мировоззрений, породившую трагизм любовного предания о татарском хане и польской пленнице.

В семье Потоцких всегда ощущалась тема Востока. Они считали себя потомками знатных византийцев и называли своими предками аристократов Маврокордато в их младшей ветви де Челиче.[97] Мать семьи,

[97] Фамилии эти, как указывают источники, были придуманы для придания безродной красавице ореола мнимой знатности.

выросшая в Константинополе, неизменно сохраняла внутреннюю связь со своей солнечной и красочной родиной. Новая жизнь в Польше и России не могла вытравить из сердца фанариотки этих ранних впечатлений. Общеевропейский быт польских магнатов, близость к петербургскому двору, Париж и Рим — все это не заслоняло воспоминаний о Босфоре и Золотом Роге. Есть сведения, что Софья Клавона, уже ставшая знатной графиней, не переставала тосковать по живописным городам Эллады, Стамбулу с его кипарисовыми рощами, коринфскими колоннами, минаретами и обелисками. Через тридцать лет Станислав Потоцкий решил рассеять ее ностальгию по Афинам и Константинополю, создав под Уманью сказочный парк с изваяниями мифологических божеств и древнегреческих мыслителей, с гротом Венеры, критским лабиринтом, подземным Стиксом и Тарпейской скалой.[98]

Черты восточной роскоши сохранялись в богатом быту Потоцкой-Щенсной и ощущались в жизни ее полек-дочерей. Из столиц Запада и курортов Европы Софью Киселеву влечет в Палестину, куда она совершает долгое и сложное путешествие в 1846 году, задерживаясь в Стамбуле, огибая остров Архипелага, проникаясь поэзией ориентальной жизни в Каире, Александрии, Смирне и, наконец, Иерусалиме. Только к ней могли относиться следующие строки в «Евгении Онегине»:

Взлелеяны в восточной неге,
На северном, печальном снеге
Вы не оставили следов:
Любили мягких вы ковров
Роскошное прикосновенье.
(VI, 18) [111]

Крым был дорог Потоцким всем своим турецким и эллинским колоритом, восточными древностями, живыми воспоминаниями о греческой мифологии и оттоманском владычестве, преданиями о Митридате и Ифигении в Тавриде.[99] Это соответствовало какой-то скрытой и

[98] См.: *Х.П.Ящуржинский.* Город Умань. Краткий исторический очерк. Умань, 1913. С. 27. По свидетельству современников, Потоцкий приказал "соорудить <в парке под Уманью> каскады и водопады с великолепием, достойным садов Ростока" (*Th. Themery.* Guide de Sophiowka surnommé la merveille de l'Ukraine... Odessa, 1846, стр. 9; см. также: *И.А.Косаревский.* Государственный заповедник Софиевка. Киев, 1951. С. 70.)

[99] Следует отметить, что и среди коренных польских Потоцких замечался интерес к Востоку. Видный ученый Ян Потоцкий (1761—1815) посетил в молодости Тунис, Египет, Константинополь и напечатал известную в свое время книгу «Voyage en Turquie, en Egypte, fait en 1784» (1788). В библиотеке Пушкина имелись его книги (на французском языке): «Путешествие по астраханским степям и по Кавказу» (1829), «Авадоро, испанский роман» (1813), «Десять дней из жизни Альфонса ван Вордена» (1814) (Пушкин и его современники. Вып. IX—X, 1910. С. 313—314). "После смерти его, — рассказывает П. А. Вяземский, —

явственной тональности их смешанной национальной психологии.

По-особому воспринимали они и сложную архитектуру Бахчисарайского дворца, возникшую под сильнейшим влиянием мусульманской культуры Стамбула.[100] Обиталище крымских Гиреев воссоздавало в целом константинопольский сераль. Фрески цареградской комнаты, или кофейной, изображали виды турецкой столицы. Все сверкало яркими красками и ослепительными отливами драгоценных металлов. Упомянутая выше английская путешественница, попавшая в молодой русский Крым в 1786 году, леди Крэвен восхищалась убранством хансарая: "Я никогда не видела большего смешения цветов и такого количества разных оттенков золота и серебра".[101] Для европейцев, посещавших Бахчисарай, он неизменно представлялся такой многогранной ориентальной драгоценностью. Так зазвучала эта тема и в поэме Пушкина:

Как милы темные красы
Ночей роскошного Востока!
Как сладко льются их часы
Для обожателей Пророка!
(IV, 163)

Сады и гаремы, фонтаны и бассейны, прохлада тополей и дыхание роз, шелковые ковры и золотые арабески, мраморные чалмы и янтарные четки, поэтические эпитафии и татарские песни — вот что в своей конкретной археологичности и фольклорности отличает Пушкина от "чересчур восточного Мура", как и от более обобщенного и лаконичного в своих греко-турецких картинах Байрона. «Бахчисарайский фонтан» остается шедевром того поэтического ориентализма, который, по мнению его автора, наиболее отвечал представлениям и вкусам современного европейского читателя.

напечатан был, также на французском языке, фантастический роман его «Les trois pedus»... Пушкин высоко ценил этот роман, в котором яркими и верными красками выдаются своенравные вымыслы арабской поэзии и не менее своенравные нравы и быт испанские" (Сборник Русского исторического общества. Т. I. СПб., 1867. С. 205).

[100] Посетившая Бахчисарай в 1841 году французская путешественница Адель Омер де Гелль отметила, что узкие улицы этого города с его мечетями, лавками, кладбищами поразительно напоминают старые кварталы Константинополя. "Но особенно дворики, сады, киоски, гарем старого дворца переносят путешественника в сказочные уголки Алеппо и Багдада" (см. ее статью «Fragment d'un voyage en Crimée», помещенную в парижском журнале «Revue de l'Orient», 1844, t.V; в статье упоминается Пушкин, "российский соловей", воспевший Бахчисарай, его дворцы и фонтаны. Сравнение Бахчисарая с Константинополем находится на стр. 229).

[101] *Milady Craven.* Vouage en Crimée.... С. 245—246.

5

Только через полгода после осмотра ханского дворца Пушкин начал записывать первые стихи о нем:

Бахчи-Сарай! обитель гордых ханов,
Я посетил пустынный твой дворец...
(IV, 382).

Осенью 1821 года он, видимо, изучает научные источники своей темы. К самому концу этого года (или к началу 1822) редакторы относят его записку к В. Ф. Раевскому, кишиневскому приятелю: "Пришли мне, Раевский, Histoire de Crimée, книга не моя, и у меня ее требуют" (XIII, 36).

Речь шла об исторической монографии С. Сестренцевича-Богуша,[102] которую Пушкин, вероятно, получил из библиотеки И. П. Липранди, специалиста по Турции. Это полное историческое обозрение Тавриды со времен тавров и скифов до присоединения Крыма к России. Здесь подробно излагалось ханствование Керим-Гирея (1758—1764 и 1768—1769). Имелись и общие сведения о правлении и власти ханов, их дипломатической переписке, доходах, военных силах, правосудии, семейном укладе, воспитании султанов и татарском языке.

Пушкин нашел здесь обстоятельную характеристику Керим-Гирея и ряд сведений о военных столкновениях татар с Польшей в конце XV века при Менгли-Гирее, в 1672 году при Селим-Гирее против короля Михаила Вишневецкого и великого коронного гетмана Яна Собеского. В середине XVII века Магомет-Гирей предпринял поход против казаков совместно с польской армией под командованием великого гетмана Потоцкого, но Богдан Хмельницкий принудил их к отступлению.

Примечательны были в «Истории Таврии» и личности отдельных ханов. Так, Гази-Гирей, вступивший на престол в 1704 году, славился такой красотой, резко отличавшей его от татар, что его считали сыном европейской женщины. В этом красавце-хане замечали великую благожелательность к христианским невольницам и столь широкую веротерпимость, что иезуиты с его разрешения прибыли в Крым для отправления католических служб.

Изученные Пушкиным научные и художественные источники — историки, Байрон, Хан-Сарай, восточные надписи — чрезвычайно расширили его первоначальное представление о царстве Гиреев и дали ему возможность щедро обогатить крымскую легенду. Пушкин не только простодушно подчинял "нежным законам стиха" голос любимой

[102] S.Siestrzencewicz de Bohusz. Histoire du royaume de la Chersonèse Taurique. Первое издание: Брауншвейг, 1800; второе — СПб., 1824. Русский перевод: История царства Херсонеса Таврийского, сочиненная Станиславом Сестренцевичем-Богушем, тт. I—II, СПб, 1806. Пушкин пользовался первым изданием.

девушки, т.е. покорно рифмовал услышанный рассказ. Он щедро обогатил лаконичный сюжет, прибавив к нему мотив ревности, тему двух героинь, убийство прекрасной полячки ее соперницей-грузинкой и, наконец, душевную драму хана, страсть которого отказывается разделить его пленница. Пейзажи Крыма, быт гарема, лирические признания в "любви несчастной" дополняют новую, увлекательную фабулу, созданную Пушкиным.

На таком фоне неясный образ полуисторического сказания приобретал живые черты поэтического характера. Польская княжна в ханском гареме — воплощение невиданной культуры человеческой личности среди мрачного угнетения и разнузданных инстинктов. Мария — это сердечная тишина, это жизнь в искусстве, любовь к мелодической музыке, к струнному рокоту арфы, это благоговейная память о готической каплице замка, где высится скульптурная гробница старого князя, жертвы татарского набега. Это католический образ Мадонны среди узорных эмблем воинствующего ислама. Это высокое моральное превосходство одинокой девушки, преображающей своим душевным строем мрачную душу "буйного татарина".

Первоначально Пушкин назвал свою поэму «Гаремом», но его соблазнил меланхолический эпиграф из Саади Ширазского: "Многие, так же как и я, посещали сей фонтан; но иных уже нет, другие странствуют далече". Слова о фонтане исключали заглавие «Гарем»; Пушкин решил сберечь прелестный афоризм персидского поэта на фронтоне своей восточной повести и назвал ее «Бахчисарайским фонтаном».

Бурные события старинной гаремной трагедии нашли свое глубокое отражение в этой непревзойденной лирической песне. Вопреки мнению самого автора, Белинский правильно считал, что крымская поэма — значительный шаг вперед по сравнению с кавказской: "стих лучше, поэзия роскошнее, благоуханнее", основная мысль глубже и величественнее. Огромная тема перерождения жестокого завоевателя высоким чувством любви поднимает поэтическую новеллу на исключительную проблемную высоту. Дикий восточный деспот, пресыщенный наслаждениями, беспощадный в своих нашествиях и опустошениях, неожиданно склоняется перед величием этой "беззащитной красоты":

Гирей несчастную щадит...[103]

Таким глубоким истолкованием идеи «Бахчисарайского фонтана» Белинский раскрыл в этой лирической поэме предвестие позднейшего психологического романа. Высокая этическая идея здесь развертывается на фоне борьбы двух мировоззрений и уводит в глубокую историко-философскую перспективу духовного противоборства Востока и Запада. Мария, по Белинскому, это высокая культура романтизма,

[103] *В.Г.Белинский.* Полное собрание сочинений. Т. VII, М., 1955. С. 378, 379.

покорившая азиатское варварство. При таком прочтении становится понятным желание гениального критика написать целую книгу об этом "великом, мировом создании".[104]

Глубине змысла соответствовало необычайное богатство формы. Читатели увидели в поэме "торжество русского языка" (свидетельствует П. В. Анненков[105]) и были поражены неслыханной звуковой гармонией ее описаний. Как царскосельские парки и памятники в ранних строфах Пушкина, как романтический замок Баженова в оде «Вольность», садовый дворец крымских ханов запечатлелся в «Бахчисарайском фонтане»:

Еще поныне дышит нега
В пустых покоях и садах;
Играют воды, рдеют розы,
И вьются виноградны лозы,
И злато блещет на стенах.
(IV, 169).

Словесная живопись Пушкина открывала новые горизонты русской поэтической речи. Необычайно обогащались сравнения ("Так аравийские цветы Живут за стеклами теплицы"; "Как пальма, смятая грозою, Поникла юной головою"; "Так плачет мать во дни печали О сыне, падшем на войне"; IV, 156, 159, 169). Высшую выразительность приобретали эпитеты ("сладкозвучные фонтаны", "едкие года", "зеленеющая влага", "козни Генуи лукавой"). Стих получал широкую и ласкающую плавность новых лиро-эпических ритмов:

Покинув север наконец,
Пиры надолго забывая,
Я посетил Бахчисарая
В забвеньи дремлющий дворец.
(IV, 169).

Но и здесь, как и в первых южных повестях о военном пленнике и скованных разбойниках, слышался мотив затворничества, темницы, заточения. По безысходной судьбе главной героини история о ней могла бы элегически называться "Бахчисарайская пленница". Неприступные стены ханского сераля, столь похожие на тюремные ограды, запомнились ссыльному поэту и отбросили свою глубокую тень на узорную ткань его крымской поэмы.

[104] Там же. Т. XI, 1956. С. 473.

[105] *П. В. Анненков.* А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки его произведений. СПб., 1873. С. 97.

"Растолкуй мне теперь, почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую?" — спрашивал Пушкин в письме к Дельвигу (XIII, 252).

На этот вопрос нам отвечает творческая история «Бахчисарайского фонтана». Неизъяснимая прелесть Тавриды — это прежде всего трагическая история о фонтане слез, которая была рассказана поэту любимой женщиной около 1818 года.

Изучение источников приводит к выводу, что это не могла быть двенадцатилетняя Мария Раевская, которую Пушкин узнал лишь в 1820 году; он любовался милым подростком, а с 1826 года преклонялся перед героической спутницей декабристов. Но не к ней относятся страстные выражения безумной, бурной и мучительной любви, которые отразились в южной лирике, романтических поэмах и особенно в «Бахчисарайском фонтане»:

Безумец! полно! перестань,
Не оживляй тоски напрасной,
Мятежным снам любви несчастной
Заплачена тобою дань —
Опомнись; долго ль, узник томный,
Тебе оковы лобызать
И в свете лирою нескромной
Свое безумство разглашать?
(IV, 170—171).

Невозможно относить к "некрасивому подростку", к "непригожему ребенку",[106] окруженному гувернантками и боннами, эти вопли безумной страсти и восхищенные возгласы о торжествующей "земной красоте". [12] Не к русской девочке относится и ряд характерных черт западно-славянской, римско-католической, польской культуры, отличающих пушкинскую героиню.

Русской женщине Марии Волконской посвящена, как это доказано исследователями, другая эпопея Пушкина — гимн торжествующей России: «Полтава». В посвящении этой поэмы расстилается "Сибири хладная пустыня" (V, 324), поглотившая мятежников 1825 года, в кульминации прославляется великий ратный подвиг петровской армии и, наконец, в центре драмы — семейный разлад, столь напоминающий конфликт Раевских в 1827 году: "отец или супруг Тебе дороже?" (V, 37).

Но «Бахчисарайский фонтан» — поэма о польской деве, вдохнов-

[106] Г. Ф. Олизар, познакомившись с Марией Раевской в 1821 году, описывает ее как "непривлекательного смуглого подростка", как "непригожего ребенка" (*G.Olizar.* Pamietniki. 1798—1865. Lwów, 1892. С. 155—156), а В. И. Туманский и в 1824 году находит, что Мария "дурна собой" (Письма В. И. Туманского и неизданные его стихотворения. Чернигов, 1891. С. 54).

ленная польской девой и для нее написанная. Это баллада о Потоцкой, посвященная Потоцкой. Образу этой знаменитой красавицы поэт и воздвиг свой "Фонтан любви, фонтан живой" (II, 1, 343), создал свою чудесную поэму о "Любви таинственной, унылой", "Любви отверженной и вечной" (IV, 398, 399), лучшую из лирических поэм всей русской поэзии — «Бахчисарайский фонтан». Это тоже памятник безутешной любви, запись об огромном событии духовной жизни автора, высокая хвала прекрасной и гордой девушке, от которой он впервые услышал о чарующей поэзии Крыма и о красоте безнадежной любви.

У нас нет, как мы видели, оснований полагать, что молодые Раевские рассказали Пушкину несчастный роман Керим-Гирея. Напротив, все противоречит этому. У них не было предпосылок для повышенного интереса к преданиям королевской Польши и ханской Тавриды. Принадлежавшие по древним первоистокам своего рода к польскому гербу "Лебедь", они совершенно обрусели уже в XV веке, горячо любили Россию, проливали за нее свою кровь и открыто демонстрировали свои антипольские убеждения.

Между тем интерес к бахчисарайскому сказанию как лиро-эпической теме вызывался военно-политической историей Польши и восторженным представлением молодого поколения поверженной страны о неумирающем значении ее духовной культуры.

Немногие из петербургских приятелей Пушкина могли указать ему на эту богатую творческую тему. Бахчисарай стал знаменит лишь с 1824 года, когда появилась в печати поэма о Марии и Зареме. До этого мало кто помнил этот заштатный городок Симферопольского уезда Таврической губернии, название которого еще не звучало пленительной музыкой пушкинского заглавия. Оно еще казалось прозаическим и обыкновенным, связанным с русскими корнями своего составного восточного наименования — бахчами и сараями дальней южной окраины. Только сквозь волшебные стихи романтической поэмы оно зазвучало в своем подлинном значении и стало "дворцом среди парков", полных яворов и роз, поверий и песен.

Творческий путь к Бахчисараю лежал через родословную Потоцких. Представительница знаменитого рода воителей с татарами и турками, столь ценившая славные предания своей исторической фамилии, не могла пройти и мимо одного из самых поэтических сказаний, затерявшихся в генеалогии ее предков. Оно зазвучало для нее как хвалебная песнь в честь одной из героических женщин ее рода, одержавшей небывалую моральную победу над азиатским варварством, с которым боролись огнем и мечом ее рыцарственные предки. Она рассказала эту дивную легенду молодому русскому поэту, уже озаренному лучами восходящей славы. Пушкин ответил ей "утаенной любовью" и бессмертной поэмой.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЕВСКИЕ И «БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН»

Выдающаяся роль семьи Раевских в жизни и творчестве Пушкина разносторонне освещена его исследователями. Многие вопросы, связанные с его литературной и личной биографией, получили удачное разрешение от пристального изучения взаимоотношений поэта с представителями младшего поколения этой замечательной русской семьи, особенно в лице Александра, Николая и Марии Раевских. В 1911 году было опубликовано исследование П. Е. Щеголева, широко поставившее этот вопрос и развернувшее детальную аргументацию в обоснование тезиса об исключительной роли молодых Раевских в создании ряда поэм Пушкина, его лирики и «Евгения Онегина».[107] Многие положения автора, опиравшиеся подчас на довольно длительную традицию, были приняты наукой о Пушкине и до сих пор живут в ней. Это особенно относится к роли Марии Раевской в духовной эволюции великого поэта. Роль эта была несомненно значительной и исключительно плодотворной. Тем не менее далеко не все положения П. Е. Щеголева оказались доказанными и убедительными. Иные из них вызывали серьезные сомнения. Так, утверждения о решающем значении М. Н. Раевской в истории «Бахчисарайского фонтана» и отнесение к ней ряда лирических признаний в "безумной" и "мучительной" любви их автора оставляли эти вопросы открытыми. Как правильно указывал В. А. Мануйлов в своей обстоятельной статье о крымской поэме, концепция П. Е. Щеголева не дала окончательного разрешения вопроса о "таврической любви" Пушкина: "Этот вопрос требует привлечения новых материалов и нового пересмотра в специальной литературе".[108] В плане изучения творческой истории «Бахчисарайского фонтана» мы привлекаем некоторые малообследованные документы и формулируем свои критические соображения по сложному вопросу о Пушкине и Раевских.

Кто же рассказал поэту легенду о влюбленном хане? По Щеголеву — Мария Николаевна Раевская. Укажем на факты, опровергающие эту гипотезу.

---

[107] Первоначально напечатано под заглавием «Из разысканий в области биографии и текста Пушкина» в издании: Пушкин и его современники. Вып. XIV, 1911. С. 53—193; перепечатано под заглавием «'Утаенная любовь' А. С. Пушкина» в сборнике П. Е. Щеголева «Пушкин. Очерки» (СПб., 1912. С 35—195) и вновь под первоначальным заглавием в сборнике П. Е. Щеголева «Из жизни и творчества Пушкина» (изд. 3, Гослитиздат, М.—Л., 1931. С. 150—254).

[108] *В.А.Мануйлов.* «Бахчисарайский фонтан» Пушкина // *В.А.Мануйлов, Н.Д.Волков, В.Богданов-Березовский.* Бахчисарайский фонтан. Музыка Б.В.Асафьева. Л., 1934. С. 13.

Мария Раевская уже потому не могла рассказывать таврические предания автору «Бахчисарайского фонтана», что в петербургские годы Пушкина ей исполнилось всего десять—двенадцать лет или по другим, менее надежным источникам — двенадцать—четырнадцать лет.[109] В обоих случаях она не могла сообщать молодому человеку романических историй о гаремных пленницах, о муках ревности, сладострастии и убийстве соперницы.[110]

Это было невозможно и потому, что семья Марии Раевской жила в те годы не в Петербурге, а в Киеве,[111] где отец ее с 1816 по 1825 год командовал одним из корпусов второй армии. Отдельные члены семьи бывали в столице, но младших детей — Марию и Софью — возили довольно редко. Возможно, что они были здесь с матерью в октябре 1818 года, когда Марии Раевской было не более двенадцати лет, что делает весьма сомнительным ее знакомство с Пушкиным и едва ли не исключает версию о сообщении ему этой девочкой сюжета для поэмы

[109] Год рождения Марии Николаевны Раевской указывается в источниках различно. Олизар, познакомившийся с ней в 1821 году, называет ее "подростком" и даже "ребенком", считая, что лишь через два—три года, т.е. в 1823—1824 году, она превратилась в пленительную девушку. В это время, т.е. осенью 1824 года, она стала невестой С. Г. Волконского. Все это позволяет считать наиболее вероятным годом ее рождения 1807 год, как это указано в «Архиве Раевских» (т. I, СПб., 1908. С. 43) и подтверждено сыном Марии Николаевны М. С. Волконским (см.: *М.Н.Волконская*. Записки. С. XI; ср. стр. 120). Во время ее путешествия на Кавказ и в Крым ей, стало быть, шел тринадцаый год, вышла же замуж она семнадцати лет (обычный в то время возраст невест). "Раевской было 17 лет, ему <Волконскому> 36", — сообщает об их свадьбе в январе 1825 года М. О. Гершензон (История молодой России. М., 1908. С. 45), изучавший семью Раевских по неизданным фамильным документам. В момент предполагаемого рассказа ею Пушкину бахчисарайской легенды, т.е. в 1817—1819 годах, возраст ее определился бы десятью—двенадцатью годами. Вариации к этим цифрам возможны лишь в пределах двух лет; имеются аргументы и в пользу 1805 года, но это ничего не меняет по существу вопроса.

[110] Напомним характерный эпизод из быта семьи Раевских. Когда П. В. Анненков в 1874 году сообщил в печати , что Пушкин учился английскомй языку по поэмам Байрона под руководством Екатерины Николаевны Раевской, последняя решительно опровергла это: по ее словам, ей было в то время двадцать три года, а Пушкину двадцать один, и это одно по тогдашним понятиям о приличии служило препятствием к такому сближению; все дело могло состоять разве в том, что Пушкин с помощью ее брата Николая читал Байрона и когда они не понимали какого-нибудь слова, то, не имея лексикона, посылали к ней за справкой. (*Я.Грот*. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Изд. 2, СПб., 1899. С. 52—53).

[111] См.: Русский архив. 1866. № 7. Стлб. 1115. В Киеве у Раевских бывали: Анна Петровна Керн, посетившая в ноябре 1817 года эту "бесподобную семью" (*А.П.Керн*. Воспоминания. Изд. «Academia», Л., 1929. С. 55); Михаил Федорович Орлов, назначенный в 1817 году начальником штаба при корпусе Н. Н. Раевского и по-

«Гарем». В 1820 году младшие дочери в Петербург с матерью не ездили, как это видно из писем генерала Раевского к старшим дочерям: "Машенька и Сонюшка" находятся с ним в Киеве или Болтышке.[112] Есть все основания полагать, что Пушкин познакомился с младшими дочерьми генерала Раевского только в Екатеринославе в конце мая 1820 года.[113]

Предполагаемое сообщение Марией Николаевной сказания о "фонтане слез" Пушкину исключается и фактом ее незнакомства в то время с Бахчисараем. Первым путешествием семьи Раевских на Кавказ и в Крым была их летняя поездка 1820 года.[113] До этого никто из них не мог вдохновлять Пушкина на поэму «Гарем» (первоначальное заглавие его крымской повести). Семейство Раевских впервые посетило резиденцию крымских ханов 7—8 сентября 1820 года вместе с Пушкиным (генерал и его сын Николай) и даже позже — 19 и 20 сентября 1820

молвленный в феврале 1821 года с его старшей дочерью Екатериной Николаевной (*М.Гершензон.* История молодой России. С. 4, 21); предводитель дворянства Киевской губернии граф Г. Олизар, впоследствии неудачно посватавшийся к Марии Николаевне (*G.Olizar.* Pamietniki. С. 156—162); С.Г.Волконский, посещавший семью Раевских в Киеве с 1819 года и обручившийся с М. Н. Раевской осенью 1824 года. Свадьба их состоялась в Киеве в январе 1825 года. (*С.Г.Волконский.* Записки. С. 402 и сл.). В январе—феврале 1821 года у генерала Раевского в Киеве гостил Пушкин (*М.А.Цявловский.* Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 1. С. 275; см. также стр. 220). Тогда же Д. В. Давыдов сообщал в одном из своих киевских писем: "Николай Николаевич Раевский переменил дом и живет в прекраснейшем, подлинно барском доме. У него готовятся вечера по-прежнему, здесь множество съехалось артистов" и пр. (там же. С. 758).

[112] Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В.И.Ленина. Ф. 244. М. 3612. № 4). В самый момент высылки Пушкина в Екатеринослав, в мае 1820 года, Софья Алексеевна Раевская с двумя старшими дочерьми — Екатериной и Еленой — находилась в Петербурге. Отсюда Екатерина Николаевна, посылая брату Александру письмо в Киев 7 мая, сообщала: "...мама забыла послать его с Пушкиным" (Былое. 1905. № 10. С. 302) (вероятно, конспиративное указание на высылку поэта).

[113] На всем протяжении детства и отрочества своих детей генерал Раевский был поглощен военными событиями, потрясавшими Россию и Европу. Сторонник боевой службы, он был участником войн с Наполеоном в 1805—1807 годах, с Швецией в 1808—1809, с Турцией в 1810—1811, с Францией в 1812—1815. В течение целого десятилетия непрерывных походов и битв он не мог развозить своих малолеток или подростков по дальним курортам или по живописным уголкам России. Без него семья не могла предпринимать таких трудных и длительных путешествий, где только знаменитому генералу предоставлялись казачья охрана, военный бриг, замок Ришелье, покои крымских ханов и пр. Все это исключает из числа рассказчиков бахчисарайской легенды семью Раевских. Отметим, что Екатерина Николаевна Орлова, датировавшая в старости письма своего отца к ней, кратко указывает: "Voyage de mon pere Caucase Crimée". Такое путешествие было, очевидно, единственным в жизни ее отца, а потому и не требовало дальнейшего календарного уточнения.

года (мать с четырьмя дочерьми, в том числе и Марией);[114] устную легенду о бахчисарайской пленнице можно было узнать только на месте, поскольку она нигде не была опубликована, а описать редкий и уникальный фонтан нельзя было заочно.

В литературе о Пушкине мелькало сообщение о том, что старик Раевский якобы владел в то время в Крыму имением. Это сведение ошибочно. Никаких поместий или дач на Таврическом полуострове генерал Раевский никогда не имел. Он был помещиком Киевской губернии, где владел имением Болтышская экономия (в просторечии — селом Болтышка),[115] где и скончался в 1829 году. Во время путешествия по Крыму в 1820 году никаких владений Раевские не посещали, поскольку их и не было. Только в 1838 году Н. Н. Раевский-младший приобрел здесь имение Карасан.[116] В своих воспоминаниях М. Н. Волконская, рассказывая о важнейших моментах своей дружбы с Пушкиным, ничего не говорит о сообщении ею поэту фабулы его знаменитой южной поэмы. К чему было скрывать этот факт, столь примечательный, столь невинный и столь лестный для нее? О южном путешествии 1820 года Волконская лично рассказывала биографу Пушкина П. И. Бартеневу, но о своем участии в истории создания «Бахчисарайского фонтана» ничего ему не сообщила.

Литера К**, которой Пушкин обозначил рассказчицу предания, не имеет ничего общего с инициалами М. Н. Раевской.[117]

Нам необходимо отвести еще один довод, на котором особенно настаивал П. Е. Щеголев, как на единственном документальном основании всей гипотезы о творческой связи Раевских с автором «Бахчисарайского фонтана».

В одном из черновиков посвящения к поэме имелись инициалы "Н. Н. Р." и вариант: "Давно печальное преданье Ты мне поведал в первый

---

[114] См.: *Г. В. Гераков.* Продолжение путевых записок. СПб., 1830. С. 24, 29.

[115] Имение выделено Н. Н. Раевскому его матерью Е. Н. Давыдовой в 1805 году (см.: *А. Т. Борисевич.* Генерал от кавалерии Н. Н. Раевский. Историко-биографический очерк, ч. I. СПб., 1912. С. 150—153). При служебном формуляре Н. Н. Раевского-старшего в родословной Раевских он назван помещиком Чернского, Каширского, Черкасского, Чигиринского, Устюжского и Землянского уездов; Крым в его владения не входил. Сын же его, Н. Н. Раевский-младший, владел (помимо других поместий) имениями и в Симферопольском и Ялтинском уездах Таврической губернии, приобретенными в конце 30-х годов (см.: *Б. Л. Модзалевский.* Род Раевских герба Лебедь. СПб., 1908. С. 55, 72).

[116] См.: *Б. В. Томашевский.* Пушкин, кн. I. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1956. С. 484.

[117] Попытка П. Е. Щеголева объяснить эту неожиданную букву "К**" вместо "Р" желанием Пушкина отвести любопытствующих с верного пути малоубедительна. "Трудно допустить, — правильно указывал в свое время А. М. Лобода, — чтобы Пушкин в частном письме к другу умышленно выбрал инициал, не соответствующий имени своей героини: проще было бы вовсе не упоминать о нем" (*Пушкин.* Под редакцией С. А. Венгерова. Т. II, СПб., 1908. С. 107).

раз" (IV, 401). Естественно отнести это к Н. Н. Раевскому.

Но все это было густо зачеркнуто Пушкиным как нечто неверное, случайно попавшее под перо; поэма 1823 года не была посвящена Раевскому; вариант, условно приписывающий другу первое возбуждение замысла, был выдержан в тоне того преувеличенного литературного восхваления, которое Пушкин так щедро расточал своим друзьям ("гений" Дельвига, "волшебный рассказ" Кюхельбекера и пр.). Так и Николай Раевский был лестно признан вдохновителем «Бахчисарайского фонтана».

Но это воображаемое и нереальное было немедленно же отменено чувством творческой правды, столь свойственным Пушкину. Николай Раевский последовательно удалялся автором из задуманного эпилога: стих "Мой друг, я кончил свой рассказ" заменяется стихом "Он кончен, верный мой рассказ", "Исполнил я твое желанье" — строкой "Исполнил я друзей желанье", "Ты мне поведал" — вариантом "Давно я слышал" и пр. (IV, 394).[118]

Восстанавливалась подлинная картина возникновения «Бахчисарайского фонтана», к которой Николай Раевский никакого отношения не имел. Утверждалась новая формулировка: "Давно, когда мне в первый раз Поведали сие преданье" и пр. (IV, 400).[119]

Как рассказчика легенды Николая Раевского отводит и прямое указание Пушкина на то, что он услышал историю Марии Потоцкой от одной "молодой женщины" (XIII, 88). Отметим, кстати, что этим термином Пушкин не мог назвать двенадцатилетнюю девочку.

Нам остается решить последний вопрос многосложной проблемы о Раевских и Пушкине.

В письме в А. А. Бестужеву от 8 февраля 1824 года из Одессы поэт писал (XIII, 88):

"Радуюсь, что мой Фонтан шумит. Недостаток плана не моя вина. Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины:

[118] Черновой вариант: "К*** поэтически описал мне его и называл (VIII, 2, 1000) — подвергся такой же быстрой и категорической отмене, подтверждая, что "здесь — несомненная литературная выдумка Пушкина", как говорит по другому поводу Б. В. Томашевский (Пушкин, кн. I. С. 500). Б. Л. Недзельский справедливо полагает, что этот неожиданный мужской род глагольной формы в письме к Дельвигу вызван желанием поэта устранить неприятные для него толки о женщине, сообщившей ему бахчисарайскую легенду (*Б. Л. Недзельский.* Пушкин в Крыму. Симферополь, 1929. С. 77).

[119] В формулярном списке Н. Н. Раевского-младшего до 1820 года нет никаких указаний на его служебные командировки, отпуска или военные действия на Таврическом полуострове (на военной службе он находился с 10 июня 1811 года) (*Б. Л. Модзалевский.* Род Раевских герба Лебедь. С. 69—72). Никаких писем членов семьи об их пребывании в Крыму за интересующий нас период в архиве Раевских не сохранилось (ср. подробные корреспонденции генерала Раевского к его старшей дочери о путешествии по Кавказу — Архив Раевских. Т. I. С. 516—525).

Aux douces loix des vers je pliais les accents
De sa bouche aimable et naïve".[120]

Бестужев показал это письмо Булгарину, который и перепечатал слова Пушкина о его новой поэме в своих «Литературных листках» при извещении о предстоящем выходе «Бахчисарайского фонтана» ("Автор сей поэмы писал одному из своих приятелей в Петербурге" и пр.[121]). Пушкин был возмущен таким разглашением его интимной корреспонденции. Он даже собирался напечатать в «Вестнике Европы», что "Булгарин не был вправе пользоваться перепискою двух частных лиц, еще живых, без согласия их собственного" (XIII, 101).

Вскоре Бестужев допустил вторую ошибку. Он напечатал полностью в «Полярной звезде» на 1824 год стихотворение Пушкина «Редеет облаков летучая гряда...» вопреки запрету автору публиковать последние стихи этой элегии о "деве юной", называющей своим именем "Таврическую звезду".

Это вызвало новый протест Пушкина. В письме от 29 июня 1824 года он обвиняет друга в двукратном оглашении его частных писем. Для усиления обвинения и необходимой в таком деле краткости Пушкин объединяет в одном лице двух героинь своей личной жизни — вдохновительницу «Бахчисарайского фонтана» и героиню "Таврической звезды". Рассказывать порознь о каждой, т.е. о двух случаях "влюбленности без памяти", было бы неудобно и явно ослабило бы обвинение. Совершенно по-иному звучало осуждение нескромному товарищу, дважды скомпрометировавшему его в глазах той единственной и несравненной, одной мыслью которой поэт дорожит "более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики" (XIII, 101).

Этот полемический прием дал основание комментаторам считать одним лицом "деву юную", называвшую своим именем вечернюю звезду над Гурзуфом, и "молодую женщину", рассказавшую поэту в Петербурге легенду о необычайной драме страсти и ревности в ханском гареме. Приведенные выше материалы о Раевских исключают реальность такого слияния.[114] Это были два объекта увлечений поэта, две разные главы его интимной биографии, искусственно слитые в его полемике с Бестужевым. В жизни, как и в творчестве Пушкина, они были разъединены.

Таким образом, и после исследования П. Е. Щеголева осталось недоказанным, что Мария Николаевна Раевская до своей встречи с Пушкиным была в Бахчисарае и действительно могла сообщить ему сказание о "странном памятнике влюбленного хана" (IV, 176).

В цикл произведений, связанных с Марией Раевской, П. Е. Щеголев вносит «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», ряд

[120] "К нежным законам стиха я приноровил звуки Ее милых и бесхитростных уст" *(франц.)*

[121] Литературные листки. 1824. Ч. I. № 4. С. 147.

мест в «Цыганах» и «Онегине», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Тавриду», замысел которой, по его словам, "вызван любовными воспоминаниями о М. Н. Раевской",[122] элегию «Редеет облаков летучая гряда...» и «Полтаву» с ее знаменитым посвящением. Другие исследователи относят к этому же циклу «Ненастный день потух...», «Не пой, красавица, при мне...», «На холмах Грузии...», «Бурю» ("Ты видел деву на скале..."). Сама Волконская считала, что о ней говорится в начала XXXIII строфы первой главы «Евгения Онегина» ("Я помню море пред грозою...") и в двух строках «Бахчисарайского фонтана»: "... ее очи Яснее дня, Темнее ночи" (так стихи неточно процитированы в ее записках).[123]

Часть этих атрибуций следует принять. Но многие из них не обоснованы и требуют детального разбора и тщательной критики.

Начнем с показаний самой Волконской. В воспоминаниях она рассказывает о своей шаловливой игре с прибоем Таганрогского залива — преследование убегающей волны и побег от наступающего прилива. "Пушкин нашел эту картину такой красивой, что воспел ее в прелестных стихах... «Как я завидовал волнам»".[124]

Это указание Волконской широко принято комментаторами. Между тем оно явно ошибочно. В названной строфе нет никакого описания игры девочки с морским прибоем. Грациозная картинка, запечатленная Марией Николаевной в ее мемуарах и изображающая подростка в ясный день у Азовского моря, не имеет ничего общего с байронической черноморской "мариной", зарисованной в XXXIII строфе «Евгения Онегина»: "море пред грозою", волны, бегущие "бурной чередою", по первоначальному варианту — "С любовью пасть к ее ногам", к ногам женщины, которая "стояла под скалами" (вариант: "над волнами"; II, 2, 762), что исключает тему бега девочки наперегонки с волнами. Так же противоречит идиллическая зарисовка Волконской и последующей распаленной картине столичных оргий и наслаждений: предельно страстное эротическое признание в мучительной жажде лобзать "милые ноги" (Марии Раевской?), как "уста младых Армид, Иль розы пламенных ланит, Иль перси, полные томленьем". К тринадцатилетней ли девочке можно отнести и завершающий возглас, полный чувственной муки:

Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей!
(VI, 19)

Это относится, конечно, к женщине, страстно любимой поэтом, описанной им и в незаконченной элегии 1822 года «Таврида», откуда

[122] *П. Е. Щеголев.* Из жизни и творчества Пушкина, изд. 3. С. 232.

[123] *М. Н. Волконская.* Записки. С. 22, 24.

[124] Там же. С. 22.

ряд стихов был перенесен в названную онегинскую строфу и где имелся стих: "Пью томно воздух сладострастья" (II, 1, 256).[125] [13]

Могла ли это быть Софья Станиславовна Потоцкая? Напомним: имение ее матери Массандра находилось в ближайшем соседстве с Гурзуфом, на расстоянии простой пешеходной прогулки[16]. Август—сентябрь был временем обычного пребывания здесь владельцев крымских вилл. Нет ничего невозможного в том, что Пушкин, живя в Гурзуфе, посетил в Массандре Софью Потоцкую, с которой виделся за несколько месяцев перед тем в Петербурге, где посвятил ей любовную элегию.

Новая встреча в Крыму могла бы объяснить загадочные по своей страстности стихи «Тавриды», которые невозможно отнести ни к одной из сестер Раевских:

Холмы Тавриды, край прелестный,
Я снова посещаю вас,
Пью жадно воздух сладострастья,
Как будто слышу близкий глас
Давно затерянного счастья...

За нею по наклону гор
Я шел дорогой неизвестной,
И примечал мой робкий взор
Следы ноги ее прелестной.
Зачем не смел се следов
Коснуться жаркими устами...
Нет, никогда средь бурных дней
Мятежной юности моей
Я не желал с таким волненьем
Лобзать уста младых Цирцей
И перси, полные томленьем.[126]

Последние стихи вошли с незначительными изменениями в XXXIII строфу первой главы «Евгения Онегина». Если наша догадка верна, то и первые стихи этой онегинской строфы ("Я помню море...") относились бы к Софье Потоцкой, которую Пушкин мог тогда же наблюдать

[125] В известном комментарии Н. Л. Бродского к «Евгению Онегину» (М., 1950. С 93) XXXIII строфа первой главы романа даже иллюстрируется портретом М. Н. Волконской. Но в примечании автор бегло ссылается на критические замечания Б. Л. Недзельского в указанной его книге «Пушкин в Крыму». Приведем это место из исследования Недзельского: "...в том же самом черновике находится и другая строка: "стояла над волнами над скалой", которая рисует крымскую обстановку и вскрывает, что в рассказе М. Раевской и в отрывке Пушкина идет речь о разных фактических событиях.. Естественно является вопрос: не ошиблась ли Мария Раевская, относя к себе XXXIII строфу?" (стр. 85).

[126] *А. С. Пушкин.* Полное собрание сочинений. Т. II, Изд. Академии наук СССР, М., 1956. С. 112—113.

у волн и скал черноморского берега. Все это, конечно, не выходит из сферы соображений. Едва ли какие-нибудь документальные данные придут на помощь нашему предположению о возникновении «Тавриды». Но ведь гипотезы живут и действуют помимо документов и часто бывают сильнее их.

П. Е. Щеголев связывает с образом М. Н. Раевской и «Кавказского пленника». Дело в том, что поэт В. И. Туманский, который встречался с Пушкиным в Одессе, сообщал в своих письмах: "*Мария* <Раевская> идеал пушкинской черкешенки (собственное выражение поэта)".[127] Под "идеалом" здесь имеется в виду прототип. Но почему же к подростку семьи Раевских нужно возводить "деву страстную" из первой южной поэмы Пушкина, чей "взгляд безумный" выражал "порыв любви", — ту, которая превыше всего ставила счастье "немых лобзаний" ("Склонись главой ко мне на грудь, Свободу, родину забудь"; IV, 104)? Очевидно, никаких точек соприкосновения между героиней и ее названным "прообразом" в этом плане не было и в свое высокое чувство к Раевской автор «Кавказского пленника» не изобразил в "радостных ночах" русского офицера с "девой гор".

Еще менее убедительна гипотеза П. Е. Щеголева о связи с Марией Раевской образа Заремы. Это толкование строится на двух предпосылках:

1) В. И. Туманский мог ошибиться и назвать черкешенку вместо грузинки, тогда Марию Раевскую можно признать не прототипом героини «Кавказского пленника» (что действительно никак не вяжется), а прообразом "красы гарема" в «Бахчисарайском фонтане», т.е. пламенной и преступной одалиски (что еще менее соответствует биографии прообраза);

2) сама Волконская признала обращенными к ней стихи об очах Заремы. Этого достаточно, по Щеголеву, для отождествления Марии Раевской с страстным образом ревнивой грузинки.[128]

Ответим на эти утверждения.

Туманский, как мы знаем, относился к Пушкину и его поэзии с глубочайшим уважением, и предполагать ошибку в его уверенных письменных свидетельствах у нас нет никаких оснований. Можно пожалеть, что он не досказал и не разъяснил своего интересного сообщения (имел ли в виду Пушкин только внешность черкешенки? или, может быть, исключительно ее участие к страданиям пленника?), но сомневаться в достоверности самого факта (т.е. приведенных слов Пушкина), особенно для построения еще более сомнительных гипотех, никак не приходится.

Стихи же, приведенные Волконской, представляют собой лишь краткое введение художника к единому и цельному портрету совершенно иного стиля. За ними непосредственно следует четверостишие:

---

[127] Письмо В. И. Туманского и неизданные его стихотворения. С. 54.

[128] *П. Е. Щеголев.* Из жизни и творчества Пушкина. С. 224.

Чей голос выразит сильней
Порывы пламенных желаний?
Чей страстный поцелуй живей
Твоих язвительных лобзаний?
(IV, 159).

Казалось бы, все это исключает безгрешное романтическое чувство, которое сам поэт называл "чистым упоением Любви", воплощением "поэзии святой". Но, по мнению Щеголева, поэт мог чувствовать уже в юной Раевской женщину "великих страстей"[129] (это в тринадцатилетней девочке!) и дать ее изображение в страстном образе преступной Заремы. Все это едва ли нуждается в опровержении. Пушкин мог, конечно, читать Марии Николаевне эти стихи и даже применять к ней полушутся в разговоре эти лестные строки, как это широко принято в отношении своих и чужих строф, но портрет Заремы он списывал не с нее и не ей посвящал «Бахчисарайский фонтан». Поэма "вдохновений сладострастных" не могла относиться к этой чистой девушке с большими моральными запросами.

Есть, правда, сообщние Олизара: "Пушкин написал свою прелестную поэму для Марии Раевской".[130] Можно ли принимать это свидетельство без проверки, как это обычно делается (в том числе и в статье П. Е. Щеголева «Утаенная любовь»)? [131] Действительно ли Пушкин сообщил Олизару свою заветную творческую тайну, т.е. рассказал ему, для кого он писал «Бахчисарайский фонтан» (то, что так тщательно скрывалось им даже от ближайших друзей)?

Взаимоотношения двух поэтов — русского и польского — не дают никаких оснований для такого заключения. Их связи были внешне безупречными, но внутренне настороженными и недружелюбными. Долгое время они были скрытыми соперниками в любви к Марии Раевской. В начале 20-х годов Олизар постоянно бывает в доме генерала, сопровождает его семью в разъездах (в путешествии в Кишинев в 1821 году), становится подлинным другом молодого поколения и даже претендентом на руку третьей из дочерей — Марии. Но в решающий момент обнаруживается непреодолимая преграда к дальнейшему родственному сближению.

Молодые Раевские, духовно сформировавшиеся в годы борьбы России с Наполеоном, были горячими патриотами, как и их родители — герой знаменитых сражений, прославленный Жуковским, и жена его, внучка Ломоносова, нередко следовавшая за мужем по путям войны. Полюбивший Марию Раевскую Олизар вскоре убедился, что девушка чуждается его исключительно из-за различия их национальностей и вероисповеданий. Вскоре генерал Раевский написал Олизару, что был

[129] Там же. С. 225.

[130] G.Olizar. Pamietniki. С. 173—174.

[131] *П.Е.Щеголев.* Из жизни и творчества Пушкина. С. 222—223.

бы счастлив видеть его своим сыном, но что разница их религий и национальностей препятствует этому.[132]

Олизар уединяется в своем крымском имении. Летом 1824 года он встречается в Одессе с Пушкиным, и Пушкин в своем послании к нему декларативно поддерживает точку зрения семьи Раевских.

Сложным было отношение Олизара к Пушкину. Польский поэт преклонялся перед гением певца "Могучего Севера", но отвергал его позиции в польском вопросе. На посвященное ему стихотворение Пушкина Олизар ответил сильными и смелыми строфами. Он восхищается человечностью поэмы «Разбойники» и верит, что "искра гения возрождает народы и переделывает минувшие столетия". Но в отличие от большинства современников Олизар считает, что лира молодого Пушкина окутана трауром, и что глубокая скорбь пожирает его сердце. Польский поэт призывает своего русского собрата к душевному подъему и возрождению.[133]

При таких отношениях Пушкин не мог открыть свое чувство к М. Н. Раевской влюбленному в нее Олизару. А сообщение о посвящении ей «Бахчисарайского фонтана» и означало бы такое признание.

Можно с уверенностью считать, что приведенное заявление Олизара выражает только его личное предположение, к тому же явно ошибочное. Тема польской героини находится в центре поэмы и определяет все ее развитие. Никакого отношение к русской деве она не имеет.

Так же неубедительно и приурочение к Марии Раевской «Цыган». Но для этого уже потребовался силлогизм, близкий к софизму. Любовь поэта была отвергнута, пишет П. Е. Щеголев. Почему так случилось? На это отвечает старый цыган: "Кто сердцу юной девы скажет: Люби одно, не изменись" (IV, 193). Предполагается, что Раевская любила Пушкина, но изменила ему, как Земфира Алеко. Так якобы возник замысел «Цыган». Дальше произвол в гипотезах уже не может идти.

Ряд исследователей — Н. Ф. Сумцов, П. О. Морозов, Б. М. Соколов — относит к Раевской еще одну элегию "страстного" пушкинского цикла «Ненастный день потух...»[117] Здесь имеются стихи:

> ...ничьим устам она не предает
> Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных,
> (II, 1, 348)

т.е. по смыслу: как предавала их прежде поэту. Это, по мнению названных ученых, все та же крымская любовь. Мария Раевская![134] Никто из

---

[132] См.: Русский вестник. 1893. № 9. С. 103.

[133] См.: Литературный архив. Т. I. М.—Л., 1938. С. 143—148.

[134] См.: *Н. Ф. Сумцов.* Исследования о Пушкине // Харьковский университетский сборник. В память А.С.Пушкина. 1799—1899. Харьков, 1900. С. 212; *П. О. Морозов — Пушкин.* Сочинения. Т. III, изд. Академии наук, Спб., 1912. С. 314—315; *Б. М. Соколов.* М. Н. Раевская — кн.Волконская в жизни и поэзии Пушкина. М.,

комментаторов не желает считаться с возрастом этой оклеветанной девушки.

Традиция прочно относит к Марии Раевской стихотворение «Таврическая звезда» ("Редеет облаков летучая гряда..."). "Дева юная" называет вечернюю звезду свои именем, — каким? Исследователи доискались, что в средневековых католических гимнах планета Венера называлась "звездой девы Марии". Отсюда почти уверенность, что элегия изображает Марию Раевскую.

Это вполне возможно. Но не менее убедительно и другое толкование. Имеется древний миф о превращении в звезду Елены Спартанской. Пушкин должен был знать и известный стих Горация: "fratres Helenae, lumina sidera" ("братья Елены, сияющие светила"). По этим соображениям «Таврическая звезда» может быть относима к Елене Раевской.[135]

В стихотворении «Разговор книгопродавца с поэтом» имеется отрывок, который правильно, как полагаем, относят к Марии Раевской:

Одна была... пред ней одной
Дышал я [чистым] упоеньем
Любви поэзии святой...
(II, 2, 843).

Далее следуют черты сияющего крымского пейзажа и образы безгрешной любви, равнодушной к "земным восторгам" и недоступной для них.

Этому выражению отрешенного и светлого чувства предшествует другой фрагмент об иной любви — тревожной и траурной. Это "сердца тяжкий сон", который "Бесплодно память мучит" и нашептывает страшные признанья:

[Тоской ли долгой] изнуренный,
Таил я слезы в тишине?..
Вся жизнь, одна ли, две ли ночи?..

Слова об этом чувстве звучат

Безумца диким лепетаньем —
Там — сердце их поймет одно
И то с печальным содроганьем.
(II, 2, 842, 843).

Любви мечтательной противопоставлена любовь трагическая. Два

1922. С. 25—28. Отметим к чести П. Е. Щеголева, что он признал невозможным относить эту элегию к М. Н. Раевской (*П. Е. Щеголев.* 1. Пушкин. Очерки. С. 206; 2. Из жизни и творчества Пушкина. С. 262).

[135] См.: *П. К. Губер.* Дон-Жуанский список Пушкина. Пг., 1923. С. 77.

чувства: два женских образа, "Две тени милые" (как скажет в 1828 году Пушкин; III, 2, 654). Есть в «Бахчисарайском фонтане» очень значительный, хотя совершенно не замеченный вариант:

Тебя никто не понимает —
Два сердца в мире может быть...
(IV, 399).

Сильным и важным в установлении цикла стихов, обращенных к Марии Раевской-Волконской, явилось новое прочтение П. Е. Шеголевым посвящения «Полтавы» с опубликованным им впервые стихом: "Сибири хладная пустыня". Это несомненно относило поэму к знаменитой "русской женщине", томившейся в то время в остроге под Читой.[18]

Но именно эта прекраснейшая элегия Пушкина утверждала отрешенность и бесстрастность его духовной любви. Он обращался к женщине с "душою скромной", чуждой увлечений, оставившей без ответа его "стремленье сердца", ценившей в нем только его поэтический дар ("Узнай, по крайней мере, звуки, Бывало, милые тебе"; V, 17).[136]

Так оно и было в действительности.

Из поздней лирики Пушкина к М. Н. Раевской следует отнести два его "кавказских" стихотворения. Н. О. Лернер и М. А. Цявловский[137] правильно относили к этой группе и знаменитый романс «Не пой, красавица, при мне...». Ряд образов здесь вполне соответствуют облику и судьбе Волконской, как и характеру чувства к ней Пушкина. Песни Грузии печальной напоминают поэту "Кавказа гордые вершины", "закубанские равнины" и "Черты далекой, бедной девы", которая представет перед ним, как "призрак милый, роковой" (III, 659, 109). Таков и был стиль этой призрачной любви и порожденной ею бестелесной поэзии.

Об этом же свидетельствует последнее посвящение Пушкина Марии Николаевне — знаменитое стихотворение 1829 года «На холмах Грузии...»; в черновой редакции указывается на давность воспоминания ("сокрылось много лет") и на высшую красоту одухотворенной и безгрешной влюбленности:

---

[136] Интересно замечание М. Н. Волконской в ее письме из Сибири от 20 марта 1831 года: "«Борис Годунов» вызывает наше общее восхищение: в нем раскрывается талант нашего великого поэта, достигший полной зрелости; образы очерчены с высшей энергией и силой, сцена летописца великолепна, но, признаюсь, я не нахожу в этих стихах той поэзии, которая чаровала меня когда-то, той неподражаемой гармонии, несмотря на всю силу его теперешнего творчества" (оригинал по-французски; Пушкин. Исследования и материалы. Т. I. М.—Л., 1956. С. 266).

[137] *Пушкин.* Под редакцией С. А. Венгерова. Т. IV. СПб., 1910. С. LXVIII; *М. Цявловский.* Два автографа Пушкина. М., 1914. С. 8.

Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь
И без надежд и без желаний,
Как пламень жертвенный чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний.[138]
(III, 2, 723).

Это выражает высшую доминанту чувства Пушкина и окончательно отводит от Марии Раевской все безумные, страстные, неистовые, "слишком человеческие" признания молодого поэта, которые не могут иметь к ней икакого отношения. А вместе с ними отпадает и приписанная ей выдающаяся роль в творческой истории «Бахчисарайского фонтана».

[138] Стихотворение «На холмах Грузии...» стало известно М. Н. Волконской в 1830 году в его краткой редакции (без приведенной нами строфы). Оно заканчивалось стихами: "И сердце вновь горит и любит — оттого, Что не любить оно не может". Приславшая Марии Николаевне это стихотворени В. Ф. Вяземская сообщила ей, что оно якобы посвящено невесте поэта — Н. Н. Гончаровой. Но Волконская, видимо, почувствовала, что эти строфы обращены к ней, и отвечала Вяземской необычным критическим замечанием: конец стихотворения напомнил ей условную концовку старинного французского мадригала, лишенного подлинного чувства и только свидетельствующего "насколько поэт увлечен своей суженой" (оригинал по-французски: Пушкин. Исследования и материалы. Т. I. С. 262 и сл.). О тексте стихотворения и его композиции см.: *С. Бонди.* Новые страницы Пушкина. Изд. «Мир», М., 1931. С. 27—28.

КИСЕЛЕВА Софья Станиславовна (1801—1875), урожд. Потоцкая, дочь знаменитого польского магната графа Феликса Станислава Щенсного-Потоцкого и красавицы гречанки Софьи Константиновны Клавоне (Глявоне), романтическая и яркая судьба которой привела ее в конце концов к браку с человеком, занимавшим видное место при русском дворе и славившимся своим несметным богатством Став в 1798 г. супругой Потоцкого (после развода с первым своим мужем Иосифом Виттом), умная гречанка (прозванная "прекрасной фанариоткой") быстро завоевала прочное положение в среде русской аристократии. Рожденные ею от второго брака дети (и прежде всего — ее младшие дочери Софья и Ольга) были тепло приняты в высшем петербургском свете, где с ними встречался Пушкин в свои ранние петербургские годы (1817—1820). По утверждению биографа С. К Потоцкой, польского исследователя Лоека, начиная с 1812 г. (овдовевшая еще в 1805 г.) Софья Константиновна постоянно жила в Петербурге, проводя лето и начало осени в своих крымских и малороссийских имениях (в т.н. Софиополе и Умани), а также в Одессе (подробнее см.: *Святелик В.* Легенда, пришедшая к Пушкину // Знамя 1988. № 8. 219).

В зимний сезон 1818—1819 гг. в свет стала выезжать первая из дочерей — Софья Станиславовна, появившись на балах и приемах (как на следующий сезон и ее младшая сестра Ольга) в сопровождении своей все еще прекрасной, но уже остепенившейся после бурно проведенной молодости матери. Таким образом, Пушкин мог встречать в петербургском свете в это время не только красивых юных графинь Потоцких, но и их необыкновенную и все еще привлекательную мать. К сожалению, прямых свидетельств об общении Пушкина с Потоцкими в Петербурге не сохранилось. Известно, однако, что красота юной Софьи Станиславовны вскружила голову пушкинскому другу П. А. Вяземскому, воспевшему ее в изящном мадригале, адресованном "Двум красавицам — матери и дочери": "Мать несравненная! А дочь Сравнялась с матерью одной". Опубликованный в «Дамском журнале» (1823. Ч III. № 17. С 185), мадригал был написан под впечатлением от петербургских встреч с Потоцкими в 1818 и в самом начале 1819 г. К этому же времени относятся и доверительно-дружеские разговоры Вяземского с Пушкиным о "похотливой Минерве" (как стали именовать ее друзья-поэты за необычное сочетание в ее облике яркой чувственности со сдержанностью и целомудрием, а также за несвойственное обычно светской барышне увлечение серьезной литературой и искусствами). Не исключено, что подобными разговорами и размышлениями о столь неординарном поведении юной Потоцкой навеяно и пушкинское обращение к стихотворению Парни «Взгляд на Цитеру», вольный перевод которого он дал в стихо-

творении 1819 г. под выразительным названием «Платоническая любовь» (вариант заглавия — «Платонизм») с его мотивами затаенной, но требующей выхода на поверхность любовной страсти. Вдохновительница этих стихов скрывается под условным именем "Лидии" (стоит отметить, что этим же именем названа в черновой редакции героиня южной элегии Пушкина «Умолкну скоро я »: "Он Лидой был любим, он ей был одолжен Последней радостью, последним вдохновеньем" — II, 694), но познакомившись с «Платонической любовью», П. А. Вяземский назвал эти стихи прелестными и предположил, не Софье ли Потоцкой они адресованы (см.: ОА. Т. II. С. 14 и 380). Впрочем, более убедительных указаний на Софью Потоцкую как на предмет особого внимания к ней Пушкина в петербургское трехлетие перед ссылкой до нас не дошло, как и сведений о более или менее постоянном общении, выведшем их на разговор о "крымской легенде", положенной в основу поэмы «Бахчисарайский фонтан» (как об этом пишет Гроссман). Заслуживает, однако, самого серьезного внимания подробно аргументированная В. Святеликом версия об источниках и бытовании этой легенды в семейном кругу Потоцких, к роду которых, как известно, принадлежала и пушкинская Мария из поэмы «Бахчисарайский фонтан». Исследователь подробно прослеживает пути возникновения и формирования крымской легенды, отводя в этом причудливо протекавшем процессе едва ли не главную роль Софье Константиновне Потоцкой, а следовательно, поставленный более четверти назад Л. П. Гроссманом вопрос о вдохновительнице «Бахчисарайского фонтана» не только не снимается другими версиями, но побуждает к поискам в том же направлении, но несколько в ином ракурсе. Документальные данные, собранные Святеликом, позволяют, на наш взгляд, ввести в число женщин, с именами которых связывается "утаенная любовь" поэта (начавшаяся на севере и продолжавшаяся в первые годы южной ссылки), и мать С. С. Потоцкой — красавицу-фанариотку, с которой Пушкин встречался, как мы убеждены, и в Петербурге, и во время поездки в Крым и в Одессу летом — ранней осенью 1820 г., когда, по утверждению Лоека, эти места посетили мать и дочери Потоцкие (см. *Lojek J.* Dzieje pieknej Bilynki. Warszawa 1982. С. 333). Во всяком случае, встреча поэта со старыми петербургскими знакомыми уже после посещения живописных мест Крыма и поездки в Бахчисарай делает более достоверным отнесение замысла поэмы «Бахчисарайский фонтан» (по первоначальному названию - «Гарем») ко времени южной ссылки Пушкина и несколько расширяет временные рамки общения поэта с Потоцкой и ее дочерьми накануне важных перемен в их жизни. В 1821 г. Софья Станиславовна вышла замуж за Павла Дмитриевича Киселева (начальника штаба 2-ой армии, видного военачальника и петербургского знакомого Пушкина), с которым поэт мог общаться во время служебных поездок последнего в Кишинев, Киев, Тульчин и т.д., но в сохранившихся документах нет следов встреч Пушкина с С. С. Киселевой. В 1822 г. в возрасте пятидесяти шести лет скончалась ее мать, и Софье Станиславовне пришлось взять на себя заботы о младшей сестре Ольге, что принесло немало огорчений Киселевой (подробнее об этом см. статью Гроссмана в наст. изд.) и, в конце концов, привело к распаду ее семьи. Год спустя вышла замуж и Ольга Станиславовна за Л. А. Нарышкина, служившего в это время в Одессе, где и состоялась свадь-

ба. Жена одесского градоначальника А. Д. Гурьева, Евдокия Петровна Гурьева (оба одесские знакомые Пушкина) писала об этом своей матери 26 октября 1823 г.: "Новости о свадьбе Леона <Нарышкина> только удивляют. Киселев хочет, чтобы она состоялась в Тульчине, тайно. Леон же, который готовит роскошный дом в Одессе, хочет представить порог и празднование. А суженая в большом затруднении угодить одновременно суженому и шурину, который ведет себя странно" (Пушкинская Одесса в письмах графини Е. П. Гурьевой. 1822—1824. / Публ. А. Гляссе. — подарочное изд.). В ноябре—декабре 1823 г. супруги Киселевы находились в Одессе, где участвовали в свадебных торжествах. В эти месяцы возобновилось общение Пушкина с С. С. Киселевой, которая упоминается в связи с законченной той же осенью 1823 г. поэмой «Бахчисарайский фонтан» (в письме Пушкина к Вяземскому от 4 ноября 1823 г.): "Вот тебе, милый и почтенный Асмодей, последняя моя поэма <...> еще просьба: напиши к Бахчисараю предисловие или послесловие, если не ради меня, то ради твоей похотливой Минервы, Софьи Киселевой" (XIII, 73). Гроссман (см. наст. изд.) а вслед за ним и другие исследователи (не исключая и Святелика) истолковывают эти слова как указание на особую роль С. С. Киселевой в обращении Пушкина к легенде о любви Керим Гирея к польской пленнице Марии (происходившей из рода Потоцких), однако в данном случае речь идет лишь о давней привязанности друга, а не о собственном чувстве поэта, и связь имени С. С. Киселевой с поэмой «Бахчисарайский фонтан» носит чисто внешний характер. В Одессе Пушкин, скорее всего, узнал и о смерти С. К. Потоцкой (Клявоне), что, на наш взгляд, до известной степени проливает свет на загадочные строки о "красоте еще земной" в заключительных строфах поэмы, которые никак не вяжутся с обликом страстной, полной жизненных сил Софьи Киселевой. Вышедшая из печати в 1824 г. поэма «Бахчисарайский фонтан» не была подарена автором той, с чьими именем позднее исследователи связывали это произведение Пушкина. В противном случае С. С. Киселева не просила бы в письме к мужу от 21 марта 1827 г. прислать ей «Бахчисарайский фонтан», передав при этом Пушкину, что она изучает русский язык, чтобы читать его стихи (см.: Записки ГБЛ. Вып. 19, С. 66). В 1828 г. супруги Киселевы окончательно разошлись. С. С. Киселева много путешествовала, не раз встречаясь за границею с П. А. Вяземским (см.: *Вяземский П.А.* Записные книжки (1813—1848). М., 1963. С. 231, 407). Сведений о ее встречах с Пушкиным в 1830-е гг. не имеется.



Т. Г. Цявловская

„Храни меня мой талисман...“

1. ОДЕССА

Воронцова — жена начальника Пушкина по Одессе, имя которого не забудется благодаря эпиграмме:

Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец (II, 317).

Она бессмертна по-иному: Пушкин любил ее. Полька по отцу, графиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова (рожденная графиня Браницкая) была русской по матери (мать ее рожденная Энгельгардт, племянница Потемкина).

Облик Воронцовой воскрешает ее портрет кисти английского художника Лауренса — лучшее из множества ее изображений.

А "свычаи и обычаи" ее возрождаются литературными портретами.

"Ей было уже за тридцать лет, — вспоминает чиновник Вигель, сотрудник Воронцова, — а она имела все право казаться еще самою молоденькою. <...> Со врожденным польским легкомыслием и кокетством желала она нравиться, и никто лучше ее в том не успевал. Молода была она душою, молода и наружностию. В ней не было того, что называют красотою; но быстрый, нежный взгляд ее миленьких небольших глаз пронзал насквозь; улыбка ее уст, которой подобной я не видал, казалось, так и призывает поцелуи"[1].

И это слова человека, к женщинам равнодушного. Какое же впечатление должна была производить Воронцова на Пушкина!

Вторит Вигелю и писатель Соллогуб, знавший Воронцову, когда ей было уже около шестидесяти: "Небольшого роста, тучная, с чертами несколько крупными и неправильными, княгиня[2] Елисавета Ксаверьевна была тем не менее одной из привлекательнейших женщин своего

[1] Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Ч. VI. М., 1892, стр. 84—85.

[2] Воронцова носила титул княгини с 1845 года, когда муж ее был пожалован в князья.

времени. Все ее существо было проникнуто такою мягкою, очаровательною, женственною грацией, такою приветливостью, таким неукоснительным щегольством, что легко себе объяснить, как такие люди, как Пушкин, герой 1812 года Раевский и многие, многие другие, без памяти влюблялись в княгиню Воронцову"[3].

Замуж вышла она поздно — двадцати семи лет, в 1819 году.

Пушкин увидел ее впервые осенью 1823 года, к которому и относится воспоминание Вигеля. Пушкин жил в Одессе уже два месяца, числясь на службе в канцелярии графа Воронцова, недавно назначенного генерал-губернатором Новороссийского края.

6 сентября приехала и Елизавета Ксаверьевна. Вскоре состоялось знакомство с нею Пушкина.

Следами первых впечатлений от встреч являются его рисунки на полях черновой рукописи главы первой «Евгения Онегина». Потребность постигнуть лицо Воронцовой отвлекает поэта от работы. Осторожно, нащупывая линию, выводит он ее профиль. И тут же перечеркивает его — она не похожа. Он повторяет рисунок рядом, увереннее. Не сразу находит он линию переносицы. Затем вписывает глаз, пририсовывает голову, локоны, чепец с лентой под подбородком, длинную шею[4].

И еще раз рисует Пушкин ее голову (на обороте страницы — среди множества разных портретов).

Вскоре Воронцова перестает показываться в обществе (23 октября она родила сына) [III].

Еще летом увидел Пушкин в Одессе обращавшую на себя всеобщее внимание красавицу Амалию Ризнич.

"...Она была дочь одного венского банкира, по фамилии Рипп, полунемка и полуитальянка, с примесью, быть может, и еврейского в крови. <...> Г-жа Ризнич была молода, высока ростом, стройна и необыкновенно красива. Особенно привлекательны были ее пламенные очи, шея удивительной формы и белизны, и черная коса, более двух аршин длиною. Только ступни у нее были слишком велики. Потому, чтобы скрыть недостаток ног, она всегда носила длинное платье, которое тянулось по земле. Она ходила в мужской шляпе и одевалась в наряд полу-амазонки. Все это придавало ей оригинальность и увлекало молодые и немолодые головы и сердца"[5].

Не мог Пушкин не зарисовать этой эффектной красавицы.

Опираясь на приведенное описание ее внешности и на стих Пуш-

---

[3] *Граф В. А. Соллогуб.* Воспоминания. М.-Л., «Academia», 1931, стр. 438.

[4] Эти рисунки сделаны не позднее 14 октября, на полях строф XXIII—XXIV главы первой «Евгения Онегина» — на лл. 11 и 12 тетради №. 2369 Ленинской библиотеки (ныне № 834 Пушкинского дома). Последняя дата определяется тем, что на л. 16 написан черновой текст письма к Вяземскому от 14 октября.

[5] *К. Зеленецкий.* Г-жа Ризнич и Пушкин (1856). В сб. «Отзывы о Пушкине с юга России». Собрал В. А. Яковлев. Одесса. 1887, стр. 138—139.

кина «Мадам Ризнич с римским носом», исследователь находит среди рисунков поэта ее портреты, которые идут по рукописям его со времени переезда в Одессу, с конца июля до начала августа 1823 года[6].

Задолго до увлечения Воронцовой в жизнь Пушкина вошла Амалия Ризнич.

Мечтая о близости этой женщины, пишет поэт стихотворение «Ночь» (26 октября 1823 года):

Мой голос для тебя и ласковый и томный
Тревожит поздное молчанье ночи темной.
Близ ложа моего печальная свеча
Горит; мои стихи, сливаясь и журча,
Текут, ручьи любви; текут полны тобою.
Во тьме твои глаза блистают предо мною,
Мне улыбаются — и звуки слышу я:
Мой друг, мой нежный друг... люблю... твоя... твоя!..
(II, 289).

Но вскоре он уже счастлив:

Когда любовию и счастьем утомленный,
Я на тебя гляжу коленопреклоненный,
И ты главу мою обнимешь и нежна <?>
Целуешь поцелуем,
Зачем тогда мрачит —
И в наслажденьи мы тоскуем
(II, 934).

Стихотворение должно было строиться (насколько можно судить по нескольким, хотя и разрабатывавшимся, но оставленным стихам) на тонком психологическом наблюдении поэта — ощущении тоски, сопутствующей наслаждению. Но после нескольких вариантов начала, написанного в первых числах ноября 1823 года, оно было оставлено надолго.

11 ноября Пушкин пишет новое стихотворение:

Простишь ли мне ревнивые мечты,
Моей любви безумное волненье?
Ты мне верна: зачем же любишь ты
Всегда пугать мое воображенье?
Окружена поклонников толпой,
Зачем для всех казаться хочешь милой,
И всех дарит надеждою пустой
Твой чудный взор, то нежный, то унылый?
Мной овладев, мне разум омрачив,
Уверена в любви моей несчастной,

[6] *Абрам Эфрос.* Рисунки поэта. М.-Л., «Academia», 1933, стр. 125, 244—246 и др.

Не видишь ты, когда, в толпе их страстной,
Беседы чужд, один и молчалив,
Терзаюсь я досадой одинокой;
Ни слова мне, ни взгляда... друг жестокой!
Хочу ль бежать: с боязнью и мольбой
Твои глаза не следуют за мной.
Заводит ли красавица другая
Двусмысленный со мною разговор:
Спокойна ты; веселый твой укор
Меня мертвит, любви не выражая.
Скажи еще: соперник вечный мой,
Наедине застав меня с тобой,
Зачем тебя приветствует лукаво?..
Что ж он тебе? Скажи, какое право
Имеет он бледнеть и ревновать?
В нескромный час меж вечера и света,
Без матери, одна, полу-одета,
Зачем его должна ты принимать?..
Но я любим... Наедине со мною
Ты так нежна! Лобзания твои
Так пламенны! Слова твоей любви
Так искренно полны твоей душою!
Тебе смешны мучения мои;
Но я любим, тебя я понимаю.
Мой милый друг, не мучь меня, молю:
Не знаешь ты, как сильно я люблю,
Не знаешь ты, как тяжко я страдаю
(II, 300-301).

Эта маленькая драматическая новелла в стихах впервые раскрывает ревность, которую вызывала в Пушкине Ризнич.

К ней же, вероятно, обращено и написанное, может быть[7], тогда же стихотворение:

Как наше сердце своенравно!
томимый вновь,
Я умолял тебя недавно
Обманывать мою любовь,
Участьем, нежностью притворной
Одушевлять свой дивный взгляд,
Играть душой моей покорной,
В нее вливать огонь и яд.
Ты согласилась, негой влажной
Наполнился твой томный взор;
Твой вид задумчивый и важный,
Твой сладострастный разговор
И то, что дозволяешь нежно,

[7] Оно датировано в Академическом издании: "предположительно 13 июня — декабрем 1823 года" (II, 1134).

И то, что запрещаешь мне,
Все впечатлелось неизбежно
В моей сердечной глубине (II, 304).

К ней же обращены прощальные строки:

Все кончено: меж нами связи нет.
В последний раз обняв твои колени,
Произносил я горестные пени.
Все кончено, — я слышу твой ответ.
Обманывать себя не стану <вновь>,
Тебя тоской преследовать не буду,
Про<шедшее> быть может позабуду -
Не для меня сотворена любовь.
Ты молода: душа твоя прекрасна.
И многими любима будешь ты (II, 309)[8].

В первые дни ноября, только что закончив главу первую «Онегина», поэт пишет вторую, пишет "с упоеньем", "что уж давно со мной не было", признается он в черновике письма к Вяземскому (XIII, 382).

И тут перед ним возникает облик Воронцовой. Он рисует ее полуфигуру — в открытом платье, с локонами надо лбом и у ушей[9].

Позднее, вероятно уже после обновленных впечатлений, когда она вернулась к общению с людьми, Пушкин набрасывает ее новые изображения[10]. Вот голова ее. Еле намечена улыбка. Рядом — профиль, неудавшийся, он зачеркнут. Ниже — поясной портрет — она в чепце, в шали, накинутой на плечи. Лицо строгое[11].

Не ее ли профиль, опять неудавшийся и тут же перечеркнутый, находится на листе, на котором Пушкин нарисовал четыре портрета одной и той же прекрасной женщины[12]?

Постоянно бывает Пушкин в доме у Воронцовых, среди ее гостей (она и муж ее принимают гостей каждый у себя), ежедневно обедает у

[8] Написано в январе — начале февраля (до 8) 1824 года (II, 1135).

[9] Рисунок на полях строфы XVI главы второй «Евгения Онегина» на л. 29 об. той же тетради — № 834 (бывш. 2369), датируется 1—3 ноября 1823 года.

[10] Воронцову в рисунках Пушкина узнавал еще П. В. Анненков. Лишенный возможности назвать ее (она была еще жива в то время), он писал: «...предания той эпохи упоминают еще о третьей женщине, превосходившей всех других по власти, с которой управляла мыслию и существованием поэта. Пушкин нигде о ней не упоминает, как бы желая сохранить про одного себя тайну этой любви. Она обнаруживается у него только многочисленными профилями прекрасной женской головы спокойного, благородного, величавого типа, которые идут почти по всем его бумагам из одесского периода жизни» (*П. Анненков.* Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху. Спб., 1874, стр. 245).

[11] Изображения эти находятся на полях строф XXIII — XXIV главы второй «Евгения Онегина», на л. 35 той же тетради — № 834. Строфы эти не поддаются более точной датировке, чем временем между 4 ноября и 8 декабря 1823 года.

[12] Л. 36 об. той же тетради — № 834. Датируется так же.

них — "в столовой к обеду сходились вместе"[13].

Впечатления от Воронцовой по-прежнему отлагаются в рисунках Пушкина. Она угадывается в женской фигуре, изображенной со спины[14].

На одном из листов тетради мы видим целую россыпь ее портретов[15]. Лицо, голова, профили, плечи с ожерельем на шее... Образ ее преследует его. Он хочет удержать ее черты в сознании, на бумаге. В иных профилях ему удается передать обаяние ее женственности.

Здесь ритм работы нарушается. Заключительные строфы главы второй — это уже не единый поток, а разрозненные четверостишия[16]. Искусство отступило перед мечтаниями, поэзия — перед графикой.

Тут же среди черновиков романа рождается стих:

Приметы верные любви.

Поэт преобразует его в двустишие:

Я узнаю сии приметы,
Сии предвестия любви (VI, 300).

Иной предположит, что, быть может, оно имеет отношение к дальнейшему развитию «Онегина»[17]. В ранней стадии романа автор думал, что Евгений влюбится в Татьяну с первой встречи. В черновых рукописях главы третьей есть такая строфа:

В постеле лежа — наш Евгений
Глазами Байрона читал,
Но дань вечерних размышлений
В уме Татьяне посвящал —
Проснулся он денницы ране,
И мысль была все о Татьяне.
Вот новое, подумал он —
Неужто я в нее влюблен?
Ей-богу это было б славно,
Себя уж то-то б одолжил.
Посмотрим — и тотчас решил
Соседей навещать исправно,

[13] *Ф. Ф. Вигель.* Указ. соч., стр. 124.14

[14] Л. 37 той же тетради — № 834. Датируется так же. См.: *Абрам Эфрос.* Указ. соч., стр. 280.

[15] Л. 42 той же тетради — № 834. Текст и рисунки здесь датируются временем между 8 и 31 декабря 1823 года.

[16] Весь лист — в масштабе подлинника воспроизведен в Академическом издании Сочинений Пушкина Т.VI. 1937, стр. 300/301.

[17] Двустишие это напечатано в Академическом издании среди черновиков «Евгения Онегина», под строфой X главы второй (VI, 300). Глава закончена 8 декабря 1823 года ночью (помета на л. 41 об. — VI, 299). Этот лист — 42 — заполнялся непосредственно вслед за л. 41 об.

Как можно чаще, всякой день,
Ведь им досуг, а нам не лень
(VI, 307-308)[18].

Не говоря уже о том, что маловероятно, чтобы поэт так заблаговременно, так изолированно сложил бы эти два стиха для размышлений Онегина, — похожа ли на краткие, точно бы вырванные из живой речи, иронические реплики Евгения раздумчивая интонация этого двустишия?

По интонации оно близко лирике Пушкина, и становится ясным — это личное ощущение поэта, набросок к лирическому стихотворению. Оно и влилось впоследствии — в несколько измененном виде — в стихотворение «Признание»:

Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей (III, 28)[19].

А если так, то можно ли сомневаться, что это первое выражение новой влюбленности связано с той женщиной, портреты которой так настойчиво рисуются вслед за двустишием[20].

Здесь же, с краю листа, — профиль Воронцова, отлично поддерживаемый воспоминанием о нем современника: "В нем, воспитанном в Англии чуть не до 20-летнего возраста, была 'вся английская складка, и так же он сквозь зубы говорил'[21], так же был сдержан и безукоризнен во внешних приемах своих, так же горд, холоден и властителен, 'in foro interno'[22], как любой из сыновей аристократической Британии. <...> И наружность его поражала своим истинно барским изяществом. <...> Есть известный его портрет (весьма искусно воспроизведенный гравюрою), писанный знаменитым английским живопис-

[18] Тетрадь № 834. л. 50 — строфа V главы третьей. Начата она через два месяца после окончания главы второй, 8 февраля 1824 года.

[19] Стихотворение «Признание» написано в Михайловском, в 1824—1826 годах. Обращено оно к А. И. Осиповой.

[20] Если Пушкин ощущает в декабре 1823 года только «предвестия любви» к Воронцовой, то начался его роман с нею не в ноябре (как было высказано предположительно в «Летописи», стр. 413), а позднее. Надо теперь отказаться и от мысли, что черновые стихи «Когда желанием и негой утомленный...», написанные в ноябре 1823 года, обращены к Воронцовой. То, что они вошли — в измененном виде — в стихотворение «Желание славы», посвященное, бесспорно, ей, оказывается, не имеет значения. Отрывками из недописанных стихотворений Пушкин постоянно пользовался впоследствии для других произведений, не связанных с первыми замыслами и их вдохновительницами.

И стихотворение «Все кончено, меж нами связи нет...», написанное в январе — начале февраля 1824 года, считать обращенным к Воронцовой более не приходится.

[21] Цитата из «Горя от ума».

[22] «Перед внутренним форумом» (*латин.*), то есть среди своих служащих.

цем чуть ли еще не до 1820 года: граф Воронцов сохранял с ним сходство до поздних лет. <...> Высокий, сухой, замечательно благородные черты, словно отточенные резцом, взгляд необыкновенно спокойный, тонкие, длинные губы с этою вечно игравшею на них ласково-коварною улыбкою"[23].

В чеканном рисунке Пушкина мы видим эти "словно отточенные резцом" черты, эти "тонкие, длинные губы".

Зимой 1823/24 года Одесса жила полной светской жизнью. 12 декабря у Воронцовых — большой бал, 25 декабря — большой обед, 31 декабря — маскарад, 6 января — маскарад у Ланжеронов. 13 января — публичный благотворительный маскарад в театре, устроенный Воронцовой и Ольгой Нарышкиной. 12 февраля — второй маскарад у Воронцовых. Пушкин бывает, вероятно, на всех этих вечерах.

25 января Воронцов уезжает в Кишинев. Вернулся он через две недели, 9 февраля[24].

Приступая к главе третьей «Онегина», Пушкин записывает сбоку от I строфы несколько заметок:

8 fevr. La nuit
1824
—
joué avec Sch. et Sin.
— perdu
soupé chez C.E.V.[25]

Пустых бытовых мелочей Пушкин не записывал. Он заносил в свои тетради события, имеющие значение для его душевной жизни, — записка от Марии Раевской, письмо от Наталии Гончаровой — первое после ожидавшегося им разрыва, даты "дней счастливых", смерть няни; отмечал он и даты общественных событий: смерть Наполеона, смерть Байрона, казнь декабристов, коронацию.

Ужин у Воронцовой 8 февраля знаменовал какой-то этап отношений Пушкина с нею.

О карточной игре Пушкин записал, вероятнее всего, для того, чтобы запомнить весь вечер — по мелочам, — подобно тому как в записи 1822 года заметка «1 июля день счастливый» предварялась строкой: "После обеда во сне видел Кхбкр"[26].

---

[23] *Б. М. Маркевич.* Из прожитых дней. Полн. собр. соч. М., 1912, Т.XI, стр. 396-398.

[24] См. приложение к «Journal d'Odessa». 1824. № 11 от 28 января и № 17 от 13 февраля. (Эти приложения имеются только в Одесской публичной библиотеке.) Впрочем, полагаться на точность сведений о приездах и отъездах, сообщаемых в этой газете, не приходится. Например, тут (в № 59 от 2 июня 1824 года) сообщается о приезде между 29 мая и 1 июня «коллежского секретаря Пушкина», тогда как известно из письма М. Ф. Орлова от 29 мая, что Пушкин приехал накануне.

[25] «Рукою Пушкина», стр. 300.

[26] То есть Кюхельбекера. — «Рукою Пушкина», стр. 295.

Тогда же, 8 или 9 февраля, среди черновиков V строфы главы третьей появляются рисунки, среди которых два изображения Воронцова: профиль и погрудный портрет графа в генеральском мундире. Пушкина тревожит какая-то мысль о нем... Не удовлетворенный сходством, он легонько перечеркивает обе неудавшиеся линии профиля[27].

На другой день после второго маскарада у Воронцовых приехал в Одессу кишиневский приятель Пушкина Липранди, нередко туда наезжавший, на этот раз вместе с другим кишиневским другом Пушкина, Н.С.Алексеевым. "В час мы нашли Пушкина еще в кровати, — вспоминал Липранди, — с поджатыми по обыкновению ногами и что-то пишущим. Он был очень не в духе от бывшего маскарада; рассказал некоторые эпизоды и в особенности был раздражен на (тогда коллежского асессора) барона Брунова (ныне нашего посла в Лондоне) и на улыбку довольствия графа"[28]. Следует рассказ о подхалимской выходке Брунова по отношению к Воронцову.

Много причин было для мрачного настроения Пушкина — и тон Воронцова с ним, и, кажется, разрыв с Ризнич, и неясное отношение к нему Елизаветы Ксаверьевны.

Не просты были возможности для общений с нею: супруга наместника края всегда была на виду. Встречи с глазу на глаз были возможны урывками. Правда, муж нередко отлучался из Одессы — ради поездок по краю, но из Киева вернулся Александр Раевский[29] (12 февраля). Влюбленный в Елизавету Ксаверьевну, он свободно входил в ее дом в качестве родственника — он приходился Воронцовой троюродным племянником.

О том, что это был за человек, лучше всего говорит его отец, генерал Н.Н.Раевский, благороднейшая, достойнейшая личность. Вот что пишет он старшей дочери своей Екатерине в 1820 году: "С Александром живу в мире, но как он холоден! Я ищу в нем проявления любви, чувствительности и не нахожу их. Он не рассуждает, а спорит, и чем более он неправ, тем его тон становится неприятнее, даже до грубости. Мы условились с ним никогда не вступать ни в споры, ни в отвлеченную беседу. Не то, чтобы я был им недоволен, но я не вижу с его стороны сердечного отношения. Что делать! таков уж его характер, и нельзя ставить ему это в вину. У него ум наизнанку; он философствует о вещах, которых не понимает, и так мудрит, что всякий смысл испаряется. То же самое с чувством: он очень любит Николашку[30] и беспрестанно его целует, но он так же любил и целовал Аттилу[31]. От него зависит, чтобы я его полюбил или, вернее, чтобы я открыл ему мою

[27] Тетрадь № 834. л. 49 об.

[28] Из дневника и воспоминаний И. П. Липранди. «Русский архив», 1866, № 10. стб. 1472.

[29] Это об его влюбленности в Воронцову говорил Соллогуб.

[30] Маленький черкес, приемыш А. Н. Раевского.

[31] Собака А. Н. Раевского.

любовь. Я думаю, что он не верит в любовь, так как сам ее не испытывает и не старается ее внушить. Я делаю для него все, когда только есть случай, но я скрываю чувство, которое побуждает меня к этому, потому что он равнодушно принимает все, что бы я ни делал для него. Я не сержусь на него за это. Делай и ты так, Катенька; он тебя любит настолько, насколько способен любить. Говорю тебе это для того, чтобы тебе не пришлось страдать от ошибки, тягостной для женского сердца. Николай будет, может быть, легкомыслен, наделает много глупостей и ошибок; но он способен на порыв, на дружбу, на жертву, на великодушие. Часто одно слово искупает сто грехов»[32].

У Пушкина были с Александром Раевским давние отношения, зародившиеся, быть может, еще в Петербурге и укрепившиеся во время пребывания (с семейством Раевских) на Северном Кавказе, затем в Каменке, в Киеве и, наконец, в Одессе.

Впечатлительный и восприимчивый поэт совершенно подпал под влияние этого скептика. Язвительный Раевский в самом прямом смысле подавил волю Пушкина.

Вот как рассказывает об этом хорошо знававший и Пушкина и Раевского адъютант Николая Раевского и приятель Льва Пушкина:

"В Одессе в одно время с ним (Пушкиным. — *Т. Ц.*) жил Александр Раевский, старший брат Николая. Он был тогда настоящим 'демоном' Пушкина, который изобразил его в известном стихотворении очень верно. Этот Раевский действительно имел в себе что-то такое, что придавливало душу других. Сила его обаяния заключалась в резком и язвительном отрицании:

Неистощимой клеветою
Он Провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою,
Он вдохновенье презирал.
Не верил он любви, свободе,
На жизнь насмешливо глядел,
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел!

Я испытал это обаяние на самом себе. Впоследствии, в более зрелых летах, робость и почти страх к нему ослабели во мне, и я чувствовал себя с ним уже как равный с равным. Пушкин в Одессе хаживал к нему обыкновенно по вечерам, имея позволение тушить свечи, чтоб разговаривать с ним свободнее впотьмах. <...> Пушкин сам вспоминал со смехом некоторые случаи подчиненности своему демону, до того уже комические, что мне даже казалось, что он пересаливает свои россказни. Но потом я проверил их у самого Раевского, который повторил мне буквально то же"[33].

[32] *М. О. Гершензон.* История молодой России. М.-Пг., 1923, стр. 45.

[33] *М. В. Юзефович.* Памяти Пушкина. «Русский архив», 1880, III (2). стр. 439—440.

Что «Демон» восходит к образу Раевского, свидетельствуют хором современники, знавшие его.

Сам же Пушкин тяготился молвой о связи его стихотворения с именем Александра Раевского. Наконец, намек на то, что в стихотворении изображен реальный человек, появился в печати: "Демон Пушкина не есть существо воображаемое: автор хотел представить развратителя, искушающего неопытную юность чувственностью и лжемудрствованием"[34].

Тут уже Пушкин решил было даже выступить с опровержением этого суждения и написал заметку, объясняющую идею «Демона». Заметка эта была написана якобы третьим лицом. Впрочем, она осталась в рукописи поэта:

"[Думаю, что критик ошибся.] Многие того же мнения, иные даже указывали на лицо, которое Пушкин будто бы хотел изобразить в своем странном стихотворении. Кажется, они неправы, по крайней мере вижу я в «Демоне» цель иную, более нравственную.

В лучшее время жизни сердце, еще не охлажденное опытом, доступно для прекрасного. Оно легковерно и нежно. Мало-помалу вечные противуречия существенности рождают в нем сомнения, чувство [мучительное], но непродолжительное. Оно исчезает, уничтожив навсегда лучшие надежды и поэтические предрассудки души. Недаром великий Гете называет вечного врага человечества **духом отрицающим**. И Пушкин не хотел ли в своем демоне олицетворить сей дух **отрицания или сомнения** и в сжатой картине начертал [отличительные признаки и] печальное влияние [оного] на нравственность нашего века?" (XI, 30).

Однако едва ли все же это произведение, которому Пушкин придавал исключительное значение[35], создавалось вне воздействия тягостной дружбы человека, все отрицавшего. Не забудем и того, что заметка эта была написана в Михайловском в 1825 году (в феврале — марте), когда поэт уже не сохранял никаких иллюзий относительно нравственного облика Раевского.

В Одессе же Раевский был одним из самых близких Пушкину людей. Вот как рассказывает о нем Ф.Ф.Вигель:

"В нем не было честолюбия, но из смешения чрезмерного самолю-

---

[34] *Ж. К.* (псевдоним Н. И. Греча) в статье «Письма на Кавказ» («Сын отечества», 1825, № 3). Текст, на который отвечал Пушкин, указан Б. В. Томашевским (*Пушкин.* Полн. собр. соч., в десяти томах. Изд-во АН СССР, Т.VII. М.-Л., 1951, стр. 662).

[35] Напомню реакцию Пушкина на напечатание стихотворения «Мой демон» (так было названо стихотворение при первой публикации) в «Мнемозине», 1824, ч. III. Издателем сборника был Кюхельбекер совместно с В. Ф. Одоевским. "Не стыдно ли Кюхле напечатать ошибочно моего демона! Моего демона! после этого он и Верую напечатает ошибочно. Не давать ему за то ни Моря, ни капли стихов от меня" (Письмо Л.С.Пушкину от 4 декабря 1824 года — XIII, 126).

бия, лени, хитрости и зависти составлен был его характер. Не подобные ли чувства святое Писание приписывает возмутившимся ангелам? Я напрасно усиливаюсь здесь изобразить его: гораздо лучше меня сделал сие Пушкин в немногих стихах под названием «Мой демон». Но подробности о нем могут более объяснить действия его, о коих приходится мне говорить. <...> В Молдавии, в самой нежной молодости, говорят, успевал он понапрасну опозоривать безвинных женщин; известных по своему дурному поведению не удостоивал он своего внимания: как кошка, любил он марать только все чистое, все возвышенное, и то, что французы делали из тщеславия, делал он из одной злости. Я не буду входить в тайну связей его с графиней Воронцовой[36]; но, судя по вышесказанному, могу поручиться, что он действовал более на ее ум, чем на сердце и на чувства.

Он поселился в Одессе и почти в доме господствующей в ней четы. <...> Козни его, увы, были пагубны для другой жертвы. Влюбчивого Пушкина не трудно было привлечь миловидной Воронцовой[37], которой Раевский представил, как славно иметь у ног своих знаменитого поэта. Известность Пушкина во всей России, хвалы, которые гремели ему во всех журналах, превосходство ума, которое внутренне Раевский должен был признавать в нем над собою, все это тревожило, мучило его. Он стихов его никогда не читал, не упоминал ему даже об них: поэзия была ему дело вовсе чуждое, равномерно и нежные чувства, в которых видел он одно смешное сумасбродство. Однако же он умел воспалять их в других; и вздохи, сладкие мучения, восторженность Пушкина, коих один он был свидетелем, служили ему беспрестанной забавой. Вкравшись в его дружбу, он заставил его видеть в себе поверенного и усерднейшего помощника, одним словом, самым искусным образом дурачил его"[38].

"Несмотря на скромность Пушкина, нельзя было графу не заметить его чувств. Он не унизился до ревности, но ему казалось обидно, что ссыльный канцелярский чиновник дерзает подымать глаза на ту, которая носит его имя. И боже мой! Поэтическая страсть всегда бывает так не опасна для предметов, ее возбуждающих; она скорее дело воображения и производит неловкость, робость, которые уничтожают возможность успеха.

Как все люди с практическим умом, граф весьма невысоко ценил поэзию; гениальность самого Байрона ему казалась ничтожной, а русский стихотворец в глазах его стоял едва ли выше лапландского. А этот водворился в гостиной жены его и всегда встречал его сухими поклонами, на которые, впрочем, он никогда не отвечал. Негодование воз-

[36] Фамилия Воронцовой, замененная в печати тремя звездочками, восстанавливается нами по рукописи (автографу) «Записок» Вигеля. ЦГАЛИ, ф. 104 (Ф. Ф. Вигеля), оп. 1, ед. хр. 8, л. 17.

[37] То же.

[38] *Ф. Ф. Вигель.* Указ. соч., стр. 169—171.

растало, да и Пушкин, видя явное к себе презрение начальника, жестоко тем обижался и, подстрекаемый Раевским, в уединенной с ним беседе часто позволял себе эпиграммы. Не знаю как, но, кажется, через Франка все они доводимы были до графа"[39].

"Еще зимой, чутьем слышал я опасность для Пушкина, — вспоминает Вигель, — не позволял себе давать ему советов, но раз шутя сказал ему, что по африканскому происхождению его все мне хочется сравнить его с Отелло, а Раевского — с неверным другом Яго. Он только что засмеялся"[40].

Как развивались отношения Пушкина с Воронцовой — неизвестно. Не раз случалось, что встречи прекращались. Так, вероятно, 12 марта[41] выехал Пушкин в Кишинев — повидаться с Инзовым, который огорчался тем, что Пушкин перешел от него к Воронцову.

Возвратился Пушкин в Одессу спустя три недели[42]. Графини Воронцовой в городе он не застал. Она еще дней за десять уехала в Белую Церковь к матери. Вернулась числа 18—19 апреля[43].

В первых числах мая покидала Одессу Амалия Ризнич. Она давно уже тяжело болела изнурительной лихорадкой, усилившейся после родов. К весне ей стало еще хуже. Врачи посылали ее в Швейцарию, а на зиму — в Италию[44].

Прощание Пушкина с нею отозвалось в одном из самых совершенных созданий его лирики. Произошло это шесть лет спустя, во время трехмесячного пребывания в Болдине. Окруженный карантинами, отрезанный от мира, готовясь к браку, поэт "отрывал" себя от когда-то дорогих ему женщин.

Для берегов отчизны дальной
Ты покидала край чужой,
В час незабвенный, в час печальный
Я долго плакал пред тобой.
Мои хладеющие руки
Тебя старались удержать;

---

[39] Два абзаца — "Несмотря на скромность..." и "Как все люди..." — печатаются впервые по рукописи (автографу) «Записок» Вигеля. ЦГАЛИ, ф. 104 (Ф. Ф. Вигеля), оп. 1, ед. хр. 8, лл. 17 об. — 18.

[40] Ф. Ф. Вигель. Указ. соч., стр. 171.

[41] См. «Летопись», стр. 447.

[42] По-видимому, 1 апреля.

[43] 22 апреля 1824 года Воронцов писал из Одессы Н. М. Лонгинову: «Маленькая наша очень крепко было заболела дней 6 тому назад в нашем отсутствии. Жена моя, которая тихонько с Нарышкиными ехала другой дорогой и ничего не знала, приехала на другой день и когда все шло как можно лучше...» (ПД, 23.633.CL XXII. б. 15. л. 38).

[44] *А. А. Сиверс.* Семья Ризнич (Новые материалы). «Пушкин и его современники», вып. XXXI—XXXII. Л., 1927, стр. 85—104.

Томленье страшное разлуки
Мой стон молил не прерывать.

Но ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала;
Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала.
Ты говорила: "В день свиданья
Под небом вечно голубым,
В тени олив, любви лобзанья
Мы вновь, мой друг, соединим".

Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где под скалами дремлют воды,
Заснула ты последним сном.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
Исчез и поцелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой... (III, 257)[45].

Это о Ризнич, вспоминая ее в Михайловском, писал поэт в «Путешествии Онегина»:

Там хладнокровного купца
Блистает резвая подруга (VI, 464).

(Муж ее, Иван Ризнич, был негоциантом, сербом, жившим в Одессе.)

И в «Путешествии» — ее живой, пленительный портрет:

А ложа, где, красой блистая,
Негоцианка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой рабов окружена?
Она и внемлет и не внемлет
И каватине, и мольбам,
И шутке, с лестью пополам...
А муж — в углу за нею дремлет,
В просонках фора закричит,
Зевнет — и снова захрапит (VI, 205).

На полях черновика этой строфы набросан изящнейший рисунок — молодая женщина в длинном платье, с откинутой головой, поды-

[45] Приведенный здесь текст стихотворения несколько отличается от текста Академического издания. См. об этом статью Н. К. Гудзия «К вопросу о пушкинских текстах (О посмертном издании сочинений Пушкина)» в сб. «Проблемы современной филологии». М., изд-во «Наука», 1965, стр. 384—385.

мается в карету. Мы догадываемся, что это зарисовка по памяти Амалии Ризнич, отъезжающей из театра[46]. Рисунок, как всегда, предшествует связанному с ним тексту: на следующей странице — строфа, описывающая разъезд после оперы.

Называя ее имя, поэт откровенно пишет:

Я вспомню речи неги страстной,
Слова тоскующей любви,
Которые в минувши дни
У ног Амалии прекрасной
Мне приходили на язык,
От коих я теперь отвык.

Впрочем, тут же, в беловой рукописи, имя ее тщательно зачеркивается и заменяется обобщенным:

У ног любовницы прекрасной (VI, 57 и 578).

А затем создаются пронзительные по неистовой силе чувства и художественного выражения строфы:

Да, да, ведь ревности припадка
Болезнь, так точно, как чума,
Как черный сплин, как лихорадка,
Как повреждение ума.
Она горячкой пламенеет.
Она свой жар, свой бред имеет,
Сны злые, призраки свои.
Помилуй бог, друзья мои!
Мучительней нет в мире казни
Ее терзаний роковых.
Поверьте мне: кто вынес их,
Тот уж конечно без боязни
Взойдет на пламенный костер,
Иль шею склонит под топор

Я не хочу пустой укорой
Могилы возмущать покой;
Тебя уж нет, о ты, которой
Я в бурях жизни молодой
Обязан опытом ужасным
И рая мигом сладострастным.
Как учат слабое дитя,
Ты душу нежную, мутя,
Учила горести глубокой.
Ты негой волновала кровь,
Ты воспаляла в ней любовь

[46] См.: *Т. Цявловская.* Рисунки Пушкина. М., «Искусство», 1970, стр. 25—27.

И пламя ревности жестокой;
Но он прошел, сей тяжкий день:
Почий, мучительная тень! (VI, 611).

Эти строфы из главы шестой — лирическое отступление после эпизода о ревности Ленского — написаны в Михайловском, по-видимому, в ноябре 1826 года [121]. Печатать их Пушкин не стал, но на пропуск указал цифрами, обозначающими строфы: XV, XVI.

"Через несколько дней по приезде моем в Одессу, — вспоминает Вигель, прибывший из Кишинева в ночь на 16 мая 1824 года[47], — встревоженный Пушкин вбежал ко мне сказать, что ему готовится величайшее неудовольствие. В это время несколько самых низших чиновников из канцелярии генерал-губернаторской, равно как и из присутственных мест, отряжено было для возможного еще истребления ползающей по степи саранчи; в число их попал и Пушкин. Ничего не могло быть для него унизительнее; сим ударом надеялся граф Воронцов поразить его гордыню[48]. Для отвращения сего добрейший Казначеев медлил исполнением, а между тем тщетно ходатайствовал об отмене приговора. Я тоже заикнулся было на этот счет; куда тебе[49]. Он побледнел, губы его задрожали, и он сказал мне: 'любезный Ф.Ф., если вы хотите, чтобы мы остались в приязненных отношениях, не упоминайте мне никогда об этом мерзавце', а через полминуты прибавил 'также и о достойном друге его Раевском'. Последнее меня удивило и породило во мне много догадок"[50].

Дикая реакция Воронцова на попытку Вигеля заступиться за Пуш-

[47] Дата из «Записок» Вигеля, ч. VI, стр. 168.

[48] Фраза "Сим ударом" по "гордыню", замененная в печатном тексте многоточием, печатается по рукописи «Записок» (автограф) — ЦГАЛИ, ф. 104, оп. 1, ед. хр. 8, л. 18.

Вот текст предписания Воронцова от 22 мая: "Состоящему в штате моем коллегии иностранных дел г.коллежскому секретарю Пушкину. Поручаю вам отправиться в уезды Херсонский, Елисаветградский и Александрийский и, по прибытии в города Херсон, Елисаветград и Александрию, явиться в тамошние общие уездные присутствия и потребовать от них сведений: в каких местах саранча возродилась, в каком количестве, какие учинены распоряжения к истреблению оной и какие средства к тому употребляются. После сего имеете осмотреть важнейшие места, где саранча наиболее возродилась, и обозреть, с каким успехом действуют употребленные к истреблению оной средства и достаточны ли распоряжения, учиненные для этого уездными присутствиями. О всем, что по сему вами найдено будет, рекомендую донести мне" (*К. Зеленецкий.* Заметка о Пушкине. «Библиографические записки», 1858, № 5, стб. 138).

[49] Сюда в тексте «Записок» Вигеля сделано авторское примечание: "Рассказал он мне: 'Вы, кажется, любите Пушкина: не можете ли вы склонить его заняться чем-нибудь путным под руководством вашим?' — 'Помилуйте, такие люди умеют быть только что великими поэтами', — отвечал я. 'Так на что же они годятся?' — сказал он".

[50] *Ф. Ф. Вигель.* Указ. соч., стр. 171—172.

кина, так же как и самое решение послать Пушкина в эту унизительную поездку, были вызваны, конечно, обострившимися отношениями Пушкина с Воронцовым, ревностью последнего. И доброхоты могли донести что-нибудь своему начальнику, и от него самого, быть может, не укрылось что-то новое во взаимоотношениях жены его и Пушкина.

Получив 22 мая предписание выехать на места распространения саранчи, Пушкин пишет письмо начальнику канцелярии Воронцова Казначееву:

"П<очтеннейший> А<лександр> И<ванович>. Будучи совершенно чужд ходу деловых бумаг, не знаю, в праве ли <я> отозваться на предписание е<го> с<иятельства>. Как бы то ни было, надеюсь на вашу снисходительность и приемлю смелость объясниться откровенно на счет моего положения.

7 лет я службою не занимался, не написал ни одной бумаги, не был в сношении ни с одним начальником. Эти 7 лет, как вам известно, вовсе для меня <не> потеряны[51]. Жалобы с моей стороны были бы не у места. Я сам заградил себе путь и выбрал другую цель. Ради бога, не думайте, чтоб я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека: оно просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость. Думаю, что граф Воронцов не захочет лишить меня ни того, ни другого.

Мне скажут, что я, получая 700 рублей[52], обязан служить. Вы знаете, что только в Москве или Петербурге можно вести книжный торг, ибо только там находятся журналисты, цензоры и книгопродавцы; я поминутно должен отказываться от самых выгодных предложений единственно по той причине, что нахожусь за 2000 в. от столиц. Правительству угодно вознаграждать некоторым образом мои утраты, я принимаю эти 700 рублей не так, как жалование чиновника, но как паек ссылочного невольника. Я готов от них отказаться, если не могу быть властен в моем времени и занятиях. Вхожу в эти подробности, потому что дорожу мнением графа Воронцова, так же как и вашим, как и мнением всякого честного человека.

Повторяю здесь то, что уже известно графу Михаилу Семеновичу:

---

[51] В рукописи: "Вовсе для меня потеряны". По совершенно убедительному предположению С.М. Бонди, здесь допущена описка: Пушкин пропустил отрицание. Фраза должна была быть: "Эти 7 лет <...> вовсе для меня не потеряны". Пушкин имел, очевидно, в виду свое творчество, свои напечатанные произведения. Иначе как же объяснялись бы следующие слова: "Жалобы с моей стороны были бы не у места"?

Подобного рода описки встречаются у Пушкина очень часто. См.: С.Бонди. Черновики Пушкина. М., 1971.

[52] Имеется в виду 700 рублей ассигнациями в год. См. «Рукою Пушкина», стр. 830—833.

если бы я хотел служить, то никогда бы не выбрал себе другого начальника, кроме его сиятельства; но, чувствуя свою совершенную неспособность, я уже отказался от всех выгод службы и от всякой надежды на дальнейшие успехи в оной.

Знаю, что довольно этого письма, чтоб меня, как говорится, уничтожить. Если граф прикажет подать в отставку, я готов; но чувствую, что, переменив мою зависимость, я много потеряю, а ничего выиграть не надеюсь.

Еще одно слово: Вы, может быть, не знаете, что у меня аневризм. Вот уже 8 лет, как я ношу с собою смерть. Могу представить свидетельство которого угодно доктора" (XIII, 92-94).

Письмо это — в сущности, высказанные вслух мысли о себе. Обращаясь через Казначеева к Воронцову, Пушкин не делает никаких категорических выводов. Он кончает такими неделовыми словами: "Уже-ли нельзя оставить меня в покое на остаток жизни, которая, верно, не продлится..." (XIII, 94).

Однако письма этого он, очевидно, не послал (в беловом виде оно неизвестно). Да и в следующем письме Казначееву, написанном несколько позднее, Пушкин говорит о тех же вопросах почти что то же, только на французском языке.

Во время писания черновика письма, 22 мая, Пушкин на том же листе рисует. Здесь и фигура Меркурия работы итальянского скульптора Джованни да Болонья, и голова Павла I, и знакомая мечта — Воронцова, ее профиль, портрет по грудь (профиль в нем зачеркнут — он не удался), ножки в бальных туфельках, вся фигура в рост. И на обороте листа — в тот же день или в один из следующих — на полях строф XXX и XXXII главы третьей «Онегина» и «Разговора книгопродавца с поэтом» — вновь возникают профиль Воронцовой и ножки в бальных туфлях[53].

"На саранчу" Пушкин все же поехал — по совету "его любезного друга" Александра Раевского, который, как утверждает Вигель (со слов Франка, ближайшего Воронцову человека), и Воронцову внушил идею послать Пушкина в эту командировку[54]. Поручено ему было объехать Херсонский, Александрийский и Елизаветградский уезды[55]. Получив 23 мая 400 р. ассигнациями "на прогоны"[56] (на почтовых лошадей), Пушкин отправился в путь. В Херсоне он побывал[57]. О дальнейшем путешествии точных данных нет.

---

[53] См. *Абрам Эфрос.* Указ. соч., стр. 197 и 292—294.

[54] *Ф. Ф. Вигель.* Указ. соч., стр. 172.

[55] См. «Летопись», стр. 469.

[56] Там же, стр. 470.

[57] Этому свидетельство бумага исправляющего должность херсонского гражданского губернатора, вице-губернатора Фиренеля от 8 января 1825 года на имя Воронцова об отсылке в его канцелярию 430 р., выданных на прогоны чиновникам Чернявскому, Пушкину и Писаренко. См., «Летопись», стр. 552.

Вернулся 28 мая. На следующий день М.Ф.Орлов пишет жене в Киев: "Пушкин был послан на саранчу. Он воевал с нею и после весьма трудной кампании вчера вернулся, отступив пред несметным неприятелем"[58].

По преданию[59], написал язвительный отчет в стихах:

Саранча
Летела, летела
И села;
Сидела, сидела,
Все съела,
И вновь улетела.

Остроумный экспромт Пушкин мог сказать в канцелярии, но едва ли позволил бы он себе написать такой бесцеремонный отчет[60].

Вот как рассказывает об этих событиях Вигель: "По совету сего любезного друга (Раевского. — *Т. Ц.*) Пушкин отправился и, возвратясь дней через десять, подал донесение об исполнении порученного. Но в то же время под диктовкой того же друга, написал к Воронцову французское письмо, в котором между прочим говорил, что дотоле видел он в себе ссыльного, что скудное содержание, им получаемое, почитал он более пайком арестанта; что во время пребывания его в Новороссийском крае он ничего не сделал столь предосудительного, за что бы мог быть осужден на каторжную работу (aux travaux forcés), но что, впрочем, после сделанного из него употребления он, кажется, может вступить в права обыкновенных чиновников и, пользуясь ими, просит об увольнении от службы. Ему велено отвечать, что как он состоит в ведомстве министерства иностранных дел, то просьба его передана будет прямому его начальнику графу Нессельроде"[61]. Вот эту-то переписку с Воронцовым Пушкин и назвал "полемической". Прошение об отставке Пушкин подал в начале июля на высочайшее имя, мотивируя просьбу слабостью здоровья[62].

Между тем отношения Пушкина с Елизаветой Ксаверьевной развивались. Она увлеклась вспыхнувшим в поэте страстным чувством.

Пушкин говорил о своих ночных с нею свиданиях Вере Федоровне Вяземской[63], поверенной в его сердечных делах (с 7 июня 1824 года она жила в Одессе, куда привезла к морю своих больных детей).

Свидания в доме были затруднительны. Влюбленные ищут уедине-

[58] «Летопись», стр. 471—473.

[59] *К. Зеленецкий.* Заметки о Пушкине. «Библиографические записки». 1858. № 5, стб. 137.

[60] В прежнее время эти строки включались в Собрания сочинений Пушкина, но в наше время они в Сочинения Пушкина не включаются: не введены они и в «Летопись» — эпизод с отчетом маловероятен.

[61] *Ф. Ф. Вигель.* Указ. соч., стр. 172.

[62] См. «Рукою Пушкина», стр. 836—837.

[63] «Из записей П. И. Бартенева», стр. 267.

ния в другом месте. Под пером поэта зарождаются стихи:

Есть у моря под ветхою скалой
Уединенная пещера.
Она полна прохладной темнотой (II, 992).

Тут же насыщается пейзаж лирическим чувством:

Под скалой
Пещера дикая таится,
Обитель неги, в летний зной
Она прохладной темнотой
[Полна] (II, 993).

Через три страницы той же рабочей тетради Пушкин возвращается к этой теме:

Пещера дикая видна.
Она полна прохлады влажной.
В ней плещут волны — и всегда
Не умолкает гул протяжный (II, 993).

Наконец отливается четверостишие, живописующее дорогое поэту прибежище:

Приют любви, он вечно полн
Прохлады сумрачной и влажной,
Там никогда стесненных волн
Не умолкает гул протяжный (II, 472).

Наброски эти, написанные в конце мая — начале июня, являются первыми стихами после двустишия "Я узнаю сии приметы, / Сии предвестия любви», которые можно уверенно отнести к Воронцовой.

На следующем листе тетради поэт дважды рисует женскую руку, играющую на рояле. Нам, кажется, знакомы эти длинные, изогнутые пальцы — не их ли видели мы на портретах Воронцовой[64]? Пушкин слушал, очевидно, ее игру[65]. На обороте листа с этими рисунками находится черновик второго письма Казначееву, написанного после подачи прошения об отставке.

В эти же дни[66] распространилась эпиграмма Пушкина на Воронцова

[64] Руки Воронцовой видели мы только на двух ее портретах — английского живописца Хейтера и на литографии Принцгофера, 1852 года.

[65] О том, что Воронцова была музыкантшей, говорит ее изображение у органа, а также и сообщение Марии Раевской брату Николаю о том, что она передала — очевидно, по его поручению — графине оперу «Моисей» Россини. (См. письмо М. Н. Раевской к Н. Н. Раевскому по возвращении из Одессы 21 декабря 1823 года. — «Неизданные письма М. Н. Волконской». «Труды Гос. исторического музея», вып. II. М., 1926, стр. 13—15: в публикации "ce 21 X — bre" ошибочно переведено: "21 окт.". Год проставлен неверный: "1824?".

[66] В конце мая — начале июня.

«Полу-милорд, полу-купец...».

Могла она дойти и до Елизаветы Ксаверьевны. Именно этим и можно объяснить внезапное отчуждение ее от Пушкина.

"После известной его эпиграммы на ее мужа (в которой потом сам он раскаивался) конечно обращались с ним очень сухо. Перед каждым обедом, к которому собиралось по нескольку человек, княгиня-хозяйка обходила гостей и говорила каждому что-нибудь любезное. Однажды она прошла мимо Пушкина, не говоря ни слова, и тут же обратилась к кому-то с вопросом: 'Что нынче дают в театре?' Не успел спрошенный раскрыть рот для ответа, как подскочил Пушкин и, положа руку на сердце (что он делывал, особливо когда отпускал остроты), с улыбкою сказал: '«La sposa fedele», contessa!'[67]. Та отвернулась и воскликнула: «Quelle impertinence!»[68]

«La sposa fedele» — «Верная супруга» — опера-буфф композитора Джованни Пачини (1796—1867), поставленная впервые в 1819 году в Венеции и в Милане[69]. По-видимому, ставилась она и в итальянской опере в Одессе в 1824 году[70].

Из негодующего восклицания Воронцовой ясно, что она отнесла иронию Пушкина на свой счет. Вспышка Воронцовой не связывалась с сюжетом оперы (там изображается супруга действительно верная)[71]. Ее оскорбил намек Пушкина, а в нем прорвалась его ревность к Раевскому.

Спустя несколько дней, 14 июня, Воронцова уезжала в большом обществе из Одессы в Крым. Гости — человек около тридцати — ехали пожить у Воронцовых в Гурзуфе. Плыли морем на их яхте.

Еще зимою зазывал Пушкин в Одессу Вяземского, имея в виду эту поездку: "Что, если б ты заехал к нам на Юг нынче весною? Мы бы провели лето в Крыму, куда собирается пропасть дельного народа, женщин и мужчин. Приезжай, ей-богу веселее здесь, чем у вас на Севере" (XIII, 83).

Но если в декабре Пушкин мог рассчитывать быть гостем Воронцовых, то сейчас об этом и речи не могло быть.

Отъезд любимой женщины он сопроводил стихами:

---

[67] "«Верная супруга», графиня" (*итал.*).

[68] "Какая наглость!" (*франц.*). *П. И. Бартенев.* К биографии Пушкина. Из черновых его рукописей, хранящихся в Московском публичном музее. «Русский архив», 1884, № 5. стр. 188.

[69] Конечно, Пушкин имел в виду не одноименную старую оперу Пьетро Гульельми, поставленную в Неаполе в 1772 году и в Вене в 1776 году.

[70] Разыскания не увенчались успехом.

[71] В Москве либретто этой оперы не оказалось. В Ленинграде отыскалась партитура этой оперы в двух действиях со вписанным под нотами текстом либретто на итальянском языке. Находится она в Нотной библиотеке театра имени Кирова. Шифр: 11 р. 118. Инв. 3308. Приношу благодарность Т.Е.Киселевой и Н.Н.Загорному за эти поиски. Глубоко признательна я покойному И.А.Лихачеву за чтение трудночитаемого итальянского текста, вписанного старинным почерком, при этом не слишком грамотно, в партитуру.

К о р а б л ю

Морей [красавец] окриленный!
Тебя зову — плыви, плыви
И сохрани залог бесценный
Мольбам, надеждам и любви.
Ты, ветер, утренним дыханьем
Счастливый парус напрягай,
Волны [незапным] колыханьем
Ее груди не утомляй (II, 315).

Среди зачеркнутых вариантов были выразительные заклинания:

Храни, храни залог бесценный...
*
О, возврати залог бесценный...

Первоначально предполагалось еще одно четверостишие, к которому намечались наброски:

И в пристани
*
Пускай она услышит
Привет
*
Привет
Услышит в пристани она
*
Пускай услышит
Об милых счастливую весть...
(II, 829—830).

Это о больных детях Воронцовой, гостящих у бабушки в имении Александрия под Белой Церковью.

Вернулась Елизавета Ксаверьевна из Гурзуфа в Одессу 24 июля[72]. Вместо предполагавшихся двух месяцев она провела в Крыму полтора, оставив гостей с мужем. Она должна ехать к детям в Александрию.

Одновременно, 24 июля, Воронцов отправляет из Симферополя градоначальнику Одессы графу Гурьеву предписание: объявить Пушкину о высочайшем повелении исключить его из списка чиновников

[72] "Графиня Воронцова и Ольга Нарышкина приехали два дня назад", — пишет В.Ф.Вяземская мужу в письме, начатом 25 июля («Остафьевский архив князей Вяземских», T.V. вып. 2. Спб., 1913, стр. 135. В подлиннике — по-французски). Уточнение даты приезда — в письме от 26 июля М.И.Лекса из Одессы к И.П.Липранди: "Третьего дня графиня возвратилась морем в Одессу и на сих днях едет в Белую Церковь" (Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, ф. 435 — И.П.Липранди). Сообщено Н.Я.Эйдельманом.

Коллегии иностранных дел и отправить немедленно на жительство в Псковскую губернию. "Если Пушкин даст подписку, что отправится прямо к своему назначению, не останавливаясь нигде на пути к Пскову, то дозволить ему ехать одному. В противном случае отправить его с надежным чиновником»[73]."Мы продолжаем ничего не знать о судьбе Пушкина, — пишет Вяземская мужу 27 июля. — Даже графиня, она знает, как и ты, что он должен покинуть Одессу. Ее муж сказал просто, что для Пушкина ничего нельзя сделать в Одессе, но мы не знаем, чем это кончится"[74].

29-го Пушкина вызывает градоначальник. Он объявляет ему об отставке и о том, что его высылают в псковскую деревню к матери. Пушкину дают подписаться под следующим обязательством:

"Нижеподписавшийся сим обязывается по данному от г-на Одесского градоначальника маршруту без замедления отправиться из Одессы к месту назначения в губернский город Псков, не останавливаясь нигде на пути по своему произволу; а по прибытии в Псков явиться к г-ну гражданскому губернатору. Одесса. 29 июля 1824».

И вторую бумажку подписывает Пушкин:

"По маршруту от Одессы до Пскова исчислено верст 1621. На сей путь прогонных на три лошади триста восемьдесят девять руб. четыре коп.

получил коллежский секретарь

Александр Пушкин"[75].

В тот же день Гурьев рапортовал Воронцову:

"Вследствие повеления вашего с<иятельства> о коллежском секретаре Пушкине, имею честь донести:

высочайшая государя императора воля о нем мною лично ему объявлена. Он дал подносимую при сем подписку и завтрашний день отправляется отсюда в город Псков по данному от меня маршруту через Николаев, Елисаветград, Кременчуг, Чернигов и Витебск. На прогоны к месту назначения по числу верст 1621 на три лошади выдано ему денег 389 рублей 4 коп.

Об отъезде отсюда Пушкина я вместе с сим извещаю г-на псковского гражданского губернатора.

Генерал-майор граф Гурьев.

Маршрут сей до Киева не касается»[76].

Смысл последней строки, собственноручной приписки Гурьева видели в том, что "Пушкин был знаком с многими поляками из Киевской губернии»[77]. К этому должно прибавить, что Киев был местом

[73] «Летопись», стр. 495—496.

[74] «Летопись», стр, 498. В подлиннике — на французском языке.

[75] «Рукою Пушкина», стр. 837—838.

[76] «Летопись», стр. 499.

[77] См.: «Полярная звезда». Журнал А.И.Герцена и Н.П.Огарева в восьми книгах. 1855—1869. Вольная русская типография. Лондон — Женева. Факсимильное издание. Книга первая. М., «Наука», 1968, стр. 123; Книга девятая. Комментарии и указатели к I—VIII книгам. М., изд-во «Наука», 1968, стр. 130.

средоточия офицеров, помещиков и других деятелей, находящихся под надзором. Так или иначе, Гурьев постарался обрадовать Воронцова своей догадливой распорядительностью.

Подавая в отставку, Пушкин рассчитывал остаться в Одессе и вести там независимый образ жизни. Иначе не объяснить того, почему он был так ошеломлен приказом о немедленном выезде в Псковскую губернию. Вяземская вспоминала, что, "когда была решена его высылка из Одессы, он прибежал впопыхах с дачи Воронцовых, весь растерянный, без шляпы и перчаток, так что за ними посылали человека»[78].

И Пушкин и Вяземская старались себе объяснить, чем была вызвана столь крутая мера в ответ на прошение Пушкина об отставке.

Вначале Вера Федоровна осуждала действия Пушкина, которые, по ее мнению, привели его к тому, что он решил подать в отставку. "Ничего хорошего не могу сказать тебе о племяннике Василия Львовича, — писала она мужу 13 июня. — Это совершенно сумасшедшая голова, с которою никто не может совладать. Он натворил новых проказ ('nouvelles farces'), из-за которых подал в отставку. Вся вина — с его стороны. Мне известно из хорошего источника, что отставки он не получит"[79].

"Новые проказы" — это, быть может, то же, о чем говорил И.И.Пущин со слов Пушкина, "некоторые смелые его бумаги по службе"[80], "полемическая переписка" с Воронцовым, пересказанная Вигелем. Но скорее под "новыми проказами" следует понимать эпиграмму на Воронцова «Полу-милорд, полу-купец»; вот как пишет далее Вяземская: "Я делаю все, что могу, чтобы успокоить его, браню его от твоего имени, уверяя его, что, разумеется, ты первый признал бы его виноватым, так как только ветреник мог так набедокурить. Он захотел выставить в смешном виде важную для него особу и сделал это: это стало известно, и, как и следовало ожидать, на него не могли больше смотреть благосклонно".

Однако, пообщавшись с Пушкиным, Вяземская поражается его умом и огорчается горячностью и противоречивостью в его мыслях и настроениях: "Какая голова и какой сумбур в этой бедной голове!" — пишет она мужу через десять дней[81].

Возможность грозящей Пушкину высылки проскальзывает впервые в письме Веры Федоровны к мужу от 18 июля: "Хороша я буду, если Пушкин покинет Одессу: у меня здесь, кроме него, нет никого ни для

---

[78] *П. И. Бартенев.* Из рассказов князя Петра Андреевича и княгини Веры Федоровны Вяземских (записано в разное время с позволения обоих). «Русский архив», 1888, № 7, стр. 306.

[79] «Летопись», стр. 479.

[80] *И. И. Пущин.* Записки о Пушкине и письма. Редакция и биографический очерк С.Я.Штрайха. М— Л., 1927, стр. 84.

[81] «Летопись», стр. 482.

общества, ни для того, чтобы утешать меня, ни для разговоров, прогулок, спектаклей и пр."[82].

Мысли о возможности отъезда Пушкина из Одессы могли возникнуть под впечатлением письма Вяземского (от 10 июля): "...каламбур сообщи Пушкину, если он еще у вас!" Далее Вяземский рассуждает: "Эх, он шалун! Мне страх на него досадно, да и не на его одного! Мне кажется, по тому, что пишут мне из Петербурга, что это дело криво там представлено. Грешно тем, которые не уважают дарования даже и в безумном! Дарование все священно, хотя оно и в мутном сосуде! Сообщи и это Пушкину: тут есть ему и мадригал и эпиграмма"[83].

Но на другой день (19 июля) Вяземская и Пушкин уже встревожены: "Почему ты так темно говоришь нам о деле Пушкина? Отсутствие графа Воронцова служит причиной, что мы ничего не знаем. Как могло это дело плохо обернуться? Он виноват только в ребячестве ('enfantillages') и в том, что не без оснований обиделся на то, что его послали ловить саранчу, и то он не ослушался. Он съездил туда, а вернувшись, подал в отставку, потому что его самолюбие было затронуто. Вот и все. Когда же наконец государи будут действительно знать, что у них происходит..."[84].

Тут уж Вяземская, по-прежнему признавая неуместность ребячества Пушкина, стоит за него горой. Ее слова явно отражают пушкинское состояние, его освещение событий.

Впоследствии, уже с холодной головой, Пушкин объяснял разными причинами свою высылку. "Пушкин сам не знал настоящим образом причины своего удаления в деревню, — писал много позднее Пущин, вспоминая разговор с ним в Михайловском 11 января 1825 года, — он приписывал удаление из Одессы козням графа Воронцова **из ревности**: думал даже, что тут могли действовать некоторые смелые его бумаги по службе, эпиграммы на управление и неосторожные частые его разговоры о религии"[85].

Но это потом. А теперь над ним висит высылка...

Пушкин задумывает бежать из России.

С раздражением, не улегшимся через четыре месяца после отъезда В.Ф.Вяземской из Одессы, пишет М.С.Воронцов А.Я.Булгакову в Москву: "...Что касается княгини Вяземской, то скажу Вам (но между нами), что наша страна еще недостаточно цивилизована, чтобы оценить ее блестящий и острый ум, которым мы до сих пор еще ошеломлены. И затем, мы считаем, так сказать, неприличным ее затеи поддерживать попытки бегства, задуманные этим сумасшедшим и озор-

[82] Там же, стр. 494.
[83] Там же, стр. 488.
[84] Там же, стр. 494.
[85] *И. И. Пущин.* Указ. соч., стр. 84.

ником ('ce fou et polisson') Пушкиным, когда получился приказ отправить его в Псков. Вы гораздо достойнее нас наслаждаться ее обществом, и мы Вам предоставляем его с удовольствием. К счастью, здешние врачи нашли, что климат Одессы благоприятен только для ее детей. Я вполне того же мнения"[86].

О том, как задумывалось бегство, и о том, что в этом замысле участвовала и графиня Воронцова, выясняется из письма А.Я.Булгакова к брату, написанного год спустя, 12 июня 1825 года, со слов самого Воронцова: "Воронцов желал, чтобы сношения с Вяземскою прекратились у графини: он очень сердит на них обеих, особливо на княгиню, за Пушкина, шалуна-поэта, да и поделом. Вяземская хотела поддержать его бегство из Одессы, искала для него денег и способы отправить его морем. Это ли не безрассудство!"[87].

Как известно, плана этого Пушкин не осуществил. Вот как пишет он сам об этом в стихотворении «К морю»:

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтический побег!

Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя;
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я... (II, 332).

Последние дни в Одессе были для Пушкина очень значительны. Он сделал памятные заметки о них в календаре — в маленьком французском альманахе для дам на 1824 год[88]. Книжечка эта была, по всей вероятности, подарком Воронцовой[89]. И записи Пушкина, почти без

[86] *А. Л. Вейнберг.* Граф М. С.Воронцов о Пушкине. «Московский пушкинист», II, 1930, стр. 56 (в подлиннике — по-французски).

[87] Две последние фразы в подлиннике — по-французски. «Летопись», стр. 611.

[88] *Б. Л. Модзалевский.* Библиотека А. С.Пушкина. «Пушкин и его современники». вып. IX—X. Спб., 1910, стр. 138—139. Б.Л.Модзалевский не узнал почерка Пушкина.

[89] Д. П. Якубович, установивший, что записи сделаны Пушкиным, писал: "Трудно предположить, что Пушкин сам купил для себя «Альманах, посвященный дамам». Естественнее, что изящный иностранный календарик на текущий год, остававшийся незаполненным до конца мая 1824 года, был подарен Пушкину незадолго перед этим какой-либо из дам его одесского окружения, например Е.К.Воронцовой, всегда имевшей под рукою свежие новинки заграницы" (*Д.П.Якубович.* Неизвестные автобиографические записи Пушкина. — «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», Т.6, М. — Л., Изд-во АН СССР, 1941, стр. 32. Там же воспроизведены эти записи и факсимиле).

исключения, были связаны с нею[90]. Они сделаны на нескольких листках календаря.

На майском листке Пушкин записывает: "26 voyage, vin de hongrie" (то есть путешествие, венгерское вино).

26 мая — это день рождения Пушкина. Он провел его в вынужденной поездке, на борьбе с саранчой. Пил вино, может быть, в одиночестве...

На июльском листке — заметки о последних днях в Одессе.

Записана дата — 28-е, и только.

29-е. В этот день Пушкин был у градоначальника, который объявил ему о высочайшем повелении исключить Пушкина со службы и отправить его в Псковскую губернию, где и будет он состоять под наблюдением местного начальства. Дав подписку о немедленном выезде, он кинулся к Воронцовой, от нее, потрясенный, — к Вяземской.

Записана дата — 30-е.

Возле дат 29-го и 30-го поставлены черточки. Эти условные пометы обозначают, вероятнее всего, интимные свиданья[91].

Под датой 30 июля записано: "30 — turco in Italia". Этой записью отмечено посещение театра — оперы Россини «Турок в Италии»[92].

Едва ли провел бы Пушкин последний вечер в Одессе в театре, если бы там не было Воронцовой. Но решился ли бы он присутствовать в ложе супруги генерал-губернатора, получив накануне приказ о высылке и обязавшись "без замедления отправиться к месту назначения"? Впрочем, вспомним:

А я от милых южных дам,
От жирных устриц черноморских,
От оперы, от темных лож
И слава богу от вельмож
Уехал в тень лесов тригорских (VI, 492 и 505).

Последняя запись на июльском листке календаря: "31 départ" (то есть — 31 отъезд).

В каком состоянии уезжал Пушкин, мы узнаем из большого письма Веры Федоровны Вяземской к мужу. Написано оно 1 августа[93].

---

[90] Это понял М. А. Цявловский, подготовляя к печати публикацию «Из записей П.И.Бартенева (О Пушкине и гр. Е.К.Воронцовой)». «Известия Академии наук СССР, серия литературы и языка», Т.XXVIII, вып. 3, 1969, стр. 267—276. Правильность этой догадки подтвердилась впоследствии текстом нижеприведенного письма В. Ф. Вяземской к мужу от 1 августа 1824 года, которое я обнаружила в 1957 году, через десять лет после смерти М.А.Цявловского.

[91] Предположение М.А.Цявловского.

[92] *Д. П. Якубович.* Указ, соч., стр. 33—34.

[93] ЦГАЛИ, ф. 195 (Вяземский), оп. 1, ед. хр. 3275, лл. 200—203 об. Письмо это отбилось от основного массива писем В.Ф.Вяземской к мужу из Одессы за 1824 год и не попало в публикацию этих писем, сделанную В. И. Саитовым в «Остафь-

"Приходится начать письмо с того, что меня занимает сейчас более всего, — со ссылки и отъезда Пушкина, которого я только что проводила до верха моей огромной горы, нежно поцеловала и о котором я плакала, как о брате, потому что последние недели мы были с ним совсем как брат с сестрой. Я была единственной поверенной его огорчений и свидетелем его слабости, так как он был в отчаянии от того, что покидает Одессу, в особенности[94] из-за некоего чувства, которое разрослось в нем за последние дни, как это бывает. Не говори ничего об этом, при свидании мы потолкуем об этом менее туманно, есть основания прекратить этот разговор. Молчи, хотя это очень целомудренно, да и серьезно лишь с его стороны[95]. Он умоляет тебя не писать ему, дело в том, что один человек оказался скомпрометированным из-за того, что наш друг написал на чужом письме, обращенном к нему, его адрес, и хотя он с этим человеком совершенно не был знаком, последнего допрашивали о его отношениях с нашим другом. Я уверена, что ты не покинешь его в несчастии, но пиши и изъясняйся в своих письмах так, как если бы ты был его худшим недругом; ты всегда считал себя слишком бесхитростным, чтобы это делать, но принеси эту жертву дружбе, потому что единственная радость, которая останется бедному Пушкину, похороненному в глуши возле уездного города Порхова[96] в Псковской губернии, это получать изредка известия, чтобы не умереть окончательно нравственной смертью. Полюбопытствуй, хорошо ли приняли его родители; упрекать его в чем-либо было бы бессмысленно; в чем, впрочем, можно было бы упрекнуть его, раз он не знает за собой иной вины, как то, что он подал в отставку? Я обещала изредка писать ему. Я проповедую ему покорность судьбе, а сама не могу с ней примириться, он сказал мне, покидая меня, что я была единственной женщиной, с которой он расстается с такою грустью, притом что никогда не был в меня влюблен. Это обрадовало меня, потому что я тоже испытываю к нему дружбу, тем более нежную, что он несчастен, а это особенно на меня действует; хотелось бы, чтобы это подействовало так же и на его мать.

Дети[97] здоровы, особенно Николенька. <...> Но решительно я думаю, что надо их оставить в Одессе, потому что путешествие очень бы их растревожило. Я увижу по твоим письмам, на что я должна решиться, во всяком случае, графиня Воронцова берет на себя моих детей, я найму несколько комнат против нее, чтобы она могла ходить туда в те

евском архиве князей Вяземских», т.V, вып. 2, СПб., 1913. Текст письма в подлиннике — на французском языке (приводим его с сокращениями). Перевод принадлежит И.А.Лихачеву.

[94] Слова "в особенности" вписаны.

[95] Слова "да и серьезно лишь с его стороны" приписаны.

[96] Слова "уездного города Порхова" написаны по-русски.

[97] Дети, привезенные В.Ф.Вяземской в Одессу, — шестилетний Николай (30.IV.1818—9.I.1825) и двухлетняя Надежда (15.I.1822—28.XI.1840).

же часы, что и доктор, она говорит, что будет приходить туда два раза в день и будет вникать во все мелочи; она слишком хорошая мать, чтобы не заботиться о чужих детях, раз они ей поручены, и мне не о чем беспокоиться. Она опять уехала вчера вечером к своей матери и детям. Нарышкины[98] тоже, они едут за границу. Мы были неразлучны в течение восьми дней. Теперь ты чувствуешь мое одиночество. Ни одна живая душа не заглянет ко мне. <...> У нас сложились совсем простые отношения с графиней Воронцовой, и я постараюсь, чтобы это и дальше шло так же, потому что она очаровательна. Вот что ты можешь сказать Булгакову[99]. Что же до графа[100], то я его почти не знаю, но знаю, что его любят все в городе — и русские и иностранцы, вид у него очень порядочный, таким образом, я уже предрасположена к нему, время сделает остальное, если мы поселимся на некоторое время в Одессе: его жена предсказывает, что я его очень полюблю, и я охотно этому верю.

У меня сплин, не знаю, что такое, но эта высылка, преследования неизвестно с чьей стороны, с чего и почему, переполняют меня смутной тревогой и черными мыслями до такой степени, что я не нахожу себе места. Да хранит нас бог, и да избавит он нас от несчастий этой жизни, к которой ты, кажется, получил отвращение, судя по двум твоим последним письмам. <...> Если к 17 сентября[101] ты не приедешь, я поручаю детей графине Воронцовой и еду в Москву 18-го, чтобы ты мог поехать заменить меня в Одессу до зимы. <...>

Пушкин не застрелился[102] и никогда не застрелится, разве что с тоски этой зимой в деревне. Я списала касающийся его отрывок и послала его с Владимиром[103], который застал его садящимся в коляску. Я дала ему взаймы 600 рублей, которые должны мне быть возмещены здесь кем-то, кто ему должен[104], но я не верю в эту уплату, кроме того,

---

[98] Лев Александрович Нарышкин (1785—1846) — двоюродный брат М.С.Воронцова, и жена его Ольга Станиславовна, урожденная графиня Потоцкая (1802—1861), красавица, близкая приятельница Е.К.Воронцовой.

[99] Александр Яковлевич Булгаков (1781—1863), приятель Вяземского. Состоял при главнокомандующем в Москве Ф.В.Ростопчине и его преемнике до 1832 года для дипломатической переписки по секретной части. С 1832 года московский почтдиректор.

[100] М.С.Воронцов.

[101] Именины Веры Федоровны.

[102] Вяземская имеет в виду следующие строки в письме мужа от 21 июля: "Из Петербурга пишут и уверяют, что ваш одесский Пушкин застрелился. Я так уверен в пустоте этого слуха, что он меня нимало не беспокоит" («Летопись», стр. 495).

[103] Вероятно, слуга Вяземских.

[104] Эти 600 рублей — карточный долг Пушкину Автонома Петровича Савелова, чиновника одесской таможни. Вяземская от него денег не получила. Долг Вере Федоровне тяготил Пушкина. Он отослал его Вяземской с Пушиным в январе 1825 года.

я истратила 100 рублей на покупку ему разных вещей в дорогу. <...>

Объясни мне, почему я чувствительнее к страданиям других, чем к своим. Когда дело касается нас, у меня больше энергии; когда же случается беда с другими, я скорее поддаюсь унынию; мне кажется, что несчастные — мое достояние, что они принадлежат мне по праву и что их сердце, зная, как мое сочувствует их горестям, должно ощущать облегчение.

Я думаю, что наша разлука действует на мои нервы столько же, как и на мои чувства, и что я становлюсь лучше вдали от вас, дорогие друзья, потому что моя душа более расположена к восприятию горестных впечатлений. <...>".

Замечательное письмо! Написанное сразу после отъезда Пушкина в новую ссылку, еще утром ("Мадам Данжевиль должна прийти сегодня утром", — пишет в этом письме Вяземская), оно полно непосредственными впечатлениями горячо сочувствующего Пушкину друга. Мы словно присутствуем при прощании Пушкина. Он в о т ч а я н и и — "из-за некоего чувства, которое разрослось в нем в последние дни, как это бывает". Вяземская исправляет: "в особенности из-за некоего чувства" — не в одной любви дело... Она смягчает: "Хотя все это очень целомудренно, да и серьезно лишь с его стороны".

Имени женщины не названо, но все эти оговорки и настойчивые требования Вяземской, чтобы муж не писал ей на эту тему, выдают ее с головой: "есть причины, чтобы оставить этот разговор", — нужно хранить тайну, потому что героиня романа занимает в городе какое-то чрезвычайное положение.

А письма к Вяземской не могут не перлюстрироваться — ежедневные общения ее с Пушкиным, конечно, замечены, а то, что за ним следят, не подлежит ни малейшему сомнению. Мы знаем слова Воронцова: "По всему, что я узнаю на его <Пушкина> счет и через Гурьева, и через Казначеева, и через полицию, он теперь очень благоразумен и сдержан..."[105]; известные строки Пушкина об атеизме были извлечены из перехваченного письма его[106]; теперь же читаем мы красноречивое сообщение, что человека, адрес которому был надписан Пушкиным, допрашивали о нем.

Есть и еще одно обстоятельство, которое окончательно раскрывает имя женщины, которую любил Пушкин: Вяземская сообщает, что "вчера вечером", то есть 31 июля, уехала Воронцова. А это то самое число, возле которого Пушкин отметил в календарике: "départ". Дату отъезда любимой женщины отметил поэт, он должен запомнить э т у дату, а не день своего отъезда... Он-то уехал на другое утро, "только что", — пишет Вера Федоровна утром 1 августа.

То, что дата отъезда из Одессы 31 июля означает отъезд не Пушки-

[105] Из письма М.С.Воронцова к П.Д.Киселеву от 6 марта 1824 года. «Летопись», стр. 445.

[106] См. «Летопись», стр. 462—463.

на, а Воронцовой, убеждает в правильности гипотезы о связи заметок в «Альманахе для дам» именно с нею.

Письмо Вяземской окончательно укрепляет гипотезу о близости Пушкина и Воронцовой.

Исправляет оно бесповоротно и дату отъезда Пушкина из Одессы в Михайловскую ссылку. Выехал он не 30 июля, как считалось с 1861 года, на основании сообщения в «Полярной звезде» Герцена[107], не 31 июля, как было принято с 1941 года[108], а 1 августа на основании письма Вяземской[109] и осмысления заметки поэта в календарике (31 départ)[131].

Теперь понятно и то, почему так смело нарушил Пушкин подписанное им 29 июля обязательство "без замедления отправиться из Одессы", — он хотел оттянуть расставание с уезжавшей Воронцовой.

Новое письмо Вяземской еще раз показывает нам редчайшее благородство Пушкина: уезжая в глухую деревню в ссылку, он у м о л я е т (через Веру Федоровну) своего любимого корреспондента, умного и острого Вяземского, не писать ему... Пушкин боится, что переписка с ним скомпрометирует его друга.

Обращает на себя внимание и беспокойство — "хорошо ли его примут родители", как отнесется мать к несчастью сына. Эти чувства исходят, конечно же, от Пушкина. Он прожил с родителями три года — со времени окончания лицея — до ссылки. Нелегкий опыт чувствуется в этой тревоге возвращающегося в семью поэта...

2. МИХАЙЛОВСКОЕ

Более полутора тысяч верст пути надо было преодолеть Пушкину на лошадях. Ехал он девять дней.

Наконец добрался до Михайловского.

На августовском листочке «Дамского альманаха» 1824 года появляется запись: "9 arrivé à M —" (девятого приехал в Михайловское).

"И был печален мой приезд..." — вспоминает поэт (VI, 492). Здесь ждали его тяготы другого рода.

"Милый, прибегаю к тебе, — пишет Пушкин Жуковскому. — Посуди о моем положении. Приехав сюда, был я всеми встречен как нельзя лучше, но скоро все переменилось: отец, испуганный моею ссылкою, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь; Пещуров[110], назначенный за мною смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче быть моим

[107] В публикации «Отрывок из письма А Пушкина, перехваченного на почте» — «Полярная звезда на 1861». Книга шестая. Лондон — Женева, 1861, стр. 123.

[108] *Д. П. Якубович.* Указ. соч., стр. 33.

[109] Сообщено мною в статье «Неясные места биографии Пушкина». Сб. «Пушкин. Исследования и материалы». Т.IV. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1962, стр 33.

[110] Пещуров Алексей Никитич (1779—1849) — опочецкий предводитель дворянства.

шпионом; вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволяли мне с ним объясниться; я решился молчать. Отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие. Я все молчал. Получают бумагу, до меня касающуюся. Наконец, желая вывести себя из тягостного положения, прихожу к отцу, прошу его позволения объясниться откровенно... Отец осердился. Я поклонился, сел верхом и уехал. Отец призывает брата и повелевает ему не знаться avec ce monstre, ce fils dénaturé.....[111] (Жуковский, думай о моем положении и суди.) Голова моя закипела. Иду к отцу, нахожу его с матерью и высказываю все, что имел на сердце целых 3 месяца. Кончаю тем, что говорю ему в последний раз. Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я его бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить... Перед тобою не оправдываюсь. Но чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением? Рудников сибирских и лишения чести? Спаси меня хоть крепостию, хоть Соловецким монастырем. Не говорю тебе о том, что терпят за меня брат и сестра — еще раз спаси меня. 31 окт.

А. П." (XIII, 116).

Приходится укрываться у соседей — в Тригорском, где Пушкин проводит иногда по нескольку дней. Там отношения к нему самые дружественные, самые сердечные.

Первые месяцы в деревне живет он воспоминаниями, ожиданием писем из Одессы.

Чувство к женщине, от которой поэт насильственно отторгнут, преображается в его искусстве.

Первое стихотворение, связанное с Воронцовой, написанное в Михайловском (или, может быть, там только переписанное[112]), — это «К морю», — ранняя редакция, еще без строф о Наполеоне, о Байроне, — лирическое прощание со "свободной стихией" — с значительным признанием:

Могучей страстью очарован,
У берегов остался я...

Быть может, тогда же, сразу после разлуки, еще до получения писем от Воронцовой, написано одно беспросветное по настроению стихотворение[113]. Беспросветно оно не только тем, что поэт оторван от любимой ("прощай, надежда, спи, желанье"), но и тем, что он видит

[111] С этим чудовищем, выродком (*франц.*).

[112] Беловой текст первой редакции стихотворения «К морю» переписан во «вторую масонскую тетрадь» (ПД, № 835), которой Пушкин стал пользоваться в Михайловском в самом начале прибытия туда.

[113] Датировано стихотворение "Храни меня, мой талисман..." в Академическом издании очень широко: "предположительно августом 1824 — первой половиной 1825 года" (II, 1161).

себя окруженным различными бедствиями, обступающими его со всех сторон.

Создавалось стихотворение в ту пору, когда гонимого поэта стали искушать мечты о спасительном бегстве из России. И вместе с тем мудрый Пушкин представлял себе тягчайшее испытание — одиночество, которое ждет человека, покинувшего отечество ("в уединеньи чуждых стран"). Мученье это — в одном кругу с преследованиями правительством ("гоненье"), с духовной расплатой за что-то содеянное ("раскаянье"), с внезапными перипетиями судьбы ("волненье"). Постоянно ждет Пушкин грозящие ему кары, более катастрофические, чем "гоненье" ("Когда подымет океан / Вокруг меня валы ревучи, / Когда грозою грянут тучи..."). Ждет он от судьбы и испытания бездействием ("лоно скучного покоя", "праздного покоя" — по первоначальному варианту). Пушкин хорошо знал эту пытку деятельному человеку. Был перед ним и осознанный пример Наполеона — "Мучением покоя / В морях казненного по манию царей" (II, 312). Предвидит поэт и напряженное ощущение неминуемой смерти, подстерегающей человека на каждом шагу на войне ("в тревоге пламенного боя"). Невыносим, наконец, и вынужденный разрыв с любимой ("Священный сладостный обман, / Души волшебное светило... / Оно сокрылось, изменило...")...

Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в день печали был мне дан.

Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозою грянут тучи —
Храни меня, мой талисман.

В уединеньи чуждых стран,
На лоне скучного покоя,
В тревоге пламенного боя
Храни меня, мой талисман.

Священный сладостный обман,
Души волшебное светило...
Оно сокрылось, изменило...
Храни меня, мой талисман.

Пускай же ввек сердечных ран
Не растравит воспоминанье.
Прощай, надежда; спи, желанье;
Храни меня, мой талисман (II, 396).

Не об измене женщины речь в строфе "Священный сладостный обман...". В черновике было намечено продолжение, показывающее, что поэт имел в виду отошедшее счастье, поворот судьбы:

Как сон, как утренний туман
Любви сокрылось сновиденье .

"Талисманом" называл Пушкин свой перстень с вырезанными на камне таинственными письменами[114]. Это был подарок Воронцовой. "Талисманом" запечатывал Пушкин свои письма. Не расставался с заветным перстнем он и впоследствии. Много позднее, уже в 1835 году, он нарисовал свои пальцы с этим кольцом на одном из них.

До конца дней не снимал он перстня с руки. И на дуэль отправился он с "талисманом" Снять кольцо с мертвой руки Пушкина пришлось Жуковскому[115].

Сестра Пушкина рассказывала, что, когда приходило ему письмо с такой же печатью, как на его перстне, он запирался в своей комнате, никуда не выходил, никого не принимал.

Через две недели после приезда в деревню Пушкин возвращается к давно оставленному стихотворению. Это вольный перевод из Парни («Les déguisements de Vénus» — «Превращения Венеры» — XXVII стихотворение цикла). Три года назад, в 1821 году, написав одиннадцать стихов, Пушкин оставил его недоконченным. Теперь, в Михайловском, он вернулся к нему. Почему?

Всякое произведение великого поэта волнует не только волшебством своего текста, но и тайной своего зарождения. Почему влечет Пушкина, перенесенного силою обстоятельств с юга в деревню, к теме царицы ада? Его занимает не столько передача текста Парни на русском языке, сколько то, что он вкладывает своего, чем он обогащает стихотворение французского поэта. Пушкин привносит в текст оригинала описание Элизия и образ сладострастной Прозерпины. Варианты этих — своих — мотивов в черновике особенно обильны. Заканчивает поэт стихотворение, переписывает и ставит дату: 26 августа 1824.

Вот как сложилось стихотворение окончательно:

ПРОЗЕРПИНА

Плещут волны Флегетона,
Своды тартара дрожат,
Кони бледного Плутона

[114] Много позднее эксперты прочли этот текст, оказавшийся еврейской надписью о принадлежности перстня какому-то раввину: "Симха, сын почтенного рабби Иосифа, да будет благословенна его память" (*А. С. Пушкин.* Под ред. С.А.Венгерова. Т.IV. Спб., 1910, стр. XXIV—XXV, комментарий Н.О.Лернера).

[115] О «Талисмане» Пушкина см.: «Из записей П.И.Бартенева», стр. 267—268.

Быстро к нимфам Пелиона
Из аида бога мчат.
Вдоль пустынного залива
Прозерпина вслед за ним,
Равнодушна и ревнива,
Потекла путем одним.
Пред богинею колена
Робко юноша склонил.
И богиням льстит измена:
Прозерпине смертный мил.
Ада гордая царица
Взором юношу зовет,
Обняла — и колесница
Уж к аиду их несет:
Мчатся, облаком одеты;
Видят вечные луга,
Элизей и томной Леты
Усыпленные брега.
Там бессмертье, там забвенье.
Там утехам нет конца.
Прозерпина в упоенье,
Без порфиры и венца,
Повинуется желаньям,
Предает его лобзаньям
Сокровенные красы,
В сладострастной неге тонет
И молчит и томно стонет...
Но бегут любви часы;
Плещут волны Флегетона,
Своды тартара дрожат:
Кони бледного Плутона
Быстро мчат его назад.
И Кереры дочь уходит,
И счастливца за собой
Из Элизия выводит
Потаенною тропой;
И счастливец отпирает
Осторожною рукой
Дверь, откуда вылетает
Сновидений ложный рой (II, 320).

5 сентября Пушкин получает письмо. "U. l. d. [EW.]»[116] (Une lettre de Elise Worontsoff — письмо от Элизы Воронцовой), — записывает он в черновой тетради и зачеркивает монограмму.

Это, вероятно, первое ее письмо, событие в его жизни.

Письма возбуждали чувство, но тоски не утоляли...

Он рассматривает ее портрет, подарки:

[116] См. «Рукою Пушкина», стр. 301—302. Эти инициалы расшифровывались по-разному. См. статью М.А.Цявловского «Из записей П.И Бартенева», стр. 272

Пускай увенчанный любовью красоты
В заветном золоте хранит ее черты
И письма тайные, награды долгой муки,
Но в тихие часы томительной разлуки
Ничто, ничто моих не радует очей,
И ни единый дар возлюбленной моей,
Святой залог любви, утеха грусти нежной —
Не лечит ран любви безумной, безнадежной (II, 366)[117].

В октябре создается большое стихотворение — «Клеопатра»[118]. Пишется оно вдохновенно, стремительно; почерк летящий; рука еле поспевает за рождающимися стихами. Никаких отвлечений. Никаких рисунков. Зачеркивания, замены — все молниеносно. Поэт переполнен мыслями, образами, звуками.

Это осень, "Михайловская осень" 1824 года, плодоносная исключительно.

Заканчивает Пушкин «Клеопатру» в течение месяца.

Мне представляется, что образ Клеопатры — это развитие образа Прозерпины. Если там "ада гордая царица" отдается робкому юноше ("Прозерпине смертный мил") —

Прозерпина в упоенье,
Без порфиры и венца,
Повинуется желаньям,
Предает его лобзаньям
Сокровенные красы,
В сладострастной неге тонет
И молчит и томно стонет...

то здесь в клятве царицы те же мотивы, но выраженные еще сильней.

И снова гордый глас возвысила царица:
"Теперь забыты мной венец и багряница!
Простой наемницей на ложе восхожу;
Неслыханно тебе, Киприда, я служу,

[117] Стихотворение "Пускай увенчанный любовью красоты..."» датировано в Академическом издании "предположительно сентябрем — декабрем 1824 года" (II, 1151).

[118] В 1828 году Пушкин значительно переработал стихотворение и прибавил к нему еще один фрагмент. Печатается в Сочинениях Пушкина эта вторая редакция, и помещается она среди стихотворений 1828 года (III, 130). Вот почему первой редакции читатель не знает, как не знает он и того, что стихотворение написано в 1824 году.

В 1835 году Пушкин ввел стихи в повесть "Мы проводили вечер на даче" (VIII, 422—423), а затем, оставив этот замысел, перенес их в повесть «Египетские ночи», где они должны были стать стихами импровизатора (VIII, 274—276).

И новый дар тебе ночей моих награда.
О боги грозные, внемлите ж, боги ада,
Подземных ужасов печальные цари!
Примите мой обет: до сладостной зари
Властителей моих последние желанья
И дивной негою и тайнами лобзанья,
Всей чашею любви послушно упою...

Обет Клеопатры заканчивается клятвой:

Когда же сквозь завес во храмину мою
Блеснет Авроры луч — клянусь моей порфирой,
Главы их упадут под утренней секирой!» (III, 686).

Творческий мир великого поэта так сложен, богат, таинствен, что попытка проникновения в истоки замысла произведения, его толкование чаще всего кажутся произвольными, обедненными.

И тем не менее меня искушает интуитивная догадка, что образ Клеопатры, как и Прозерпины, в поэзии Пушкина — это преображение в искусстве образа той женщины, которая владела чувствами и помыслами поэта последние месяцы.

Властителей моих последние желанья
И дивной негою и тайнами лобзанья,
Всей чашею любви послушно упою... —

это преломленный образ Воронцовой, поразивший поэта контрастом между ее царственной внешностью и сокровенной сущностью[119].

Конечно, Воронцова — Клеопатра не в том смысле, что она может послать любовника на смерть. Но литературный образ имеет свою власть над художником, и образ Клеопатры был бы неполон, если бы она не посылала своих любовников на казнь.

Во время писания «Клеопатры», в те же дни — между 2 и 8 октября, — Пушкин лишь однажды отрывается от работы и создает маленькое лирическое стихотворение.

Поэт озаглавливает его: «Ребенку», но заглавие заменяет.

МЛАДЕНЦУ

Дитя, не смею над тобой
Произносить благословенья.
[Ты] взором, [мирною <?> душой],
[Небесный] ангел утешенья.

[119] К тому, что пушкинская Прозерпина — это выраженный в поэзии образ Воронцовой, уже приходил М О.Гершензон. См. об этом в статье М.А.Цявловского «Из записей П.И.Бартенева». стр. 269 и 271.

Да будут ясны дни твои,
Как [милый] взор <твой> <?> ныне ясен.
[Меж] [лу<чших> <?>] жребиев земли
Да [б<удет>] жребий твой прекрасен (II, 351).

Почему прерывается вдохновенная работа над «Клеопатрой» этим стихотворением? Жизнь со всей ее неумолимой силой вторгалась в искусство...

Раздумывая над смыслом этих строк во время писания романа «Пушкин в Михайловском», покойный Иван Алексеевич Новиков предположил, что стихи эти, вероятно, обращены к внебрачному ребенку поэта. Догадку свою решил он проверить, обратившись к рукописи стихотворения, надеясь найти в черновых вариантах (они еще не были опубликованы) подтверждение своей мысли.

Не имея опыта в чтении черновиков Пушкина, известных своей трудностью, он просил меня пойти с ним в рукописный отдел Всесоюзной библиотеки имени В.И.Ленина, где тогда хранились рукописи Пушкина.

Вот что мы прочитали в автографе:

Я не скажу тебе зачем

*

Я не скажу тебе причины

*

Дитя, я не скажу тебе
Причины

*

Ты равнодушно обо мне
Дитя со временем услышишь

*

И равнодушно обо мне
Молву со временем услышит

*

клевета
Черты мои тебе опишет

Здесь поэт находит начало стихотворения (он отмечает его, отчеркнув его от предыдущих строк):

Прощай о милое дитя
Я не скажу тебе причины

Прощай прелестное дитя
живи, шутя

*

Моей таинственной любви
Я не скажу тебе причины.

*

Прощай дитя моей любви
Я не скажу тебе причины

*

И клевета ей образ <мой> <?>

*

И клевета неверный <?> ей
Быть может <образ мой> опишет
< >
Она со временем услышит

*

И клевета черты мои
Неверно ей опишет

*

И клевета неверно ей
Быть может, образ мой опишет,
О том, кто
Она со временем услышит

*

И клевета неверно ей
Чертами <?> опишет,
Быть может о судьбе моей
Она со временем услышит

И вот — новое начало:

Дитя, не смею над тобой
Произносить благословенья,
Ты ангел мирною <?> душой.

*

Ты ангел утешенья

*

Ты чистый ангел утешенья

*

Ты тихой <?> ангел утешенья

*

[Ты] взором, [мирною <?> душой]
[Небесный] ангел утешенья

*

Прими желания мои,
Не знай бо<лезней> <?> (II, 883-885).

Слова прощанья, боязнь клеветы, которая может исказить истинные черты поэта, отбрасываются. Сохраняются только два четверостишия, выражающие устранение себя из жизни ребенка и пожелание ему ясных дней. Большего не надо: слова обращены к младенцу.

Стихотворение осталось в черновике, многие слова зачеркнуты и не заменены, другие читаются предположительно. И тем не менее пушкинистам удалось прочесть два четверостишия[120].

Казалось бы, стих "Прощай, дитя, моей любви" не оставляет сомнения в правильности догадки И.А.Новикова[121].

Однако могут быть и возражения. В черновой рукописи Пушкина почти совсем не соблюдена пунктуация. Поэтому не исключена возможность соотнесения слов "моей любви" в начальном стихе со следующим:

Прощай, дитя, моей любви
Я не скажу тебе причины[122].

Впрочем, это не меняет общего толкования стихотворения.

Укрепился в своей догадке И.А.Новиков, когда увидел в алупкинском дворце портрет одной из дочерей Воронцовых. Девочка резко отличалась внешностью от остальных членов семьи. Среди блондинов — родителей и других детей — она единственная была темноволоса.

Родословные разыскания говорят о том, что эта дочь Воронцовой, Софья, родилась 3 апреля 1825 года[123]. Стихи Пушкина, написанные

[120] Рукопись эта воспроизведена в Академическом издании. Т.II, стр. 350/351.

[121] До него Н. О. Лернер (известный пушкинист старшего поколения) считал это стихотворение обращенным к четырехлетней дочери Воронцовой. А некоторые современные авторы связывают стихотворение «Младенцу» с ребенком дворовой девушки Пушкиных Ольги Калашниковой, над которым будто бы Пушкин не смеет произносить благословения. Они оставляют в стороне то, что родила она через два года после написания стихотворения.

[122] Так читает эти строки Б. П. Городецкий в книге «Лирика Пушкина». М. — Л., 1962, стр. 290.

[123] См. статью М. А. Цявловского «Из записей П. И. Бартенева...», стр. 276.

между 2 и 8 октября 1824 года, могли возникнуть после письма возлюбленной, в котором она извещала его о том, что готовится стать матерью.

Это гипотеза.

Но гипотеза крепнет, когда ее поддерживают факты иной категории.

Приведу отрывок из дневника «Вокруг Пушкина», который мы с Мстиславом Александровичем Цявловским вели на протяжении многих лет и который я продолжаю и после его кончины:

"23 сентября 1952 г. 11 ч. 15 м. вечера.

Только что ушла от меня правнучка Пушкина Наталья Сергеевна Шепелева. <...>.

Разговорились о Пушкине. Ее все больше увлекает чтение его, и хочется знать, кому посвящены те или иные стихи.

Вдруг — в беседе — она говорит, что у Пушкина был ребенок от Воронцовой.

Я, спокойно: Да, был, это бесспорно. Вы это знаете от Ивана Алексеевича Новикова? Из его романа?[124]

—Нет, от тети Анны[125].

—Да что вы?!.. Что же она вам сказала? Давно?

—Во время войны. Она уже спокойнее, равнодушнее относилась к понятию 'schocking'...

—Мудрее стала?

—Да, может быть. Она сказала мне об этом факте.

Я: Это очень значительно, то, что вы говорите. Ведь если это семейный рассказ, значит, он идет от Натальи Николаевны, а ей мог сказать, конечно, только Пушкин. Значит, он счел нужным признаться ей в этом.

Она: Да, очевидно. Тетя Анна рассказала мне это со слов своего отца[126], который вообще был очень замкнут и сдержан, но почему-то с Анной Александровной он был ближе, чем с другими детьми. Он говорил ей, что, когда он уже был взрослым, офицером, уже женатым[127], он приходил каждую субботу (именно, помню, по субботам) к своей матери, и она рассказывала ему об отце, об их жизни. Вероятно, тут Наталья Николаевна и рассказала сыну об этом.

Я: Это замечательно! Это подтверждает окончательно гипотезу пуш-

---

[124] Во время писания романа «Пушкин в изгнании» И. А. Новиков сделал несколько биографических открытий, которые сообщил предварительно на одном из заседаний Пушкинской комиссии Академии наук (13 марта 1935 г.), а затем уже ввел в роман. Среди них — о стихотворении «Младенцу».

[125] Анна Александровна Пушкина (1866—1949), внучка поэта.

[126] Александр Александрович Пушкин (1833—1914), старший сын поэта.

[127] Женился А. А. Пушкин 18.I.1858 г., Наталья Николаевна умерла 26.XI.1863 г. Рассказала она сыну семейную тайну в эти последние годы своей жизни.

кинистов. Догадался И.А.Новиков, прочтя свежим взглядом стихи «Младенцу», потом увидел портрет смуглой дочери Воронцовой — и все понял. Делал доклад[128]. Написал об этом в своем романе[129]. Мстислав Александрович был совершенно с ним согласен, ввел этот эпизод в свою статью о Пушкине и Воронцовой[130]. Потом были у него и еще догадки о других материалах; позднее и я осмыслила происхождение некоторых стихов. Я все это должна дописать.

—Только не надо об этом сейчас печатать и говорить! Пока жива тетя Юлия[131], — не надо. Надо щадить старых людей.

—А она знает?

—Не знаю. Я никогда ни с кем об этом не говорила. Вам говорю первой. Я-то держусь других взглядов. Во-первых, я считаю, что жизнь Пушкина не надо утаивать, и не вижу ничего дурного в том, что у него мог быть внебрачный ребенок".

Так вот какой характер отношений был между Пушкиным и Натальей Николаевной! Он пришел к браку с сердцем, облегченным полной исповедью.

Вероятно, уговорились они делиться друг с другом всеми своими увлечениями, и прошедшими и, будущими. Отсюда — постоянная тема ревности, то серьезной, то шутливой, в переписке Пушкина с женой[132].

И еще одно подтверждение достоверности этой гипотезы И.А.Новикова.

В «Мемуарах кн. М.С.Воронцова за 1819-1833 годы»[133], составленных им для сестры его леди Пемброк[134], есть упоминания о рождении всех его детей. Отсутствует только запись о рождении Софьи[135].

---

[128] В докладе «Пушкин в селе Михайловском в 1824—1826 годах», прочитанном в Пушкинской комиссии Академии наук СССР 13 марта 1935 года, И. А.Новиков высказал предположение, что Пушкин в своем незавершенном стихотворении «Младенцу» разумел своего ребенка от Воронцовой. (См. указанную статью М.А.Цявловского «Из записей П.И.Бартенева», стр. 276.)

[129] Роман И. А. Новикова «Пушкин в Михайловском». М., 1936, стр 111—114; его же роман «Пушкин в изгнании». М.-Л., 1947, стр. 450—452; изд. 1953 г., стр. 515—517.

[130] См. статью М. А. Цявловского «Из записей П. И. Бартенева».

[131] Вдова внука поэта Григория Александровича Пушкина — Юлия Николаевна Пушкина (1873—1967).

[132] Соображения С.М. Бонди.

[133] В подлинном тексте «Воспоминания» написаны на французском языке. Опубликованы они — «Mémoires du prince M. Woronzow. 1819—1833» в издании «Архив князя Воронцова». Книга XXXVII. М., 1891, стр. 63—102. Ниже записи Воронцова даются в переводе.

[134] См. там же, во Введении П. И. Бартенева (стр. XI ненумерованная).

[135] В главе «1820» сказано: "В начале этого года Лиза родила дочь, которую мы

Быть может, это умолчание случайно и не вызвано оскорбленным чувством мужа? В главе о 1832 годе Воронцов называет Софью среди своих детей[136]. А может быть, это позднейшее "признание" своего отцовства вызвано осиротевшим чувством отца: из шести детей его к тому времени уцелело только двое[137].

18 октября, дней через десять после написания стихотворения «Младенцу», Пушкин создает одно из самых драматических своих стихотворений — «Коварность».

Здесь вновь появляется слово "клевета", оставшееся в черновике «Младенца». Там, предвидя, что его ребенку будут рисовать образ отца искаженно, Пушкин мог иметь в виду и Воронцова, и Раевского.

В «Коварности» же речь о другой клевете, уже сыгравшей свою роль. Неясно, что имеет тут в виду Пушкин. Мы лишены возможности читать эти строки в черновике — этом кладезе драгоценностей, так часто помогающем понять намеки, выраженные в беловике более общо (утрачен фрагмент черновой рукописи стихов 13—24, всей обличительной части монолога поэта).

Пушкин обвиняет своего "друга" в том, что он употреблял "святую власть" "дружбы" на "злобное гоненье", "затейливо язвил" "пугливое воображенье" поэта, находил "гордую забаву" "в его тоске, рыданьях, униженье", был "невидимым эхом" "презренной клеветы" о "своем друге", иначе говоря — поддерживал ее, "накинул ему цепь" и "сонного предал врагу со смехом"... Впрочем, поэт ничего не утверждает. Он еще оставляет и своему "другу", и самому себе надежду, что все это ошибка...

Оканчивается стихотворение убийственно:

потеряли через несколько дней после ее рождения" (стр. 70).

В главе «1821»: "В Лондоне родилась наша дочь Александрина" (стр. 71).

В главе «1822»: "Лиза тем временем родила сына, который был назван Александром и которого мы имели несчастье потерять год спустя" (стр. 72).

В главе «1823»: "23 октября моя жена родила нашего дорогого Семена" (стр. 73).

В главе «1826»: "В Петербурге я получил известие о рождении сына, который был назван Михаилом и которого, к несчастью, мы потеряли позднее, в Англии" (стр. 78).

[136] В главе «1832»: "Мы провели начало 1832 года в Лондоне с поездками в Брайтон, где мы поместили на время нашего сына Семена в школу, а наша дочь Софья была помещена тоже временно к госпоже Перси, также в Брайтоне" (стр. 96—97).

[137] Четвертой умерла девятилетняя дочь. В главе «1830»: "Тем временем мы были под угрозой большого семейного горя: наша старшая дочь Александрина, рожденная под Вашим покровительством в Лондоне в 1821 году, тяжело болела некоторое время золотухой. Все средства были перепробованы, и было решено, что мать свезет ее в Вену" (стр. 88—89). "В половине сентября <...> я отправился соединиться с моей женой. Я узнал дорогой о несчастии, которое уже поразило нас, то есть о смерти нашей дорогой и чудесной дочери" (стр. 95).

После завершения стихотворения поэт уже с полным сознанием своей правоты озаглавливает его.

КОВАРНОСТЬ

Когда твой друг на глас твоих речей
Ответствует язвительным молчаньем;
Когда свою он от руки твоей,
Как от змеи отдернет с содроганьем;
Как, на тебя взор острый пригвоздя,
Качает он с презреньем головою, —
Не говори: "Он болен, он дитя,
Он мучится безумною тоскою";
Не говори: "неблагодарен он;
Он слаб и зол, он дружбы недостоин;
Вся жизнь его какой-то тяжкой сон"...
Ужель ты прав? Ужели ты спокоен?
Ах, если так, он в прах готов упасть,
Чтоб вымолить у друга примиренье,
Но если ты святую дружбы власть
Употреблял на злобное гоненье;
Но если ты затейливо язвил
Пугливое его воображенье
И гордую забаву находил
В его тоске, рыданьях, униженье;
Но если сам презренной клеветы
Ты про него невидимым был эхом;
Но если цепь ему накинул ты
И сонного врагу предал со смехом,
И он прочел в немой душе твоей
Все тайное своим печальным взором, —
Тогда ступай, не трать пустых речей —
Ты осужден последним приговором (II, 336).

Стихотворением этим ответил Пушкин на "ласкательное" письмо к себе Александра Раевского, который, утверждая свою дружбу к нему, требует от Пушкина письма[138].

Начинается письмо Раевского деланно-непринужденным тоном невинности:

"Вы совершили большую оплошность, мой друг, не дав мне своего адреса и воображая, что я не сумею разыскать вас в глуши Псковской губернии; вы избавили бы меня от лишней траты времени на розыски и раньше получили бы мое письмо" (XIII, 105 и 529 — перевод).

Раевский будто бы уверен, что Пушкину нужно его письмо.

[138] Об этом письме А. Н. Раевского к Пушкину и о разных интерпретациях его в Пушкиниане см. в статье «Из записей П.И.Бартенева», стр. 269.

"Вы пишете, что боитесь скомпрометировать меня перепиской с вами".

Мы не знаем, кому писал об этом Пушкин. Брату Раевского Николаю? Вяземской? Как мы видели, Пушкин отказывался — ради того, чтобы уберечь друга от подозрений, — от переписки с Вяземским. То же было на первых порах и с Александром Раевским (поэт еще не понимал тогда, что же такое этот "друг").

"Такое опасение ребячливо во многих отношениях, а к тому же бывают обстоятельства, когда не приходится считаться с подобными соображениями. Да и что может быть компрометирующего в нашей переписке? Я никогда не вел с вами разговоров о политике; вы знаете, что я не слишком высокого мнения о политике поэтов, а если и есть нечто, в чем я могу вас упрекнуть, так это лишь в недостаточном уважении к религии — хорошенько запомните это, ибо не впервые я об этом вам говорю" (XIII, 106 и 529).

Письмо, написанное явно в расчете на перлюстрацию, демонстрирует благонадежность его автора. Охраняя собственную репутацию, Раевский предает Пушкина.

Наконец обретает Раевский якобы сердечный, дружеский тон. Пышные комплиментарные словеса, к которым интимные друзья не прибегают даже в письмах, рассчитаны на усыпление настороженности Пушкина. Плохой расчет! Поэта не мог обмануть этот ходульный тон.

"Я испытываю настоящую потребность писать вам. Нельзя безнаказанно прожить вместе столько времени; даже оставляя в стороне множество причин, которые заставляют меня питать к вам истинную дружбу, одной привычки было бы достаточно, чтобы создать между нами истинную прочную привязанность. Теперь, когда мы так далеко друг от друга, я не стану сдерживаться в выражении чувств, которые питаю к вам; знайте же, что, не говоря о вашем прекрасном и большом таланте, я с давних пор проникся к вам братской дружбой, и никакие обстоятельства не заставят меня отказаться от нее".

Фальшь, сочиненный тон "великодушного" человека, который якобы протягивает руку другу, попавшему в беду, слишком явны.

Еще несколько строк из письма Раевского, посвященных Воронцовой. Они с Пушкиным называли ее, очевидно, между собой Татьяной. Почему? В образах одесской любви Пушкина и любимой его героини общего нет ничего. Не потому ли, что она была женою генерала, а Пушкин уже предвидел судьбу своей Татьяны?..[139] "Откладываю до другого письма удовольствие рассказать вам о происшествиях и черточках из жизни наших прекрасных соотечественниц, а сейчас расскажу вам о Татьяне. Она приняла живейшее участие в вашем несчастии; она поручила мне сказать вам об этом, я пишу вам с ее согласия. Ее нежная и добрая душа видит лишь несправедливость, жертвою которой вы стали; она выразила мне это со всей чувствительностью и пре-

[139] Догадка С.М. Бонди.

лестью, свойственными характеру Татьяны. Даже ее прелестная дочка вспоминает о вас, она часто говорит со мной о сумасбродном г-не Пушкине и о тросточке с собачьей головкой, которую вы подарили ей. Я все время поджидаю маленький портрет с двумя первыми стихами, которые вы для нее написали"[140] (XIII, 106 и 530 — перевод).

"Весело" ли было Пушкину получить от соперника известия о том, как отнеслась к несчастию, случившемуся с ним, дорогая ему женщина?..

"Ради бога, дорогой друг, — продолжает Раевский, — не предавайтесь отчаянию, берегитесь, чтобы оно не ослабило вашего прекрасного дарования, заботьтесь о себе, будьте терпеливы: ваше положение изменится к лучшему. Поймут несправедливость той суровой меры, которую применили к вам. Ваш долг перед самим собой, перед другими, даже перед вашей родиной — не падать духом; не забывайте, что вы — украшение нашей зарождающейся литературы и что временные невзгоды, жертвою которых вы оказались, не могут повредить вашей литературной славе. Я знаю, что ваша первая ссылка пошла на пользу вашему характеру; что вы теперь уже не такой взбалмошный, опрометчивый. Продолжайте в том же роде, затем питайте уважение к религии, — и я не сомневаюсь, что в самом непродолжительном времени вас выпустят из проклятой вашей деревни.

Прощайте. Ваш друг А. Раевский.

21 августа 1824.

Александрия близ Белой Церкви[141].

Мой адрес по-прежнему — Киев" (XIII, 105-107 и 529-531 — перевод).

На это письмо, может быть окончательно раскрывшее Пушкину нравственный облик его вчерашнего друга, поэт ответил стихотворением «Коварность»[142].

Позднейший приезд в Михайловское воскресил переживания и чувства, владевшие им этой осенью.

Пушкин приехал в Михайловское в 1835 году. Он пишет «Вновь я посетил...». Черновики этого стихотворения содержат многое, затем поэтом выброшенное, и среди них выразительные характеристики своих переживаний.

Черновой вариант начала:

Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел

[140] Этот рисунок Пушкина, а также стихи, обращенные к четырехлетней дочери Воронцовой Александрине, до нас не дошли.

[141] Александрия — имение матери Воронцовой, где Елизавета Ксаверьевна жила, как мы знаем, с начала августа 1824 года.

[142] См. статью «Из записей П. И. Бартенева», стр. 269.

Два года бурной младости моей
В спокойствии невольном и отрадном.
Вот <?> десять лет ушло с тех пор! — и много
Переменило время для меня...
И сам во многом я переменился —
Покорный общему закону жизни.
А кажется вчера еще бродил
Я в этих рощах и сидел недвижен
На том холме — на озеро взирая
[И поминал полуденное море —].

И другой отрывок:

Здесь, погруженный в
Я размышлял о юности моей

*

Я размышлял о бурных заблужденьях

*

Я размышлял о грустных испытаньях
Ниспосланных мне промыслом —

*

Я размышлял о юности [моей]
Потерянной средь грустных заблуждений.

*

Я размышлял о грустных заблужденьях,
Об испытаньях юности моей.

Далее развивается новая мысль:

О клевете насмешливой

*

О клевете язвительной <?>

*

О клевете, мне сердце уязвившей

*

О клевете, о строгой света

*

О строгом заслуженном осужденьи
О [мнимой] дружбе, сердце уязвившей
Мне горькою и ветреной обидой.

Поэт думал закончить стихотворение отброшенным затем фрагментом:

В разны годы
Под вашу сень, Михайловские рощи,
Являлся я — когда вы в первый раз
Увидели меня, тогда я был —
Веселым юношей, беспечно, жадно
Я приступал лишь только к жизни; — годы
Промчалися — и вы во мне прияли
Усталого пришельца — я еще
Был молод — но уже судьба и страсти
Меня борьбой неравной истомили.
[Я зрел врага в бесстрастном <?> судии,
Изменника, в товарище пожавшем
Мне руку на пиру, — всяк предо мной
Казался мне изменник или враг —]
Утрачена в бесплодных испытаньях
Была моя неопытная <?> младость —
И бурные кипели в сердце чувства
И ненависть и грезы мести бледной.
[Но здесь меня таинственным щитом
Святое провиденье осенило,
Поэзия, как ангел-[утешитель], —
Спасла меня; и я воскрес душой (III, 996-999).

Клевета, мнимая дружба и подозрительность к товарищам, ненависть, мечты о мести — вот те впечатления и чувства, которые терзали Пушкина в Михайловском в 1824 году и которые так ясно определяет он в 1835-м.

Как же должно было утешить потрясенного изгнанника письмо от Дельвига, полученное в начале октября! И сообщением об общественном мнении, которое на его, Пушкина, стороне, и безграничной верой в гений поэта и в его человеческую правоту, и добрым тоном настоящего друга, милого Дельвига, и — как следствие — возрождением веры в дружбу...

"Великий Пушкин, маленькое дитя! Иди, как шел, т.е. делай, что хочешь, но не сердися на меры людей, и без тебя довольно напуганных! Общее мнение для тебя существует и хорошо мстит. Я не видал ни одного порядочного человека, который бы не бранил за тебя Воронцова, на которого все шишки упали. Ежели б ты приехал в Петербург, бьюсь об заклад, у тебя бы целую неделю была толкотня от знакомых и незнакомых почитателей. Никто из писателей русских не поворачивал так каменными сердцами нашими, как ты. Чего тебе недостает? Маленького снисхождения к слабым. Не дразни их год или два, бога ради! Употреби получше время твоего изгнания. Продав второе издание твоих сочинений, пришлю тебе и денег, и, ежели хочешь, новых книг.

Объяви только волю каких и много ли...” (письмо от 28 сентября 1824 г.; XIII, 110).

После написания стихотворения «Коварность» проходит дней десять. Пушкин пишет в черновом письме к В.Ф.Вяземской: “Все, что напоминает мне море, наводит на меня грусть — журчанье ручья причиняет мне боль в буквальном смысле слова — думаю, что голубое небо заставило бы меня плакать от бешенства; но слава богу, небо у нас сивое, а луна точная репка”» (последние слова, начиная со слов “но слава богу”, написаны во французском письме по-русски; XIII, 114 и 532).

Как это постоянно у Пушкина бывает, мысль, высказанная в письме, развиваясь, требует поэтического воплощения. Создается стихотворение, начальные стихи которого — антитеза пейзажа здесь и там — являются претворением в поэзии чувств и образов, выраженных в письме.

Ненастный день потух; ненастной ночи мгла
По небу стелется одеждою свинцовой;
Как привидение, за рощею сосновой
    Луна туманная взошла...
Все мрачную тоску на душу мне наводит.
Далеко, там, луна в сиянии восходит;
Там воздух напоен вечерней теплотой;
Там море движется роскошной пеленой
    Под голубыми небесами ..
Вот время: по горе теперь идет она
К брегам, потопленным шумящими волнами;
    Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит печальна и одна...
Одна... никто пред ней не плачет, не тоскует;
Никто ее колен в забвеньи не целует;
Одна... ничьим устам она не предает
Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных.
.....
.....
.....
Никто ее любви небесной не достоин.
Не правда ль: ты одна... ты плачешь... я спокоен;
.....
Но если ..... (II, 348).

Мы точно слышим прерывающееся дыхание поэта при воспоминании о любимой, при сопутствующем ему сомнении в ней...

Разъедающее душу неверие не дает досказать подступившую догадку. Слова иссякают. Паузы — небывалые в поэзии — нарастают.

Мысль о Раевском не оставляет Пушкина. И не напрасно. Он услышит еще о нем в 1828 году, вспомнит его и перед последней дуэлью.

Но идет еще 1824 год.

Пушкин должен уничтожить письмо Воронцовой — "она велела"... Вероятно, то, где она говорит ему об его будущем отцовстве.

В конце декабря или в начале января 1825 года появляется

СОЖЖЕННОЕ ПИСЬМО

Прощай, письмо любви! прощай: она велела.
Как долго медлил я! как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!.
Но полно, час настал. Гори, письмо любви.
Готов я; ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет...
Минуту!.. вспыхнули! пылают — легкий дым
Виясь теряется с молением моим.
Уж перстня верного утратя впечатленье,
Растопленный сургуч кипит. О провиденье!
Свершилось! Темные свернулися листы;
На легком пепле их заветные черты
Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди .. (II, 373).

Отметим и один оброненный поэтом набросок об отсылаемом письме.

Так <нрзб.> слезами
Пылая капает сургуч (II, 473)[143].

Образ этот не получил развития.

А затем у нас на глазах происходит один неожиданный, казалось бы, непонятный творческий ход Пушкина.

В начале октября закончил он поэму «Цыганы», закончил совершенно, переписал, написал эпилог. Было это 10 октября. И вот спустя три месяца, в январе 1825 года, поэт возвращается к законченной вещи. Он пишет так называемый монолог Алеко над колыбелью новорожденного сына.

Текст этот построен на контрасте отношения к младенцу, рожденному в цыганском шатре, и другому, рожденному в "блистающих палатах". Этот последний мотив еле слышится, он звучит как обертон, но он-то и важен поэту.

[143] В сознание читателей старшего поколения эти строки вошли в искаженном виде:

Так на п[оследние] страницы Пылая капает сургуч.

Так напечатано в издании: *А. С. Пушкин.* Полн. собр. соч. Ред. вступ. статьи и комментарии Валерия Брюсова. Т.I, ч. I, 1919, стр. 258.

Монолог написан в духе всей поэмы, выражающей глубокое разочарование в просвещении, к которому пришел Пушкин во время тяжелого мировоззренческого кризиса в 1823—1824 годах.

Если в стихах, писавшихся непосредственно после известия о будущем отцовстве, драма Пушкина состояла в том, что он не смеет благословить свое дитя, и в том, что его образ в глазах ребенка извратят, оклевещут, — то вскоре Пушкин перестал думать о себе. Он увидел грядущую судьбу своего незаконного ребенка. Она проступает как доминанта:

Бледна, слаба Земфира дремлет —
Алеко с радостью в очах
Младенца держит на руках
И крику жизни жадно внемлет.
"Прими привет сердечный мой,
Дитя любви, дитя природы,
И с даром жизни дорогой
Неоцененный дар свободы!..
Останься посреди степей.
Безмолвны здесь предрассужденья
И нет их раннего гоненья
Над дикой люлькою твоей.
Расти на воле без уроков.
Не знай стеснительных палат
И не меняй простых пороков
На образованный разврат.
Под сенью мирного забвенья
Пускай цыгана бедный внук
Лишен и неги просвещенья
И пышной суеты наук —
Зато беспечен, здрав и волен,
Тщеславных угрызений чужд,
Он будет жизнию доволен,
Не зная вечно-новых нужд.
Нет, не преклонит он [колен]
Пред идолом какой-то чести,
Не будет вымышлять измен,
Трепеща тайно жаждой мести —
Не испытает м<альчик> мой
Сколь [жестоки пени],
Сколь черств и горек хлеб чужой —
Сколь тяжко <медленной> [ногой]
Всходить на чуждые ступени.
От общества быть может я
Отъемлю ныне гражданина —
Что нужды — я спасаю сына —
И я б желал, чтоб мать <моя>
Меня родила в чаще леса,
Или под юртой остяка,

Или в расселине утеса.
О сколько б едких угрызений,
Тревог, разуверений
Тогда б я в жизни не узнал,
О сколько... (IV, 444-447).

Поэт много работал над этим монологом, но в конце концов оставил его и в поэму не ввел.

В первоначальной редакции отрывка тайная мысль поэта была обнаженнее:

Твое рожденье средь степей
Не встретил крик предрассужденья,
И не страшусь его презренья
Над бедной люлькою твоей (IV, 447).

Не очевидно ли, что это преображенные в искусстве собственные переживания?

Можно думать, что Пушкин предвидел, что его ребенок будет смугл, будет нести в себе африканские черты. Это не сможет не поразить окружающих. Им станет ясно, что ребенок — незаконный. А по условиям того времени это неминуемо повлечет за собой пренебрежительное отношение. Все эти мысли читаем мы в первоначальных вариантах этих стихов.

Обращение Алеко к младенцу, рожденному от свободного союза с цыганкой, начиналось так:

В твое рожденье над тобой
Не крик предрассужденья жадный

*

Не крик предрассужденья хладный

*

Не встретил смех предрассужденья (IV, 447).

В последней редакции монолога Алеко есть еще набросок нескольких стихов, которые в текст не вошли:

Коварный шепот клеветы,
Любви тщеславные мечты
И дружбы пени (IV, 446).

Здесь нельзя не узнать характеристики Александра Раевского.

Его выдают слова "коварный", "может быть", "клевета", "дружбы пени". В стихе о пенях дружбы угадываем мы пушкинскую характерис-

тику письма к нему Раевского, уже вызвавшего ответ — стихотворение «Коварность».

Здесь появляется еще не названная нигде черта — "любви тщеславные мечты". Вот как понимал Пушкин любовь Раевского к графине Воронцовой — она порождена тщеславием...

Дальнейшие строки:

Ни покровительством —
Ни клеветой (IV, 446).

Здесь речь уже о Воронцове. Вспомним письмо Пушкина к Казначееву, человеку порядочному. Пушкин написал ему в Одессе в начале июня 1824 года, когда Казначеев, по-видимому, урезонивал Пушкина в связи с прошением его об отставке после истории с саранчой:

"Мне очень досадно, что отставка моя так огорчила вас, и сожаление, которое вы мне по этому поводу высказываете, искренне меня трогает. Что касается опасения вашего относительно последствий, которые эта отставка может иметь, то оно не кажется мне основательным. О чем мне жалеть? О своей неудавшейся карьере? С этой мыслью я успел уже примириться. О жаловании? Поскольку мои литературные занятия [дают мне больше денег], вполне естественно [пожертвовать им моими служебными обязанностями и т.д.] Вы говорите мне о покровительстве и дружбе. Это две вещи несовместные. Я не могу, да и не хочу притязать на дружбу графа Воронцова, еще менее на его покровительство: по-моему, ничто так не бесчестит, как покровительство, а я слишком уважаю этого человека, чтобы желать унизиться перед ним. На этот счет у меня свои демократические предрассудки, вполне стоящие предрассудков аристократической гордости.

Я устал быть в зависимости от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника, мне наскучило, что в моем отечестве ко мне относятся с меньшим уважением, чем к любому юнцу-англичанину, явившемуся щеголять среди нас своей тупостью и своей тарабарщиной.

Единственное, чего я жажду, это — независимости (indépendance), простите мне это слово ради вещи; с помощью мужества и упорства я в конце концов добьюсь ее. Я уже поборол в себе отвращение к тому, чтобы писать стихи и продавать их, дабы существовать на это, — самый трудный шаг сделан. Если я еще пишу по вольной прихоти вдохновения, то, написав стихи, я уже смотрю на них только как на товар по столько-то за штуку. Не могу понять ужаса своих друзей (не очень-то знаю, — кто они — эти мои друзья).

Несомненно, граф Воронцов, человек неглупый, сумеет обвинить меня в глазах света: победа очень лестная, которою я позволю ему полностью насладиться, ибо я столь

же мало забочусь о мнении света, как о брани и о восторгах наших журналов" (XIII, 95—96 — французский текст, 528 — перевод; разрядка моя — *Т. Д.*).

В письме этом теснятся горькие мысли и чувства, многие из которых обрели потом и поэтическое выражение.

Так, мысль о том, что "ничто так не бесчестит, как покровительство", узнаем мы в словах монолога Алеко над колыбелью сына:

Что бросил я? измен волненье,
Предрассуждений приговор,
Толпы безумное гоненье
Иль покровительства позор (IV, 451-452),

и в приведенных вариантах его — "Ни покровительством... Ни клеветой..." (IV, 446).

Стих "Толпы безумное гоненье" — поэтическая трансформация мысли Пушкина в письме о том, что он мало заботится о мнении света.

Утверждение — "покровительство и дружба — две вещи несовместные" — наконец, потеря веры в дружбу, столь высоко ценимую Пушкиным с лицейских времен — "Не очень-то я знаю, — кто они — эти мои друзья", — все это выразилось афористически спустя полгода в стихотворении, исполненном горечи:

ДРУЖБА

Что дружба? Легкий пыл похмелья,
Обиды вольный разговор,
Обмен тщеславия, безделья
Иль покровительства позор (II, 460).

Приведенные сопоставления подтверждают гипотезу о том, что монолог Алеко создан под влиянием мысли о предстоящем рождении у Воронцовой ребенка от Пушкина. Только неотвязными думами о грядущем событии можем мы себе объяснить такое запоздалое добавление к законченной поэме, добавление, вызванное не органическим требованием искусства, добавление, так и не нашедшее места в поэме.

В январе 1825 года пишет Пушкин стихи на французском языке.

Почему по-французски?

По обычаю, распространенному в ту эпоху в дворянских семействах, Пушкин сочинял в раннем детстве французские стихи; в лицее писал он французские стихотворения, большинство которых для француженки Марии Смит, урожденной Шарон-Лароз. Написал он на французском языке позднее, в 1821 году, две беспощадные эпиграммы — на француженку Аглаю Давыдову, урожденную герцогиню де Грамон. И вот в 1825 году вновь пишет он стихи на французском языке — в

последний раз.

Это поэтические, необыкновенно тонкие стихи об увядшей розе. Они предназначались для польки, но женщины французской культуры, во всяком случае — французской речи, — Воронцовой.

Здесь приведу лишь мнение поэта С.П.Боброва (в ответ на мою догадку): "Конечно, это ей: Элизей, Элизий, — это же звуки ее имени — Элиза" (вспомним и «Прозерпину»).

Quand au front du convive, au beau sein de Délie
La rose eblouissante <?> a terminé sa vie
Soudain [se détachant] de sa tige natale
Comme un léger soupir sa douce âme s'exhale,
Aux rives [Elysées] ses mânes parfumés
Vont charmer du Léthé les bords inanimés (II, 376).

Перевод:

Когда на челе пирующего, на прекрасной груди Делии
Ослепительная <?> роза кончила жизнь свою
Внезапно [отрываясь] от родного стебля,
Как легкий вздох ее нежная душа испаряется,
У берегов [Элизийских] благоуханные тени ее
Зачаруют безжизненные берега Леты (II, 1206).

Стихотворения Пушкин не закончил и написал — тут же, на этом же листе — стихи на русском языке на ту же тему. Он опустил лишь мотив первого стиха — античный образ пирующего в венке и вневременной образ женщины с розой на груди.

Здесь только увядающая роза, и даже розы.

Лишь розы увядают,
Амврозией дыша,
[В Э<лизий>] улетает
Их легкая душа.
И там, где волны сонны
Забвение несут,
Их тени благовонны
Над Летою цветут (II, 377).

Здесь отзвуки рифмы из черновика «Прозерпины»:

Льются Леты струи <сонны> <?>
Немы рощи <благовонны> <?> (II, 833).

Образ здесь еще тоньше: благовонны не рощи, а тени роз (в значении загробные тени). Это образ из французского текста:

ses mânes parfumés.

Четырехстопный хорей «Прозерпины» переплавил поэт в трехстопный ямб — "Лишь розы увядают..." — и достиг этим еще большей легкости в выражении образа. Сперва написал он:

В Элизий отлетает.

Звук показался чуткому слуху поэта тяжелым для выражения души розы, и появилась замена благозвучным:

В Элизий улетает
Их легкая душа.

Быть может, в это же время, в какие-то светлые дни, живая натура Пушкина победила надлом, и поэт пишет стихотворение, овеянное мягким воспоминанием. Мы узнаем в нем уже знакомый пейзаж "пещеры дикой", "приюта любви".

В пещере тайной, в день гоненья,
Читал я сладостный Коран,
Внезапно ангел утешенья,
Влетев, принес мне талисман.

Его таинственная сила
< >
Слова святые начертила
На нем безвестная рука (II, 475).

"Ангел утешенья"... Этот образ мы знаем по стихам «Младенцу». Там назван этими нежными словами младенец, здесь — она.

И вот — новое выражение страдания. Пушкин воспользовался старым черновиком стихотворения 1823 года "Когда любовию и счастьем утомленный...".

При новом обращении к этому тексту тема круто повернута. Здесь — страданье! Страданье воинствующее. Поэт боится, что теряет любимую, он жаждет возродить ее чувство, память о себе.

ЖЕЛАНИЕ СЛАВЫ

Когда любовию и негой упоенный,
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,
Я на тебя глядел и думал: ты моя;
Ты знаешь, милая, желал ли славы я;
Ты знаешь: удален от ветреного света,
Скучая суетным прозванием поэта,
Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал

Жужжанью дальному упреков и похвал.
Могли ль меня молвы тревожить приговоры,
Когда, склонив ко мне томительные взоры
И руку на главу мне тихо наложив,
Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив?
Другую, как меня, скажи, любить не будешь?
Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь?
А я стесненное молчание хранил,
Я наслаждением весь полон был, я мнил,
Что нет грядущего, что грозный день разлуки
Не придет никогда... И что же? Слезы, муки,
Измены, клевета, все на главу мою
Обрушилося вдруг... Что я, где я? Стою,
Как путник, молнией постигнутый в пустыне.
И все передо мной затмилося! И ныне
Я новым для меня желанием томим:
Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною
Окружена была, чтоб громкою молвою
Все, все вокруг тебя звучало обо мне,
Чтоб, гласу верному внимая в тишине,
Ты помнила мои последние моленья
В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья (II, 392—393).

И наконец, быть может, еще одно стихотворение 1825 года связывается с Воронцовой. Под текстом — в автографе — помета: "Тригорское 23. 1825". Месяц не проставлен.

«Все в жертву памяти твоей...» Но не к умершей ли женщине обращены слова "в жертву памяти твоей"? — Пушкин применял эти образы и к живым, но далеким:

Уж ты для своего поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас.

За каждым стихом мы угадываем живые черты действительности, поэт отказывается от всего ради нее. Но он чувствует, что ей это не нужно... И все свои безграничные жертвы приносит он не ей, а ее памяти...

Это одно из самых сильных любовных стихотворений Пушкина по напряженному чувству, по порыву (ни одного глагола):

Все в жертву памяти твоей:
И голос лиры вдохновенной,
И слезы девы воспаленной,
И трепет ревности моей,
И славы блеск, и мрак изгнанья,
И светлых мыслей красота,

И мщенье, бурная мечта
Ожесточенного страданья (II, 433)[144].

3. ОТГОЛОСКИ

Время идет. Приходят новые увлечения. Но образ Воронцовой, воспоминания о ней порой воскресают в нем с пронзительной силой.

Так, мы видим вдруг ее монограмму в рукописи стихотворения

"Как счастлив я, когда могу покинуть
Докучный шум столицы и двора..." (III, 36).

Перед стихами читаем мы такую помету: "23 Nov‹<embre>[145].Село Козаково EW"[141]. Это 1826 год. Пушкин свободен от ссылки, он уже вернулся из Москвы, куда ездил по вызову нового императора, провел две недели опять в Михайловском и вновь едет в Москву. Село Козаково — на пути из Михайловского в Псков[146]. И вот тут Пушкин пишет несколько стихотворений на одном большом листе («Ольга, крестница Киприды...», «Зимняя дорога», «Каков я прежде был...», «Как счастлив я, когда могу покинуть...», «В еврейской хижине лампада...»).

Стихи «Как счастлив я, когда могу покинуть...» — это монолог князя из раннего, несохранившегося текста драмы «Русалка»; драма писалась в 1829 — 1832 годах, а вот эта редакция монолога князя — еще в ноябре 1826 года (это единственный фрагмент, который сохранился от первоначального текста).

Какое отношение имеет Воронцова к этому тексту? Быть может, просто совпадение, возникло воспоминание о ней — и поэт записывает над стихами ее монограмму? А может быть, что-то тайно связывает образ любимой князем русалки с образом Элизы?

Ее глаза то меркнут, то блистают,
Как на небе мерцающие звезды;
Дыханья нет из уст ее, но сколь
Пронзительно сих влажных уст
Прохладное лобзанье без дыханья.
Томительно и сладко: в летний зной
Холодный мед не столько сладок жажде...
Когда она игривыми перстами
Кудрей моих касается, тогда
Мгновенный хлад, как ужас пробегает

[144] И. А. Новиков доказывал, что "Все в жертву памяти твоей..." обращено к А.П.Керн.

[145] 23 ноября (*франц.*).

[146] Разыскания Б. В. Томашевского. Я не обнаружила этого села ни на старых, ни на новых картах.

Мне голову, и сердце громко бьется,
Томительно любовью замирая.
И в этот миг я рад оставить жизнь,
Хочу стонать и пить ее лобзанье.
А речь ее... (III, 36-37).

Это сближение даже не гипотеза, а робкий вопрос, — не так ли? — попытка понять, почему записана ее монограмма над текстом стихотворения.

Издавна связывали с Воронцовой стихотворение «Ангел» (датируется оно 1827 годом, с января по 20 июля).

Решительно утверждать соотнесение образов стихотворения «Ангел» с Воронцовой и Раевским данных нет, но, как мы видели, Воронцова была названа в стихах Пушкина "ангел-утешитель", а Раевского отождествляли современники с образом демона в стихотворении «Демон» (1823г.).

В 1826 году Пушкин узнает, что среди арестованных декабристов находится и Александр Раевский. И с невероятной щедростью души он пишет Дельвигу тревожные строки: "Милый барон! вы обо мне беспокоитесь, и напрасно. Я человек мирный. Но я беспокоюсь — и дай бог, чтобы было понапрасну. Мне сказывали, что А.Раевский под арестом. Не сомневаюсь в его политической безвинности. Но он болен ногами, и сырость казематов будет для него смертельна. Узнай, где он, и успокой меня. Прощай, мой милый друг.

П." (XII, 256).

Эта великодушная тревога освободила поэта от ненависти к А.Раевскому. И вполне допустимо видеть в стихотворении «Ангел» образы Воронцовой и Раевского[147].

АНГЕЛ

В дверях эдема ангел нежный
Главой поникшею сиял,
А демон мрачный и мятежный
Над адской бездною летал.

Дух отрицанья, дух сомненья
На духа чистого взирал
И жар невольный умиленья
Впервые смутно познавал.

[147] Против этого традиционного толкования протестовал В.В.Вересаев («Спутники Пушкина», т.I, 1937, стр. 314). Автор «Летописи жизни и творчества Пушкина» М.А.Цявловский внес «Ангела» в список стихотворений, вызванных Воронцовой.

"Прости, он рек, тебя я видел,
И ты недаром мне сиял:
Не все я в небе ненавидел,
Не все я в мире презирал" (III, 59).

В последних стихах точно бы заключено развитие образа Демона. Утверждению демонического начала:

И ничего по всей природе
Благословить он не хотел —

противопоставляется новое чувство — Демон, ощутивший любовь, очеловечен:

Не все я в небе ненавидел,
Не все я в мире презирал...

Послав вместе с другими стихотворениями «Ангела» 20 июля 1827 года на рассмотрение Бенкендорфу (на царскую цензуру), Пушкин уехал в Михайловское. Здесь почувствовал он себя в привычной рабочей обстановке. Он стал писать.

31 июля 1827 года Пушкин начал повесть о своем предке Ибрагиме Ганнибале, названную редакторами после смерти писателя «Арап Петра Великого».

В первой главе рассказывается, в частности, и о связи негра со встреченной в Париже графиней и о рождении у нее черного младенца.

Темы черного младенца от белой женщины нет ни в немецкой биографии Абрама Ганнибала, которой располагал Пушкин, ни в преданиях, которые он о нем слышал и внес в его биографию (в «Начале автобиографии» Пушкина). Там есть другое.

"В семейственной жизни, — читаем мы в «Начале автобиографии» Пушкина, — прадед мой Ганнибал так же был несчастлив, как и прадед мой Пушкин. Первая жена его, красавица, родом гречанка, родила ему белую дочь. Он с нею развелся и принудил ее постричься в Тихвинском монастыре..." (XII, 313).

О дальнейших семейных событиях жизни прадеда Пушкин писал: "Вторая жена его, Христина Регина фон Шеберх, вышла за него в бытность его в Ревеле обер-комендантом и родила ему множество черных детей обоего пола".

Возникает догадка, что рассказ о рождении черного младенца у белой графини в повести навеян переживаниями самого поэта.

В повести этой в наше время никогда не видели автобиографических мотивов Пушкина. Только когда несколько лет тому назад я рассказывала Анне Андреевне Ахматовой и Сергею Михайловичу Бонди первый очерк настоящей работы и сказала, что фрагмент прозы "Час-

то думал я об этом ужасном семейственном романе..." (о нем речь впереди) связан с рождением у Воронцовой дочери от Пушкина, — Анна Андреевна с живостью сказала: "Так же как и «Арап Петра Великого»". Она имела в виду тот же эпизод — рождение темнокожего младенца.

Внимательное прочтение первых глав «Арапа Петра Великого» показывает, что в нем заключено неизмеримо больше аналогий с личными переживаниями Пушкина.

"Появление Ибрагима, его наружность, образованность и природный ум возбудили в Париже общее внимание. Все дамы желали видеть у себя le Nègre du czar" (VIII, 4).

"Графиня D., уже не в первом цвете лет, славилась еще своею красотою. 17 лет, при выходе ее из монастыря, выдали ее за человека, которого она не успела полюбить и который впоследствии никогда о том не заботился. Молва приписывала ей любовников, но по снисходительному уложению света она пользовалась добрым именем, ибо нельзя было упрекнуть ее в каком-нибудь смешном или соблазнительном приключенье. Дом ее был самый модный. У ней соединялось лучшее парижское общество" (VIII, 4). Здесь угадываются черты графини Воронцовой.

"Ибрагима представил ей молодой Мервиль, почитаемый вообще последним ее любовником, что и старался он дать почувствовать всеми способами" (VIII, 4).

Далее в рукописи следовал абзац, зачеркнутый Пушкиным карандашом:

"Графиню почитают, сказал он Ибрагиму, женщиной умной и холодной, имеющей любовников от нечего делать. Это мнение несправедливо. Она проста, имеет пылкие чувства, и любовь главное дело ее жизни. В обществе она рассеянна и ленива; это придает какую-то заманчивость ее словам. Ее странные вопросы, загадочные ответы вольно принимать за эпиграмматические выходки или за глупости; мы, т.е. близкие ее приятели, из дружбы, прославили ее оригинальность и остроту. Впрочем, она женщина самая добрая, самая милая. Познакомьтесь с нею короче, вы ее полюбите и удостоверитесь, что ограниченность ее ума почти незаметна от избытка простодушия и чувствительности" (VIII, 502).

Как напоминают эти слова Мервиля мнение о Воронцовой Александра Раевского: "Она очень приятна, у нее меткий, хотя и не очень широкий ум, а ее характер — самый очаровательный, какой я знаю". Так писал о Воронцовой Александр Раевский сестре своей в 1822 году[148]. Подобное же мог он говорить и Пушкину в Одессе.

Читаем далее: "Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безо всякого особенного внимания: это польстило ему. Обыкновенно смотрели на молодого негра как на чудо, окружали его, осыпали приветствиями

[148] *М. О. Гершензон.* История молодой России. М.-Пг., 1923, стр. 50.

и вопросами, и это любопытство, хотя и прикрытое видом благосклонности, оскорбляло его самолюбие. Сладостное внимание женщин, почти единственная цель наших усилий, не только не радовало его сердца, но даже исполняло горечью и негодованием. Он чувствовал, что он для них род какого-то редкого зверя, творенья особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их ничтожество благополучием" (VIII, 4—5).

Вот эти последние слова останавливают наше внимание: "Он даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их ничтожество благополучием". Так неожиданно перебивают эти слова развиваемую тему (при чем тут ничтожество?..), что создается впечатление, что речь идет не о негре среди белых, а о поэте среди обыкновенных людей. Кажется, что автор забылся и проговорился, выдал свои настоящие мысли и чувства. Перечтем этот абзац и подслушаем наряду со словом "негр" другое слово — "поэт", звучащее здесь обертоном. Тогда последняя фраза будет совершенно естественно вытекать из предыдущего.

"Мысль, что природа не создала его для взаимной страсти, избавила его от самонадеянности и притязаний самолюбия, что придавало редкую прелесть обращению его с женщинами" (VIII, 5). Опять вспоминаются слова Пушкина о себе: "черт меня догадал бредить о счастии, как будто я для него создан" (XIV, 110).

"Разговор его был прост и важен..." (VIII, 5).

Сравним эту характеристику разговора героя повести с тем, какое впечатление производил разговор самого Пушкина.

Вот как, например, записывает в дневнике графиня Фикельмон свои первые впечатления от Пушкина: "Пушкин, писатель, ведет беседу очаровательным образом — без притязаний, с увлечением и огнем; невозможно быть более некрасивым — это смесь наружности обезьяны и тигра: он происходит от африканских предков и сохранил еще некоторую черноту в цвете лица и что-то дикое во взгляде"[149].

Здесь то же противопоставление некрасивой внешности и привлекательной, непринужденной беседы, характерное для героя повести «Арап Петра Великого».

Можно усомниться, задать вопрос: мог ли Пушкин видеть себя со стороны, объективно описывать себя, — "разговор его был прост и важен"[150]. Конечно, мог! Автор более пятидесяти автопортретов (в гра-

[149] *Н. В. Измайлов.* Пушкин в дневнике гр. Д. Ф. Фикельмон. «Временник Пушкинской комиссии. 1962». М.-Л., 1963, стр. 33. Исправление французского текста по фотокопии рукописи — "quelques ombres dans son teint" (вместо "son oeil") и — соответственно и перевода — "некоторую черноту в цвете лица" (вместо "в глазах") принадлежит Н. А. Раевскому — в его печатающейся книге «Когда портреты заговорили» (Алма— Ата, 1974).

[150] "Важен" следует здесь понимать в значении: серьезен, исполненный глубокого содержания.

фике); человек, знающий себя, как никто; поэт, внимательно рассматривающий в поэзии все тончайшие оттенки своего душевного состояния ("Мне грустно и легко, печаль моя светла"), — почему же не может он оценить со стороны своего разговора?

"...он понравился графине D., которой надоели вечные шутки и намеки французского остроумия. Ибрагим часто бывал у ней. Мало-помалу она привыкла к наружности молодого негра и даже стала находить что-то приятное в этой курчавой голове, чернеющей посреди пудреных париков ее гостиной. (Ибрагим был ранен в голову и вместо парика носил повязку.) Ему было 27 лет от роду: он был высок и строен, и не одна красавица заглядывалась на него с чувством более лестным, нежели простое любопытство, но предубежденный Ибрагим или ничего не замечал, или видел одно кокетство. Когда же взоры его встречались со взорами графини, недоверчивость его исчезала. Ее глаза выражали такое милое добродушие, ее обхождение с ним было так просто, так непринужденно, что невозможно было в ней подозревать и тени кокетства или насмешливости" (VIII, 5).

Вот эта простота, доброжелательность — главное в характере Воронцовой. Мы принуждены опять сопоставить эту последнюю фразу о героине повести со словами А.Раевского из его письма к Пушкину:

"Она приняла живейшее участие в вашем несчастии. <...> Ее нежная и добрая душа видит лишь несправедливость, жертвою которой вы стали; она выразила мне это со всей чувствительностью и прелестью, свойственными характеру Татьяны" (XIII, 530 — перевод).

Мервиль в «Арапе Петра Великого» — лицо эпизодическое — ярко охарактеризован в немногих словах. Помимо уже приведенных мест, о нем сказано только: "Мервиль первый заметил эту взаимную склонность и поздравил Ибрагима" (VIII, 5).

Вот это сопоставление двух, казалось бы, взаимно исключающих проявлений — намеки на собственную близость с графиней, а затем поздравление Ибрагима с его успехом у нее, — передают свойства циничекой в чувствах натуры Александра Раевского. Это те же черты, которые проявились в его отношениях к Пушкину: ухаживая за Воронцовой, Раевский вкрался в дружбу Пушкина, заставил его видеть в себе поверенного и усерднейшего помощника, одним словом, самым искусным образом дурачил его (рассказ Вигеля), а затем предал. Вспомним и стихотворение «Коварность».

А вот черновые строки из «Вновь я посетил...», из завершающих стихов, не включенных в окончательный текст:

Я помышлял <...>
О дружбе, заплатившей мне обидой
За жар души доверчивой и нежной —
И горькие кипели в сердце чувства (III, 1004).

И еще один отзыв о Раевском из воспоминаний Вигеля. "Раз на танцевальном вечере у графа случилось мне сидеть между Раевским и графом Александром Потоцким, братом *** <в рукописи: Ольги; то-есть — Нарышкиной> и по доброте своей выродком из Потоцких. Он сказал мне на ухо: "Позвольте мне вас предостеречь, вы так откровенно и приязненно разговариваете с вашим соседом, может быть, не зная, что это самый опасный и ядовитый человек". Я поблагодарил его и сказал потихоньку, что с такими людьми всегда говорю осторожно"[151].

Пушкин обогащает образ Ибрагима собственными чертами.

Вот что читаем мы о чувствах Ибрагима, расставшегося с графиней:

"Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он того ожидал. Воображение его восторжествовало над существенностию. Чем более удалялся он от Парижа, тем живее, тем ближе представлял он себе предметы, им покидаемые навек" (VIII, 10).

Вслед за этим в рукописи следовало:

"Целый день он думал о гр.<афине> D., следовал сердцем за нею, казалось, был свидетелем каждого ее движения, каждой ее мысли; в часы, когда он обыкновенно с нею видался, он мысленно собирался к ней, входил в ее комнату, садился подле нее, разговаривал с нею, и мечтание постепенно становилось так сильно, так ощутительно, что он совершенно забывался" (VIII, 506).

Строки эти перечеркнуты.

Этим реальным ощущением того, что было только в мечтах или было, но отошло, отличался сам Пушкин. "Пушкин говаривал, что, как скоро ему понравится женщина, то, уходя или уезжая от нее, он долго продолжает быть мысленно с нею и в воображении увозит ее с собою, сажает ее в экипаж, предупреждает, что в таком-то месте будет толчок, одевает ей плечи, целует у нее руку и пр."[152].

Нельзя не обратить внимания на следующие слова в приведенном абзаце из повести: "В часы, когда он обыкновенно с нею видался, он мысленно собирался к ней...". Вот это острое воспоминанье о в р е м е н и свиданья не то же ли это присущее Пушкину обостренное чувство времени, которое отразилось в стихах:

Вот время: по горе теперь идет она
К брегам, потопленным шумящимиволнами;
Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит печальна и одна... (II, 348).

---

[151] *Ф. Ф. Вигель.* Указ. соч., стр. 188.

[152] <*П. И. Бартенев*.> «Из рассказов князя Петра Андреевича и княгини Веры Федоровны Вяземских. (Записано в разное время, с позволения обоих.) «Русский архив», 1888, № 7, стр. 312.

В следующем отрывке из III главы читаешъ словно не об Ибрагиме, а о Пушкине.

"Ибрагим проводил дни однообразные, но деятельные — следственно не знал скуки. <...> Он почитал и себя обязанным трудиться у собственного станка и старался как можно менее сожалеть об увеселениях парижской жизни. Труднее было ему удалить от себя другое, милое воспоминание: часто думал он о графине D., воображал ее справедливое негодование, слезы и уныние... но иногда мысль ужасная стесняла его грудь: рассеяние большого света, новая связь, другой счастливец — он содрогался; ревность начинала бурлить в африканской его крови, и горячие слезы готовы были течь по его черному лицу" (VIII, 13—14).

Вспоминается:

> Не правда ль: ты одна... ты плачешь . я спокоен:
> .....
> Но если .....
>
> (II, 348).

Прочтем еще письмо графини D., которое привез Ибрагиму из Парижа Корсаков.

"Ты говоришь, — писала она, — что мое спокойствие дороже тебе всего на свете: Ибрагим! если б это была правда, мог ли бы ты подвергнуть меня состоянию, в которое привела меня нечаянная весть о твоем отъезде? Ты боялся, чтоб я тебя не удержала; будь уверен, что, несмотря на мою любовь, я умела бы ею пожертвовать твоему благополучию и тому, что почитаешь ты своим долгом" (VIII, 14).

Обстоятельства отъезда Пушкина были иные. Но тон! — угадывается ее тон, Воронцовой, особенно в последних строках: "Графиня заключала письмо страстными уверениями в любви и заклинала его хоть изредка ей писать, если уже не было для них надежды снова свидеться когда-нибудь" (мы еще вернемся к этому).

Еще маленькое сопоставление. Ибрагим пишет прощальное письмо Леоноре, покидая Париж: "Ты должна была меня разлюбить: очарование должно было исчезнуть. Эта мысль меня всегда преследовала, даже в те минуты, когда, казалось, забывал я все, когда у твоих ног упивался я твоим страстным самоотвержением, твоею неограниченною нежностию" (VIII, 91). Не мысль — образ в стихах.

> Когда любовию и негой упоенный,
> Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,
> Я на тебя глядел и думал: ты моя... (II, 392).

Приведу фрагмент из «Арапа Петра Великого» — разговор о графине между Ибрагимом и Корсаковым:

«"Ну, что графиня D.?" — "Графиня? Она, разумеется, сначала очень была огорчена твоим отъездом; потом, разумеется, мало-помалу утешилась и взяла себе нового любовника; знаешь кого? длинного маркиза R.; что же ты вытаращил свои арапские белки? или все это кажется тебе странным; разве ты не знаешь, что долгая печаль не в природе человеческой, особенно женской; подумай об этом хорошенько, а я пойду, отдохну с дороги; не забудь же за мною заехать".

Какие чувства наполнили душу Ибрагима? ревность? бешенство? отчаянье? нет; но глубокое, стесненное уныние. Он повторял себе: это я предвидел, это должно было случиться. Потом открыл письмо графини, перечел его снова, повесил голову и горько заплакал. Он плакал долго. Слезы облегчили его сердце» (VIII, 15).

И еще одно место в повести. Ибрагим размышляет о женитьбе на молодой Ржевской: "От жены я не стану требовать любви, буду довольствоваться ее верностию, а дружбу приобрету постоянной нежностию, доверенностию и снисхождением" (VIII, 27). Чувства эти словно предвещают письмо самого Пушкина к матери его невесты: "Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери; я могу надеяться возбудить со временем ее привязанность, — но ничем не могу ей понравиться; если она согласится отдать мне свою руку, — я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца" (XIV, 76 и перевод — 404). (Письмо написано 5 апреля 1830 года.)[153]

Психологическая основа повести — душевный опыт самого Пушкина.

Напомню и прямые свидетельства двух близких Пушкину современников его, которые совпадают с моей мыслью.

"Вообще он любил придавать своим героям собственные вкусы и привычки. Нигде он так не выразился, как в описании Чарского (см. «Египетские ночи»)". Это пишет брат поэта[154].

И другое:

"На днях Жуковский читал нам роман Пушкина, восхитительный: «Ибрагим, царский Арап». Этот негр так обворожителен, что ничуть не удивляешься страсти, внушенной им к себе дамс двора регента; многие черты характера и даже его наружности скалькированы с самого Пушкина". Таково впечатление С.Н.Карамзиной[155], близко знавшей

[153] На сходство этих последних текстов обратил внимание Ю. Г. Оксман в комментариях к «Арапу Петра Великого». См. *А. С. Пушкин.* Собр. соч. в шести томах. М.-Л., «Academia». Т.IV, 1936, стр. 716—717.

[154] Л. С.Пушкин, Биографическое известие об А.С.Пушкине до 26-го года. В кн.: *Л.Майков.* Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1899, стр. 11.

[155] Письмо С.Н. Карамзиной от 25 апреля 1837 года к брату Андрею. В кн.: «Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов». М.-Л., Изд-во АН СССР, 1960, стр. 202.

Пушкина в течение всей его жизни — с 1816 года по 1837-й.

Первое произведение после «Арапа Петра Великого», которое связано с Воронцовой, это стихотворение «Талисман». В автографе дата Пушкина: "6 ноябр. ночью". Как установлено, это 1827 год.

Стихотворение является как бы антитезой к стихотворению 1824—1825 годов «Храни меня, мой талисман», полемикой с ним. Если там поэт взывал к талисману о спасении его в бурю, в грозу, в эмиграции, в сраженье, если он заклинал тогда талисман о забвении любви, надежды, желания, то здесь душевно поэт предстает совершенно иным.

ТАЛИСМАН

Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы,
Где, в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман,
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.
И, ласкаясь, говорила:
"Сохрани мой талисман:
В нем таинственная сила!
Он тебе любовью дан.
От недуга, от могилы,
В бурю, в грозный ураган,
Головы твоей, мой милый,
Не спасет мой талисман.

И богатствами Востока
Он тебя не одарит,
И поклонников пророка
Он тебе не покорит;
И тебя на лоно друга,
От печальных чуждых стран,
В край родной на север с юга
Не умчит мой талисман...
Но когда коварны очи
Очаруют вдруг тебя,
Иль уста во мраке ночи
Поцалуют не любя —
Милый друг! от преступленья,
От сердечных новых ран,
От измены, от забвенья
Сохранит мой талисман!" (III, 83—84).

Чем вызван такой ликующий дифирамб л ю б о в н о й силе талисмана в ноябре 1827 года?

Оказывается, в это время в Петербурге (где тогда жил Пушкин) появилась Воронцова.

Об этом узнаем мы из автобиографии М.С.Воронцова, который пишет, что они с женой "поздней осенью 1827 года" приехали из Англии в Петербург[156]. Пушкин знал уже, конечно, в это время об ее приезде[157].

Увидел ли он ее? Да, но несколько позднее. Воронцовы провели в Петербурге и весь декабрь, и январь 1828 года[158].

Записная книжка, которой служил «Almanach des Dames» 1824 года, заброшенная Пушкиным тогда же, понадобилась ему вновь в 1827 году. Зачем бы надо было вдруг вернуться к ней?.. На декабрьском листке к напечатанному названию месяца — Décembre — Пушкин приписал: 1827. И записал шесть дат и при них аббревиатуры — на французском языке:

12. pr. bil.

13 Jouk.

14 Semenov —

15. Corb.

16 Mag. Ang.

18 2 lett.

Приведу комментарий к этим записям, сделанный в свое время Д.П.Якубовичем:

"Записная книжка, служившая Пушкину для нескольких одесских записей, в глуши Михайловского, среди жизни, лишенной событий, сразу же оказалась отложенной в сторону, ненужной.

Пушкин воспользовался ею вновь только через три года. В декабре 1827 года он вписал на декабрьский листок 1824 года более поздним, уверенным и черным карандашом новый заголовок: «1827».

Пушкин возвратился в Петербург и был в хлопотах по делу об «Андрее Шенье». Начало декабря 1827 года — также период почти полного отсутствия биографических фактов. Достаточно указать, что ни одна биографическая канва жизни Пушкина вовсе не знает ни одного из отмеченных Пушкиным чисел. К сожалению, именно поэтому и публикуемые карандашные записи, охватывающие подряд пять дней декабря (12—16), почти не поддаются комментарию. Их возможно условно расшифровать как запись о повседневных делах:

12. pr.‹<emier>› bil.‹<let>›.

13 Jouk.‹<offsky>›.

14 Semenov —

Слово "Semenov" (вряд ли здесь обозначена фамилия артисток) может относиться к цензору В.Н.Семенову.

15. Corb. <?>.

---

[156] «Архив князя Воронцова», книга XXXVII. М., 1891, стр. 81.

[157] Об этом было известно уже и в Москве. П.А.Вяземский писал оттуда 2 ноября 1827 года жене в село Мещерское: "Воронцов с женою в Петербурге. И Александр Пушкин там. То-то, я думаю, разыгрывает комедию" (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 3267, л. 178).

[158] См. в той же автобиографии М.С.Воронцова, стр. 81.

Как гипотезу, объясняющую это неясное для меня слово (если только это не просто: corbeille — подношенье), предлагаю чтение Corbeau". В 1826 году вышло в свет собрание «Chants populaires», в котором появилась баллада «Les Deux corbeaux», переведенная Пушкиным. Не в это ли время уже заинтересовался ею Пушкин? Напомню, что в позднейшем письме он назвал свой перевод просто «Вороном»[159]. Точная датировка начала работы Пушкина над «Двумя воронами» остается невыясненной, и стихотворение датируется 1828 годом по положению в тетради №2371 (л. 99 об.).

16 Mag.‹<asin›> Ahg.<‹lais›>.

Скорее всего здесь имеется в виду посещение магазина Никольс и Плинке, в котором Пушкин и позже делал различные хозяйственные покупки и отдавал в починку вещи домашнего обихода[160].

18 2 lett.‹<res>›.[161]

Последняя запись вся сделана чернилами, несколько расплывшимися и ввиду этого несколько деформировавшими почерк (Б.Л.Модзалевский читал: '2 lott.').

Никаких писем Пушкина и к Пушкину за 12 и 18 декабря 1827 года до нас не дошло"[162].

М. А. Цявловский, знавший, что в декабре 1827 года Воронцова была в Петербурге, понял, что эти записи, так же как и записи в той же книжечке в 1824 году, связаны с нею. (Как мы видели, найденный впоследствии документ — письмо Вяземской к мужу из Одессы, написанное 1 августа 1824 года, — подтвердил эту гипотезу; он указал на то, что записью "31 départ" Пушкин отметил отъезд 31 июля Воронцовой (сам же он уехал 1 августа).

Мстислав Александрович и разъяснил эти тексты соответственно этим соображениям:

12 — pr. bill. — первая записка.

Речь идет о Воронцовой.

Пушкин делал пометы о датах получения важных для него писем от женщин. О своих письмах к женщинам он не записывал. Тут могло быть иначе. Может быть, именно его первая записка в Петербурге должна была быть особенно важной — она положила начало новому периоду отношений.

13 — Jouk —

по-видимому, какая-то встреча с Воронцовой, связанная с Жуковским.

---

[159] Здесь примечание Д. П. Якубовича. Ср. также сб. «Рукою Пушкина», стр. 321.

[160] Здесь примечание Д. П. Якубовича: «Литературный архив», Т.I, 1938, стр. 53—57.

[161] Здесь примечание Д. П. Якубовича: "Можно расшифровать и так: 2<me> lett<re> (второе письмо). Ср. запись 12 декабря.

[162] Д. П. Якубович, Неизвестные автобиографические записи Пушкина. «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии». Т.6. М.-Л., 1941, стр. 34—35.

14 — Semenov —
может быть, Семеновская улица? Во всяком случае, судя по условной черточке вслед за словом "Semenov", речь идет об интимном свидании.

15 — Corb. — corbeille —
подношение или корзина цветов.

16 — Mag. Ang. —
тут, конечно, речь не о починке вещей.

В Magasin Anglais был и ресторан, и кафе, и отдельные кабинеты, и выход на другую улицу.

18 — 2 lett —
второе письмо или два письма.

Как видим, все эти сугубо личные пометы дают лишь какой-то намек на тайные свидания Пушкина с Воронцовой в декабре 1827 года.

Были ли явные встречи в обществе? В письмах Елизаветы Ксаверьевны этого времени из Петербурга А.М.Горчакову в Италию (они подружились во время заграничного путешествия Воронцовых 1827 года) нет ни слова о лицейском его приятеле[163].

Не забывает Воронцовой Пушкин и дальше. И среди записей имени и инициалов девушки, о браке с которой поэт мечтает осенью 1828 года ("Olenine", "Annette Pouchkine", "Annette", "AP"), мы встречаем и "заветный вензель" — "EW"[164].

Памятью о Воронцовой навеяны рисунки ее головы в 1829 году и записи ее имени в так называемом "Дон-Жуанском списке" Пушкина. По требованию своих приятельниц, сестер Ушаковых, Пушкин вписал однажды в альбом младшей два списка женщин, которых он любил и которыми он увлекался[165]. В первом списке оказалось имя: Элиза[166]. Оно помещено между именами Амалия и Евпраксея. Имеются в виду Ризнич и Вульф. Хронология соответствует действительной.

Среди множества портретов, которые рисует Пушкин Ушаковым, нельзя не узнать и портретов Воронцовой. Рисует он ее и в альбоме, и на отдельном большом листе. По значительности и прелести последнего портрета это одно из лучших произведений графики поэта.

В том же 1829 году Пушкин сватался к Наталье Николаевне Гончаровой. Он получил полуотказ (ей не было семнадцати лет) и тогда же уехал на Кавказ. Он хотел повидаться со своим любимым другом Николаем Раевским, с братом своим и сосланными декабристами.

Приехав на Северный Кавказ, он раскрыл одну из взятых с собою

---

[163] ЦГАОР, фонд 828 (Кн. А. М. Горчакова).

[164] Тетрадь Пушкина № 2371 (ныне — ПД, № 838), л. 48. В книге «Рукою Пушкина», стр. 317, где дана транскрипция этих интимных записей поэта, инициалы Воронцовой по ошибке пропущены.

[165] См. «Рукою Пушкина», стр. 629—637.

[166] Там же, стр. 629.

тетрадей и стал рисовать... Под его рукой возникает женская головка. Большие глаза с поволокой, вздернутый носик. Это не Гончарова, а Мария Николаевна Волконская. Воспоминание девятилетней давности о пребывании на Минеральных Водах с семьей генерала Раевского. Но воспоминание связано с последним впечатлением от нее — перед ее отъездом в Сибирь, на каторгу. Серьезное, скорбное лицо.

И рядом портретик другой женщины — незабываемой, столь же глубоко любимой... Воронцова.

Обратимся к Болдину. 1830 год. Поэт творит с таким подъемом, что люди второе столетие изумляются этому неиссякаемому потоку вдохновенья. Пушкин живет здесь с сентября по ноябрь. Он отрезан от мира — холерный карантин не дает ему возможности выехать в Москву, где, к его ужасу, осталась его невеста. И вот в мрачном настроении, в ужасающую погоду, в безвыходном состоянии поэт творит... Он заканчивает «Евгения Онегина», пишет «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», около тридцати лирических стихотворений (по собственному подсчету Пушкина).

Среди лирических стихотворений — маленький набросок об увядшей розе.

Цветок любви! тому мгновенье

Так он начал и изменил:

Тому [одно, одно] мгновенье
Она цвела, свежа, пышна —
И вот уж вянет — и
[опалена].
Иль жар твоей груди
Младую розу опалил (III, 1060 и 465).

Образ этот искушает поэта и не дается ему. Он оставляет набросок недописанным.

Осенью 1830 года, готовясь к браку и отрываясь от своего прошлого, поэт писал прощальные стихи когда-то любимым женщинам. Два стихотворения обращены к умершим: «Заклинание» ("О если правда, что в ночи...")[151] и «Для берегов отчизны дальной...» (одно из них — неизвестной, второе — Амалии Ризнич). А с одной девушкой, на которой Пушкин в свое время собирался жениться, он простился иначе. Ушакова предстала в Болдинскую осень поэту-художнику и отозвалась в большом портрете, нарисованном Пушкиным и проникнутом нежным чувством[167].

[167] См. *Т. Цявловская.* Рисунки Пушкина. М., 1970, стр. 155 и 159 (прим. 32).

К Воронцовой обращены стихи:

ПРОЩАНИЕ

В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И с негой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать.

Бегут меняясь наши лета,
Меняя все, меняя нас,
Уж ты для своего поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас.

Прими же, дальная подруга,
Прощанье сердца моего,
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга
Перед изгнанием его (III, 233)[168].

В автографе дата — "5 окт. 1830. Болд.<ино>".

Это «Прощание» удивительно по острому воспоминанию о близости любимой, по насыщенности мыслями, чувствами, по драматическому развитию, по поэтическому выражению.

Очень выразительны в этом смысле замены вариантов, сделанные поэтом в беловом автографе.

[168] Умозаключение, что это стихотворение является посвящением Елизавете Ксаверьевне Воронцовой, было сделано Б.В.Томашевским. Догадка автора была основана на сопоставлении двух списков стихотворений Пушкина, намечавшихся поэтом к печати. Один из списков был начат в апреле 1830 года и окончательно завершен в начале сентября 1831 года. Другой переписан с предыдущего тогда же, в начале сентября 1831 года. "При переписке некоторые названия менялись, — пишет Б.В.Томашевский. — Так, в частности, вместо «к E.W.» читаем «В последний раз». Очевидно, стихотворение это, печатаемое под произвольным названием «Расставание», посвящалось Елизавете Воронцовой". Выше Б.В.Томашевский объяснял: "E и W вплетены в одну монограмму. Эту монограмму мы нашли еще в рукописи Пушкина 1826 года. С нее же начинается подпись французского письма Пушкину из Одессы от 26 декабря 1833 года, и, очевидно, буквы эти обозначают инициалы Елизаветы Воронцовой" (*Б. Томашевский.* Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения. Л., 1925, стр. 115—117).

М. А. Цявловский, комментируя эти списки стихотворений, выражал большие сомнения относительно правильности гипотезы Томашевского («Рукою Пушкина», стр. 261). Когда вышла эта книжка Томашевского, да и долгое время спустя, очень мало еще было известно о взаимоотношениях Пушкина и Воронцовой, поэтому этот факт, вытекавший из сухого логического построения, не казался убедительным.

Стихи "Уж ты для своего поэта / Могильным сумраком одета" имели вариант: "для страстного поэта", но Пушкин вернулся к первому варианту — "для своего поэта": конечно же, он ее поэт, сколько раз он воспевал ее!

В последнем двустишии проходит воспоминание о встрече на маленькой станции с Кюхельбекером, которого жандармы везли куда-то (в Динабургскую крепость, как мы знаем).

Это воспоминание вызвано мыслью о безнадежности прощанья, в вариантах были слова:

Как друг, навек обнявший друга
Пред заточением его (III, 843).

Однако прощание с Воронцовой оказалось не окончательным. Вскоре, в конце того же октября или в самые первые дни ноября, Пушкин возвращается к преследующей его теме увядшей розы. Вот как пишет он на этот раз, работая над «Каменным гостем»:

Не розу цветущую
Росой освеженную
Я ныне пою
Не розу Фесосскую
Вином окропленную
В весельи пиров
Венчавшую некогда
Главу победителя
В блаж<енстве> <?> любви
Но розу блаженную
Но розу увядшую
На груди <твоей> <?>
(III, 868; факсимиле — VII, 312/313).

"Венчавшую некогда главу победителя" — это возвращение к образу французских стихов 1825 года — «Quand au front du convive.....» («Когда на челе сотрапезника...»).

Когда Пушкин вернулся из Болдина в Москву, он читал, вероятно, своему ближайшему другу Павлу Воиновичу Нащокину написанные в деревне произведения. Вскоре на стихи «В последний раз твой образ милый» была написана музыка. Композитором был человек, о котором заботились и Нащокин и Пушкин, — Андрей Петрович Есаулов, талантливейший музыкант, спившийся, полубезумный человек с тяжкой судьбой. По-видимому, Пушкин сам вручил ему рукопись своего нового стихотворения для того, чтобы Есаулов написал романс. Поэт ли надумал это? Или композитор? Вернее всего, о создании Есауловым музыки на стихи Пушкина позаботился добрейший Нащокин.

Вот что писал он Пушкину летом 1831 года: "Романс твой так хо-

рош, что способу нет — переправлен, обдуман — чудо" (XIV, 179). Пушкин просит прислать ему этот романс, "исправленный во втором издании" (XIV, 181), и, не дождавшись, пишет вновь: "Что ж не присылаешь ты Есауловского романса, исправленного во втором издании? Мы бы его в моду пустили между фрейленами" (XIV, 204).

Так это удивительное по глубине и интимности стихотворение, завершающее сюиту произведений Пушкина, связанных с Воронцовой, вошло в сознание общества вместе с музыкой[169].

Летом 1832 года Воронцова возвращалась из Англии в Одессу. По дороге она провела вновь недели две в Петербурге[170]. Ехала она с мужем и оставшимися в живых детьми: девятилетним Семеном и семилетней Софьей. Встретился ли с Воронцовой Пушкин в это время? Несомненно (об этом скажу далее). Увидел ли он дочь? Неизвестно. Случайно узнаем мы из одного позднейшего письма, 1849 года, Н.Н.Пушкиной ко второму мужу, что она познакомилась с графиней Воронцовой в 1832 году: "Она не могла опомниться; никогда, сказала она, я бы не узнала Вас, потому что, даю Вам слово, Вы и на четверть не были так красивы, как теперь. Я бы затруднилась дать Вам сейчас более 25 лет. Вы показались мне тогда такой тщедушной, такой бледной, такой маленькой, но ведь Вы удивительно выросли". "Вот уже второй раз этим летом мне говорят это", — прибавляет Наталья Николаевна[171].

Встреча Пушкина с Воронцовой в 1832 году состоялась, по-видимому, на людях, на каком-то вечере, в присутствии жены Пушкина, вероятно, и мужа Воронцовой.

Казалось бы, все? Но нет, в начале января 1833 года поэт возвращается к своему недоработанному в 1830 году стихотворению об увядшей розе. Вот как зазвучало оно в окончательном виде:

ОТРЫВОК

Не розу Пафосскую,
Росой оживленную,
Я ныне пою;

[169] В виде романса стихотворение было издано тогда же. Как поэтическое произведение Пушкин стихотворения не издал. Дважды вносил он его в список стихов, намеченных к помещению в III часть «Стихотворений Александра Пушкина», вышедшую в 1832 году, но в книге «Прощания» не было.

[170] Предположительно с 4 по 17 августа. См. названную «Автобиографию» Воронцова, стр. 96—97 и письмо Е.К.Воронцовой к А.М.Горчакову от 10 августа 1832 года (ЦГАОР, ф. 828, кн. А.М.Горчакова), из которого выясняется, что она покидает Петербург не 10/22 августа, как вспоминает Воронцов в своей «Автобиографии», а числа 17/29.

[171] См. *М. Д. Беляев.* Наталья Николаевна Пушкина в портретах и отзывах современников. Л., 1930, стр. 68.

Не розу Феосскую,
Вином окропленную,
Стихами хвалю;
Но розу счастливую,
На персях увядшую
[Элизы] моей... (III, 258).

Поэт воспевает не символ любви, не символ лирической поэзии, но одну-единственную розу —

...розу счастливую,
На персях увядшую
[Элизы] моей.

Здесь впервые написал Пушкин в стихах имя своей возлюбленной, звуки которого он воспроизводил в «Прозерпине» («Элизей»), и в стихах «Quand au front du convive.....» ("Aux rives Elysées"), и в стихах «Лишь розы увядают...» ("В Элизий улетает их легкая душа"). Назвал имя и зачеркнул.

В «Отрывке» "Не розу Пафосскую..." завершились многократные порывы воспеть "утеху грусти нежной" — "дар возлюбленной" — когда-то отданную поэту розу.

В печать он этих стихов не отдал.

В собраниях сочинений Пушкина печатается один текст, который еще не нашел достойного объяснения. Это прозаический фрагмент в несколько строк:

"Часто думал я об этом ужасном семейственном романе: воображал беременность молодой жены, ее ужасное положение и спокойное доверчивое ожидание мужа.

Наконец час родов наступает. Муж присутствует при муках милой преступницы. Он слышит первые крики новорожденного; в упоении восторга бросается к своему младенцу — и остается неподвижен..." (VIII, 414).

Датируют этот фрагмент теперь временем "около 1833г." (VIII, 1060).

Первый публикатор этого фрагмента, Н.В.Измайлов, высказал предположение, что он должен относиться к эпизоду жизни А.П.Ганнибала. Исследователь напоминал запись приятеля Пушкина, А.Н.Вульфа, занесенную им в дневник 16 сентября 1827 года, в то время, когда Пушкин писал «Арапа Петра Великого»: "Главная завязка этого романа будет — как Пушкин говорит — неверность жены сего арапа, которая родила ему белого ребенка и за то была посажена в монастырь".

Однако, говорит Измайлов, "отрывок носит чисто личный, лирический оттенок размышления, а не повествования", тогда как "роман о царском арапе ведется строго эпически"; это заставляет исследователя отвести возможность приурочения отрывка к «Арапу Петра Вели-

кого». Он допускает, что отрывок относится к «Родословной Пушкиных и Ганнибалов»[172] (или, как теперь ее называют: «Начало автобиографии» Пушкина 1830-х годов).

Гипотеза эта не была принята исследователями Пушкина, и отрывок помещается в томах «Художественной прозы», однако без каких бы то ни было комментариев.

Во фрагменте нет решительно никаких данных, чтобы судить о том, "какого цвета" был муж "милой преступницы" и "какого цвета" был новорожденный младенец.

Это и навело меня в свое время на мысль, что этот фрагмент неизвестного происхождения может быть связанным с рождением у Воронцовой смуглого младенца. Но думаю, что я ошибалась.

Едва ли бы стал Пушкин прямо писать на эту тему, обрабатывать текст отрывка, подыскивая лучшую форму (в черновике много вариантов) изложения. А в иносказательной форме это волновавшее его событие было уже описано поэтом в первой главе «Арапа Петра Великого».

Ю. Г. Оксман высказал предположение, что отрывок "Часто думал я об этом ужасном семейственном романе..." предназначался Пушкиным, вероятно, для предисловия к «Арапу Петра Великого». Исследователь связывает его с рождением у жены Ибрагима Ганнибала белого ребенка[173]. Гипотеза эта не была поддержана в дальнейших работах. Вопрос о фрагменте остается открытым.

В начале 1834 года неожиданно получает Пушкин письмо (в подлиннике оно на французском языке):

"Милостивый государь,

Александр Сергеевич,

Право, не знаю, должна ли я писать Вам и будет ли мое письмо встречено приветливой улыбкой, или же тем скучающим взглядом, каким с первых же слов начинают искать в конце страницы имя навязчивого автора. Я опасаюсь этого проявления чувства любопытства и безразличия, весьма, конечно, понятного, но для меня, признаюсь, мучительного по той простой причине, что никто не может отнестись к себе беспристрастно. Но все равно; меня побуждает не личный интерес: благодеяние, о котором я прошу, предназначено для других, и потому я чувствую в себе смелость обеспокоить Вас; не сомневаюсь, что и Вы уже готовы выслушать меня. Крайняя нищета, угнетающая наш край и самый город, в котором Вы жили и который благодаря Вашему имени войдет в историю, дала случай проявиться в полной мере милосердию его обитателей. Образовалось общество, поставившее себе задачей осуществление благородной цели, ради которой были

[172] Сб. «Неизданный Пушкин». Пб., 1922, стр. 152—154.

[173] *Пушкин.* Полн. собр. соч. в шести томах. Под ред. Ю.Г.Оксмана и М.А.Цявловского. Т.IV, М.-Л., «Academia», 1936, стр. 711.

принесены щедрые пожертвования. Бог благословил общественное усердие, много слез было осушено, многим беднякам была оказана помощь; но надо продолжить это дело, и для того, чтобы увеличить средства для оказания помощи, общество беспрерывно возбуждает любопытство и использует развлечения. Между прочим, было сделано одно литературное предложение; кажется, оно осуществимо, судя по той горячности, с какою его стали развивать и поддерживать. Мысль об альманахе в пользу бедных удостоилась одобрения лиц, влиятельных собственной помощью или помощью своих друзей. Из программы этого альманаха, которую я беру на себя смелость Вам послать, Вы увидите, как он будет составлен. Теперь, когда столько лиц обращаются к нашим литературным светилам с призывом обогатить наш «Подарок бедным», могу ли я не напомнить Вам о наших прежних дружеских отношениях, воспоминание о которых Вы, может быть, еще сохранили, и не попросить Вас в память этого о поддержке и покровительстве, которые мог бы оказать Ваш выдающийся талант нашей «Подбирательнице колосьев». Будьте же добры не слишком досадовать на меня, и, если мне необходимо выступать в защиту своего дела, прошу Вас, в оправдание моей назойливости и возврата к прошлому, принять во внимание, что воспоминания — это богатство старости, и что Ваша старинная знакомая придает большую цену этому богатству.

Примите мои самые усердные приветствия.

Е. Вибельман <?>

Одесса, 26 декабря 1833.

Я должна в скором времени выехать в Киев, потому прошу Вас (если Вы удостоите меня ответом) адресовать Ваше письмо и м и л о с т ы н ю, которую Вы пожертвуете одесским беднякам, госпоже З о н т а г (Анне Петровне) через Вашего издателя Смирдина, который состоит с нею в переписке.

Пользуюсь случаем сообщить Вам, что мои поиски рукописи[174] графа Ивана Потоцкого оказались безуспешными. Вы, конечно, понимаете, что я обратилась к первоисточнику. У его родных нет ее; возможно, что, так как граф Иван Потоцкий окончил жизнь одиноким, в деревне, рукописи его были по небрежности утеряны" (XV, 101—102 и 320—321 — перевод).

Е. Вибельман — кажется, так, сохраняя обе первые буквы своего имени и фамилии, подписала письмо Пушкину Воронцова. Может быть, так подписывалась она в тех письмах, которые она писала ему в 1824 году из Одессы в Михайловское?

Дата под этим поздним письмом: 26 декабря. Год — 1833 — добавлен Пушкиным[175]. Эта помета заключает их переписку, как "Une lettre de L.V.". — 5 сентября 1824 года — начинала ее. То было первое ее

[174] Сноска в письме: "О трех повешенных".

[175] Этого до сих пор не замечали.

письмо, а это — девять лет спустя — последнее...

То, что это письмо написано Е. К. Воронцовой, установлено окончательно сравнительно недавно[176]. К ряду бесспорных доказательств, начиная с почерка письма, приводимых исследовательницей, можно было бы присоединить еще одно: мысль, что "город, в котором Вы жили и который благодаря Вашему имени войдет в историю", является, в сущности, первым выражением мысли Воронцовой, высказанной, когда поэта не стало. "Статья, сегодня помещенная в «Journal d'Odessa» по случаю смерти Пушкина, — писал 12 февраля 1837 секретарь Воронцова М.П.Щербинин редактору «Одесского вестника» А.Г.Тройницкому, — принята была всеми, а в особенности графинею Воронцовою с восхищением. Так как, вероятно, она же, т.е. статья сия, будет помещена и в «Одесском вестнике», то я спешу повергнуть пред вами мысль, родившуюся у графини Елисаветы Ксавериевны, т.е., что большая часть стихотворений Пушкина созданы были в Одессе, во время его здесь пребывания. Мысль сия достойна быть обработанною. Впрочем, бог знает, что скажут в Петербурге"[177].

Сквозь сдержанный тон письма Воронцовой пробиваются искренние, чисто женские интонации, не лишенные робости и вкрадчивости, — ими письмо начинается и ими оно заканчивается.

Ответ Воронцовой о поисках рукописи Потоцкого и дает основание для утверждения, что она встретилась с Пушкиным незадолго до письма (они не переписывались, а она исполняет его просьбу). Очевидно, во время случайной встречи летом 1832 года спрашивал ее Пушкин о рукописи романа Ивана Потоцкого[178].

Это позднее письмо Воронцовой к Пушкину — единственное, ставшее нам известным. Другие не уцелели. Он сжег их, очевидно, ради сохранения тайны их любви.

Сожгла и Воронцова на склоне лет письма Пушкина[179].

В 1956 году в Польше, в фонде Потоцких, в Краковском архиве, было обнаружено письмо Пушкина к графине Е.К.Воронцовой — единственное, сохранившееся до наших дней. Это был ответ на только что приведенный текст письма "Вибельман".

"Милостивая государыня.

Елизавета Ксаверьевна, — писал поэт, — вот несколько сцен из трагедии, которую я имел намерение написать. Я хотел бы положить к вашим ногам что-либо менее несовершенное; к несчастью, я уже распорядился всеми моими рукописями и предпочитаю лучше не угодить

---

[176] См. *Е. Б. Чернова.* К истории переписки Пушкина и Е. К. Воронцовой. В книге: «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии». Т.2. М-Л., 1936. стр.336—339.

[177] «Русский архив», 1894, № 4, стр. 573.

[178] Роман этот — «Рукопись, найденная в Сарагосе» — издан в СССР («Наука», 1968; «Художественная литература», 1971).

[179] «Русский архив». 1912, № 5, 159.

публике, чем ослушаться ваших приказаний.

Осмелюсь ли, графиня, сказать вам о том мгновении счастья, которое я испытал, получив ваше письмо, при одной мысли, что вы не совсем забыли самого преданного из ваших рабов?

Честь имею быть с глубочайшим почтением, милостивая государыня, вашим нижайшими покорнейшим слугой

Александр Пушкин

5 марта 1834

Петербург"[180].

Если фразу "я предпочитаю лучше не угодить публике, чем ослушаться ваших приказаний" можно еще толковать как светский оборот, как несколько преувеличенное выражение чувств, особенно характерное для стиля французского письма, то следующая фраза не допускает различных толкований. Здесь прорывается искреннее чувство: "Осмелюсь ли, графиня, сказать вам о том мгновении счастья, которое я испытал, получив ваше письмо, при одной мысли, что вы не совсем забыли самого преданного из ваших рабов?"

Добавим, что, по единодушному предположению исследователей Пушкина, под "несколькими сценами из трагедии", которую поэт "имел намерение написать", следует разуметь «Русалку». (Рукопись эта в архивах Воронцовых и Потоцких не обнаружена, а в альманахе «Подарок бедным», который вскоре вышел в Одессе, сцены Пушкина не напечатаны, они опоздали.)

Через месяц после этого письма Пушкина к Елизавете Ксаверьевне поэт слушал рассказы о Воронцовых от чиновника Бологовского, приехавшего из Одессы. Кратко занес он об этом в дневник: "Он (т.е. Б<олоховской> — *Т. Ц.*) очень зло отзывается об одесской жизни, о гр. Вор<онцове>, о его соблазнительной связи с О. Н<арышкиной> etc., etc. Хвалит очень графиню В<оронцову>" (XII, 325).

Эти слова — последнее, что Пушкин записал о женщине, которую он когда-то так горячо любил.

Остается еще один эпизод, имеющий прямое отношение к рассказанному выше.

В 1828 году, 1 сентября Пушкин писал Вяземскому. В письме находятся и такие строки: "Перед княгиней Верой не смею поднять очей[181]; однако ж вопрошаю, что думает она о происшествиях в Одессе (Раев<ский> и гр<афиня> В<оронцова>)" (XIV. 27).

Пушкин имел в виду нашумевшую историю, дошедшую и до него. Александр Раевский, неизменно бывший другом дома Воронцовых, был неожиданно выслан из Одессы. Он был клеветнически обвинен в

[180] Академическое издание. Справочный том. Изд-во АН СССР, 1959, стр. 71—72.

[181] Пушкин еще в апреле обещал Вяземской ответить вскоре и подробно на ее письмо.

разговорах против правительства. На самом деле, как писал генерал Раевский (отец) Николаю I, "несчастная страсть моего сына к графине Воронцовой вовлекла его в поступки неблагоразумные, и он непростительно виноват перед графинею. Графу Воронцову нужно было удалить моего сына, по всей справедливости, что мог он сделать образом благородным <...>. Граф Воронцов богат, военный генерал-губернатор, может деньгами и другими награждениями найти кого донесть и присягнуть в чем угодно графу Воронцову"[182].

Посылая копию своего письма к царю, дочери своей Екатерине Орловой, Н.Н.Раевский дал такой текст: "Графу Воронцову нужно было удалить моего сына, на средства он не разборчив, что уже **доказал прежде** (подчеркнуто в рукописи. — *Т. Ц.*) и может по богатству подкупить доносчика". К словам "уже доказал прежде" старик Раевский сделал примечание: "Т.е. Пушкина история"[183].

Из писем современника узнаем мы "о поступке глупом молодого Раевского с графинею, о том, что "Воронцов убит известною тебе историею графини", что "счастие его семейственное потеряно"[184].

Комментарий пушкиниста старшего поколения П.И.Бартенева: "А.Н.Раевский (Пушкинский Демон) с хлыстом в руках остановил на улице карету графини Е.К.Воронцовой, которая с приморской дачи ехала к императрице, и наговорил ей дерзостей. Его выслали в Полтаву"[185].

Поясняя этот рассказ Бартенева и назвав его "современной сплетней", пушкинист следующего поколения, М.О.Гершензон, рассказал следующее: "В семье сохранилось предание, что он (Раевский. — *Т. Ц.*) крикнул ей (Воронцовой. — *Т. Ц.*): "Soignez bien nos enfants" или "ma fille"[186].

Так или иначе, но до Пушкина этот рассказ дошел, и он должен был увидеть, что его отцовство оказалось сомнительным[187].

Кто был отцом Софьи Воронцовой — для нас значения не имеет.

---

[182] См. «Столкновение отставного камергера Раевского с князем М.С.Воронцовым». «Русская старина», 1885, ноябрь, стр. 403.

[183] *М. О. Гершензон.* Пушкин и гр. Е.К.Воронцова — в его книге «Образы прошлого». М., 1912, стр. 49.

В. Ф. Вяземская утверждала, что Воронцова была близка и с Пушкиным (в Одессе) и с Раевским (в Белой Церкви). (См. *М. А. Цявловский.* Из записей П.И.Бартенева, стр. 267.).

[184] «Из писем А. Я. Булгакова к его брату». «Русский архив», 1901, № 10, стр. 185 и 207.

[185] Там же, стр. 185.

[186] "Берегите наших детей" или "мою дочь" (*франц.*). *М. О. Гершензон.* Пушкин и гр. Е. К. Воронцова, стр. 46.

[187] Раевский был по матери греческого происхождения (см. *А. С. Пушкин.* Письма. Под ред. и с прим. Модзалевского, Т.II. М.-Л., 1928, стр. 367). Отсюда — южные черты его внешности (так же, как и у сестры его Марии Волконской), которые, ему могло казаться, передались дочери Воронцовой Софье.

Таким образом, всем четверым участникам этой сложной ситуации было ясно, что Софья — внебрачная дочь Воронцовой.

Нам важна психология Пушкина. Как мы видели, он считал девочку своей дочерью[188]. Поэтому выходка Раевского, мнения о которой Пушкин спрашивает Вяземскую, должна была оскорбить его и за Воронцову, и за самого себя.

Забыть этого Пушкин не мог. И когда восемь лет спустя он оказался жертвой грязной интриги, затеянной вокруг его имени авторами анонимного пасквиля, он вспомнил одесскую историю. Об этом пишет Пушкину Жуковский в одном из писем в середине ноября 1836 года:

"Вчера, к вечеру после бала заехал я к Вяземскому. Вот что à peu près[189] ты сказал княгине третьего дня, уже имея в руках мое письмо: я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите, как станут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная, совершенная; она бросит того человека в грязь; громкие подвиги Раевского — детская игра в сравнении с тем, что я намерен сделать, и тому подобное" (XVI, 186 И 395).

"Громкие подвиги Раевского", являвшиеся, по мнению Пушкина, верхом общественного вызова, должны были померкнуть рядом с мщением оскорбителю, задуманным Пушкиным.

"Воронцова до конца своей долгой жизни сохраняла о Пушкине теплое воспоминание и ежедневно читала его сочинения. Когда зрение совсем ей изменило, она приказывала читать их себе вслух, и притом сподряд, так что когда кончались все томы, чтение возобновлялось с первого тома. Она сама была одарена тонким художественным чувством и не могла забыть очарований пушкинской беседы. С ним соединялись для нее воспоминания молодости"[190].

---

[188] К 1828 году у Воронцовых уже умерло двое детей. В живых было четверо: дочь Александра, родившаяся в 1821 году (до знакомства Воронцовой с Раевским), она умерла в 1830 году, сын Семен (родился в 1823 году), дочь Софья (родилась в 1825 году) и сын Михаил (родился в 1826 году). Таким образом, если Раевский сказал Воронцовой о своей дочери, то он говорил о Софье, которую, как мы видели, Пушкин считал своей дочерью.

[189] Приблизительно (*франц.*).

[190] *«П. И. Бартенев».* >«А. С.Пушкин», вып. II. М., 1855, стр 98.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

Произведения и письма А.С.Пушкина цитируются по Полному собранию сочинений (тт.I-XVI. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1937-1949; Т.XVII, Справочный, 1959). Все ссылки на это издание в тексте после цитаты в скобках — том, страница.

«Из записей П.И.Бартенева» — *М. А. Цявловский.* Из записей П.И.Бартенева (О Пушкине и гр.Е.К.Воронцовой). «Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка», Т.XXVIII, вып. 3, 1969, стр. 267-276.

«Летопись» — *М. А. Цявловский.* Летопись жизни и творчества А. С.Пушкина, Т.I. М., Изд-во АН СССР, 1951.

«Рассказы о Пушкине» — «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851 — 1860 годах». Вступительная статья и примечания М. Цявловского. М., 1925.

«Рукою Пушкина» — «Рукою Пушкина». Несобранные и неопубликованные тексты. Подготовили к печати и комментировали М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский, Т. Г. Зенгер. М.-Л., «Academia», 1935.

ВМП — Всесоюзный музей Пушкина (г. Пушкин).

ГБЛ — Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина.

ГМП — Государственный музей Пушкина (Москва).

ПД — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР (Ленинград).

ЦГАгМ — Центральный государственный архив г. Москвы.

ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции.

ЦГИА — Центральный государственный исторический архив СССР.

ВОРОНЦОВА Елизавета Ксаверьевна (1792—1880) с 1845 — княгиня, урожд. графиня Браницкая, жена малороссийского генерал-губернатора и наместника Бессарабии М. С. Воронцова. Она принадлежит к числу женщин, внушивших Пушкину наиболее глубокие и сильные чувства и оставивших неизгладимый след в его поэзии. Познакомились они в Одессе вскоре после приезда туда Воронцовой, состоявшегося 9 сентября 1823 г., хотя летопись (С. 363) дает другую дату — 6 сентября, однако новейшая публикация А. Гляссе писем жены одесского градоначальника Е. П. Гурьевой позволяет внести небольшое уточнение. 11 сентября она сообщает: "Жена (т.е. Е. К. Воронцова — *Р.И.*) приехала позавчера вечером и вчера на рассвете нанесла мне визит" (Пушкинская Одесса в письмах графини Е. П. Гурьевой. Новые материалы. Подарочное изд.). Таким образом, в Одессу Воронцова приехала 9 сентября, и почти сразу в рукописях и рабочих тетрадях Пушкина стали появляться наброски ее портретов. Прекрасно сложенная, с тонкими изящными чертами лица, Элиза Воронцова обладала и особым, присущим польским женщинам шармом, ибо со стороны отца она была полячкой и принадлежала к аристократическому польскому роду. Со стороны же своей матери, родной племянницы великого Потемкина, Воронцова была русской, унаследовав живость и приветливость в обращении с окружающими. Несмотря на резкие критические оценки Воронцовой со стороны Е. П. Гурьевой, жена генерал-губернатора сумела быстро расположить к себе одесское общество, в кругу которого она стала более или менее регулярно встречать Пушкина. В течение последних недель 1823 г. (напомним: 23 октября она родила сына и некоторое время до и после родов на людях не появлялась) и первой половины 1824 г. (за вычетом нескольких поездок Воронцовой к родным в Киев) Пушкин постоянно встречается с нею на балах, званых обедах, в маскарадах и других праздничных увеселениях и даже становится завсегдатаем ее одесского салона, ибо образованная и интересующаяся поэзией Воронцова дорожила обществом блестящего собеседника и одного из крупнейших поэтов России. По записям в рукописях и по рисункам Пушкина можно проследить (и это убедительно показано в статье Т. Г. Цявловской «Храни меня, мой талисман» в наст. изд.) постепенное нарастание интереса к Воронцовой, перешедшее вскоре в увлечение, завершившееся в июне—июле 1824 г. бурной вспышкой страстного чувства, которое нашло отражение в стихотворениях и лирических набросках как одесской поры, так и первых месяцев михайловского заточения («Приют любви», «Кораблю», «К морю», «Ненастный день потух...», «Пускай увенчанный любовью красоты...», «Сожженное письмо» и другие стихотворения 1824 г.). По некоторм сведениям Пушкин писал ей в Одессу: небольшую связку с письмами

поэта Воронцова уничтожила после 1859 г. (см.: Русский архив 1912. № 5 С 159) Особой пометой (расшифрованной в сравнительно недавнее время — см *Фомичев С.А.* Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 835 // Пушкин.Исследования и материалы. Т XI. Л., 1983. С 36) Пушкин обозначил получение им письма от Воронцовой (Уоронцовой — он пользовался и таким написанием этой фамилии). Содержание этого ценного, но, к сожалению, не сохранившегося документа (по просьбе писавшей письмо было уничтожено — ср. пушкинское стихотворение «Сожженное письмо») могло бы пролить свет и на тайну появления (оставшегося в черновой редакции) стихотворения «Младенцу» с его мотивом "скрываемого" отцовства. Свою версию предлагает Т. Г Цявловская в упомянутой выше статье Образом Элизы Воронцовой вдохновлена «Прозерпина», отчасти и «Клеопатра», а также оба «Талисмана» (1825 и 1827 гг.), в которых опоэтизирован подаренный ему Воронцовой перстень-талисман с восточной надписью на камне. С ним поэт не расставался до самой смерти. Однако время и разделявшее влюбленных расстояние сделали свое. Пылкое чувство поэта постепенно уходило в прошлое. Поледние, адресованные Воронцовой стихи («Все в жертву памяти твоей...», 1825, «Прощанье», 1830) заключают прощальными строками этот замечательный лирический цикл. В 1830-е гг Пушкин и Елизавета Ксаверьевна могли встречаться в Петербурге, но внятных свидетельств до нас не дошло. В 1833 г. Воронцова, пользуясь особым шифром, писала из Одессы Пушкину, ответившему ей любезным по тону письмом (от 5 марта 1834 г.), напоминающем и о его прежнем пылком чувстве "Осмелюсь ли, графиня, сказать вам о том мгновении счастья, которое я испытал, получив ваше письмо". По свидетельству пушкинского биографа П И. Бартенева, "Воронцова до конца дней сохраняла о Пушкине теплые воспоминания" (Русский архив. 1884. № 5. С. 189).



Г. П. Макогоненко

„...Счастье есть лучший университет“

I

В поэтическом наследии Пушкина реалистического периода (с 1823 по 1830 включительно) значительное место занимает любовная лирика. Условно его лирические стихотворения можно разделить на две группы. В одну входят стихи, прямо или косвенно обращенные к какой-нибудь определенной, названной или откровенно подразумеваемой женщине, например, «К***» ("Я помню чудное мгновенье..."), лично переданное адресату — А. П. Керн, или «Что в имени тебе моем...», записанное в альбом К. Собаньской.

Ко второй группе принадлежат глубоко интимные любовные стихотворения, потрясающие искренностью выраженных в них чувств, но написанные с позиций, не допускающих какого-либо биографического комментария, поиска адресата: все, что нужно читателю для понимания авторского замысла, содержится в самом поэтическом строе стихотворения, в его образной структуре.

Но именно они и оказались объектом ожесточенно-пристального внимания комментаторов и биографов Пушкина. Встав на почву догадок и домыслов, поисков "утаенных" поэтом имен, пушкинисты, естественно, пришли к различным, но равно субъективным заключениям — потому одни и те же стихотворения стали приписываться по меньшей мере четырем женщинам (Е. Воронцовой, А. Ризнич — с одной стороны, и героиням легенды об "утаенной любви" — Е. Карамзиной, М. Раевской-Волконской — с другой). Вот уже почти сто лет идет своеобразный "рыцарский турнир" пушкинистов, в котором каждый биограф или комментатор с завидным постоянством и упорством сражается за свою "даму".

Современное пушкиноведение преодолело как субъективизм биографического метода, так и биографический нигилизм формалистов и вульгарных социологов. Это бесспорно. Но понимание границ и роли биографии поэта при изучении его лирики до сих пор лишено четкости и научной ясности.

Нужны ли и возможны биографические "расшифровки" и пояснения? Думается, что должно всякий раз исходить из самого характера художественного произведения. Если стихотворение создавалось с расчетом на понимание и знание читателем включенных в него автобиографических фактов и намеков на них, тогда комментаторы и биогра-

фы обязаны раскрыть их, как бы они, по разным причинам (например, цензурным) ни были зашифрованы. Иными словами — нужно расшифровать то, что предусмотрено автором, что "запрограммировано" им, — тогда это действительно поможет пониманию стихотворения.

Но если стихотворение пишется с заранее поставленной целью — исключить из восприятия читателя саму возможность догадок об имени, утаенном поэтом, чтобы сосредоточить все его внимание на поэтическом содержании, то в подобных случаях вторжение комментаторов излишне. И вряд ли надо напоминать, что художественное произведение адресуется читателю непосредственно, через голову будущего исследователя, и читатель воспринимал и воспринимает сейчас эти произведения, не дожидаясь "расшифровки" пушкиниста.

В нашем пушкиноведении такого разграничения нет. Более того, во многих работах признается оправданным вмешательство комментатора во все произведения, и приветствуется всякая расшифровка имен и биографических намеков. К тому же утверждается идея, что без таких расшифровок читатель якобы не сможет понять произведение, а следовательно, как бы признается художественная неполноценность стихотворения, поскольку оно само, без помощи комментатора, не способно передать заключенную в нем поэтическую информацию.

2

Чтобы понять, к чему приводит такая практика, обратимся к трем стихотворениям, написанным в Болдинскую осень 1830-го года: «Прощание», «Заклинание» и «Для берегов отчизны дальной...». Они создавались на пороге нового бытия — в последний раз, перед женитьбой, Пушкин вспоминал о событиях прошлого, пристально всматривался в пережитое, в свою давнюю горькую и прекрасную любовь, которая выдержала все испытания, прошла через муки и страдания сердца.

Первым было написано «Прощание». Пушкин прощался с той, которую любил: "В последний раз твой сблик милый Дерзаю мысленно ласкать". Он робко мечтал в ту осень о возможности нового счастья. Письма из Болдина раскрывают грустную прозаичность размышлении поэта об ожидавшем его браке. Но Пушкин еще не утратил веры в возможное счастье. В канун новой жизни его нравственное чувство требовало освобождения от того, что многие годы жило в сердце. Пушкин прощался со своей прежней любовью, проявляя сдержанность, не вдаваясь в подробности бывшего романа. Он заверял любимую, что ее друг будет "с негой робкой и унылой Твою любовь воспоминать". Воспоминание проникнуто горечью: женщины, которую любил Поэт, уже нет в живых.

«Прощание» было написано 5 октября и по своему смыслу не предусматривало продолжения. Но продиктованное разумом решение не

смогло сдержать вновь вспыхнувшего чувства. Воспоминание восстановило пережитое. Так 17 октября оказалось написанным «Заклинание». Страшась той разлуки, которую благославлял в «Прощании», со всей силой страсти взывал поэт к любимой, клянясь ей в своей вечной верности, в невозможности даже в памяти отречься от всего того, что было.

Душевная открытость стихотворения удивительна, напряжение страстного, трепетного чувства таково, что стихи звучали не как признание и объяснение, но как горячее заклинание. Именно потому Пушкин счел необходимым как-то скрыть от чужих глаз могущество пережитого им чувства: «Заклинание»— это перевод тщательно отобранного и тонко переделанного стихотворения Барри Корнуэла.

Прошло более месяца. Карантин продолжал удерживать поэта в Болдине. И опять воспоминания о прежнем и неумирающем чувстве чередой проходили перед Пушкиным. Память услужливо подсказывала дорогие сердцу подробности последнего горького свидания. О нем скупо говорилось и в «Прощании». Но теперь зримо и ярко возникла вся сцена, со словами любимой, с тоской прощания, которое оказалось роковым и последним. Чувства поэта и запечатлелись в стихотворении «Для берегов отчизны дальной...» (27 ноября).

Теперь уже действительно в последний раз Пушкин прощался — не с возлюбленной, с любовью своей. Более к ней поэт не вернется — поэтически пережитое чувство, воплотившись в стихах, освобождало его сердце.

Внутреннее единство этих трех стихотворений, единство целомудренного чувства, верность поэта памяти умершей женщины отмечали многие исследователи. Среди других прежде всего следует назвать П. Е. Щеголева. Но концепция внутреннего единства болдинского лирического цикла не получила признания — решительно разрушая его единство, стихотворения стали приписывать двум женщинам: «Прощание»— графине Е. К. Воронцовой, «Заклинание» и «Для берегов...» — Амалии Ризнич.[11]

Каковы же основания для подобных заключений? Практически — никаких! Если несколько десятилетий назад комментаторы еще пытались изыскивать доказательства своих версий, то теперь, как правило, они ограничиваются констатацией факта, изображают дело так, будто бы вопрос этот давно и окончательно решен. Нет нужды рассказывать всю историю подобного истолкования болдинского любовного цикла — важно подчеркнуть главное: современное пушкиноведение прежние гипотезы выдает за истину. Именно с таким положением мы встречаемся в авторитетных трудах Б. П. Городецкого («Лирика Пушкина») и Д. Д. Благого («Творческий путь Пушкина. 1826-1830»).

Правда, утверждая, что «Прощание» адресовано Е. К. Воронцовой, исследователи должны были опровергнуть точку зрения П. Е. Щеголева и других ученых, убедительно доказывавших, что Пушкин прощается

с умершей женщиной. А Е. К. Воронцова была жива. Возникшую трудность преодолели с помощью произвольного толкования ясных по смыслу стихов. Вот что пишет Б. П. Городецкий: Воронцова "была настолько *далека* и *недоступна* — и в связи с ее положением, а тем более с новым этапом жизни Пушкина, — что *как бы умерла* для поэта, равно как и он для нее" (подчеркнуто мной. — *Г.М.*).

Иное толкование дает Д. Д. Благой: "Поэту было грустно и сладостно еще раз через много лет снова вызывать в своем сердце ее облик... Но никаких иллюзий в нем не зарождалось. Прошлое безвозвратно прошло. И в ней и в нем самом погасло былое чувство: «Уж ты для своего поэта Могильным сумраком одета...»"

Весь строй стихотворения противоречит такому заключению — оно о любви, а не о погасшем былом чувстве. Стихи, исполненные нежности и печали ("В последний раз твой образ милый Дерзаю мысленно ласкать..."), запечатлели вызванное необходимостью "прощание сердца" с "дальней подругой". Много лет он был верен памяти любимой, а теперь наступила горькая минута прощания навсегда. И не потому, что перестал любить. Только со смертью его исчезнет любовь и память о любимой. Пусть она поэтому примет "прощанье сердца", "как овдовевшая супруга", как друг, навсегда расстающийся с другом "пред заточением его". Стихи — "Могильным сумраком одета"и "Как овдовевшая супруга" внутренне спаяны мыслью о смерти.

3

Логика, по которой объявляют Амалию Ризнич лирической героиней «Заклинания» и элегии «Для берегов отчизны дальной...», — одна и у прежних (Н. Лернер, П. Губер), и у современных исследователей (Б. Городецкий, Д. Благой): иностранка, умерла за границей. Основанием для подобных заключений являлись первые две строки элегии: "Для берегов отчизны дальной Ты покидала край чужой". В свое время Б. В. Томашевский указывал, что вряд ли можно связывать элегию с именем Ризнич, поскольку в рукописи первые строки были иными: "Для берегов *чужбины* дальной ты покидала край *родной*".

Перед нами важный реальный факт: рукопись категорически свидетельствует, что когда писалось стихотворение, поэт мысленно обращался к русской женщине, уезжавшей за границу, а не к иностранке, возвращавшейся на свою отчизну. Строки эти были изменены, когда рукопись готовилась к печати, — поэт убрал все появившиеся в процессе творчества реальные и точные намеки, которые могли бы послужить основанием для разгадки имени, так тщательно оберегавшегося Пушкиным. Но и этот реальный факт не поколебал позиции тех, кто настойчиво связывает стихотворение с Амалией Ризнич. Одни комментаторы сделали вид, что не замечают этого противоречия и потому не отвечали ни Щеголеву, ни Томашевскому. Другие реальному факту

противопоставляли предположения, почему появились в рукописи строки о русской женщине, уезжавшей за границу.

Важным основанием закрепления элегии "Для берегов отчизны дальной..." за А. Ризнич являлось и биографическое толкование многих ее реалий. Например, Д. Д. Благой писал: "Ее содержание — одна из самых горестных и жгучих страниц реальной биографии поэта: отъезд Ризнич в свою далекую 'отчизну' — Италию, прощание с нею, ее смерть".

Встанем на позиции сторонников биографического истолкования лирического стихотворения и посмотрим, сколь точны делаемые ими выводы. Прежде всего обратимся к описанию свидания перед разлукой с возлюбленной, уезжающей за границу: "В час незабвенный, в час печальный Я долго плакал пред тобой...". Так в стихах, а как было в жизни? Пушкинисты смело толкуют "реалии": Пушкин прощается с Ризнич. Но нет никаких свидетельств такого прощания Пушкина с Амалией Ризнич. Известно другое — она в течение нескольких месяцев до отъезда (1—2 мая 1824 года) была тяжело больна. Вот свидетельство мужа: "После ее родов ей становилось все хуже и хуже. Изнурительная лихорадка, непрерывный кашель, харканье кровью внушали мне самое острое беспокойство". Муж решился выполнить предписание врачей и отправил ее вместе с ребенком за границу. Ризнич провожал жену до Броды. Через год она умерла.

Вернемся к стихотворению. Поэт, рассказывая о последнем свидании, передает слова возлюбленной, обращенные к нему:

Но ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала;
Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала.

Нет никаких оснований утверждать, что Амалия Ризнич предлагала Пушкину уехать (то есть бежать из России) с ней за границу. Не собирался и Пушкин в мае 1824 года уезжать из Одессы. Известен иной факт — Амалия Ризнич звала с собой другого возлюбленного, который и последовал ее призыву.

Продолжим анализ реалий: что значат слова — "Из края мрачного изгнанья"? Ясно, что так определяется место ссылки Пушкина. Если признать в лирической героине стихотворения Амалию Ризнич — значит, имеется в виду Одесса. Но поэт никогда не считал Одессу "краем мрачного изгнанья". Стоит вспомнить только поэтическое описание Одессы в лирических срофах «Путешествия Онегина», написанные через год после отъезда из этого города. Вот несколько красноречивых стихов: "Там все Европой дышит, веет, Все блещет югом и пестреет Разнообразностью живой. Язык Италии златой Звучит по улице веселой...". После подробного описания Одессы — такое заключение: "Но солнце

южное, но море... Чего ж вам более, друзья? Благословенные края!".

Совершенно очевидно, что Одесса не была для Пушкина "краем мрачного изгнанья", что, определяя так в стихотворении «Для берегов отчизны дальной...» место своей ссылки, он имел в виду не Одессу, а Михайловское, где в глуши русской провинции он оказался оторванным от друзей, от центров культуры и просвещения, от театров, газет, новостей... В пору жизни в Михайловском он так и характеризовал место своей ссылки: "И ныне здесь, в забытой сей глуши, В обители пустынных вьюг и хлада", или "В глуши, во мраке заточенья", или из стихотворения «Все в жертву памяти твоей...» — "Мрак изгнанья". Амалия Ризнич, уезжавшая из Одессы весной 1824 года, не могла знать, что через три месяца Пушкину изменят место ссылки, переведут в Михайловское — край мрачного изгнанья... Если опираться на биографические реалии в этом стихотворении, то можно смело делать вывод: любимая Пушкина не иностранка, а русская, и свидание происходило на севере, а не на юге, в пору михайловской ссылки поэта.

Современные пушкинисты, занимающиеся биографией поэта и комментированием его любовной лирики, в частности, стихотворений, посвященных Воронцовой и Ризнич, пришли к двум главным выводам.

Первый. Стихотворения, написанные в Болдине, являются прощальными, они завершили давно, еще в 1823 году, в Одессе, начатые романы с Ризнич и Воронцовой. Тем самым, естественным явилось желание выстроить два ряда лирических пьес, запечатлевших развитие любви Пушкина к этим двум женщинам[1].

Второй. Поскольку стихотворения истолкованы как проявление "могучей страсти" Пушкина, а объектом ее оказались две женщины, постольку биографы пришли к полюбовному решению, что в период с 1823 по 1830 год Пушкин одновременно любил двух женщин — Ризнич и Воронцову[1].

Вопрос о границах биографического начала с особой остротой встает перед исследователями при изучении любовной лирики Пушкина — ибо здесь прежде всего происходит их нарушение. Красноречивым примером такого "перехода" границы и является разработка в современном пушкиноведении биографической концепции о великой любви

[1] Как утверждают некоторые биографы Пушкина, поэт одновременно испытывал громадное, "единственное" по своему характеру чувство не к двум, а к трем женщинам. В настоящее время произошло, так сказать, "разделение сфер влияния" — одни биографы и исследователи занимаются любовью Пушкина к Ризнич и Воронцовой (по их убеждению, очевидной, открытой и безусловной), другие изучают так называемую "утаенную любовь". Сюжет это особый, и я его касаться не буду. Укажу только, что он возник давно. Утаенной любовью занимались и М. Гершензон, и П. Щеголев, и Ю. Тынянов, и другие. Ныне ее изучает Т. Г. Цявловская. За десятилетия предлагались (соответственно и отвергались) многие имена.

Пушкина к Ризнич и Волконской, изучение лучших лирических стихотворений поэта.

Важно подчеркнуть при этом, что данная концепция не является следствием и результатом историко-литературного изучения лирики Пушкина с тактичным использованием реальной биографии, фактов и событий жизни поэта. В действительности она *позаимствована* у давних сторонников биографического метода, которые доказывали истинность "романов" Пушкина и их отражения в лирике с позиций субъективизма, домыслов и произвольных построений. От методов отказались, а идею приняли, не посчитав нужным проверить все так называемые доказательства.

Вот почему с подобными биографическими истолкованиями болдинского прощального цикла нельзя согласиться. Расшифровка адресатов и биографических реалий (которая к тому же носит и произвольный, как мы видели, характер) мешает и затемняет понимание поэтического, художественного смысла гениальных лирических стихотворений Пушкина, с поэтической силой и полнотой запечатлевших личность поэта, мешает и затемняет прежде всего потому, что насильственно разрушает внутреннее единство чувства этих стихотворений, произвольно относя его к различным женщинам. Нельзя принять и ссылок современных исследователей на законность их права привлекать в процессе изучения стихотворений биографические факты — в данном случае привлекаются не факты подлинной биографии, а факты *мифологической* биографии, сочиненной усилиями нескольких поколений сторонников биографического метода. Субъективизм пушкинистов прошлого века привел их в изучении биографии поэта к созданию многих легенд, к приписыванию Пушкину того, в чем он не повинен. Одной из таких устойчивых легенд является легенда о великой любви Пушкина к Е. К. Воронцовой и А. Ризнич.

История отношений Пушкина и Амалии Ризнич глубоко и тщательно исследована П. Е. Щеголевым (см. его статью: «Амалия Ризнич в поэзии Пушкина»).[2] Ученый, опираясь на факты, новые материалы и тонкий анализ стихотворений Пушкина, действительно посвященных А. Ризнич, сумел установить и время увлечения Пушкина (сентябрь—декабрь 1823 года), и его характер (Ризнич "приковывала к себе властью своей красоты и чувственного влечения").

П. Е. Щеголев решительно отвел несостоятельные аргументы исследователей, бездоказательно адресовавших А. Ризнич многие другие стихотворения 1820-х годов и стихотворения болдинского цикла — «Заклинание» и «Для берегов...». В итоге своих разысканий исследователь пришел к обоснованному выводу, что "цикл Ризнич в творчестве Пушкина обнимает следующие произведения поэта: элегию 1823 года ("Простишь ли мне ревнивые мечты"); элегию... 1826 года ("Под небом голубым...") и XV—XVI строфы шестой главы «Онегина», оставшиеся в рукописях. Все же остальные стихотворения, связывавшиеся с именем

Ризнич, не могут быть относимы к ней".

Вывод этот точен и справедлив. И — парадоксально! (а может быть, и закономерно) — с ним не посчитались те пушкинисты, которые были пленены легендой о всемогущей любви Пушкина к Амалии Ризнич. Энергично утверждая ее, они не сумели поколебать или опровергнуть выводы П. Е. Щеголева, не смогли обнаружить хотя бы какие-нибудь вероподобные доказательства в ее пользу.

Вопрос о месте А. Ризнич в жизни и поэзии Пушкина, конечно, частный, но характер его решения в современном пушкиноведении не может не вызвать тревоги. С позиций мнимого биографизма создается легендарная биография Пушкина, оказывается возможным легко и просто приписать Пушкину любые увлечения, чувства, поступки и, самое главное, оправдывается идея произвольной "расшифровки" адресатов любовной лирики.

"Расшифровка" закрепила за Воронцовой лучшие любовные стихотворения Пушкина, несмотря на то, что так называемый "роман" его с Воронцовой есть вершина мифологической биографии поэта.

4

Даже в пору торжества биографического метода изучения творчества Пушкина — в первое десятилетие XX века — некоторые ученые, откровенные его сторонники (Н. О. Лернер, М. О. Гершензон, П. Е. Щеголев), сочли своим долгом выступить с признанием, что бытующая в пушкиноведении история о великой любви Пушкина к Е. К. Воронцовой носит легендарный характер.

П. Е. Щеголев, ознакомившись со всеми к тому времени накопившимися "материалами" на этот сюжет, не признал их доказательности, усомнился в реальности всей этой истории, о чем рассказал на страницах «Вестника Европы» в 1904 году. Призыв Щеголева — серьезно, опираясь на реальные факты, а не на слухи и домыслы, — изучить этот вопрос, не был услышан. За прошедшие с той поры семьдесят лет именно такого исследования и не появилось.

А между тем комментаторы очередных специальных и массовых изданий сочинений Пушкина, биографы, исследователи лирики настойчиво продолжали писать о любви к Воронцовой, относили к графине все новые стихотворения. При этом проявилась одна закономерность: чем чаще называлась Е. К. Воронцова как именно та женщина, имя которой утаил Пушкин, тем все меньше приводилось доказательств в пользу данной версии. Так сложилось в современном пушкиноведении убеждение, что история отношений Пушкина с Воронцовой уже не нуждается в доказательствах. Обилие созданной по этому вопросу литературы рождало иллюзию доказанности того, что еще совсем недавно было только маловероятной гипотезой. Процесс формирования мифа завершился.

Рассмотрим сначала фактическую сторону вопроса. Что нам действительно известно, чем мы располагаем? Прежде всего, конечно, свидетельствами самого Пушкина о знакомстве с Воронцовой (ее портреты, чаще всего вместе с мужем, сделанные на рукописях «Евгения Онегина», также — редкие пометы типа "ужинал у Воронцовой", упоминание в так называемом Донжуанском списке имени "Элиза"). Сюда же следует отнести показания людей, живших одновременно с Пушкиным в Одессе, имевших возможность наблюдать поэта вблизи, пользовавшихся его доверенностью. Это воспоминания Ф. Ф. Вигеля, которые являются глувным источником сведений о взаимоотношениях Пушкина с Воронцовой (об этом же, но с чужих слов писал и П. Капнист), и письма В. Ф. Вяземской мужу из Одессы, куда она прибыла 7 июня 1824 года.

Какие выводы можно сделать из анализа этих документальных сведений? В январе 1824 года Пушкин, в числе других чиновников воронцовского управления, начинает бывать в доме начальника на торжественных обедах, балах и маскарадах, которые давал граф Воронцов, на приемах, устраивавшихся графиней Елизаветой Ксаверьевной. Именно в это время Пушкин близко знакомится с Воронцовой. Вигель и Вяземская в разное время наблюдали увлечение поэта графиней.

Вигель писал: "Влюбчивого Пушкина нетрудно было привлечь миловидной *** (Воронцовой. — *Г.М.*), которой Раевский представил, как славно иметь у ног своих знаменитого поэта". А. Раевский — друг поэта, близкий человек к семейству Воронцовых (в свои приезды в Одессу он и жил в их доме), был возлюбленным графини. Чтобы как-то скрыть от графа Воронцова свою близость с его женой, он и попросил Пушкина ухаживать за Елизаветой Ксаверьевной. Вигель понял, какую игру затеял А. Раевский, и, опасаясь за Пушкина, предупредил его[2]. Ту же версию "романа" слышал от современников и записал в свои мемуары граф П. Капнист[3].

Приехавшая в июне 1824 года в Одессу княгиня Вяземская была в дружеских отношениях и с Пушкиным, и с Е. К. Воронцовой. В письме мужу Вяземская сообщила, что Пушкин скучает, потому что "три женщины, в которых он был влюблен, недавно уехали". Судя по контексту письма, одна из трех — Воронцова. В конце письма Вяземская, приглашая мужа прибыть в Одессу, высказывает предположение, что он, несомненно, по приезде станет соперником Пушкина в ухаживании за Воронцовой. Письмо Вяземской передает светский характер увлечения Пушкина, говорит о любовной игре с кокетливой, любящей поклонение мужчин графиней.

Таковы факты. Они не допускают возможности говорить о великой, на всю жизнь любви Пушкина к Воронцовой. О том же свидетельствуют обстоятельства жизни Пушкина в Одессе. Проведенное изучение биографии поэта в одесский период позволяет внести существен-

[2] *Ф. Ф. Вигель.* Записки. Ч. 6. М., 1842. С. 171.

ные поправки в бытующие ныне представления. "Роман" с Воронцовой, относимый к осени 1823 года, не мог состояться в это время — она была беременна и не появлялась в обществе. Встречи с Воронцовой, как свидетельствуют документы, начались после рождения сына, с 25 декабря 1823 года, когда граф Воронцов устроил большой прием по случаю рождества. Январь и февраль 1824 года — это и есть, собственно, период светского увлечения Пушкина Воронцовой, которое, кстати сказать, проходило на глазах Раевского, ничуть не испортив их дружеских отношений. Об атмосфере, которую создавала графиня на устраиваемых ею приемах и маскарадах, оставили свои свидетельства и Вигель, и Туманский. Они писали, что "миленькая", "легкомысленная", "кокетливая" Елизавета Ксаверьевна "щеголевато дурачилась" и всех "интриговала", особенно на маскарадах, когда она надевала "каррикатурное платье". Среди тех, кого она "интриговала", мог быть и Пушкин. И нет никакого сомнения, что он с увлечением включался в эту веселую любовную игру.

11 марта Пушкин уехал в Кишинев. 20 марта Воронцова вместе с мужем покинула Одессу, выехав в имение своей матери в Белую Церковь, где жили ее дети. Возвратилась она в Одессу после 20 апреля.

Второй тур возможных и действительно бывших встреч Пушкина с Воронцовой приходится на время с конца апреля по 14 июня, когда Воронцовы отбыли в Гурзуф. Вернулась Воронцова в Одессу 25 июля, а 31 июля Пушкин вынужден был уехать из Одессы в Михайловское. Но эти полтора месяца одесской жизни Пушкина решительно не похожи на зимние, заполненные светскими развлечениями. Прежде всего это была пора активной вражды Воронцова и Пушкина, грязных интриг графа, его доносов на поэта, борьбы Пушкина за свое достоинство и независимость. В это время, по свидетельству Вигеля, Воронцов, не скрывая своей ненависти к Пушкину, называл его "мерзавцем" (май 1824 года), а Пушкин именовал графа "вандалом, придворным хамом" и писал на него известные злые эпиграммы. Сложившиеся обстоятельства исключали возможность посещения Пушкиным дома Воронцова.

Более того, в те же месяцы появились и другие причины, по которым Пушкин практически не мог встречаться с Воронцовой — ни в ее доме, ни на даче Рено. Дело в том, что тяжело заболела маленькая дочь Воронцовых. Больную девочку родители привезли из Белой Церкви в конце апреля. Ф. Вигель рассказывает, что когда он в очередной раз прибыл в Одессу 16 мая 1824 года, он застал Воронцовых в большой печали — их четырехлетняя дочь Александра была "опасно больна". Специально выписанный из Англии доктор "не ручался за ее жизнь". Оттого родители "не могли переехать на нанятый приморский хутор Рено... и принуждены были жить среди городской духоты"[3].

Как же и где в этих условиях могли происходить свидания, о кото-

[3] *Ф. Ф. Вигель.* Записки. Ч. 6. С. 168.

рых пишут пушкинисты? Когда зимой встречи бывали, то многие это запомнили и рассказывали об этом в письмах или воспоминаниях. О летних встречах Пушкина с Воронцовой нам ничего не известно.

Из всего сказанного ясно, что Пушкин был в известной мере увлечен Воронцовой, участвовал в той светской любовной игре, которую любила графиня. Видимо, этим и можно объяснить включение имени "Элизы" в шутливый список, позже претенциозно названный "Донжуанским".

5

Другую и самую значительную часть литературы о "великой" любви Пушкина к Воронцовой составляют биографические работы и изыскания, посвященные истолкованию с биографических позиций лирических стихотворений Пушкина. Труды эти с поразительной откровенностью раскрывают субъективизм в обращении с фактами. Еще в 1925 году авторитетнейший пушкинист Б. В. Томашевский указывал, что в большинстве случаев изучение биографии поэта и его лирических (в частности, любовных) стихотворений осуществляется "путем подбора произвольных аргументов и догадок, имеющих источником единственно остроумие автора".

Таких биографов-комментаторов Б. В. Томашевский называл "толковниками", которые и создают мифологическую биографию поэта. Ученый вскрыл механизм создания мифа с помощью произвольного использования подлинных сведений о жизни Пушкина. "Так из реальных фактов (по тщательной их переборке)... из муссированных биографических мотивов создается литературная биография-миф, не всегда сведенная, не всегда согласованная".

Вопрос этот рассматривался Б. В. Томашевским исторически: "Легенда о жизни Поэта (с большой буквы — героя лирики) не умирает со смертью автора. Вокруг его имени нарастает своего рода «фольклор» в форме подозрительных «мемуаров» маститых «старцев»..." Такие собиратели "устной традиции, как Бартенев, и были фокусами этой творимой легенды о поэте, где реальные факты переплетаются с фактами муссированными, со сплетнями — формой великосветской устной словесности — и анекдотами, часто случайно приурочиваемыми к тому или иному лицу"[4].

Предупреждения Б. В. Томашевского не были услышаны — у пушкинистов последнего полустолетия, занимавшихся биографией и лирикой поэта, мы встречаем то же или еще большее благоговение перед слухами и сплетнями, которыми окружали Пушкина при жизни и после его смерти.

В огромной литературе по данному предмету нет никаких новых

[4] *Б. В. Томашевский.* Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения. Л., «Образование», 1925. С. 93, 61, 62.

фактов о "романе" Пушкина с Воронцовой. Усилия многих пушкинистов направлены на доказательство продолжавшейся после отъезда Пушкина из Одессы любви к Воронцовой; тем самым как бы подкреплялся "факт" интимных отношений Пушкина и Воронцовой в Одессе. Эта концепция открывала широкий простор для биографического истолкования любовной лирики Пушкина за период с 1823 по 1830-й год: можно было свободно и легко адресовать Воронцовой многие стихотворения. В биографическом же плане истолкованная лирика, в свою очередь, служила "доказательством" существования романа. Создавался замкнутый круг, все "факты" сходились, росла и крепла уверенность в бесспорности всех собранных и добытых сведений и доказательств.

Вот почему давно назрела необходимость проверки этой "аксиомы", чтобы отделить реальные факты от "фактов", почерпнутых в светском "фольклоре", действительные события от вымышленных.

Особой популярностью пользуется сюжет о так называемой переписке Пушкина и Воронцовой. Идея переписки возникла гипотетически: если в Одессе был роман, то после отъезда Пушкина в Михайловское любовники должны были переписываться. С другой стороны, если будет доказан факт переписки, то он документально подтвердит любовные отношения Пушкина с Воронцовой в Одессе.

Сначала "доказали" получение писем Пушкиным от Воронцовой. Присмотримся к системе научной аргументации. В свое время В. Е. Якушкин при описании рукописей Пушкина обратил внимание на пушкинскую помету на рукописи третьей главы «Евгения Онегина»(XXXII—XXXIII строфы): "5 сен. 1824 u. l. de...". Точками Якушкин обозначил довольно густо зачеркнутые буквы. Запись прочитывается так: "5 сентября une lettre de", то есть "письмо от...". Что скрыто за зачеркнутыми буквами, сначала не расшифровывали, но уверенно высказывали предположение, что запись свидетельствует о получении письма от Воронцовой. М. Гершензон не согласился с таким толкованием. Он писал: "... почему "письмо от..." означает письмо от Воронцовой, это остается тайной веры. В рукописи за предлогом de... следовала одна прописная французская буква, потом несколько раз зачеркнутая... Зачеркнутая в тетради буква инициала очень похожа на R"[5].

П. Е. Щеголев вновь обратился к рукописи, чтобы попытаться разобрать зачеркнутый инициал. Вот его выводы: "Пушкин написал сначала Pr потом это Pr покрыл буквою V, а затем горизонтальными линиями зачеркнул их ...мой разбор пометы, кажется, правильнее разбора Гершензона. А смысл пометы: "5 сентября 1824 une lettre de Princesse Viasemsky"? Конечно, речь идет о письме, которое кн. В. Ф. Вяземская послала Пушкину из Одессы через Псковского губернатора, между 9 и 25 августа"[6].

[5] Вестник Европы. 1909, февраль. С. 537.

[6] *П. Е. Щеголев.* Из жизни и творчества Пушкина. М.—Л. ГИХЛ, 1931. С. 240.

Прочтение, предложенное П. Е. Щеголевым, не было принято, оно не поколебало убеждений сторонников переписки Воронцовой с Пушкиным. В 1935 году М. А. Цявловский, опубликовав эту запись Пушкина, предложил свое чтение зачеркнутых букв — L. V. Он делает категорический вывод: "Запись нужно читать: 'une lettre de Lise Voronzoff' (письмо от Лизы Воронцовой)"[7].

Изучение автографа этой пушкинской записи убеждает в правильности расшифровки, данной П. Е. Щеголевым. Никакого французского R там нет. Нет также и французской буквы L. Совершенно отчетливо выписана буква V, перекрывшая P. Сравнение написаний буквы P Пушкиным в рукописях того же времени убеждает, что один из вариантов ее написания совпадает с данной записью. Внизу этой буквы маленький знак, который с большой вероятностью может быть прочитан как r.

Но расшифровать V как инициал фамилии Воронцовых или Вяземских нельзя, поскольку Пушкин писал обе эти фамилии через W. И все же прав именно Щеголев — запись свидетельствовала о получении письма от Вяземской, только букву V надо раскрывать как инициал *имени* адресата, а не *фамилии* — "письмо от княгини (Princesse) Веры". Это подтверждают дошедшие до нас письма Пушкина к Вяземской — традиционным обращением в них были слова "княгиня Вера". Имя Вера пишется через V. Так обстоит дело с расшифровкой записи Пушкина о получении письма из Одессы.[4]

"Доказав" получение писем от Воронцовой, биографы Пушкина, естественно, были озабочены обнаружением писем Пушкина к графине. И — нашли! Вот уж поистине — кто ищет, тот всегда найдет. Так в собраниях сочинений, и в том числе академическом, появилось письмо Пушкина. Вот как оно печатается: "Е. К. Воронцовой. Середина августа 1824 — начало 1825 г. Михайловское. (Отрывок)". И далее французский текст, за которым следует перевод: "Что делает ваш грубиян-супруг"[8].

Странное письмо! Откуда оно, как попало в собрание сочинений Пушкина? Ответ находим в примечании: "Печатается по тексту «Русского архива» (1912, кн. II, № 5, стр. 159), где эта фраза впервые опубликована П. И. Бартеневым, слышавшим ее от 'домоправителя' Воронцовых, Г. И. Тумачевского, сохранившего ее по памяти. Тумачевский рассказывал, что у Е. К. Воронцовой имелась 'небольшая связка с письмами Пушкина', но что она 'их истребила'". Как видим, источник не новый — Бартенев, который был главным собирателем светского фольклора. Трудно опровергать подобные басни, хотя и очевидно, что сообщение "домоправителя" является чистым вымыслом. Вдумаемся серьезно в это сообщение: графиня, а затем княгиня Воронцова, вынужденная скрывать от мужа свой роман с Пушкиным и тайно хранить

[7] Рукою Пушкина. М.—Л., Academia, 1935. С. 301.

[8] *А. С. Пушкин.* Полн. собр. соч. Т. 13. АН СССР, М.—Л., 1937. С. 353, 565.

письма от него, вдруг доверительно сообщает об этих фактах своему домоправителю... Мало того — она читает ему письма Пушкина! А домоправитель "запомнил" всего одну фразу, но какую! Оказывается, главное, что волновало поэта, о чем он спрашивал в своих письмах любимую женщину, — что делает ее грубиян-супруг! все это нелепо. Видимо, биографы все же не очень доверяют "домоправителю"— во всяком случае, "письмо" Пушкина помещено в отделе Dubia. Но М. А. Цявловский, к сожалению, внес данный "факт" в свою «Летопись».

6

Несколько слов о другом сюжете: доказательство "пламенного увлечения" Пушкина Воронцовой на основании письма Александра Раевского от 21 августа 1824 года, присланного поэту в Михайловское. Письмо друга Пушкина и возлюбленного Воронцовой считается бесспорным свидетельством романа поэта.

Н. О. Лернер в статье «Пушкин в Одессе» писал: "Через сердце Пушкина пронеслось пламенное увлечение Воронцовой. Она — тот ангел нежный, который, сияя поникшей головою у дверей рая, пробудил 'жар невольного умиленья' в холодном сердце мрачного духа зла... Своей Татьяне, 'любимице златой своей весны', поэт придал некоторые черты Воронцовой"[9]. В примечаниях к стихотворению «Демон» этот мотив — Воронцова-Татьяна — развит более подробно. Откуда это уподобление? Из письма А. Раевского Пушкину.

Рассмотрим это письмо. Раевского не было в Одессе, когда Пушкин уезжал в Михайловское. Старый друг написал ему теплое, полное участия и сочувствия письмо. "Я испытываю настоящую потребность писать вам. Нельзя безнаказанно прожить вместе столько времени; даже оставляя в стороне множество причин, которые заставляют питать к вам истинную дружбу, одной привычки было бы достаточно, чтобы создать между нами [истинную] прочную привязанность... знайте же, что, не говоря уже о вашем прекрасном и большом таланте, я с давних пор проникся к вам братской дружбой, и никакие обстоятельства не заставят меня отказаться от нее".

Затем А. Раевский сообщает об одесских новостях и переходит к главной теме письма: "Сейчас расскажу вам о Татьяне. Она приняла живейшее участие в вашем несчастии; она поручила мне сказать вам об этом, я пишу вам с ее согласия. Ее нежная и добрая душа видит лишь несправедливость, жертвою которой вы стали; она выразила мне это со всей чувствительностью и грацией, свойственными характеру Татьяны"[10]. Как правило, на этом обрывают цитату из письма. Пушкинистам достаточно было того, что Раевский называет близкую Пушкину женщину Татьяной. Позже об этом писал П. Губер: "... под Татья-

[9] *Пушкин.* Сочинения, под ред. С. А. Венгерова. Т. II. СПб., 1908. С. 276.

[10] *А. С. Пушкин.* Полн. собр. соч. Т. 13. С. 529—530.

ной, несомненно, надлежит подразумевать Е. К. Воронцову"[11].

В те годы, когда комментировалось письмо Раевского, считалось, что Е. К. Воронцовой не было в Одессе в дни отъезда Пушкина. Потому-то письмо Раевского и толкуется как выражение желания Воронцовой высказать Пушкину свое отношение к его высылке из Одессы. Это желание "Татьяны", как мы видели, и служит Н. О. Лернеру основанием отождествить ее с Воронцовой.

Но в 1913 году в печати появились письма В. Ф. Вяземской мужу от 25 и 27 июля 1824 года, из которых стало известно, что Е. К. Воронцова вернулась из Крыма в Одессу 25 июля[12]. И Пушкин видел ее перед своим отъездом 31 июля. Следовательно, не было никакой необходимости у Воронцовой прибегать к посредничеству Раевского. Письмо Раевского как аргумент в пользу гипотезы "Воронцова — это «Татьяна»" оказывается несостоятельным. Домыслом является и утверждение, что "Татьяна"— Воронцова "осуждала" своего мужа. Из письма В. Ф. Вяземской мужу мы знаем, как в действительности относилась Е. К. Воронцова к высылке Пушкина из Одессы. В. Ф. Вяземская писала: "Мы продолжаем ничего не знать о судьбе Пушкина. Даже графиня знает только то же, что и ты, что он (Пушкин. — *Г.М.*) должен будет оставить Одессу. Ее муж сказал просто, что для Пушкина ничего нельзя сделать в Одессе..."[13].

Отождествлению "Татьяны" из письма Раевского с Воронцовой решительно противоречат и другие факты письма. Прочтем его до конца, приглядимся к интересным сообщениям Раевского: "... она высказала мне это с чувствительностью и грацией, свойственным характеру Татьяны. Даже ее прелестная дочка вспоминает вас, она часто говорит со мною о сумасбродном г-не Пушкине и о тросточке с собачьей головкой, которую вы подарили ей"[14]. Здесь, как видим, сообщены чрезвычайно важные сведения, — казалось бы, именно эти факты и должны были привлечь внимание пушкинистов, видящих в "Татьяне" Воронцову. Но известие о дочке "Татьяны" не заинтересовало их, а оно очень важно.

Первый вопрос: сколько может быть лет дочке "Татьяны", если она "часто говорит о сумасбродном Пушкине"? В таком определении отразился опыт общения девочки с Пушкиным, способность ее делать заключения. Думается, такое под силу девочке старше шести-семи лет, не меньше. Второй вопрос: была ли дочь у Воронцовой? Да, как мы знаем, была, но в 1824 году ей было три с половиной года! Третий вопрос: был ли знаком Пушкин с дочерью Воронцовой? Вряд ли. Зимой 1824 года дети Е. К. Воронцовой жили в Белой Церкви у бабушки, графини Браницкой. В марте 1824 года графиня уехала к детям. Болезнь

[11] *П. К. Губер.* Дон-жуанский список Пушкина. Пг., 1923, стр. 132.

[12] Остафьевский архив. Т. V. Вып. 2. СПб., 1913. С. 134.

[13] Там же. С. 136—137.

[14] *А. С. Пушкин.* Полн. собр. соч. Т. 13. С. 530.

дочери обострилась — в конце апреля ее пришлось привезти в Одессу. Здесь она провела два месяца — на грани смерти, и 14 июня, как только ей стало лучше, ее вывезли из душной и пыльной Одессы в Крым. Пушкин, следовательно, не мог "подружиться" с дочерью Воронцовой. Вывод — нет никаких оснований отождествлять "Татьяну" из письма А. Раевского и Е. Воронцову; друг Пушкина сообщал совсем о другой женщине. Тем самым рушится, собственно, единственный казавшийся абсолютно достоверным и бесспорным аргумент в пользу версии о "пламенном увлечении" и "могучей страсти" Пушкина к Воронцовой.

Приведенные материалы говорят о несостоятельности созданного пушкинистами мифа о роли Е. К. Воронцовой в жизни Пушкина. И, право, может быть, и не стоило бы так подробно разбираться в путях и методах формирования легенды и опровергать ее, если бы с ее помощью не подверглась неверному толкованию поэзия Пушкина.

7

1823 год был переломным в жизни Пушкина — пережитый им идейный кризис обновил весь мир его нравственных, эстетических, философских представлений. Нараставшая неудовлетворенность романтизмом привела к пересмотру его позиций. В горниле сомнений и скепсиса закалялась новая вера поэта. Духовное возрождение Пушкина обусловило иное отношение к жизни, людям, страстям. Доверие к действительности, к реальному человеку, к своим чувствам освободило от привычки смотреть на все глазами предубеждений — романтических, книжных, светских, помогало избавиться от образа гордой, непонятой, одинокой и разочарованной в жизни и в своих чувствах личности ("Я пережил свои желанья, Я разлюбил свои мечты, Остались мне одни страданья, Плоды сердечной пустоты...").

Стихи, написанные на юге, были наполнены "безымянными страданиями", в них говорилось о "сводах скал", "пышных берегах", "блещущих водах" моря, изменах, обманах "девы юной" и т.д. Все это позже Пушкин определит как "высокопарные мечтания".

В пору обретения новой веры и открылось сердце Пушкина большой любви. Не "девы юные" и не "прелестницы" и "жрицы сладострастья" волновали теперь его воображение. Поэт встретил женщину, самобытная личность которой и ее ум полностью пленили его. В 1824 году в программном стихотворении «К морю» он писал:

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег;
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтический побег!

Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я...

Всем прежним увлечениям противостала "могучая страсть"; не литературно-романтическое представление о "вечной любви", но подлинно высокое, живое, исполненное горечи, страдания и красоты чувство.

Любовь Поэта выразила себя в стихах. Пушкин писал их по душевной потребности, по велению сердца. Так в течение времени складывался цикл стихотворений, внутреннее единство которого определялось индивидуальной неповторимостью чувства духовной общности любящих, силой и особым характером этой "могучей страсти".

В цикл могут быть включены: «Ночь» (1823); стихотворения 1824 года — «Разговор книгопродавца с поэтом» (лирические отступления в полной первой редакции); «Ненастный день потух...»; три стихотворения 1825 года — «Сожженное письмо», «Желание славы» и «Все в жертву памяти твоей...»; «На холмах Грузии...» (1829 — полная, первая редакция); прощальные стихи 1830-го года: «Прощание», «Заклинание», «Для берегов отчизны дальной...».

Лирический цикл этот не может и не должен рассматриваться биографически, но только поэтически. Но именно внутреннее единство этих стихотворений и разрушается комментаторами, которые адресуют его разным женщинам, в том числе Е. К. Воронцовой. А в них раскрылись личность Пушкина, его нравственный опыт, его понимание любви, его идеал духовной близости двух любящих людей, но раскрылись в осложненном и обобщенном образе Поэта. Стихи эти потому не нуждаются в биографическом комментарии, не могут они привлекаться и для иллюстрирования биографии Пушкина.

В этой связи должно напомнить мудрые и вещие слова Гоголя об особенном характере лирической поэзии Пушкина: "Даже и в те поры, когда метался он сам в чаду страстей, поэзия была для него святыня, — точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей; не вошла туда нагишом растрепанная действительность. А между тем все там до единого есть история его самого. Но это ни для кого незримо. Читатель услышал одно только благоуханье; но какие вещества перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благоуханье, того никто не может услышать. И как он лелеял их в себе! как вынашивал их! Ни один итальянский поэт не отделывал так сонетов своих, как обработывал он эти легкие, по-видимому мгновенные созданья. Какая точность во всяком слове! Какая значительность всякого выраженья! Как все округлено, окончено и замкнуто! Все они

точно перлы"[15].

Пережитое конкретное и реальное чувство Пушкина и переплавилось в благоуханную, по словам Гоголя, поэзию. Высокая страсть личности с ее счастьем и горем, восторгом вдохновения и страданием, благодарностью щедрого сердца и вечной памятью о единственно близкой и нужной, бесконечно дорогой женщине только в стихах и могла полностью выразить себя. Поэзия и уберегла эту страсть от всеразрушающего времени, от забвения, даровав ей бессмертие.

Первое же стихотворение цикла — «Ночь» — открывает нам счастливого человека, самозабвенно отдающегося творчеству, вдохновение которого слито с музыкой любви.

Мой голос для тебя и ласковый и томный
Тревожит позднее молчанье ночи темной.
Близ ложа моего печальная свеча
Горит; мои стихи, сливаясь и журча,
Текут, ручьи любви; текут полны тобою.
Во тьме твои глаза блистают предо мною,
Мне улыбаются — и звуки слышу я:
Мой друг, мой нежный друг... люблю... твоя... твоя!

«Ночь», написанная в Одессе (26 октября 1823 года), сообщала о непосредственном общении двух любящих людей. «Ненастный день потух...» писалось в Михайловском, когда Поэта и его любимую разделяли не только громадные пространства России, но и злая сила деспотизма. И любовь являла свою власть, преодолевая время, — Поэт не вспоминает, что было, но рассказывает о мельчайших и дорогих подробностях происходящего сейчас заочного свидания. Любящих соединяет не просто память, а вера друг в друга, та близость, которая преодолевает разлуку:

Вот время: по горе теперь идет она
К брегам, потопленным шумящими волнами;
Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит печальна и одна...
Одна... никто пред ней не плачет, не тоскует;
Никто ее колен в забвеньи не целует;
Одна... ничьим устам она не предает
Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных.
....
Никто ее любви небесной не достоин.
Не правда ль; ты одна... ты плачешь... я спокоен;
.....
Но если .....

[15] *Н.В.Гоголь.* Полн. собр. соч. Т. VIII, М.—Л., изд-во АН СССР, 1952. С. 382-383.

Перед нами пластически переданная сцена любовного свидания — мы не только видим, но слышим и плач одинокой женщины, и заданные поэтом вопросы — "не правда ль: ты одна?", и последние, такие неожиданные слова: "Но если...". Нет, не ревность, не мстительная угроза в этом резком и стремительном — "Но если...", но страсть, всепоглощающая страсть, которая очаровала навсегда Поэта.

«Желание славы» написано в следующем, 1825 году. В центре стихотворения вновь сцена прошлого любовного свидания — поэт вырывает из небытия то, что уже было, воссоздает незабываемые мгновения испытанного счастья. Поэтическое слово навечно закрепляло и сегодняшнее упоение любовью, и нежность к избраннице сердца, и наслаждение духовной близостью с нею, и ее ревниво милые вопросы...

Когда, склонив ко мне томительные взоры
И руку на главу мне тихо наложив,
Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив?
Другую, как меня, скажи, любить не будешь?
Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь?
А я стесненное молчание хранил,
Я наслаждением весь полон был, я мнил,
Что нет грядущего, что грозный день разлуки
Не придет никогда...

Уже в первом стихотворении цикла — «Ночь» — поэт с удивительной доверчивостью мысленно обращался к избраннице, рассказывая о своих стихах — "ручьях любви". Белинский причислял «Ночь» к антологическим стихотворениям, указав в то же время, что их "содержание принадлежит скорее новейшему миру, нежели древнему". "Пластичность и грация" в выражении мысли — вот что прежде всего отличает этот род поэзии. «Ночь» принадлежит к стихам, где "в краткой речи, молниеносном и неожиданном обороте, в простых и немногосложных образах, схватывается одно из тех ощущений сердца, одна из тех картин жизни, для которых нет слова на вседневном языке человеческом и которые находят свое выражение только на языке богов в поэзии..."[16]. Упоение духовной близостью с любимой женщиной и было тем ощущением сердца, которое могло быть выражено только языком поэзии, — "вседневный язык человеческий" оказывался тут бессильным.

В программное стихотворение «Разовор книгопродавца с поэтом» Пушкин включил лирический рассказ о своей любви. В год написания стихотворения поэту открылась живая красота истинно человеческой любви с ее непременным условием духовной близости. Свой душевный опыт Пушкин отдает Поэту. Он вспоминает о любимой женщине, с которой злой волей его разлучили. Свою страсть, чувства и память он передает в форме размышления:

[16] *В.Г.Белинский.* Полн. собр. соч. М., изд-во АН СССР. Т. 5. 1954. С. 257.

. . душа моя
Хранит ли образ незабвенный?
Любви блаженство знал ли я?
Тоскою ль долгой изнуренный,
Таил я слезы в тишине?
Где ты была, которой очи,
Как небо, улыбались мне?
Вся жизнь, одна ли, две ли ночи?..

Последний гениальный стих беспримерен в мировой поэзии по пронзительной лаконичности раскрытия человеческого счастья любви.

Особый характер этого счастья, его полнота выявляются в последующих стихах:

С кем поделюсь я вдохновеньем?
Одна была... пред ней одной
Дышал я дивным упоеньем
Любви поэзии святой[17].
....
Она одна бы разумела
Стихи неясные мои;
Одна бы в сердце пламенела
Лампадой чистою любви!

Счастье не было безмятежным. Возникали размолвки, доводилось испытывать горечь недоверия. И все же именно духовное единство любящих является той неповторимой печатью, которой отмечены стихи пушкинского любовного цикла. Сама возможность написания стихотворения «Желание славы», размышления и мечты поэта о литературной славе, доверительно высказываемые любимой женщине, обусловлены тем характером любви, которой ведомо счастье "делиться вдохновеньем".

Когда, любовию и негой упоенный,
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,
Я на тебя глядел и думал: ты моя, —
Ты знаешь, милая, желал ли славы я;
Ты знаешь: удален от ветреного света,
Скучая суетным прозванием поэта,
Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал
Жужжанью дальному упреков и похвал.

Нежданная гроза обрушилась на любящих, обстоятельства разлучили их; "слезы, муки, Измены, клевета, все на главу мою Обрушилося вдруг..."

[17] Четверостишие из не включенного в печатный текст варианта стихотворения.

...Стою,
Как путник, молнией постигнутый в пустыне,
И все передо мной затмилося! И ныне
Я новым для меня желанием томим:
Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною
Окружена была, чтоб громкою молвою
Все, все вокруг тебя звучало обо мне,
Чтоб, гласу верному внимая в тишине,
Ты помнила мои последние моленья
В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья.

Личность поэта выражала себя во вдохновенных стихах, которые всем сердцем понимала и "разумела" любимая. Поэзия преодолевала разлуку, соединяя разлученных тесными и нерасторжимыми узами. «Желание славы» — это гимн любви, возвышенной и просветленной духовным родством, раскрывавшим возможность наслаждаться нравственным богатством личности любимого человека.

В поэтической летописи этой любви вдруг обнаруживается провал: произошла неведомая нам катастрофа, после которой последовала заключительная часть цикла — прощальные стихи, обращенные по-прежнему к любимой женщине, но уже умершей. Возможно, первым откликом на эту весть явилось стихотворение «Все в жертву памяти твоей...», вылившееся в форму клятвы верности:

Все в жертву памяти твоей:
И голос лиры вдохновенной,
И слезы девы воспаленной,
И трепет ревности моей,
И славы блеск, и мрак изгнанья,
И светлых мыслей красота,
И мщенье, бурная мечта
Ожесточенного страданья

Но взаимная любовь одарила таким счастьем, что не только память — живое чувство к ушедшей из жизни женщине сохранилось в его душе. Оно и выразилось в завершающих цикл прощальных стихотворениях. Программным оказалось ранее написанное стихотворение «Все тихо — на Кавказ идет ночная мгла...», созданное во время поездки на Кавказ в 1829 году. Стихотворение это имеет две редакции: первая — распространенная, и вторая — вдвое сокращенная, ее печатают в основном тексте («На холмах Грузии лежит ночная мгла...»). Первая редакция — в сущности, самостоятельное стихотворение. Именно в нем искренне и доверительно впервые говорится о продолжающейся любви Поэта.

Все тихо — на Кавказ идет ночная мгла,
Восходят звезды надо мною.
Мне грустно и легко — печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою —

Тобой, одной тобой — унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит оттого,
Что не любить оно не может.

Прошли за днями дни. Сокрылось много лет.
Где вы, бесценные созданья?
Иные далеко, иных уж в мире нет,
Со мной одни воспоминанья.

Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь
И без надежд и без желаний.
Как пламень жертвенный чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний.

Поэт не только вспоминал о том, что было, но рассказывал и о том, что навсегда вошло в его духовный мир, что продолжало жить в его сердце. Смерть любимой принесла горе и страдание. Но для Пушкина счастье не отождествлялось с беззаботным весельем. Он мудро писал: "Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать". Чувство утраты рождало печаль. Счастье делало эту печаль светлой. Горе не сломило Поэта — живая страсть по-прежнему делала жизнь полной. Не было надежд на встречу с любимой, но оставалась и росла из года в год нежная благодарность за ее любовь, за познанное блаженство бытия. Так определялась глубокая внутренняя связь между любовными и прощальными стихотворениями цикла. Память бережно хранила нежно-ревнивые вопросы и признания любимой: "Скажи, ты любишь, ты счастлив?", "Другую, как меня, скажи, любить не будешь?" или — "Мой друг, мой нежный друг... люблю... твоя... твоя!..". И прощальные стихи писались как "ответ" на эти вопросы: "Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь" («Все тихо — на Кавказ...»), "но тоскуя, Хочу сказать, что все люблю я, Что все я твой..." («Заклинание»).

"Пушкин не дает судьбе победы над собою: он вырывает у ней хоть часть отнятой у него отрады. Как истинный художник, он владел этим инстинктом истины, этим тактом действительности, который на "здесь" указывал ему как на источник и горя и утешения, и заставлял его искать целения в той же существенности, где постигла его болезнь. И, право, в этой силе, опирающейся на внутреннем богатстве своей натуры, более веры в Промысл и оправдания путей его, чем во всех заоблачных порываниях мечтательного романтизма"[18].

В прошлом — биографический метод, в наши дни — требования расшифровки имен в любовных стихотворениях Пушкина мешают изу-

[18] *В.Г.Белинский.* Полн. собр. соч. Т. VII. С. 329.

чению его лирики. Не случайно любовная лирика чаще изучается в аспекте биографическом. Оттого оказываются возможными такие, например, суждения о пушкинском понимании любви: "Любовь, как проникновение в духовный облик другого существа... полное слияние с ним и радость общего бытия в единстве внутренних переживаний — такое чувство было чуждо Пушкину. Любви в этом смысле он вероятно никогда не знал... любви в простом человеческом смысле ему по-видимому никогда не пришлось испытать"[19].

В 1830 году в стихотворении «К вельможе» Пушкин писал: "Ты понял жизни цель: счастливый человек". Действительность была враждебна человеку, она беспощадно разрушала все естественные для людей мечты и надежды на счастье. Пушкин всем творчеством своим поддерживал в людях веру в возможность счастья на земле. Он признавался: "Говорят, что несчастье хорошая школа: может быть. Но счастье есть лучший университет. Оно довершает воспитание души, способной к доброму и прекрасному...". Стихи Пушкина о своей горькой, но счастливой любви воспитывают душу, делают ее способной к доброму и прекрасному.

Выражением идейного кризиса Пушкина в 1823 году явилось стихотворение «Демон». "Злобный гений", навещавший поэта, вливал в душу "хладный яд", "Он вдохновенье презирал; Не верил он любви, свободе". Преодолев романтизм и прочно встав на почву реальной действительности, Пушкин выработал новые убеждения, новые идеалы. Тогда-то он и вернул "возвышенным чувствам"— "свободе, славе и любви" их реальный и великий смысл. Любовь, свобода и творчество — это для Пушкина то, что обуславливает полную самореализацию личности.

Свобода пробуждает необъятные силы, поднимает человека к достойной жизни. Творчество — это деятельность, воодушевляемая большими гражданскими целями, наибольшая отдача сил, вдохновенное служение делу, нужному и отдельному человеку, и всему народу, родине. Эта деятельность связывает каждого с миром всеобщего, выводит из сферы эгоистических интересов, позволяет личности духовно расти. Любовь — могучая и глубокая страсть, преображая и облагораживая человека, открывает ему пути к высокой и прекрасной жизни. Она не отрывает его от действительного мира. Нужда в другом человеке помогает лучше познать себя, познать свое назначение и свою роль на земле.

Свобода, творчество, любовь — это те константы нравственного мира человека, без которых нет истинной личности. Любовные стихи Пушкина с потрясающей поэтически-исповедальной силой открыли личность поэта, запечатлели его духовное богатство, которое он так свободно и щедро отдавал людям — и близким современникам, и дальним потомкам.

[19] *Л.П.Гроссман.* Культура писем в эпоху Пушкина // Письма женщин к Пушкину. М., 1928. С. 10—11.



М. И. Яшин

„Итак, я жил тогда в Одессе“

I

В наше время читающему лирику Пушкина подчас нелегко понять, к кому были обращены те или иные строки. Творчество великого поэта, подчиняясь законам высокого искусства, возвышается над конкретностью непосредственного импульса и находит свое выражение в класических формах общечеловеческого содержания.

А между тем трудно найти поэта, чья лирика была бы столь отмечена биографизмом. Белинский заметил, что по произведениям Пушкина "можно следить за постоянным развитием его не только как поэта, но вместе с тем, как человека и характера", что "почвою поэзии Пушкина была живая действительность и всегда плодотворная идея".[1] Но раскрыть биографический элемент в лирике поэта, несмотря на предельную искренность Пушкина, крайне трудно. История Пушкинианы знает, какие ошибки допускали комментаторы при слишком прямолинейных попытках сопоставления лирических произведений с биографией автора.

Другой крайностью изучения лирики Пушкина является полное отрицание биографического метода. В какой-то мере истолкование некоторых лирических произведений в биографическом аспекте действительно может быть необоснованно, особенно при полном отсутствии сведений о том, что могло стать стимулом поэтического вдохновения — реальные жизненные обстоятельства или ассоциации художественного ряда. Домыслы порождают легенды, которые иногда приводят к искажению подлинной биографии Пушкина.

Но у великого поэта есть лирические произведения, которые настолько связаны с его жизнью, что этого не пытаются отрицать даже самые последовательные противники биографического метода. Расшифровка адресата имеет здесь принципиальное значение, ибо домыслы, узаконенные традицией, скрывают от нас подлинное лицо поэта и искажают наши познания о его жизни и творчестве.

История одной такой ошибки относится к одесскому периоду биографии Пушкина.

В конце 1823 года, живя в Одессе, Пушкин послал в альманах «Полярная Звезда» на 1824 год несколько стихотворений. Альманах вышел

[1] *В. Г. Белинский.* Собр. соч. Т. 8. Гослитиздат, 1948. С. 238, 240.

в свет в Петербурге 20 декабря 1823 года. Издатели, А. А. Бестужев и К. Ф. Рылеев, опубликовали в нем в числе девяти произведений Пушкина две элегии — «Редеет облаков летучая гряда...» и «Простишь ли мне ревнивые мечты...».

Первую элегию Пушкин написал еще в 1820 году и только через три года решил напечатать ее. Посылая стихотворение, поэт просил Бестужева опустить последние три строчки.

Альманах был получен в Одессе 12 января 1824 года. Увидя, что пожелание его не исполнено, Пушкин незамедлительно выговорил издателю: "Я на тебя сердит <...> Ты напечатал именно те стихи, об которых я просил тебя: ты не знаешь до какой степени это мне досадно. Ты пишешь, что без трех последних стихов Элегия не имела бы смысла. Велика важность! а какой же смысл имеет: <...> *с болезнью и мольбой Твои глаза*, и проч.?" (XIII, 84).[2]

Последнее замечание относилось к элегии «Простишь ли мне ревнивые мечты...», напечатанной Бестужевым с ошибкой: "с болезнью" вместо "с боязнью".

Чем же вызвана щепетильность Пушкина? Три последние стиха элегии «Редеет облаков летучая гряда...», обращенные к вечерней звезде, казалось бы, не заключали в себе ничего нескромного:

Когда на хижины сходила ночи тень —
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.

Свою досаду Пушкин пояснил Бестужеву в другом письме:

"Посуди сам: мне случалось когда-то быть влюблену без памяти. Я обыкновенно в <...> таком случае пишу элегии, <...> но ты острамил меня в нынешней Звезде — напечатав 3 последние стиха моей Элегии; <...> Вообрази мое отчаяние, когда увидел их напечатанными — журнал может попасть в ее руки. Что ж она подумает <...>, видя с какой охотою беседую об ней *с одним из п<етер>б<ургских> моих приятелей.* Обязана ли она знать, что она мною не названа <...> Признаюсь, одной мыслию этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики" (XIII, 100—101).

Имя этой женщины установлено Б. В. Томашевским: Екатерина Раевская, которая 15 мая 1821 года вышла замуж за М. Ф. Орлова.[3]

Однако другая элегия поэта — «Простишь ли мне ревнивые мечты...» — содержит предельно смелое откровение, и здесь он совсем не дорожит "мыслию" другой женщины, которой было посвящено стихотворение. Пушкина совсем не смущает, "что она подумает", когда увидит его в печати.

---

[2] Пушкин. ПСС, изд-во АН СССР. Т. 1—16, 1937—1959. В дальнейшем в ссылках на это издание указываются лишь том и страница.

[3] *Б. Томашевский.* Пушкин. Т. I, М.—Л., изд-во АН СССР. 1956. С. 488.

Присутствие биографического элемента в элегии несомненно, и отказываться от использования реальных и точных фактов биографии Пушкина при анализе этого произведения было бы недопустимо.

Прежде всего следует отметить, что, печатая элегию, поэт опустил свою подпись, заменив ее звездочкой, хотя под стихотворением «Редеет облаков летучая гряда...» его подпись стоит. Но это никого не обмануло. Имя Пушкина, как писал его приятель И. Е. Великопольский, "слишком хорошо узнается без всякой надобности для того в подписи".[4]

Ниже мы увидим, что публикация элегии «Простишь ли мне ревнивые мечты...» имела серьезные последствия и оказала заметное влияние на жизнь и творчество Пушкина.

Напомним читателю элегию «Простишь ли мне ревнивые мечты...», в которой Белинский видел одно из "лучших, задушевных созданий лирической музы" великого поэта, ибо для понимания ее сокровенного смысла чрезвычайно важен каждый стих.

Простишь ли мне ревнивые мечты,
Моей любви безумное волненье?
Ты мне верна: зачем же любишь ты
Всегда пугать мое воображенье?
Окружена поклонников толпой,
Зачем для всех казаться хочешь милой,
И всех дарит надеждою пустой
Твой чудный взор, то нежный, то унылый?
Мной овладев, мне разум омрачив,
Уверена в любви моей несчастной,
Не видишь ты, когда, в толпе их страстной,
Беседы чужд, один и молчалив,
Терзаюсь я досадой одинокой;
Ни слова мне, ни взгляда... друг жестокой!
Хочу ль бежать: с боязнью и мольбой
Твои глаза не следуют за мной.
Заводит ли красавица другая
Двусмысленный со мною разговор:
Спокойна ты; веселый твой укор
Меня мертвит, любви не выражая.
Скажи еще: соперник вечный мой,
Наедине застав меня с тобой,
Зачем тебя приветствует лукаво?..
Что ж он тебе? Скажи, какое право
Имеет он бледнеть и ревновать?..
В нескромный час меж вечера и света,
Без матери, одна, полу-одета,
Зачем его должна ты принимать?..
Но я любим... Наедине со мною
Ты так нежна! Лобзания твои

[4] *Пушкин.* Письма. Т. II., 1826—1830. Госиздат, 1928. С. 285.

Так пламенны! Слова твоей любви
Так искренно полны твоей душою!
Тебе смешны мучения мои;
Но я любим, тебя я понимаю.
Мой милый друг, не мучь меня, молю:
Не знаешь ты, как сильно я люблю,
Не знаешь ты, как тяжко я страдаю.

За всю историю исследования Пушкина ни у одного из самых ярых противников биографического метода изучения любовной лирики поэта не нашлось возражений против биографичности элегии — настолько очевидны ее реалии. 11 ноября 1823 года — дата создания стихотворения, помеченная Пушкиным при пересылке в «Полярную Звезду», не случайна, она связана с другим событием этого дня, еще не отмеченным в специальной пушкинской литературе. Об этом речь пойдет ниже.

Лирический протест Пушкина начинается в элегии вопросом: "Простишь ли мне ревнивые мечты"? Это — своеобразное испытание чувств красавицы. Пушкин идет на него сознательно, хотя не уверен, что ему простят горький упрек, вынесенный на суд читателя. Но нет мольбы без надежды, да еще выраженной с такой предельной чистосердечной страстностью: может быть, в этом роковом поединке она не будет бесплодной? Пафос стихотворения определяют не досада, не чувство обиды и не морализаторство, а противопоставление кокетству — самоотвержения, высокой нравственности и чувства собственного достоинства.

С нетерпением ожидал Пушкин ответной реакции. Написав элегию, поэт незамедлительно отсылает ее с первой же почтой в Петербург. Не прошло и пяти дней, как в письме от 16 ноября он пишет Дельвигу, что ждет выхода «Полярной Звезды». То же самое он повторяет и 20 декабря 1823 года в письме к Вяземскому.

Неприятности начались после получения альманаха в Одессе, в середине января 1824 года. Пушкин в беспокойстве. На несколько дней он уезжает из Одессы. В письме брату он поясняет свое душевное состояние: "Душа моя, меня тошнит с досады — на что ни взгляну, все такая гадость, такая подлость, такая глупость — долго ли этому быть?" (XIII, 86). В это время у него возникает желание покинуть неласковую родину: "...взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь".

Душевный разлад поэта отразился в его новой элегии, написанной в конце января 1824 года. При жизни Пушкина она не печаталась:

Все кончено: меж нами связи нет.
В последний раз обняв твои колени,
Произносил я горестные пени.
Все кончено — я слышу твой ответ.
Обманывать себя не стану <вновь>,
Тебя тоской преследовать не буду,

Про<шедшее> быть может позабуду —
Не для меня сотворена любовь...

Следствием публикации элегии «Простишь ли мне ревнивые мечты...» явился не только разрыв с любимой женщиной — по-видимому, сказалось и недовольство другого лица, задетого в стихотворении. Не без необходимости Пушкин решил срочно перепечатать элегию и 1 февраля 1824 года обратился в Петербург к Булгарину:

"Вы очень меня обяжете, если поместите в своих листках здесь прилагаемые две пьесы. Они были с ошибками напечатаны в Полярной Звезде, отчего в них и нет никакого смысла. Это в людях беда небольшая, но стихи не люди" (XIII, 85).

"Журнал нравов и словесности" — «Литературные Листки» издавался Ф. В. Булгариным два раза в месяц, в качестве приложения к историческому журналу «Северный Архив». Обращаясь к издателю, Пушкин не объяснил ему истинную причину своей просьбы. Указания на ошибки были только предлогом. Поэту необходимо было из одной "прилагаемой пьесы", а именно элегии «Простишь ли мне ревнивые мечты...», срочно изъять три стиха, которые задевали его "вечного" соперника:

В нескромный час меж вечера и света,
Без матери, одна, полу-одета,
Зачем его должна ты принимать?..

Булгарин не заставил себя упрашивать, и уже 3 марта 1824 года элегия была опубликована вторично в четвертом номере «Литературных Листков» без указанных трех стихов. Издатель сопроводил перепечатку двух стихотворений Пушкина своим примечанием: "Автор сих стихов прислал оные ко мне для помещения в Литературных Листках, по той причине, что они были напечатаны в другом издании с некоторыми ошибками".

На этот раз под элегией «Простишь ли мне ревнивые мечты...» стояла подпись "А. Пушкин" — скрывать свое имя поэту не было нужды.

В свое время Б. Л. Модзалевский предположил, что "и у Булгарина дело не обошлось без опечатки: в «Элегии» <...> было пропущено, — вероятно, по требованию цензуры, — три стиха (26—28), хотя они и были в тексте «Полярной Звезды»".[5]

Однако Модзалевский ошибался. Петербургский цензор А. Бируков ранее дал санкцию публиковать полный текст элегии, и в новом цензуровании она не нуждалась. Не было у Булгарина опечатки: он имел новый беловой список (П. Д., № 65), который Пушкин приложил к своему письму — здесь были нарочито опущены три стиха, несмотря на нарушение рифмовки. Преднамеренность этого поступка подтверж-

[5] *Пушкин.* Письма. Т. I, 1815—1825. Госиздат, 1926. С. 306.

дается и тем, что Пушкин в издании сборника своих стихотворений, который вышел в свет в начале 1826 года, снова восстановил опущенные стихи элегии.

Так кто же эта женщина, к которой обратился поэт с прочувствованными словами любви, ревности, укоризны, надежды, прощения и прощания?

Вопрос этот может показаться странным, ибо более века до последнего времени все пушкинисты придерживались, казалось бы, непререкаемого взгляда: элегия Пушкина относилась к жене одесского негоцианта Амалии Ризнич.

Давно уже введен в научный обиход комментарий к тем произведениям поэта, которые считались обращенными к ней. Традиционная тема "Пушкин и Амалия Ризнич" уточнялась лишь в деталях, и никто не пытался ставить под сомнение основную концепцию.

В последнем издании Собрания сочинений А. С. Пушкина в десяти томах (1974) сказано, что в примечаниях к лирическим произведениям "содержится реальный комментарий, необходимый для наиболее полного и точного понимания того или иного произведения". Между тем примечание элегии «Простишь ли мне ревнивые мечты...» традиционно связывает ее с отношениями Пушкина с Амалией Ризнич.

В статье Т. Г. Цявловской «Храни меня, мой талисман», опубликованной в десятом номере альманаха «Прометей» за 1974 год, к Амалии Ризнич отнесены не только элегия «Простишь ли мне ревнивые мечты...», но и цикл лирических произведений, созданных Пушкиным за последние месяцы 1823 и начало 1824 годов: «Ночь», «Как наше сердце своенравно...», «Все кончено: меж нами связи нет...» и другие. Однако вывод этот неоснователен.

Что мы знаем об Амалии Ризнич? Что нам известно о характере отношения к ней поэта? Достоверного — почти ничего. Ссылки на имя Амалии Ризнич в "донжуанском списке" Пушкина ничего не меняют, ибо шутливое перечисление имен мало говорит о серьезности чувства, а тем более — о влиянии его на творчество поэта.

Откуда же возникла уверенность в огромной роли Амалии Ризнич в жизни Пушкина в одесский ее период?

Начало положил профессор Ришельевского лицея К. П. Зеленецкий, опубликовавший в 1856 году в «Одесском Вестнике» статью «Г-жа Ризнич и Пушкин». Пользовался он материалами противоречивых рассказов одесских старожилов, которые при некотором правдоподобии деталей по сути своей малосущественны.

Спустя полвека появилась статья профессора М. Е. Халанского в «Харьковском Университетском Сборнике». Написана она была на основании воспоминаний югославского профессора Сречковича, лично знавшего мужа Амалии Ризнич. Встретившись с ученым в Киеве в пятидесятых годах прошлого века, последний рассказал Сречковичу маловероятную историю о том, что Пушкин "страстно привязался к г-же

Ризнич <...> но взаимностью не пользовался: г-жа Ризнич была к нему равнодушна".

На основе подобных тенденциозных сведений и конструировалась концепция о влиянии Амалии Ризнич на Пушкина и посвящении ей потом цикла лирических произведений.

В свое время П. Е. Щеголев подробно исследовал тему «Амалия Ризнич в поэзии А. С. Пушкина»[6] и убедительно отверг многие домыслы. Однако исследователь и сам не избежал существенных ошибок, излишне положившись на домыслы в статье Зеленецкого. Вслед за Щеголевым пошел и такой противник биографического метода в изучении лирики Пушкина, как Г. П. Макогоненко.[7]

Когда Щеголев пришел к выводу, что к Амалии Ризнич, кроме «Простишь ли мне ревнивые мечты...», необходимо отнести также элегию «Под небом голубым страны своей родной...» и XV—XVI строфы из белового списка шестой главы «Евгения Онегина», Макогоненко подтвердил, что "вывод этот точен и справедлив". Однако из указанных ученым произведений Пушкина по крайней мере два никакого отношения к памяти Амалии Ризнич не имеют.

В фундаментальный труд «Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина» М. А. Цявловского, там, где речь идет об Амалии Ризнич, тоже вкрались ошибки. Цявловский, как и Щеголев, считал, что статьи Зеленецкого "во многом основанные на показаниях лиц, знавших поэта, и на архивных документах, имеют значение первоисточника и в качестве такового заслуживают внимания".[8]

Такой подход казался тем более непредвзятым, что сам поэт восторженно говорил о красавице-негоцианткe:

А только ль там очарований?
А разыскательный лорнет?
А закулисные свиданья?
А prima donna? а балет?
А ложа, где красой блистая,
Негоцианка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой рабов окружена?
Она и внемлет и не внемлет
И каватине и мольбам,
И шутке с лестью пополам...
А муж — в углу за нею дремлет,
Впросонках фора закричит,
Зевнет — и снова захрапит.

[6] *П. Е. Щеголев.* Из жизни и творчества Пушкина. М.—Л., 1931.

[7] *Г. П. Макогоненко.* Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы. Л., «Художественная литература», 1974.

[8] *М. А. Цявловский.* Книга воспоминаний о Пушкине, М. 1932. С. 236.

Идентичность стиха "Толпой рабов окружена" строке из элегии "Окружена поклонников толпой" и способствовала поспешности вывода о том, что элегия «Простишь ли мне ревнивые мечты...» обращена к Амалии Ризнич. В «Евгении Онегине» Пушкин воспользовался этим образом, ибо в поэзии светская красавица всего чаще окружена толпой. Других точек соприкосновения элегии со строфой об Одессе в «Онегине» мы не находим. Зато есть существенное различие — в элегии отсутствует упоминание о муже.

Известно, что негоциант Иван Ризнич уехал из Одессы в Вену в 1822 году и там женился. Вернулся он в Одессу с молодой женой весной 1823 года. Почти в то же время, в июле, переехал из Кишинева в Одессу и Пушкин. В начале ноября была написана элегия «Простишь ли мне ревнивые мечты...». Казалось бы, что время мучительной страсти и ревнивых мечтаний — глубокая осень. Однако одно существенное обстоятельство разбивает произвольные вторжения комментаторов в летопись жизни и творчества поэта.

Перед нами «метричная книга, выданная за подписом и с приложением печати от члена Кишиневской Духовной Дикастерии Одесского протоиерея Петра Куницкого в Одесскую Соборную Преображенскую церковь для записывания родившихся, бракосочетавшихся и умерших в течение 1824 года».

Запись от 3 января 1824 года дает нам возможность исправить заблуждение о том, к кому обращена элегия «Простишь ли мне ревнивые мечты...».

"1-го Генваря — родился младенец Александр от родителей Коммерции советника, 1-ой гильдии купца Ивана Ризнич и жены его Аксинии..."

Вместо чуждого русской православной церкви имени "Амалия" малограмотный дьячок вписал другое имя.

"Молитвовал и крестил протоиерей Петр Куницкий. Восприемником был Генерал-Адъютант и Новороссийский Генерал-Губернатор Михайло Семенович Воронцов".[9]

Этот документ не требует комментария. Обсуждаемый более века вопрос о значении и роли Амалии Ризнич в жизни и творчестве Пушкина должен быть заново пересмотрен.

Весной 1824 года Амалия Ризнич была серьезно больна. В июне 1824 года ее муж писал П. Д. Киселеву:

"У меня тоже большое несчастье со здоровьем моей жены. После ее родов ей становилось все хуже и хуже. Изнурительная лихорадка, непрерывный кашель, харканье кровью внушали мне самое острое беспокойство. Меня заставляли верить и надеяться, что хорошее время

[9] Государственный архив Одесской области. Фонд 37, опись 3, дело № 288, л. 1. Приношу глубокую благодарность члену Пушкинской комиссии Одесского Дома ученых Лидии Адольфовне Щербине, которая по моей просьбе просмотрела метрическую книгу и прислала выписки из нее.

года принесет какое-нибудь облегчение, но к несчастью случилось наоборот. Едва пришла весна, припадки сделались сильнее. Тогда доктора объявили, что категорически и не теряя времени она должна оставить этот климат, так как иначе они не могли бы поручиться за то, что она переживет лето. Само собой разумеется, я не мог выбирать и стремительно решился на отъезд".[10]

В начале мая 1824 года Амалия уехала из Одессы и в 1825 году умерла за границей. Есть сведения, что Пушкин провожал ее в Одессе. Зная ее болезненное состояние, он не мог не оказывать ей внимания. Ее страдания должны были найти отзвук в гуманной душе поэта; не исключено, что впоследствии воспоминания о ней отразились и в его творчестве.

Не помогла ли память о Ризнич созданию органически жизненного образа осени в знаменитом болдинском стихотворении, написанном Пушкиным в 1833 году?

...Из годовых времен я рад лишь ей одной,
В ней много доброго; любовник не тщеславный,
Я нечто в ней нашел мечтою своенравной.
Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева,
Улыбка на устах увянувших видна;
Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет на лице еще багровый цвет.
Она жива еще сегодня, завтра нет.

Весть о смерти Амалии Ризнич Пушкин получил в 1826 году в Михайловском. Он откликнулся на ее кончину, но в этом отклике не было душевной теплоты:

Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я.

То, что стихотворение 1826 года посвящено Амалии Ризнич, подтверждает письмо одесского приятеля Пушкина В. И. Туманского, который извещал поэта о вторичной женитьбе Ивана Ризнича: "Новая м-м Ризнич, вероятно не заслужит ни твоих, ни моих стихов по смерти" (XIII, 321).

Но в ту пору поэтом владела скорбь о казненных декабристах, и для "легковерной тени" Амалии Ризнич не нашлось "ни слез, ни пени".

[10] Пушкин и его современники. Вып. XXXI—XXXII, Л., 1927. С. 91—92; *Л. Е. Щеголев.* Из жизни и творчества Пушкина. С. 259.

2

Однако если элегия Пушкина «Простишь ли мне ревнивые мечты...» обращена не к Амалии Ризнич, так кто же является ее адресатом? Может быть, здесь вообще нет реалий, а есть лишь порожденные поэтикой романтизма "гордой девы идеал, и безыменные страданья"?

Герой романа Бенжамена Констана «Адольф» заявил, что "нет совершенного единства в человеке и почти никогда не бывает никто ни совсем чистосердечным, ни совсем криводушным". Пушкин вполне мог соглашаться с героем своего любимого автора.

Поэт сам признавал, что в 1823 году он увлекался произведениями французского прозаика и публициста. В пушкиниане это не раз отмечали, но общность творческих мотивов у двух писателей находили лишь в более поздний период биографии Пушкина. Между тем в элегии «Простишь ли мне ревнивые мечты...» есть много точек соприкосновения с Констаном, так как ситуация жизни Пушкина в этот момент удивительно аналогична сюжетной линии романа «Адольф».

П. А. Вяземский в начале тридцатых годов прошлого века полностью перевел роман Бенжамена Констана. И хотя сопоставление пушкинской элегии с этим романом несколько затруднено ввиду некоторой архаичности лексики переводчика, сходство отдельных мотивов двух произведений и их поэтического выражения не может не обратить на себя внимания.

Говоря о любимой женщине, Адольф рассказывает:

"Она никогда не бывала одна. Целые вечера проходили так, что мне едва удавалось сказать ей с глазу на глаз несколько слов незначительных или перерываемых. Вскоре такое принуждение начало меня раздражать. Я стал мрачен, молчалив, неровен в обхождении, язвителен в моих речах. Едва мог я воздерживать себя, когда видел, что другие говорят наедине с Элеонорой <...>

Всегда робкий, часто раздраженный, я жаловался, выходил из себя, обременял Элеонору укоризнами. Не один раз замышляла она разорвать союз, проливающий на жизнь ее одно беспокойствие и смущение; не один раз смягчал я ее моими молениями, отрицаниями, слезами. Элеонора, писал я ей однажды, вы не ведаете всех страданий моих".[11]

Построение элегии Пушкина «Простишь ли мне ревнивые мечты...» весьма напоминает приведенный выше текст и заканчивается реминисценцией из «Адольфа»: "Не знаешь ты, как тяжко я страдаю".

Импульсом создания Пушкиным элегии явилась не аналогия с сюжетной линией романа «Адольф», а удивительное совпадение жизненных ситуаций, и в силу этого лирический протест поэта невольно нашел выход в сходных композиционных формах.

Мы не должны забывать, что в эту пору романтическое мировосприятие Пушкина вступило в конфликт с живой действительностью.

[11] *П. А. Вяземский.* Полн. собр. соч. Т. X. СПб, 1886. С. 19—21.

1823 год — важнейший этап перехода поэта на новые эстетические позиции. И не на последнем месте при определении сущности этого этапа должен стоять вопрос об истоках лирического цикла стихотворений, написанных Пушкиным в конце года, в котором основное место занимает элегия «Простишь ли мне ревнивые мечты...».

Где-то в середине 1823 года мы и должны искать истоки зарождения мучительной страсти поэта, охватившей его по приезде в Одессу.

Эпистолярное наследие Пушкина включает черновой набросок написанного по-французски письма, обращенного к неизвестной, имя которой до сего времени не раскрыто. В академическом издании полного собрания сочинений поэта это письмо без адреса датируется июнем—июлем 1823 года. По содержанию и стилю оно столь близко элегии «Простишь ли мне ревнивые мечты...», что невольно напрашивается предположение: письмо и элегия обращены к одному лицу.

"[Не из дерзости пишу я вам — но я имел слабость признаться вам в смешной страсти и хочу объясниться откровенно —]. Не притворяйтесь, это было бы недостойно вас [и к тому же] это совершенно бесполезно — кокетство, [которое вам так к лицу], было бы <...> жестокостью <...> легкомысленной и, главное, совершенно бесполезной, — вашему гневу я также поверил бы не более, — чем могу я вас оскорбить; я вас люблю с таким порывом нежности, с такой скромностью — <...> даже ваша гордость не может быть задета [вы [знали, что] [знаете мое высокое] меня поняли] [давно <?>] [вы].

Будь у меня какие-либо надежды я не стал бы ждать кануна вашего отъезда, <...> чтобы открыть свои чувства. Припишите мое признание лишь восторженному состоянию, с которым я не мог более совладать, которое дошло до изнеможения [и глупости]. [Я не хочу ничего]. Я не прошу ни о чем, я сам не знаю, чего хочу, — тем не менее я вас..." (XIII, 525—526, 565—566).

Попытки раскрыть личность адресата этого письма имеют свою историю. В статье «Три письма к неизвестной» Т. Г. Цявловская в 1933 году сопоставила его с двумя другими, позднейшими письмами поэта и предложила, что все они писаны к одному лицу, "настолько они похожи тоном".[12] В другой статье, возвращаясь к вопросу об этом письме, она отказалась от своих выводов: "Я не настаиваю на том, что оно обращено к той же женщине".[13]

В XIII томе академического издания есть примечание к письму "к неизвестной": "В качестве адресата письма комментаторы без достаточных оснований называли М. Н. Раевскую, Каролину Собаньскую; в последнее время А. де Рибас выдвинул гипотезу о том, что письмо обращено к Е. Н. Орловой" (XIII, 435).

Однако у одесского пушкиниста А. М. де Рибаса не было никаких

[12] Звенья, 2. М.—Л., «Academia», 1933. С. 211.

[13] Рукою Пушкина. М.—Л., «Academia», 1935. С. 184.

оснований предполагать, что адресат письма Пушкина — жена М. Ф. Орлова, рожденная Е. Н. Раевская, даже и в том случае, если иметь в виду, что когда-то поэт питал к ней не только дружеские чувства. История замужества Екатерины Раевской была хорошо известна Пушкину, и вспышка внезапной страсти к ней летом 1823 года, после двух лет ее замужества, была бы запоздалой и неуместной.

Но как ни странно, тот же де Рибас совершенно правильно установил, что позднейшие письма Пушкина, столь "похожие тоном" на письмо "к неизвестной" (о них речь будет идти ниже), которые ранее считались набросками повести, были обращены к Каролине Собаньской.[14] Вопреки мнению академических комментаторов, оснований для этого больше чем достаточно. Тот, кто назвал Собаньскую адресатом письма Пушкина "к неизвестной", был ближе к истине, чем те, кто предполагал обращение поэта к М. Н. Раевской или Е. Н. Орловой.

Письма, о которых идет речь, похожи не только "тоном", но и своей внутренней связью с усиленным вниманием Пушкина к роману Бенжамена Констана (в своей статье «"Адольф" Бенжамена Констана в творчестве Пушкина» А. А. Ахматова отметила, что в письме "к неизвестной" 1823 года есть цитата из «Адольфа»). В своих позднейших письмах к Собаньской Пушкин сам признает свое увлечение ею в 1823 году. Сюжетная канва романа «Адольф» близка тому, как сложилась судьба героини пушкинского биографического "романа". В этой необыкновенной аналогии и заключается одна из загадок пристрастия поэта к французскому романисту.

Как будто о Собаньской повествует Адольф в романе французского писателя: "Я познакомился с графом П... Ему было лет сорок <...> С ним жила его любовница, полька, прославленная своею красотою, хотя и была она уже не первой молодости. Женщина сия, несмотря на свое невыгодное положение, оказала во многих случаях характер необыкновенный. Семейство ее, довольно знаменитое в Польше, было разорено в смутах сего края".[15]

Каролина Собаньская, рожденная графиня Ржевуская, жила в Одессе отдельно от мужа, открыто принимая своего возлюбленного графа и не особенно стесняясь столь "невыгодного положения". Все в ней было необыкновенно — и красота, и характер, и ум, подобно героине романа Бенжамена Констана Элеоноре.В позднейших письмах к Собаньской Пушкин и называл ее этим именем.

Если мы сопоставим текст романа с письмом Пушкина 1823 года "к неизвестной", то у нас уже не будет сомнения в том, кто эта "неизвестная":

"Явившись моим взорам в минуту, когда сердце мое требовало любви, а чувство суетное успехов, Элеонора показалась мне достойною моих искусительных усилий <...> Я был в нетерпении объясниться.

[14] *Там же.* С. 184—185.

[15] *П.А.Вяземский.* ПСС. Т. X, СПб., 1886. С. 8—9.

Ибо казалось мне, что для успеха стоило только мне открыться <...>

<...> Не прихожу отречься от признания, которое могло вас обидеть, напрасно хотел бы я того. Любовь вами отвергаемая несокрушима. Самое напряжение, которым одолеваю себя, чтобы говорить с вами несколько спокойно, есть свидетельство силы чувства, для вас оскорбительного <...> Прошу вас <...> удалить, воспоминание о минутс исступления, не наказывать меня за то, что вы знаете тайну, которую должен был заключить я во глубине души моей <...> Я ужасно несчастлив: я уже не имею достаточной бодрости для перенесения столь продолжительного несчастия; я ничего не надеюсь, ничего не прошу, хочу только вас видеть <...>".[16]

"Я не хочу ничего. Я не прошу ни о чем", — почти слово в слово повторял Пушкин слова Бенжамена Констана своей Элеоноре. Они, по-видимому, не столько послужили литературным образцом, сколько повлияли на решение признаться в своей страсти.

Обратимся к последующим письмам к Каролине Собаньской, написанным спустя семь лет, к финалу отношения поэта к польской красавице. Они во многом пояснят нам характер их первоначальных встреч.

В академическом издании полного собрания сочинений А. С. Пушкина оба письма датируются 2-м февраля 1830 года, несмотря на то, что черновики этих писем находятся в разных тетрадях. Для одного из них такая датировка ошибочна. По тексту видно, что между ними был какой-то интервал во времени, в который поэт встречался с Собаньской в Петербурге. Как содержание, так и датировка очень важны, поэтому обратимся к черновому письму, где зачеркнутые строчки могут объяснить больше, чем реконструкция перевода французского текста:

"[Сегодня 9 лет как] Сегодня [день св. Вал], это 9-я годовщина дня, когда я вас увидел в первый раз. Этот день был решающим в моей жизни <...> Чем более я об этом думаю, тем более убеждаюсь, что мое существование неразрывно связано с вашим; [всякое иное] я рожден, чтобы любить вас и следовать за вами — [все] всякая другая забота с моей стороны — заблуждение или безрассудство; <...> [одно только ваше присутствие способно меня оживить —] вдали от вас меня лишь грызет мысль о счастье, которым я [никогда не мог бы достаточно насладиться] не сумел насытиться. Рано или поздно мне придется все бросить и придти [бродить около вас] пасть к вашим ногам. Среди моих мрачных сожалений меня прельщает и оживляет лишь только мысль о том, что когда-нибудь у меня будет клочок земли в <нрзб.> Там смогу я совершать паломничество, бродить вокруг вашего дома, встречать вас, [опьяняться] мельком вас видеть" (XIV, 445).

Редакция академического издания определяла датировку этого письма по дню "святого Валентина" — 14 февраля нового стиля, что в

[16] Там же. С. 11, 17—18.

переводе на старый означало 2 февраля. Но 2-ым февраля датируется и другое письмо Пушкина к Собаньской, следовательно, здесь перепутаны либо дата, либо имя святого.

В черновом автографе письма нет четкой прописи "день святого Валентина", там вписано и зачеркнуто "La S. Val". 2 февраля старого стиля по православному календарю празднуется Сретенье. Этот же праздник у католиков с незапамятных времен называется Chandeleur — Светильник, он празднуется 2-го февраля *нового* стиля, что в переводе на старый означало 21-го января. Но православная церковь отмечала в этот день праздник святого *Валериана.*

Вероятно, в день 9-ой годовщины своей встречи с Собаньской Пушкин и начал письмо, упомянув "La S<aint> Val<erien>", но вспомнив, что имеет дело с католичкой, тотчас же зачеркнул эти строки.

По-видимому, в его отношениях с Собаньской имя "Валериан" имело какое-то неизвестное нам значение. В «Арапе Петра Великого», где, как известно, много биографических намеков, мы встречаем имена Леоноры и Валериана. К тому же в конце 1829 — начале 1830 года Пушкин писал повесть «На углу маленькой площади...», которая, как отметила А. А. Ахматова, имеет сюжетную аналогию с романом Бенжамена Констана «Адольф» и в которой Пушкин назвал своего героя Валерианом.

Итак, судя по письму, первая встреча и знакомство Пушкина с Собаньской произошли 21-го января 1821 года, начало их отношений должно быть отнесено ко второй половине 1823 года, а финал — к концу 1829 — началу 1830 годов.

Даже через семь лет аналогия судьбы Собаньской с сюжетными перипетиями романа Бенжамена Констана остается для Пушкина актуальной. В своем письме поэт как бы подчеркивает историческую значительность участи героев романа, ибо в "Адольфе" современники видели историю любви Бенжамена Констана к знаменитой мадам де Сталь.

Слова Пушкина в письме — "одно только ваше присутствие способно меня оживить" напоминают слова Адольфа: "...но мне необходимо вас видеть, если я должен жить". Пушкин зачеркнул эти строки, чтобы впоследствии выразить их суть в письме Онегина к Татьяне:

Я знаю; век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...

Ту же мысль мы найдем и в III сцене «Каменного гостя».

Отметив эти факты в своей статье «"Адольф" Бенжамена Констана в творчестве Пушкина»,[17] А. А. Ахматова сочла их заимствованиями го-

[17] *Пушкин.* Временник Пушкинской комиссии, I. М.—Л., изд-во АН СССР. 1936. С. 100.

тового характера. Но мы не можем присоединиться к этому утверждению, зная теперь, что увлекало Пушкина.

Заключительные слова послания поэта к Каролине Собаньской напоминают о том душевном состоянии Адольфа, когда из-за любви к Элеоноре он был "равно неспособен к расеянию и умственным занятиям". Он "бродил беспрестанно мимо дома Элеоноры; бегал по городу, как будто при каждом повороте улицы мог надеяться встретить ее".[18]

Но финал отношений Пушкина и Каролины Собаньской оказался иным, чем у героев Констана. В этом финале вновь возникает отзвук прошлого, о нем мы можем судить по последнему письму поэту, которое было ответом на записку к нему Собаньской от 2 февраля 1830 года:

"В прошлый раз я забыла, что отложила до воскресенья удовольствие видеть вас. Я упустила из виду, что должна буду начать этот день с мессы, а затем мне придется заняться визитами и деловыми разъездами. Я в отчаянии, так как это задержит до завтрашнего вечера удовольствие вас видеть и послушать вас. Надеюсь, что вы не забудете о вечере в понедельник и не будете слишком досадовать на мою докучливость, во внимание ко всему тому восхищению, которое я к вам чувствую.

К.С.

Воскресенье утром" (XIV, 400).

Семь лет прошло после первого признания Пушкина в Одессе Каролине Собаньской, семь лет — со времени создания элегии «Простишь ли мне ревнивые мечты...» и как следствия — разрыва их отношений. И теперь снова, но уже в Петербурге, вспыхнула еще не угасшая прежняя страсть поэта. Однако Пушкин не отрекся от своей укоризны, и, в ответ на записку Собаньской, как бы снова пишет элегию «Простишь ли мне ревнивые мечты...», но уже во французской прозе.

Реконструкция этого текста, включающая некоторые зачеркнутые строки чернового варианта, наиболее приблизит нас к сути послания.

"Вы смеетесь над моим нетерпением, вам как будто доставляет удовольствие обманывать мои ожидания [надежда на свидание с вами сегодня разбудила меня] итак я увижу вас только завтра — пусть так. Между тем я могу думать только о вас. [Между тем мне необходимо поговорить с вами].

Хотя видеть и слышать вас составляет для меня счастье [наслаждение], я предпочитаю не говорить а писать вам. [Ваше присутствие печалит меня... Мои речи стеснены] В вас есть ирония, лукавство, которые раздражают и повергают в отчаяние. Ощущения становятся мучительными, а искренние слова в вашем присутствии превращаются в пустые шутки.

Вы — демон, то есть *тот, кто сомневается и отрицает,* как гово-

[18] *П.А.Вяземский.* ПСС. Т. X, СПб., 1886$_1$. С. 13—14.

рится в Писании.

В последний раз вы говорили о прошлом жестоко. Вы сказали мне то, чему я старался не верить — [было ли это] в течение 7 лет. Зачем? [Хотели ли вы отомстить <...>]

<...> Счастье так мало создано для меня, что я не признал его, когда оно было передо мною — Не говорите же мне больше о нем, ради Христа <...> — В угрызениях совести, если бы я мог испытать их — в угрызениях совести <...> было бы какое-то наслаждение — а подобного рода сожаление вызывает в душе лишь яростные и богохульные мысли.

Дорогая Элленора, позвольте мне называть вас этим именем, напоминающем мне [ваше очарование <?>] [и идеальное очарование и призрак прошлого] [и ваши прелести <?>] [и одну из идеальных женщин] и [мои] жгучие чтения моих юных <?> лет, и нежный призрак прельщавший меня тогда и ваше собственное существование [столь потрясенное страстями, столь далекое от вашего предназначения <?>] такое жестокое и бурное, такое отличное от того, каким оно должно было быть.

Дорогая Элленора, [было время, когда ваш голос, ваш взгляд опьяняли меня] вы знаете, <...> я испытал на себе все ваше могущество. Вам обязан я тем, что познал все, что есть самого судорожного и мучительного в любовном опьянении, также как и все, что в нем есть самого ошеломляющего. От всего этого у меня осталась лишь слабость выздоравливающего, одна привязанность, очень нежная, очень искренняя и немного робости, которую я не могу побороть [которую я не могу не испытать в присутствии существа [столь] выдающегося и злотворного].

<...> Я прекрасно знаю, что вы подумаете, [Посмотрите, скажете вы, как он из кожи лезет вон, чтобы заставить меня поверить, что он не то чем кажется] если когда-нибудь это прочтете — как он неловок — он стыдится прошлого — вот и все. Он заслуживает, чтобы я снова посмеялась над ним — (он полон самомнения, как его повелитель Сатана). Неправда ли.

Однако взявшись за перо, я хотел о чем то просить вас — уж не помню о чем — ах, да — о дружбе — [то-есть о близости — о доверии]. Эта просьба очень <...> банальная, очень — как если бы нищий попросил хлеба — но дело в том, что мне необходима ваша близость<...>

А вы, между тем, по-прежнему прекрасны, так же как и в день переправы, или же на крестинах, когда ваши [влажные] пальцы коснулись моего лба — Это прикосновение чувствуется мною до сих пор — прохладное, влажное. Оно обратило меня в католика — Но вы увянете; Эта красота когда-нибудь <?> [опадает и станет] покатится вниз как лавина — Ваша душа некоторое время еще продержится среди стольких опавших прелестей — а затем исчезнет, и никогда, быть может, моя душа, ее <?> боязливая рабыня, не встретит ее в <?> беспредель-

ной вечности.

<...> Но что такое душа [без вашего взгляда]. У нее нет ни взора, ни мелодии — мелодия быть может —" (XIV, 400—401, 445—447).

Это письмо к Собаньской во многом уточняет и дополняет историю одесских отношений с "жестоким другом". Оно является точнейшим комментарием к элегии «Простишь ли мне ревнивые мечты...» и раскрывает предпосылки ее создания.

Собаньская осталась верна себе, сохранила прежнюю иронию и прежнее лукавство. Теперь она уверяет поэта в былой любви к нему, чему он "старался не верить в течении 7 лет". Пушкин сомневается — "было ли это", и тотчас мелькает догадка: "Хотели ли вы отомстить"?

Но что мог совершить поэт? Почему он должен "стыдиться прошлого"? Эти вопросы могут быть разрешены, если мы примем в соображение публикацию элегии «Простишь ли мне ревнивые мечты...» и последующий разрыв его отношений с Собаньской в начале 1824 года.

Если раньше поэт укорял возлюбленную: "Тебе смешны мучения мои", то и теперь он уверен, что она может подумать: "Он заслуживает, чтобы я снова посмеялась над ним". Он не верит ей, как и раньше. Пушкина раздражают ее ироническая насмешливость, лукавое кокетство, которые в прошлом явились причиной страданий, породивших элегию 1823 года. И все же у него осталась "искренняя и нежная привязанность" к этой женщине. Он видит в ней "одну из идеальных женщин", "нежный призрак, прельщавший" его, когда он в "юные лета" занимался "жгучими чтениями" романа Бенжамена Констана «Адольф». Именем героини — "Элеоноры" — и просит Пушкин разрешения называть Каролину Собаньскую, так тождественно в них "идеальное очарование".

Для Пушкина и через семь лет Собаньская "по-прежнему прекрасна", как когда-то "в крестины". Как это понимать?

В одной из статей Т. Г. Цявловская привела сводку материалов о Собаньской с комментариями к письмам Пушкина о прекрасной польке. Но тогда многое не было известно исследовательнице, и точного освещения истории отношений Пушкина с Собаньской она дать не могла. Объясняя упоминание Пушкина о "крестинах", Цявловская предположила, что поэт в Одессе сопровождал Собаньскую в костел, где она "за него опустила пальцы в кропильницу и затем коснулась знаком креста его лба ("крещение")".[19]

Но это лишь предположение, тогда как "день крестин" — событие совершенно реальное. 11 ноября 1823 года в Кафедральном Преображенском Соборе Одессы происходило крещение сына и наследника графа Воронцова. Разумеется, все высшее общество и чиновничество Одессы присутствовали на семейном торжестве Новороссийского генерал-губернатора.

[19] Рукою Пушкина. М.—Л., «Academia». 1935. С. 200.

Во всех материалах дата рождения сына М. С. Воронцова всегда искажалась. Повторила эту ошибку и Т. Г. Цявловская в своей статье «Храни меня, мой талисман» в десятом номере «Прометея» за 1974 год, указав на дату 23 октября 1823 года.[19]

Однако в метрической книге о рождении, браках и смерти Кафедрального Преображенского Собора г. Одессы за 1822—1823 годы, в записи за № 308, от 11 ноября 1823 года, о крещении сказано:

"8 ноября родился младенец Семион от родителей Генерал-Лейтенанта Графа Воронцова и жены его Елизаветы. Молитвовал и крестил протоиерей Петр Куницкий. Восприемником был Генерал-майор Граф Александр Гурьев".[20]

11-е ноября 1823 года Пушкину запомнилось надолго. И не только потому, что Каролина Собаньская в шутку могла опустить руку в купель, а затем прикоснуться ко лбу поэта. В этот день она была не только ослепительно прекрасна, но и, по-видимому, особенно насмешлива.

Горечь ревности и неразделенной любви усилилась ироническим отношением Собаньской к легко ранимому поэту. 11-го ноября 1823 года Пушкин окончательно подвел итог тяжелому напряжению своего чувства созданием поэтического шедевра, гениального лирического протеста против "жестокости" любимой женщины — элегии «Простишь ли мне ревнивые мечты...».

О Каролине Собаньской осталось много воспоминаний и исследований. Многие приписывают ей провокаторскую деятельность. Каков же был ее нравственный облик? Какова политическая направленность ее поступков? Что означают слова Пушкина о ее "собственном существовании, столь потрясенном страстями, столь далеком от ее предназначения"? Что он знал о "существе столь выдающемся и злотворном"?

Пушкин понимал Собаньскую лучше многих современников. Когда она обратилась в самом начале 1830 года за автографом к первому поэту России, он написал ей в альбом мадригал, который начал с вопроса:

Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувший в берег дальный,
Как звук ночной в лесу глухом.

Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.

Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,

[20] Гос. Архив Одесской обл. Фонд 37. Оп. 6. Ед. хр. 3. Л. 31.

Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.

Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я...

3

Каролина—Розалия—Тэкла Собаньская, рожденная графиня Ржевуская, родилась в 1794 году в семействе знаменитом, принадлежавшем к знатнейшему польскому роду. Ее отец Адам—Лаврентий Ржевуский до Отечественной войны 1812 года был киевским губернским предводителем дворянства, позднее — тайным советником и сенатором; мать ее Юстина — из рода Рдултовских.

Юной девушкой Каролину выдали за пятидесятилетнего подольского помещика Гиеронима Собаньского, по некоторым сведениям, человека дурно воспитанного, нетрезвого, невежду и развратника.

От этого неудачного брака родилась дочь Констанция. Воспользовавшись временным нездоровьем, Каролина сумела получить от Подольской Римско-Католической Консистории в 1816 году разрешение, впредь до выздоровления, жить отдельно от мужа. В 1825 году, после смерти отца, она добилась развода.

Как писал ее современник Ф. Ф. Вигель, "высокое светское образование Каролина получила в Вене, у родственницы своей Розалии Ржевуской <...> Салон этой Розалии некогда слыл первым в Европе по уму, любезности и просвещению его посетителей. Нашей Каролине захотелось нечто подобное завести в Одессе, и ей несколько удалось". Вигель был "ослеплен ее привлекательностью". "Какая стройность, что за голос и что за манеры", — писал он.

В салоне своем "вообще из мужского общества собирала она все отборное". В числе прочих Собаньская принимала там Александра Пушкина и Александра Раевского.

Пушкин впервые познакомился с Каролиной в Киеве 21 января 1821 года,[21] куда ежегодно с 7-го января по 8-ое февраля, в сезон так называемых контрактов, съезжались почти все помещики юго-западного края со своими семействами. Эти деловые съезды Приднепровья сопровождались весельем, большой игрой, концертами и общественными балами в здании киевского контрактового дома на Подоле. Постоянно проживая в Одессе, Собаньская "на контракты" обычно приезжала к родителям в Киев, а в "купальный сезон" семья Ржевуских,

[21] В «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина» М. А. Цявловский назвал предположительно дату приезда поэта в Киев с Давыдовыми — 30 января 1821 года, когда кончались "контракты", что не может соответствовать действительности [12].

как и многие семейства польской знати, предпочитала жить около моря.[22]

В Киеве Собаньская произвела на Пушкина "ошеломляющее" впечатление. Об этом можно судить по тому, что Пушкин, по некоторым сведениям, возвращаясь в Кишинев в конце февраля — начале марта 1821 года, заезжал в Одессу. Да и во время пребывания в Кишиневе его тянуло в Одессу. Ради второй поездки в этот город поэт пренебрег возможностью снова отправиться в Киев на свадьбу М. Ф. Орлова с Е. Н. Раевской, которая состоялась 15 мая 1821 года.

Первый биограф Пушкина П. В. Анненков отметил, что "недаром отпрашивался Пушкин у добродушного Инзова и в Одессу так часто, там у него были новые любовные связи".[23]

Однако Бессарабский наместник Инзов не всегда мог уступать просьбам поэта — на то были свои причины. За две недели до поездки Пушкина в Одессу генералу пришлось "при настоящих смутных обстоятельствах" срочно дать отчет графу Каподистриа о поведении ссыльного поэта. В ту пору из Европы шли тревожные для русского самодержавия вести. Что ни почта, то революция: Испанская, Португальская, Неаполитанская, Пьемонтская, Греческое восстание. Взволнованное правительство усилило надзор за политически опальными, и в этом же 1821 году в ноябре месяце последовал новый запрос министра двора П. М. Волконского, где Инзову опять вменялось в обязанность в отношении Пушкина — "иметь за поведением и деяниями его самый ближайший и строгий надзор".[24]

Спустя месяц, в декабре 1821 года, друг Пушкина И. П. Липранди должен был по делам службы посетить Измаил и Аккерман. "Пушкин изъявил желание, — пишет он, — мне сопутствовать, но по неизвестным причинам Инзов не отпускал его. Пушкин обратился к Орлову, и этот выпросил позволение".[25]

Но такое было в последний раз. В начале 1822 года арестовали ближайшего помощника М. Ф. Орлова — В. Ф. Раевского, отстранили от командования дивизией самого Орлова, и Инзов весь год не отпускал Пушкина из Кишинева. Есть предположения, что в конце 1822 года поэт побывал в Каменке вторично, но прямых подтверждающих это сведний нет, а косвенные весьма сомнительны.

Только в начале второй половины 1823 года желание Пушкина исполнилось. 25 августа он писал брату: "Здоровье мое давно требовало морских ванн, я насилу уломал Инзова, чтоб он отпустил меня в Одессу — я оставил мою Молдавию и явился в Европу — реставрация и итальянская опера напомнили мне старину и ей богу обновили мне душу.

---

[22] Дом Ржевуских в Одессе находился на углу Греческой и Ришельевской улиц (ныне улицы Карла Либкнехта и Ленина). У Ржевуских была и дача.

[23] *П. В. Анненков.* Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874. С. 191.

[24] Русская Старина. 1883. Т. XL. С. 654.

[25] Пушкин в воспоминаниях современников. ГИХЛ. 1950. С. 261.

Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляют мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе" (XIII, 66—67).

Мимолетное знакомство в Киеве с Каролиной Собаньской заронило чувство в сердце Пушкина, но вынужденная двухлетняя разлука мало способствовала его развитию. За этот период мы не знаем ни одной строчки лирического выражения этого чувства. Но оно вспыхнуло, лишь только поэт вновь встретился с Собаньской в Одессе.

Вторая половина 1823 года в творчестве Пушкина ознаменовалась циклом поэтических произведений, отражающих лирические переживания в их переходах от безнадежности к надежде и снова к безысходности, творений изумительных по силе выражения переполнявших автора чувств.

Этому циклу предшествовало эпистолярное признание, о котором говорилось выше. Глубина и сила чувства к Собаньской наиболее ярко выразились в стихотворении, написанном в те дни, но не опубликованном при жизни поэта:

Как наше сердце своенравно!
томимый вновь,
Я умолял тебя недавно
Обманывать мою любовь,
Участьем, нежностью притворной
Одушевлять свой дивный взгляд,
Играть душой моей покорной,
В нее вливать огонь и яд.
Ты согласилась, негой влажной
Наполнился твой томный взор;
Твой вид задумчивый и важный,
Твой сладострастный разговор
И то, что дозволяешь нежно,
И то, что запрещаешь мне,
Все впечатлелось неизбежно
В моей сердечной глубине.

Обольщение тонким и искусным кокетством было, очевидно, характерно для Собаньской, что внушало поэту иллюзии. Только этим можно объяснить создание стихотворного шедевра «Ночь»:

Мой голос для тебя и ласковый и томный
Тревожит позднее молчанье ночи темной.
Близ ложа моего печальная свеча
Горит; мои стихи, сливаясь и журча,
Текут, ручьи любви; текут, полны тобою.
Во тьме твои глаза блистают предо мною,
Мне улыбаются — и звуки слышу я:
Мой друг, мой нежный друг... люблю... твоя... твоя!

Это стихотворение, непревзойденное по изяществу и возвышенности чувств, было написано Пушкиным в ожидании приезда Собаньской в Одессу, во время самого высокого взлета любви и надежды — 26 октября 1823 года.

В пушкинскую лирику второй половины 1823 года особняком входят два коротких произведения, исполненные философских, отчасти мистических раздумий. Последнее явно не гармонирует с пушкинским жизнелюбием. Не объясняется ли появление этих произведений влиянием Собаньской, ее клерикально-религиозной экзальтации и мистицизма?

Придет ужасный [час]... твои небесны очи
Покроются, мой друг, туманом вечной ночи...

Устрашение смертью во имя жизни мы встречаем и в письме Пушкина к Собаньской от 2-го февраля 1830 года: "Но вы увянете; эта красота когда-нибудь покатится вниз как лавина".

Если этот набросок оканчивался утверждением победы любви над смертью, то другое стихотворение заключалось раздумьями о ничтожности жизни.

Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа,
От тленья убежав, уносит мысли вечны,
И память, и любовь в пучины бесконечны, —
Клянусь! давно бы я оставил этот мир:
Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир,
Я улетел в страну свободы, наслаждений,
В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений,
Где мысль одна плывет в небесной чистоте...

Но тщетно предаюсь обманчивой мечте;
Мой ум упорствует, надежду презирает...
Ничтожество меня за гробом ожидает...
Как, ничего! Ни мысль, ни первая любовь!
Мне страшно!.. И на жизнь гляжу печален вновь,
И долго жить хочу, чтоб долго образ милый
Таился и пылал в душе моей унылой.

•

В черновых вариантах стихотворения звучал и политический оттенок: "В страну, где нет царей", "В страну, где нет оков"...

Это произведение напоминает XXIV элегию Андре Шенье, которым в те годы увлекался великий поэт. Элегия в период страсти к Каролине Собаньской могла показаться Пушкину наиболее созвучной его чувствам. Сохраняя ее ритм и размер, Пушкин мог подчинить сти-

хотворение Шенье своим творческим целям[26] и воплотить их иными поэтическими средствами.

Тот же лейтмотив звучит и в строфе «Онегина», написанной 8 декабря 1823 года в Одессе:

Покамест, упивайтесь ею,
Сей легкой жизнию, друзья!
Ее ничтожность разумею,
И мало к ней привязан я;
Для призраков закрыл я вежды;
Но отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда:
Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить.
Живу, пишу не для похвал:
Но я бы кажется желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.

И чье-нибудь он сердце тронет...

Лишь "отдаленные надежды" остались на то, что когда-нибудь славой своей он "тронет" надменное сердце кокетливой, но неприступной красавицы. Эта тема выразилась тогда же и в начальном наброске стихотворения «Желание славы», которое могло быть обращено в ту пору только к Собаньской. Поэт не закончил его, и в Михайловском, в 1825 году, вернулся к нему вновь, чтобы отнести эти поэтические строки другому адресату.

Слава Пушкина не прошла незаметной для Каролины Собаньской, но это проявилось только в 1830 году, когда собирательница автографов великих людей вспомнила о нем. Однако и тогда имя первого поэта России задело только честолюбие Собаньской, но сердца ее не тронуло. Ей было так легко снова увлечь человека, у которого от прежней страсти осталась лишь "слабость выздоравливающего" — и судьба Пушкина сложилась бы иначе.

Неразделенной любовью была вызвана хандра и скука поэта в одесский период его жизни. В письмах того времени отразилось его смятенное состояние: 19 августа 1823 года — П. А. Вяземскому: "Мне скучно, милый Асмодей, я болен, писать хочется — да сам не свой" (XIII, 66); 25 августа — брату: "У меня хандра — и это письмо не развеселило меня" (XIII, 68); 14 октября — П. А. Вяземскому: "У нас скучно и холодно" (XIII, 70); 16 ноября — А. А. Дельвигу: "Скучно, моя радость!

[26] В 1828 году элегию Андре Шенье перевел Е. А. Баратынский. Несмотря на поэтические достоинства его перевода, пушкинское перевоплощение идеи элегии ярче, лиричнее и богаче в своей самобытности. (Французские стихи в переводах русских поэтов XIX—XX вв. М., «Прогресс», 1974.)

вот припев моей жизни..." (XIII, 75); 1 декабря — А. И. Тургеневу: "Я стал скучен" (XIII, 78).

Каролина Собаньская плохо знала русский язык, но не заметить одаренности юного поэта было нельзя, даже при условии, что он "любя был глуп и нем". Отсутствие не только чувства, но даже участия к Пушкину следует объяснить не только заинтересованностью другим поклонником, но и наследственной надменностью, гордостью и властностью представительницы семьи старинных польских аристократов.

Это было характерно для дочерей графа Ржевуского, автора политических трактатов, друга энциклопедистов, который вел переписку с самим Вольтером. Ведь и сестра Каролины Собаньской — Эвелина Ганская сделала невыносимой жизнь Бальзака, который в минуту отчаяния писал ей: "Вы внушаете мне такое отвращение к жизни, что я тоскую по какой-нибудь катастрофе". Подобно Пушкину, Бальзак сравнивал чувства к нему Ганской с милостыней, которую бросают нищему.

Круг гениальных поклонников графинь Ржувуских был бы неполон, если не упомянуть о любви к Каролине Собаньской великого польского поэта. Адам Мицкевич приехал в Одессу всего лишь несколько месяцев спустя после отъезда из нее Пушкина. Он также оказался в плену чар своей соотечественницы. Жестокость Каролины — лейтмотив второго сонета Мицкевича, написанного в 1825 году в Одессе:

Я размышляю вслух, один бродя без цели,
С людьми — всегда молчу иль путаю слова.
Мне душно, стук в висках, кружится голова,
Все говорят кругом: здоров ли он, в уме ли?
В терзаниях часы дневные пролетели,
Нисходят сумерки, вступает ночь в права,
В постель кидаюсь я, душа полумертва,
Хочу забыться сном, но душно и в постели.
Срываюсь и бегу, мой гнев кипит сильней,
В уме слагаю речь, она звучит сурово,
Звучит проклятием жестокости твоей.
Но увидал тебя — и все забыто снова,
И я спокоен вновь, я камня холодней,
А завтра — вновь горю и тщетно жажду слова.[27]

Мицкевич воспел Собаньскую в целом ряде произведений, и по ним можно судить, насколько сложными были их отношения. Подобно Пушкину, великий польский поэт был вынужден заявлять свой лирический протест в любовных сонетах. В поздних воспоминаниях Собаньской, по записи Аэра (Жонжевского), Каролина пытается завуалировать свои отношения с Мицкевичем именем некой "Д. Д.", которое дал сам Мицкевич. Его XX сонет к Собаньской обращен к "Д. Д."

[27] Сонет II в переводе В. Левика.

Пренебрегаешь мной! Уже погас твой пыл?
Но он и не горел. Иль стала ты скромнее?
Другим ты увлеклась. Ждешь золота краснея?
Но прежде я тебе за ласки не платил.

Но не платя, я их не дешево купил:
Я жертвы приносил, что золота ценнее,
Платил покоем я, платил душой своею...
Зачем же ты ушла? Напрасно б я спросил.

Сегодня у тебя порок открыл я новый:
Ты жаждала похвал. Хвалить бы мог я дым!
Чужой судьбою ты играешь из-за слова.

Не купишь музы ты! Когда стихом своим
Хотел тебя венчать я, как венком лавровым,
То стих мой каменел, став нем и недвижим.[28]

Так же, как и с Пушкиным, отношения Собаньской с Мицкевичем в Одессе закончились разрывом. В воспоминаниях Ю. Фальковского приведено высказанное их автору мнение Каролины о Мицкевиче: "Конечно, он великий поэт, но так плохо воспитан, так неотесан!"[29]

Показывала ли Собаньская Мицкевичу пушкинские письма и стихи к ней — сказать трудно, но в его «Элегии к Д. Д.» много общего с элегией Пушкина «Простишь ли мне ревнивые мечты...»:

"Ты меня не знаешь, страсть затмила мне лицо. Но посмотри в глубину души! Там найдешь сокровищницу нежности, самопожертвования, кроткой доброты и воображения, которое озолотит земную юдоль". В порыве чувств польский поэт обращается к своей возлюбленной: "А если бы даже иногда разгневанная гордость приказала своему подданному исполнить прихоть господина: Смейся, возлюбленная! Хотя моя гордость и запрещает признаваться в этом, я буду слугой..."[30]

Ни Мицкевич, ни Пушкин не имели поверенных своей любви к Собаньской (для последнего, возможно, было исключение в лице А. Н. Раевского). Ни в одном из пушкинских писем мы не найдем и намека на чувства к Каролине. Он намеренно скрывал и уничтожал следы своей страсти, поэтому биографам поэта так долго и не было известно о его увлечении. В южной черновой тетради 1823 года, откуда извлечен набросок письма "к неизвестной", было вырвано восемнадцать листов. По оставшимся на клочках словам текста можно судить, что это были любовные письма на французском языке. Несколько приоткрывает завесу отношений Собаньской и Пушкина черновое письмо поэта к А. Н. Раевскому:

[28] Сонет XX в переводе С. Свяцкого.

[29] *J. Falkowski.* Wspomnienia z roku 1848; 1849. T. 2. Warszawa, 1908. S. 55.

[30] *A. Mickiewicz.* Dzieła. Wyd. narod. T. I. S. 149—150.

"Отвечаю на вашу приписку, так как она более всего занимает ваше тщеславие. Г-жа Собаньская еще не вернулась в Одессу, следовательно я еще не мог пустить в ход ваше письмо; во-вторых, так как моя страсть в значительной мере ослабела, а тем временем я успел влюбиться в другую, я раздумал. И, подобно Ларе Ганскому, сидя у себя на диване, я решил более не вмешиваться в это дело. Т.е. я не стану показывать вашего послания г-же Собаньской, как сначала собирался это сделать, скрыв от нее только то, что придавало вам интерес Мельмотовского героя, — и вот как я намереваюсь поступить. Из вашего письма я прочту лишь выдержки с надлежащими пропусками; со своей стороны я приготовил обстоятельный, прекрасный ответ на него, где побиваю вас в такой же мере, в какой вы побили меня в своем письме; я начинаю в нем с того, что говорю: "Вы меня не проведете; милейший Иов Ловелас; я вижу ваше тщеславие и ваше слабое место под напускным цинизмом" и т.д.; остальное — в том же роде. Не кажется ли вам, что это произведет впечатление? Но так как вы — мой неизменный учитель в делах нравственных, то я прошу у вас разрешения на все это, и в особенности — ваших советов; но торопитесь, потому что скоро приедут. Я получил известие о вас; мне передавали, что Атала Ганская сделала из вас фата и человека скучного, — ваше последнее письмо совсем не скучно. Хотел бы, чтобы мое хоть на минуту развлекло вас в ваших горестях <...>" (XIII, 526).

Письмо датируется 15—22 октября 1823 года. Отсутствие Собаньской объясняется царским смотром 2-ой армии в Тульчине, куда съехалось к 17 октября все армейское начальство и где были парадные обеды и увеселения, привлекшие в Тульчин окрестных помещиков. Естественно, что Пушкин не мог появиться там, где он мог встретиться со своим главным антагонистом — императором Александром I.

Письмо поэта иронично и характеризует салонные отношения Раевского, Пушкина и Собаньской. Все здесь, как и в Арзамасском братстве, получили прозвища литературных героев: А. Н. Раевский — "Мельмот" Матюрена, он же ричардсоновский соблазнитель "Ловелас"; сестра Собаньской — Эвелина Ганская своим религиозным благочестием напоминала "Аталу" Шатобриана; муж ее Вацлав Ганский за свою надменность получил прозвище "Лары" из одноименной поэмы Байрона. Да и сама Каролина Собаньская в ту пору, вероятно, уже имела прозвище "Элеоноры" из романа Бенжамена Констана «Адольф».

Отношение Собаньской к своим поклонникам, Пушкину и Раевскому, известно нам из письма поэта в ней от 2-го февраля 1830 года: Пушкин для нее "неловок", а его "повелитель Сатана" Раевский — "полон самомнений". Письмо Пушкина к Раевскому написано незадолго до создания элегии «Простишь ли мне ревнивые мечты...». Уже в это время поэт угадывает бесперспективность своего чувства к Собаньской, и если его "страсть в значительной мере ослабела", тот вовсе не потому, что он "успел влюбиться в другую". Эти слова — только для

Раевского, к которому, вероятно, не без влияния Собаньской, Пушкин в это время относится уже иронически. Зная, каким недугом тот страдает, поэт называет его "неизменным учителем в делах нравственных", хотя и искренно желает утешить его в "горестях".

Но напрасны были усилия Пушкина и его друзей покорить сердце Собаньской. Не они интересовали ее. Не для них жила она в Одессе. Не А. Н. Раевского называл Пушкин в элегии "соперник вечный мой". Так же, как и в романе Бенжамена Констана «Адольф», у одесской "Элеоноры" был свой граф, которого страстно любила Каролина Собаньская и ради которого она бросила мужа. Приятель Пушкина, одесский поэт Туманский, с полным основанием именовал ее "Виттовой любовницей".

4

Граф Иван (Ян) Осипович Витт по характеристике современников был воистину двуликий Янус — авантюрист, организатор полицейского сыска, провокатор и предатель декабристов, красавец и донжуан, интриган и казнокрад.

Но этот человек интересует нас не как счастливый соперник Пушкина и Мицкевича, на которого первый из них намекал в элегии «Простишь ли мне ревнивые мечты...». Гораздо важнее уяснить характер влияния, которое оказывала Собаньская на высокопоставленного любовника в своей ориентации на восстановление независимой Польши, культ которой для Каролины был превыше всего.

Эта тема мало изучена, и интерпретация неизменно носила односторонний характер: начальник южных военных поселений генерал-лейтенант Витт был царским шпионом, а Собаньская — его пособницей.

Однако Пушкин смотрел на деятельность Собаньской иначе, и если его обращенные к ней слова: "...ваше собственное существование, столь потрясенное страстями, столь далекое от вашего предназначения" или "такое жестокое, такое отличное от того, каким оно должно было быть", не совсем разъясняют нам, о каких "страстях" идет здесь речь, то в стихотворном послании «Что в имени тебе моем?» эти "страсти" обозначены довольно прозрачно:

Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных...

Есть много свидетельств, в том числе и исходящих от Николая I, которые говорят о том, что скорее Витт был клевретом Собаньской, чем наоборот. Однако со страстью к ослепительной красавице Каролине в Яне Витте уживалось неугасимое пристрастие к авантюризму и интригам.

И. О. Витт родился в 1781 году, в семье коменданта крепости Каменец-Подольск, поляка Иосифа Витта. Матерью его была знаменитая своей красотой гречанка-фанариотка Софья Клавона. По одной из версий, она была куплена у своей матери за тысячу пятьсот пиастров и увезена в Польшу, где майор Витт тайно обвенчался с нею.

Муж увез ее во Францию и по возвращении в Польшу за генеральский чин и графский титул Российской империи отдал свою жену в наложницы фельдмаршалу Потемкину. Всесильный фаворит Екатерины II князь Г. А. Потемкин-Таврический ничего не жалел для Софьи Витт: он подарил ей греческое селение в Крыму Массандру и свыше восьмисот десятин земли с лесами, виноградниками и роскошным субтропическим парком.

Красоту Софьи Витт Потемкин использовал и для своих тайных политических целей, направив ее в 1788 году в Варшаву на сейм, для привлечения на сторону русского правительства "одной из крупнейших деятелей Речи Посполитой — магната и коронного гетмана Станислава-Феликса Потоцкого-Щенсного".[31] Владелец городов Тульчина, Браилова, Могилева на Днестре, а также огромных земель и имений, граф Потоцкий-Щенсный, после смерти Потемкина в 1791 году, выторговал у Иосифа Витта его жену за два миллиона злотых, взяв на воспитание и его сына. Но жениться он смог только после смерти своей жены в 1798 году. Однако еще до свадьбы Софья Витт попала в объятия своего будущего пасынка Юрия Потоцкого, внеся в семью драму, которая и свела в могилу Потоцкого-старшего. Вскоре скончался и Юрий Потоцкий. Софья Витт-Потоцкая сделалась обладательницей несметных богатств.

Ее сын Ян Витт числился на русской службе и в десять лет имел уже чин корнета, а в двадцать — полковника Кавалергардского полка. В 1805 году молодой граф Витт командует Лейб-квардии Кирасирским полком и принимает участие в войне с Наполеоном. Если Пушкин писал про Александра I, что "под Австерлицом он бежал", так сказать, фигурально, то к Витту эти слова можно применить буквально. Граф Ланжерон был свидетелем тому, как Витт со своим полком в самый ответственный момент поспешно удалился с поля боя.[32]

В 1807 году графу Витту пришлось уйти в отставку, видимо, из-за служебных столкновений с генерал-майором графом Витгенштейном и генерал-лейтенантом князем Багратионом. Последний характеризовал Витта как "лжеца" и "двуличку". Александр I дал предписание Подольскому губернатору учредить надзор за Виттом и в случае затеянной им дуэли арестовать его. Тогда Витт без паспорта бежал в Вену и там поселился.

---

[31] *Пушкин.* Исследования и материалы. III, М.—Л., изд-во АН СССР, 1960. С. 58.

[32] Сборник биографий кавалергардов, 1762—1801, СПб.. Т. II. 1904. С. 449.

Во время войны Франции с Австрией весной 1809 года Витт поступил волонтером в армию Наполеона и участвовал в нескольких сражениях, в том числе и при Ваграме, против страны, предоставившей ему убежище после побега из России. В 1811 году он подвизался в роли тайного агента Наполеона в Герцогстве Варшавском, а с июня 1812 года снова очутился на русской службе, где выполнял поручение срочно сформировать четыре казачьих полка в Киевской и Подольской губерниях. В Отечественной войне 1812 года он участвовал в чине генерал-майора, "заслужив" благоволение и ряд орденов. В 1817 году по личному поручению Александра I граф Витт формирует Бугскую уланскую дивизию для военных поселений Херсонской губернии, при этом дело не обошлось без восстания и жестокого усмирения. В 1820 году, после вторичного смотра Александром I военных поселений, Витту была объявлена высочайшая благодарность и пожалован орден Александра Невского.

Это было уже в то время, когда Пушкина выслали из Петербурга на юг, где он и познакомился с Виттом, вероятно, в салоне Собаньской. Витт имел предлог пребывать в Одессе постоянно или наездами, так как 15 апреля 1823 года ему было поручено управление Одесским ришельевским лицеем, а также переданы обязанности председателя его правления, до того исполнявшиеся одесским градоначальником.

Но граф мечтал о большем. Он интриговал против Ланжерона, добиваясь возможности быть его преемником на посту Новороссийского генерал-губернатора, однако, безуспешно. Александр I назначил на это место 7-го мая 1823 года графа М. С. Воронцова.

Впрочем, "успехи в начальном устройстве военного поселения", когда дивизии Витта отличились на высочайшем смотре 2-ой армии в Тульчине (17 октября 1823 года), были отмечены императором: граф был назначен командующим 3 резервным кавалерийским корпусом и награжден орденом святого Владимира 1-ой степени.[33] Такое возвышение придало Витту большой вес в делах управления Новороссийским краем.

По-разному оценивали деятельность Витта его современники.

Начальник Главного штаба генерал-адъютант барон И. И. Дибич благоволил к Витту и восхищался им:

"Его всегда деятельная голова старается вникать беспрестанно в политику европейских держав, в управление государств и в причины волнения народов. Суждения его по этим предметам иногда весьма многосложны и отвлеченны, но весьма предусмотрительны и справедливы; хорошая память служит ему средством узнавать семейные обстоятельства, связи и разрывы первейших русских фамилий и государственных особ. Так как он знаком с литературою трех первых языков в Европе и пользуется большой начитанностью, то беседа с ним бывает

[33] Сборник биографий кавалергардов. С. 450.

всегда чрезвычайно занимательна".[34] А сенатор Брадке, который долго служил при Аракчееве по ведомству военных поселений, отмечал "ничтожность характера" Витта, в правилах которого было: "...ни в чем не отказывать и никогда не сдерживать обещанного, обо всем умствовать и ничего не обследовать. <...> всем говорить любезности и тотчас забывать, о сказанном".[35]

Ходили слухи, что Витт ухаживал за женой цесаревича, великого князя Константина Павловича, княгиней Лович, и за подобное умение "узнавать семейные обстоятельства государственных особ" брат царя не поскупился на "любезную" оценку графа в письме к Дибичу:

"Граф Витт есть такого рода человек, который не только чего другого, но недостоин даже, чтобы быть терпиму в службе, и мое мнение есть, что за ним надобно иметь весьма большое и крепкое наблюдение <...> Граф Витт такой негодяй, каких свет еще не производил: религия, закон, честность для него не существует. Словом, это человек, как выражаются французы, достойный виселицы".[36]

"Граф Витт — низкий интриган", — заключает отец декабриста Пестеля, когда его сын собирался свататься к дочери Витта.[37]

По характеристике Адама Мицкевича, этот "сын польского генерала и гречанки, сам точно не знал, к какой национальности принадлежит и какую религию исповедует".[38]

Витт, делец, перебежчик, авантюрист, дипломатический интриган, однако отличался тонкостью ума и проницательностью. Внешне тактичный и веселый, он умел лавировать среди сильных мира сего и извлекать пользу из малейшей необдуманности своих высоких покровителей. Полицейская хитрость и провокаторская ловкость помогали ему быть в курсе всех событий — и далеко не ради защиты интересов русской монархии.

Центром южных военных поселений был тогда Елизаветград, но Витт не любил жить в этом степном городе и предпочитал проводить время в Одессе, где у него был роскошный особняк на приморской возвышенности над купеческой гаванью. Здесь, в Одессе, в 1819 году он сошелся с Каролиной Собаньской и жил с ней открыто, устраивая для нее роскошные балы и маскарады.

Ф. Ф. Вигель писал о них в своих воспоминаниях: "Причиною особого ко мне благоволения Витта была незаконная связь его с одною женщиною и ею мне оказываемая приязнь. Каролина Адамовна Собаньская, урожденная графиня Ржевуская, разводная жена, составила с ним узы <...> Как бы гордясь своими слабостями, чета сия выстав-

[34] Русская Старина. 1891. Т. 69. С. 534.

[35] Сборник биографий кавалергардов. С. 459.

[36] *Н.К.Шильдер.* Император Николай Первый. Т. I. СПб., 1903. С. 362; Сборник биографий кавалергардов. С. 459.

[37] *М.В.Нечкина.* Движение декабристов. Т. I, изд-во АН СССР, М., 1955. С. 465.

[38] *A.Mickiewicz.* Dziela. T. X. S. 339.

ляла их на показ целому миру <...> Витт был богат, расточителен и располагал огромными казенными суммами, — писал далее Ф. Ф. Вигель. — Собаньская никакой почти собственности не имела, а наряжалась едва ли не лучше всех и жила чрезвычайно роскошно — следственно, не гнушалась названием наемной наложницы, которое иные ей давали <...>. Две или три порядочные женщины ездили к ней и принимали у себя, не включая в то число графиню Воронцову, которая приглашала ее на свои вечера и балы единственно для того, чтобы не допустить явной ссоры между мужем и Виттом; Ольга же Нарышкина-Потоцкая, хотя по матери и родная сестра Витту, не хотела иметь с ней знакомства, все прочие также чуждались ее. В этом унизительном положении какую твердость умела она показывать и как высоко подыматься даже над преследующими ее женщинами! Мне случалось видеть в гостиных, как, не обращая внимания на строгие взгляды и глухо шумящий женский ропот негодования, с поднятой головой она бодро шла мимо всех прямо не к последнему месту, на которое садилась, ну право, как бы королева на трон. Много в этом случае помогали ей необыкновенная смелость (ныне ее назвал бы я наглостию) и высокое светское образование <...> Из Вознесенска, из военных поселений приезжали к ней на поклонение жены генералов и полковников, мужья же их были перед ней на коленях".[39]

5

По воспоминаниям современников и работам исследователей Каролина Собаньская известна лишь как верная и ловкая помощница в темной провокаторской деятельности графа Витта. Вигель писал, что "почувствовал необоримое от нее отвращение", когда узнал впоследствии, "что Витт употреблял ее и сериозным образом, что она служила секретарем сему в речах столь умному, но безграмотному человеку и писала тайные его доносы, что потом из барышей поступила она в число жандармских агентов <...> О недоказанных преступлениях, в которых ее подозревали, не буду и говорить. Сколько мерзостей скрывалось под щеголеватыми ее формами!".[40]

В своей статье в книге «Рукою Пушкина» Т. Г. Цявловская нашла эти обвинения "безупречно верными", ссылаясь на письмо наместника царства польского Паскевича к Николаю I, который уверял царя, что "преданность ее законному правительству не подлежит сомнению; она дала в сем отношении много залогов". Вторым доказательством Цявловская считает письмо Собаньской к Бенкендорфу в том же 1832 году, в котором, после открытия правительством ее патриотической деятельности и высылки из Варшавы, спасая положение, она пыталась

[39] *Ф. Ф Вигель.* Записки. Ч. VII. М., 1892. С. 184, 185.

[40] Там же. С. 186.

убедить шефа жандармов, что по заданию Витта занималась агентурной деятельностью в пользу России.

Хотя эти "безусловные подтверждения" и опровергаются тут же приведенными Цявловской письмами Николая I Паскевичу и донесением управляющего III Отделением А. Н. Мордвинова, о которых речь будет идти ниже, исследовательница не учла, что все это являлось не чем иным, как блефом в игре Собаньской и Витта с Николаем I и Паскевичем. Она уверила себя в том, что "агентурная работа Собаньской велась настолько умело и тонко, что испытанные правительственные чиновники и сам Николай I подозревали ее в политической неблагонадежности". По этому пути пошли и другие исследователи, хотя нигде и никаких документов, подтверждающих "агентурную работу Собаньской", кроме утверждений Вигеля, приведено не было.

Здесь очень существенно разобраться, что было первичным и что вторичным — записки Вигеля, писавшиеся много лет спустя после "подтверждения" в письме Собаньской Бенкендорфу, или, наоборот, письмо, о котором Вигель мог узнать впоследствии и на основании его сделать свои выводы.

Необходимо помнить, что Вигель не раз был уличен современниками в утрировании своих портретных зарисовок и даже фальсификации. К. Я. Булгаков писал о Вигеле, что он "нигде не может ужиться. У Воронцова он несколько раз менял места, в Кишиневе со всеми перессорился, бывши вице-губернатором...".[41] В его записках П. А. Плетнев нашел "пренаблюдательный ум, только желчный и односторонний".[42]

П. А. Вяземский считал, что Вигель "был злопамятен в безделицах и за безделицы. Он не прощал, если <...> посадят его за столом не на место, которое он считал подобающим чину его... В течение жизни он неоднократно ссорился не только с отдельными лицами, но с целыми семействами <...> Все это отражается в Записках его и лишает их того здравого и внушающего доверенность характера, который составляет прямое и главное достоинство исторических и личных Записок".[43]

О том же говорили И. П. Липранди, Н. А. Муханов и другие, близко знавшие его. Немудрено, что "приязнь" к Вигелю Собаньской, о которой он пишет в начале воспоминаний о ней, под влиянием какой-то "безделицы" обернулась "неприязнью" к ней Вигеля.

Все эти соображения не всегда учитывались Т. Г. Цявловской, а вслед за нею и другими учеными. Даже С. С. Ланда, автор выдающегося исследования из истории русско-польских общественных и литературных связей — "Мицкевич накануне восстания декабристов", труда замечательного по богатству собранных материалов, — все же недостаточно точен в выводах о Каролине Собаньской.

Ланда приводит много свидетельств ее патриотических устремле-

[41] Русский Архив. 1903. Кн. III. С. 128.

[42] Там же. 1870. Стлб. 1285

[43] Там же. 1866. Стлб. 219—220.

ний и в то же время считает, что это ей было необходимо для облегчения агентурной работы, а ее блестящий салон служил "улавливанию" слишком либеральных душ. Психологически такое заключение находится в резком противоречии с блестящим светским воспитанием и образованием Каролины Собаньской.

Для доказательства своего мнения С. С. Ланда не только приводит в пример письмо Собаньской Бенкендорфу, написанное в конце 1832 года, но и ссылается на такие сведения: "По свидетельству Н. Г. Чулкова, любезно нам сообщенного Т. Г. Зенгер, в архиве Литературного музея в Москве хранились агентурные записки Собаньской, использованные Виттом в его доносе на декабристов. Приведенные факты делают вполне обоснованными наблюдения Ф. Ф. Вигеля".[44]

Однако эти сведения, как мы полагаем, не дают оснований для столь решительных выводов.

Более откровенного в своих либеральных чаяниях посетителя салона Собаньской, чем видный деятель польских тайных обществ граф Густав Олизар, надо полагать, не было, если не считать Пушкина. Но никаких донесений о них, которые можно было бы связать с именем Каролины Собаньской, мы не знаем. Густав Олизар был арестован в январе 1826 года не по доносу Витта, а в связи с упоминанием о нем на допросах Пестеля и С. Волконского. После допроса он был освобожден.

Что же касается Пушкина, то, правда, у него в черновом варианте элегии «Простишь ли мне ревнивые мечты...» есть стихи, непосредственно относящиеся к Витту:

А между тем соперник мой надменный
Всегда везде преследует меня —
Он вечно тут колена преклоня
Предательски тобою ободренный.

Но воспринимать их в полицейском значении отнюдь не обязательно, тем более, что есть и другой вариант:

А между тем соперник мой надменный
Всегда везде преследует тебя.
(II_2, 817).

Несомненно лишь то, что Витт надменно относился к влюбленному юноше-поэту, и они вместе с Собаньской смеялись над его чувствами. Это не могло оставить равнодушным Пушкина и послужило одним из стимулов создания элегии, косвенно задевшей графа. Как мы увидим, тот не остался в долгу.

[44] *С. С. Ланда.* Мицкевич накануне восстания декабристов. «Литература славянских народов». Вып. 4. М., изд-во АН СССР. 1959. С. 145.

Витт презрительно относился и к другим посетителям салона Собаньской. В воспоминаниях о Мицкевиче Леонарда Реттеля имеется упоминание о Мещерском, с которым Мицкевич "познакомился еще в Одессе, при генерале Витте. Адам видел, что последний третирует Мещерского, даже презирает его".[45]

Хозяйка салона сама была на подозрении у властей. Полковник Родзянко писал в своем донесении: "Сказывают, что в Одессе проживает г-жа Собаньская, урожденная Ржевуцкая, близкая знакомая графа Витта. Дама сия живет довольно открыто, на даче ее, говорят, съезжается большое количество поляков, в том числе брат ее Генрик Ржевуцкий, и тут бывают различные суждения и довольно, говорят, вольные".[46]

Русское правительство подозревало Собаньскую не без основания. Каролина в душе во многом походила на своего брата, упомянутого в донесении Родзянко, Генриха Ржевуского. П. А. Вяземский писал о нем: это "был сам кровный и *щирый* Поляк. Он принадлежал старой *ойчизне* душою, преданиями и убеждениями, пожалуй, и предубеждениями, ложно-историческими и клерикально-религиозными. Но все эти убеждения, смешанные с предубеждениями, входили в плоть и кровь его".[47]

Эта характеристика как нельзя лучше подходит и к Каролине Собаньской. Ее не лишенные авантюризма честолюбивые намерения сводились в двадцатые годы к далеко идущим целям освобождения "ойчизны".

Все это хорошо понимал Пушкин, когда в самом начале 1830 года писал в посвященном ей мадригале о "волненьях новых и мятежных". Не вина Собаньской, что Витт после польского восстания 1830 года предал ее, изменил и ее чувствам, и ее чаяниям.

Собаньская энергично создавала польский альянс не только в среде магнатства, но и в кругу разночинно-шляхетской интеллигенции, в надежде приближения урочного часа, когда "Польша восстанет и сплотится на старый лад". В этом национальном пристрастии она использовала все свое влияние на графа Витта.

Это влияние отразилось в тяготении Витта к польским кругам. Он мало жил в своей семье в Елизаветграде, а "проводил время или в имениях польских магнатов в Киевской и Подольской губерниях или же в Одессе".[48] Покровительство полякам Витт оказывал и в Одесском ришельевском лицее. По словам профессора Н. Н. Мурзакевича, при Витте "штат казеннокоштных воспитанников... наполнялся детьми шляхты, бывшей управителями имений, ему родственных польских панов".[49]

---

[45] Звенья. III—IV. М.—Л., «Academia», 1934. С. 212.

[46] *С. С. Ланда.* Мицкевич накануне восстания декабристов. С. 179, 180.

[47] *П. А. Вяземский.* ПСС. Т. VIII. СПб., 1893. С. 262.

[48] Сборник биографий кавалергардов. С. 457.

[49] Литературное наследство. Т. 60. Ч. I. М., 1956. С. 469.

Неоднократно писали о том, что Витт шпионил за Адамом Мицкевичем и Осипом Ежовским, членами тайного польского общества филоматов, присланными в Одессу по распоряжению министра просвещения. Однако факты говорят, что Витт принял их любезно и содействовал их устройству в Ришельевский лицей, хотя в тот момент вакансий в нем не было. Перед ними раскрыла двери своего салона Собаньская, она и взяла на себя заботу о поэте-изгнаннике, о чем сама вспоминала в своих поздних рассказах, записанных Жонжевским.

С. С. Ланда так и не ответил на свой вопрос, почему Витт так "лояльно" отнесся к польскому поэту и его товарищам. Не только Мицкевич был приглашен на поездку в Крым. Коллега польского поэта по университету Кароль Качковский отметил в своем дневнике разговор с Виттом: "...я был у него, и тот со всей любезностью предложил мне присоединиться к его компании".[50]

С. С. Ланда пришел к заключению, что "Крымское путешествие находится в цепи политических происков Витта и его осведомителей, внимание которых в это время сосредоточивается на Мицкевиче".[51] Но нет прямых доказательств слежки за Мицкевичем со стороны осведомителя Витта А. К. Бошняка, хотя тот и принимал участие в поездке. Сам Витт в одном из разговоров дал понять Мицкевичу, что Бошняк не только ботаник и энтомолог, но что "он нам помогает в ловле мошек всякого рода". Этот факт, записанный впоследствии дочерью Мицкевича со слов отца, С. С. Ланда считает анекдотом. Не потому ли, что он находится в полном противоречии с его концепцией?

Когда царь запретил Мицкевичу и Ежовскому жить в Одессе, Витт нашел для них возможность устроиться на службу не где-нибудь, а в Москве, несмотря на обилие полицейских донесений о Ежовском, в которых упоминался и Мицкевич. Именно во время увеселительной прогулки в Крым граф написал свою известную просьбу об аудиенции от 13 августа 1825 года, чтобы доложить о раскрытии им Тайного общества, начав ее дезинформацией об установленной им якобы слежке за "виленскими профессорами", которая и привела к более важному для интересов его императорского величества "открытию". Что же касается самих "виленских профессоров", то есть Мицкевича и Ежовского, то "поведение их оказалось вполне безупречным".

Забегая вперед, отметим, что на аудиенции у царя не было названо ни одного польского имени. Между тем уже в 1824 году Витту было известно не только о южном тайном обществе в России, но и о тайном польском Патриотическом обществе, в последнее он сделал даже попытку вступить.

Приехавший в 1824 году в Одессу М. Д. Бутурлин познакомился на балу у Витта с Собаньской и среди "польского общества, собиравшегося часто" у нее отметил польских патриотов — Залеского, графа

[50] *С. С. Ланда.* Мицкевич накануне восстания декабристов. С. 131.

[51] Там же. С. 142.

Олизара, Грушецкого и многих других.[52] Через Грушецкого Витт и сделал попытку связаться с руководящими кругами тайного общества в Варшаве, куда тот ездил в конце 1824 года и где предлагал одному из руководителей польского патриотического движения Кшижановскому завербовать генерала Витта, которого он представил как неукротимого либерала, весьма полезного для общества.

Еще до встречи в Варшаве, осенью 1824 года Грушецкий, "заслуженный полковник" Блендовский, будущий участник польского восстания 1830 года, и Леон Сапега сопровождали Витта в инспекционной поездке по южным военным поселениям. Там Витт и сделал свои "откровения" Леону Сапеге. "Я путешествовал с ним, — пишет Л. Сапега, — в течение двух недель в одном экипаже и ночевал в одной комнате. Между нами завязалась определенная близость. Он говорил мне однажды о существовании в Польше и России тайных обществ, о предстоящей в России революции, которая могла бы помочь полякам вернуть независимость (Польше). Он говорил далее: 'Я очень многим обязан императору Александру, чтобы изменить ему, но я твердо решил сразу же после известий о его смерти двинуться с моим корпусом на Киев и овладеть тамошним арсеналом'".[53]

Сапега счел, однако, что эти "откровения" были провокационными, дабы выявить его принадлежность к тайному обществу. Но эти соображения, по словам Л. Сапеги, пришли ему в голову лишь впоследствии, под влиянием событий. А в то время, несомненно, Витт сам испытывал колебания.

Своей осведомленностью Витт был обязан "разоблачению одной женщины", как признавался он впоследствии своему родственнику К. Браницкому.[54] Здесь и следует задать вопрос: вела ли Каролина Собаньская агентурную работу для Витта или в своем патриотическом устремлении оказывала на него сильное влияние, считала преданным польскому делу и поэтому не скрывала от него связей с Варшавской директорией через видного деятеля Патриотического общества, князя Антония Яблоновского?

То, что говорил Витт Сапеге, почти слово в слово сообщил Яблоновский Пестелю на переговорах представителей польского Патриотического общества с "южанами" на "контрактах" в Киеве 1825 года. Эти переговоры были известны и Витту, понимавшему, что "замышляемая в России революция, есть без сомнения самый лучший [случай] для возвращения Польше ее первобытной независимости".[55]

Позиция Собаньской совпадала с планами аристократических и консервативных элементов польской национальной организации. Им

[52] Русский архив. 1897. Кн. 2. С. 273.

[53] *L. Sapieha.* Wspomnienia (1803—1875). Lwyw—Warszawa—Poznan, 1912. S. 42, 43; *С. С. Ланда.* Мицкевич накануне восстания декабристов. С. 179.

[54] *С. С. Ланда.* С. 145.

[55] Там же. С. 155.

нужна была Польша без социальных преобразований. Это устраивало бы и графа Витта, но у него были колебания другого свойства. С одной стороны, сословные землевладельческие интересы заставляли его ориентироваться на сближение с петербургским самодержавием из опасения потерять свои многочисленные поместья и крепостных; с другой, авантюрная натура толкала его на политику балансирования из-за боязни оказаться ни при чем в случае победы декабристов. Разумеется, у Витта не было ни малейшего сочувствия декабристским идеалам. Он пренебрежительно относился ко всему, что не касалось его личных интересов, и всегда, со всеми вел двойную игру.

Декабрист Д. И. Завалишин отмечал в своих записках, что "граф Витт играл до конца очень двусмысленную роль. Он приехал в Таганрог, кажется, с целью выведать сначала, известно ли уже что-нибудь государю, и только тогда показал имевшийся у него список некоторых членов, как сам государь сказал ему об открытии по доносу Майбороды сильного тайного общества".[56]

"Поводом к его действиям, — читаем мы в записках С. Г. Волконского — была не преданность, а средство выпутаться этой услугой из затруднительной ответственности по растрате значительных сумм по южному военному поселению, состоявшему в его заведении".[57]

Уже после смерти Витта, в лекциях о славянских литературах в 1842 году в Сорбонне, Адам Мицкевич приоткрыл тайные помыслы Витта: "Доносчик был иностранец по имени Шервуд <...>, который сообщил о всем Витту <...>, который и до донесения Шервуда имел сведения о заговоре, предоставленные одним агентом, имя которого не называют ни один официальный документ, ни материалы следствия. Этот предатель, наиболее ловкий шпион из всех героев этого рода, даже шпиона романа Купера, назывался Бошняк <...> Выдавая себя за писателя и под видом натуралиста, он сопровождал всюду генерала Витта. Он обладал хорошими манерами, владел иностранными языками <...> Осведомленный им ген<ерал> Витт не спешил, однако, уведомить правительство. С одной стороны, он ненавидел Аракчеева... с другой стороны, он хотел раньше подробнее узнать, каковы были планы и средства заговорщиков, чтобы решить, быть ли с ними или быть против них, но донесение Шервуда заставило его послать рапорт в Петербург".[58]

Столь точные сведения Мицкевич мог получить от лица, состоявшего в полном доверии у Витта, а таким лицом могла быть только Собаньская, впоследствии встречавшаяся с Мицкевичем в Париже.

Когда репутация сомнительного дельца и предателя помешала Вит-

---

[56] Записки декабриста Д. И. Завалишина. Т. 1. 1904. С. 379.

[57] *С. Г. Волконский.* Записки. СПб., 1901. С. 431.

[58] *С. Я. Боровой.* Мицкевич накануне восстания декабристов. // Литературное наследство. Т. 60. Ч. 1. М., изд-во АН СССР, 1956. С. 460.

ту вступить в польское Патриотическое общество, он начал искать пути проникновения в Южное общество декабристов, но во время встречи на киевских "контрактах" в 1825 году А. Яблоновский предупредил С. Волконского о переговорах Грушецкого в Варшаве: "Один новопринятой член Польских Варшавских обществ, полагая возможным завлечь графа Витта в польские сообщества и желая оказать свое усердие, сделал о сем предложение, которое было сообщено варшавской директории, — но что на сие было сделано оной строгое запрещение и поставлено в обязанность не входить в такового рода переговоры".[59]

Вот тогда, спустя месяца два, в апреле 1825 года, и начал действовать с благословения графа Витта Александр Карлович Бошняк, так хорошо знакомый Мицкевичу по увеселительной погулке в Крым в обществе Витта, Собаньской и Ю. Грушецкого.

Сын коменданта Оренбургской крепости во времена восстания Пугачева, Бошняк родился в 1787 году, учился в Московском университетском пансионе, по окончании которого поступил в коллегию иностранных дел. С 1810 года, выйдя в отставку, он поселился в родовом имении Савинове Нерехотского уезда Костромской губернии, где одно время был избран уездным предводителем дворянства. С 1820 года Бошняк живет на юге, в Херсонской губернии, где ему досталось по наследству имение Катериновка, близ Елизаветграда, недалеко от границы Киевской губернии. По соседству, в имении Златополь, принадлежавшем брату отчима Бошняка, генералу Н. П. Высоцкому, близ Новомиргорода, будущий провокатор и познакомился с Виттом в конце 1824 года. Там же Бошняк встретился и с подпоручиком квартирмейстерской части военных поселений, декабристом В. Н. Лихаревым, свойственником хозяина имения, доверчивость которого сумел впоследствии ловко использовать. Но на год раньше, на обеде у того же Высоцкого, начал свои наблюдения за декабристом Барятинским унтер-офицер 3-го Украинского уланского полка, расквартированного в Миргороде, И. В. Шервуд.

Пока Бошняк укреплял свои связи с Лихаревым и другим декабристом — В. Л. Давыдовым, Шервуд уже подал донос (по-видимому, в конце июня 1825 года), минуя свое начальство по военным поселениям в лице графа Витта. Он просил срочно под каким-нибудь предлогом арестовать его, чтобы лично доложить о заговоре. Через лейб-медика Виллье донос дошел до Александра I. 12-го июля Шервуда "арестовали" и отправили в Грузино к Аракчееву, которому царь поручил расследовать дело.

Вероятно, Витта заинтересовал арест подчиненного ему человека и отправка последнего в Грузино к его недоброжелателю Аракчееву. Если Мицкевич утверждает, что Витт знал о доносе Шервуда, то какие-то

[59] Восстание декабристов. Т. X. Госполитиздат, 1953. С. 147.

расследования встревоженный граф, очевидно, произвел.

Во всех источниках указано, что Шервуд попал на прием к Александру I в Каменноостровском дворце 17 июля, но это неверно. Камер-фурьерский журнал отмечает, что в этот день император находился на учении войск в Красном Селе и только 18 июля приехал в Каменноостровский дворец. Но с ним не было Аракчеева, без которого вряд ли Шервуд был бы принят. Вместе с Аракчеевым в Каменноостровском дворце Александр I был 19-го июня 1825 года. Не произошло ли интересующее нас событие на месяц раньше?[60]

Но вернемся к Бошняку. Много ему узнать не удалось, несмотря на его постоянные визиты в Каменку к В. Л. Давыдову. Поручение Витта, у которого с Бошняком были "одинакие чувства, одинакие мнения", о настоятельном желании графа вступить в Южное общество, Бошняк назойливо излагал Давыдову, но получил решительный отказ. Единственное, что удалось ему — это добиться согласия декабриста на встречу с Виттом на киевских "контрактах" 1826 года.

По-видимому, со стороны Витта это была не только провокация. Граф намеревался получить пост начальника всей кавалерии в случае победы революции. За это он и обещал свою помощь военной силой в торге с декабристами, предпочитая такую "мену" перспективе пойти под суд за казнократство. В записках декабриста Н. И. Лорера говорится, что последний ездил по совету Пестеля к одному из руководителей Южного общества А. П. Юшневскому, дабы узнать его мнение о предложении Витта, и тот решительно протестовал, утверждая, что Витт "не знает, как отдать отчет в нескольких миллионах рублей, им истраченных и думает подделаться правительству, продав нас связанными по рукам и ногам, как курей".[61]

Однако донос Шервуда заставил Витта действовать решительно. Дело становилось опасным, и надо было спешить оправдаться, пока не начались аресты и следствие, на котором было бы трудно доказать, провоцировал ли тайное общество граф Витт или действительно готовил измену императору.

На досуге в Крыму и был разработан тщательный план доноса с учетом всех возможных неожиданностей. Прежде чем послать просьбу об аудиенции у царя, было составлено анонимное письмо, датированное 3-им августа 1825 года, на имя самого Витта, в котором не было названо ни одного имени, но давалось риторическое описание опасностей государю, правительству и самому графу как первой жертве революционеров. Письмо должно было служить подспорьем при докладе о раскрытии тайного общества.

Это анонимное письмо, по мнению автора капитального труда о

[60] ЦГИАЛ. Ф. 516. Оп. 29/1619. Ед. хр. 23. Л. 264 об., 319. С 26-го июня 1825 года по 6 июля Александр I проживал в Грузине у генерала от артиллерии графа Аракчеева.

[61] *М.В.Нечкина.* Движение декабристов. Т. II. М., изд-во АН СССР, 1955. С 197.

царствовании Александра I Н. К. Шильдера, было сочинено Бошняком. Известный исследователь движения декабристов Ь. Е. Сыроечковский полагал, что письмо могло быть составлено самим Виттом. Такое предположение более вероятно, но следует добавить, что в этом деле, видимо, принимала участие и Каролина Собаньская. Вероятно, Ф. Ф. Вигель и имел в виду этот факт, когда говорил о помощи Собаньской "безграмотному Витту". Во всяком случае, анализ языка и стиля мог бы подтвердить много общего в этом анонимном письме с письмом Собаньской Бенкендорфу в 1832 году.

Просьба об аудиенции была удовлетворена. Александр I назначил встречу на 18 октября 1825 года. О чем докладывал сиятельный провокатор императору, известно из донесения Дибича Николаю I от 4-го декабря. Свой сговор с тайным обществом через Бошняка Витт объяснил тем, что "давал им надежду склониться на их сторону по неприятностям, имевшимся между им и гр. Аракчеевым".

И здесь Витт повел двойную игру: он о многом умолчал, не выдал существования польского Патриотического общества, не упомянул имен поляков, зато кроме действительных "заговорщиков" назвал ряд лиц (по-видимому, желая замешать их в опасном деле из-за личной неприязни), которые никакого отношения к этому делу не имели. Таков был этот "очень скромный, очень послушный и преданный подданный граф Витт". По его словам, тайное общество "старалось, но тщетно, помощью генерал-майора Михаила Орлова и сыновей генерала Раевского, заразить и Черноморский флот".[62]

Если М. Ф. Орлов был видным деятелем тайных обществ, то сыновья Раевского здесь были решительно ни при чем. Просто все они встречались с Виттом в Киеве и в Одессе, графу были хорошо известны неприязнь к нему Орлова и злые остроты А. Раевского. К Пестелю же у Витта были особые счеты — не только как к главному руководителю тайного общества, но и как к бывшему жениху его дочери Изабеллы, который затем от нее отказался.

Аудиенция в Таганроге окончилась указанием Витту "продолжать открытия свои".

6

Если во всей этой коварной игре Витту и удалось чего-то добиться, то внезапная смерть Александра I свела на нет все его достижения. Перспектива воцарения Константина Павловича означала бы для графа катастрофу: несмотря на поддержку начальника Главного штаба Дибича, он не удержался бы на своем месте. О раскрытии тайного общества Виттом цесаревич имел свое мнение: "Мне кажется, что главная всему этому есть пружина генерал-лейтенант граф Витт, который,

[62] *Н. К. Шильдер.* Император Александр Первый. Т. IV. СПб, 1898. С. 411.

чтобы подслужиться покойному государю императору и сделаться нужным, нарочно наделал беспокойства и подвел свои хитрые пружины".[63]

Неясно для Витта было отношение к нему и нового царя Николая I. В полученных от последнего Дибичем распоряжениях по ликвидации заговора ни словом не упоминалось о поручениях, данных Витту, а там затрагивались и такие вопросы, которые входили в компетенцию начальника южных военных поселений. Николаю было известно об аудиенции, которую дал Александр I Витту, но тем не менее в письме к Дибичу говорилось: "Как по всему делу видно, что в Одессе должно быть гнездо заговора, <...> то я считаю необходимым, чтобы вы переговорили о сем с графом Воронцовым, дабы и там принять нужные меры".[64]

Все это не могло не обеспокоить Витта. О приоритете открытия тайного общества не приходилось и мечтать. Сведения о его якобы болезни в это время, видимо, надо считать распущенными не случайно.

Уже назначен был Следственный комитет, шли аресты, накануне нового 1826 года прибыл из Таганрога в столицу Дибич, были вызваны туда командующий 2-й армией генерал от кавалерии граф Витгенштейн и начальник его штаба генерал-адъютант Киселев, арестованы, допрошены и отпущены братья Раевские и граф Олизар, в апреле был вызван в Петербург новороссийский генерал-губернатор граф Воронцов, а еще ранее — бессарабский вице-губернатор Ф. Ф. Вигель, но о начальнике южных военных поселений как будто забыли. Правда, в самом начале января в Петербург приехал из Елизаветграда "Генерал лейтенанта гр. Витты 1-го Адъютант, Лейб-гвардии Уланского полка ротмистр Бутаков",[65] но с какой целью — неизвестно. Видимо, граф Витт просто понимал, что остаться без своего осведомителя в столице Российской империи в такой момент не только невозможно — опасно.

Между тем 6-го и 7-го января 1826 года Следственный комитет узнал из показаний арестованного В. Н. Лихарева о сношениях Витта через Бошняка с заговорщиками. Это показалось подозрительным, но Дибич успокоил Комитет, и тот 16-го января вынес постановление: "Для объяснения при допросах нужно иметь здесь помещика Бошняка, члена Союза Благоденствия, который приезжал к отставному полковнику Давыдову с предложением гр. Витта вступить в общество, сделанным, как объявил Нач. Гл. Штаба е. и. в., вследствие мер, принятых покойным императором. — Положили: о высылке Бошняка в С. Петербург без арестования написать к губернатору, предупредив о том и гр. Витта".[66]

---

[63] *Н. К. Шильдер.* Император Николай Первый. Т. I. СПб, 1903. С. 362.

[64] Там же. С. 247.

[65] Санктпетербургские Ведомости. 1826. № 2, 4.

[66] *Б. Е. Сыроечковский.* Записка А.К.Бошняка // Красный Архив. Т. 2 (9) Госиздат, 1925. С. 201.

Кончилось бы для Бошняка все это плохо, если бы Дибич не допустил в своем объяснении ошибки во времени. Покойный император "принял меры" после аудиенции, позволив "продолжать следить", а предложение вступить в общество Витт поручил Бошняку передать декабристам еще до своего доноса.

Допрос Лихарева продолжался 18 января, 1 февраля и 5 марта, а В. Л. Давыдова — 1 и 16 февраля, то есть задолго до прибытия Бошняка в Петербург. Отношения к Херсонскому гражданскому губернатору и графу Витту были посланы лишь 20 февраля, и только через месяц фельдъегерь доставил Бошняка к Дибичу.

Не столь был наивен граф Витт, чтобы, получив извещение о вызове Бошняка, не пожелать встретиться с ним перед этим вояжем. Да и сам Бошняк отличался "похвальной тщательностью" по прежней службе ("Человек умный и ловкий и принявший вид передового лица по политическим мнениям", — отзывался о нем декабрист Волконский, а Лихарев информировал Следственный комитет, что Бошняк — "человек суровой наружности и в речах весьма осторожный"). Надо полагать, Бошняк с Виттом успели обо всем договориться.

Не имея времени, Дибич поручил генерал-адъютанту А. И. Чернышеву провести допрос Бошняка, надеясь, что "он может нам дать и еще много чрезвычайно полезных указаний как относительно лиц, уже раскрытых, так и о тех, которых еще надо открыть".

23 марта 1826 года Чернышев допросил Бошняка и 26 марта представил рапорт Дибичу: "Открытия г. Бошняка могли принести существенную и важную пользу тогда, когда правительство не имело еще сведений о тайном обществе, но при обнаруженных уже Комитетом намерениях и действиях оного открытия сии не служат нитью для нового розыска. Некоторые однако же обстоятельства в представленном извлечении обращают на себя внимание, потому что Комитет не имел еще ясного об них сведения; впрочем, и сии обстоятельства со стороны Бошняка указываются как слышанные и незаключающие достоверности. Они могут быть средством к дальнейшему пояснению сих предметов".[67]

Это было сочтено "подвигом", "совершенным с благоразумной ревностию к пользу Государя и отечества", который "достоин всемилостивейшего благоволения Его Величества".

Вместе с рапортом Чернышев прислал Дибичу извлечение из объяснений Бошняка, которые назывались запиской "о сношениях моих с некоторыми из заговорщиков, в исполнение настоятельных требований генерал-лейтенанта графа Витта об открытии посредством оных обширного заговора, как в полуденном, так и в некоторых других краях России ветви свои простиравшего, и наконец об удостоении меня графа Витта словесного повеления блаженные памяти императора Александра Павловича о продолжении и усилении сношений моих с за-

[67] Там же. С. 200.

говорщиками".[68]

Задача Бошняка была психологически сложной. Прежде всего он должен был учитывать, что Следственному комитету многое может быть известно, и объяснения нужно было давать так, чтобы они казались правдивыми. Особенно необходимо было маскировать посулы Витта тайному обществу о военной помощи, которые Бошняк от имени графа предлагал Давыдову при первом же свидании. Комитету это было известно из показаний В. Л. Давыдова от 1 февраля: Бошняк "приехав ко мне, объявил мне, что гр. Витту общество давно известно, что и поездку его ко мне он знает, предлагает войти в общество, обещает возмутить поселения и с 50 тысячами присоединиться к тем, кои поднимут оружие против правительства, что за сие требует только команду всей кавалерии".[69]

Это Бошняк хорошо знал, и потому уже в названии его записки был акцентирован момент "о словесном повелении блаженной памяти императора Александра". Записка составлена Бошняком тонко и умело, с преамбулой благородства своих намерений и жертвенности. "Я страшился, чтоб общество не причло поступка моего к другим каким-либо видам, кроме истинной любви к государю и отечеству, чтоб не смешали меня с теми низкими душами, которые из мелкой корысти предают и друзей и клевретов своих, наконец, чтоб самая память моя не была очернена столь презираемым именем шпиона! Страшился, но судил, что есть случаи, в которых истинно любящий государя и отечество подданный обязан жертвовать для защиты их и самою доброю славою, — решился — и пожертвовал ею".[70]

Бошняк объяснил, что, хотя и не предвидел "настоящей в том необходимости", но все же "принял на себя личину отчаянного и зверского бунтовщика". Самые опасные для себя и для Витта сведения о военной помощи, обещанной декабристам, он искусно переставил хронологически с первого свидания с Давыдовым на конец своей агентурной деятельности, так как якобы вынжден был бороться с недоверием Давыдова.

Отвечая на вопросы Комитета 13 апреля 1826 года, В. Н. Лихарев заявил, что "я бы мог привести в заключение некоторые обстоятельства, которые бы преданность г-на Бошняка могли сделать сумнительною, но не возвышу голоса против нечестия, которое обнаружится правосудием и упадет собственною тяжестью своею".[71]

Но расчеты Лихарева на "правосудие" не оправдались — поверили провокатору, а не декабристу.

29 марта 1826 года Дибич возвратил Чернышеву его рапорт и записку Бошняка: "При сем имею честь обратить Вашему Превосходитель-

[68] Там же. С. 204.

[69] Красный Архив. С. 221.

[70] Там же. С. 205.

[71] Там же. С. 222.

ству бумаги о коллежском советнике Бошняке. Полагаю, что оные нужно внести для рассмотрения в Комитет о злоумышленном обществе. При первом же свидании прошу покорнейше объясниться со мною насчет сего Бошняка".[72]

В тот же день Комитет вынес свое заключение о Бошняке: "По сообщенным от него открытиям гр. Витт донес покойному государю о тех подробностях, кои вместе с открытиями Шервуда и Майбороды дали первое положительное известие о тайном обществе. Все, что Бошняк раскрыл и в сем показании описывает, совершенно согласно с имеющимися в Комитете сведениями и доказывает благоразумие и осторожность его действий. Положили: взять в соображение".[73]

На сей раз Бошняк уже не удостоился не заслуженной им чести называться "членом Союза Благоденствия". По его записке еще раз допрашивали Давыдова 10-го апреля, а Лихарева 13-го апреля 1826 года. В связи с приведенным выше заявлением Лихарева возникла мысль об очной ставке, но "Бошняк не был призываем потому, что в разведании о злоумышленном обществе он действовал вследствие высочайшего соизволения покойного государя императора".[74]

Так хитрость Бошняка сыграла свою роль. Отзыв Комитета был включен в очередную докладную записку его председателя Татищева Николаю I.

Наконец, в середине мая, когда следствие уже подходило к концу, в Комитет потребовали и самого генерал-лейтенанта Витта. Он прибыл в Петербург около 25 мая 1826 года.[75] Но с докладом его принял Николай I только 8 июня и вторично, вместе с Дибичем, 10 июня.[76]

От Дибича и Бошняка Витт уже знал о всех перипетиях следствия, и теперь самая главная его задача состояла в том, чтобы "подслужиться новому государю и сделаться ему нужным". Чтобы обосновать свои рискованные действия по установлению контактов с заговорщиками, Витт задумал новую провокацию. Он решил "напомнить" новому царю об особой к нему доверенности "блаженные памяти" прежнего. Надеясь на неопытность Николая, Витт составил докладную записку о "поручениях, в которых был употреблен императором Александром I". Объясняя свои отношения с прежним царем, Витт писал: "Того же 1819 года <...> повелено мне было иметь наблюдение за губерниями: Киевскою, Волынскою, Подольскою, Херсонскою, Екатеринославскою и Таврическою, и в особенности за городами Киевом и Одессою, при чем его величество изволил поручить мне употреблять аген-

[72] Там же. С. 201.

[73] Там же. С. 201.

[74] Там же.

[75] Первое прибавление С.-Петерб. Ведомостям № 43. Пятница, 28 мая 1826 года.

[76] Камер-фурьерский журнал. ЦГИАЛ. Ф. 516. Оп. 1/120/2322. Ед. хр. 6, л 28 об., 32.

тов, которые никому не были бы известны, кроме меня; обо всем же относящемся до сей части никому, как самому императорскому величеству, доносить было не позволено, и все на необходимые случаи разрешения обязан я был принимать от самого в Бозе почивающего государя императора".[77]

Этот курьезный документ, на который так любят ссылаться исследователи, является плодом дерзкой выдумки графа Витта, который лгал с таким отъявленным и бессовестным спокойствием, что Николай вынужден был ему поверить, хотя прекрасно знал: бывшие польские губернии Подольская и Волынская находятся в сфере влияния великого князя Константина Павловича. Свидетелем Витт выставил только одного человека, причем покойного — это был "в Бозе почивающий Государь Император". Чтобы следить за такой огромной территорией, надо было создать вторую полицию, иметь огромные средства и пользоваться особым доверием монарха, которого у Александра I, знавшего авантюные наклонности Витта, к нему не было. Новый царь был очень подозрителен, и стремление Витта вмешиваться в функции полиции без ведома начальства его одобрения вызвать не могло. Однако у Витта был здесь расчет не только оправдаться перед правительством, но, может быть, приобрести право на особую роль в III отделении канцелярии его величества, которое в ту пору завершало "организационный период" своей истории и готово было приступить к действиям.

С. С. Ланда нашел в архиве историка Н. К. Шильдера копию с черновика письма к киевскому губернатору от 1 января 1823 года, как будто подтверждающего, что Витту действительно было разрешено доносить лично императору: "По высочайшему повелению е. и. в. сообщаю вашему превосходительству, дабы вы обратили должное внимание на изустное поручение, кое к вам имеет генерал-лейтенант граф Витт. Донесения ваши по сим предметам, е. и. в. угодно, чтобы вы их адресовали на его высочайшее имя, в собственные руки, вкладывая ваш пакет в другой адрес ко мне".[78]

Но имеет ли этот документ отношение именно к тем функциям, которые указывал Витт в докладной записке Николаю I? Он утверждал, что поручение Александра I было дано ему в 1819 году, а письмо относится к 1823 году, когда предполагался смотр императором 2-й армии в Тульчине, в котором участвовали и дивизии Витта.

В бумагах Витта после его смерти не оказалось документов, подтверждающих подобную деятельность. Впрочем... за одним исключением.

Граф Витт умер в 1840 году, бумаги его III отделение сразу опечатало, и, разбирая их, нашли черновик рапорта Бошняка на имя графа, составленный в конце июля 1826 года и заключавший в себе отчет о поездке в Псковскую губернию для "возможного тайного и обстоя-

[77] *Н. К. Шильдер.* Император Николай Первый. Т. I. С. 526.

[78] Литература славянских народов. Вып. 4. Изд-во АН СССР, 1959. С. 134.

тельного исследования поведения известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в поступках, клоняшихся к возбуждению к вольности крестьян" и для "арестования его и отправления куда следует, буде бы он оказался действительно виновным".[79]

Документ этот обнаружили в советское время.

Чем же все это могло быть вызвано?

Мы знаем, как ревниво относился Николай I к тому, что происходило в Следственном комитете по делу декабристов. Комитет еще только начал работу, а его председателя, военного министра генерала от инфантерии Татищева уже поспешили наградить орденом святого Владимира I-ой степени. По окончании работы Комитета, 1-го июля 1826 года "за неутомимую деятельность и труды <...> по званию председателя Следственной комиссии" ему "всемилостивейше" были пожалованы алмазные знаки ордена Александра Невского, а после коронации он получил и графское достоинство.[80]

Естественно, что и граф Витт ожидал какого-то одобрения за свои "труды", но прошел июнь и половина июля 1826 года, объявили приговор, казнили "государственных преступников", на следующий день отслужили благодарственный молебен, и император со свитой уехал на коронацию, так и не отметив "заслуг" Бошняка и Витта. Правда, 15 июля Бошняка восстановили на государственной службе и сделали чиновником по особым поручениям при графе Витте. Следовательно, Николаю I оказалась по душе движимая "беззаветной любовью к государю и отечеству" деятельность провокатора, и он желал ее продолжения, лишь заменив несколько неблагозвучное звание шпиона на облагороженный термин "чиновник по особым поручениям".

Однако награды пока не было. Счастливцу Шервуду повезло, — ему и к фамилии прибавили добавление "Верный" (что в народе видоизменили на "Скверный"), и дали дворянство, и герб подобрали, и произвели его в офицеры. А другим, не менее "верным"... Было от чего растеряться.

Однако Бошняк, "зная совершенно всю тонкость и проницательность ума графа, всю убедительность исполненного огня красноречия его", был уверен, что Иван Осипович докажет необходимость награды "истинно любящему государя и отечество подданому". Новая провокация уже давно зрела в мыслях Витта.

Имя Пушкина, столь хорошо знакомое графу по Одессе и салону Собаньской, вновь приобрело в последекабрьские дни отчетливо политический оттенок. Во всех следственных делах по декабристским обществам оказались вольнолюбивые и противоправительственные стихи поэта. Новому императору пришлось даже приказать вырвать все листы со стихами из этих дел и уничтожить их.

И как раз в ту пору во всех книжных лавках Глазунова, Смирдина и

[79] *Б.Л.Модзалевский.* Пушкин под тайным надзором. 1925. С. 21.

[80] Санктпетербургские Ведомости. 1826. № 2, 55, 73.

других появилась (с объявлением о том в Санктпетербургских Ведомостях) книжка «Стихотворения Александра Пушкина» с выразительным эпиграфом: "Первая молодость воспевает любовь, более поздняя — смятения".

Карамзин пришел в ужас. Он укорял издателя П. А. Плетнева в намеке на восстание декабристов: "Что это вы сделали? Зачем губит себя молодой человек?" Но его успокаивают объяснениями, что здесь подразумеваются душевные смятения.[81]

Однако император этому не поверил. Он приказал Дибичу выяснить, по каким делам Плетнев связан с Пушкиным. Плетнева вызывают, допрашивают и убеждаются в справедливости его репутации смирного и даже робкого человека. "Иметь за ним строгий надзор!" — все же приказывает император. Плетнев прерывает переписку с поэтом.

В новом сборнике Пушкина противоправительственных стихов не оказалось, но одно крамольное, на взгляд Витта, стихотворение там все же имелось. Это была элегия «Простишь ли мне ревнивые мечты...», и кому, как не графу Витту, было знать, что стихи

> В нескромный час меж вечера и света,
> Без матери, одна, полу-одета,
> Зачем его должна ты принимать?..

относятся лично к нему. Опущенные в предыдущей публикации строки вновь появились в этом сборнике.

Витту это не могло не быть досадно.

Пока у него была надежда, что постигшая декабристов кара не минует и дерзкого поэта, предпринимать что-либо против него не было смысла, но когда стало ясно, что все для Пушкина обошлось благополучно, то Витта вдруг озарило: как хорошо было бы "разоблачить" поэта и тем самым приобрести лишний козырь в игре с Николаем Павловичем.

Когда Витт делал доклад императору 8-го июня 1826 года, в Петербург приехал бывший член Союза Благоденствия, отставной генерал-майор П. С. Пущин. Бошняк не знал Пущина, но Витту он был хорошо известен — не только по нашумевшему делу в связи с арестом первого декабриста В. Ф. Раевского в Кишиневе. П. С. Пущин был основателем и руководителем масонской ложи в Кишиневе, где были членами и Пушкин, и В. Ф. Раевский. "Грядущий наш Квирога" — именем испанского революционера называл этого генерала Пушкин, "другом свободы" — В. Ф. Раевский.

После ареста В. Ф. Раевского Пущин был отстранен от командования бригадой, а 28 марта 1822 года, по именному повелению Александра I, уволен без прошения в отставку и навсегда удален из армии.[82]

[81] Русский Архив. 1970. Стлб. 1366.

[82] Литературное наследство. Т. 60. Кн. I. М., изд-во АН СССР, 1956. С. 523.

После своей отставки генерал жил некоторое время в Одессе, там и женился, породнившись с графом Ланжероном, там встречался с Виттом. За границу его не пустили, и он уехал в свое имение Жадрицы Псковской губернии. К следствию по делу декабристов его не привлекали, но какая-то надобность привела его в Петербург, где он, по-видимому, и встретил Витта.

Известно, что благодаря распространению слухов о предстоящей отмене крепостничества в марте 1826 года в Псковской губернии начались крестьянские волнения. Николай I вынужден был издать специальный манифест от 12 мая 1826 года, объявляющий такие слухи ложными и требующий от крестьян повиновения их господам под страхом сурового наказания. Псковский губернатор фон Адеркас принимал меры по усмирению волнений, но они не утихали. Надо полагать, что в разговоре с Пущиным Витт мог затронуть и эту тему, в связи с чем был упомянут живший в Псковской губернии Пушкин (что отмечено в рапорте Бошняка). Вот этим обстоятельством и воспользовался Витт. Здесь могут быть две версии. По одной из них можно предположить, что Витт на докладе 10 июня 1825 года предложил царю воспользоваться услугами Бошняка и проверить, в какой мере поступки поэта могут быть связаны с волнениями крестьян. По другой — Витт по собственной инициативе, с помощью хорошо к нему относившегося начальника Главного штаба Дибича, организовал слежку за Пушкиным, чтобы, в случае успеха, преподнести императору сюрприз и представить перед ним арестованного поэта для допроса. Что это могло быть инициативой Витта — видно по отсутствию каких-либо других свидетельств и документов. Тем более, что генерал-губернатор Прибалтийского края Паулуччи находился в постоянной переписке с Министерством внутренних дел по делам крестьянских волнений, но никаких официальных требований правительства касательно специального наблюдения за Пушкиным ни Паулуччи, ни фон Адеркас не получили. Мало того, в это время псковский губернатор сам хлопотал перед Паулуччи о пересылке прошения поэта на "высочайшее" имя о смягчении его участи. Это прошение было послано в Петербург вместе с положительной характеристикой Пушкина, данной местными властями.

Недавно в «Литературной газете» № 22 от 2 июня 1976 года появилась статья Н. Эйдельмана, где он публикует найденный им документ № 1273 как "новый материал к биографии А. С. Пушкина". Правильнее было бы назвать его новым материалом к биографии И. О. Витта.

Вот текст этого документа: "Открытое предписание. Предъявитель сего фельдъегерь Блинков отправлен по высочайшему повелению государя императора для взятия и доставления по назначению, в случае надобности при опечатании и забрании бумаг, одного чиновника, в Псковской губернии находящегося, о коем имеет объявить при самом его арестовании. Вследствие сего по высочайшей воле его императорского величества предписывается, как военным начальникам, так и

гражданским чиновникам, земскую полицию составляющим, по требованию фельдъегеря Блинкова оказывать ему тотчас содействие и вспомоществование к взятию и отправлению с ним того чиновника, о котором он объявит.

В Санктпетербурге. Июля 19-го дня 1826 года.

Подписал военный министр Татищев. № 1273".

Этот документ имеет непосредственное отношение к графу Витту, который мог выхлопотать его с тем, чтобы Бошняка могло сопровождать официальное лицо, подчиняющееся его указаниям и имеющее право на арест любого лица.

Такая предусмотрительность графа говорит о полной уверенности в положительном результате затеянной авантюры, а главное — в необходимости поспешить с ее исполнением. Бошняк и Блинков выехали в тот же день, не теряя ни минуты. Витт желал незамедлительно, до коронации, спровоцировать Пушкина на неосторожный поступок и вместе с поздравлением новому императору преподнести неожиданный "подарок" его величеству.

Для возвращенного на службу чиновника по особым поручениям при Витте не надо было никакого документа, достаточно было "словесного приказания его сиятельства". В рапорте Витту Бошняк пишет, что "причина его отправления" заключалась в беседе Витта с Пущиным, "от которого вышли все слухи о Пушкине". Но так ли это было?

Разговоры с Пущиным не могли относиться к указанному времени — по рапорту того же Бошняка мы знаем, что П. С. Пущин давно уже был у себя дома. Использовать Бошняка тотчас же Витту было нельзя, официально он еще не был прикомандирован к нему для особых поручений. Но вот когда уехал император, можно было начать действовать.

В комментарии к своей публикации Н. Эйдельман говорит, что "как видно из рапорта Бошняка, П. С. Пущин упомянул о Пушкине как вольнодумце, и можно было понять его так, будто вольные мысли поэтом не очень скрываются, а проявляются в неких разговорах и даже "пущенных в народ песнях". Эти сведения переданы Николаю I. Царь, без сомнения, напуган и расержен: агитация в народе в роковые дни окончания суда и казни! Дается, очевидно, устное распоряжение генералу Витту, который именно в июне и начале июля 1826 года постоянно работает с императором; и, конечно, важным элементом этой работы являются особые задания по части сыска, которые Витт столь успешно выполнял на юге России".

Однако на основании рапорта Бошняка такой вывод сделать трудно. Что же касается встреч императора с Виттом в июне и июле 1826 года, то почему камер-фурьер Бабкин "забыл" отметить их в своем журнале начиная с 11 июня 1826 года?[83]

[83] Камер-фурьерские журналы. ЦГИАЛ. Ф. 516. Оп. 1/120/2322. Ед. хр. 6, 7.

Прежде всего характер рапорта Бошняка полностью опровергает "слухи о Пушкине", исходящие от Пущина, следовательно, надо считать их провокацией Витта, который, посылая своего агента, не пожалел усилий для очернения поэта. Если бы об этих "слухах", исходящих от Пущина, было доложено императору, П. С. Пушин был бы вызван для допроса и началось бы официальное следствие без участия Витта. Но мы знаем, что этого не случилось. Факт лишь "словесного приказания его сиятельства" говорит сам за себя. Инициатором этой провокации надо считать самого Витта, независимо от того, получил ли он одобрение царя или сам решился на авантюру. Примеры мстительности его известны.

Что же касается имени императора в документе № 1273, то все документы подобного рода писались как изданные "по высочайшему повелению", это — обязательная формулировка в деловой переписке того времени по особо важным поводам.

Сочиняя открытое предписание, да еще боясь указывать в нем имя Пушкина, Витт просил письмоводителя вставить вместо него безличное наименование "одного чиновника Псковской губернии", не зная, что еще 11 июля 1824 года Александр I приказал исключить поэта из списков чиновников Министерства иностранных дел "за дурное поведение", как писал Нессельроде графу Воронцову.

Но, по-видимому, Бошняк понял, в какую опасную аванстюру тянет его граф Витт. Одно дело — предавать Лихарева или Давыдова, а другое — первого поэта России. Такой эпизод его биографии не мог избежать огласки.

Александр Карлович Бошняк сам занимался литературой, о чем, как мы указывали выше, упоминал Мицкевич. В эти годы он работал над нравственно-сатирическим романом «Якуб Скупалов или исправленный муж», который закончил в 1830 году и издал в Москве, хотя и анонимно. Отправляясь на выполнение задания Витта, Бошняк уразумел, чем может грозить "успех" его литературной репутации. В его черновом рапорте Витту видно борение противоположных чувств. Там есть и желание угодить "его сиятельству", но есть и стремление затушевать и нейтрализовать опасные для Пушкина сведения. С кем бы ни встречался Бошняк — всегда в его отчете есть "во-первых" и "во-вторых": теневые стороны и реабилитация "объекта".

Фельдъегеря он и близко не подпустил к тому месту, возле которого кружил и вынюхивал. Он оставил его на почтовой станции Бежаницы, в семидесяти верстах от Михайловского. Приехав в Новоржев, Бошняк, выдав себя за путешествующего ботаника, познакомился с хозяином гостиницы Катосовым, уздным судьей Толстым, смотрителем по винной части Трояновским, уездным заседателем Чихачевым. Все они в один голос утверждали, что Пушкин живет смирно, крестьян не "бунтует", и выразили уверенность, что поэт "в поступках, ко вреду правительства устремленных, не подозревается".

Бошняк пишет Витту о псковском предводителе дворянства Львове. Тот понимает, "что известные по сочинениям мнения Пушкина — яд, оными разлитый", но... "впрочем поступки Пушкина отнюдь с прежними писаниями его не согласны". "Поелику, — пишет Бошняк, — все сии известия неудовлетворительны", то есть не удовлетворят Витта, то пришлось поехать к Пущину — "от которого вышли все слухи о Пушкине".

Бошняк передал Пущину поклон от бывшего одесского губернатора Ланжерона, хотя и не знал его. Но здесь его надоумил Витт. Дело в том, что генерал от инфантерии граф Ланжерон, против которого когда-то интриговал Витт, и в самом деле 15 апреля 1826 года приехал в Петербург из Варшавы, а 16-го представлялся Николаю I. Ездил он и на коронацию. [84] Видимо, где-то в Петербурге он встретился в Виттом. Пущину Ланжерон доводился свояком (они были женаты на сестрах), и ложный поклон оказался кстати.

В результате беседы оказалось, что слухов никто не распространял, а "Пушкин ведет себя несравненно осторожнее противу прежнего; что он говорун, часто возводящий на себя небылицу, что нельзя предполагать, чтобы он имел действительно противу правительства намерения, в доказательство чего и основывались на непричастности его к заговору, которого некоторые члены состояли с ним в тесной связи; что он столь болтлив, что никакая злонамеренная шайка не решится его себе присвоить; наконец, что он человек желающий отличить себя странностями, но вовсе неспособный к основанному на расчете ходу действий". [85]

И опять Бошняк утешает Витта: все это не проверенные свидетельства, а толки, и посему поехал он "искать истины при источнике, т.е. в Святогорском монастыре", у игумена Ионы.

Поразив настоятеля усиленной щедротою, опущенной в церковную кружку, Бошняк только и сумел выяснить, что Пушкин "живет, как красная девка и ни во что не вмешивается".

Свой рапорт Бошняк закончил словами: "Таким образом удостоверясь, что Пушкин не действует решительно к возмущению крестьян, что особого на них впечатления не произвел <...>, что действительно не может быть почтен, — по крайней мере поныне, — распространителем вредных в народе слухов, а еще менее возмутителем, — я, согласно с данными мне повелениями, и не приступал к арестованию его". [86]

Бошняк отпустил фельдъегеря Блинкова и через Витебскую и Смоленскую губернии отправился в Москву. Там провокатор и передал графу Витту 1-го августа 1826 года свой рапорт и две объяснительных записки: "А. О Пушкине, В. О различных сторонних сведениях".

---

[84] Санктпетербургские Ведомости. 1826. № 32; ЦГИАЛ. Ф. 516. Оп. 1/120/2322. Ед. хр. 4, л. 31.

[85] *Б.Л. Модзалевский.* Пушкин под тайным надзором. С. 26.

[86] *Б.Л. Модзалевский.* Пушкин под тайным надзором. С. 29.

Однако Витт потребовал от Бошняка сдать ему и все черновые записи. Они много лет пролежали в бумагах графа как свидетельство провокации, пока не попали в секретное дело III отделения после его смерти. Бошняк сдал и открытый лист на арест за № 1273 с отчетом об израсходовании тридцати сребренников — 300 рублей, за вычетом оставшихся 51 рубля 70 копеек.

Найденное Н. Эйдельманом "открытое предписание" не является подлинником. Это копия, не имеющая подписи Татищева, но заверенная правителем канцелярии дежурного генерала Главного штаба по секретной части. Однако это первый документ подшитого дела, начатого 9-го августа и конченного 15 декабря 1826 года.

Дело это давно известно исследователям. В 1937 году оно экспонировалось на Всесоюзной Пушкинской выставке в Москве. В 1939 году его просматривал М. А. Цявловский, в 1954 году — С. С. Ланда и другие.

В этом деле отсутствуют рапорт Бошняка и его объяснительная записка о Пушкине под литером "А", но "записка о сторонних сведениях" под литером "В", тщательно переписанная им набело, сохранилась. В ней небольшое вступление: "Предписано было мне, не только разыскать касающееся до г. Пушкина, но и не упускать из вида и прочих случаев, которые могли б казаться мне не недостойными внимания, почему и излагаю весь подробный отчет о всем слышанном и замеченном мною в продолжении пути".[87]

"Сторонние сведения" не касаются Пушкина, но Николай I их читал и отметил: "велел разведать", "уведомить М. Паулуччи, чтобы обратил на сие внимание", "приказать к. Хованскому узнать и донести", "узнать справедливо ли?".

В своей статье Эйдельман пишет: "Теперь, 150 лет спустя, мы узнаем, что утром 7-го августа 1826 года набело переписанный отчет Бошняка был прочтен царем <...> В то утро царь делает на полях какие-то пометы; начальник Главного штаба Дибич надписывает: "По секретной части. Для исполнения по отметкам". Затем "пушкинские листы" уничтожаются; это произойдет, очевидно, через месяц, когда после каких-то пока не разгаданных нами размышлений, царь решает Пушкина возвратить...".

Это могло быть так, но могло быть и иначе. Прежде всего неизвестно, читал ли император записку Бошняка о Пушкине?

Бошняк передал свой рапорт и записки Витту 1-го августа 1826 года, а Витт вместе с Дибичем был на докладе у Николая I не 7-го августа, а 2-го.[88] Возможно, он и не показал царю оправдательные записки о Пушкине, как нежелательные для своих личных целей. Содержание результатов розыска могло быть изложено устно, а могло быть и вовсе опущено: в этот день Николай I многих принимал с докладами и рапортами, а кроме того, делегацию от купечества, делега-

[87] ЦГВИА. Ф. 36. Оп. 4/847. Дело № 385. Л. 3.

[88] ЦГИАЛ. Ф. 516. Оп. 1/120/2322. Ед. хр. 8. Л. 11.

цию от мещан. Вряд ли эти документы о Пушкине вообще были в деле от 8 августа — 15 декабря 1826 года (а после почему-то "уничтожены"). По-видимому, Витт просто ограничился второй запиской, так как провокация не удалась, а оправдать работу нового "чиновника по особым поручениям при графе Витте" было необходимо.

Забегая вперед, скажем, что Витт был очень недоволен "неопытностью" нового царя.

7

Не без обиды уехал Пушкин из Одессы в 1824 году, унося печальную память сердечных увлечений. По приезде в Михайловское он включает в стихотворение «Разговор книгопродавца с поэтом» лирический фрагмент, в черновом варианте которого отразилась вся горечь отношений поэта с Каролиной Собаньской:

О если б Лета поглотила
Мои летучие листы
И память злобной красоты
Сокрыла б темная могила!..
(II_2, 841—841)

Мы не знаем иного женского образа, которому так соответствовали бы эти столь полно отразившие душевное состояние поэта стихи. В относящемся к той же поре незаконченном отрывке из ответа графу Олизару, который писал Пушкин по приезде в Михайловское, звучит тот же мотив:

И тот не наш, кто польке злобной
Кольцом заветным обручен.
(II_2, 860)

"Существо выдающееся и злотворное" — так писал поэт о Собаньской в черновике к ней от 2 февраля 1830 года, но зачеркнул эту фразу.

Как же сложились в Одессе отношения между соперниками? Почему именно преследовал Пушкина Витт? Только ли элегия «Простишь ли мне ревнивые мечты...» была тому причиной?

Мы не можем с исчерпывающей точностью ответить на эти вопросы. Есть факты значительные, но соблазн объяснить их таит в себе опасность не угадать.

...Шли годы.

Граф Витт не особенно был доволен результатами своей службы при новом царе. Правда, его наградили, но не орденом, а только алмазными знаками к ордену Александра Невского, пожалованному ему еще Александром I в 1820 году. Отметили в царском указе и то, за какие труды наградил его Николай I — не только за военные поселе-

ния, но и за "отличное исполнение возложенных на него блаженной памяти императором особенных поручений". Но этот указ был издан не после коронации, а спустя месяц. В дни торжеств не забыли и Бошняка — пожаловали орден святой Анны 2-ой степени за труды, тоже связанные с "блаженной памятью".

Но на следующий год и сам Витт оказался под секретным надзором. На него донес херсонский вице-губернатор Рюль, заметивший "недовольные и резкие замечания" Витта о неопытности Николая I.[89] Однако графу удалось спасти свою карьеру, и он снова получил благодарность "за успешное постепенное достижение вверенных ему поселенных войск к предназначенной цели и устройство". В 1828 году ему была пожалована мыза Бранденбург-Гидборн в Курляндии, близ Митавы. В Ревеле он имел свой собственный дом. Этот город был морским курортом для петербургской знати, и летом сюда устремлялось все высшее общество.

В записной книжке П. А. Вяземского и в его письмах к жене за 1830 год есть заметки о присутствии на "концерте в зале Витта", посещении "салона Витта" и "купален Витта". У него Вяземский купил "два шкафа и старый фарфор".

В Ревеле, видимо, находилась и Каролина Собаньская, во всяком случае в Петербурге Вяземский с ней встречается: "Собаньская умна, но слишком величава. Спроси у Пушкина, — пишет он жене, — всегда ли она такова, или только со мною и для первого приема". Через день он снова встречает ее у Завальевского, чиновника особых поручений при Воронцове.

Но петербургское общество чопорнее одесского, и "Виттова любовница" не обрела симпатий столичного "бо-монда". Один Пушкин остается верен своим чувствам к ней:

Когда твои младые лета
Позорит шумная молва,
И ты по приговору света
На честь утратила права;
Один, среди толпы холодной,
Твои страданья я делю
И за тебя мольбой бесплодной
Кумир бесчувственный молю...
.....
...Не пей мутительной отравы;
Оставь блестящий, душный круг;
Оставь безумные забавы;
Тебе один остался друг.

Поэт не злопамятен: предлагая этой женщине дружбу, он уверен, что в ее душе есть источник добрых начал. "Я рожден, чтобы любить

[89] *С. С. Ланда.* Мицкевич накануне восстания декабристов. С. 178.

вас и следовать за вами", — говорит он в письме к ней от 21 января 1830 года. В этом письме упомянут непонятный географический пункт: "Когда-нибудь у меня будет клочок земли в ... Там смогу я совершать паломничества, бродить вокруг вашего дома, встречать вас, мельком вас видеть" (XIV, 445). Это слово расшифровывали по-разному: "в Крыму", "в Молдавии", "в Волыни", "в Одессе", но судя по тому, что это место должно быть невдалеке от Петербурга, следует читать "в Эстляндии".

Действиями Собаньской руководило не суетное чувство укрепления своих связей в высшем свете. 1830 год был кануном польского восстания. Польское патриотическое общество, хотя и понесло некоторый урон в 1826 году, но сохранило свои позиции и после деятельности Варшавского Следственного Комитета, учрежденного 7 февраля 1826 года.

В 1828 году возникли новые тайные общества, военные и гражданские, которые и стали инициаторами польского восстания 1830—1831 годов.

В записке Собаньской к Пушкину от 2 февраля 1830 года она упоминает о необходимости "визитов" и "деловых разъездов". В какой мере они вызваны ее патриотическими устремлениями, сказать трудно. Но вот наступил день 29 ноября 1830 года, когда группа конспираторов напала на резиденцию великого князя Константина Павловича, что послужило сигналом к восстанию. В рядах восставших оказалось и много завсегдатаев салона Собаньской — полковник Блендовский, разъезжавший с Виттом по военным поселениям, брат Густава Олизара — Нарцыз Олизар, Александр Собаньский и другие.

3-й Резервный кавалерийский корпус под командой генерал-лейтенанта Витта получил приказание идти к границам Польши. Но, видимо, Николай I не совсем доверял командиру. Он писал Дибичу: "Один только Витт, отдельный командир, пугает меня, чтобы не натворил глупости".[90] Вероятно, это был намек на связь генерала с Собаньской. Одно время Витту пришлось передать корпус генералу Толю, но вскоре он вновь вступил в командование и участвовал в разгроме польских войск, за что получил награды и был назначен Варшавским военным губернатором.

Собаньская, несомненно, тяжело переживала поражение поляков и роль в нем своего возлюбленного, но она быстро овладела собой и появилась в Варшаве. На это вскоре обратили внимание. Управляющий III отделением А. Н. Мордвинов докладывал шефу жандармов Бенкендорфу: "частные известия из Варшавы поистине отвратительны. Поляки и польки совсем завладели управлением. Образовалось что-то вроде женского общества под председательством г-жи Собаньской, продолжающей иметь большую силу над графом Виттом. Благодаря этому главные места предоставляются полякам, и именно тем, которые наибо-

[90] Русская Старина. 1885. Т. XLVI. С. 527.

лее участвовали в мятеже <...> Новости эти не с ветру, а верны вполне. Очень печально, а кто виноват? Один человек. Смените его кем-либо другим, кто смыслит в делах управления и умеет держать себя самостоятельно, и все пойдет гораздо лучше, и нам нечего будет так тревожиться насчет Польши".[91]

Правда, у Витта нашелся влиятельный защитник — сам наместник царства Польского князь Паскевич, который предложил царю сделать графа вице-председателем временного правительства Польши. Но на это последовал категорический отказ Николая I: "Назначить Витта председателем никак не могу, ибо, женившись на Собаньской, он поставил себя в самое невыгодное положение, и я долго оставить его в Варшаве никак не могу. Она самая большая и ловкая интриганка и полька, которая под личиной любезности и ловкости всякого уловит в свои сети, а Витта будет за нос водить в смысле видов своей родни".[92]

Под влиянием Собаньской оказался и Паскевич, которого Витт уверял, что Каролина — его агентурный сотрудник, доставляющий ему "наблюдения и известия". Но это не помогло. Николай I получил от русского посланника в Дрездене донесение, какие "известия и наблюдения" интересовали Собаньскую, после чего навсегда покончил с ее претензиями играть политическую роль. Паскевичу царь писал: "Долго ли граф Витт даст себя дурачить этой бабой, которая ищет одних своих польских выгод под личной преданностью, и столь же верна г. Витту как любовница, как России, быв ей подданная? Весьма хорошо бы было открыть глаза графу Витту на ее счет, а ей велеть возвратиться в свое поместье на Подолию".[93]

Собаньская попыталась спасти положение и обратилась с письмом к Бенкендорфу, в котором продемонстрировала блестящий образец демагогии: "Никогда женщине не приходилось проявить больше преданности, больше рвения, больше деятельности в служении своему монарху, чем проявленные мною часто с риском погубить себя, ибо вы не можете не знать, генерал, что письмо, которое я писала вам из Одессы, было перехвачено повстанцами Подолии и вселило в сердца всех, ознакомившихся с ним, ненависть и месть против меня. Взгляды, всегда исповедывавшиеся моей семьей, опасность, которой подвергалась моя мать во время восстания в Киевской губернии, поведение моих братьев, узы, соединяющие меня в течение 13 лет с человеком, самые дорогие интересы которого сосредоточены вокруг интересов его государя, глубокое презрение, испытываемое мною к стране, к которой я имею несчастье принадлежать, всё, наконец, я смела думать, должно было меня поставить выше подозрений, жертвой которых я теперь оказалась".[94]

[91] Русский Архив. 1886. Кн. 3. С. 410—411.

[92] Рукою Пушкина. С. 188—189.

[93] Русский Архив. 1897. Кн. 1. С. 8.

[94] Рукою Пушкина. С. 193—194.

Это письмо неизменно производило большое впечатление на всех исследователей, но Николая Павловича Романова, который сам был незаурядным демагогом, оно не растрогало. И он был по-своему прав.

Вернувшийся в Россию с помощью Собаньской польский эмигрант М. Будзыньский вспоминал о ней: "Грешила слабой женской натурой, но чувства польки никогда в ней не угасали. После взятия Варшавы, когда генерал Витт был назначен губернатором столицы, она спасла много несчастных польских офицеров от Сибири и рудников... навещала госпитали, где раненые польские офицеры ожидали своей участи, и многим, если не помогла освободиться, то усладила неволю и помогла в беде".[95]

"Государственный преступник" Нарцыз Олизар, попавший после подавления польского восстания в тюрьму Житомира и бежавший оттуда в 1833 году, видимо, с помощью Собаньской, вспоминал посещение ею тюрьмы:

"Выражение ее прекрасного лица было таким убежденным, ее слова были проникнуты такой добротой... желание помочь делало ее столь красноречивой, что я дал себя уговорить или вернее очаровать. До тех пор, пока я видел ее и слышал ее чарующий голос, я был весь наполнен счастьем ее близости...".[96]

Т. Бобровский и А. Ивановский в своих воспоминаниях не менее тепло отзываются о Каролине Собаньской: "... через Витта она добилась прощения и свободного возвращения многих особ, что вызвало к ней всеобщую любовь... Она была милой и доброй, и о ней можно было сказать: все ей простится, ибо она многих любила".[97]

Собаньская никогда не изменяла своему патриотическому долгу, ради которого ей приходилось подчас лицемерить и лгать. Не изменяла она и своему чувству к Витту, надеясь побудить его принять участие в освобождении Польши. Трудно судить любящую женщину за то, что она слишком поздно поняла истинную суть этого человека, хоть повстанцы Польши заклеймили его провокаторскую деятельность в статье, напечатанной в газете «Новая Польша» в 1831 году: "Витт был первым предателем и как бы капланом жертв, преданных на виселицу и муки в начале кровавого правления Николая I. Преступное управление военными поселениями, в которые были вложены миллионы рублей Россией, пошатнуло кредит Витта у Александра: он спас себя, предав несколько десятков полковников, донеся императору о подробностях открытого им Южного общества".[98]

Витт бросил Собаньскую, когда ему стала угрожать опасность попасть из-за нее в немилость к Николаю I. Но, принеся ее в жертву, он

---

[95] *С.С.Ланда.* Мицкевич накануне восстания декабристов. С. 141.

[96] Там же.

[97] Там же.

[98] Nowa Polska. Warszawa. 1831. № 56.

так и не продвинулся дальше поста начальника южных военных поселений до самой смерти.

Возможно, что разрыву их способствовала и сама Собаньская, которая только после провала восстания поняла, как ненадежен был близкий ей человек для благой цели освобождения ее отчизны.

Собаньская надолго пережила его, еще два раза выходила замуж и окончила свою жизнь в Париже в 1885 году.

В драме Мицкевича «Барские конфедераты» мы найдем отражение жизненной драмы Каролины Собаньской. Героиня пьесы названа ее именем. В словах Адольфа (имя, взятое Мицкевичем не без намека на роман Бенжамена Констана) выразилось участие поэта к ее житейским неудачам: "Я чувствую все то зло, которое тебе причинили и сострадаю. У тебя доброе и чувствительное сердце".[99]

Собаньская не откликнулась на чувства Пушкина и Мицкевича, но они не осудили ее. И польская, и русская литература обогатилась лирическими шедеврами, на которые она вдохновила двух великих поэтов.

[99] *A. Mickiewicz.* Dzieła. T. III. S. 408.

СОБАНЬСКАЯ Каролина Адамовна (1794—1885), дочь киевского губернского предводителя дворянства, знаменитая красавица, связавшая свою судьбу с И. О. Виттом, начальником военных поселений в Новороссии (ведавшим делами тайного сыска и вовлекшим в эту деятельность свою любовницу). Пушкин познакомился с нею в Киеве 2 февраля 1821 г. (в день св. Валентина, покровителя всех влюбленных). О впечатлении, произведенном на него этим знакомством, Пушкин вспоминает в своем позднейшем письме к Собаньской: "Сегодня 9-я годовщина дня, когда я увидел вас в первый раз. Этот день был решающим в моей жизни. Чем более я об этом думаю, тем более убеждаюсь, что мое существование неразрывно связано с вашим; я рожден, чтобы любить вас и следовать за вами" (XIV, 445). Настоящее же их знакомство, переросшее в постоянное общение, состоялось в Одессе, где в начале 1820-х гг. жила эта "блистательная красавица польского общества русского юга" (см.: Рукою П. С. 185). Пушкин встречался с Собаньской в кругу одесского света, хотя пренебрегавшая светскими условностями "виттова любовница" (так называли ее в Одессе) была принята далеко не во всех аристократических домах. Сохранились сведения об участии Пушкина и Собаньской в прогулке по морю (см. Летопись. С. 354). Могли они встречаться в театре и других публичных местах Одессы. Конец лета — начало осени 1823 г. — время постоянного общения поэта с демонической красавицей, в которую он успел влюбиться. "В рукописях Пушкина 1821—1823 годов, — замечает Л. Краваль, — встречается множество портретов одной и той же красивой брюнетки, зрелого возраста, с печатью демонизма на лице, с резкими сильными чертами греческого очерка, с миндалевидными глазами, с огненным взглядом < ..> Конечно, это Собаньская, и только она" (*Краваль Л.* "Милый Демон". Портреты Каролины Собаньской в рисунках Пушкина // Волга. 1991. № 6. С. 174—175). Но уже в октябре 1823 г. в откровенном письме к А. Н. Раевскому (своему сопернику в этом увлечении) поэт писал, что его "страсть" к Каролине "очень уменьшилась", так как он "влюбился в другую", т.е. в Амалию Ризнич (XIII, 70, 526). После разрыва с последней и ее отъезда на лечение за границу в начале мая 1824 г. Пушкин, по-видимому, снова обратился к Собаньской, но развитие и углубление чувства к Е. К. Воронцовой погасило начавшийся было флирт с эксцентричной красавицей. Однако одесские встречи с Собаньской стали основой бурного "рецидива" старого увлечения, вспыхнувшего с новой силой в конце 1820-х гг., когда судьба снова свела Пушкина и Собаньскую в Петербурге. "В 1828 году, — считает А. Ахматова, — около Пушкина был Ангел <...> в виде Олениной и вамп в виде двух дам: Закревской и Собаньской". По ее мнению, особые черты внешности и манеры вести себя отразились

в Восьмой главе «Евгения Онегина» в описании блистательных дам большого света (См.: *Ахматова А.* О Пушкине. Л., 1987. С. 184—185). Обращаясь к жене, Вяземский писал 7 апреля 1830 г.: "Собаньская умна, но слишком величава. Спроси у Пушкина, всегда ли она такова или только со мною?" (Лит. наследство. Т. 16-18. Л., 1934. С. 804). К 1830 г. относится переписка Пушкина с Собаньской, учтиво-светская с ее стороны, и пылкая — со стороны поэта (см.: XIV, 269, 445). В двух письмах поэта несомненно ощущается влияние романа Б. Констана «Адольф», но с другой стороны, сквозные темы этого любовного послания ("Вам обязан я тем, что есть самого судорожного и мучительного в любовном опьянении, так же, как и все, что в нем есть самого ошеломляющего") и, в особенности, размышления об увядании молодости и красоты ("Но вы увянете; эта красота когда-нибудь покатится вниз как лавина") дадут яркие краски для создания образа Лауры в «Каменном госте», написанном болдинской осенью 1830 года. С Собаньской связаны и поздние лирические стихи Пушкина. Так, стихотворение 1829 г. «Когда твои младые лета...» (по мнению Цявловской, полностью разделяемом и нами) относится не к Керн или Закревской, а к открыто презиравшей светский этикет Собаньской (см.: Рукою П. С. 207). В конце декабря 1829 г. Пушкин пишет стихотворение «Что в имени тебе моем. », прямо обращенное к ней и записанное в ее альбоме 5 января 1830 г. Созданное в преддверье важных перемен в жизни поэта, накануне женитьбы на Наталье Николаевне Гончаровой, оно кажется еще одним лирическим прощаньем с прекрасными чувствами, живущими в сердечной памяти поэта: "Есть в мире сердце, где живу я..." (III, 210).

Примечания

ОТ РЕДАКЦИИ

Публикуемые в настоящем сборнике статьи в подавляющем большинстве печатаются полностью, преимущественно по первой публикации. В таком виде они вошли в историю пушкиноведения и вызвали полемику, поэтому составители стремились избежать произвольного вмешательства в текст. Исключение составляют лишь две работы большого объема: статья П. Е. Щеголева «Утаенная любовь Пушкина» и фрагмент книги П. К. Губера «Донжуанский список Пушкина» (сокращения авторского текста отмечены в них многоточием в ломаных скобках). Сохраняются в основном особенности авторского текста и принципы подачи научного аппарата, в том числе авторские написания фамилий, дат, географических названий и т.п. Принятые авторами сокращения раскрываются в общем для всего издания списке сокращений, а также в комментариях к отдельным статьям. Исправлены в публикуемых статьях тексты Пушкина, которые везде приводятся по изд.: *Пушкин.* Полн. собр. соч. Тт. I—XVII. [М.; Л.], 1937—1959, с сохранением принятых в этом издании условных обозначений для черновых текстов (угловые и квадратные скобки, <нрзб> — неразборчиво и т. п.). При цитатах указываются том (римской цифрой) и страница (арабской цифрой). Тексты печатаются по современной орфографии. Постраничные цифровые обозначения авторских сносок заменены сплошной нумерацией. В статье Т. Г. Цявловской «Храни меня, мой талисман» авторские примечания перенесены под строку. Комментарии составителей отнесены в конец тома и отмечены в тексте цифрами в квадратных скобках.

Статьи М. О. Гершензона, Л. П. Гроссмана, Т. Г. Цявловской, Г. П. Макогоненко и М. И. Яшина подготовлены к печати и прокомментированы Р. В. Иезуитовой. Статьи П. Е. Щеголева, П. К. Губера, Ю. Н. Тынянова, Б. В. Томашевского подготовлены к печти и прокомментированы Я. Л. Левкович.

Биографические справки о М. А. Голицыной, С. С. Киселевой, Е. К. Воронцовой и К. А. Собаньской написаны Р. В. Иезуитовой. Биографические справки о М. Н. Раевской (Волконской), Н. В. Кочубей (Строгановой), Ек. А. Карамзиной, Ек. Н. Раевской (Орловой) написаны Я. Л. Левкович.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Акад. в 10 т. — *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. / Под ред. Б. В. Томашевского. Л. 1977—1978.

Вигель — *Вигель Ф. Ф.* Воспоминания. М., 1864—1865. Ч. 1—7.

Звенья — Звенья: Сб. материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV—XX вв. / Под ред. Влад. Бонч-Бруевича. М.; Л., 1932—1951.

Голицын Н. — *Голицын Н. Н.* Род князей Голицыных. СПб., 1892. Т. 1.

Летопись — *Цявловский М. А.* Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Изд. 2-ое. Л., 1991.

ОА — Остафьевский архив князей Вяземских: В 5 т. / Под ред. и с примеч. В. И. Саитова. СПб., 1899—1913.

П. в восп. — А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. / Вступ. ст. В. Э. Вацуро. Подг. текста В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсона, Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович. М., 1974.

П. в письмах Карамзиных — Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. Л.; М., 1960.

ПД — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

ПиМ — Пушкин: Исследования и материалы М.; Л., 1966—1995. Т. I—XV.

ПиС — Пушкин и его современники: Материалы и исследования. СПб., 1903—1930. Вып. I — XXXIX.

РГАЛИ — Российский гос. архив литературы и искусства (Москва).

Рукою П. — Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты / Подг. к печати и коммент. М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский, Т. Г. Зенгер. М.; Л., 1935.

Черейский — *Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. Л., 1989.

М. О. ГЕРШЕНЗОН

Северная любовь Пушкина

Печатается по: Вестник Европы, 1908. Январь. С. 275 — 302. Перепечатана без изменений: *Гершензон М. О.* Образы прошлого. М., 1912. С. 3—32. С изменениями, вызванными полемикой с П. Е. Щеголевым (см. ниже): *Гершензон М. О.* Мудрость Пушкина. М., 1919. С. 155—185.

Предположение М. О. Гершензона, что "северной любовью" Пушкина была М. А. Голицына, встретило возражения П. Е. Щеголева в его статье «Утаенная любовь Пушкина (Из разысканий в области биографии и текста Пушкина)». Найдя аргументы Щеголева достаточно убедительными, Гершензон при последующей перепечатке в книге «Мудрость Пушкина» снял из статьи весь "голицынский эпизод", однако

после появления в печати статьи Щеголева счел нужным возразить своему оппоненту в особой заметке «В ответ Щеголеву» (см. ПиС. СПб., 1911. Вып. XIV. С. 194—198), где подчеркнул, что Щеголев не дал ответа на вопрос, кто же был предметом "северной любви" Пушкина. См. об этой полемике краткие замечания В. М. Есипова ("Имя звезды" // Вопросы литературы. 1993. № 3. С. 122). К своей статье (начиная с первой журнальной ее публикации) Гершензон приложил письма Н. Н. Раевского (старшего) к Е. Н. Раевской (в замужестве Орловой) — ценный источник сведений о поездке Пушкина с Раевскими на Кавказ и в Крым в 1820 г.

1. "Итинерарий" пушкинской поездки по Кавказу и Крыму в статье Гершензона нуждается в серьезной корректировке (особенно в датах пребывания Пушкина в различных городах и поселках). Автор статьи (появившейся в 1908 г.) еще не располагал многими документальными сведениями, обнаруженными позднее. Уточненный "итинерарий" см.: Летопись. С. 213—230.

2. Письмо Н. В. Нессельроде, сочиненное министром иностранных дел графом Каподистрия и подписанное Александром I, датировано 5 мая.

3. Пушкин выехал из Петербурга, по-видимому, 6 мая (См. Летопись. С. 209).

4. Письмо Пушкина к Л. С. Пушкину от 24 сентября 1820 г. см.: XIII, 17—20.

5. См.: Новое время. № 8285.

6. 14 или 15 мая 1820 г., проездом в Екатеринослав, Пушкин в Киеве останавливался у Раевских (см.: Летопись. С. 211). Из Екатеринослава на кавказские минеральные воды Пушкин выехал вместе с Раевскими 28 мая 1820 г.

6а. Письма Н. Н. Раевского к дочери, о которых пишет Гершензон, нами опущены. См. их текст: Архив Раевских. Т. I. СПб, 1908. С. 516—525.

7. Отец и сын Раевские посетили Пушкина в Екатеринославе в день рождения поэта 26 мая 1820 г.

8. Ошибка Гершензона: отъезд, как указывалось выше, состоялся 28 мая.

9. В Таганрог Пушкин с Раевским приехали 30 мая. Далее весь график поездки Гершензон дает неверно. На самом деле 31 мая путешественники выехали их Таганрога и прибыли в Ростов; на ночлег остановились в станице Аксай; 2 июня приехали в Старочеркасск, 4 июня — в Ставрополь, 5 июня — в Георгиевск, 6 июня в Пятигорск (Горячеводск), где прожили несколько недель; в начале июля (3 июля) переехали в Железноводск, 26 июля — в Кисловодск. Эти переезды дали повод к шутливому замечанию Пушкина в письме к Л. С. Пушкину от 24 сентября 1820 г.: "2 месяца жил я на Кавказе <...>; купался в теплых кисло-серных, в железных и в кислых холодных водах" (XIII, 17). 31

июля путешественники приехали в Константиногорск, 5 августа отправились из Пятигорска (Горячеводска) в Крым: 13—14 августа провели в Тамани, 15 августа перебрались из Тамани в Керчь, 16 августа — из Керчи в Феодосию, 18 августа на военном бриге переплыли из Феодосии в Гурзуф (см.: Летопись. С. 222—223).

10. *Гераков Г.* Путевые записки по многим российским губерниям. 1820. СПб., 1828. С. 99—100.

11. Помета под текстом элегии «Погасло дневное светило...» в «Сыне Отечества» (1820, № 6. С. 272) имеет в виду не время создания стихотворения, а окончание работы над ним.

12. 5—8 сентября Пушкин вместе с Раевскими путешествовал по Крыму, завершив поездку посещением Бахчисарая, откуда они отбыли в Симферополь. 12 или 14 сентября Пушкин отправляется в Одессу, куда приезжает около 17 сентября 1820 г. В Одессе Пушкин пробыл до 20 сентября, затем отправился в Кишинев. Таким образом, предположение Гершензона, что Пушкин выехал в Кишинев из Гурзуфа "раньше 20-го" сентября, ошибочно (см.: Летопись. С. 227—231).

13. Цитата из послания «Орлову» (1819) (II, 85—86).

14. Цитата из стихотворения «Деревня» (1819) (II, 89).

15. Цитата из послания «Чедаеву» (1821) (II, 188).

16. См.: там же. С. 189.

17. Цитата из элегии «Погасло дневное светило...» (1820) (II, 147).

18. Согласно помете под беловым автографом Эпилога к «Руслану и Людмиле», он был написан 26 июля 1820 г. не в Пятигорске (Горячих водах), а в Кисловодске.

Гершензон цитирует текст Эпилога по печатному изданию поэмы (IV, 86—87).

19. Цитата из послания «Чедаеву» (1824) (II, 364).

20. Цитата из стихотворения «Мне вас не жаль...» (1820) (II, 143).

21. Черновая редакция «Отрывка из письма к Д.» в Рабочей тетради Пушкина (ПД. № 835. Л. 42 об. — VIII, 998—999), видимо, цитируется Гершензоном по автографу, на что указывает помета "холодность моя посреди прелестей природы", опубликованная лишь в Большом академическом собрании сочинений Пушкина (VIII, 999, прим. 25-а).

22. Цитата из Эпилога к «Руслану и Людмиле» (IV, 87).

23. Строки из черновой редакции стихотворения «Кто видел край, где роскошью природы...» (1821) (II, 671), которое было опубликовано Жуковским под заглавием «Желание» в посмертном собрании сочинений Пушкина (т. IX. СПб., 1841. С. 125—127).

24. II, 166.

25. VI, 25.

26. II, 146.

27. Цитата из стихотворения «Погасло дневное светило...» (1820) (II, 146).

28. В тексте отрывка из «Кавказского пленника» допущена неточ-

ность: "при тебе" вместо "близ тебя" (IV, 91).

29. IV, 170.

30. Возможно, Гершензон имел в виду работу: *Лобода А.* Пушкин и Раевские // Пушкин. Соч. / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1908. Т. II. С. 107—108.

31. Стихотворение «Увы, зачем она блистает...» биографы Пушкина обычно относят к Елене Раевской, однако есть и другая точка зрения, согласно которой стихи имеют в виду Екатерину Раевскую, болевшую во время крымского путешествия Пушкина с семейством Раевских (см.: Летопись. С. 231).

32. См.: II, 157. Разъяснение "(звезду)" в пушкинский текст включено Гершензоном.

33. Цитата из письма Пушкина к А. Бестужеву (XIII, 88).

34. Речь идет о журнале «Литературные листки» (1824. № 4. С. 135), в котором по просьбе Пушкина были заново напечатаны «Нереида» и «Простишь ли мне ревнивые мечты», а в статье «Литературные новости» Ф. Булгарина была приведена цитата из письма Пушкина о «Бахчисарайском фонтане» (см. выше) "к одному из его приятелей" (Там же. С. 145—150).

35. Цитата из письма к А. Бестужеву от 29 июня 1824 г. (XIII, 100—101).

36. IV, 400.

37. IV, 169.

38. Цитата из письма Пушкина к П. А. Вяземскому от 13 сентября 1825 г. (XIII, 226).

39. II, 208.

40. II, 209.

41. II, 303.

42. Не соглашаясь с этим утверждением Гершензона, П. Е. Щеголев писал: "Впервые в текст сочинений Пушкина с именем Голицыной были внесены I и II покойным Ефремовым в 1880 году (3-е издание Я. А. Исакова)" (Щеголев. Указ. соч. С. 34).

43. Имеются в виду следующие издания: Пушкин. Соч. / Под ред. П. А. Ефремова. СПб, 1903. Т. I. С. 419—420; Соч. и письма Пушкина / Под ред. П. О. Морозова. СПб., 1903. Т. I. С. 613—614.

44. В августе 1821 г. М. А. Голицыной в Кишиневе не было. Она могла встретиться с Пушкиным не ранее начала июля 1823 г. и не позже конца июля 1824 г. в Одессе. Адресованный ей мадригал (по нумерации Гершензона — III) имеет авторскую помету "1823 года. Одесса".

45. О стихотворении «Желание» ("Кто видел край...") см. прим. 23.

46. Стихотворение «Давно об ней воспоминанье...» Пушкин, конечно же, передал Голицыной лично. Версия о посредничестве В. А. Башмаковой возникла из-за ошибки в определении адресата стихотворений «Умолкну скоро я...» и «Мой друг, забыты мной...», написанных в конце августа 1821 г.

47. IV, 92.
48. IV, 95.
49. II, 168.
50. IV, 106.
51. II, 693.
52. IV, 105, 95, 105.
53. IV, 106.
54. IV, 170.
55. II, 208.
56. Цитата из письма Пушкина к Л. С. Пушкину от 25 августа 1823 г. (XIII, 67).
57. II, 343.
58. VI, 29.

П. Е. ЩЕГОЛЕВ

УТАЕННАЯ ЛЮБОВЬ

Печатается с сокращениями по: *Щеголев П. Е.* Из жизни и творчества Пушкина. Изд. 3-е, испр. и доп. М.; Л., 1931. С. 150—254.

Впервые: ПиС. СПб., 1911. Вып. XIV. С. 53—193, под названием «Из разысканий в области биографии и текста Пушкина». Перепечатана: *Щеголев П. Е.* Очерки. Из разысканий в области биографии и текста Пушкина. М., 1912. С. 35—195.

С именем Щеголева связаны поиски новой методологии в изучении биографии Пушкина. Его метод сводился к критическому пересмотру всех источников, касающихся Пушкина, и к широкому привлечению черновых рукописей поэта, соответствующих теме исследования. Изучение черновиков Пушкина особенно ценно для биографа, потому что из беловых текстов Пушкин часто исключал прямые биографические намеки. Так, строка "Сибири хладная пустыня" в черновике «Посвящения» «Полтавы» привела Щеголева к убеждению, что поэма посвящена М. Н. Раевской (Волконской). Это «Посвящение» (из черновой рукописи которого взят самый термин "утаенная любовь") явилась для Щеголева последним звеном в цепи доказательств, что именно Мария Раевская была предметом большого, утаенного от всех, глубокого чувства поэта, пронесенного им почти через всю жизнь. Гипотеза Щеголева о Раевской как адресате «Посвящения» была с большей или меньшей убежденностью принята исследователями (подробно об этом см.: *Измайлов Н.В.* Пушкин в работе над «Полтавой» // *Измайлов Н.В.* Очерки творчества Пушкина. Л., 1975. С. 95—109). Но, как видно из настоящего сборника, в качестве героини "утаенной любви" предлагались и другие женщины. Заметим, что, приводя черновики Пушкина, Щеголев пользуется устаревшим методом транскрибции.

Приводим перечень источников, обозначенных Щеголевым в подстрочных примечаниях сокращенно.

Акад. I, II и Академия наук—Пушкин — *Пушкин.* Соч. / Подготовил и примеч. снабдил Л. Майков. Т. 1, 2, 3, 9, 11. СПб.: Изд. имп. АН. 1900—1914.

Анненков. Материалы — *Анненков П.В.* Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПб., 1855.

Лернер — *Лернер Н.О.* Труды и дни Пушкина. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1910.

Майков. Материалы — *Майков Л.* Пушкин: Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1899.

Переписка — *Пушкин.* Соч. 2-е изд. Переписка / Под ред. и с примеч. В. И. Саитова. Т. 1—3. СПб: Изд. АН, 1906—1911.

Письма — *Пушкин.* Письма. М.; Л., 1926. Т. 1.

Пушкин—Анненков — *Пушкин.* Полн. собр. соч. / Под ред. П. В. Анненкова. СПб. 1855—1857. Т. 1—7.

Пушкин—Венгеров — *А. С. Пушкин.* Соч. / Под ред. С. А. Венгерова. СПб.—Пг.: Изд. Брокгауза-Ефрона, 1907—1915 (1907. Т. 1; 1908. Т. 2; 1909. Т. 3; 1910. Т. 4; 1911. Т. 5; 1915. Т. 7.).

Пушкин—Ефремов—Суворин — *Пушкин А.С.* Соч. / Под ред. П. А. Ефремова. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1903—1905. Т. I—VIII. (Т. I—VII, 1903; Т. VIII, 1905).

Пушкин—Морозов—Просвещение — *Пушкин А.С.* Соч. и письма / Под ред. П. О. Морозова. СПб.: Просвещение, 1903—1906. Т. I—VIII (1903, Т. I—III; 1904, Т. IV—VI; 1905, Т. VII; 1906, Т. VIII).

Пушкин—Поливанов — *Пушкин А. С.* Соч. / С объяснениями их и сводом отзывов критики. М.; Изд. Льва Поливанова... 1887.

Якушкин. Описание — *Якушкин В.Е.* Рукописи А. С. Пушкина, хранящиеся в Румянцевском музее в Москве. // Рус. старина. 1884. № 2—12.

1. Перевод: "По сути дела, хотя вы находитесь в Митто, вы все еще среди нас, так как поляки и французы всегда были компатриоты" (*франц.*). Дальше приводятся два отрывка из писем Шатобриана к М. А. Голицыной.

2. Перевод: "От этого факта" (*лат.*).

3. Теперь все рабочие тетради Пушкина находятся в Пушкинском Доме. Современный шифр тетради № 2365: ПД 831. Здесь и ниже Щеголев приводит указания на листы тетради по так называемой "жандармской нумерации". Листы просматривались и нумеровались жандармами во время "посмертного обыска" рукописей Пушкина. В настоящее время при ссылках на рукописи Пушкина принята архивная нумерация.

4. Современний шифр: ПД 833.

5. О тетради, принадлежавшей П. И. Капнисту, Щеголев подробно пишет в опущенном нами тексте. Это тетрадь со стихами, пересланная

поэтом из Михайловского Л. С. Пушкину для издания. Состав ее был известен Щеголеву по неполному и неточному описанию Л. Н. Майкова, в руках которого она находилась (см.: Известия Отд. рус. яз. и словесности Академии наук. 1896. Т. I. Кн. 3. С. 574—581). Предположительный состав тетради установлен Б. В. Томашевским (см.: *Томашевский Б.В.* Капнистовская тетрадь // Лит. наследство. Т. 16—18. М., 1934. С. 843—868).

6. Современный шифр: ПД 834.

7. Далее Щеголев отводит М. Н. Голицыну как адресата стихотворений I и II и излагает историю первого сборника стихотворений Пушкина, вышедшего в 1826 г.

8. Ниже нами опущена часть статьи, где речь идет о влиянии французской эротической поэзии на Пушкина и сопоставляются стихотворение «К ней» (1817) со стихами 6-й элегии 4-й книги Э. Парни и со стихами Э. Лебрена.

9. 27 марта 1825 г. Пушкин писал брату: "Тиснуть еще стихи к Голиц.-Суворовой, возьми их от нее" (XIII, 158).

10. Не разобранное Щеголевым слово было разобрано Н. В. Измайловым и читается как "При<ютино>" — имение Олениных (см. III, 838). Стихотворение «Ты и вы» связано с А. А. Олениной. Современный шифр тетради: ПД 838.

11. Имеется в виду княгиня Анна Сергеевна Голицына, имение которой находилось в 30 верстах от Болдина.

12. По новейшим данным, Пушкин начал работать над «Бахчисарайским фонтаном» в марте — начале июня 1821 г. (см.: *Фомичев С.А.* Рабочая тетрадь Пушкина ПД 832 (Из текстологических наблюдений // / Пушкин: Исследования и материалы. Т. 12. М.; Л., 1986. С. 235).

13. Перевод "К нежным стихам я приноровлял звуки Ее милых и бесхитростных уст" (*франц.*).

14. Письмо к Бестужеву процитировано неверно. Следует читать: "Я обыкновенно в [это время] таком случае пишу элегии, как другой мажет ... свою кровать. Но приятельское ли дело..." (XIII, 100) и т.д., по тексту Щеголева.

15. Перевод: "Фонтан слез" (*франц.*). Б. В. Томашевский отметил, что в черновиках «Отрывка из письма к Д.» рассказчик легенды не женщина, а мужчина, и фраза читается: "К* поэтически описал мне его, называя le fontaine des larmes". В таинственном К* искали "разгадку" "утаенной любви", но, пишет Томашевский, "мы даже не знаем, — он или она скрывались под буквой К". (*Томашевский Б.В.* Пушкин. М.; Л., Т. I. 1956. С. 501). «Отрывок из письма к Д.» призван сделать биографическую легенду убедительной, документировать ее признаниями самого поэта. Но это не значит, что в то время, когда писалась элегия «Редеет облаков летучая гряда...», и тогда, когда поэт работал над поэмой, он не был увлечен "девой юной". Мы знаем только, что стихи Пушкина не дают ни разгадки, ни даже намека на ее имя. Скорее всего

в контексте элегии и поэмы речь идет о разных женщинах. В одном случае это "дева юная", которая называла "именем своим" "вечернюю звезду", а в другом — "красота еще земная", т.е. женщина или тяжело больная или уже умершая.

16. Перевод: "Милые и бесхитростные уста" (*франц.*).

17. Работать в этой тетради (современный шифр: ПД 834) Пушкин начал значительно позже, а 27 мая 1822 — день, когда к нему зашли П. И. Пущин (именно его фамилия Pouschin, а не Pouschkin, как читает Щеголев, записана на крышке тетради) и Н. С. Алексеев поздравить с бывшим накануне днем его рождения. Алексеев — казначей закрытой масонской ложи «Овидий» — принес Пушкину три тетради, которые стали его рабочими тетрадями и в пушкиноведении называются "масонскими тетрадями Пушкина".

18. В настоящее время этот план прочитан полностью так:

Гарем
Мария
Гирей и Зарема
Монах — Зарема и Мария
Ревность. Смерть М.<арии> и Зар.<емы>
Бахчисарай<ский> Ф.<онтан>

(IV, 402)

19. Современный шифр: ПД 832.

20. Современный шифр: ПД 835.

21. Перевод: "В большей или меньшей степени я был влюблен во всех хорошеньких женщин, которых знал, все они изрядно насмехались надо мной и, за исключением одной, со мной кокетничали" (*франц.*).

22. Статью Щеголева в изд. «Пушкин и его современники» М. О. Гершензон прочитал в чистых листах и в том же XIV томе издания поместил свой ответ Щеголеву. Он считает, что строка "Сибири хладная пустыня" относится не к М. Н. Волконской, а к другой женщине, без которой мир для поэта — пустыня, сибирская пустыня. Отрицая любовь Пушкина к Волконской, он считает себя вправе снова "поставить на очередь вопрос о северной любви Пушкина — об его любви к княгине М. А. Голицыной" (с. 198). Щеголеву редакция также показала замечания Гершензона, и в том же XIV томе (с. 243—254) он дополнил свою статью возражениями Гершензону. В качестве главного "наглядного" возражения он привел черновой текст «Посвящения» к «Полтаве» и его транскрипцию. Заканчивая эту дополнительную часть своего исследования, он пишет: "Мои 'разыскания' вызвали многочисленные отзывы и рецензии, послужили материалом для семинарских занятий студентов-филологов, вызвали ряд докладов в ученых обществах и дали повод к исследовательским работам. Биографический вывод моей работы можно считать принятым в пушкиноведческий обиход, но мне лично представляется более важной методологическая сторона

разысканий. Методы изучения должны сохранить свое значение в пушкиноведении, но понятно они не покрывают методологии пушкинизма.

Виновник моих разысканий М. О. Гершензон, в первые моменты после их появления, отстаивал с упорством, достойным лучшей участи, свои выводы, но в конце концов должен был согласиться со мной во всем, что я утверждал о Голицыной, и, перепечатывая в 1920 году свою статью «Мудрость Пушкина», опустил без всяких оговорок всю часть своей статьи — о Голицыной. Фактические наблюдения и соображения в пользу подтверждения и в развитие биографических положений, выставленных мною, даны в работах М. А. Цявловского («Два автографа Пушкина». М., 1914), П. О. Морозова (в примечаниях к академическому изданию сочинений Пушкина, т. IV, Пб., 1916), Б. М. Соколова («Кн. Мария Волконская и Пушкин». М., 1922), Вацлава Ледницкого (Lednicki «Alexander Puszkin». Studja. Kraków, 1926)". Позднее гипотезу Щеголева приняла Т. Г. Цявловская, которая, как и Щеголев, полагала, что М. Н. Волконская "была адресатом «Посвящения» к «Полтаве» и стихотворения «На холмах Грузии...»" (*Цявловская Т.Г.* Мария Волконская и Пушкин. (Новые материалы) // Прометей. М., 1966. Т. I. С. 54—71).

ГУБЕР П. К.

Донжуанский список Пушкина.

Печатается в отрывке по: *Губер П.К.* Донжуанский список Пушкина. Пб., 1923. С. 261—287.

Первой работой, посвященной спискам в альбоме Ел. Ушаковой, явилась статья Н. О. Лернера «Донжуанский список Пушкина» в кн.: *Пушкин.* Соч. / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1910. Т. IV. Книга Губера была второй, наиболее обширной, работой на эту тему. В двух первых разделах ее предложена расшифровка списков Пушкина. Последние два раздела, которые печатаются здесь, посвящены "утаенной любви" поэта, которую Губер, полемизируя со Щеголевым, относит к Наталье Викторовне Кочубей. Предложенная им расшифровка большинства имен списка была принята и дополнена в последующих его изданиях. Однако методологическая беспомощность Губера в обращении со стихотворными текстами и биографическими фактами и произвольные, ничем не подкрепленные интуитивные догадки сразу вызвали резкую критику. "Комбинируя предположения о заведомо известном с фактами неусвоенными и непонятными, — писал Б. В. Томашевский, — толкуя вкривь и вкось литературные произведения, выуживая в них отсутствующие на деле биографические намеки, мы можем наворо-

тить целую кучу подобных открытий" (Рус. Современник, 1924. Кн. 1. С. 323; ср. рецензию В. Я. Брюсова // Печать и революция, 1924. Кн. 1. С. 260). Не приняты были ни полемика Губера со статьей Щеголева «Утаенная любовь», ни предположение Губера о Н. В. Кочубей как адресатки «Посвящения» к «Полтаве». Исследователь «Полтавы» счел необходимым опровергнуть аргументацию Губера. В примечании к статье Н. В. Измайлова «Пушкин в работе над "Полтавой"» читаем: "Рядом мелких, разрозненных данных автор доказывает, что глубокое чувство к Н. В. Кочубей, возникшее у Пушкина около 1819 г. (что имеет основания), сохранялось долгие годы и отразилось в ряде произведений, включая «Полтаву» с ее «Посвящением». Последнее, однако, доказывается произвольными натяжками, ничем не подкрепленными. Так, по мнению Губера, Н. В. Кочубей могла посещать Крым и Бахчисарай до 1819 г. ("в факте такого рода нет ничего невероятного" — с. 268); «Полтава» написана для нее же, потому что "было так естественно рассказ о Марии Кочубей посвятить Наталии Кочубей" (с. 272); "влюбленный в Марию молодой казак <...> есть не что иное, как силуэт самого Пушкина" (с. 273) и проч. Что касается посвящения «Полтавы», то так как мы "не знаем <...> где была <Н. В. Кочубей> осенью 1828 г.", то "лишь с крайней осторожностью можно высказать предположение, что она находилась в это время в одном из старинных строгановских поместий на Урале у сибирской границы", чем и можно объяснить "упоминание о Сибири в зачеркнутом варианте..." (с. 276). Это предположение, обличающее полное непонимание Губером смысла посвящения поэмы и отношение поэта к той, к кому оно обращено, довершает его аргументацию, вполне компрометируя ее. Неудивительно, что его книга, в частности глава об Н. В. Кочубей, вызвала в свое время резкую, но вполне справедливую критику" (*Измайлов Н. В.* Пушкин в работе над «Полтавой» // Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975. С. 110).

1. Возможно под буквой "К" Пушкин имел в виду не женщину, а мужчину (см. примеч. 15 к статье П. Е. Щеголева).

2. Губер приводит отрывки из писем Пушкина к А. Бестужеву от 29 июня 1824 г., где говорится об "элегической красавице" (XIII, 100) и к брату от 25 августа 1823 г., где упоминается "любовный бред" в «Бахчисарайском фонтане» (XIII, 67), а также строки из «Разговора книгопродавца с поэтом» о той, "которой очи Как небо" улыбались поэту и которая "одна бы разумела Стихи неясные" его и "одна бы в сердце пламенела Лампадой чистою любви".

3. Строка из «Евгения Онегина» (Глава 1, строфа LVIII).

4. Исследователь «Полтавы» Н. В. Измайлов, возражая Д. Д. Благому, считавшему, что английская фраза "I love this sweet name" — "намеченный было поэтом эпиграф из Байрона, который он хотел предпослать посвящению к поэме", отмечает, что источник этой фразы до

сих пор не найден, и дальше пишет: "«Посвящение» не нуждалось в эпиграфе, притом непонятном для читателя и вместе с тем намекающим на имя, которое Пушкин тщательно завуалировал. Скорее всего это — фраза, составленная им самим и которая становится понятной в сопоставлении с предсмертным "лепетом" молодого казака, влюбленного в дочь Кочубея и убитого на глазах Мазепы..." (*Измайлов Н. В.* Пушкин в работе над «Полтавой». С. 106). Измайлов имеет в виду следующие строки из «Полтавы»:

Был мрачен помертвелый лик
И имя нежное Марии
Чуть лепетал еще язык.
(Песнь III, ст. 290—292)

5. Письмо от 10 мая 1825 г., Лернер цитирует его по кн.: *Пушкин.* Переписка / Под ред. и с прим. В. И. Саитова. СПб., 1906. Т. 1.

6. Имеется в виду статья: *Майков Л. Н.* Из отношений Пушкина с Н. Н. Раевским // Майков Л. Н. Историко-литературные очерки. СПб. 1899. С. 145—146.

7. Стихотворение «Чугун Кагульский, ты священ...» написано в 1822 г. При Кагуле в Бессарабии русские войска разбили турок 21 июля 1770 г.

8. *Пушкин.* Соч. / Под ред. С. А. Венгерова. СПб, 1907. Т. I.

9. Имеется в виду незаконченное издание: *Пушкин.* Соч. СПб.; Изд. Имп. АН. 1899. Т. I; 1905. Т. II.

10. См.: Письмо барона М. А. Корфа к В. П. Гаевскому о Пушкине // ПиС. Вып. VIII. СПб. 1908. С. 25.

11. См.: Пушкин. Статьи и материалы / Под ред. М. П. Алексеева. Одесса, 1926. Вып. 1.

12. В сочинениях Пушкина такого наброска мы не нашли.

13. В предварительном наброске стихотворения «Дорида» таких строк нет.

14. Цитата из стихотворения «Кто видел край, где роскошью природы...» (1821).

15. Упоминается следующее место из письма Пушкина к брату от 25 августа 1823 г. из Одессы: "Здесь Туманский. Он добрый малый, да иногда врет — напр. он пишет в П.<етер> Б.<ург> письмо, где говорит между прочим обо мне: Пушкин открыл мне немедленно свое сердце и porte-feuille — любовь и пр... — фраза достойная В. Козлова; дело в том, что я прочел ему отрывки из Бахчисарайского фонтана (новой моей поэмы), сказав, что я не желал бы ее напечатать, потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру. Туманский принял это за сердечную доверенность и посвящает меня в Шаликовы — помогите!" (XIII, 67). Письмо написано незадолго до писем к А. Бестужеву, в которых Пушкин внушает адресату существо-

вание своей "утаенной любви". Однако романтическая "утаенная любовь" и упоминание о ней в письмах и стихах, не должно иметь, по мысли Пушкина, ничего общего с слезливыми сентиментальными стихами П. И. Шаликова.

16. Элегия — «Редеет облаков летучая гряда...», посвященная, как это показано в статье Б. В. Томашевского, Екатерине Николаевне Орловой (см. статью Б. В. Томашевского «Таврида» в наст. изд.).

17. 8 февраля 1824 г. Пушкин писал Бестужеву: "Радуюсь, что мой Фонтан шумит. Недостаток плана не моя вина. Я суеверно переклады-вал в стихи рассказ молодой женщины.

Aux douces loix des vers je pliais les accents
De sa bouche aimable et naïve.

(К нежным законам стиха я приноровлял звуки Ее милых и бесхитростных уст. (*франц.*). — *Я.Л.*). Впрочем я писал его единственно для себя, а печатаю потому что деньги нужны были" (XIII, 88). Отрывок из этого письма (от слов "Недостаток плана не моя вина" до "а печатаю потому что...") был напечатан Булгариным в «Литературных листках» (1824. Ч. I. № 3. Литературные новости. С. 147). Узнав об этой публикации, Пушкин писал Вяземскому в начале апреля: "Каков Булгарин и вся братья. Это не соловьи-разбойники, а грачи-разбойники" (XIII, 92). В последней фразе намек на Н. И. Греча, который с 1825 г. стал соиздателем Булгарина по «Северной пчеле» и «Сыну Отечества».

18. «Отрывок из письма к Д.» был напечатан в «Северных цветах на 1826 год».

19. Имеются в виду «Стансы» (1826), где есть такие строки, обращенные к Николаю I:

Семейным сходством будь же горд
Во всем будь пращуру подобен.
Как он, неукротим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

20. Речь идет о декабристах. 14 августа 1826 г. Пушкин писал Вяземскому: "...повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна" (XIII, 291).

21. Цитата из стихотворения «Поэту» (1830).

Ю. Н. ТЫНЯНОВ

Безыменная любовь

Печатается по: *Тынянов Ю.Н.* Пушкин и его современники. М., 1968. С. 202—232.

Впервые полностью: Лит. современник. 1939. № 5—6. С. 243—262. С

небольшими сокращениями: Лит. критик, 1939. № 5—6. С. 160—180.

Предположение Тынянова получило отражение в создававшейся одновременно со статьей третьей части романа Тынянова «Пушкин».

Н. К. Чуковский вспоминал, что еще в 20-е гг. Тынянов рассказывал ему о любви Пушкина к Е. К. Карамзиной. "Со свойственной ему конкретностью воображения, — писал Н. К. Чуковский, — он восстанавливал всю эту тайную драму до мельчайших подробностей. У Пушкина были холодные отношения с матерью, и потому ему было естественно полюбить женщину старше себя. Он полюбил ее мальчиком и любил всегда, неизменно. Он уже знал многих женщин, он уже собирался жениться на Наталии Гончаровой, но в душе оставался верен Екатерине Андреевне <...> Юрий Николаевич так часто рассказывал эту историю, так ею волновался, что невольно приходило на ум, что история эта связана для него с чем-то личным, своим собственным" (Юрий Тынянов. Писатель и ученый: Воспоминания, размышления, встречи. М., 1966. С. 146).

Гипотеза Тынянова не была принята исследователями. Б. М. Эйхенбаум рассматривал его работу как "научное открытие (пусть спорное)", результат плодотворного применения в науке "художественного метода", сочетания метода науки и метода искусства (*Эйхенбаум Б.* Творчество Ю. Тынянова // Звезда. 1941. № 1. С. 131.) Н. В. Измайлов, признавая, что Карамзина была для Пушкина "первой и благородной привязанностью", предметом "возвышенного и благородного чувства", считал однако, что Тынянов "не столько доказывал, сколько декларировал с полной убежденностью свою гипотезу". Несомненным, по его мнению, остается лишь то, что "поэт, в молодости испытавший недолгое, но сильное и 'благородное' увлечение Екатериной Андреевной, до конца своей жизни питал к ней совсем особое, более чем сыновнее, почтительное и нежное чувство" (П. в письмах Карамзиных. С. 18). Хотя гипотеза Тынянова не вызвала сочувствия биографов Пушкина, нельзя не признать, что работа его отличается глубочайшим знанием материала и виртуозным мастерством анализа.

1. О влюбленности Пушкина в Е. П. Бакунину известны мемуарные свидетельства лицеистов С. Д. Комовского и И. И. Пущина (см.: П. в восп. Т. 1. С. 69, 89). Сам Пушкин записал о своем чувстве к Бакуниной в лицейском дневнике: "29 января 1815 г. Я счастлив был! ... нет я вчера не был счастлив; поутру я мучился ожиданием, с неописанным волнением стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу — ее не видно было. Наконец я потерял надежду, вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице, сладкая минута!... Как она мила была, как черное платье пристало к милой Бакуниной! Но я не видел ее 18 часов — ах! какое положение, какая мука! Но я был счастлив 5 минут!" (XII, 297). Кроме стихотворений «К живописцу» и «Итак, я счастлив был...» Бакунина внушила поэту цикл элегий 1816 г., посвященных безнадежной, не-

разделенной любви (см.: *Пушкин А. С.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1959. Т. 1.; прим. Т. Г. Цявловской к стихотворению «Осеннее утро»).

2. И. И. Пущин так комментировал стихотворение Пушкина «К живописцу» в своих записках: "Пушкин просит живописца написать портрет Е. П. Бакуниной, сестры нашего товарища. Эти стихи — выражение не одного только его страдавшего тогда сердечка!.." (П. в восп. Т. 1. С. 89). В Бакунину был влюблен также И. В Малиновский.

3. В первой редакции стихотворения «19 октября» (1825) после девятой строфы следовали стихи, обращенные к И. В. Малиновскому, который имел в Лицее прозвище "казак":

Зачем же я тебя не встретил тут же с нами,
Ты, наш казак и пылкий и незлобный,
Зачем и ты моей сени надгробной
Не озарил присутствием своим?
Мы вспомнили б, как Вакху приносили
Безмолвную мы жертву в первый раз.
Как мы впервой все трое полюбили,
Наперсники, товарищи проказ!..

4. Имеется в виду стихотворение Пушкина «К молодой вдове» (1816). "Молодая вдова" — Мария Николаевна Смит, урожденная Шарон-Лароз, по второму мужу Паскаль, француженка, с конца 1816 г. проживавшая в семье директора Лицея Е. А. Энгельгардта. По словам В. П. Гаевского, "весьма миловидная, любезная и остроумная женщина". Пушкин, который "немедленно начал ухаживать за нею, написал к ней довольно нескромное послание «К молодой вдове» <...> Но вдова, не успевшая забыть мужа и готовившаяся стать матерью, обиделась, показала стихотворение своего вздыхателя Энгельгардту, и это обстоятельство было главною причиною неприязненных отношений между ними, продолжавшихся до конца курса". (*Гаевский В.* Пушкин и его лицейские стихотворения // Современник. 1863. № 8. Отд. 1. С. 378).

5. Об этом писал не раз сам Пушкин после смерти Карамзина, сообщая, что они не раз "оспоривали" друг друга (XI, 167). Отдавая должное научному значению «Истории государства российского», написанной Карамзиным, он возражал против монархической концепции историка. Споры между ними начались еще до выхода первых томов «Истории». В своих автобиографических записках Пушкин вспоминал: "Однажды начал он при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспоривая его, я сказал: "Итак, вы рабство предпочитаете свободе". Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я замолчал, уважая самый гнев прекрасной души" (XII, 306).

6. Пушкину принадлежат две эпиграммы на Карамзина: «Послушайте, я сказку вам начну...» (1816) и «В его "Истории" изящность, простота...» (1818).

7. Тынянов приводит не точные цитаты из «Евгения Онегина». У

Пушкина: "Ей нравится порядок стройный Олигархических бесед" — (гл. 8, строфа VII) и "Но чаще занимали страсти Умы пустынников моих" (гл. 2, строфа XVII).

8. Перевод: "Контитуционалистке или антиконституционалистке, но всегда обожаемой, как свобода" (*франц.*).

9. Намек на то, что брат А. И. Тургенева Николай в это время находился за границей, отказался вернуться в Россию и был приговорен заочно к смертной казни, которая была заменена вечной каторгой. Письма Е. А. Карамзиной к Вяземскому напечатаны в кн.: Письма Н. М. Карамзина к кн. П. А. Вяземскому. 1810—1826 / Пред. и примеч. Николая Барсукова. СПб., 1897.

10. Тынянов цитирует фальсифицированные записки А. О. Смирновой, изданные ее дочерью: Записки А. О. Смирновой (Из записных книжек 1826—1845 гг.). СПб., 1895. Ч. 1. С. 279).

11. Новое время. (Иллюстрированное приложение). 1907. № 11413. 19 декабря.

12. П. в воспом. Т. 2. С. 349.

13. Эта цитата в письме А. И. Тургенева к неизвестному выглядит так: "Узнав, что К. А. Карамзина здесь же, просил два раза позвать ее, и дал ей знать, чтобы она перекрестила его. Она зарыдала и вышла" (ПиС. Вып. VI. С. 53).

14. В «Сыне Отечества», который издавал Н. И. Греч, «Элегия», как и хотел Пушкин, была напечатана без подписи.

15. *Пушкин А. С.* Соч. с объяснениями их и сводом отзывов критики / Изд. Льва Поливанова для семьи и школы. М. 1887. Т. I. С. 87—88.

16. Письма Н. М. Карамзина к кн. П. А. Вяземскому. С. 101.

17. П. Я. Чаадаев первым, узнав об угрозе, нависшей над Пушкиным, приехал к Карамзину, убеждая его заступиться за поэта.

18. Имеется в виду Миллер (см.: Письма Н. М. Карамзина к кн. П. А. Вяземскому. С. 96).

19. См.: Вестник Европы. 1908. № 1. С. 285.

20. Цикл лирических стихотворений Ф. Петрарки (1304—1374) был посвящен Лауре — предмету его многолетнего платонического поклонения.

21. Шаликов П. И., князь (1768—1852) — поэт и журналист, был известен как автор слащавых сентиментальных стихотворений.

22. Перевод: "К нежным законам стиха я приноравливал звуки ее милых и бесхитростных уст" (*франц.*).

23. Приводим это стихотворение в переводе А. Козлова:

Я с лирой соглашал печальный голос мой,
И стон и жалобы красавицы младой
Невольно струны повторяли
(*Шенье Андре.* Избранные произведения. Л. 1940. С. 117.).

24. Литературные листки, журнал нравов и словесности, издаваемый Ф. Булгариным. 1824. Ч. I. № 4. С. 147.

25. Письмо адресовано А. А. Бестужеву (XIII, 100).

26. В большом академическом издании этот текст помещен среди писем Пушкина и вслед за «Бахчисарайским фонтаном» под заглавием «Отрывок из письма к Д.» (IV, 175—176).

27. Муравьев-Апостол И. М. Путешествие по Тавриде в 1820 году. СПб., 1823.

28. Послание Пушкина «Чаадаеву» ("К чему холодные сомненья...").

29. Перевод: "Фонтан слез" (*франц.*).

30. Имеется в виду незавершенное издание: *Пушкин.* Соч. СПб.: Изд. Имп. АН. 1899. Т. I; 1905. Т. II. Том II вышел в 1905 г. под ред. В. Е. Якушкина.

31. Б. В. Томашевский заметил, что в черновиках «Отрывка из письма к Д.» рассказчик легенды не женщина, а мужчина, и фраза читается: "К* поэтически описал мне его, называя la fontaine des larmes". В таинственном К* искали разгадку "утаенной любви" Пушкина, но, как пишет Томашевский, "мы даже не знаем, кто скрывается под буквой К* — женщина или мужчина" (*Томашевский Б.В.* Пушкин. Т. I. Л. 1956. С. 504).

32. Изменение было сделано Жуковским в посмертном издании сочинений Пушкина (*Пушкин А.* Соч. СПб., 1841. Т. IX).

33. Оба письма в подлиннике по-французски. Перевод сделан самим Тыняновым.

34. О том, что Пушкин посетил Царскосельский Лицей в 1828 г., вспоминал Я. К. Грот (см.: *Грот Я.К.* Пушкин: Несколько данных к его биографии и характеристике. СПб., 1895. С. 20).

35. К Н. Н. Гончаровой отнесли стихотворение П. А. Ефремов (см.: *Пушкин А.С.* Соч. / Под ред. П. А. Ефремова. М., 1882. Т. 2. С. 412.) и Поливанов (см.: *Пушкин А.С.* Соч. Изд. 3-е. Т. I. С. 294). П. Е. Щеголев, опираясь на рукопись стихотворения ("Я твой по-прежнему...", "Тебя люблю я вновь..."), указал, что оно не могло относиться к Н. Гончаровой, в "отношениях к которой у Пушкина еще не было прошлого". Стихотворение с том виде, как оно набросано в рабочей тетради ПД № 841, явно обращено к М. Н. Волконской. Рядом с ним рисунки, которые также связаны с темой воспоминаний. Среди этих рисунков — портрет М. Н. Волконской (см.: *Левкович Я. Л.* Рабочая тетрадь Пушкина № 841. (История заполнения) // ПиМ. Т. XII. С. 247—248).

Б. В. ТОМАШЕВСКИЙ

«Таврида» Пушкина

Печатается в отрывке по: Ученые записки ЛГУ. 1949, № 122. Серия филологических наук, Вып. 16. С. 97—124.

Статья посвящена реконструкции начатого, но не осуществленного до конца замысла Пушкина. До Томашевского исследователи (М. Гофман, Г. Винокур, Н. Измайлов, С. Бонди и др.) связывали «Тавриду» с замыслом поэмы или даже романа в стихах, от которого Пушкин отказался, задумав «Евгения Онегина».

В своей монографии (Пушкин. Кн. I. 1818—1824. М.; Л. 1956) Томашевский поместил в примечание (с. 489) центральный момент приведенного нами отрывка статьи — письмо Е. Н. Орловой к мужу, где упоминается "памятная звезда", но тему "утаенной любви" дополнил новыми наблюдениями. Так, касаясь стихотворения «Кто видел край, где роскошью природы...», он к строке "Златой предел! любимый край Эльвины" дал примечание: "Можно предположить, что в замысле Пушкина этот стих, вероятно, в другом контексте, содержал имя той, о ком он думал. Имя это должно было не нарушать тройной рифмы октавы" (С. 490). На экземпляре книги, принадлежавшей известному пушкинисту Н. В. Измайлову, рукой Измайлова написано: "Катерины?!" Действительно это имя, правда "в другом контексте", не нарушило бы ритмики стиха.

1. Перевод: "Верни мне мою юность" (*нем.*).

2. Речь идет о книге: *Муравьев-Апостол И.А.* Путешествие по Тавриде в 1820 году. СПб, 1823.

3. "Любовный бред" упоминается не в письме к Вяземскому, а в письме к Л. С. Пушкину 25 августа 1823 г.: "Так и быть, я Вяземскому пришлю «Фонтан» — выпустив любовный бред — а жаль!" (XIII, 68).

4. Далее нами опущена посмертная история текста набросков, которые Пушкин озаглавил «Таврида», и реконструкция замысла элегии.

5. Томашевский имеет в виду статью В. К. Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие», напечатанной в альманах «Мнемозина» (М. 1824. Ч. 2).

6. Современный шифр: ПД 832.

7. Цитата из «Отрывков из путешествия Онегина» (VI, 200).

8. Выше (С. 106) Томашевский писал об элегии «Люблю ваш сумрак неизвестный...», которую сам Пушкин датировал 1822 г., хотя написана она была в 1825 г.: "...нам совершенно ясны основания, по которым Пушкин так датировал эту элегию: она составлена из части стихов отрывка «Ты, сердцу непонятный мрак» (первая строка «Тавриды» — *Я. Л.*), поэтому он отнес ее к тому году, когда были написаны эти стихи. Но Пушкин так перестроил первоначально написанное, что

смысл получился новый, противоположный прежнему. В первоначальном тексте говорилось, что Пушкин примиряется с поэтической мыслью о загробном Элизии лишь при условии, что он туда перенесет память о земном и будет невидимо посещать места, дорогие ему по воспоминаниям любви. В элегии «Люблю ваш сумрак неизвестный» все оканчивается картиной забвения.

Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я...

Следовательно, хотя стихи (т.е. словесные формулы) и повторяются, замысел элегии уже не тот".

Л. П. ГРОССМАН

У истоков «Бахчисарайского фонтана»

Печатается по: Пушкин: Исследования и материалы. Т. III, М.; Л., 1960. С. 49—100. Вошла с сокращениями в кн.: *Гроссман Л.П.* Пушкин. М., 1958. С. 229-232.

Воспринятая в пушкиноведении как одна из гипотез, связанных с поисками предмета "утаенной любви" Пушкина, статья Гроссмана при своем появлении не вызвала серьезной научной полемики и даже была "принята на вооружение" биографами поэта (см., например, статью о С. С. Киселевой в кн.: *Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. Л., 1975. С. 185), вплоть до самого последнего времени, когда явно оживился интерес к проблемам, поставленным Гроссманом. В статье В. М. Есипова «Имя звезды. (К проблеме "утаенной любви" Пушкина)» версия Гроссмана решительно отвергается: "Предположение Л. Гроссмана о тайной любви Пушкина к Софье Станиславовне Потоцкой (в замужестве Киселевой) вообще ни на чем не основано, поскольку не установлен факт их личного знакомства в Петербурге до 1820 года. Гроссман исходит из того, что они должны были встречаться в свете, и что она была очень красива — этого, конечно, недостаточно" (Вопросы литературы. 1993. № 3. С. 130). Излишняя категоричность этого высказывания нагляднее всего опровергается материалами, приведенными в статье В. Святелика «Легенда, пришедшая к Пушкину», в которой убедительно, на наш взгляд, показана причастность семейства Потоцких к возникновению крымской легенды, положенной в основу «Бахчисарайского фонтана», и намечены пути дальнейшего исследования источников этой поэмы, хотя следует заметить, что версия Гроссмана о С. С. Киселевой как о вдохновительнице поэмы принимается, что называется, "на веру", без каких бы то ни было оговорок. (см.: *Святелик*

В. Легенда, пришедшая к Пушкину // Знамя. 1989. № 8. С. 211—220). Две столь диаметрально противоположные точки зрения на один и тот же предмет свидетельствуют о том, что версия Гроссмана не может быть отброшена и нуждается в дальнейшем изучении.

1. Имеются в виду статьи М. О. Гершензона, П. Е. Щеголева, П. К. Губера, Ю. Н. Тынянова, Б. В. Томашевского (см. наст. изд.) об "утаенной любви" Пушкина, которую Гроссман связывает исключительно с «Бахчисарайским фонтаном» и на этом лишь основании отводит все другие ее версии.

2. Гроссман пользуется этим определением Пушкина как бесспорно относящимся к С. С. Киселевой, что, разумеется, далеко не так.

3. Мария Потоцкая в пушкинской поэме — лицо вымышленное (см. об этом: *Святелик В.* Указ. соч. С. 214, 216—217).

4. Сведений такого рода (об отношении юной Потоцкой к «Платонической любви» Пушкина и о его устных признаниях) не имеется. Это всего лишь предположение Гроссмана, которым, однако, исследователь пользуется как бесспорным фактом.

5. А. Тургенев сообщал Вяземскому в письме от 12 марта, что Пушкин "не в шутку собирается в Тульчин, а оттуда в Грузию и бредит уже войною" (ОА. Т. I, С. 202).

6. Пушкин посетил Тульчин в феврале 1821. В 1822 г. Пушкин, по-видимому, в Тульчине не бывал (см.: Летопись. С. 667. Прим. 257).

7. Речь идет о так называемом "Донжуанском списке" Пушкина (см.: его текст и комментарий к нему в наст. изд.). Гипотезу о включении в список Софьи Станиславовны Киселевой (вместо Софьи Пушкиной, к которой поэт сватался в конце 1826 г.) следует признать несостоятельной.

8. Из пушкинского "рассказа" (так Гроссман называет «Отрывок из письма к Д.») вовсе не следует, что легенду о фонтане слез сообщила ему именно Потоцкая-Киселева: у Пушкина имя рассказчицы зашифровано (К*), дает возможность к разной расшифровке, что в сущности и делалось в работах об "утаенной любви".

9. Разыскания В. Святелика свидетельствуют о другом: бытовавшая во времена Пушкина крымская легенда — позднего происхождения, отчасти использованная С. К. Клявоне (Потоцкой), придавшей, как считает исследователь, ей вид "гаремной истории" (см. указ. соч., с. 216). Если наблюдения В. Святелика справедливы, то К* из пушкинского «Отрывка из письма» может быть расшифрована и как Клявоне (т.е. С. К. Потоцкая).

10. Сведений о том, что Пушкин услышал легенду о "фонтане слез" именно в Петербурге, не имеется.

11. Предположение Гроссмана, что строфа XXXI из главы первой «Евгения Онегина» относится к Софье Потоцкой, не имеет под собою никакой почвы — это лирическое воспоминание о женских ножках

едва ли связано с какой-то одной женщиной, а дает сложную цепь лирических ассоциаций, завершающихся признанием автора в способности воспламениться от одного лишь прикосновения к женской ножке (см.: строфу XXXIV той же главы — VI, 18—19).

12. Речь идет о стихе "И красоту еще земную" из «Бахчисарайского фонтана», которую исследователи истолковывают по-разному, однако не видя в ней "торжества" земной красоты.

13. Ошибочное утверждение Гроссмана: Пушкин познакомился с семейством Раевских (в том числе и с Марией Раевской) в Петербурге (см. Летопись. С. 146).

14. Более убедительной представляется точка зрения Б. В. Томашевского (см. наст. изд.) о том, что оба пушкинские текста имеют в виду общего адресата.

15. По мнению Томашевского, «Таврида» вдохновлена Екатериной Раевской (см. наст. изд.).

16. Утверждение Гроссмана, что С. С. Потоцкая (Киселева) была владелицей Массандры, ошибочно. На самом деле, как показывают разыскания В. Святелика в Центральном гос. историческом архиве Украины, именьем в Крыму (действительно, расположенным поблизости от Гурзуфа) владела ее мать С. К. Потоцкая, задумавшая создать здесь городок Софиополь. По предположению В. Святелика, речь идет о селении Ай-Даниль, "километрах в двух от Гурзуфа" (*Святелик В.* Указ. соч. С. 215).

17. Элегия «Ненастный день потух...» (1824) входит в цикл, посвященный Е. К. Воронцовой.

18. Критику П. Е. Щеголева, считавшего, что «Посвящение» к «Полтаве» адресовно М. Н. Волконской, см. в статье В. М. Есипова «Кому же посвящена пушкинская "Полтава"» (Филологические науки, 1993. № 4. С. 31—42). Есипов считает, что «Посвящение» имеет иную адресатку, а именно А. А. Оленину, с чем также трудно согласиться, несмотря на множество текстологических аргументов, извлекаемых автором из черновиков Пушкина. Вопрос этот требует особой работы, в которой необходимо учесть множество разных точек зрения, в том числе и мнение П. Е. Щеголева, в данном случае разделяемое и Гроссманом.

Т. Г. ЦЯВЛОВСКАЯ

"Храни меня, мой талисман..."

Печатается по: Прометей. М., 1974. Вып. X. С. 12—84.

Очерк об отношении Пушкина к Е. К. Воронцовой Т. Г. Цявловская предваряет определением состава цикла стихотворений, посвященых другому одесскому увлечению Пушкина — Амалии Ризнич, и только после этого она обращается к главной теме своей работы, основанной

на впервые вводимом ею в научный оборот обширнейшем массиве пушкинских рисунков (портретов Е. К. Воронцовой, М. С. Воронцова и других одесских знакомых Пушкина), заново прочитанных и датированных текстов, расшифрованных помет, а также на привлечении новых архивных материалов. Статья богато иллюстрирована фрагментами пушкинских рукописей, портретами Е. К. Воронцовой, видами Одессы пушкинских времен и т.д. Она дает наиболее полное, а в ряде случаев и исчерпывающее представление о взаимоотношениях Пушкина с одной из прекраснейших женщин его времени.

Ниже приводится перечень изданий и архивохранилищ, обозначенных автором в сокращении.

ВМП — Всесоюзный музей Пушкина (г. Пушкин).

ГБЛ — Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина (ныне РГБ — Российская государственная библиотека).

ГМП — Гос. музей Пушкина (Москва)

«Из записей П. И. Бартенева» — *Цявловский М.А.* Из записей П. И. Бартенева (О Пушкине и гр. Е. К. Воронцовой) // Известия АН СССР. Сер. Литературы и языка. Т. XXVIII. Вып. 3. 1969. С. 267—276.

«Летопись» — *Цявловский М.А.* Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. I. М., 1951.

«Рассказы о Пушкине» — Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 годах. / Вступ. статья и прим. М. Цявловского. М., 1925.

ЦГАгМ — Центральный гос. архив города Москвы.

ЦГАДА — Центральный гос. архив древних актов (ныне РГАДА — Российский гос. архив древних актов).

ЦГАЛИ — Центральный гос. архив литературы и искусства (ныне РГАЛИ — Российский гос. архив литературы и искусства).

ЦГАОР — Центральный гос. архив Октябрьской революции (ныне — архив президента Российской федерации).

ЦГИА — Центральный гос. исторический архив СССР (ныне РГИА — Российский гос. исторический архив).

1. Дата рождения сына Е. К. Воронцовой Семена — 23 октября 1826 г. — оспоривается М. Яшиным на основании записей в Метрических книгах, однако новонайденные письма Е. П. Гурьевой подтверждает первую дату. Гурьева пишет 26 октября 1823 г.: "Гр. В<оронцова> родила сына. В прекрасном городе Одессе говорят только об этом" (Пушкинская Одесса в письмах графини Е. П. Гурьевой 1822—1824. — Подарочное изд.). См. также прим. 135 наст. статьи.

2. Шестая глава «Евгения Онегина» была написана еще до завершения Пятой, видимо, весной — летом 1826 г. Пропущенные строфы этой главы, которые цитирует Цявловская, поэт мог написать только

после 25 июля 1826 г., когда он узнал о смерти А. Ризнич.

3. Дата отъезда Пушкина из Одессы (1 августа вместо 31 июля) исправлена во втором издании Летописи (см.: С. 445).

4. Помета по-новому прочтена С. В. Березкиной: Козырьково <?> вместо Козаково (см.: *Пушкин А. С.* Дневники. Записки. СПб., 1993. С. 253).

5. Стихотворение «Заклинание» обращено к умершей в 1827 г. Калипсо Полихрони (см. статью Р.В. Иезуитовой в наст. издании).

Г. П. МАКОГОНЕНКО

"...Счастье есть лучший университет"

Печатается по: Нева. 1974. № 5. С. 178—188.

Вошла в переработанном виде в кн.: *Макогоненко Г. П.* Творчество А. А. Пушкина в 1830-е годы. Л., 1974. С. 32—76.

Статья, напечатанная с подзаголовком "Полемические заметки об изучении любовной лирики Пушкина" (блестящий образец полемического мастерства автора), направлена против сторонников биографического метода в изучении творчества Пушкина. Непосредственным поводом к ее написанию, видимо, явилась статья Т. Г. Цявловской «Храни меня, мой талисман...» (см. наст. изд.), прямо в работе не названная, но упомянутая в одной из сносок. Справедливо возражая против сведения художественного и психологического богатства пушкинской поэзии к отражению в ней биографии поэта, автор статьи впадает в другую крайность, противопоставляя творчеству жизнь поэта и в конце концов приходя в отрицанию лирического адресата как такового. В стихах болдинского цикла («Прощанье» и «Заклинание») Макогоненко ищет прямых соответствий с реальным событиями в жизни Пушкина и, не находя их, отказывается считать эти стихи посвященными Е. К. Воронцовой и Амалии Ризнич. С этих же позиций он подходит и к решению проблемы "утаенной любви" как любви "безымянной".

1. Об адресате «Заклинания» см. статью Р. В. Иезуитовой в наст. изд.

2. См.: *Щеголев П. Е.* Амалия Ризнич в поэзии Пушкина // *Щеголев П. Е.* Из жизни и творчества Пушкина. М.; Л., 1931. С. 255—275.

3. См.: *Капнист П. И.* К эпизоду высылки Пушкина из Одессы... // Русская старина, 1899. Т. 98, май. С. 241-245.

4. Помета на л. 11 в тетради ПД 835 имеет в виду Е. К. Воронцову, что убедительно показал С. А. Фомичев (см.: Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 835 // ПиМ. Т. XI. Л. 1983. С. 40).

МИХАИЛ ЯШИН

"Итак я жил тогда в Одессе"

Печатается по: Нева. 1977, № 2. С. 100—143.

Статья М. Яшина возвращает нас к теме адресатов одесской лирики Пушкина, в число которых автор вводит Каролину Собаньскую, настоящую, как он считает, "утаенную любовь" Пушкина. Не ограничиваясь известными в пушкиноведении фактами об их взаимоотношениях в Киеве и Одессе, автор статьи предпринимает ряд архивных разысканий, имеющих целью доказать, что ни Амалия Ризнич (ставшая матерью в январе 1824 г.), ни Е. К. Воронцова (родившая сына 23 октября 1823 г.), не могли быть адресатами страстных по тону любовных признаний Пушкина одесской поры. Отнеся к К. Собаньской стихотворение «Простишь ли мне ревнивые мечты...», М. Яшин создает новый "одесский цикл", в который включает элегию «Все кончено; меж нами связи нет...», «Ночь», «Как наше сердце своенравно...» и др. По этим стихотворениям он и выстраивает мифологическую историю любви Пушкина и К. Собаньской взамен реальной, опирающейся на факты биографии поэта. Однако ценный архивный материал, касающийся биографии самой К. Собаньской, интересный как свидетельство о ее незаурядности, а также приведенные в статье подробности ее поздней биографии, дополняют портрет К. Собаньской (известной не только в светских кругах, но и в служебных, государственных), объясняя, чем могла быть интересна она поэту, не знавшему о ее "тайной" деятельности, но видевшему в ней незаурядную женщину, демоническую натуру, вызывающую "яростные и богохульные мысли" (XIV, 446).

1. О дате рождения сына Е. К. Воронцовой Семена см. прим. 135 к статье Т. Г. Цявловской в наст. изд. Письмо Е. П. Гурьевой решает спор Яшина с Цявловской в пользу последней. Крестины младенца, на которых присутствовал и Пушкин (как считает Яшин), действительно происходили 11 ноября 1823 г.

2. Ошибочное утверждение вызванное неверным расчетом даты знакомства Пушкина с Собаньской. См.: Летопись, с. 256-258.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 5

Р.В.Иезуитова
«УТАЕННАЯ ЛЮБОВЬ» В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПУШКИНА 7

Я. Л. Левкович
«ДОНЖУАНСКИЙ СПИСОК» ПУШКИНА 34

М. О. Гершензон
СЕВЕРНАЯ ЛЮБОВЬ ПУШКИНА 51

П.Е.Щеголев
УТАЕННАЯ ЛЮБОВЬ 77

П.К.Губер
ДОНЖУАНСКИЙ СПИСОК ПУШКИНА 161

Ю.Н.Тынянов
БЕЗЫМЕННАЯ ЛЮБОВЬ 181

Б.В.Томашевский
«ТАВРИДА» ПУШКИНА 211

Л.П.Гроссман
У ИСТОКОВ «БАХЧИСАРАЙСКОГО ФОНТАНА» 227

Т. Г. Цявловская
«ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» 295

Г.П.Макогоненко
«...СЧАСТЬЕ ЕСТЬ ЛУЧШИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 381

Михаил Яшин
«ИТАК Я ЖИЛ ТОГДА В ОДЕССЕ...»
К истории создания элегии Пушкина
«Простишь ли мне ревнивые мечты...» 407

Примечания 469

"Утаенная любовь" Пушкина

Сборник статей / Составление, подготовка текста, вступительные статьи и примечания Р. В.Иезуитовой и Я.Л.Левкович — СПб., Гуманитарное агентство "Академический проект", 1997. — 493 с.

ISBN 5-7331-0091-5

Книга посвящена одной из загадок биографии Пушкина — пережитой им в молодые годы страстной и неразделенной любви к одной из его современниц. Следы этой "утаенной любви" (как назвал ее сам Пушкин) можно найти в поэмах "Кавказский пленник" и "Бахчисарайский фонтан", в лирике поэта, в его письмах. В книге собраны работы выдающихся пушкинистов — М.О.Гершензона, Ю.Н.Тынянова, Л.П.Гроссмана, Г.П.Макогоненко, П.Е.Щеголева, Т.Г.Цявловской, Б.В.Томашевского и др. — посвященные данной проблеме и основанные на тщательном изучении рукописей Пушкина и других документальных источников. Эти работы прокомментированы ведущими специалистами Института русской литературы (Пушкинский Дом) Р.В.Иезуитовой и Я.Л. Левкович. Ими же написаны вводные статьи, отражающие современное состояние дел в этой области пушкиноведения. Книга позволяет не только лучше понять пушкинское творчество и получить множество любопытных сведений о жизни неординарных людей, окружавших великого поэта — она дает редкую возможность следить за увлекательнейшими перипетиями развития научной мысли на протяжении почти целого столетия.

"УТАЕННАЯ ЛЮБОВЬ" ПУШКИНА

СБОРНИК СТАТЕЙ

Редактор *Д.М.Климова*
Художник *Ю.С.Александров*
Художественный редактор *В.Г.Бахтин*
Технический редактор *А.Т.Драгомощенко*
Корректор *О.И.Абрамович*

Подписано в печать 21.07.97.
Формат 60 × 88 $^{1}/_{16}$.
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Печ. л. 31. Тираж 5000 экз. Заказ № 603

ЛР № 062679 от 02.06.93.
Гуманитарное агентство «Академический проект»
199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ордена Трудового Красного Знамени ГП «Техническая книга»
Комитета Российской Федерации по печати.
198052, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ»